

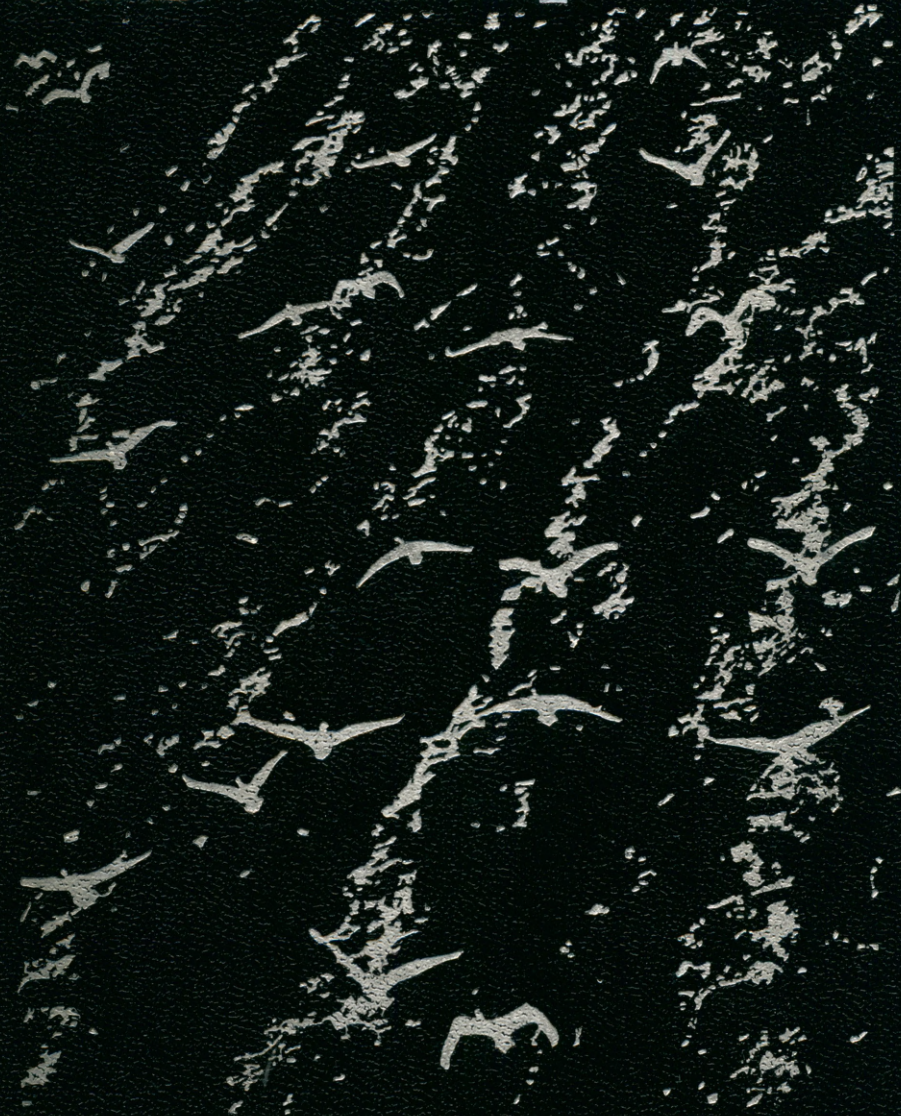


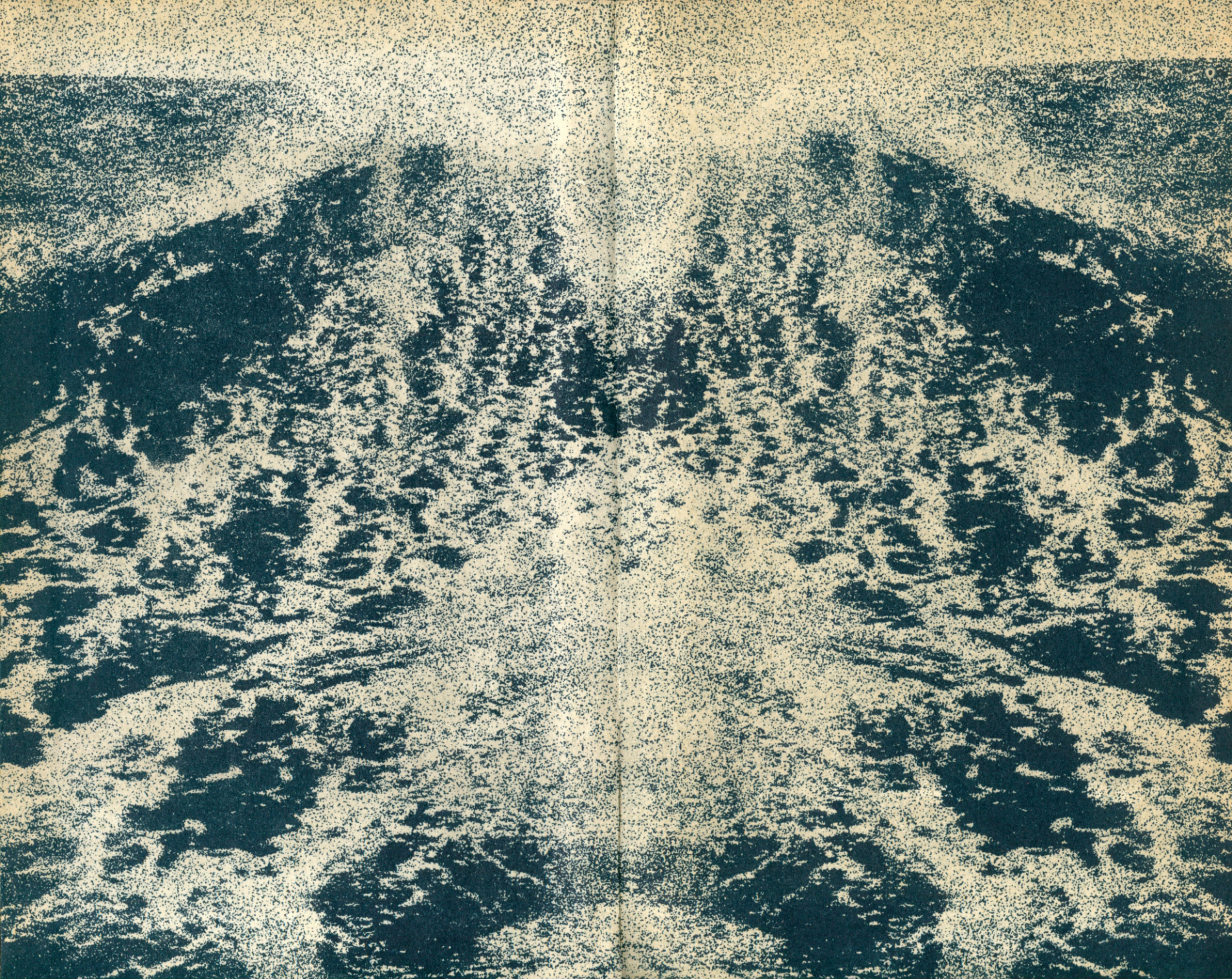
# ВИКТОР

*Никто пути пройденного у нас не отберет*

# КОНЕЦКИЙ

# ВИКТОР КОНЕЦКИЙ







ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА



**«ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА»  
ОСНОВАНА В 1987 ГОДУ  
ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ  
СОЦИОЛОГАМИ ИНСТИТУТА КНИГИ  
ЧИТАТЕЛЬСКОГО СПРОСА  
ЕЖЕГОДНАЯ ПРОГРАММА СЕРИИ  
УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ  
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ  
«КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»**

# ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

*Никто пути  
пройденного  
у нас  
не отберет*



Москва Издательство «Книжная палата» 1989

ББК 84Р7  
К643

Послесловие *Л. Аннинского*

Оформление художника  
*А. Юркевича*

К  $\frac{4702010201-124}{008(01)-89}$  Без объявл.

ISBN 5-7000-0195-0

© В. Конецкий, 1989  
© Послесловие. Л. Аннинский, 1989  
© Оформление. А. Юркевич, 1989

# **Рассказы**

## **Петра Ивановича Ниточкина**

### **Вместо предисловия**

Я решил включить и в эту книгу уже публиковавшиеся ранее записи устных рассказов моего старого друга, капитана дальнего плавания Петра Ивановича Ниточкина, и, вполне естественно, натолкнулся в этом вопросе на глубокий скепсис издателя. И потратил много сил, чтобы преодолеть его сопротивление.

Почему я так яростно тратил силы? Потому только, что мне самому отнюдь не хочется опять конкурировать с Ниточкиным, не хочется соседствовать с его легкомысленными байками своей псевдофилософичностью. Если хотите, я просто ревную к бесхитростным произведениям морского фольклора, ибо уже не способен к ним сам. Но законы русской совести удивительны.

Понимаете ли, вот, например, сейчас в мире чаще стали разбиваться самолеты. Нормальные люди в таком случае стараются при любой возможности избежать полета и ехать поездом. И когда они едут в поезде, их совесть вполне спокойна, если, конечно, они никуда не опаздывают.



Я же принадлежу к тем ненормальным русским людям, которые обязательно полетят самолетом, хотя самолеты на всех континентах только и делают, что падают. Причем я полечу самолетом не потому, что я опаздываю, и не потому, что некоторые злобные остряки утверждают, будто поездом ездить еще опаснее, нежели самолетом, так как последние якобы падают именно на поезда, пытаюсь использовать рельсы вместо запасного аэродрома; нет, я полечу самолетом только потому, что до тошноты лететь не хочу. Никто, кроме меня, не знает, что я лететь боюсь; никто уязвить мою честь не может; честь моя находится в бронированном месте, но совесть не имеет брони.

Я представляю себе иногда в часы бессонницы тысячи пилотов за штурвалом и без парашютов, но с авоськами помидоров в пилотском предбаннике (если они пронзают воздушное пространство с юга на север) или с копченым муксуном (если они пронзают пятый океан с севера на юг). Я представляю себе тысячи бортпроводниц, которых на заре Аэрофлота называли стюардессами, потому что на заре они все были тоненькими, любезными, загадочными и изящными. Теперь, правда, они потолстели, охрипли и постарели ровно на столько лет, на сколько и сам пассажирский турбореактивный Аэрофлот. Но вот я представляю себе всех этих безымянных голубых героев и голубых героинь на высоте десяти километров. И думаю о том, что они в любой миг могут брякнуться с одной только горизонтальной скоростью двести пятьдесят метров в секунду.

И я покупаю билет к ним.

Так и в настоящем случае. Мне невыгодно соседствовать с Петей, но я не могу выкинуть из песни и его легкомысленного слова, ибо того требует моя русская совесть, законы которой неисповедимы.

В чем суть психической несовместимости, если мы отнесемся к этому вопросу без шуточек? В том, что, пока у тебя нервы не расшатаны длительным рейсом, ты можешь терпеть в других людях то, что вызывает в тебе раздражение. Например, тебе с первой встречи ужасно противно есть вместе с механиком, который чавкает. Но ты ешь и молчишь месяц, второй, третий, а потом, когда нервы твои уже расшатаны длительным рейсом или механическим чавканьем, ты взрываешься и общаешься механику, что еще в петровские времена было сказано в «Юности честном зерцале», что чавкают толь-

ко свиньи. Естественно, механик удивляется, что ты вдруг стал к нему придирааться, хотя раньше целых три месяца не придирался. И он искренне считает, что ты просто из пальца все высосал. И сразу говорит, что у тебя уши дергаются, когда ты жуешь, но что он-то молчал об этом все три месяца и т. д. и т. п.

Короче говоря, нарушение психической совместимости наступает тогда, когда ты начинаешь сообщать другим людям правду о том, что ты о них думаешь. Пока ты врал им, то есть скрывал свое раздражение их привычками или поступками, все было хорошо. Но под влиянием длительного рейса твои ослабшие нервы не дают тебе возможности врать.

И вот именно правдивость и есть самое ужасное в человеческих отношениях.

Если ты с полной искренностью заявляешь, что терпеть не можешь чавкающих людей, то тебе заявляют, что ты нетерпим к людям, не умеешь владеть собой и являешься негодным членом коллектива. Парадокс здесь в том, что самое высокое человеческое качество — правдивость, искренность — при существовании в коллективе есть самое дурное и вредное качество. И чем больше, и шире, и чистосердечнее ты информируешь людей о своем к ним истинном отношении, тем хуже идут дела в коллективе.

Быть может, великая заповедь «понять человека — простить человека» равносильна подпольной мудрости «лги людям»? Но мы же знаем, что ложь противоречит самой сути природы, которая не способна лгать. Если температура поднимается, камень расширяется. Он не способен не расширяться, потому что лишен способности лгать. Человек лгать способен. Тогда получается, что мы, может быть, и вершина природы, но и исчадие ее, мы — нечто, противоречащее ее сути. И если бы я принимал участие в конкурсе на определение того, что такое «человек», в конкурсе, который продолжается без всякого успеха уже десять тысяч лет, то предложил бы такую формулировку: «Человек — существо, обладающее способностью лгать и не могущее существовать без этой способности, ибо обречено на страх перед одиночеством». Именно страх перед одиночеством вынуждает нас лгать и терпеть чужую ложь и на пароходе, и в космосе, и в семье.

Даже рай и ад человечество во все времена и у всех народов представляло и представляет в виде мощ-

ного коллектива праведников или грешников. И в раю и в аду всегда кишмя кишит народ. Ни одному гению не пришло даже на ум наказать грешника обыкновенным могильным одиночеством. Ведь на миру и раскаленная сковородка, и сатанинские шипцы, и кипящая смола — чепуха. Вот помести мертвого грешника в обыкновенный гроб, закопай, и пусть он там лежит в одиночестве без надежды пообщаться даже с судьями в день Страшного суда. Рядом с таким наказанием коллективное бултыхание в кипящей смоле — купание на Лазурном берегу.

Человек не может представить себе полного одиночества даже на том свете. А за любое общение надо платить. И разменной монетой для этого испокон веков была и есть ложь. Ложь — первородный грех: как сожрали яблоко и не признались — вот отсюда все и пошло.

«Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт из лжи». Это сказал великий мастер по эскортам Уинстон Черчилль. Он-то уж знал, что говорил.

Однако не след забывать о двух коэффициентах, которые, как и все вообще постоянные величины, по своей сути не пришей кобыле хвост, потому что выведены и введены в формулу общественной жизни чисто эмпирическим путем, путем подбора и случайного на них натаскивания, а не логическим путем; но эти коэффициенты все-таки существуют. Я имею в виду любовь и привычку.

Первая является как бы ньютоновской, как бы частным и редким случаем всеобщей эйнштейновской Привычки.

Из народной мудрости известно, что привычка — вторая натура. Лермонтов заметил, что для большинства она при этом и единственная. Это-то и спасает большинство: наш нос способен адаптироваться к запаху чужого пота и перестать замечать этот запах, если мы нюхаем достаточно долго. А меньшинство спасается через любовь. В случае любви мы получаем удовольствие даже от запаха пота своего любимого.

В первом случае мы с чистой совестью лжем ближнему иногда даже целые века. И только во втором случае мы вообще не лжем. Итак, чтобы существовать без лжи, нам необходимо любить абсолютно всех ближних. Но мы точно знаем, что такое невозможно.

Значит, ложь есть полная и абсолютная необходимость? Нет!

Вот здесь-то мы и обнаруживаем самое удивительное! Оказывается, что за тысячелетия лжи как основы основ нашего существования мы так и не смогли полностью адаптироваться к ней! Человек не способен лгать вечно, черт бы его, человека, побрал! В какой-то момент мы вдруг ляпаем: «Эй! Ты! Болван нечесаный! Иди помойся! И перестань чавкать, осел!..» И ведь знаем, что этот «болван нечесаный» нам дорого станет, но не можем мы лишиться себя такого удовольствия: хоть на миг перестать лгать и выстрелить из себя то, что на самом деле чувствуем.

И вот гигант самообмана и воли, требовательный воспитатель всеобщей любви, создатель даже новой религии, художественный гений — Лев Николаевич — ничего с собой поделаться не может, кричит на весь мир и космос, что жена Софья Андреевна — старая ведьма, и бежит от нее в белый свет как в колодежку и умирает на полустанке. Вот ведь какой анекдот! И твердо, неколебимо понимаем, что лживое терпение — основа общения и мира. И в то же время не испытываем большего наслаждения, нежели при врезании ближнему прямо между глаз правды-матки. Оказывается, и мы и камень одинаково должны расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении; оказывается, ненависть к привычному притворству и лжи так же органична для нас, как и для мертвой природы.

Но, ляпнув правду, мы обрекаем себя на смерть в чужой постели на чужом полустанке и на одиночество, в котором существовать не можем. И чтобы прорвать круг одиночества, мы просим у потного, чавкающего мерзавца прощения, ибо бог терпел и нам велел.

Больше всего меня интересует с этой точки зрения судьба будущих космоплавателей.

Космонавт обязан наблюдать самого себя и с беспощадной правдивостью сблекать в слова и докладывать на Землю свое психическое, моральное состояние и мысли, эмоции, сведения о своем стуле и мечтах. Если космонавт будет лгать, он или погибнет раньше срока, или Земля поймает его на преднамеренной лжи и отзовет. Описать свое душевное состояние — задача безмерно трудная и для профессионального психолога. Но психолог живет на Земле, он плывет в океане различной лжи уже тысячелетия. А космонавт находится там, где лжи нет и никогда не было, — в космосе. За время полета к далеким планетам люди будут привыкать к бесстрашной

правдивости. Какие ужасные трудности ждут их по возвращении домой!..

Звезды, мигая нам из Вселенной, говорят, что рано или поздно нам всем всегда придется говорить только правду. Иначе мы погибнем. Но можно ли хотя бы теоретически представить всеобщую правдивость? И что получится, если все мы начнем говорить друг другу только то, что на самом деле думаем и чувствуем?

Не знаю, что получится.

Но надо пытаться множить юмор на утопию. Это помогает жить самому. И следует забавлять рассказами мир, даже если он свесит ножки в яму. Этим принесешь миру пускай относительную, но пользу.

Однако для тех, кто не любит улыбаться, хочу сказать, что существеннейшей стороной правильного понимания искусства слова является владение мерой его условности. В литературе периодически возникает стремление обратиться к ненормализованному и странному с привычной точки зрения стилю и жанру. Это «странное» играет революционизирующую роль в становлении новой художественной формы. (Горький, например, вспоминал, как после посещения спектакля в лондонском мюзик-холле, где Владимир Ильич много смеялся, у них возник разговор об эксцентризме. Ленин говорил тогда о приеме показа алогизма обычного, примелькавшегося, заштампованного с помощью выворачивания его наизнанку, намеренного искажения.)

Если сейчас я напишу: «Сатирическое и скептическое отношение к штампу есть черта всех великих, и потому я ее в себе восторженно приветствую», то вполне может найтись читатель, который подумает: «Как ему не стыдно! Он причисляет себя к великим!» Это произойдет потому, что читатель не заметил сигнала, который я ему подал, когда перешел на фантазмагорически-ироническую интонацию, то есть начал заниматься эксцентризмом. Где точно этот сигнал находится и как предупреждает о том, что дальнейшее сообщение будет передаваться на особом языке, объяснить невозможно. Но сигнал-знак есть, и он характеризует различные степени условности и произвольности связей между понятиями при обычном их употреблении вне литературы и тем их значением, которое они приобретают внутри художественной системы, то есть книги, рассказа, главы, абзаца. Если сигнал-знак читатель уловил, то он улыбнется над тем, как я зачислил себя в великие. Если уловить сигнал ему не дано, то он

вполне может отправить в газету письмо о том, что автор кощунственно панибратствует с величайшими гениями человечества. И такие упреки в адрес моего друга Ниточкина случались. И потому — для незначительной страховки — я и снабжаю его рассказы настоящим предисловием. Считайте это предисловие тем таинственным сигналом, который теперь прошел сквозь каскадный усилитель, и не принимайте ничего буквально — дядя шутит!

## ***Петр Ниточкин к вопросу***

### ***о психической несовместимости***

Накануне ухода в то плавание у меня была прощальная встреча с Петром Ивановичем Ниточкиным. Разговор начался с того, что вот я ухожу в длительный рейс и в некотором роде с космическими целями, но никого не волнует вопрос о психической несовместимости членов нашего экипажа. Хватают в последнюю минуту того, кто под руку подвернулся, и пишут ему направление. А если б «Невель» отправляли не в Индийский океан, а, допустим, на Венеру и на те же девять месяцев, то целая комиссия ученых подбирала бы нас по каким-нибудь генетическим признакам психической совместимости, чтобы все мы друг друга любили, смотрели бы друг на друга без отвращения и от дружеских чувств даже мечтали о том, чтобы рейс никогда не закончился.

Вспомнили попутно об эксперименте, который широко освещался прессой. Как троих ученых посадили в камеру на год строгой изоляции. И они там сидели под глазом телевизора, а когда вылезли, то всем им дали звания кандидатов и прославили на весь мир.

Здесь Ниточкин ворчливо сказал, что если взять, к примеру, моряков, то мы — академики, потому что жизнь проводим в замкнутом металлическом помещении. Годами соседствуешь с каким-нибудь обормотом, который все интересные места из Мопассана наизусть выучил. Ты с вахты придешь, спать хочешь, за бортом девять баллов, из вентилятора на тебя вода сочится, а сосед интересные места наизусть шпарит и картинки из «Плейбоя» под нос сует. Носки его над твоей головой сушатся,

и он еще ради интереса спихнет ногой таракана тебе прямо в глаз. И ты все это терпишь, но никто твой портрет в газете не печатает и в космонавты записываться не предлагает, хотя ты проявляешь гигантскую психическую выдержку. И он, Ниточкин, знает только один случай полной, стопроцентной моряцкой несовместимости...

— Ссора между доктором и радистом началась с тухлой селедки, а закончилась горчичниками. Доктор ловил на поддев пикшу из иллюминатора, а третий штурман тихонько вытащил леску и посадил на крючок вонючую селедку. Доктор был заслуженный. И отомстил. Ночью вставил в иллюминатор третьему штурману пожарную пипку, открыл воду и орет: «Тонем!» Третий в исподнем на палубу вылетел, простудился, но за помощью к доктору обращаться категорически отказался. И горчичники третьему штурману поставил начальник рации. Доктор немедленно написал докладную капитану, что люди без специального медицинского образования не имеют права ставить горчичники членам экипажа советского судна, если на судне есть судовой врач; и если серые в медицинском отношении лица будут ставить горчичники, то на флоте наступит анархия и повысится уровень смертности... Радист оскорбился, уговорил своих дружков — двух кочегаров — потерпеть, уложил их в каюте и обклеил горчичниками. И вот они лежат, обклеенные горчичниками, как забор афишами, а вокруг радист ходит с банкой технического вазелина. Доктор прибежал, увидел эту ужасную картину и укусил радиста за ухо, чтобы прекратить муки кочегаров. Они, ради понта, такими голосами орали, что винт заклинивало...

Ниточкин вздохнул, вяло глотнул из рюмки, вяло ткнул редиску.

— Упаси меня бог считать подобные случаи на флоте чем-то типичным, — продолжал он. — Нет. Наоборот. Как правило, доктора кусаются редко, хотя они от безделья черт знает до чего доходят. Меня лично еще ни один доктор не кусал, а плаваю я уже двадцать лет. Я хочу верить, что барьеров психической несовместимости вообще не существует. Конечно, если, например, неожиданно бросить кошку на очень даже покладистую по характеру собаку, то последняя проявит эту самую психическую несовместимость и может вообще сожрать эту несчастную кошку. Но это не значит, что нельзя приучить собаку и кошку лакать молочко из одного блюдечка.

Неожиданность Петиных ассоциаций всегда изумляла меня.

Когда я жил в маневренном фонде, в квартире, где жило еще восемнадцать семейств, меня как-то навестил Ниточкин. Войдя в кухню и оглядывая даль коридора, он сказал:

— Пожалуй, это одно из немногих мест на планете, где везде ступала нога человека.

И вот теперь его вдруг понесло к кошкам.

— Лично я, — повторил Ниточкин с раздражением, — кошек не люблю. Но даже очень грязного кота или кошку в стиральной машине мыть не буду. Даже по льянке, хотя такие случаи в мире и бывали.

Моя нелюбовь к котам и кошкам имеет в некотором роде философский характер. Я их не понимаю. А все, что понять не можешь, вызывает раздражение. И еще мне в котах и кошках не нравится их умение выжидать. Опять же эта их коренная черта меня раздражает потому, что сам я выжидать не умею и по этому поводу неоднократно горел голубым огнем. Особенно это касается моего языка, который опережает меня самого по фазе градусов на девяносто, вместо того чтобы отставать градусов на сто восемьдесят.

Так вот, понять кошачье племя дано, как я убежден, только женщинам. Женщины и кошки общий язык находят, а для нас, мужчин, это почти невозможное дело. В чем тут корень, я не знаю, а может быть, даже боюсь узнать.

Слушай внимательно о нескольких моих встречах с необыкновенными котами. Нельзя сказать, что эти коты совершили что-либо полезное для человечества — такое, о чем иногда приходится читать. Например, помню из газет, что один югославский кот бросился на огромную двухметровую гадюку и загрыз ее, спасая хозяйку — девочку, которая учила уроки в винограднике, а гадюка подползла к ней по лозе сверху, бесшумно. И вот этот югославский кот загрыз гадюку. Причем сбежавшиеся на шум жители югославской деревни — а там все жители городов и деревень бывшие партизаны; — так вот, все бывшие партизаны не осмелились броситься на помощь коту, который сражался с гадюкой один на один, — такая эта гадюка была ужасная. Кот, победив гадюку, скромно отошел в сторону и сел отдыхать.

Или еще мне приходилось читать, как немецкие кошки предупреждали людей о приближении таинствен-



ных несчастий и привидений. У немецких кошек шерсть обычно становится дыбом, когда они видят своим внутренним взором привидение. Интересно, правда, у какого немца шерсть не станет дыбом, если он увидит привидение? Вот только у совершенно лысого немца она не встанет.

Еще много приходилось читать и слышать, что британские коты предчувствуют смерть хозяйки. Но даже если это и так, то ничего хорошего здесь, как мне кажется, нет: о таких штуках, как смерть, лучше узнавать от доктора.

Русский кот-дворянка по кличке Жмурик ничего полезного для человечества не совершил, но врезался в мою память. Он прыгнул выше корабельной мачты, а был флегматичным котом.

Прибыл он к нам в бочке вместе с коробками фильма «Укротительница тигров» по волнам океана, как царь Додон или царь Салтан — всегда их путаю. В бочке котенок невозмутимо спал и, как говорится, ухом не вел — ни когда спускали бочку в волны с другого траулера, ни когда швыряло ее по зыбям, ни когда поднимали мы ее на борт.

За такую невозмутимость его и назвали Жмуриком, что на музыкальном языке означает «покойник».

Был он рыж. Был осторожен, как профессиональный шпион-двойник: получив один-единственный раз по морде радужным хвостом морского окуня, никогда больше к живой рыбе не приближался. Когда начинали выть лебедки, выбирая трал, Жмурик с палубы тихо исчезал и возникал только тогда, когда последняя, самая живучая, рыба в ватервейсе отдавала концы.

Прожил он у нас на траулере около года нормальной жизнью судового кота — лентяя и флегмы. Но потом стремительно начал лысеть, а ночами то жалобно, то грозно мяукать.

Грубоватый человек боцман считал, что единственный способ заставить Жмурика не орать по ночам — это укоротить ему хвост по самые уши. Тем более что у лысого Жмурика видок был, действительно, страшноватый. Однако буфетчица Мария Ефимовна, которая была главной хозяйкой и заступницей Жмурика, сказала, что все дело в его тоске по кошке. И командованием траулера было принято решение найти Жмурику подружку.

Где-то у Ньюфаундленда встретились мы с одесским траулером. Двое суток они мучили нас вопросами о ро-

дословной Жмурика, выставляли невыполнимые условия калыма и довели Марию Ефимовну до сердечного припадка. Наконец сговорились, что свидание состоится на борту у одесситов, время — ровно один час, калым — пачка стирального порошка «ОМО». Родословная Барракуды — так звали их красавицу — нас не интересовала, так как Жмурик должен был, как мавр, сделать свое дело и уходить.

Я в роли командира вельбота, Мария Ефимовна и пять человек эскорта отправились на траулер одесситов. Жмурик сидел в картонной коробке от сигарет «Шипка». Вернее, он там спал. Пульс восемьдесят, никаких сновидений, никаких подергиваний ушами, моральная чистота и нравственная готовность к подвигу. Но на всякий случай я взял с собой пятерых матросов, чтобы оградить Жмурика от возможных хулиганских выходов одесситов — с ними никогда не знаешь, чем закончится: хорошей дракой или хорошей лезгинкой.

Мы немного опаздывали, так как перед отправкой было много лишних, но неизбежных на флоте формальностей. Например, часть наших считала неудобным отправлять Жмурика на свидание в полуголом, облысевшем виде. И на кота была намотана тельняшка, на левую лапу прикрепили детские часики, а на шею повязали черный форменный галстук. Я был категорически против украшения. Не следует обманывать слабый пол, даже если его представителя зовут Барракудой. Со мной согласилось большинство, и Жмурик поехал к Барракуде старомодно обыкновенный.

Накануне Жмурику засовывали в пасть вяленый инжир и шоколад, — впрочем, перечислить все моряцкие глупости и пошлости я не берусь. Приведу только слова наказа, которые проорал капитан с мостика: «Жмурик, так тебя и так! Покажи этой одесситке, где раки зимуют!» Каким образом Жмурик мог показать Барракуде зимовку раков, скорее всего, не знал даже наш бывалый и скупой на слова старый капитан.

И вот после неизбежных формальностей мы наконец отвалили.

Рядом со мной сидела помолодевшая и посвежевшая от волнения, мартовских брызг и сознания ответственности Мария Ефимовна. В авоське она везла коллеге на одесский траулер пакет «ОМО» лондонского производства. А на коленях у нее была картонка со Жмуриком. Я уже говорил, что кот спокойно спал. Он как-то даже и

не насторожился от всей этой суеты, которая напоминала суету воинов перед похищением сабинянок. Здесь коту помогала врожденная флегматичность, к которой бьются, как мне кажется, склонны и рыжие мужчины: рыжие и выжидать умеют, и прыгать внезапно.

К сожалению, меня не насторожила обстановка на борту одессита. Просто я другого и не ожидал. Вся носовая палуба кишмя кишела одесситами. Между трюмами было оставлено четырехугольное пространство, обтянутое брезентовым обвесом на высоте человеческого роста. Оно напоминало ринг. Барракуда была привязана на веревке в дальнем от нас конце ринга. Она оказалась полосатой, дымчатой, обыкновенного квартирно-коммунального вида кошкой. Не думаю, что ее невинность, даже если о невинности могла идти речь, стоила такой дефицитной вещи, как пачка «ОМО» лондонского производства.

Как всегда в наши времена при любом зрелище, вокруг толкалось человек двадцать, что было явно нескромно, — но чего можно ожидать от одесских рыбаков в такой ситуации? Чтобы они все закрылись в каюте и читали «Хижину дяди Тома»? Ожидать этого от одесситов было бы по меньшей мере наивным. Поэтому я спокойно занял место, отведенное для нашей делегации, и сказал, что времени у нас в обрез.

И вдруг Жмурик показал, где зимуют раки. И показал он это место не только Барракуде, но и всем нам.

Когда картонку поставили внутрь ринга на стальную палубу и когда кот сделал первый шаг из коробки и увидел Барракуду, то не стал выжидать и сразу заорал.

У одного известного ленинградского романиста я как-то читал про козу, которая «кричала нечеловеческим голосом». Так вот, наш Жмурик тоже заорал нечеловеческим голосом, когда первый раз в жизни увидел одесситку с бельмом на глазу.

От этого неожиданного и нечеловеческого вопля все мы, старые моряки, вздрогнули, а один здоровенный одессит уронил фотоаппарат, и тот полыхнул жуткой магнисвой вспышкой.

Долго орать Жмурик не стал и, не закончив вопля, подпрыгнул над палубой метра на два строго вверх. У меня даже возникло ощущение, что кот вдруг решил стать естественным спутником Земли, но с первого раза у него это не получилось. И, рухнув вниз, на стальную палубу, он сразу запустил себя вторично, уже на орбиту

метра в четыре. Таким образом, неудача первого запуска его как бы совсем и не обескуражила.

Надо было видеть морду Барракуды, ее восхищенную морду, когда она следила за этими самозапусками нашего лысого, флегматичного Жмурика!

Я знаю, что мы не используем и десяти процентов физических, нравственных и умственных способностей, когда существуем в обычных условиях. И что совсем не обязательно быть Брумелем, чтобы прыгать выше кенгуру. Достаточно попасть в такие обстоятельства, чтобы вам ничего не оставалось делать, как прыгнуть выше самого себя, — и вы прыгнете, потому что в вашем организме заложены резервы. И Жмурик это демонстрировал с полной наглядностью. Просто чудо, что он не переломал себе всех костей, когда после третьего прыжка рухнул на палубу минимум с десяти метров.

Я никогда раньше не верил, что кошки спокойно падают из окон, потому что умеют особым образом перестраиваться и группироваться в полете. Теперь я швырну любого кота с Исаакиевского собора. И он останется жив, если при этом на него будет смотреть потаскуха-одесситка Барракуда.

Труднее всего передать то, что творилось вокруг ринга. Моряки валялись штабелями, дрыгая ногами в воздухе, колотя друг друга и самих себя кулаками, и, подобно Жмурику, орал нечеловеческими голосами. Такого патологического хохота, таких визгов, таких восхищенных ругательств я еще нигде и никогда не слышал.

Когда Жмурик без всякого отдыха ринулся за облака в четвертый раз, стало ясно, что пора все это свидание прекращать, что траулер перевернется, а матросня лопнет по всем швам. Капитан-одессит говорить тоже не мог, но знаками показывал мне, чтобы мы брали кота и отваливали, что он прикажет сейчас дать воду в пожарные рожки на палубу, чтобы привести толпу в сознание, что необходимо помнить о технике безопасности.

Ладно. Каким-то чудом мне удалось засунуть под падающего уже из открытого космоса Жмурика картонную коробку из-под «Шипки». Потом мы все навалились на крышку коробки и попросили у одесситов кусок троса, потому что Жмурик и в коробке пытался запускать себя на орбиты в разные стороны, продолжал мяукать, выть и крыть нас таким кошачьим матом, что сам кошачий бес вздрагивал.

Боцман-одессит дал нам кусок веревки, взял за эту веревку расписку — так уж устроены эти боцмана, — и мы поехали домой, какие-то оглушенные и даже как бы раздавленные недавним зрелищем.

Жмурик притих в коробке: очевидно, он пытался восстановить в своей кошачьей памяти мимолетное видение Барракуды, которая растаяла как дым, как утренний туман, без всякой реальной для Жмурика пользы.

Через неделю Жмурик оброс волосами, как павиан. И старая рыжая, и новая черная шерсть били из него фонтаном. И весь его характер тоже разительно изменился. Услышав грохот траловой лебедки, он мчался на корму, сел у слипа и хлестал себя хвостом по бокам — точь-в-точь мусульманин-шиит. И когда трал показывался на палубе, Жмурик бросался в самую гущу трепыхающейся рыбы, и ему было все равно, кто там трепыхается — здоровенный скат или акула.

И если тебе, Витус, когда-нибудь попадался в рыбных консервах черно-рыжий кошачий хвост, то это был хвост нашего Жмурика, отхваченный ему под самый корешок рыбой-иглой возле тропика Козерога.

Вскорости после потери хвоста он лишился левого уха, и пришлось закрывать его в специальной будке, чтобы он не портил рыбу и не погиб сам в акулей пасти.

И тут мы получили странную радиограмму от одесситов: «Сообщите состояние Жмурика зпт степень облысения тчк Судовой врач Голубенко».

Мы ответили: «Облысение прекратилось зпт кот оброс зпт как судовое днище водорослями тропическом рейсе тчк Привет Барракуде». И сразу пришла следующая радиограмма: «Факт обрастания Жмурика умоляю занести судовой журнал тчк Работаю кандидатской двтч лечение облысения электрошоком тчк Подавал на Жмурика тридцать три герца сорок вольт при четырех амперах».

Итак, мы узнали, почему Жмурик чуть было не превратился в естественный спутник Земли. Но сам-то кот не мог об этом узнать. Он, очевидно, считал, что тридцать три герца исходили не от листа железа на палубе, а от Барракуды. И он свирепо возненавидел всех кошек. Однако это уже другая история. Она не имеет прямого отношения к мировой научно-технической революции.

А ты, Витус, должен зарубить себе на носу, что в основе этой революции лежит радио, но с ним связаны и неожиданности. Грузовой помощник капитана Гриша, по кличке Айсберг, например, исчез с флота в результате

одной-единственной радиogramмы своей собственной женой: «Купи Лондоне бюстгалтеры размер спроси радиста твоя Муму».

Тайна переписки, конечно, охраняется конституцией — все это знают. Но если некоторая утечка информации происходит и сквозь конверты, то в эфире дело обстоит еще воздушнее. Такая радиоутечка подвела Гришу Айсберга.

Гриша приходит в кают-компанию чай пить. Там стармех сидит и тупо, но внимательно смотрит на бюст одного великого человека, в честь которого было названо их судно.

Только Гриша хлеб маслом намазал, стармех начинает сетовать, что бюст великого человека уже изрядно обтрепался, потрескался, износился и надо обязательно заказать другой, новый бюст и для этого снять со старого бюста размеры, но можно, вообще-то, и не снимать, потому что радист, наверное, их и так знает.

Гриша спокойно объяснил стармеху, что его жена в магазине «Альбатрос» познакомилась с женой их радиста, жены подружились, часто встречаются и что у них одинаковый размер бюстов, но он, Гриша Айсберг, страдает тем, что не помнит никаких чужих размеров, даже свои размеры он не помнит, а у радиста все размеры записаны, и потому его, Гриши, жена и радировала, чтобы он взял нужный размер у радиста. Все понятно и ничего особенного.

— А кто тебе сказал, что я чего-нибудь не понимаю? — изумленно спросил стармех.

Гриша чай попил и пошел на вахту. Поднялся в рубку. Там третий штурман жалуется старпому, что в картохранилище полки не выдвигаются и надо заставить плотника сделать новые полки, а размеры плотник пусть спросит у радиста, потому что радист знает их на память.

Гриша спокойно объяснил старпому и третьему, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, жены подружились, часто встречаются, потому что живут рядом, что у них бюсты адекватные, а он, Гриша, не знает размеры, всегда забывает их, и когда рубашку покупает, то каждый раз шею ему измеряют холодной рулеткой; а у радиста в записной книжке есть все номера его, то есть радиста, жены, а так как эти номера одинаковы с номерами его, Гриши, жены, то жена и прислала такую радиogramму, и здесь он, Гриша, не видит ничего особенного.

— А кто тебе сказал, что мы видим? — спросили у него старпом и третий.

В обеденный перерыв электромеханик вместо заболевшего помполита сообщает по трансляции, что судно в настоящий момент проходит берега Королевства Бельгия, что это небольшая страна, которая полностью помещается в Бенилюксе, но точные ее размеры он сейчас сообщить, к сожалению, не может, так как они записаны у радиста, а радист в данный момент на вахте и записная книжка находится при нем.

Вечером на профсоюзном собрании Гриша попросил слова. И сказал, что говорить он будет не по теме собрания, что по судну распространяется зараза, которая мешает ему работать, что ничего особенного нет в том, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, что они потом подружились, так как живут близко, что у их жен одинаковые размеры, а он, Гриша, не знает никаких размеров, не может их запомнить, путает часто и привозит жене неподходящие вещи; поэтому она и послала ему радиограмму, в которой просит узнать размер бюстгальтера у радиста, потому что радист знает точные размеры, и что он, второй помощник капитана, пользуется тем, что тут сейчас собрался весь экипаж, и хочет всех разом обо всем этом информировать и на этом поставить точку.

Предсудкома берет слово и горячо заверяет Гришу, что никто никакой заразы не распространял, ничего не начинал, ничего особенного нет в том, что другой мужчина знает размер бюста твоей жены, такое у всех может случиться, ведь все понимают, как тяжело переживают жены, когда привезешь ей хорошую заграничную вещь, а вещь не лезет или, наоборот, болтается как на вешалке. И если у радиста записаны размеры, а бюсты их жен адекватны, то это очень хорошо и удачно получилось у них с радистом, такое совпадение экипаж может только от всей души приветствовать, и пусть Гриша работает спокойно.

Всю следующую неделю к Грише, который выполнял общественную нагрузку, консультируя заочников средней школы по математике, приходили матросы и мотористы с просьбой объяснить вывод формулы «пи-эр-квадрат». Есть Гриша перестал и вздрагивал даже при упоминании мер длины, а, как известно, грузовому помощнику без этих мер обойтись совершенно невозможно.

Последний штрих, который увел Гришу с флота, заключался в том, что на подходе к Ленинграду он увидел на ноке фока-рея серый бюстгальтер, поднятый туда на сигнальном фале, причем фал был продернут до конца и обрезан.

Так они и швартовались под этим непонятным серым вымпелом. И только через несколько часов один отчаянный таможенник-верхолаз смог на фока-рей добраться, потому что таможенники не имеют права оставлять без досмотра и бюстгальтер — вдруг в него валюта зашита? Но оказалось, что ничего в бюстгальтере зашито не было и весь он вообще представлял собой сплошную дыру, ибо принадлежал раньше дневальной тете Клаве, которая давным-давно использовала его как керосиновую тряпку... Тетя Клава, как ты понимаешь, не имеет никакого отношения к научно-технической революции. И ты, Витус, тоже, как это ни прискорбно, не имеешь к ней отношения. Не ощущается в тебе находчивости, ты уже стар и туповат, хотя, может быть, неплохо образован для среднего судоводителя. Не бывать нам уже технократами, — мрачно закончил Ниточкин. — А ты откуда сейчас прибыл?

— Петя, ты сегодня не в своей тарелке. Я уже говорил. Прилетел из Новороссийска. Сорвался с фумигации. Первый раз в жизни чемодан укладывал с противоголозом на морде. И все равно чуть дуба не врезал. И куртку забыл нейлоновую, и справочник капитанский, и кактус.

— С кактусом в самолет не пускают. Я пробовал, — сказал Ниточкин. — А как идут дела в Новороссийске?

— Сдуло им почву в море. Иллюминаторы после боры отмыть невозможно.

— И я в этом Новороссийске как-то попал в плохой сезон. И вот случаем продали нам сердобольные женщины трех кур. Вернее, двух кур и петуха. Жили мы в гостинице для моряков — тоже на фумигации, — кухонного инвентаря нет, жевать хочется ужасно. Двух кур мы лишили жизни, одну разодрали на куски и засунули в электрический чайник. Другую подготовили к этому мероприятию, а петуха посадили в шкаф живым, чтобы он не прокис раньше времени.

Пока первая курица кипела в чайнике, мы успели принять по аперитивчику в предвкушении курятины. Потом мы ее съели, засунули в чайник следующую и все заснули. Пока мы спали, вода из чайника выкипела и по коридорам понесло запахом жареной курицы, у всей



Остальной морской братии слюнки потекли... Но дело не в этом, а в том, что по гостинице уже давно был объявлен розыск двух девиц — чьих-то «невест». Ребята из морской дружбы перепрыгивали этих девиц по номерам, подвалам и чердакам уже неделю, и администрация с ног сбилась. Даже немецких овчарок приводили. Но ребята не поскупились на трубочный табак и засыпали им все щели. Овчарки чуть было своих собственных руководителей не перекусали. И вот наша судовая администрация и гостиничная администрация делают очередной неожиданный налет.

Входят они в наш номер. Видят, из чайника дым идет, в шкафу что-то трепыхается, мы все спим, а над нами пух летает и перья. Ну, ясно, что в шкафу девицы спрятались. Собрали свидетелей, понятых — все как положено... Знаешь состояние человека, который совсем уже собрался чихнуть? Уже и глаза закрыл, и нос сморщил, и весь уже находился в предвкушении блаженного, желанного чиха, — ан нет, не чихнулось! Вот такое, вероятно, пережили члены поисковой комиссии, когда из шкафа петух вместо девиц выскочил и закукарекал.

Мы глаза продрали, но ничего понять не можем: вокруг много начальства, из чайника черный дым валит, и среди всего этого беспорядка петух летает и кукарекает... Смешно, но именно через этот случай я узнал, что такое полная, стопроцентная психическая несовместимость...

У меня училище наконец закончено было, диплом в кармане, а меня за этого петуха еще на один рейс — плотником, да еще артельным в придачу выбрали. И загремел я в тропики на казаке «Степане Разине» — питьевую воду мерить и муку развешивать.

Ладно. Гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Что это было за мясо — я и сейчас не знаю, может быть зебры. Или, такое предположение тоже было, — бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру в холодильнике, то есть в холодной артелке. Каждый день в восемь тридцать спускался ко мне в артелку, нюхал бегемотину и смотрел температуру. И так меня к своим посещениям приучил — а пунктуальности он был беспримерной, — что я по нему часы проверял.

Звали чифа Эдуард Львович, фамилия — Саг-Сагайло.

Никогда в жизни я не сажал людей в холодильник специально. Грешно сажать человека в холодильник и выключать там свет, даже если человек тебе друг-приятель. А если ты с ним вообще мало знаком и он еще твой начальник, то запира́ть человека на два часа в холодильнике просто глупо.

Еще раз подчеркиваю, что произошло все это совершенно случайно, тем более что ни на один продукт в нашем холодильнике Саг-Сагайло не походил. Он был выше среднего роста, белокурый, жилистый, молчаливый, а хладнокровие у него было ледяное. Мне кажется, Эдуард Львович происходил из литовских князей, потому что он каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и закрыл. И он там в темноте два часа опускал и поднимал двадцатикилограммовую бочку с комбижиром, чтобы не замерзнуть. И это помогло ему отделаться легким воспалением легких, а не чихоткой, например.

Конфуз произошел следующим образом. У Сагайлы в каюте лопнула какая-то труба, он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обнюхивание бегемотины минут на пять.

Я в артелке порядок навел, подождал чифа — его нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел — а они у нас были в центре артелки, — потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же как в цирке у клоунов: следом за мной вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол — и он за угол. Я за угол — и он за угол... И мы друг друга не видели. И не слышали, потому что в холодной артелке специально для бегемотины Эдуард Львович еще вентиляторы установил, и они шумели, ясное дело.

— Ниточкин, — спрашивает Эдуард Львович, когда через два часа я выпустил его в тропическую жару и он стряхивал с рубашки и галстука иней. — Вы читали Шиллера?

Я думал, он мне сейчас голову мясным топором отхватит, а он только этот вопрос задал.

— Нет, — говорю, — трудное военное детство, не успел.

— У него есть неплохая мысль, — говорит Саг-Сагайло хриплым, морозным, новогодним голосом. — Шиллер считал, что против человеческой глупости бессильны даже боги. Это из «Валленштейна». И это касается только меня, товарищ Ниточкин.

— Вы пробовали кричать, когда я свет погасил? — спросил я.

— Мы не в лесу, — прохрипел Эдуард Львович.

Несколько дней он болел, следить за бегемотиной стало некому — я в этом деле плохо соображал. Короче говоря, мясо протухло. Команда, как положено, хай подняла, что кормят плохо, обсчитывают и так далее. И все это на старпома, конечно, валится.

Тут как раз акулу поймали. Ну, обычно наши моряки акуле в плавнике дыру сделают и бочку принайтуют или пару акул хвостами свяжут и спорят, какая у какой первая хвост вырвет с корнем. А здесь я вспомнил, что в столице, в ресторане «Пекин», пробовал жевать второе из акульих плавников — самое дорогое было блюдо в меню. Уговорил кока, и он акулу зажарил. И получилось удачно — сожрали ее вместе с плавниками. Два дня жрали. И Эдуард Львович со мной даже пошучивать начал.

А четвертый штурман, сопливый мальчишка, вычитал в лонци, что акулу мы поймали возле острова, на котором колония прокаженных. И трупы прокаженных выкидывают на съедение местным акулам. Получалось, что бактерии проказы прямым путем попали в наши желудки. Кое-кого тошнить стало, кое у кого температура поднялась самым серьезным образом, кое-кто сачкует и на вахту не выходит под этим соусом.

Капитан запрашивает пароходство, пароходство — Москву, Москва — главных проказных специалистов мира. Скандал на всю Африку и Евразию. И Саг-Сагайле строгача вlepили за эту проклятую акулу.

Вечером прихожу к нему в каюту, чтобы объяснить, что акул любых можно есть, что у них невосприимчивость к микробам, они раком не болеют. Я все это сам читал под заголовком: «На помощь, акула!» Чтобы акулы помогли нам побороть рак. И что надо обо всем этом сообщить в пароходство и снять несправедливый строгач.

Эдуард Львович все спокойно выслушал и говорит вежливо:

— Ничего, товарищ Ниточкин. Не беспокойтесь за меня, не расстраивайтесь. Переживем и выговор — первый он, что ли?

Но в глаза мне смотреть не может, потому что не испытывает желаний мои глаза видеть.

Везли мы в том рейсе куда-то ящики со спортивным инвентарем, в том числе со штангами. Качнуло крепко, не-

сколько ящиков побилось, пришлось нам ловить штанги и крепить в трюмах. А я когда-то тяжелой атлетикой занимался, дай, думаю, организую секцию тяжелой атлетики, а перед приходом в порт заколотим эти ящики — и все дело. Капитан разрешил. Записались в мою секцию пять человек: два моториста, электрик, камбузник. И... Саг-Сагайло записался.

Пришел ко мне в каюту и говорит:

— Главное в нашей морской жизни — не таить чего-нибудь в себе. Я, должен признаться, испытываю к вам некоторое особенное чувство. Это меня гнетет. Если мы вместе позанимаемся спортом, все разрядится.

Ну, выбрали мы хорошую погоду, вывел я атлетов на палубу, посадил всех в ряд на корточки и каждому положил на шею по шестидесятикилограммовой штанге — для начала. Объяснил, что так производится на первом занятии проверка потенциальных возможностей каждого. И команду:

— Встать!

Ну, мотористы кое-как встали. Камбузник просто упал. Электрик скинул штангу и покрыл меня матом. А Саг-Сагайло продолжает сидеть, хотя я вижу, что сидеть со штангой на шее ему уже надоело и он хотел бы встать, но это у него не получается, и глаза у него начинают вылезать на лоб.

— Мотористы! — команду ребятам. — Снимай штангу с чифа! Живо!

Он скрипнул зубами и говорит:

— Не подходить!

А дисциплину, надо сказать, этот вежливый старпом держал у нас правильную. Ослушаться его было не просто.

Он сидит. Мы стоим вокруг.

Прошло минут десять. Я послал камбузника за капитаном. Капитан пришел и говорит:

— Эдуард Львович, прошу вас, бросьте эти штучки, вылезайте из-под железа: обедать пора.

Саг-Сагайло отвечает:

— Благодарю вас, я еще не хочу обедать. Я хочу встать. Сам.

Тут помполит явился, набросился, ясное дело, на меня, что я чужие штанги вытащил.

Капитан, не будь дурак, бегом в рубку и играет водяную тревогу. Он думал, чиф штангу скинет и побежит на мостик. А тот, как строевой конь, услышавший сигнал

горниста, вострепнулся весь — и встал! Со штангой встал! Потом она рухнула с него на кап машинного отделения, и получилась здоровенная вмятина. За эту вмятину механик пилил старпома до самого конца рейса...

Ты не хуже меня знаешь, что старпом может матроса в порошок стереть, жизнь ему испортить. Эдуарда Львовича при взгляде на меня тошнило, как матросов от прокаженной акулы, а он так ни разу голоса на меня и не повысил. Правда, когда я уходил с судна, он мне прямо сказал:

— Надеюсь, Петр Иванович, судьба нас больше никогда не сведет. Уж вы извините меня за эти слова, но так для нас было бы лучше. Всего вам доброго.

Прошло несколько лет, я уже до второго помощника вырос, потом до третьего успел свалиться, а известно, что за одного битого двух небитых дают, то есть стал я уже более-менее неплохим специалистом.

Вызывают меня из отпуска в кадры, суют билет на самолет: вылетай в Тикси немедленно на подмену — там третий штурман заболел, а судно на отходе. Дело привычное — дома слезы, истерика, телеграммы вдогонку. Добрался до судна, представляюсь старпому, спрашиваю:

— Мастер как? Спокойный или дергает зря? — Ну, сам знаешь эти вопросы. Чиф говорит, что мастер — удивительного спокойствия и вежливости человек. У нас, говорит, буфетчица — отвратительная злющая старуха, въедливая, говорит, карга, но капитан каждое утро ровно в восемь интересуется ее здоровьем.

Стало мне тревожно.

— Фамилия мастера?

— Саг-Сагайло.

Свела судьба. И почувствовал я себя в некотором роде самолетом: заднего хода ни при каких обстоятельствах дать нельзя. В воздухе мы уже, летим.

Не могу сказать, что Эдуард Львович расцвел в улыбке, когда меня увидел. Не могу сказать, что он, например, просиял. Но все положенные слова взаимного приветствия сказал. У него тоже заднего хода не было: подмена есть подмена. Ладно, думаю. Все ерунда, все давно быльем поросло. Надо работать хорошо — остальное наладится.

Осмотрел свое хозяйство. Оказалось, только один целый бинокль есть, и тот без ремешка. Обыскал все ящики — нет ремешков. Ладно, думаю, собственный для начала не пожалею, отменный был ремешок, в Сирии поку-

пал. Я его разрезал вдоль и прикрепил к биноклю. Нельзя, если на судне всего один нормальный бинокль — и без ремешка, без страховки. Намотал этот проклятый ремешок на переносицу этому проклятому биноклю по всем правилам и бинокль в пенал засунул.

Стали сниматься Саг-Сагайло поднялся на мостик.

Я жду: заметит он, что я ремешок привязал, или нет? Похвалит или нет? Ну, сам штурман, знаешь, как все это на новом судне бывает. Саг-Сагайло не глядя, привычным капитанским движением протягивает руку к пеналу, ухватывает кончик ремешка и выдергивает бинокль на свет божий. Ремешок, конечно, раскручивается, и бинокль — шмяк об палубу. И так ловко шмякнулся, что один окуляр вообще отскочил куда-то в сторону.

Саг-Сагайло закрыл глаза и медленно отсчитал до десяти в мертвой тишине, потом вежливо спрашивает:

— Кто здесь эту самостоятельность проявил? Кто эту сыромятную веревку привязал и меня не предупредил?

Я догнал окуляр где-то уже в ватервейсе, вернулся и доложил, что хотел сделать лучше, что единственный целый бинокль использовать без ремешка было опасно...

Саг-Сагайло еще до десяти отсчитал и говорит:

— Ничего, Петр Иванович, всяко бывает. Не расстраивайтесь. Доберемся домой и без бинокля. Или, может, на ледоколах раздобудем за картошку.

И хотя он сказал это вежливым и даже, может быть, мягким голосом, но на душе у меня выпал какой-то ссадок.

Дали ход, легли на Землю Унге.

Эдуард Львович у правого окна стоит, я — у левого.

Морозец уже над Восточно-Сибирским морем. Стемнело. Погода маловетренная. И в рубке тихо, но тишина для меня какая-то зловещая.

Все мы знаем, что если на судне происходит одна неприятность, то жди еще двух — до ровного счета. Чувствую: вот-вот опять что-нибудь случится. Но стараюсь волевым усилием отвлекать себя от этих мыслей.

Через час Саг-Сагайло похлопал себя по карманам и ушел с мостика вниз.

— Плывите, — говорит, — тут без меня.

Остался я на мостике один с рулевым и думаю: что бы сделать полезного? А делать ровным счетом нечего: берегов уже нет, радиомаяков нет, небес нет, льдов пока еще тоже нет. В окна, думаю, дует сильно. Надо, думаю, окно капитанское закрыть. И закрыл.

Здесь какая мелочь: окно там закрыл человек или, наоборот, открыл, но когда образуется между людьми эта психическая несовместимость, то мелочь вовсе не мелочь.

Так через полчаса появляется Эдуард Львович и, попыхивая трубкой, шагает своими широкими, решительными шагами к правому окну, к тому, что я закрыл, чтобы не дуло.

Я еще успел отметить, что когда Саг-Сагайло старпомом был, то курил сигареты, а стал капитаном — трубку завел. Только я успел это отметить, как Саг-Сагайло с полного хода высовывается в закрытое окно. То есть высунуться-то ему, естественно, не удалось. Он только втыкается в стекло-сталинит лбом и трубкой. Из трубки ударил столб искр, как из паровоза дореволюционной постройки. А я — тут уж нечистая сила водила моей рукой — перевожу машинный телеграф на «полный назад». Звонки, крик в рубке, и попахивает паленым волосом.

Потом затихло все, и только слышно, как Саг-Сагайло считает: «...восемь, и девять, и десять». Потом негромко спрашивает:

— Петр Иванович, это вы окно закрыли? Разве я вас об этом просил?

А я вижу, что у него вокруг головы во мраке рубки возникает как бы сияние, такое, как на древних иконах. Короче говоря, вижу я, что Эдуард Львович Саг-Сагайло вроде бы горит. И находится он в таком вообще наэлектризованном состоянии, что пенным огнетушителем тушить его нельзя, а можно только углекислотным.

Я ему обо всем этом говорю. И мы с рулевым накидываем ему на голову сигнальный флаг: других тряпок в рулевой рубке, конечно, и днем с огнем не найдешь.

Потом я поднял трубку, открыл капитанское окно и тихо забился в угол за радиолокатор. А Саг-Сагайло осматривается вокруг и время от времени хватается за обгоревшую голову. Наконец спрашивает каким-то не своим голосом:

— Скажите, товарищ Ниточкин, мы назад плывем или вперед?

И тут только я понимаю, что телеграф продолжает стоять на «полный назад».

Минут через пятнадцать после того, как мы дали нормальный ход, Эдуард Львович говорит:

— Петр Иванович, вам один час остался, море пустое; я думаю, вы без меня обойдетесь. Я чувствую себя несколько нездоровым. Передайте по вахте, чтобы меня до утра не трогали: я снотворное приму.

И ушел, потому что, очевидно, уже физически не мог рядом со мной находиться.

И такая меня тоска взяла — хоть за борт прыгай. И он человек отличный, и я только хорошего хочу, а получается у нас черт знает что. Ведь не докажешь, что я все из добрых побуждений делал; что в холодильнике его случайно закрыл; что штангу действительно на шею кладут, когда в атлеты принимают; что в окно дуло и ветер рулевому мешал вперед смотреть и что я свой собственный, за два кровных фунта купленный ремешок загубил, чтобы бинокль застраховать... Не объяснишь, не докажешь этого никому на свете.

На следующий день все у меня валилось из рук в полном смысле этих слов. Чумичка, например, за обедом шлепнулась обратно в миску с супом, и брызги рыжего томатного жира долетели до ослепительной рубашки Эдуарда Львовича. Он встал и молча ушел из кают-компании.

Спустился я в каюту и попробовал с ходу протиснуться в иллюминатор, но Мартин Иден из меня не получился, потому что иллюминатор, к счастью, оказался маловат в диаметре. Был бы спирт, напился бы я. И пароход чужой, пойти не к кому поплакаться в жилетку, излить душу. Хотя бы Сагайло на меня ногами топал, орал, в цепной ящик посадил, как злого хулигана и вредителя, — и то мне бы легче стало...

А он на глазах тощает, седеет, веко у него дергается, когда я в поле зрения попадаю, но все так же говорит: «Доброе утро, Петр Иванович! Сегодня в лед войдем, вы повнимательнее, пожалуйста. Здесь на картах пустых мест полко, промеров еще никогда не было, за съемной навигационной обстановкой следите, ее для себя сезонные экспедиционники ставят, и каждый огонь, прошу вас, секундомером проверяйте».

И знаешь, как сказал Шиллер, с дураками бессильны даже боги. Ведь я уже опытным штурманом был, черт побери, а как упомянул Эдуард Львович про секундомер, так я за него каждую секунду хвататься стал — от сверхстарательности. Звезда мелькнет в тучах на горизонте, а у меня уже в руках секундомер тикает, и я замеряю про-



блески Альфы Кассиопеи. Пока я Кассиопею измеряю, мы в льдину втыкаемся и белых медведей распугиваем, как воробьев.

Штурмана, знаешь, народ ехидный. Вид делают сочувствующий, сопонимающий, а сами, подлецы, радуются: еще бы! — каждую вахту третьего штурмана на мостике можно вроде как цирк бесплатно смотреть, оперетту, я бы даже сказал — кордебалет! Тюлени и те из полыньи выглядывали, когда я на крыло мостика выходил.

Ну-с, пробиваемся мы к северному мысу Земли Унге сквозь льды и туманы. Вернее, пробивается капитан Саг-Сагайло, а мы только свои вахты стоим. Вышли на видимость мыса Малый Унге, там огонь мигает. Я, конечно, хватъ секундомер. Эдуард Львович говорит:

— Петр Иванович, здесь два съемных огня может быть. У одного пять секунд, у другого — восемь.

А я только один огонь вижу. Руки трясутся, как с перепоя. Замерил период — получается пять секунд. Дай, думаю, еще раз проверю. Замерил — двенадцать получается. Я еще раз — получается восемь. Я еще раз — двадцать две.

Эдуард Львович молчит, меня не торопит, не ругается. Только видно по его затылку, как весь он напряжен и как ему совершенно необходимо услышать от меня характеристику этого огня. Справа нас ледяное поле поджимает, слева — стамуха под берегом сидит, и «стоп» давать нельзя: судно руля не слушает.

— Эдуард Львович, — говорю я. — Очевидно, секундомер испортился или огни в створе. Все разные получаются характеристики.

— Дайте, — говорит, — секундомер мне, побыстрее, пожалуйста!

Дал я ему секундомер. Он вынимает из рта сигарету (после случая с закрытым окном Эдуард Львович опять на сигареты перешел) и той же рукой, которой держит сигарету, выхватывает у меня секундомер. И — знаешь, как отсчитывают секунды опытные люди — каждую секунду вместе с секундомером рукой сверху вниз: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!»

— Пять! — и широким жестом выкидывает за борт секундомер.

Это, как я уже потом догадался, он хотел выкинуть окурок сигаретный, а от напряжения и лютой ненависти

ко мне выкинул с окурком и секундомер. Выплеснул, как говорится, ребенка вместе с водой. Выплеснул — и уставился себе в руку: что, мол, такое — только что в руке секундомер тикал, и вдруг ничего больше не тикает. Честно говоря, здесь его ледяное хладнокровие лопнуло. Мне даже показалось, что оно дало широкую трещину.

И я от кошмара происходящего машинально говорю:

— Зачем вы, товарищ капитан, секундомер за борт выкинули? Он восемьдесят рублей стоит и за мной числится.

— Знаете, — говорит Эдуард Львович как-то задумчиво, — я сам не знаю, зачем его выкинул. — И как заорет: — Вон отсюда, олух набитый! Вон с мостика, акула! Вон!!!

Пока все это происходило, мы продолжаем машинами работать. И вдруг — трах! — летим все вместе куда-то вперед по курсу. Кто спиной летит, кто боком, а кому повезло, тот задом вперед летит.

Самое интересное, что Эдуард Львович в этот момент влетел в историю человечества и обрел бессмертие. Потому что банка, на которую мы тогда сели, теперь официально на всех картах называется его именем: банка Саг-Сагайло.

Ну-с, дальше все происходит так, как на каждом порядочном судне происходить должно, когда оно село на мель. Экипаж продолжает спать, а капитан принимает решение спустить катер и сделать промеры, чтобы выбрать направление отхода на глубину.

Мороз сильный, и мотор катера, конечно, замерз — не заводится. Нужна горячая вода. Чтобы принести воду, нужно ведро. Ведро у боцмана в кладовке, а ключи он со сна найти не может; буфетчица свое ведро не дает и так далее и тому подобное.

Я эти мелкие, незначительные подробности запомнил, потому что мастер с мостика меня выгнал, а спать мне как-то не хотелось.

С мели нас спихнуло шедшее навстречу ледяное поле: как жажнуло по скуле, так мы и вздохнули опять легко и спокойно. Все вздохнули, кроме меня, конечно.

Подходит срок на очередную вахту идти, а я не могу, и все! Сижу, валерьянку пью. Элениума тогда ещё не было. Стук в дверь.

— Кого еще несет?! — ору я. — Пошли вы к такой-то и такой-то матери!

Входит Эдуард Львович.

Я только рукой махнул, и со стула не встал, и не извинился.

— Мне доктор сказал, — говорит Эдуард Львович, — у вас бутылка с валерьянкой. Накапайте и мне сколько там положено и еще немного сверх нормы.

Накапал я ему с четверть стакана. Он тяпнул, говорит:

— Я безобразно вел себя на мостике, простите. И вам на вахту пора.

Еще немного — и зарыдал бы я в голос.

И представляешь выдержку этого человека, если до самого Мурманска он ни разу не заглянул мне через плечо в карту.

Капитаны бывают двух видов. Один вид непрерывно орет: «Штурман, точку!» И все время дышит тебе в затылок, смотрит, как ты транспортир вверх ногами к линейке прикладываешь. А другой специально глаза в сторону отводит, когда ты над картой склонился, чтобы не мешать даже взглядом. И вот Эдуард Львович был, конечно, второго вида. И в благодарность за всю его деликатность, когда мы уже швартовались в Мурманске, я защемил ему большой палец правой руки в машинном телеграфе. А судно «полным назад» отработывало, и высвободить палец из рукоятной защелки Эдуард Львович не мог, пока мы полностью инерцию не погасили. И его на санитарной машине сразу же увезли в больницу...

Вот желают нам, морякам, люди «счастливого плавания», говорю уже я, а не Петя Ниточкин. Из этих «счастливых плаваний» самый захудалый моряк может трехкомнатную квартиру соорудить — такое количество пожеланий за жизнь приходится услышать. Ежели каждое «счастливого плавания» представить в виде кирпича, то, пожалуй, и дачу можно построить. Но когда добрые люди желают нам счастья в рейсе, они подразумевают под этим счастьем отсутствие штормов, туманов и айсбергов на курсе и знаменитые три фута чистой воды под килем. А все шторма и айсберги — чепуха и ерунда рядом с психическими барьерами, которые на каждом новом судне снова, и снова, и снова преодолеваешь, как скаковая лошадь на ипподроме...

# *Петр Ниточкин к вопросу*

## *о матросском коварстве*

Нелицемерно судят наше творчество настоящие друзья или настоящие враги. Только они не боятся нас обидеть. Но настоящих друзей так же мало, как настоящих, то есть цельных и значительных, врагов

Первым слушателем одного моего трагического сочинения, естественно, был Петя Ниточкин.

Я закончил чтение и долго не поднимал глаз. Петя молчал. Он, очевидно, был слишком потрясен, чтобы сразу заняться литературной критикой. Наконец я поднял на друга глаза, чтобы поощрить его взглядом.

Друг беспробудно спал в кресле.

Он никогда, черт его побери, не отличался тонкостью, деликатностью или даже элементарной тактичностью.

Я вынужден был разбудить друга.

— Отношения капитана с начальником экспедиции ты описал замечательно! — сказал Петя и неуверенно дернул себя за ухо.

— Свинья, — сказал я. — Ни о каких таких отношениях нет ни слова в рукописи.

— Хорошо, что ты напомнил мне о свинье. Мы еще вернемся к ней. А сейчас — несколько слов о пользе взаимной ненависти начальника экспедиции и капитана судна. Здесь мы видим позитивный аспект взаимной неприязни двух руководителей. В чем философское объяснение? В хорошей ненависти заключена высшая степень единства противоположностей, Витус. Как только начальник экспедиции и капитан доходят до крайней степени ненависти друг к другу, так Гегель может спать спокойно — толк будет! Но есть одна деталь: ненависть должна быть животрепещущей. Старая, уже с запашком, тухлая, короче говоря, ненависть не годится, она не способна довести противоположности до единства.

— Медведь ты, Петя, — сказал я. — Из неудобного положения надо уметь выходить изящно.

— Хорошо, что ты напомнил мне о медведе. Мы еще вернемся к нему. Вернее, к медведице. И я подарю тебе новеллу, но, черт меня раздери, у тебя будет мало шансов продать ее даже на пункт сбора вторичного сырья.

Ты мной питаешься, Витус. Ты, как и моя жена, не можешь понять, что человеком нельзя питаться систематически. Человеком можно только время от времени закусывать. Вполне, впрочем, возможно, что в данное время и тобой самим уже с хрустом питается какой-нибудь твой близкий родственник или прицельно облизывается дальний знакомый...

Сколько уже лет я привыкаю к неожиданности Петиных ассоциаций, но привыкнуть до конца не могу. Они так же внезапны, как поворот стаи кальмаров. Никто на свете — даже птицы — не умеет поворачивать «все вдруг» с такой ошеломляющей неожиданностью и синхронностью.

— Кальмар ты, Петя, — сказал я. — Валяй свою новеллу.

Уклонившись от роли литературного критика, Петя оживился.

— Служил я тогда на эскадренном миноносце «Очаровательный» в роли старшины рулевых, — начал он. — И была там медведица Эльза. Злющая. Матросики Эльзу терпеть не могли, потому что медведь не кошка. Уважать песочек медведя не приучишь. Если ты не Дуров. И убирали за ней, естественно, матросы и хотели от Эльзы избавиться, но командир эсминца любил медведицу больше младшей сестры. Я в этом убедился сразу по прибытии на «Очаровательный».

Поднимаюсь в рубку и замечаю безобразие: вокруг нактоуза путевого магнитного компаса обмотана старая, в чернильных пятнах, звериная шкура. Знаешь ли ты, Витус, что такое младший командир, прибывший к новому месту службы? Это йог высшей квалификации, потому что он все время видит себя со стороны. Увидел я себя, старшину второй статьи, со стороны, на фоне старой шкуры, а вокруг стоят подчиненные, ну и пхнул шкуру ботинком: «Что за пакость валяется? Убрать!» Пакость разворачивается и встает на дыбки. Гналась за мной тогда Эльза до самого командно-дальномерного поста — выше на эсминце не удерешь. В КДП я задрался и сидел там, пока меня по телефону не вызвали к командиру корабля. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и я смог явиться по вызову.

— Плохо ты, старшина, начинаешь, — говорит мне капитан третьего ранга Поддубный. — Выкинь из башки Есенина.

— Есть выкинуть из башки Есенина! — говорю я, как и положено, но пока совершенно не понимаю, куда кап-три клонит.

Осматриваюсь тихонько.

Нет такого матроса или старшины, которому неинтересно посмотреть на интерьер командирской каюты. Стилль проявляется в мелочах, и, таким образом, можно сказать, что человек — это мелочь. Самой неожиданной мелочью в каюте командира «Очаровательного» была большая фотография свиньи. Висела свинья на том месте, где обычно висит парусник под штормовыми парусами или мертвая природа Налбандяна.

— А вообще-то читал Есенина? — спрашивает Поддубный.

— Никак нет! — докладываю на всякий случай, потому что четверть века назад Есенин был как бы не в почете.

— Этот стихотворец, — говорит командир «Очаровательного», — глубоко и несправедливо оскорблял животных. Он обозвал их нашими меньшими братьями. Ему наплевать было на теорию эволюции. Он забыл, что человеческий эмбрион проходит в своем развитии и рыб, и свиней, и медведей, и обезьян. А если мы появились после животных, то скажи, старшина, кто они нам — младшие или старшие братья?

— Старшие, товарищ капитан третьего ранга!

— Котелок у тебя, старшина, варит, и потому задам еще один вопрос. Можно очеловечивать животных?

— Не могу знать, товарищ капитан третьего ранга!

— Нельзя очеловечивать животных, старшина. Случается, что и старшие братья бывают глупее младших. Возьми, например, Ивана-дурака. Он всегда самый младший, но и самый умный. И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивать медведя безнравственно. Следует, старшина, озверивать людей. Надо выяснять не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутангского еще остается в человеке. Понятно я говорю?

— Так точно!

— Если ты бьешь глуповатого старшего брата ботинком в брюхо, я имею в виду Эльзу, которая тебе даже и не старший брат, а старшая сестра, то ты не человеческий старшина второй статьи, а рядовой орангутанг. Намек понял?

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга! Разрешите вопрос?

— Да.

— Товарищ капитан третьего ранга, на гражданке мне пришлось заниматься свиноводством, — говорю я и здесь допускаю некоторую неточность, ибо все мое свиноводство заключалось в том, что я украл поросенка в Бузулуке и сожрал его чуть ли не живьем в сорок втором году. — Интерес к свиноводству, — продолжаю я, — живет в моей душе и среди военно-морских тягот. Какова порода хряка, запечатленного на вашем фото?

— Во-первых, это не хряк, а свиноматка, — говорит Поддубный и любовно глядит на фото. — Правда, качество снимка среднее. Он сделан на острове Гогланд в сложной боевой обстановке. Эту превосходную свинью звали Машкой. Я обязан ей жизнью. Когда транспорт, на котором я временно покидал Таллинн, подорвался на mine и уцелевшие герои поплыли к голубой полоске далекой земли, я, товарищ старшина, вспомнил маму. В детские годы мама не научила меня плавать. Причиной ее особых страхов перед водой был мой маленький рост. Да, попрощался я с мамой не самым теплым словом и начал приемку балласта во все цистерны разом. И тут рядом выныривает Машка. Я вцепился ей в хвост и через час собирал бруснику на Гогланде. Вот и все. Машку команда транспорта держала на мясо. Но она оказалась для меня подарком судьбы. Вообще-то, старшина, скажу вам, что подарки я терпеть не могу, потому что любой подарок обязывает. А порядочный человек не любит лишних обязательств. Но здесь делать было нечего. Я принял на себя груз обязательства: любить старших сестер и братьев. Кроме этого, я не ем свинины. Итак, старшина, устроит вас месяц без берега за грубость с медведицей?

— Никак нет, товарищ командир. Я принял ее за старую шкуру, уже неодушевленную и...

— Конечно, — сказал командир. — Большое видится на расстоянии, а рубка маленькая... Две недели без берега! И можете не благодарить!

Я убыл из командирской каюты без всякой обиды. Есть начальники, которые умеют наказывать весело, без внутренней, вернее, без нутряной злобы. Дал человек клятву защищать животных и последовательно ее выполняет. Он мне даже понравился. Лихой оказался моряк и вояка, хотя, действительно, ростом не вышел. Таких ма-

леньких мужчин я раньше не встречал. На боевом мостике ему специально сколотили ящик-пьедестал, иначе он ничего впереди, кроме козырька своей фуражки, не видел. На своем пьедестале командир во время торпедных стрельб мелом записывал необходимые цифры — аппаратные углы, торпедные треугольники и все такое прочее. Соскочит с ящика, запишет — и обратно на ящик прыг. И так всю торпедную атаку он прыг-скок, прыг-скок. Очень ему было удобно с этим пьедесталом. Иногда просто ногу поднимет и под нее заглядывает, как в записную книжку. И в эти моменты он мне собачку у столбика напоминал. Вернее, если следовать его философским взглядам, собачка у столбика напоминала мне его. И теперь еще напоминает. И я твердо усвоил на всю жизнь, что одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что от многолетнего общения морда собаки делается похожей на лицо хозяина. Ерунда. Это лицо хозяина делается похожим на морду его любимой собачки. И пускай кто-нибудь попробует доказать мне обратное! Пускай кто-нибудь докажет, что не Черчилль похож на бульдога, а бульдог на Черчилля! Но дело не в этом. Разговор пойдет о матросском коварстве. Ты читал «Блэк кэт» Джекобса?

— Дело в том, Петя, что я дал себе слово выучить английский к восьмидесяти годам. Этим я надеюсь продлить свою жизнь до нормального срока. А Джекобса у нас почти не переводят.

— Прости, старик, но ты напоминаешь мне не долгожителя, а одного мальчишку-помора. Когда будущий полярный капитан Воронин был еще обыкновенным зуйком, судьба занесла его в Англию на архангельском суденышке. В Манчестере он увидел, как хозяин объясняется с английским купцом. Хозяин показывал на пальцах десять и говорил: «Му-у-у!» Потом показывал пятерню и говорил: «Бэ-э-э!» Это, как ты понимаешь, означало, что привезли они десять холмогорских коров и пять полудохлых от качки овец. «Вот вырасту, стану капитаном, — думал маленький Воронин, — и сам так же хорошо, как хозяин, научусь по-иностранному разговаривать». И как ты умудряешься грузовым помощником плавать?

— А тебе какое дело? Не у тебя плаваю.

— Ладно. Не заводись. У Джекобса есть рассказ, где капитан какой-то лайбы вышвырнул за борт черного кота — любимца команды. Спустя некоторое время пьяный капитан увидел утопленного черного кота спокойно лежа-



щим на койке в своей каюте. Сволочь капитан опять взял черного кота за шкурку и швырнул в штормовые волны, а когда вернулся в каюту, дважды утопленный черный кот облизывался у него на столе. Так продолжалось раз десять, после чего кэп рехнулся. В финале Джекобс вполне реалистически, без всякой мистики, которую ты, Витус, так любишь, объясняет живучесть и непотопляемость черного кота. Оказывается, матросы решили отомстить капитану за погубленного любимца и в первом же порту выловили всех портовых котов и покрасили их чернью. И запускали поштучно к капитану, как только тот надирался шотландским виски. Это и есть матросское коварство.

У нас на «Очаровательном» все было наоборот. Командир Эльзу обожал, а мы мечтали увидеть ее в зоопарке. Нельзя сказать, что идея, которая привела Эльзу в клетку, принадлежала только мне. Как все великие идеи, она уже витала в воздухе и родилась почти одновременно в нескольких выдающихся умах. Но я опередил других потому, что во время химической тревоги, когда на эсминце запалили дымовые шашки для имитации условий, близких к боевым, Эльза перекусила гофрированный шланг моего противогаса. Злопамятная стерва долго не находила случая отомстить за пинок ботинком. И наконец отомстила. После отбоя тревоги дым выходил у меня из ушей еще минут пятнадцать. С этого момента я перестал есть сахар за утренним чаем. Первым последовал моему примеру боцман, который любил Эльзу не меньше меня. Потом составиля целый подпольный кружок диабетиков. Сахар тщательно перемешивался с мелом и в таком виде выдавался Эльзе. Через неделю она одним взмахом языка слизнула полкило чистого мела без малейшей примеси сахара, надеясь, очевидно, на то, что в желудке он станет сладким. Все было рассчитано точно. Твердый условный рефлекс на мел у Эльзы был нами выработан за сутки до зачетных торпедных стрельб. Надо сказать, что по боевому расписанию Эльза занимала место на мостике. Ей нравилось смотреть четкую работу капитана третьего ранга Поддубного. А наш вегетарианец действительно был виртуозом торпедных атак. И когда «Очаровательный» противолодочным зигзагом несся в точку залпа, кренясь на поворотах до самой палубы, там, на мостике, было на что посмотреть.

В низах давно было известно, что очередные стрельбы будут не только зачетными, но и показательными. Сам

командующий флотом и командиры хвостовых эсминцев шли в море на «Очаровательном», чтобы любоваться и учиться.

Погодка выдалась предштормовая. И надо было успеть отстреляться до того, как поднимется волна.

— Командир, — сказал адмирал нашему командиру, взойдя по трапу и пожимая ему руку перед строем экипажа. — Я мечтаю увидеть настоящую торпедную стрельбу, я соскучился по лихому морскому бою!

И он увидел лихой бой!

Мы мчались в предштормовое море, влипнув в свои боевые посты, как мухи в липкую бумагу.

Командир приплясывал на ящике. Ему не терпелось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре.

Эльза сидела за выносным индикатором кругового обзора и чихала от встречного ветра.

Адмирал и ученики-командиры стояли тесной группой и кутались в регланы.

Точно в расчетное время радары засекали эсминцев, и Поддубный победно проорал: «Торпедная атака!.. Аппараты на правый борт!»

Турбины взвыли надрывно. Секунды начали растягиваться, как эспандеры. И внутри этих длинных секунд наш маленький командир с акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-скок — и команда, прыг-скок — и команда. Команды Поддубного падали в микрофон четкие и увесистые, как золотые червонцы. Синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, эпсилон, сигма, фи и пси арабской вязью покрывали пьедестал. Меловая пыль летела во влажные ноздри нашей старшей сестры Эльзы. Минуты за три до точки залпа Эльза спокойно прошла через мостик, дождалась, когда командир очередной раз спрыгнул со своего ящика-пьедестала, чтобы лично глянуть на экран радара, и единым махом слизнула с ящика все данные стрельбы, всякие аппаратные углы и торпедные треугольники.

Атака завалилась с такой безнадежностью, как будто из облаков на «Очаровательный» спикировали разом сто «юнкерсов».

Червонцы команд по инерции еще несколько секунд вываливались из Поддубного, но все с большими и большими паузами. Его остекленевший взгляд, тупо застывший на чистой, блестящей поверхности ящика-пьедеста-

ла, выражал детское удивление перед тайнами окружающего мира. Хотя турбины надрывались по-прежнему, хотя эсминец порол предштормовое море на тридцати узлах, хотя флаги, вымпелы и антенны падали в небеса оглушительными очередями, на мостике стало тихо, как в ночной аптеке. И в этой аптекарской тишине Эльза с хрустом откусила кусок мела, торчащий из кулака Поддубного.

— Отставить атаку! — заорал адмирал. — Куда я попал! Зверинец!

И здесь наш маленький вегетарианец или очеловечил медведицу, или заметно озверел сам. И правильно, я считаю, сделал, когда всадил сапог в ухо Эльзе. Медведица пережила такие же, как и хозяин, мгновения чистого детского удивления перед подлыми неожиданностями окружающего мира. Потом взвилась на дыбки и закатила Поддубному оплеуху. Лихой бой на борту эскадренного миноносца «Очаровательный» начался. Точно помню, что и в пылу боя Поддубный сохранял остатки животности и джентльменства; ибо ниже пояса он старшую сестру не бил, хотя был на голову ниже медведицы, и, чтобы попасть ей в морду, ему приходилось подпрыгивать. Эльза же чаще всего махала лапами над его фуражкой, потому что эсминец кренился и сохранять равновесие в боксерской стойке на двух задних конечностях ей было трудно. А кренился «Очаровательный» потому, что на руле стоял я, старшина рулевых, и, когда командиру становилось туго, я легонько переключал руля. На тридцати узлах эсминец отзывается на несколько градусов руля с такой быстротой, будто головой кивает. И таким маневрированием я не давал Эльзе загнать командира в угол. Мне, честно говоря, хотелось продлить незабываемое зрелище.

Адмирал и ученики-командиры наблюдали бой, забравшись кто куда, но все находились значительно выше арены. Сигнальщики висели на фалах в позах шестимесячных человеческих эмбрионов, то есть скорчившись от сумасшедшего хохота. Командир БЧ-3 и вахтенный офицер самоотверженно пытались отвлечь Эльзу на себя и выступали, таким образом, в роли пикадоров. Но Эльза была упряма и злопамятна, как сто тысяч обыкновенных женщин. Ее интересовал только предатель командир.

Тем временем эсминец-цель, зная, что по нему должен был показательно стрелять лучший специалист флота и что на атакующем корабле находится командующий, ре-

шил, что отсутствие следов торпед под килем означает только безобразное состояние собственной службы наблюдения. Признаться в этом командир цели, конечно, не считал возможным. И доложил по рации адмиралу, что у него под килем прошло две торпеды, но почему-то до сих пор эти торпеды не всплыли, и он приступает к планомерному поиску. Учитывая то, что мы вообще не стреляли, возможно было предположить, что в районе учений находится подводная лодка вероятного противника и что началась третья мировая война. В сорок девятом году войной пахивало крепко, и адмирал немедленно приказал накинуть на Эльзу чехол от рабочей шлюпки и намотать на нее бухту пенькового троса прямого спуска. Эту операцию боцманская команда производила с садистским удовольствием. Затем адмирал объявил по флоту готовность номер один и доложил в Генштаб об обнаружении неизвестной подводной лодки. Совет Министров собрался на...

— Петя, ты врешь, но не завирайся. Ведешь себя, как ветеран на встрече в домоуправлении... Что было с Эльзой?

— Когда Поддубному вкатили строгача, он на нее смотреть спокойно уже не мог. Списали в подшефную школу. Там она дала прикурить пионерам. Перевели в зверинец. Говорят, медведь, который ездит на мотоцикле в труппе Филатова, ее родной внук. Если теперешние разговоры о наследственности соответствуют природе вещей, то рано или поздно этот мотоциклист заедет на купол цирка и плюхнетя оттуда на флотского офицера, чтобы отомстить за бабушку. Я лично в цирк не хожу уже двадцать лет, хотя давным-давно демобилизовался.

***Петр Иванович Ниточкин***

***к вопросу о морских традициях***

«Дорогой товарищ! Ты, верно, уже седеешь. Но, прости старика, для меня ты навсегда останешься мальчишкой. Пишу тебе и твоим товарищам, покинувшим в силу разных причин наш славный Военно-Морской Флот, и постариковски боюсь ослезиться.

Для меня ты навсегда останешься подростком, как и все твои однокашники. Вы все для меня подростки, сироты или наполовину сироты, опаленные пожаром Великой Отечественной войны. Вы для меня славные сыны полков и кораблей, юнги и воспитанники детских домов, куда попадали по причине гибели отцов и матерей, или они сражались на фронтах, ваши родители. И вот партия и правительство проявили о вас заботу, создали суворовские и нахимовские училища, а для ребят старше пятнадцати лет было создано Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Здание, которое отвели под это училище, было все разбито бомбами и снарядами, и там ничего, кроме искореженных взрывами железных коек, не было, и вы ютились вроде как под открытым небом. И вот тогда начальник училища капитан первого ранга, участник гражданской и Отечественной войн Николай Юльевич Авраамов, вечный ему покой, обратился ко мне, чтобы на время разместить ребят на моем корабле. Когда вас привели, то мы смотрели, как вы поднимаетесь по трапу, и немало удивлялись. Кто был в лохмотьях, кто в военной форме и даже с медалями и орденами, но вы были такие голодные, что кулаки наши сжимались от ненависти к врагу. И с тех пор я с особенным вниманием слежу за вашей судьбой. Из вас вышли Герои Советского Союза, покорители и магелланы морских глубин, адмиралы и ученые, и преподаватели, и даже писатели — такие известные, как, например, Валентин Пикуль. Но даже те, кто давно не носит морские погоны, по-прежнему в строю. И, как прежде, всех вас объединяет крепкая морская дружба. Нам стоило трудов разыскать вас и собрать ныне здесь.

Адмирал Макаров завешал: „ПОМНИ ВОЙНУ”.

*Т. Савенков, бывший командир учебного корабля «Комсомолец», капитан I ранга в отставке».*

Это трогательное письмо было приложением к официальной повестке с приглашением явиться туда-то и тогда-то на некий симпозиум ДОСААФ.

Честно говоря, никуда бы я не явился, кабы не было приложенного письма от старого моряка в отставке. Увиливать от всякого рода подобных мероприятий мы замечательно научились именно в силу специфики наше-

го отрочества, то есть специфики наших военно-морских биографий.

Но... но на «Комсомольце» я первый раз пошел в заграничье и, кроме того, еще умудрился неожиданно встретиться на нем с родным братом. У входа в Ирбенский пролив «Комсомолец», его командир Савенков, я, брат и другие курсанты попали в тяжелый шторм, изношенные паровые машины старика «Комсомольца» не тянули. (Корабль-старикан под названием «ОКЕАНЪ» участвовал еще в Цусиме.) И тогда я впервые увидел, как происходит потеря якоря, то есть рвется якорная цепь, если огромный корабль в отчаянии пытается зацепиться за скалистый грунт банки Михайлова при наличии мощного дрейфа и малых глубин.

Вот мне и не хватило духа уклониться (синонимы: сачкануть, взять бюллетень, заныкаться под койку и т. д.) от мероприятия.

Нас собрали в военно-морском училище в историческом зале, стены которого были увешаны трафаретными для всех училищ, знакомыми с детства картинами старинных морских баталий, прославивших в веках наш флот. Полотна эти имеют обычно огромные размеры: почти один к одному с натурой. Разорванные ядрами паруса, перебитые мачты, летящие с рей в кипящие волны вражеские матросы, развевающиеся победные флаги и вымпелы окружали нас, вводя в соответствующее настроение.

Пиджаки, куртки и свитера выглядели на воинственном фоне кургузо.

Старшим в группе был назначен бывший командир дизельной лодки, а в то время лоцман в Выборге, по фамилии Ямкин — сумеречный мужчина, тяжелый в плечах, голубоглазый и молчаливый. Он получил кличку Старик.

Ящиком прозвали холеного очкастого джентльмена с двумя значками высших учебных заведений на заграничном пиджаке. Джентльмен часто повторял: «Интересно отметить, товарищи, что мы угодим в до-о-лгий ящик». В прошлом он служил штурманом на подводной лодке, потом стал крупным ученым в таинственных околофизических областях.

Психом прозвали социального психолога, прошедшего путь от минера до заведующего лабораторией проблем стабильности производственного коллектива.

Я получил обидное прозвище Сосуд Вedo.

— Ну, подводные асы, — сказал здоровенный лысый тип, последним присоединяясь к группе, — если без китайских церемоний, то прошлое у меня тоже таинственное, а ныне я специалист по Древнему Китаю. Ба! — продолжил он, взглядевшись в мою физиономию. — Здорово, Сосуд Вedo! Помнишь меня?

— Вы меня с кем-то путаете, — сказал я.

— Это я путаю?! — возмутился лысый тип. — Да знаешь ли ты, какая память должна быть у китаевода?

— И знать не хочу, — сказал я, начиная припоминать несимпатичное.

— В Корсакове! На Сахалине! В пятьдесят третьем! Ты тральщик сдавал, а я у тебя в каюте ночевал! Не помнишь? — орал тип. — «Сосуд вedo» у них пропал. Весь пароход вверх дном поставили, сосуд искали, сдаточный акт подписать не могли, идиоты!

И он выложил, к удовольствию слушателей, историю, которую я старательно забыл.

Итак, я сдавал тральщик. До меня во всех приемосдаточных актах значился «сосуд вedo». Мой приемщик оказался дотошным и потребовал представить сосуд для личного обозрения. Я знать не знал, что это за штука, но, как и все мои предшественники, по морской глупости не мог признаться в этом. Я предполагал, что это что-нибудь связанное с определением солености морской воды. И вот тип, которого я пригред в своей каюте на далеком Сахалине, утверждал, будто первым догадался, что в слове «вedo» просто-напросто пропущено «р» и дело идет о ведре.

Конечно, я стал Сосудом. Типа прозвали Китайцем. Без клички остался только Петя Ниточкин. Мой друг никогда кадровым офицером не служил, но, как капитан дальнего плавания, а в прошлом матрос-подводник и старшина рулевых на эскадренном миноносце, теоретически был годен и для досаафовской деятельности по разряду подводников.

Вот и все действующие лица. Вокруг этих лиц топталось по залу еще около сотни корешей, но они в прошлом принадлежали к иным видам и специальностям военно-морских сил. В едином потоке мы должны были прослушать только вводный курс.

— Товарищи офицеры! — прогремел молодой румяный капитан второго ранга, обреченный руководить нами.

И две сотни рук опустились в поисках швов, хотя мы несколько и удивились такому к нам обращению-команде.

Ибо «Товарищи офицеры!» обозначает на человеческом языке обыкновенное «Смирно!».

В высоком и широком дверном проеме показался контр-адмирал. Он медленно поплыл между нами, как авианосец среди джонок в Малаккском проливе. Тяжелым взглядом адмирал обводил каждого из нас. Мы явно ему не понравились.

— Флотоводец наверху не зависит от неба, внизу не зависит от земли, посередине не зависит от человека, — прошептал Китаец. — Сунь-цзы, трактат о военном искусстве...

— Это Беркут, — шепнул мне Петя. — Это с ним меня шарахнуло гранатой...

Суровое лицо флотоводца озарилось ласковой и чуть насмешливой улыбкой, когда его взгляд наткнулся на моего друга.

— Петр Иванович! Рад! Очень рад! Как твоя корма?

— Зажила, давно и думать забыл, Федор Сидорович, — сказал Петя.

— Ну, здесь я тебе не Федор Сидорович.

— Простите, товарищ адмирал!

— А к непогоде задница не болит? — поинтересовался адмирал.

— Нет, а ваша пятка? — спросил Петя.

— Прихрамываю, как видишь. Говори телефон! Быстро! — приказал адмирал. — Позвоню на неделе, прошлое кефирчиком смочим.

— Не могу дать телефон, товарищ адмирал! Новую квартиру на Гражданке купил!

— АТС еще нет?

— Так точно!

Адмирал Беркут вытащил визитную карточку, сунул Пете в карман тужурки.

— Звони завтра же! Что-нибудь придумаем.

— Есть!

Активисты ДОСААФа слушали этот диалог с некоторым удивлением и заинтересованностью.

Адмирал дал ход и с небольшим постоянным креном на левый борт — из-за хромоты — миновал узкость, то есть двери в коридор.

— Следуйте за мной! — бросил он хмуро.

И мы тронулись за адмиралом бесформенной массой.



— Отставить! — рявкнул Беркут. — Построиться! Товарищ капитан второго ранга, командуйте, леший вас раздери! На кой черт вас назначили сюда?

Адмирал сразу давал нам понять, что мы пришли не в детский сад. И что уж если мы попали ему в руки, то его мало интересует наш общественный статус или заслуги на гражданском поприще. Здесь мы для него подчиненные — и все.

Молодой румяный кавторанг построил нас в две шеренги. И, шагая попарно, как детсадовские детишки, переходящие улицу, мы проследовали в клубный зал по пустынным коридорам под темными ликами великих морских людей прошлого.

Адмирал стал на якорь посередине рейда, то есть клубной сцены. Мрамор и величие колонн, бесконечно высокий потолок старинного зала, густой свет люстр заменяли ему береговые мысы, небеса и светило.

— Товарищи бывшие офицеры, деятели нашего славного ДОСААФа! — начал адмирал. — Я приветствую и поздравляю вас с началом нашего симпозиума!

Какой-то подхалим в зале захлопал.

— Вы уже многие годы живете и работаете на гражданке и, как все советские люди, боретесь за мир, — продолжал Беркут. — За эти годы к нам и нашим супостатам пришли электроника, ракетное оружие, атомные двигатели и ядерные боеголовки. Сегодня вы познакомитесь с оружием, принятым на вооружение в сравнительно недавние времена. Затем будет лекция по сухопутному стрелковому оружию — обзорная. Затем вы посмотрите кинофильмы. Вопросы есть?

Это адмирал рыкнул так, что наши давно штатские языки оказались приваренными к гортаням намертво.

— Я почему так строго говорю? — спросил тишину или самого себя адмирал Беркут. И сам себе ответил через добрых тридцать секунд вопросительной паузы: — Потому что здесь специфический народ собрали. Здесь те, кому в сорок пятом шестнадцать исполнилось. Вы все на фронт рвались, да не успели. Все потом училища пооканчивали, а в мирные дни служить вам, стало быть, скучно показалось. И с флота отчалили. Однако кое-что повидала успели. Стало быть, о себе высокого мнения. Так вот, любые формы недисциплинированности будут наказываться беспощадно — путем отправки соответствующих сигналов по месту вашей работы. Приступайте к занятиям!

Да, Беркут умел брать быка за рога совсем иным, нежели командир «Комсомольца», приемом. Старшины вытащили на сцену подставки-вешалки и рулоны схем. Румяный кавторанг поднялся на кафедру.

И мы туго, со скрипом начали вникать в законы ракетного самоотталкивания. Кавторанг сыпал в закрома наших черепов формулы, как горох в суп. Он их не разжевывал. Ему надо было заставить нас полностью осознать наше малознание, чтобы мы почувствовали себя первоклассниками и прониклись почтением к предмету.

Когда он добился своего, то есть увидел выражение сонной одури на абсолютном большинстве физиономий, то перешел на беллетристику: коснулся вопроса традиций.

— Товарищи, вы должны понять, что тот флот, который вы знали, и тот, который существует сейчас, качественно различны. Качественно! Обычно там, где традиции очень сильны, вырабатывается иммунитет к радикальным нововведениям. Даже если новое на флоте одерживало раньше ту или иную победу, оно, это новое, облекалось в традиционную оболочку и приобретало весьма неожиданные черты и свойства, которые во многом изменяли первоначальный облик нововведения, а то и просто выхолащивали его суть. Мы имеем дело с качественно новым видом оружия, требующим иного, нового военно-морского мышления... Вы понимаете, о чем я говорю?

— Разрешите вопрос? — скрипуче спросил Ящик.

— Пожалуйста.

— Бывший капитан-лейтенант, ныне активист ДОСААФа местного масштаба Желтинский. Вторая слева схема изображает блок «Б» не той штуки, с которой вы нас знакомили, а несколько иной, — сказал Ящик, протирая очки.

Молодой кавторанг оглянулся на схемы.

— Простите. Лаборанты напутали, — сказал он и приказал старшинам заменить схему.

— Я попросил бы не заменять некоторое время, — скрипучим голосом сказал Ящик, надевая очки. — Мне кажется интересным отметить, что в блоке управления гироскопы расположены не традиционно и составляющая их прецессий являет собой радикальное нововведение, так как указывает не на истинный норд, а, интересно отметить, на плавучий ресторан «Чайка» или, в лучшем случае, на сухопутный ресторан «Садко».

Молодой кавторанг стал еще румяней и впился глазами в схему «Б».

— Активист местного масштаба Желтинский, ты, случаем, не шеф-поваром в «Садко» работаешь? — спросил из задних рядов явно уже давно сиплый бас.

— Интересно отметить, — проскрипел Ящик, — что автор схемы, перерисовывая ее с соответствующего пособия, уже забыл азы, то есть векторную алгебру.

Кавторанг погрузился в схему, отсчитывая и проигрывая в своем мозгу вариант за вариантом, чтобы найти ошибку, в которую его совал носом шпак в очках. И чем дольше ему не удавалось найти ошибку, тем веселее казалось ему близкое будущее, когда он поставит шпака на место.

И тогда Ящик повел игру кошки с мышкой. Мы ничего не понимали в том, что говорили два специалиста по существу вопроса, но отлично видели, что кот то прилапливает, то отпускает жертву, дает ей обнадежиться, маленько метнуться и опять когтистой и беспощадной лапой хватает за загривок.

Закончилось представление с честью для кавторанга, ибо он не стал выкручиваться и лгать и использовать власть или даже пытаться ее использовать.

— Товарищи деятели ДОСААФа! — обратился он к нам уже с несколько большим почтением. — В схеме есть ошибки, которые я пропустил. Я благодарен капитан-лейтенанту Желтинскому за науку. Капитан-лейтенант знает гироскопические и инерционные схемы не хуже моего начальника кафедры.

— Лучше! — громко, но флегматично заявил Псих.

Зал принялся обсуждать спорный вопрос.

— Прекратите! — сказал кавторанг. — Не на базаре!

— У Желтинского прямо на лбу написано, что он эту адскую машину сам выдумал, — сказал Псих. — Не местного он масштаба, а всесоюзного. Ящик, прав я или нет?

— Это уже нас не касается! — сказал кавторанг, начиная слезать с кафедры. — Вопросов больше нет? Тогда...

— Есть! — сказал Китаец. — Разрешите?

— Да, — без большого воодушевления разрешил кавторанг.

Зал опять насторожил уши.

— Интересно отметить, товарищ преподаватель, — сказал Китаец, — что изучение ошибочного, а также ис-

пользование удивительных приспособлений и необычных орудий, не говоря уже о гадании, по черепашьям папцирям, в Древнем Китае каралось смертной казнью через удушение. Я имею в виду то, что вы заставляете нас изучать ошибочно блок «Б» этого удивительного и необычного оружия. А мы в свою очередь будем неверно информировать молодое поколение будущих воинов.

— Хватит, — сказал Псих. — Каждый может запомнить или запутаться. Человек работает, и уважайте его работу!

— А знаешь ли ты, — сказал Китаец Психу, — что страсть спорить при помощи лицемерных речей в Древнем Китае наказывалась смертной казнью через отрубание головы? Я сейчас имею в виду то, что ты там не существовал бы и пяти минут!

— Мне кажется, что ты относишься к породе ужасных нахалов, — спокойно сказал Псих. — А чужое нахальство вредно для окружающих. Оно вызывает стрессовые срывы. Именно из-за таких типов я и завязал с морем.

— Во! — восхитился Китаец. — Нашел причину!

Псих встал и внимательно посмотрел на Китайца.

— Могу с уверенностью сообщить, товарищи, — обратился он к залу, — что у этого типа, судя по степени оттопыренности ушей, было пять-шесть жен. А сейчас он вгоняет в гроб очередную, но она туда не лезет и...

— Прекратите посторонние разговоры! — попросил кавторанг.

Китаец его не слышал. Он вскочил с места и потянулся через спинку стула к Психу.

— Если без китайских церемоний, — шипел Китаец, — я вот тебе сейчас дам по шее...

— Стоп дизеля! — сказал старшина нашей группы Старик-Ямкин. — Сядь.

Весомо у него получилось.

Китаец вздохнул и сел.

— Теперь заведи кольчужный пластырь себе на ротовое отверстие, — посоветовал Старик.

— Есть! — без китайских церемоний согласился Китаец.

— Товарищ капитан второго ранга, лишних вопросов не будет! — заверил преподавателя Старик.

— Вы, товарищи, думаете, что мне самому охота здесь с вами топтаться в субботний вечер? — спросил кавторанг и улыбнулся обаятельной улыбкой адмирала Беркута. — Ладно. До перерыва тридцать минут. Про-

ведем переключку, и травите потом баланду до звонка... Ананьев!..

— Есть! — ответил знакомый сиплый бас.

— Кому всегда везет — так это Ананьевым! — совершенно неожиданно нарушил воинскую дисциплину и порядок сам Старик. — Черт бы их побрал!

— Почему? — часто моргая, спросил капитан второго ранга.

— Я — Ямкин! И вся жизнь из-за этой проклятой последней буквы в алфавите пошла кривью... Простите! — спохватился он и дальше молчал, как стопроцентная рыба.

— Букин!

— Есть!

— Вертопрахов!..

— Есть!

— Говядин!

Здесь пауза затянулась. И тогда раздался писклявый голосок близко от меня: «Есть!»

За легкомысленного Говядина ответил Китаец. Он еще раз пять отвечал за отсутствующих, постепенно нагеле и даже переставая менять голос.

Наконец капитан второго ранга не выдержал.

— Вы что, — спросил он аудиторию, — думаете я допотопи считать не умею, если с блоком напутал?

— А кто вас знает, — угрюмо засомневался из аудитории сиплый бас.

— Как вы пришли, вас всех отметили, — объяснил кавторанг. — И сосчитали. У меня по списку окажутся все, а у начальства? Фитиль получать? Сами не служили? Дюжину покрою, остальных — кровь из носа — не могу!

— Если без китайских церемоний, — с трогательной искренностью сказал Китаец и встал, — вы правы. Они в баре сидят, а я здесь за них мяукай! В Древнем Китае групповое пьянство, например, каралось смертной казнью. Цитирую из источника «Шан-шу», том четвертый, страница пятьсот третья, глава называется «Предписание об употреблении алкоголя...».

— Кто там поближе! Заткните этому Шан-шу-дуну пасть! Давно бы уже отповерялись и курить пошли! — раздалось из аудитории.

— Вас как величать? — спросил капитан второго ранга Китайца.

— Рядовой доброхот, — заскромничал, уклоняясь от прямого ответа, Китаец.

— Продолжайте! Мне самому интересно про «Шаншу», — сказал наш учитель.

— Цитирую: «Если кто-то донесет тебе и скажет: собираются сборищем и выпивают, ты не растеряйся, схвати их всех и приведи в столицу Джоу, где я их казную!» Здесь, товарищи по симпозиуму, — сказал Китаец, — кавычки закрываются.

Переключка закончилась тяжелым вздохом, с которым бывший капитан третьего ранга Ямкин выговорил короткое «Есть!».

Старшины на сцене скатывали в рулоны и уносили схемы блоков. Когда уносили блок «Б», Ящик обратился ко мне:

— Чем дальше я наблюдаю окружающих, тем более знакомыми мне все кажутся. Вот ты, например, был на практике на одном из фортов году в сорок шестом?

— Кажется, был.

— Голодуху помнишь?

— Конечно.

— Так вот, мы с тобой ловили как-то колюшку тельняшками: надеялись на уху наловить.

— Только это, пожалуй, сорок седьмой.

— Возможно.

Загремел звонок на перерыв, напомнив нам колокола громкого боя и на том форту и на линкоре «Октябрьская революция».

И мы пошли курить по длинным коридорам под портретами знаменитых флотских людей. Когда миновали создателя Толкового словаря русского языка Владимира Ивановича Даля, Псих сказал:

— Флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для некоторых людей определенного вида дарования, выталкивая их из себя, успевал, однако, дать нечто такое, что потом помогало им стать заметными на другом поприще.

— Только отчаливать с флота надо в точно определенный момент, — сказал я.

— Да, — согласился Ящик. — Тут как в фотографии: передержка губельна.

Мы миновали угрюмый лик отца русской авиации, который под треск штормовых парусов у мыса Горн выдумывал самолет, и набились в шикарное место общественного пользования — кафель, фаянс, эмаль, зеркала,

никель цепочек. Место соответствовало ракетно-ядерному веку. Однако выйти из него в залу с недокуренной сигаретой оказалось невозможно. У дверей встречал дежурный старшина срочной службы.

— Товарищи, прошу извинения,— почтительно, но непреклонно говорил он,— курить в зале не разрешается. Только в галльене.

— Где курительная? — грозно вопрошали бывшие юнги и воспитанники, которым (для сохранения их здоровья) до шестнадцати лет не выдавали табачное довольствие вообще, а после шестнадцати и до восемнадцати выдавали вместо махорки ленд-лизковский шоколад, но которые курили лет с двенадцати-тринадцати.

— Прошу извинения. Недоразумение: уборщица не знала, что в субботу здесь состоится симпозиум, и унесла ключ от курительной комнаты.

— Где запасные комплекты?

— А если в курительной пожар, ключи найдутся?..

— Ну и порядок!..

— Где курительная? Сами откроем. Вася, у тебя отмычка с собой?..

Грозный ропот на дежурного не действовал. Превосходство блящего на посту над бывшими служаками укрепляло его дух. Он надежно укрывался за броню: «Не могу знать!», «Никак нет!», «Так точно, нет».

Короче говоря, все курящие задымили в шикарном заведении. Облака дыма, имеющего отвратительный запах — никотин, вероятно, реагирует с дезинфицирующими веществами, — сгущались с каждой секундой перерыва. И уже через пять минут заведение напоминало местечко на Венере, атмосфера которой, как известно, ядовитой и плотной пеленой укрывает планету утренней зари от глаз астрономов.

Мы кашляли, плевались, но продолжали смолить на полный ход. Загнать в легкие, то есть в кровь, максимум отравы между занятиями совершенно обязательно для занимающихся. При возможности ты загоняешь в себя две или даже три сигареты. И еще одна вещь типична для поведения бывших офицеров в перерывах. Хотя ты только что долго сидел и тебе предстоит впереди опять сидеть, но в перерыве ты тоже хочешь сесть. Просто ужасно хочешь сесть. Принцип «в ногах правды нет» так и вертится в твоей голове. Прошлые россияне, отстаивая церковные службы, отшлифовали эту простую истину до мучительного блеска. И даже самые изумительные фана-

тики клюнули на удочку коленопреклонения. Ведь опускание на колени есть одна из форм облегчения канона стояния во время бесконечных церковных служб. С каким ясным и облегченным вздохом толпа верующих бухается на колени, когда к тому подается сигнал или представляется любая другая возможность! И сразу вместо двух точек опоры появляется целых шесть, ибо начинают работать и руки, упираясь в пол. И, таким образом, правда, которая не в ногах, чувствует себя отлично во всем теле коленопреклоненного россиянина.

Звонка с перерыва все не давали.

— Скажите, ребятки, — задал общий вопрос Псих, — почему величественные статуи украшали именно форштетвни старинных парусников? Ведь статуя может очень даже красиво выглядеть и на корме. Кто первый?

— Интересно отметить, — заскрипел Ящик, — что статуи прикрывали высоким искусством обыкновенный сортир. А находился он в носу фрегатов, чтобы грязные брызги ветер сносил вперед по курсу, а не в физиономию судоводителям. Море всегда учило людей соединять утилитарное с прекрасным.

— Ты кандидат или доктор? — спросил Ящика Псих. — Подожди отвечать! Товарищи, что говорит опытному психологу манера человека поворачивать голову влево или вправо при ответе на вопрос?

— А если он ее никуда не поворачивает? — поинтересовался Китаец.

— В девяти из десяти случаев поворачивает, когда вопрос требует хотя бы незначительного размышления, — заявил Псих. — Левосмотрящие, по мнению ученых Мичиганского университета, более общительны, музыкальны, имеют более живое воображение, легче поддаются гипнозу и быстрее пишут...

— Я какой? — живо спросил Ящик.

— А я? — спросил Китаец.

— А я? — спросил я.

— А я? — спросил даже Старик-Ямкин.

И все мы завертели головами в венерианском дыму, пытаясь вспомнить, куда поворачивается наш нос в момент тягостного вопроса.

— Я присваиваю Ящику доктора наук, — сказал Псих. — Он правосморящий. Такие меньше спят и чаще специализируются в математике. Среди них встречаются



люди с нервными тиками и подергиваниями. Ящик, ты когда-нибудь дергался?

И, к нашему восхищению, лицо Ящика вдруг неуловимо вздрогнуло, и кожа над его правым веком запульсировала.

— Мигрени частые? — старательно соболезнуя, спросил Псих.

Ящик кивнул и взялся за затылок. При этом безмолвном ответе голова его повернулась вправо!

— А меня всегда и всюду тянет влево! — заявил Китаец, с грохотом опустил крышку ближайшего стульчака, удобно уселся, подпернул брюки и даже закинул ногу на ногу.

Нам стало завидно, но не так-то просто было последовать его примеру.

— Типичный случай распада интеллекта, — прокрипел Ящик в адрес Китайца.

— Да, примитивные формы духовной коммуникации все еще играют доминирующую роль в поведении некоторых человекообразных, — сказал Псих.

— Уши вянут от вашего наукобезобразного языка, — сказал Китаец. — Все очень просто, если смотреть в корень. И в век научно-технической революции подобное мероприятие должно начинаться в суровой и грубой обстановке. Здесь мудрый резон. Вот мы сейчас уже связаны между собой какой-то круговой порукой. Каждый из нас уже забыл про то, что в его ранце спрятан маршальский жезл. Между нами начинается чисто мужская дружба. Уборщица случайно унесла ключ от курительной, и мы случайно застряли именно здесь, в гальюне, но во всех этих случайностях есть закономерность...

— Товарищи бывшие офицеры! Перерыв закончился! — доложил дежурный. — Вас просят построиться!

Оказалось, что звонка не было так долго потому, что он испортился — обычная неравномерность в развитии НТР.

Лекцию о стрелковом оружии читал пожилой гвардии майор. Орденские планки, значки и все другие виды отличий покрывали его грудь броней, рядом с которой новгородские кольчуги показались бы женскими рубашечками.

Двое пожилых старшин-сверхсрочников вытащили на сцену и установили на столе образец какого-то стрелкового вооружения. Оно выглядело ужасно. Неясно было даже, где у него начало, а где конец.

Майор с удовлетворением оглядел зал, из которого тянулись к ужасному оружию любопытствующие шеи.

— Есть тут товарищи, которые знакомые с этим оружием? — спросил майор.

Мы молчали.

— Я знаю,— сказал майор,— что многие сейчас думают: а зачем мне стрелковое оружие, если я, мол, моряк и служил на подводной лодке? Думаете так?

— Думаем,— согласился Ящик и протер очки.

— А есть такие, кто возьмется разобрать этот образец? — спросил майор.— Нет? То-то!

— Разрешите, я попробую? — спросил Китаец и встал.

— Пожалуйста, сюда,— пригласил майор Китайца на сцену.

Китаец неторопливо вылез из рядов, громко приговаривая:

— Проходя между сидящими, не поворачивайся к ним задом — так учили в Древнем Китае.

— А голову за это не отрубали? — спросил я.

— Нет, Сосуд, только нос,— успел ответить он и пошел на лобное место к ужасному оружию.

— Много болтаете,— заметил майор.

— Разрешите ваш носовой платок, товарищ майор,— сказал Китаец, поднявшись на сцену.

Зал, привыкший к его выходкам, сдержанно заржал.

— Мы не в цирке, товарищ, а я не Кио! Марш на место!

— Если без китайских церемоний,— сказал Китаец,— я разберу и соберу эту игрушку за пять минут с завязанными глазами.

— Вы не сделаете этого и за десять с открытыми,— сказал майор, покрываясь пятнами.

— Прошу завязать мне глаза! — сказал Китаец.— Есть у вас платок или нет?

— Долго вы собираетесь дурака валять? — спросил майор.

Китаец махнул рукой, шагнул к столу и замер, глядя на оружие. Загорелая физиономия Китайца начала стремительно бледнеть. И аудитория затаила дыхание. И майор замолк. И старшины-сверхсрочники, которые уже готовы были ринуться на помощь преподавателю, тоже окаменели. Китаец медленно, как змея, гипнотизи-

рующая кролика, склонился к оружию, потом схватил его, зажмурился и прошипел:

— Засекай время, ребята!

И майор, и старшины, и все мы глянули на свои часы.

В космической тишине то масляно и глухо, то громко и звонко заговорила вороненая сталь, застонали взводные пружины, защелками зацепы и туго заскрипели штыри.

Китаец разобрал оружие и разложил детали на столе. Затем опустил руки вниз, как водолаз, который собирается нырнуть в рубаху, и хрипло сказал:

— Эй! Кто тут из рядовых-необученных! Снимите с меня пиджак, не видите: старлею жарко?

Пожилые старшины торопливо стащили с него пиджак.

И опять то масляно, то звонко заговорила сталь, застонали сжимаемые пружины, защелкали зацепы, заскрипели нарезные части.

На четвертой минуте Китаец уронил какую-то деталь на пол, но и тут глаз не открыл, только прошипел:

— Старшины! Поднимите пламегаситель! Не видите, он упал?

Старшины бросились под стол разом с обеих сторон и столкнулись лбами над пламегасителем. Это было сокрушительное столкновение, но никто в зале не засмеялся. Только Ящик мечтательно пробормотал:

— Абсолютный вакуум!

— Где? — недоуменно прошептал Псих.— В их черехах?

— Неважно, не будем уточнять,— сказал Ящик рассеянно, погружаясь в ученое раздумье.— Второй год пытаюсь посадить гироскоп в вакуум высокой степени, и никак не получается...

На Ящика зашикали.

Китаец блестел от пота и тратил секунды на смахивание капель со лба, испачкав оружейным маслом толстую физиономию.

В половине пятой минуты майор робко пробормотал:

— Осталось тридцать секунд.

Из аудитории прохрипел сиплый бас:

— Не мешай, отец!

Его поддержали:

— А вы, товарищ преподаватель, тренируйтесь пока!

— Сейчас на вас смотреть будем!..

В начале седьмой минуты Китаец вскинул оружие в боевое положение, направил в живот майора и яростно застрочил языком: «Тра-та-та!»

— Молодец! — вырвалось из майора, помимо его уставной воли.— Где это вы так научились?

— Если без китайских церемоний, товарищ преподаватель,— сказал Китаец, надевая пиджак,— то... это военная тайна. Еще вопросы будут?

Не хвастаться и не торжествовать самым открытым образом было не в его характере. Проходя на место, он добил майора:

— Интересно отметить, товарищи доброхоты, что нас опять обманывают. У этой штуки давно борода и усы выросли, а ее за последний крик моды выдают!

Аудитория бурно аплодировала.

Но майор нам попался крепкий. Он быстро нас утихомирил. Все-таки хотя участники симпозиума и были в пиджаках, но помнили кое-что из дисциплинарного прошлого.

И до конца занятия мы послушно и внимательно слушали «те-те-де», вникали в схемыдвигающихся частей и в принципы боевого использования этого, действительно, как признался в конце концов майор, уже устаревшего в некоторой степени оружия.

В перерыве преподаватель демократически пошел курить вместе с нами. Опять заговорили о традициях.

— Воздействие традиции на современность — весьма сложный процесс, товарищи по оружию,— начал Ниточкин, залезая на подоконник.— Я осознал это вместе с адмиралом Беркутом на боевом мостике крейсера среди моря электроники и радиолокации, получив два осколка старомодной сухопутной ручной гранаты «лимонка» в правую ягодицу. Адмирал получил один в пятку. Он, вероятно, первый и последний адмирал в мире, раненный таким ахиллесовым образом...

— Интересно отметить,— перебил моего друга Ящик своим скрипучим голосом,— что Беркуту могут хотя бы позавидовать все прошлые и будущие адмиралы, а у вас нет даже этой компенсации, если, конечно, все это вы не врите. Я человек науки и верю только фактам. Для начала покажите шрам.

Петя вынужден был слезть с подоконника. Рассупониваясь, он сказал Ящику:

— Никакого странного мистического света вы там не увидите, коллега.

— Товарищ гвардии майор,— попросил Ящик,— судя по орденским планкам на вашей груди, вы, вероятно, понимаете в этих делах толк. Я попросил бы вас о небольшой экспертизе...

— Я, если без китайских церемоний, тоже кое-что понимаю,— заявил Китаец.

Да, здесь были мужчины, которые знали толк в старых шрамах. Им нельзя было всучить след от флегмоны вместо пулевого ранения, как неоднократно делал я, пытаясь подточить женское упрямство фактами героической биографии.

Вокруг Петиного шрама собралась порядочная кучка ветеранов. Несколько секунд раздавалось: «А может, противопехотная?» — «Нет, тут и эр-ге-де может, если метрах в тридцати...» — «Слабо задело...» — «На излете, дураку ясно...» — «Лимонка в пятнадцати метрах — зуб даю...»

— Не врст, не врст! — таково было решение жюри.

— А давность? Давность определите! — дотошничал человек науки.— Может, он в детские и отроческие годы всего-навсего по свалкам лазал и от врожденного любопытства незнакомые металлические предметы трогал?

— Ну, дорогой товарищ,— с каким-то даже сожалением к Ящику сказал гвардии майор.— Давность два года — максимум! И без биноклей видно,— не удержался и съехидничал старый рубака, заменив очки Ящика более мощным оптическим средством.

— Так вот,— продолжал Петя, приводя форму в порядок.— Нужно уважительно относиться к сухопутному оружию, даже если вы моряки до мозга костей. Все вы нынче видели адмирала Беркута. Это мужчина, который не бросает слов на ветер...

— Грубоват. Лихой моряк, но грубоват,— вклинился в Петин рассказ из открытых дверей какой-то некурящий. Физиономия его была покрыта флером мрачного юмора.

— Есть немного,— согласился мой друг.— Я был с ним на флагманском крейсере представителем от торгашей. Отрабатывали проводку конвоев. Не знаю почему, но в свободное время адмирал выбирал меня в собеседники. Рассказывал о детстве. Как жил в сухопутном подмосковном пригороде — коммунальные бараки и масса тараканов. Были у них черные тараканы, прусаки и темно-красные, именуемые по науке американцами.

— «Мы пруссаков не боимся!...» — запел на мотив Мальбрука доктор наук, идеи которого лежали в основе многих сложных видов ракетной техники.

Глядя на Ящика, я еще раз убедился в одной бесспорной, но странной истине. Если мужчин оставить без надзора в коллективе, они немедленно опускаются до возраста самого молодого и начинают озорничать и безобразничать на его уровне. Но и этого мало: безнадзорный мужской коллектив характерен тем, что опускается еще ниже — до уровня мальчишек.

Быть может, я поэтому и люблю безнадзорные мужские коллективы.

— Путь в океаны Беркут начинал в ржавом тазу на полу барачной кухни, — продолжал Ниточкин с угрюмым вздохом (мой друг не любит, когда его прерывают). — Делали они с соседским пацаном бумажные кораблики, сажали в них прусаков и американцев — получался морской бой. Не знаю почему, но слушать детские воспоминания сурового адмирала мне было приятно. И я, как говорят, прикипел к нему душой. И потому болезненно переживал его неприятности и разочарования. А они были. Итак, отрабатывали мы проводку конвоя. Флагман шел, как положено, в охранении эсминцев. По плану к флагману должны были прорываться подлодки...

— Заливает! — мрачно сказал из дверей некурящий. — В том-то и дело, что мы должны были атаковать торговые суда, а Заика решил показать класс и прорваться к флагману...

— Спускайся в центральный пост. Что ты через люк орешь? — приказал Старик. — Какой Заика?

Некурящий спустился в центральный пост, то есть переступил порог гальюна. По его физиономии скользнул светлый луч, как у театрального статиста, когда ему вдруг разрешают сказать пару слов у рампы.

— В том-то и дело, корешок! — еще раз укорил он Петю. — А почему Заика лез на флагмана? Потому что он из кожи вон хотел вылезти — вот чего хотел Заика! А почему он из кожи хотел вылезти? Потому что он заикался, а Беркут об этом не знал. А в результате что? Я здесь с вами пузыри пускаю.

— Уточни позицию! — скупно приказал Ямкин, хотя и ему и всем нам ясно было, что некурящий принадлежит к тем морячкам, которые при подобной травле играют роль подсадной утки, как в цирке подыгрывают клоуну со зрительского места специальные ребята.

— Да я вахтенным офицером был, когда мы рубку под самым носом этого крейсера высунули, я! — с полной достоверностью врал некурящий. — Знаете, как Заика «срочное погружение» командовал? Двадцать секунд: «Сро-сро-сро-сро...» Десять секунд: «Оч-оч-оч-оч...» И еще секунд сорок на остальные звуки — вот так! При таком командире мы не только рубку могли из воды высунуть, но и над волнами подняться, как нормальная летучая рыба!

— Насколько я понимаю, — сказал гвардии майор, — они и нырнуть могли глубоко? Глубже, во всяком случае, чем окунь, а?

— Вполне! — серьезно сказал бывший командир дизельной подлодки Ямкин, потому что спектакль разыгрывался главным образом для сухопутного майора.

— Заика черепаху сварил, — гениально импровизировал некурящий, — живьем. Я сам видел. Зачем он черепаху сварил? Чтобы пепельницу сделать из панциря. Сварить-то он ее сварил, а вареное мясо сам вытаскивать не смог — нервы оказались слабые. И он эту операцию заставил старшину трюмных производить...

— Да, запузырить ракету в белый свет как в копеечку — это одно, а вот мясо из черепахи вытащить — другое... — вздохнул Ящик.

— При чем тут черепаха? — спросил Старик у некурящего. — Продуй носовую! Ну, удифферентовался? Поплыли дальше. Так, значит, Беркут Заику командиром сделал?

— Ага. Прибыл в дивизию, посмотрел в списки, спрашивает комдива: «Почему у вас десять лет ходит в старпомах капитан третьего ранга Заикин? Имеет он отличные показатели по всем статьям?» Комдив: «Разрешите доложить, товарищ адмирал...» Беркут: «Не разрешаю!» Комдив: «Но, товарищ адмирал, разрешите все-таки...» Беркут: «Никаких все-таки! Вы начальство разучились слушать?! Так вас и так! Вызвать этого десятилетнего старпома и швырнуть его на торпедный стенд, и пусть выводит лодку в атаку, а я посмотрю, как вы, так вас и так, не умеете подбирать кадры!..»

— Между прочим, — сказал Псих. — Извини, что перебею, но это всех касается. Недавно я ознакомился с диссертацией директора донецкой шахты Владимира Середы. На основании научного анализа он доказал: плохое настроение рабочего, обиженного грубым словом начальника, снижает производительность ручного труда

на шестьдесят процентов; обруганный шахтер, занятый на механизированных операциях, работает ниже возможностей на двадцать процентов; и даже автомат, товарищи по оружию, обслуживаемый обиженным человеком, выполняет автоматическое дело на четыре-пять процентов хуже, а вы здесь выражаетесь, как обыкновенные сапожники!..

— Получается так,— сказал Ящик,— если боеготовность флота, которым командовал Беркут, находилась на должном уровне, то это означает, что потенциально флот имел запас в боеготовности процентов на тридцать. Ведь адмирал мог в любой нужный момент увеличить мощь флота на тридцать процентов, заговорив с подчиненными сладеньким голоском. Да ему надо памятник при жизни ставить, а ты его порочишь!

Некурящий вполне натурально изобразил растерянность, ошалело заморгал глазами. Он как бы не мог найти, что ответить, если отвечать без крепких слов. Потом безнадежно махнул рукой, опять ругнулся и продолжал:

— Ну, швырнули Заюку на стенд. А на стенде говорить надо? Нет! Решай себе торпедный треугольник. Он в атаку отлично вышел. Беркут торжествует, комдив молчит. Дальше на автомате через все комиссии: «Беркут лично приказал!.. Беркут лично дал указание!..» Вот почему потом Заика из кожи все время и вылезал. Пролопушило нас охранение — прекрасно! Стреляй тогда! Нет, Заика дальше лезет. Мы, говорит, е-е-е-е-е-му п-п-п-п-прямо в мидель в-в-в-впилим! Вот нас и выкинуло в кабельтове от крейсера, а они «полным» жарят! Каким чудом провалиться успели — до сих пор не знаю.

— Ясно,— сказал Ямкин.— Теперь ложись на грунт и прекрати всякий шум в отсеках!

— Перерыв кончился! — уже пятый раз почтительно доложил в центральный пост дежурный.

— Обожди! — отмахнулся майор.— У симпозикивов кино по программе, успеем,— объяснил он дежурному.— Что на крейсере-то происходило?

— На мостике из начальства был Беркут, командир крейсера, ну и всякая мелкотня, включая меня,— продолжил рассказ мой друг Петя Ниточкин.— Когда прямо по носу выкинуло лодку, Беркут от злости чуть не лопнул. Неслись мы «самым полным», и определить сторону движения лодки — влево она смотрит или вправо — времени не было. Беркут только успел рывкнуть:



«Стоп машины!» И все мы, кто на мостике, сжались, съежились, кое-кто лицо руками закрыл, кое-кто спиной по ходу повернулся, кое-кто просто остолбенел. И ждали все ужасного этого мягкого удара, когда лодка под киль скользнет, а за кормой из кильватерной струи постельные принадлежности начнут вылетать, спасательные жилеты, и пилотки, и бессмертные бескозырки... Еще остолбенение не прошло, как адмирал заорал на командира крейсера: «Шары где, так тебя и так?! Кто “Шары на стоп!” командовать будет?! Ждешь, когда тебе эсминец в хвост влепит?!» Тут поняли мы, что проскочили над лодкой, что жива она, голубушка. Командир крейсера промяукал: «Шары на стоп!» — и понес вахтенного офицера-лейтенантика — прыщавенького, но с золотым перстнем на пальце — в пух и перья за эти шары. А Беркут ногами топает и требует немедленного всплытия подлодки. Ну-с, сигнал срочного всплытия — три взрыва ручных гранат за бортом с минутным или там двухминутным временным интервалом.

Гранаты эти на мостик принесли быстро — три «лимонки». Командир боевой части номер два взял гранаты у старшины и задумался. Беркут у него спрашивает: «Вы чего на них так уставились? Лодка-то уходит! Нетяните резину — они взрывов не услышат!» Командир крейсера поддерживает адмирала: «Что ты на них смотришь, как козел на вход в кинотеатр?» — Это командир спрашивает у своего управляющего всеми крейсерскими ракетами, которыми любую столицу можно в дачный поселок или даже в райский хутор превратить за тридцать три секунды.

Вероятно, в ажиотаже сухопутной атаки или в оборонительном окопе ракетный управляющий и нашел бы в «лимонках» нужную дырку, и даже засунул бы туда запал, и зубами чеку бы вырвал, но вокруг крутились радары ближнего и дальнего обнаружения, под ногами считали для ракет траектории электронные машины, и в такой обстановке каптри нашел единственный и традиционный выход — перепихнуть сложное дело на подопечного: вручил гранаты вахтенному лейтенантику. И попали они в ручки с золотым перстнем. Этому прыщу признаться бы, что он «лимонка» даже в кино не видел! Нет!

«Ваше приказание понял! Разрешите исполнять?»

«Исполняйте!»

«Есть!»

И с этого момента судьбы тех, кто толкался на мостике, попали в прямую зависимость от современного молодого человека с высшим инженерным образованием.

А в Беркуте от вида сухопутного оружия ближнего боя пробудились опять воспоминания, и он мне рычит: «Я всегда уважал пехоту! Батя у меня в пехоте погиб». — «В пехоте что-то есть!» — поддакивает командир крейсера, а сам с лейтенантика глаз не спускает.

Тот к борту отошел и колдует над гранатами. Башковитый, надо признаться, оказался. Две штуки удачно снарядил и удачно выбросил.

Хлопнули они в волнах за бортом, и у всех на мостике начали проясняться лики. Ведь всем нам, идиотам, ясно было, что следует оставить лейтенантика наедине с его совестью. Но сработала традиционность: не бросай товарища в беде и т. д. и т. п. Короче, уронил лейтенантик третью «лимонку» на палубу, прыгнул от нее кенгуриным прыжком, заорал: «Спасайся, кто может!» — и сыпался по трапу с мостика. А ведь по традиции лейтенантик должен был плюхнуться на гранату, принять удар в свое жалкое пузо, защитить адмирала и корабль куриной грудью. Ан нет! Ссыпался он по трапу и был таков! Из его поведения можно сделать вывод, что даже очень крепкие традиции иногда терпят поражение и отходят на второй план, уступая место новым явлениям и структурам. Старая же структура — я сейчас про «лимонку» — здесь вышла победительницей. Она нормально катилась по кренящейся палубе в самую гущу офицеров — под действием традиционной силы тяжести.

Мы повели себя разнообразно. Я, например, столкнулся лоб в лоб с ракетным начальником за тумбой выносного индикатора кругового обзора. Мы с ним вышибли друг из друга искры на манер того, как сегодня это сделали старшины над пламегасителем. Потом мы с ракетным начальником рухнули за тумбой на корточки. В результате чего на свободе остались наши зады.

А Беркут — не знаю, какой он флотоводец, но он единственный, кто не совершал кенгуриных прыжков, ни с кем не сталкивался лбом и никуда со своего боевого поста не побежал. Он только повернулся к гранате спиной и аистом согнул и поднял левую ногу. При этом адмирал накануне неминуемой гибели изрыгал кошунственную ругань.

Директор донецкой шахты Владимир Вторник, или как его, конечно, не написал в диссертации, что настоя-

щие моряки обычно умирают не от той соленой и холодной воды, которая затапливает их легкие, а захлебываются в собственной ругани. И Беркут не изменил традиции прошлых моряков.

Вероятно, по причине оглушительной ругани я вообще не услышал взрыва. Я только вдруг почувствовал, что какой-то шутник повернул меня вокруг оси на триста шестьдесят градусов. И очутился я в ватервейсе на спине, как князь Болконский в канаве на Аустерлицком поле. И начал я глядеть в зенит на радарные антенны и думать художественной прозой: «Вот оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче...»

И здесь швырнуло взрывной волной на меня Беркута. Взрывная волна, как выяснили потом специалисты, долго плутала по мостику среди сложной аппаратуры, прежде чем найти адмирала и пихнуть его поверх меня в ватервейс. А масса адмирала килограммов сто. Умножьте массу на скорость его полета в квадрате, и вы поймете, почему высокое небо надо мной почернело и даже вовсе исчезло. Адмирал выбил из меня дух вместе с сознанием. И вернулся в меня дух только в перевязочной, где мы лежали с адмиралом рядком и оба на животах,— закончил Петя, машинально потирая левую ягодицу.

— И все-таки самое смешное было потом, под водой,— с загробной мрачностью сказал некурящий.— Потому что взрыв только двух гранат означает приказ сверху: «Лечь на грунт!» И мы легли и лежали там, как олухи. Лежали и лежали, пока от углекислоты глаза на лоб не полезли — хуже, чем здесь от вашего дыма. Только тогда Занка решился всплывать...

— В медпункте мы с Беркутом окончательно и подружились,— сказал Петя.— Ничего так не сближает мужчин, как совместное лежание на животах.

— Или на грунте,— заметил бывший командир дизельной лодки Ямкин.

— Совместное ползание на животах, если, конечно, без китайских церемоний, тоже сближает,— заметил Китаец, покидая стульчак и одушевляясь. Его распирало желание привести пример из автобиографии. Но майор использовал преимущество старшего по званию:

— Точно! Сближает! Вот у нас на Втором Украинском, когда готовили форсирование... Отставить, гвардия! — вдруг приказал сам себе майор, из последних сил давя на горло собственной песне.— Все покурили? Выходите стротиться!

И мне подумалось о том, что даже наш досаафовский симпозиум сближает мужчин, хотя нам не приходится вместе ползать на животах и лежать на них рядом в перевязочной. И что прав Китаец: будничное курение в венирианской атмосфере уже способствует созданию атмосферы круговой поруки и коллективному художественному творчеству. Ибо если когда-то и был какой-то конфуз на флоте, связанный со взрывом ручной гранаты в неполюженном месте, то неудержимое фантазирование Пети и гениальная, с актерской точки зрения, импровизация некурящего товарища увели всех нас далеко от реализма, в чудесный мир домыслов и гипербола, в мир мужской моряцкой травли — ведь флот стоит одной ногой на воде, другой на юморе.

Но после просмотра нескольких нехудожественных фильмов мы утратили способность к травле и покинули мероприятие в молчании.

Без всяких шуток мы спустились в гардероб. И без всяких глупостей оделись.

Смерть только что корчила нам рожи из грибовидных атомных облаков. Смерть с величественной неторопливостью взлетала из океанских глубин. Смерть шла на цель по вертикали из стратосферы. Подопытные верблюды и свиньи страшно завершали свое существование среди льдов, степных песков и на палубах боевых кораблей.

Я тогда впервые не только понял, но и почувствовал, что мир в нашем мире обеими ногами стоит на грани глобальной смерти. И удивился своей способности осознавать простые истины с огромным запозданием. Ведь серьезные люди изрекают умные вещи, начиная с отрочества. А я в глубокой зрелости размышляю с полной серьезностью о том, что, например, произойдет, если ссыпать и слить все лекарства какой-нибудь аптеки в одну цистерну. И мне все еще иногда кажется, что в таком случае из цистерны выскочит нормальная обезьяна.

Дождь выбивал из темной невской волны серые пузыри.

О гранит набережной терлись теплоходы варианта «Река — море».

Буксир тащил против течения баркентину «Сириус». Ей суждено было превратиться в плавресторан. А в юности многие из нас карабкались по вантам этой баркенти-

ны, и отползали по жидким пертам к нокам ее рей, и травили с низкого борта в балтийские волны.

— Лучше бы ее на дрова пустили! — сказал я. — Кабак сделают, а?

— Брось, Витус, — сказал Петя Ниточкин. — Зачем гнилые дрова, если она еще может служить? На ней «Ленресторантрест» еще встречный план выполнит.

Бронзовый Крузенштерн глядел на нас с противоположной стороны набережной. Он стоял чуть ссутулясь, прихватив себя за локти, кортик навечно прикипел к его левому бедру, дождь навел блеск на старые, позеленелые в непогодах эполеты.

Девушка в туфельках на каблуках шла через лужи набережной и смеялась.

— Вам не на Охту? — крикнул ей Ящик, забираясь в шикарную «Волгу». — Могу подвезти!

— Катись, папаша! — безо всякого сердца ответила ему девушка.

— Интересно отметить, что это уже старость, — с непритворным вздохом проскрипел Ящик. — Кому на Охту, ребята?

На Охту никому не было надо.

— Я знаю, в чем наше главное несчастье! — заорал Китаец на всю набережную. — Много думать стали, товарищи доброхоты! Этот вон, — он кивнул вслед «Волге», — с флота удрал, чтобы в физику погрузиться. Ты, — он пихнул Психа кулаком, — в души с психологическим мылом залезаешь! А этот дохлый, — и Китаец заботливо поднял мне воротник плаща, — литературные книжки сочиняет! Надо, если без китайских церемоний говорить, меньше думать, но много знать. Тогда и только тогда сможешь хорошо водить корабли и хорошо воевать. Правильно я говорю, Ямкин? Тебе, как последней букве в алфавите, последнее слово.

— Пива выпьешь с нами? — флегматично спросил Старик Китайца, подсчитывая на ходу мелочь. На философию ему наплевать было.

— Нет, ребята, каким образом Псих угадал, что у меня жена уже четвертая по списку, не знаю, но это факт. И факт, что люблю первый раз. И сердце у нее прихватывает... В поликлинику бегу. Привет, товарищи офицеры! — И он нарезал к остановке, завидев свой трамвай.

— Чертов командос! Чего молчал?! — крикнул ему вслед Псих. — У меня знакомых врачей навалом!

Чертов командос возле трамвая поскользнулся, чуть не шлепнулся и пролез в двери без всякой лихости.

— Интересно отметить, что он прав на сто процентов, если говорить без китайских... тьфу! Вот ведь! Теперь привяжется! — засмеялся Петя Ниточкин. И мы все засмеялись, ибо нет ничего более дурацкого, нежели повторять чужие отработанные словечки и уподобляться таким образом попугаю.

— Удивительная судьба у нашего поколения, — сказал Псих, борясь с импортным зонтиком, который распахнулся в обратную сторону. — Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев: морщины на лбах, пальцы на автоматических кнопках, а все шуточки да прибауточки...

— Какое это поколение ты имеешь в виду? — спросил я.

— То, о котором командир «Комсомольца» писал. Военных мальчишек, — сказал психолог.

## **Петр Иванович Ниточкин**

### **к вопросу квазицарков**

#### 1

Четверть века назад, когда мы с Пескаревым вместе плавали на зверобойной шхуне «Тюлень» по Беломорью, Елпидифор еще был Электроном. В каюте третьего помощника капитана Электрона Пескарева на столе были сооружены из спичек миниатюрные виселицы, на которых он вешал в петли, сплетенные из собственных волос, тараканов-пруссаков.

Любопытствующим поморам Электрон объяснял, что это как бы эсэсовцы, а вешает он их потому, что не до конца свел с ними счеты, когда партизанил в дебрях Псковской области. В какие бы то ни было его военные подвиги я не очень верил, ибо мы были одногодками и войну встречали отроками. Но на поморов, которые оккупации вообще не видели и не нюхали, партизанское прошлое Электрона производило сильное впечатление. И потому у нас не переводилась свежая рыбка.

Виселицы Электрона («шибеницы» на псковском наречии) были сделаны с дотошностью в деталях, заставляющих живо вспоминать лесковского Левшу.

Внешне Пескарев в унисон с фамилией смахивал на рыбу. Лоб его скашивался назад, а нижняя губа выпячивалась. Но так как черты лица были крупные, то походил он уже не на мелкую рыбешку-пескаря, а на морского окуня или даже тунца.

В отличие от большинства истинных русаков, которые после деда в своем прошлом знают сразу Адама, наш Пескарев прослеживал родословную аж с пугачевских времен. Дальний предок его был приказчиком у зверя-помещика на Арзамасчине и чуть было не угодил на шибеницу бунтовщиков вместе с хозяином, но уцелел и переселся подальше от ужасных воспоминаний — в псковскую вотчину хозяина. Эти сведения мы выудили из Электрона, когда попали в туман на подходе к Кольскому заливу и поставили зверобойную шхуну «Тюлень» на якорь посредине Могильного рейда, и наш третий помощник в первый и последний раз в жизни попробовал старой браги, и язык у него вдруг раскрутился, как турбина на атомной электростанции.

Вообще-то пил он мало, язычок держал на коротком поводке и на приглашение выпить обычно отвечал отказом, замечая, что, «если хочешь в жизни проиграть, можешь рюмку принимать». Из чего видно, что уже тогда Пескарев настраивал себя на выигрыш в жизни. Но под влиянием самодельной браги Электрон пустился в такие откровения, что потом у меня болели мышцы брюшного пресса — так мы хохотали, включая Старца, шестидесятипятилетнего капитана шхуны, бывшего соловецкого монаха.

Окосевший Электрон бесстрашно наускакивал на капитана, укоряя того религиозным прошлым. Как оказалось, отец самого Электрона — Фаддей Пескарев — был первым активистом общества безбожников на Псковщине и знаменитым верхолазом, спецом по сбрасыванию колоколов с колоколен. В тысяча девятьсот двадцать девятом году Фаддей сорвался с очередной колокольни вместе с очередным вечевым колоколом. Спас отчаянно воинствующего безбожника большой куст бесхозной бузины. Жена Фаддея в этот момент была беременна на седьмом месяце и от страха и переживаний за мужа досрочно родила двойню.

Чудом спасшийся счастливый отец Фаддей Пескарев недоношенную дочь назвал Бузиной, а недоношенного наследника — Электронем.

Все это Электрон выдал нам сквозь слезы. Атомное имя отравляло ему существование и в поварской школе, куда он сперва попал из партизан, и в средней мореходке.

Смешливый, как большинство монахов, капитан сквозь стон и хрюканье сообщил всем нам, что однажды ему удалось способствовать изменению фамилии четвертого механика Пузикова или Пупикова на Сикорского, и велел принести судовой журнал.

Я принес черновой. Но капитан велел принести чистой. И властью, не данной ему Уставом морского флота, совершил обряд переименования Электрона в Елпидифора, указал в вахтенном журнале широту, долготу, судовое время и отсчет лага. Тут я ему сказал, что мы стоим на якоре и лаг не работает. Тогда Старец записал в журнал длину отданной якорной цепи в смычках и отметил еще, что грунт в той точке, где третий штурман Пескарев сменил имя,— мелкая ракушка и голубая глина.

Назавтра, когда мы с чугунными колоколами вместо голов ошвартовались в кольском поселке Дровяное, Пескарев тихой сапой сделал выписку из журнала, прихлопнул судовой печатью и на первом же рейсовом катере отправился в мурманский загс, прихватив мешочек с двумя килограммами чеснока — материнский гостинец из деревни.

Что в загсе сработало: дремучее «написано пером, не вырубись топором» или дефицитный на севере в начале пятидесятых годов чеснок — неизвестно, но в Дровяное Электрон вернулся Елпидифором.

Старец по этому поводу заметил, что государству рабочих и крестьян содержание таких типов, как Пескарев, слава богу, обходится недорого: их можно прокормить хреном и редькой даже без приправы из постного масла — о чем говорит вековой опыт существования юридов на Руси, но лично он, капитан зверобойной шхуны «Тюлень», предпочитает встретить один на один гималайскую медведицу, только что лишившуюся детей, нежели плавать дальше с Елпидифором, пока тот не пройдет специализированного обследования в психодиспансере.

Следующий раз судьба свела меня с Елпидифором на сухогрузе «Клязьма». Мы плавали по Балтике, а иногда выбирались и до Лондона. Я был старшим помощником капитана и заканчивал заочно Высшую мореходку. Елпидифор был третьим помощником: корректировал карты



и насчитывал зарплату для экипажа — и то и другое трудно выносимые занятия для зрелого дяди. Но Елпидифор нес бремя напрочь не получившейся карьеры безропотно, чем умилял меня, вызывал с моей стороны стремление затушевать нашу служебно-производственную разницу некоторым попустительством его слабостям, хотя особых слабостей, кроме обычной непроходимой глупости, за Пескаревым и не числилось. Ношение третьим штурманом, например, калош — он носил их на судне и на берегу — можно считать не слабостью, а странностью.

Калоши Елпидифора Фаддеич завел в начале шестидесятых годов. Яростные насмешки и поругания со стороны молодых, англазированных штурманов он сносил без всякого раздражения и напряжения, наоборот, тихо-затаенно гордясь тем наглым вызовом, который бросали его калоши в лицо атомно-техническому веку.

Другой странностью Елпидифора была любовь к писателю Мельникову-Печерскому. На мой прямой вопрос о том, чем его привлекает скучный Мельников, Пескарев ответил, что уважает Печерского за «евонную обстоятельность и спокой». «Евонную» и «спокой» Елпидифор употреблял намеренно, умея говорить правильно и чисто. Этим он меня иногда особенно умилял. В «евонной» и в калошах проявлялась самобытность природы Елпидифора. И если меня она умиляла, то у матросов, например, вызывала бурное одобрение. Ведь ослиное упорство в какой-нибудь мелочи всегда пользовалось и пользуется в нашем непоследовательном и взбалмошном народе устойчивым спросом, особенно если оно еще смешивается с какой-нибудь рациональностью, то есть явной, зримой выгодой — сухие ноги, сохранность ботинок, защита от электротока.

Помню, как однажды я взял у Елпидифора «ФЭД», чтобы сфотографироваться у памятника Нельсону на Трафальгарской площади, и испортил пленкопротяжный механизм. Елпидифор полонку воспринял болезненно, причитал минут пять, что вот ведь какая незадача: «ФЭД» у него уже двадцать лет скоро и всегда служил верой-правдой, но стоило отдать в чужие руки разок и...

Закончил же причитания совершенно неожиданно и не без мягко-укоряющего юмора:

— Слава богу, я вам, Петр Иванович, попользовать только свой аппарат дал, а не калоши!

Вот как высоко он их ставил!

Надо сказать, что меня иногда смущало наличие в Елпидифоре подпольно-подспудного юмора. Это даже настораживало, ибо, вообще-то, юмор есть забава разума, а выходило, что и не обязательно разума.

Капитан «Клязьмы», как это все чаще почему-то случается, умер прямо на мостике, в рейсе. Я принял судно, штурмана передвинулись по служебной лестнице, и Елпидифор Пескарев волею всевышнего стал вторым, то есть грузовым помощником. Короткая деятельность его на этом сложном и ответственном посту была ужасающей. Пакеты листовой стали он раскрепил в трюмах картонными коробками с французскими елочными игрушками. Произошло это в Бордо, когда я был занят грустными обязанностями по депортации в Союз останков капитана и контролировать ход погрузки не мог. В результате Елпидифора посадили писарем в отдел кадров. Между прочим, он составил тогда детальную инструкцию-памятку по похоронам моряков и разработал преЙскурант на похоронные принадлежности в соответствии со служебным положением умершего морехода. Этим его документом пользуются и по сей день.

В погаре Елпидифора в какой-то степени мне приходилось винить себя, и я сильно переживал его сидение на берегу. Дело в том, что оклад третьего штурмана на современном флоте сто двадцать рублей, плюс двадцать четыре рубля, если он плавает, и плюс восемьдесят три инвалютных копейки в сутки, если он плавает за границей. Для многодетного человека (а Елпидифор, как и все служебные тихоходы, компенсировал служебную тихоходность дрозфиловской плодовитостью) сто двадцать береговых рублей — не фонтан.

Мои душевные муки из-за материального положения Елпидифора закончились, как это чаще всего на флоте и бывает, сочинением на судоводителя Пескарева, 1929 года рождения, русского, образование среднее и т. д., превосходной характеристики, с которой Елпидифора спокойно можно было назначить генсеком Организации Объединенных Наций. И он опять пошел плавать третьим помощником.

С тех пор много воды испарилось в мировом океане. И я давно уже работаю капитаном-наставником, то есть отвечаю за тридцать рядовых капитанов дальнего плавания.

На «Новосибирск» я подсел в Бремене зимой, а из Ленинграда улетел ранней весной на Бермуды, где подопечное судно попало в аварию. С Бермуд отправился пассажиром в Гавану, где принял «Азовск», подменяя заболевшего капитана. На «Азовске» пошли в Японию, из Японии на Австралию, где застряли на три месяца под забастовкой докеров. С Австралии пришли в Гамбург под трубы, и мне уже мерещился солнечный блик на куполе Исаакиевского собора, когда оказалось необходимым сопроводить молодого капитана в рейсе на США из Бремена.

Восемь месяцев без родных осин и все с разными новыми людьми — тут и Елпидифору обрадуешься.

Он был вахтенным помощником, когда я прибыл к борту «Новосибирска», и встретил у трапа, подхватил чемодан и сопроводил в гостевую каюту — ангар с двумя кроватями и «Аленушкой» Васнецова почти в натуральную величину между ними.

Не очень ловко себя чувствуешь, когда одногодок и давний соплаватель — вечный третий штурман — тащит твой чемодан по трапам, а ты пытаешься чемодан отобрать и все спрашиваешь: «Ну, как жизнь, Фаддеич?» А он отвечает, что все нормально, Петр Иванович. И тогда ты ему говоришь, что он отлично выглядит (и это правда), а он тебе говорит, что ты тоже отлично сохранился, — что, увы, ложь, ибо бремя ответственности повесило тебе под каждым глазом по кенгуриной сумке и сердечко твое барабанит в ребра заячьими лапками, хотя ты по трем трапам всего поднялся.

— Какой садист украсил пароход сиротинушкой? — спросил я у Елпидифора про «Аленушку». Спрашивать его про служебные успехи язык не поднялся.

— Все смеетесь, Петр Иванович, над жизненной почвой народных мотивов, — заметил Елпидифор и попросил разрешения быть свободным. Поговорить на темы народа и народности Елпидифору хотелось — он это завсегда любил, но тут счел необходимым сохранить субординацию.

— Мы не на линкоре, а я не адмирал, Елпидифор Фаддеич. Садись, покурим.

— Так я не курю, — сказал Елпидифор. — А вы все одно высоко поднялись. Видите, уже и забыли, что Пескарев никогда отравой не баловался. Как автомобильчик ваш поживает?

— А черт его знает, я восемь месяцев дома не был,— сказал я. Почему-то мне не захотелось ему говорить, что свой «Москвич» я давным-давно продал.

— Век вам благодарен буду, — сказал Елпидифор и отправился доложить молодому капитану об устройстве наставника на жительство.

Благодарить меня весь век Елпидифор собрался потому, что я ему помог приобрести по баснословно дешевой цене списанную нашим финским торгпредством дизельную «Волгу». Был такой короткий период, когда морякам разрешили покупать за рубежом подержанные машины. И с тех пор Елпидифор стал автолюбителем.

Я распаковал чемодан, ощущая на себе мертво-стеклянный взгляд Аленушки и удивляясь Васнецову, который умудрился нарисовать девицу так, что в ней нет ни одного золотника соблазнительной женственности, то есть презренного секса. И впервые обнаружил на знаменитой картине чуть повыше и левее Аленушки веночек из стрижей или ласточек. И тут взял да и кощунственно засунул под раму здорового тигра — обложку рекламного буклета зоопарка Гагенбека в Гамбурге. И получилось, что лютый зверь пьет из того водоема, возле которого тоскует сиротинушка.

Судно грузилось, утром предстоял отход, следовало начинать знакомство с делами, а я занимался чепухой. И настроение было такое, как когда я вдруг обнаружил, что начинаю забывать таблицу умножения и что таблицу следует время от времени повторять — хорошее открытие для капитана-наставника.

Из моей каюты виден был длинный коридор, огнетушитель на переборке и стенд с «Санитарным листком»: «Каждый должен знать методы оживления!», «Учись делать искусственное дыхание!» и т. д. Среди трафаретных заголовков выделялся рукописный — «Расплата», текст под ним был стихотворный. Я вышел в коридор и прочитал стихи, так как их автором был третий помощник Пескарев. Оказалось, что кто-то посмеялся над заботами Елпидифора о здоровье — ежеутренняя пробежка на месте в течение пятнадцати минут: «Он журил меня порой за то, что я бегаю, в жизни он любил покой, защищал до ярости: “Бегай ты хоть день-деньской, не уйдешь от старости!” — “Нет, Ванюша, сверстник мой”, — молвил я участливо... Знал я — время разрешит спор мой тот с коллегой: он в земле давно лежит... Ну, а я все бегаю!»

Молодец, Елпидифор Фаддеич, подумал я, принимаешь посильное участие в общественной жизни судна, баллады даже пишешь, людей учишь — молодец, Пескарев! И, подумав так, я поднялся в рулевую рубку.

Был глубокий, черный зимний вечер.

Сотня чаек ночевала на воде за бортом в зоне палубных огней. Чайки сидели на мелких волнах и качались на них, как на мокрых бременских осликах. Вся сотня правила строго на ветер, хотя и спала, клевала носами. Спящие на черной воде светлые птицы производили какое-то лунное впечатление. Когда ветер сдрейфовывал сотню из зоны палубного света, они просыпались, лениво и сонно поднимались одна за другой, перелетали на ветер, в круг призрачных бликов, шлепались там на волнистых бременских осликов и опять клевали носом в беспокойной дреме.

За близкой дамбой скользили топовые огни проходящих по реке Везер судов. Эти огни были слабее портовых и городских, но по какому-то неведомому закону выделялись среди них и двигались деловито и уверенно, иногда только исчезая в оранжевых и голубых сияниях портовых светильников. Над всеми огнями беззвездной пропастью зияло зимнее циклоническое небо, обещающая уходящим в море болтанку и нервотрепку. Плавкран «Атлет» выдергивал с причала огромные сорокафутовые контейнеры и ставил их на крышку второго трюма «Новосибирска». В третий трюм судовые краны опускали площадки с коробками баварского пива. Немецкое пиво отправлялось через зимнюю штормовую Атлантику в техасские бары. В четвертый трюм шли кишки. Немецкие кишки, заквашенные в черных шикарных бочках, напоминающих глубинные бомбы, ехали в США для нужд колбасной промышленности.

Капитану «Новосибирска» было тридцать четыре, звали его Всеволодом Владимировичем, он был переполнен уверенностью в том, что весь мир существует только как полигон или сцена, на которых он может демонстрировать врагам и друзьям упругую деловитость, способность к звеняще-четким поступкам и блестящий английский язык.

Через двое суток мы уложили с Всеволодом Владимировичем «Новосибирск» на дугу большого круга, ведущую от английского Бишоп Рока на американский плав-

маяк Нантакет, и начали играть в лобовые атаки со встречными циклонами — у кого вперед нервы не выдержат. А в свободное от служебных забот время играли в преферанс в капитанском салоне при закрытых дверях, потому что карты на море-океане запрещены даже для начальников.

Третьим гробил с нами здоровье и время кандидат химических наук Сергей Исидорович Клинов. Ученого отправили в рейс, чтобы немного оморячить, — он ожидал утверждения на должность заведующего кафедрой химии в мореходный вуз, а вообще был узким спецом по аномальному льду, из которого, как предполагают, состоят облака на Венере. Сергей Исидорович постоянно — даже в полумраке — носил темные очки. Он объяснил нам, что испортил зрение на вершинах Эльбруса, когда искал там следы аномального льда. Одновременно он дал понять, что альпинизм его хобби.

Игра шла с переменным успехом все девять суток океанского перехода. Особого азарта и разгула страстей не было, пока к нам не подключился Пескарев.

Он постучался в капитанский салон около часа ночи по судовому времени и положил перед Всеволодом Владимировичем радиограмму. Радиограмма пошла по рукам в уважительной и сосредоточенной тишине. Супруга сообщила Елпидифору, что служебный стаж ему засчитан с 1941 года, партизанское прошлое учтено год за три и что с сего числа в возрасте сорока пяти лет он удостоен пенсии.

Таким образом, Елпидифор Фаддеич сразу как бы вышел из рядов плавсостава и лег на какую-то новую орбиту, и его не очень высокое служебное положение больше не могло служить преградой для игры в преферанс за закрытой дверью капитанского салона. А именно с просьбой разрешить ему принять участие в пульке он и прибыл к нам с пенсионной радиограммой в час ночи.

Я не так удивился ранней пенсии Елпидифора, как его просьбе. Это было мое первое удивление, за которым последовала цепь все более сокрушительных удивлений. Я как-то так и не предполагал, что тугодум и тихход Пескарев способен страстно увлекаться такой тонко-интеллектуальной игрой, каковой является в нашем обществе преферанс. Но в свой звездный час за одну ночь Елпидифор Фаддеич обчистил, ошипал, ободрал меня, молодого капитана и ученого специалиста по ненормальному льду, как бог ободрал зад макаки за миллион лет

эволюции. Причем больше всех пострадал привыкший к победам на жизненном поприще молодой капитан: он схватил четыре взятки на мизере — и все стараниями Елпидифора, который еще утешал его, приговаривая сладеньким голосом, что, мол, кто не рискует, тот живет на зарплату.

Утром в заливе Делавэр погода была прекрасная — голубые небеса, кофейная вода, ярко-рыжие, как крик петуха, берега и пятибалльный ветерок. Но обыгранный своим помощником Всеволод Владимирович был хмур, брюзжал на мостике и придирался к досрочному пенсионеру, демонстрируя высший пилотаж капитанской капризности. Он распушил Пескарева за неподшитую бахрому у звездно-полосатого флага, затем обнаружил отсутствие на судне лощи Антарктиды, нужной ему в тот момент, как чайке вытяжной парашют; затем сгонял Елпидифора вниз за форменной фуражкой, утверждая, что возле берегов США у мыса Хенлопен, где черным по белому написано, что это район специального режима, советский вахтенный штурман Пескарев обязан не только быть в форме и форменной фуражке, но и опустить у фуражки ремешок под подбородок, чтобы каждый американский пескарь, черт побери, знал, с кем он имеет дело, и т. д. и т. п.

Должен признаться, что капризы у своих подчиненных — капитанов считаю положительным признаком свободы внутри профессии и профессионального мира. Капризность есть сигнал о том, что мужчина на капитанском мостике наконец вытеснил из себя комплекс запуганного школьника и начал утирать сопли не рукавом, а платком, то есть поверил в себя и свое право быть там, где он есть.

Итак, Всеволод Владимирович разрешил себе покапризничать, когда мы приближались к месту приема лоцманов в заливе Делавэр у маяка Харбор-оф-Рефьюдж, а Пескарев покорно сносил придирки, потому что штурманская работа характерна абсолютной невозможностью практически соблюсти и выполнить все и вся, что теоретически требуется соблюдать и выполнять. Найти повод для придирки к вахтенному помощнику капитану так же легко и просто, как самой целомудренной женщине найти повод для снятия юбки на черноморском пляже в хорошую погоду.

В двух милях от Харбор-оф-Рефьюджа у мыса Хенлопен показался в кофейных волнах кувыркающийся лоц-

манский бот. Здесь Всеволод Владимирович выдохся ибо притупил молодые зубы о дубленую шкуру Елпидифора, и нормальным голосом приказал готовить лоцманский трап.

Елпидифор включил трансляцию на палубу и сказал, почесывая сквозь старые брюки левую ляжку: «Боцман! Выделите двух человек на лоцманский трап с левого борта! Как поняли?!»

Не успел боцман ответить стандартное: «Вас понял!», как Всеволод Владимирович опять вдохновился, и схватил молодыми зубами пенсионера, и опять принялся терпеть его, как сиаемский кот славянскую кошечку:

— Сколько раз слышу ваши такие объявления по трансляции, Елпидифор Фаддич, — сказал капитан, — и каждый раз меня как-то саднит и с души воротит, но я все терплю, терплю, терплю и сам не знаю, почему так долго терплю!

— Чем я вам опять не угодил? — спросил Елпидифор угрюмо.

— Он не знает! Стыд какой! Ну, а вот эти ваши «человеки»? Почему не сказать по-человечески: «Боцман, пошли двух матросов» или уж «пошлите двух моряков»? А вы — «два человека» или даже «два человекка» иногда себе позволяете говорить!.. Что-то такое от кабака старинного, от полового, от «Человек, два пива!». Понимаете, о чем я?

Елпидифор молчал, но по его физиономии распространялось подозрительное выражение слишком уж откровенного, тугодумающего дурака, который уже и сам знает, что он полный осел, и даже уже и не пытается скрыть свое тупоумие, потому что смирился с ним и даже полюбил его. И вот с таким тупоугольным выражением на окуневой физиономии Елпидифор наконец спросил у капитана:

— А с Горьким как быть, Всеволод Владимирович?

— А он при чем? — спросил капитан. — Он что, тут лоцманом работает?

— Нет, Всеволод Владимирович, евонное звание было «великий пролетарский писатель», — сказал Елпидифор, все храня на роже предельно тупоугольное выражение. — И как с евонным «Человек — это звучит гордо» быть?

— Вот и играй с подчиненными в запретные игры! — воскликнул капитан, адресуясь ко мне и неволью как бы восхищаясь находчивостью помощника, хвастаясь Елпи-



дифором, как хвастаются молодые сельские хозяева бодливым бычком или злым щенком.

В Филадельфии мы стали к причалу в речке Скулкилл рядом с военно-морской базой. Берега там гористы от огромных куч всяческого военного и штатского утиля.

Был день Благодарения — американский всенародный праздник. Порт не работал, как не работают там по праздникам и городские «сикспенсы», то есть суперуниверсальные универмаги.

Я за границей давно уж на берег не хожу и не езжу, кроме как к консулу или в сикспенс. И в Филадельфии, да еще в праздничный день, на берег не собирался, но Пескарев уговорил меня и химика совершить оздоровительный моцион вблизи порта, чтобы «вложить персты в ихние капиталистические раны», как он евангелически выразился, подразумевая захламление окружающей среды.

В последний момент к нам присоединился боцман Витя — славный парень, единственной слабостью которого было шикарно одеваться, — и около шестнадцати по нью-йоркскому времени Пескарев в калошах, химик в темных очках, боцман в куртке из аргентинской овчины и я вышли за ворота порта.

До города было километров шесть изнасилованной земли. Пентроз-авеню возносилась на пятидесятиметровый мост над речонкой Скулкилл и потом очень медленно опускалась к горизонту по ажурной эстакаде. На авеню мелькали с частотой проблескового маяка автомобили, а все окружавшее нас припортовое пространство было лишено каких бы то ни было признаков движения и жизни: праздничная пустыньность накладывалась на припортово-пригородное запустение. Центром пейзажа был Эверст мертвых автомобилей — куча метров до тридцати высотой.

Сергей Исидорович объяснил, что металл североамериканского автомобиля так перепутан с негорючей и вонючей химией, что выплавить его обратно невозможно. Чтобы избавиться от автомобильного старья, его пытались топить в океанах и сбрасывать в вулканы, но это оказалось дорого. И вот Кордильеры автомобилей гниют на воздухе, а чтобы какой-нибудь озорник не мог использовать неисправную технику, их предварительно немного сплющивают под прессом.

Холодный ветер гонял взад-вперед по небесам низкие тучи и раскачивал увянувшие и высохшие сорняки на

скулах придорожных обочин. От предельно загрязненной среды тянуло кровавым запахом мафии: боссы Коза Ностры обычно вьют бандитские гнезда в брошенных прицепах на автомобильных кладбищах. По утверждению нашего американолога Ю. Жукова, для удобства работы гангстеры подключают к гнездам телефон, пневмопочту, устанавливают поблизости сторожевые телевизоры и всякие другие новинки электронной техники.

Как старший группы, я счел необходимым поделиться этой информацией со спутниками. Но все, кроме ученого химика, навидались американских полицейских кинобоевиков и сами знали про жуткий внутренний смысл пригородных пустырей.

Есть, правда, и там поэзия. Ведь она всюду, вообще-то. Даже в скорбном молчании заброшенных тусклых рельсов, в почерневшем зимнем сухостое бурьянов и шелесте облетевшей пушицы, в вечной зелени низкой травки, в подгнивших, но все еще колючих и тяжелых булавах дикой горчицы. Кустики этой горчицы только и показывали, что мы ближе к югу, нежели к северу. Поэзия была даже в двух старых товарных вагонах у тупика подъездных путей. Ведь когда ты долго плавал в океане, то тебя радует все земное. Но это я так, от сентиментальности стареющего моряка, все эти детали пейзажа к делу не относятся. А вот яблонька возле автомобильных Кордильер, яблонька, усыпанная райскими (или китайскими — никогда не знаю, синонимы это или нет) яблочками, имела к последующим нашим приключениям отношение.

Она стояла у самого порога автомобильного кладбища, опустив ресницы черных сучков и одновременно задрав подол нижних ветвей, как перезрелая девственница, которой совсем уже невтерпеж от зова матери-природы и которая готова согрешить с кем угодно и даже на могильном холмике.

Яблонька соблазняла нас точь-в-точь, как ее райская прародительница. Захотелось сломать усыпанную яблочками веточку и притащить ее в стальной гроб каюты или просто-напросто попробовать заморских плодов. Но в то же время мы испытывали робость перед собственностью Соединенных Штатов.

Первым преодолел робость Елпидифор Фадденч. Он с партизанской решительностью свернул с бетона дороги в заросли ежевики. И, подчиняясь стадному инстинкту, мы свернули за ним и полезли сквозь ежевику, которая

цеплялась за одежду и заставила боцмана Витю помянуть «титскую силу» — любимое боцманское выражение.

Елпидифор пер впереди нахраписто и целенаправленно, прокладывая тропу сквозь колючие и пожухлые заросли к краснеющей все больше по мере нашего приближения яблоньке и автомобильному Монблану за ней. Монблан этот уже закрыл половину серого неба. Автомобильные трупы лежали штабелем, давя друг друга и выпучив фары, как глубоководные рыбы на палубе траулера.

Добравшись до яблони, мы убедились, что она из тех красоток, физиономию которых лучше вблизи не видеть: плоды ее оказались пропыленными и прокопченными и осыпались от первого прикосновения.

— Эхма! Кто не рискует, тот живет на зарплату! — сказал тогда Елпидифор Пескарев таким тоном, каким наши отчаянной душевной широты предки сопровождали швырок треуха об землю. — Полезу-ка гляну ихнюю технику вблизи! — И с глупым проворством полез на Голгофу из полупрессованных автомобилей.

Я и моргнуть не успел, как пенсионер оказался на бампере «мерседес-бенца» метрах в четырех выше плоскости истинного горизонта.

— Ничего евоный бамперок, — приговаривал он, охваченный непреодолимым интересом автолюбителя к удачам и промахам иностранного автомобилестроения, — а рессорчики-то дрянь, металл буржуи экономят, тонкое железо-то на кузовах, ох, тонкое черти ставят — так что и прогибается-то под ногой! Как бы Пескарев калоши-то об ихний утиль не порвал...

— Я бы поостерегся на месте вашего друга, — сказал ученый химик. — Может выйти большой скандал, если хозяин этого склада увидит, как ваш друг там лазает без всякой предварительной договоренности и разрешения.

— Это почему же он мой друг? — рассеяно спросил я кандидата, наблюдая не без зависти, как шустро пенсионер одним броском перекинулся с «мерседес-бенца» на «пontiак», а вторым броском с «пontiака» на расплющенную, плоскую, как камбала, японскую «датсун». «Весь в отца — верхолаз», — с невольным одобрением подумал я о Пескареве.

— Да, недаром, титская сила, Пескарев каждое утро на велосипедном тренажере лаптями крутит! — сказал боцман Витя. Он тоже любовался верхолазным искусством Елпидифора.

— Желтых фар навалом! — сообщил с верхотуры Елпидифор. — Целехонькие! Иваныч, может, вам открутить?

— Не надо, — сказал я. — Я, Фаддеич, автомобильный крест давно продал.

— Наука, а вам кронштейн для радиоприемника бросить? Хромированный! Ишь, черти, коврики в ихних салонах так и валяются, так и валяются... — несколько уже сомнамбулически приговаривал Елпидифор Фаддеич, удаляясь к серым холодным небесам по отвесному фасаду автомобильного штабеля.

— И зачем я гулять пошел! — воскликнул стонущим голосом химик. — Нужно мне было это гулянье — запросто влипнешь в историю! Остановите своего друга!

— На передних подвесках амортизаторы ихние хуже наших! — сообщил Елпидифор.

— Хоть и праздник у них, а добро они без присмотра не бросят, — сказал химик. — Вот всегда так, вот пофоришь из-за чужого любопытства, и ничего-то хорошего не выйдет!

— А вот мы этого партизана-пенсионера бросим здесь одного и домой пойдем! — сказал я в пространство возможно строже и громче, как говорят родители в зоопарке, когда их отпрыск не может оторваться от клетки с бегемотом и прячется за куст, чтобы минутку лишнюю на бегемота глядеть. Я так говорил потому, что Елпидифор уже исчез из поля зрения среди расплюснутых «кадиллаков» и «фордов».

В ответ на автомобильном штабеле раздался не наш, не русский вопль, заставивший вспомнить Фенимора Купера, снятие скальпов и трагическую судьбу ирокезов. Затем раздался ужасающий мат Пескарева. Затем по гребню автомобильного штабеля отчаянными прыжками промчался какой-то незнакомый человек. Затем что-то наверху чудовищно загрохотало, и весь штабель содрогнулся, и вместо исчезнувшего незнакомца поднялось облачко рыжей ржавой пыли. Затем все стихло. Затем откуда-то издалека, с той, противоположной стороны штабеля донеслось: «С-О-Б!» — распространенное в англосаксонских странах выражение, обозначающее в буквальном переводе «сын суки».

— Елпидифор Фаддеич, что там с вами?! Вы живы?! — заверещал кандидат, подбежав под штабель, подпрыгивая от волнения и задрав голову к небесам.

Елпидифор не отвечал. Вместо ответа со штабеля соскользнула и, переворачиваясь в воздухе, полетела на

химика одинокая калоша. Химик успел отпрыгнуть но очки сорвались с его носа и брызнули камень.

— Что там с вами происходит, Пескарев, черт возьми?! — заорал и я. — Немедленно доложите!

— Индеец!.. — доложил Елпидифор, высовывая голову из дыры в штабеле на высоте приблизительно пятнадцати метров над уровнем моря. Голова третье о помощник высунулась из хитросплетения перекореженного металла, точь-в-точь как у Чарли Чаплина в «Новых временах» когда его затянуло в заводской механизм и он извивался между шестерен, изредка показываясь на поверхность где его кормили кукурузой.

— А мобыть, негр! — засомневался Елпидифор в национальной принадлежности убежавшего аборигена. — Там наши «Жигули» обнаружались, по-ихнему «Лада», а он и выскочил! С того бока ударил, за им весь крайний ряд обвалился: Пескареву, кажись, теперь отсюда не слезть!

— Индеец! Господи! — прошептал химик, потрясенный и разбитыми очками, и всем вообще происходящим. — Подумать только! Индейца чуть не убили!

— Товарищ наставник, а ведь третьему оттуда, действительно, пожалуй, самому не слезть, — сказал боцман Витя, оценив ситуацию с точки зрения профессионального такелажника. — Побегу-ка я на парход за веревками, разрешите?

— Сам знаешь: поодиночке здесь бегать нам не положно — гангстеры и прочее, — сказал я. — Может, это и не просто индеец был или негр, а какой-нибудь Пол Варрио — матерый главарь подпольной штаб-квартиры мафии, черт знает. Вообще-то, в принципе, я бы, Витя, не возражал, чтобы Пескарев там, на холодном ветру, среди теней всех погибших под этими колесами посидел некоторое время. Ему, черт бы его за его прыть и глупость побрал, полезно было бы побыть там пару часиков...

И тут я вспомнил, что главной причиной пиетета перед ученым химиком было его занятие альпинизмом.

— Подожди, подожди, боцманюга! — обрадовался я. — Нам наука поможет! Сергей Исидорович, какова с вашей альпинистической точки зрения ситуация? Можем мы покрыть срам Елпидифора Фаддеича своими силами? Быть может, вы разработаете и подскажете маршрут безопасного спуска или даже сами за ним слезаете? Ведь вам, вероятно, раз плюнуть?

— Вы что, не видите — у меня очки разбились?— спросил альпинист.— Вот всегда, как неприятность, так все стараются меня в нее больше всех впутать! И если хотите знать, никакой я не альпинист и не горнолыжник; я это просто так говорил, случайно, чтобы чем-нибудь компенсировать трудное положение в специфическом мире на корабле,— вы-то, как интеллигентный человек, это должны понимать!

— Бежать?— спросил боцман, застегивая пуговицы на куртке из аргентинской овчины.

— Давай, беги! — сказал я.— И капитана сюда! Пусть сам своих помощников спасает! Не мое это наставническое дело!

Боцман помчался на пароход, а мы с химиком остались у подножья Монблана сплюснутых автомобилей. Елпидифор предпринимал робкие попытки самостоятельного возвращения на землю и сильно гремел железом в разных точках Монблана.

Было зябко, ветер дул порывами с разных направлений, как всегда на пустырях. Истерзанная, смешанная с углем, копотью, металлом, битым кирпичом, нейлоном и перлоном земля сиротинилась под серыми филадельфийскими небесами. Грустно шуршали мертвые бурьяны, лопухи, полынь, пушица, хилый камыш и осока в придорожных обочинах. Понуро тянулась куда-то незамкнутая ограда из железобетонных столбов с кронштейнами и проволокой на них. Два дырявых товарных вагона пригорюнились на давно не езженных рельсах. Далеко за вагонами виднелась в сером небе рекламная полуголая женщина. Она лежала над пригородно-свалочно-близпортовым пейзажем, подперев рукой голову и мерцая плечами,— там была автозаправочная станция. Глупая райская яблонька и рекламная женщина переглядывались, а может, и переговаривались, когда никого здесь не было.

Мне вдруг захотелось бросить моря и океаны к чертовой матери и лежать, подперев голову рукой, на диване, и чтобы рядом было мягкое женское. И еще почему-то подумалось, что в этих мертвых холодных автомобильных трупях когда-то было тепло, и в этом автомобильном тепле было зачато много новых автолюбителей.

Все время, что я созерцал окружающее и мыслил, химик стоял, сложив руки на груди и бессмысленно упреков взгляд в пышный поролоновый двуспальный матрас. Матрас развратно валялся среди консервных банок. Его владелец, возможно, лишился супруги и отправил матрас

на помойку, чтобы не терзаться воспоминаниями о мягком женском.

— Разрешите и мне уйти на судно, — наконец сказал химик.

— Вам уже поднадоела заграница? — спросил я.

— Мне холодно! — сказал химик. — Чего он там так шумит?

Елпидифор, действительно, трепыхался на ржавом Эльбрусе и гремел там железом, как Прометей цепями. И орел должен был на этот шум прилететь.

И прилетел.

Елпидифор вдруг затих, и сверху донесся хриплый шепот:

— Ложись, товарищи! Ихний луноход катит!

— Кто катит? — спросил химик.

Я объяснил, что луноходом в наш космический век моряки со средним образованием называют машины спецназначения.

На повороте дороги показался полицейский сине-бежевый «форд» с мерцающей на крыше синей лампочкой.

— Кошмар какой-то! Кафка! — сказал химик. — Будем ложиться?

— Сядем, — сказал я.

Мы сели на американский матрас, задрав колени выше головы, — поролон оказался замечательно мягким. И на некоторое время я почувствовал успокоение, которое испытывает гусь, засунув легкую голову под крыло: полицейский автомобиль исчез за близким бурьяном и кустиками горчицы. И мелькнула надежда, что он нас тоже не видит.

Но Елпидифор разрушил гусиные иллюзии, доложив хриплым шепотом:

— К вам!

Себя Пескарев почему-то отделил от нас с химиком.

— Кошмар какой-то! Накрылась кафедра! — сказал ученый и нацепил на нос пустую оправу от очков.

— Спокойно! — сказал я по капитанской привычке.

— Карта не прет, — сиди, Пескарев, на горе: оттуда виднее, как других раздевают, — с партизанским хладнокровием сказал с Голгофы Елпидифор преферансную прибаутку, и мне показалось, что он там хихикнул. И я не мог не позавидовать его хладнокровию и способности к юмору в страшный момент.

Мягкий рокот супермотора и шелест шин приближались.

— Боже милостивый! — простонал кандидат. — Нужна мне была эта экскурсия!

— Заткнитесь, так вас и так! — сказал я, теряя вежливость. — Кто мог знать, что Пескарев настолько глуп, что полезет на эту свалку?

Елпидифор громыхнул железом над нами.

— Не двигайся, бога ради! — попросил я.

— Я на аккумулятор сел, а он заряженный! — прошипел Елпидифор. — Заряженные аккумуляторы выкидывают — вот сволочи! Посиди тут!..

Рокот мотора затих, близко зашуршали шины по гравию, и прямо перед нами выдвинулось из зарослей бурьяна и горчицы блестящее крыло полицейского «лунохода». Вероятно, для опознания с вертолетов или из космоса на крыше его, кроме вращающихся синего и красного устройства, был еще огромный белый номер «611», а всевозможные мелкие номера и надписи располагались по периметру. За рулем же располагался ребенок из тех, кому кровати строят по заказу, а гроб таким вообще не требуется, потому что, на мой взгляд, подобные детины никогда не дохнут — даже и при собственном желании. Во лбу детины горела здоровенная металлическая блямба с гербом Филадельфии. Пистолета тридцать восьмого калибра видно не было, так как он его еще не достал. Ребенок жевал жвачку и смотрел куда-то мимо нас. Из его «лунохода» доносилась через открытое окно музыка. Я воспринимал ее как реквием, хотя это было что-то более современное, типа: «Я рожден, чтобы задать вам перца!»

Холодный ветер стонал в Монблане железа за нашими спинами. С потревоженной колесами прошлогодней растительности осыпалась труха.

— Шериф? — проямлил химик одними губами.

Полицейский же и я молчали.

Вообще-то, существует простое правило для того, чтобы не дать повода для общения с вами незнакомому человеку — ну, например, пьяному на трамвайной остановке или полицейскому в чужой стране. Никогда не глядите им в глаза. Это простецкое правило, как и все вообще правила, нетрудно запомнить, но мучительно выполнять.

Шериф жевал резинку и тянул резину замечательно. Он чувствовал себя полностью в своей американской тарелке, тем более что их автомобиль — это уже и не средство передвижения, а служебный кабинет на колесах с



тормозом или гостиная с карбюратором на амортизаторах.

Полицейское молчание, извиваясь, тянулось к нам, ощупывало нас шершавым хоботом мамонта, пощипывало потаенные бугорки и прыщики в дальних и темных закоулках наших душ.

— Скажите ему что-нибудь! — прошептал изнемогающий химик.

— А чего ему говорить? — прошептал я в ответ.

— Ну, поздравьте его с праздником! — прошептал изнемогающий химик. — Какой у них праздник?

— Заткнитесь! — прошептал я, не разжимая зубов.

Но ученого, наоборот, вытошнило со страху полным запасом его английской грамматики и американских слов:

— Гуд бай хау ду ю ду олл райт, сэр!

Полицейский детина даже перестал жевать резину, потом спросил:

— Шведы? — и плюнул изжеванной жвачкой в ближайший «кадиллак» с помощью пневматического ружья или аэродинамической трубы. Розовый комок жвачки расплющился на «кадиллаке» в пленку микронной толщины.

— Что он говорит? — спросил химик, сжимая мое колено.

— Он спрашивает, шведы мы или нет, — объяснил я химику. Меня сильно тянуло стать шведом. Кандидат, оказывается, испытал то же извращенное желание.

— Скажите, бога ради, «да»! — пробормотал он.

— Русские! — сказал я, потому что не мог так уж сразу стать Мазепой и продать предков.

— Бродячую собаку здесь не видели? — спросил полицейский с невозмутимостью мамонта, которого только что извлекли из вечной мерзлоты.

— Нет, парень, — сказал я, с исключительной волей продолжая прятать глаза, только теперь я упер взгляд в далекую рекламную женщину.

— Извините! — вежливо сказал полицейский, очень длинно выругался, и его автомобиль тихо, как взбесившийся карибу, прыгнул из сорняков на дорогу и исчез за поворотом со скоростью молоденького привидения.

— Что он сказал? — спросил кандидат наук.

— «Пючеши свой зад разбитой бутылкой», — перевел я полицейское ругательство со вздохом облегчения.

— Кошмар какой! — сказал химик. — Он нас наверняка сфотографировал!

— Да он лап с руля не снимал, — сказал я. — Уберите наконец дамский велосипед с носа!

— При их-то технике! — воскликнул химик, снимая оправу с носа. — Они из пуговицы сфотографируют!

— За подмогой поехал! — донеслось с небес. — Торопиться Пескареву надо!

— Вы как хотите, а я пошел, — понижая голос до таинственного шелеста, сказал химик. — Шериф здесь наверняка какую-нибудь электронную подслушивающую штуковину оставил!

— Но-но, — сказал я, поднимаясь с матраса. — Никуда вы один не пойдете. Здесь полно бродячих собак. И успокойтесь, Сергей Исидорович. Вы еще должны судьбу благодарить. Быть может, вы сейчас будущего президента Соединенных Штатов видели и с ним познакомились, — продолжал я ободряющим тоном. Сергей Исидорович все-таки первый раз был за границей, его нервное состояние можно было понять, и не следовало сердиться, наоборот, следовало ученого развлечь, зарядить оптимизмом.

— Эхма, разводного ключа нет! — донесся повеселевший голос Елпидифора. Одновременно с верхотуры донеслись звуки какой-то целенаправленной человеческой деятельности — там звякало и ритмично поскрипывало железо.

— Президента? Какого президента? — переспросил химик.

— Американский писатель Эрскин Колдуэлл, — начал объяснять я, закуривая и разминая закаменевшие члены, — утверждает, что в этой удивительной стране множество политических деятелей начинали с ловли собак. Если уж на то пошло, так большинство известных сенаторов, членов конгресса и президентов начинали здесь политическую карьеру именно с этого. Вряд ли, Сергей Исидорович, мы найдем здесь хоть одного крупного политика, который раньше не занимался бы ловлей собак.

— Не говорите ерунды! Не может этого быть! — огрызнулся Сергей Исидорович, кутая горло.

— Политика здесь, по мнению Колдуэлла, странная вещь, — сказал я. — То, что во всяком другом деле обязательно, к ней никаким боком не подходит. Политический деятель здесь начинает карьеру, ну, допустим, собаколо-

вом, а не успеете оглянуться — и он уже перемахнул через это.

— Ваши разговорчики вечно какие-то двусмысленные, — сказал ученый холодным и тихим, как вода в омуте на Колыме, голосом и повертел головой, ища подслушивающие устройства.

— Вон идут спасатели, — сказал я. — Скоро обо всем этом вы будете вспоминать с улыбкой.

По дороге широко шагали молодой капитан и боцман Витя с бухтой бросательного конца на шее.

— Что тут с моим помощником? — спросил Всеволод Владимирович деловито. Он был полон решительности, был собран, отлично выбрит и зарумянился на холодном ветру, ему хотелось действий, хотелось сложностей, чтобы решать их на моих глазах и чтобы я потом доложил о его молодой и дерзкой упругости на совете капитанов или в службе мореплавания.

— Я думаю, Всеволод Владимирович, что вашего помощника пора оттуда снимать, — сказал я.

Всеволод Владимирович цепким взглядом обвел Эверест никелированного и ржавого железа, прикинул вертикальные углы и дистанции, растопырив пальцы по образцу секстана, и сказал:

— Ну-с, то, что влезать куда-нибудь легче, нежели слезать, это так же точно, как то, что наплодить автомобилей легче, нежели от них избавиться. Верно я говорю, Елпидифор Фаддеич? Как меня понял?

— Вас понял! — донеслось с верхотуры.

— Значит, считаете, пора его оттуда снять? — спросил меня капитан задорно.

— Давайте, действуйте, Всеволод Владимирович. До следующего патруля операцию — кровь из носа — приказываю закончить!

— Какого патруля? — спросил капитан.

— Полицейский здесь ездит, — встрял химик. — Шериф.

— Есть! Ясно! Понял! Давай, дракон, кидай ему скорей веревку! — приказал коллега боцману. — Стыд какой! Никогда с моими помощниками такой ерунды не было. Сейчас здесь еще и наш агент поедет, и увидит Елпидифора на куче, и спросит, ясное дело, чего он туда полез. Что я ему скажу? Бросай, скорее, Витя!

Дракон Витя раскрутил в американском воздухе бросательный конец, как Балда веревку в пруду с чертями, и выпустил ее в направлении Елпидифора. Тяжесть с глухим звуком ударила в бампер «бьюика» метрах в трех от

«кадиллака», из которого наблюдала за происходящим голова третьего помощника.

— До бросательного сам доберешься? — спросил капитан.

— Попробую, — сказала голова Елпидифора и почесала в затылке.

— Не робеет! — обрадовался капитан. — Молодец, Фаддеич! Начинай! Только не развали всю кучу. Если вон тот «ягуар» заденешь, все завалится и нас прихлопнет. Ты там поосторожнее, Фаддеич! Если всю кучу развалишь, лучше на пароход не возвращайся! Как слышишь? — пошутил он.

— Мне все до последнего звука слышно, прямо как стереомагнитофон здесь стоит, — объяснил Елпидифор, начиная сползать из «кадиллака» к «бьюику». И сразу нарушился баланс равновесия во всем огромном штабеле. В глубинах его что-то затрещало, и мне показалось, что гора собирается сделать наконец шаг к Магомету.

— Берегись! — заорал капитан. — Лезь назад! Как понял?!

И Елпидифор в мгновение ока забрался обратно.

— Вас понял! Не двигаюсь! Даже вздохнуть боюсь! — доложил он.

— Так! — сказал капитан и сверился со своим золотым полухронометром. — Ты все-таки двигайся, Фаддеич! Как же ты, черт побери, слезешь, если не будешь двигаться?

— А черт его знает как! — сказал Елпидифор плачущим голосом. — Пожарных надо!

— Пожарных! — наконец искренне возмутился мой молодой коллега. — Я те дам пожарных! На пожарных годовой валюты не хватит! Гори там хоть голубым огнем. Шевелись давай!

— Нельзя тут шевелиться! — сказал Елпидифор.

— Слезай, олух царя небесного! Слезай как хочешь! — вдруг зарычал из меня какой-то стареющий и стервенеющий ягуар.

— Не слезешь — я тебя до конца рейса в пассажиры переведу или в матросы без класса! — зарычал следом за мной капитан. — А ты меня знаешь, я слово держу крепко! Чего молчишь? Оглох ты там, что ли?!

— Кошмар какой! — проныл кандидат. — Воспаление легких здесь с вами схватишь!

— Слезай! — проревел капитан.— Я тебе такую характеристику напишу, что мама родная не узнает и визы как ушей не увидишь! Я слов на ветер не бросаю!

— Плевать я на визу хотел! — ответил Елпидифор.— Я, считай, уже уволился!

— Я тебе такое сочиню, что вместо пенсии шиш получишь! — заверил Елпидифора капитан.— Прыгай! Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю! Тащи матрац сюда, Сергей Исидорович! Боцман, стань на страховку! До трех считаю! Раз!.. Стыд какой! Лезть боится! Два!.. Я тебя предупредил, Пескарев: такое напишу!.. Ну!.. — и топнул ногой, как конь Александра Македонского.

— Разобьется ваш Пескарев в мелкие брызги! — с едким злорадством, несколько неожиданным в его положении, сказал в ответ Елпидифор.— А вам самим тогда мешок завяжут!.. Ладно! Пущай! Лезу! Постойте, только калошу брошу! — Он вытянул руку с калошей над пропастью, тщательно прицелился и разжал пальцы. Калоша попала в центр матраца, положенного химиком на том самом месте, где ученый лишился очков, и запрыгала на матраце, как клоун на батуте.

— В ней что-то есть! — сказал боцман.

— Что там? — спросил капитан.

— Вроде, титская сила, что-то живое, — сказал боцман.

— Боже милостивый! Амортизатор там, — первым рассмотрел химик, хотя и был без очков.— Амортизатор от передней подвески «Жигулей»! В экспортном варианте!

### 3

Елпидифор устремился вослед за амортизатором, как нитка за иголкой. Всеволод Владимирович не успел «три» сказать, как его помощник оказался на «бьюике» возле зацепившегося за бампер бросательного конца. Штабель уgroжающе постанывал, но не завалился.

Подвел Елпидифора бросательный. Он оборвался, когда между Елпидифором и землей Соединенных Штатов оставалось еще три-четыре ярда. Елпидифор шлепнулся на матрачную синтетику, был отброшен ею по траектории калоши и сильно треснулся головой в райскую яблоньку. Ее плоды щедро обсыпали нас.

— Замечательный все-таки матрац! — воскликнул капитан, убедившись, что его подчиненный цел и относительно невредим. Удачное завершение операции вернуло

Всеволоду Владимировичу веселость и жизнерадостность. В конце концов, это его воля, его умение принять на себя ответственность и отдать приказ решили дело.

— Мне бы на веранду такой,— пробормотал Елпидифор, потирая лоб и озираясь вокруг потрясенными глазами, открывая как бы божий мир заново.— А птичек у их нет — не чирикают! — отметил он на всякий случай отрицательный факт капиталистической действительности.

— Чирикать вы будете,— весело сказал капитан.— Сегодня же на общесудовом собрании чирикать будете.

Елпидифор хмыкнул.

— Боцман,— сказал я,— дайте-ка мне его калоши и амортизатор.

Боцман Витя предвкушающе заржал и подал пескаревские причиндалы. Елпидифор насторожился и неуверенно, но все-таки пробормотал, что, мол, права не имеете...

Я закинул на штабель сперва одну калошу, потом амортизатор. Вторую калошу попросил Всеволод Владимирович, он заканючил ее у меня, как мальчишки канючат друг у друга рогатку. Я дал капитану побаловаться. Он долго выискивал, куда бы занятнее было ее запузурить. И наконец забросил в товарный вагон.

Тем временем уже вечерело.

Цветными огнями вспыхнули далекие городские рекламы Филадельфии. В сизо-рыжих сумерках исчезла полуголая красotka автозаправочной станции. Полурасплющенные «кадиллаки», «мерседес-бенцы», «форды», «роллс-ройсы» вздохнули с облегчением, глядя в наши удаляющиеся спины. Им хотелось покоя и тишины после шумной жизни и тяжких гонок по авеню и стритам.

— В гробу Пескарев ихних птичек видел! — вдруг заявил Елпидифор с задержкой реагируя на угрозы капитана.— Америка что? Америка — суета! И хоть будь они тут все до единого машинисты и изобретатели необъятные какие или кто — черт с ними, не моей души они люди...

Через сутки мы снялись из Филадельфии на Балтимору, из Балтиморы на Нью-Йорк, там очень быстро погрузились и вышли на Европу строго по расписанию — Всеволод Владимирович знал дело, и моя помощь ему была минимальной, если вообще была.

Первые сутки в океане погода держалась приличная, к полудню закончили подкрепление груза, после обеда отоспались, а вечером капитан собрал экипаж и раздол-

бал Пескарева за унижающее достоинство нашего гражданина поведение.

Я на собрание не пошел. Но около двадцати одного поднялся на мостик, где нес вахту Елпидифор, чтобы посмотреть на него и приободрить, если ребяташки раздолбали его слишком уж беспощадно. Но ободрений не потребовалось. Елпидифор Фаддеич выглядел вполне нормально и сразу попросил у меня разрешения подбить кассовый отчет, так как вахта у него спокойная, а отчет нужно радовать в пароходство срочно. Вообще-то, вахтенному судоводителю ничем посторонним на мостике заниматься не положено, но я разрешил и сказал, что побуду сам здесь, посмотрю вперед, пока он будет занят.

Елпидифор поблагодарил, вытащил чемоданчик с бумагами и валютой и начал считать не использованные экипажем в США и сданные ему обратно доллары и пенсы. Чемоданчик Елпидифора был отлажен, как сундучок древнего паровозного машиниста. Там и перегородочки были наделаны с крышечками, и счеты миниатюрные, и машинка счетная, и кармашки для ручек, и даже фонарик. Все показывало, что за десятки лет плавания третьим помощником Елпидифор довел рационализм счетной работы до высочайшего класса.

Не знаю почему, но при виде того, как Елпидифор надел на пальцы резиновые с присосками футлярчики и как начал считать пачку пятидолларовых бумажек, мне вдруг захотелось, чтобы у него баланс не сошелся. И когда я поймал себя на этой мысли, он как раз поднял глаза, и взгляды наши встретились. Елпидифор что-то такое в моих глазах усек, и по его лицу проскользнула глупенькая улыбка.

— Ну, как хозяйство? В порядке? — спросил я.

— Промахнулся,— сказал Елпидифор, вздыхая обреченно.

— На сколько? — поинтересовался я, ощущая крепнущее удовлетворение по этому поводу.

— На пять долларов,— сказал Елпидифор и принялся заполнять ведомость.

— Я скажу командирам, пустим шапку по кругу,— пообещал я.

— Спасибо, Петр Иванович, вы завсегда ко мне с добром,— поблагодарил Елпидифор и опять ухмыльнулся.

Я оставил его подбивать бабки и шагнул во тьму рулевой рубки.

В просвете облаков торжественно парил Орион. Он был чуть левее нашего курса. Ветер давил в левый борт, и теплоход шел с легким, градуса в полтора, креном на правый. Почему-то наш «Новосибирск» чувствовал себя уютнее с легким правым креном. Тогда он нес на мачтах облака, как довольный жизнью гуляка шляпу — с заломом. Грузовые краны были оставлены в вертикальном положении — на крышках трюмов стояли в два ряда сорокафутовые контейнеры. Верхушки кранов попадали в конус света от заднего топового и тихо желтели среди ночной тьмы. Эта тьма лежала над оксаном еще не сплошь — на западе оставались последние отблески заката. Волны накатывались медлительно, потягивались и изгибали спины, как добродушные, сытые черные пантеры с длиной от носа до кончика хвоста в сотню метров. Пена обрамляла их заливки.

Я глядел на ночной океан и поругивал про себя финских судостроителей. Лобовые стекла рубки они сделали наклонными, атакующими воздух — современными в архитектурном смысле, — но конструктор не учел законов оптики. Стекла собирали и задерживали отблески от сигнальных лампочек на пультах управления и — что еще более неприятно и опасно — живые огни судов и маяков из кормовых секторов. И эти отблески в стеклах легко можно было принять за огни каких-нибудь объектов по носу, то есть впереди по курсу. Я раздумывал об этом, взвешивая, есть ли смысл войти в финскую судостроительную фирму с соответствующим письмом, и успеют ли финны переделать конфигурацию лобовых стекол на оставшихся судах серии, и следует ли мне вообще лезть в это дело, и не скажут ли в инстанциях, что я чересчур суетлив с разными дурацкими предложениями, и т. д. и т. п.

— Честно ответите, Петр Иванович? — спросил из тьмы Елпидифор, и я услышал его тихое глуповатое «хник».

— Что у вас?

— Вы давеча обрадовались?

— Чему обрадовался?

— А что я промахнулся на пятерик?

— С чего ты взял?

— Не ответили честно-то, — пробормотал он, становясь у соседнего окна.

Я помолчал, удивляясь тонкости, с которой он усек подспудные движения моей души. Ведь, вообще-то, за



длинную капитанскую жизнь каждый из капитанов научается лицедействовать не хуже Смоктуновского.

— Потому не ответили, что честность-то штука двойная,— сказал Елпидифор,— с одной стороны, вы бы, промахнись я на пять долларов, мне кровный пятерик отдали и ухом не повели; а с другой — за это удовольствие для себя получили от сознания, что мне, Елпидифору Пескареву, может быть, неприятно от вас брать, но я, то есть Пескарев, все одно возьму, потому как человек экономный и окладик имею маленький, так, Петр Иванович?

— Ишь ты! Прямо и не Пескарев, а Достоевский! — сказал я, испытывая некоторое мимолетное, но однако вполне определенное смущение от точности его попадания.

— Достоевский писатель скучный, я его почитывал, скучнее евоных книг только современные,— сказал Елпидифор.

И я с ним живо согласился и по поводу Достоевского и по поводу современных книг. Мне с ним в тот момент пришлось бы живейшим образом согласиться по любому вопросу, ибо я испытывал смущение, а смущенного человека бери голыми руками.

— Достоевский за лес стоял, за сохранение зеленого друга,— сказал Пескарев и хихикнул во тьме.— А я вот думаю, он за лес стоял по той простой причине, что если мы березу да иву всю сведем, то розги не из чего будет делать... А радовались вы, Петр Иванович, давеча зря: не просчитался Пескарев. Пескарев за четверть века один разик накладку допустил с денежками. Конфетку-леденец желаете? — спросил он, и я услышал шелест конфетной обертки.

— Потом. Курю сейчас,— отказался я.— И много промахнулся?

— Десять форинтов. В Роттердаме. На десятку Пескарев ошибся. Сбросились товарищи. А я возьми да и найди потом денежки. Новенькие были, подлипли одна к другой, а вместе к бумажке на столе. Ну, я подумал, да и не сказал никому. Не одобряете? — спросил он и опять хихикнул глуповатенько.

— Всяко бывает,— сказал я.— Разные мы воспоминания храним.

— Вот я думаю, куда, дескать, за утаенные форинты и американские амортизаторы я попаду: на небеса куда

аль в ад, и простят ли мне ангелы на том электронном свете аль нет?

«А ведь он, сукин сын, надо мною издевается, тончайшим образом издевается за мой фортель с калошами!» — с очередным удивлением отметил я. И удивление это было уже посильнее того, нежели когда он ободрал нас в преф по копейке. И захотелось взглянуть ему в лицо, но тьма уже плотно заполняла ходовую рубку, и только бродили внутри лобового стекла потаенные отблески от сигнальных огней на пультах автоматического управления двигателем.

— Простят, — сказал я. — Не велики грехи. Да и повинную голову топор не сечет.

— Ну, а Бордо-то помните? Как я сталь игрушками раскрепил?

— Конечно, помню.

— Это я свершил, чтобы меня раз и навсегда по служебной лестнице в гору не толкали, чтобы в покое сставили, — и точно: никто больше меня с третьего помощника выковырнуть не пробовал. Думаете, Пескарев бредит аль заговаривается по пенсионному положению? Нет, Пескарев при трезвом сознании. Вы вот, Петр Иванович, в гниднике, что в Бруклине-то, в подвальчике, бывали когда? Нет! И в Гамбурге к Морексу не ходили и не пойдете, а мохерчик-то там по доллару всего клубочек. Вы в такие торговые точки и нос не сунули! Престиж чтобы нашей великой страны охранить... А я суну — по закону все, по разрешенной тропке, конечно. В эмигрантские торговые точки и ни в жисть не ходил, пускай туда салаги ходят, а в разрешенный гнидничек обязательно загляну, а в результате-то окладик мой месячный никак уж и не меньше вашего все эти годы выходил. Теперь квартирку возьмем. Вы старый ленинградец, значит, в «банном обществе» состоите и до сей поры, так?

— Не понял, — сказал я.

— Старые ленинградцы где общаются-то? В бане! Потому как в старых домах живут без коммунальных удобств, без ванной. Вот и таскаются в баню с пакетиком. А новые ленинградцы-то, вроде меня, в новых домах проживают. Ну ладно, здесь закончик неправильный виноват: что ежели санитарная норма в метраже соблюдается, так и не положена тебе другая фатера, даже если в коммуналке сто пятьдесят семейств обретаются. Но ведь не только в этом законе дело, нет, не в ем! Ей вот,

какой ленинградке старомодной, предложи наша власть квартирку-то в Автово, а она? Она этак нос-то и отворотит: «Ав-тово?! Вы мне, может быть, еще в Вологде предложите?» Это ее удаленность пугает. «Я, говорит, в центре живу, родители мои тут на Маклине аль на Халтурине скончались! И отсюда на окраины ваши не поеду!» А она в Автово последний раз на извозчике ездила пятьдесят лет назад аль еще до революции, и что туда метро положили — и не ведает даже, и проживает в уплотненной коңюшне графа какого аль в его прихожей, с кошкой своей и бульдогом... Это я не про вас персонально, Петр Иваныч, а к слову, извините, если что не точно сказал.

А сказал он это как раз с такой точностью, что Гоголю бы в пору. Я так всех старых ленинградцев и увидел, карасей-идеалистов. И засмеялся. И мой смех придал Елпидифору прыти.

— А где теперь ваша машинка, Петр Иваныч? Которую себе брали и мне устроили, за что я вам по гроб благодарен, между прочим, где она? А я вам отвечу! Гаражик-то вы не соорудили, машинка-то погнила на свежем воздухе, да и ободрали ее всякие завистники, похабными надписями обезобразили, и продали вы ее через магазин на Садовой ни за понюх табаку.

Все было почти так.

— А у меня та машинка теперь в новые «Жигули» преобразилась. И ни одного рублика-то я в нее нового не вложил. И трудов не вкладывал! И по закону все, по строгому закону, Петр Иваныч, чтобы не подумали, что без закона-то! Я ее по доверенности одному грузину-полковнику на два года уступил, а супругу в очередь записал. Грузин потом уехал и гараж мне оставил, тут я с гаражом и с автомобилем оказался, потому что без автомобиля дальнейшие планы не мог осуществлять, а почему не мог? Потому что дом ставить задумал!.. Огонь право десять, желтый какой-то или мерещится? Один момент — радарчиком проверю и визуальный пеленг возьму!

Он занялся штурманскими делами.

Я тоже взял бинокль. Огонь был желто-оранжевый, а сигнальные огни судов желтыми не бывают. Кроме того, огонек не был постоянным, он мигал, как мигают луноходные огни на машинах. И я не сразу вспомнил, что такой часто-проблесковый огонь ночью в надводном положении носят американские подводные лодки.

Я сказал об этом Пёскареву. Он взял до лодки дистанцию, пеленг, то есть сделал все, что положено, и вернулся ко мне с секундомером и фонариком.

— Мы дачи за тысячи приобретать не можем,— сказал он, подсвечивая фонариком фотографию и показывая ее мне. На фото крепко стоял среди старых лип большой дом.— Мы его за двести пятьдесят рубчиков приобрели — и ни цента сверх того! А сгнил только один нижний венец, валунчик-то под им в землишку вдавился, он, нижний венец-то, и погнил, а мы его поддомкратили, венчик-то мне мужики сменили, а под венчик-то уже сплошь камень зафундамили; ну, печи стояли старомодные, так я их повыламывал да и выкинул. В девять комнат дом-то, веранда. Сто лет простоит. В чудо теперь домик обратился, в истинный рай и чудо, а спроси: на что? А я честно и отведу: на мохер да на открыточки! Ну вот эти, что в каждом порту, голенькие красули, по восемь штук на западнонемецкую марку, а в Нью-Йорке они по десять центов,— не совсем, ясное дело, голые, а какие ежели наклонишь, то немного этак обнажаются,— и ни-ни, никакой порнографии, все по закону, все, Петр Иванович, по закону. Посулишь бульдозеристу такую красоточку, вот он тебе и напихает между делом валунов на цельный фундамент — так напихает, безо всякого бизнеса, по дружбе. Уметь надо с народом, Петр Иванович, жаждет душа евоная всякого прекрасного восприятия, хотя завистлив наш народ, ох завистлив! Я первую зиму уехал из поместья-то своего и окна не заколотил. Весной приехали — стекла выбиты. Ну скажи: кому это душу согрело, зачем? И ведь не детишки били — я знаю, проверял, с детишками у меня контакт налажен, я им с каждого рейса или картинок переводных, аль модель какую никогда не забуду подбросить... Мужики били!

— Комаров-то там у вас много? — спросил я, чтобы что-то сказать.

— Много! Действительно, неудобство роковое! Птиц сейчас изучаю, чтобы комаров ели. Разведу птичек. А без комаров только на Карельском перешейке и есть места. Но там народ балованный — за голенькую открыточку бульдозер не погонит. А я на реке Свирь стою, возле Ладоги. Я ведь почему еще туда взгляд бросил? Не только что там за двести пятьдесят рубчиков сруб отдают, но и с большим расчетом. Здесь нас сейчас, Петр Иванович, никто не слышит, я тебе всю душу открываю, чтобы тебя поучить, ведь мне тебя жалко, Иванович, ведь ты всю жизнь

но мне добром — я знаю, я добро помню! — и вот жизнь-то наша на уклон пошла; что ты в могилку капитан-наставником закопаешься, что я отставным третьим помощником — все одно закопаемся, тогда зачем огород городить, зачем ночей не спать, перед начальством трепетать, за других людей отвечать, за грехи их и глупости? Честолюбие в тебе, Иваныч, всю жизнь сидит, а его разве накормишь, честолюбие-то? Оно как лев какой — ненасытное... Никак вояки подводные правыми бортами расходиться собрались? Будем подворачивать?

— Подверните решительно — градусов на пятнадцать,— сказал я.— Будем левыми расходиться.

Он пошел на рулевой автомат, отвернул на пятнадцать градусов. Американская лодка тоже отвернула, показав нам красный отличительный, который, правда, был виден очень плохо — лодка глубоко просаживалась в зыбь и шла в облаке брызг. Мы разминулись в полумиле.

— Вот жизнь-то прямо и подтверждает мою точку,— сказал Елпидифор от руля, возвращая судно на прежний курс.— Ведь я на Свири дом поставил, потому что в мирные эти разговоры — тью-тью! — не верю! Доиграются людишки до водородной бомбочки. Так вот, ежели такая на Питер шлепнется, так и на Карельском брызги полетят, а до Свири не дойдет. Тут мне друг военный точно радиус посчитал. Ездить, конечно, дальше, зимой особенно трудности, но все одно, если за машиной хорошо смотреть, так оно короче, чем до Сестрорецка, выйдет. А Ладога! А рыбалка! Эх, и чего вы мой дефицитный амортизатор выкинули, Петр Иваныч! — вдруг вспомнил Елпидифор.— Расплющенная машина на свалке для желающих один доллар стоит, я же предварительно у работающих узнавал, — ничего-то нам за амортизатор по закону не сделали бы! Все это страх ваш, Петр Иваныч, а почему страх? Потому, что вам падать выше: из наставников-то — выше, чем со штабеля, ха-ха! Вот всю жизнь и трясетесь. И еще скажу, если послушаете. Надоел небось таким разговором?

— Нет-нет! Продолжай! — сказал я с некоторым даже страхом, опасаясь, что он замкнется и заткнется. Я как бы в театре сидел и слушал совершенно по-о'генриевски неожиданную развязку тягомотной пьесы.

— Тогда скажу. Законы знать надо, Иваныч. Вот вы огни здешних подлодок угадываете с первого мерцания, а законов, которые в жизни, и не ведаете. Меня на закон

внимание обращать в Канаде хохлы научили, эмигранты хохлацкие. Мы там в аварию попали, и суд был над капитаном, а я свидетелем проходил. Ну вот, пока терлись с канадскими хохлами — они сочувствовали, помогали нашему делу, — так и многому научились. «Первое дело,— твердят,— хороший лоер!» Адвокат, значит. И вот мне как бы какая великая истина приоткрылась: ведь мир наш законами набит, законов этих написано со времен Адама — тысячи и тысячи законов. Рази их без специального образования знать возможно? И потому у каждого канадского хохла постоянный лоер есть и по всем вопросам жизни советует. Ни один хохол там никуда без лоера и нос не сунет! А мы как? Мы и в юридическую консультацию-то хода не знаем! А если уж знаем, так только после того, как тебя в суд поволокли! А ведь сколько в наших-то, в советских законах всякой различной пользы навалено! Сколько там чего раскопать можно, если с прицелом, со знанием! Ведь там выгод-то непочатый край! А вот когда я это вдруг понял, так тут мне как раз и супруга моя будущая подвернулась, она в швейный институт, текстильный то есть, готовилась, а я ее — в юридический! И с той поры у меня свой лоер есть, законный. Теперь гляди, Петр Иванович, тебе до пенсионера еще пятнадцать лет на волнах качаться, а у меня на основании строгой законности заслуженный отдых начинается. И при том все это, что ты в блокаду столярным клеем себе желудок к кишкам приклеил, а Электрон Пескарев один раз по шее от старосты схлопотал, когда у Шульца головку сыра стибрил, но и этого факта, если законы знаешь, уже много для чего достаточно, так-то вот, товарищ наставник. Извините, надо мне гидрометеонаблюдения произвести. Дурацкая — скажу, не побоюсь — затея эти наблюдения, нынче-то в научно-технический век, бессмысленная совершенно вещь, но Пескарев положенное всегда исполняет. Сейчас ветерок померю и все другое по правде заделаю, Пескарев липу в журнал писать не будет, как другие-то пишут...

#### 4

Атлантический океан был черен и пустынен. Луна еще только собиралась всходить, и альдостратусы только еще начинали светлеть в небесной бездонности. Эти высокие облака состоят из ледяных игл и быстро пропитываются лунным светом. Это надменные облака. И тяжелые длин-

ные волны надменно катились из тьмы ночного океана. Им было такое же дело до нашего теплохода, как Ориону до лампочки.

— Вы море любите? — спросил я Елпидифора несколько неожиданно для самого себя.

— Я жизнь люблю, — ответил он так, как будто давно хотел сказать мне это, но не находил предложения.

— О чем вы ночными вахтами думали, вот в океане, когда один в рубке сотни дней? Я вот о метеоритах думал, хотел, чтобы они где рядом грохнули — для разнообразия.

— Нет, я о таких глупостях не думал, — сказал Елпидифор. — Я этот рейс катер обдумывал. Катерок у меня еще есть, «Ласточка», поместительная посудина — персон на десять. Вот всякие проекты и строишь. Как его оборудовать, дизелек отремонтировать — то да се.

— За сколько купили?

— Мы люди бедные, нам катер покупать — пупок надорвать. Так достал. Друг есть из военных моряков, со списанного эсминца мне через бумажки разные оформил. Я, Петр Иванович, делишки почти всегда удачно, хотя, конечно, почти всегда, с вашей точки зрения, подловато устраивал, а подловатого-то и нет! Вот теперь бороду отпущу в аршин — с бородой-то солиднее опять стало ходить. Ну, борода поседеет быстро — по морю-то по вашему, хи-хи, тосковать буду, она и поседеет. С седой бородой мне на суше квазидурака ломать еще удобнее будет.

— Как? Как ты сказал, Пескарев? — переспросил я, как бы даже переставая ненавидеть собеседника под напором любопытства к степени его мерзости. — «Квазидурака»?

— Ага. Приставка «квази» на ученом римском языке означает «как бы», Петр Иванович. Ты вот меня четверть века за дурака почитал, а я «квази». Я, Петр Иванович, из Пескаревых, а Пескаревы не дураки, а, если хочешь по современному, философы, потому что все, кто умеет жизнь любить, — а мы умеем, умеем мы жизнь любить! — так те все философы, а ты хоть высокообразованный капитан-наставник, а не философ, потому как жить-то не любишь, службу любишь, положение карьерное, ответственность и власть, и море это дурацкое любишь, а не жизнь! Ты морю этому тридцать лет, как семьсот пуделей, служишь верой-правдой, и потому тебя жизнь, как пуделя, и обстригла, хотя ты и умный, ничего

не скажу — умный ты человек, и плавать с тобой спокойно, но только любой ум подлец, а глупость-то моя продуктивнее. Как в народе говорят? Чем глупее, говорят, тем и яснее! Я вот сейчас в каюту пойду и буду про полезных для природы птичек читать, душу тешить, и заботу меня до завтрашней вахты и нет ни единой, а у тебя-то! У тебя забот этих! Беспокойств, опасений! Господи, прониеси и помилуй! Сколько в голове чепухи-то квазиумной держишь — радиотехники всякой, электроники, таможенных манифестов да пунктиков отчетности, а все это до настоящей жизни и не относится! Ну, хорошие у тебя парходы, ну, красивые, а разве какой птице веселей, если она в красивой клетке чирикает до шестидесяти лет? Молчишь, Петр Иванович?

— Жалость какая, что ракетные пистолеты «Верн» с вооружения торговых судов сняли,— сказал я.— Был бы здесь ракетный пистолетик, я тебе, Фаддеич, прямо в лоб ракетой бы запузырил.

— И не об этом ты сейчас думаешь! — воскликнул Пескарев с глубоким убеждением.— Думаешь: и как я его, мудреца такого, раньше-то не раскусил, характеристику на него соответствующую куда надо не послал, как это я протабанил? Поздно, Петр Иванович, мы теперь с тобой задами друг к другу повернули и — пошла дистанция увеличиваться! Да и по закону у меня все, по закону! Чешите себе,— как это ихний полицией выразился? — чешите себе пониже спины битыми бутылками, а Пескарев жить без вас начинает!

— Ну, Пескарев, ну, почтеннейший, ну, уважил! — сказал я.— Только теперь помолчи, хватит, тошнит меня, прямо с души воротит.

— Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя вылезать от злости, Петр Иванович, совершенно справедливо! А мне, извините, точку надо на карту положить — вахта кончается. Мы, Пескаревы, свое маленькое дело всегда до дна исполняем, со всей точностью — как денежки считаем, так и дельце маленькое, жалкое точно исполняем, чтоб и никакой наставник не прицепился! И тебе, Петр Иваныч, ко мне не прицепиться!

Он торжествовал, как торжествует премированный литератор, обладающий той счастливой степенью бездарности, когда после получения премии он уже никаких сомнений в своей талантливости не испытывает и сыплет эпопеями на полную катушку для пользы родины и человечества.



Я медленно спустился в шикарную каюту с двумя кроватями и полутораметровой «Аленушкой», раздумывая о том, что вот первый раз в жизни мне повезло и я встретил великого человека. Ибо только великий человек способен строго и непреклонно десятилетиями следовать в практике за своей философией, за собственными предсказаниями. Абсолютное большинство людей на словах и в мыслях умеют далеко и точно предсказывать, но поступают не так, как это их собственное точное предсказание требует, а по воле обстоятельств и сторонних мнений, а Пескарев всю жизнь за собой следил замечательно, и его философия всегда была в стальном единении с поведением, начиная с того момента, как он перекрестился из Электрона в Елпидифора с легкой руки Старца на зверобойной шхуне «Тюлень». И во мне даже скользнула какая-то радость и гордость по поводу открытия мною совершенно нового типа «квазидурака». Радость и гордость, правда, немного омрачались тревогой, как у тех ученых, которые открыли реакцию синтеза и заглянули в водородную бомбу,— они ведь и обрадовались и испугались.

В каюте я хлебнул глоточек бренди, запил холодным кофе и долго смотрел на Аленушку. После саморазоблачительной исповеди Елпидифора лютый тигр, лакающий рядом с Аленушкой из водоема воду, уже не уравнивал ее стерильности. И я воткнул с другой стороны Аленушки сексуальную красотку из журнала «Пари-матч». Красотка застегивала лямки парашюта на груди, пропустив их предварительно между ног и приподняв ими черную юбочку до дух захватывающего уровня.

Полюбовавшись на эту троицу, я лег спать и, как сказал мне сосед-доктор, разбудивший меня на рассвете, всю ночь орал дурным голосом.

А что мне еще, черт возьми, оставалось делать?

Рассвет запаздывал. Стонные тучи тащили провисшие животы по темному горизонту. Кое-где они продавливали горизонт и соединялись с пепельным, равнодушным океаном. Кое-где расползались в них грязно-розовые пятна восхода, как кровь на бинтах. Только в самом зените оставался клочок свободного от туч неба. Оно было бледно-зеленое, слабенькое, худосочное.

Чайки металась за окном каюты встревоженно и бестолково, без обычной планирующей плавности. На фоне слабенькой небесной зелени птицы казались черными. Вероятно, чайки тревожились опозданием рассвета.

Солнце все не находило щель, чтобы просунуть луч между брюхатыми тучами и равнодушным океаном. Однако вершины плавной зыби ловили каждый квант, зыбь напITYвалась рассеянным светом медленного рассвета и уже начинала голубеть под тяжелой и темной хмарью. Потом тучи шевельнулись, подобрались, первый солнечный луч-разведчик промчался сквозь какую-то невидимую щель на горизонте и попал прямо на чаек. И все птицы, кружащие над судном, разом стали ослепительно белыми. они именно как бы вспыхнули белым, снежным огнем.

# Никто пути пройденного у нас не отберет

*Из дневников писателя*

## ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

Смешно: давеча, вынося мусор, и потом, сидя в дворовом скверике, вдруг почувствовал вкус к отпускному безделью, и к ласке солнца, и к его блеску на листьях тополей, и к просвечивающей травке... Какое безоблачное было небо! Какая синева и какой покой...

«Человек должен жить, радуясь жизни, или его жизнь бессмысленна», — это народная мудрость.

А если у меня за полста сознательных лет наберется часа три с ощущением радости жизни, то и они испорчены. Отдав себе отчет в том, что радуешься своему существованию, сразу поймал себя на мысли о близких или далеких, которые сейчас в дерьме и которым вовсе не весело...

И вот сидел я в скверике, солнышко меня ласкало, блестело на листьях тополей, в травке желтели одуванчики, и я обрадовался своей радости от мира вокруг и во мне. И сразу ударило слово «убийство», потому что из скверика отлично был виден мрачный фасад соседнего доходного дома по Лахтинской улице.

В мае, после возвращения из Антарктиды, меня занесло на собрание, где мы выдвигали общественного

обвинителя по делу об убийстве в этом вот самом доме. Убийце — двадцать шесть лет, метростроевец, по месту работы характеризуется положительно, не пьет. Убил он трех человек. Вообще-то двух — мужчину и женщину. Но женщина была беременна. И тогда получается, что убиты трое. Правда, преступник о факте беременности не знал, но, как выяснилось, это бы его не остановило.

В коммунальной квартире проживало три семьи. Одна выехала. На ее место вселились молодожены — метростроевец с женой. Старожилы объединились в притеснении новоселов. Для начала на кухне не дали места для стола. Вернее, место выделили, но впритык к умывальнику. Когда в умывальнике полоскали половые тряпки, на столик новоселам летели грязные брызги. Молодожены пожаловались в жилсовет. Жилсовет порешил старожилам убрать из кухни холодильники, так как в коммунальных кухнях держать холодильники не разрешается. Эвакуация холодильников и установка столика новоселов на приличное место произошла только после вмешательства милиции. Как дальше потекла жизнь, думаю, объяснять не надо. Молодые начали ремонт комнаты. Пока белили потолок да штукатурили, их заставляли по пять раз в день мыть коридор — как ни берегись, а наследись мелом. И они мыли. Дошло до покраски пола. Краска пахнет. Запретили им открывать дверь из комнаты. Апрель был, холодно. Метростроевец велел жене собраться и идти ночевать к подруге, а сам решил закрыться в комнате и красить при открытых окнах. Сосед заорал, что в кухню и коридор дует, а когда жена метростроевца уже уходила, толкнул ее. Крик услышал молодожен, взял обыкновенный кухонный нож, вышел в коридор и с первого удара пришел соседа — за пятьдесят, инвалид, на пенсии, алкоголик, по всем местам характеризовался отрицательно. Затем метростроевец пырнул жену соседа, но та не умерла. Другая соседка-старожилка заперлась у себя в комнате с восьмилетним сынишкой — она-то и была беременна. Убийца взломал дверь и ударил ее ножом в присутствии ребенка. Она смогла доползти до лестничной площадки и там кончилась. Убийца пошел в милицию и сам отнес туда нож.

Следователь, который докладывал нам дело на собрании в красном уголке жилконторы, был молодой — лет тридцати, с тихим голосом, с университетским значком на пиджаке, старался быть объективным, но, мне кажется, его симпатии были на стороне убийцы

Я поинтересовался, как ведет себя в тюрьме и что говорит нынче преступник. Следователь тихим голосом, но четко сказал:

— Он вполне вменяем, о снисхождении не просит. Наоборот. Твердит одно: «Если бы случилось все опять так, то я бы вырезал их всех».

Мы выбрали общественного обвинителя, хотя из безликой массы жильцов раздавались крики, что, мол, надо не обвинителя, а защитника выбирать.

Интересно, что на этом собрании из нашего гуманитарного дома никто из писателей не был, хотя объявления были развешаны на всех парадных.

И вот, как только я ощутил радость от солнышка и мира в себе, то сразу вспомнилась эта история, конец которой произойдет в городском суде на Фонтанке уже в мое отсутствие. И если убийцу расстреляют, то этот рабочий, родившийся аж через восемь лет после окончания войны, умрет, так и не узнав, что такое ванна и как в ней люди моются. И получится уже не три, а четыре трупа.

Все время отпуска я собирался пойти в дом по Лахтинской улице, подняться на третий этаж и поговорить с оставшимися в живых, но сразу после такой мысли у меня наступал паралич воли: я боялся.

Я не Достоевский, чтобы считать шаги до комнатки старухи-процентщицы.

И в то же время я отлично сознавал все это время, что если я пытаюсь зачислять себя в русские писатели, то мне следует не по Арктикам и Антарктикам шататься, а именно эти двести-триста шагов и пройти.

И вот я поднялся с солнечной скамеечки и пошел их считать. И на десятом шаге встретил председательницу нашего жилсовета — женщину далеко за семьдесят, но опрятную, волевою, живущую в полнейшем одиночестве, блокадницу, конечно; вечно надоедает, принося разные бессмысленные петиции на подпись — я самый знаменитый, а значит, и самый увесистый на лестнице. Старуха быстренько сняла с писательской души камень. Оказалось, что жена убийцы жить на проклятом месте не может — мести уцелевших боится. Остальные тоже кто куда на лето разъехались. А потому мне шаги считать дальше никакого резона не было. И пошел я за обыкновенной поллитрой.

Когда я влетаю в очередной период душевной невесомости, когда начисто теряю веру в то, что смогу когда-нибудь подняться к настоящей русской прозе; когда я

перестираю все белье, вымою всю посуду, перелистаю все старые записные книжки, фыркаю над бессмысленностью дневниковых воплей и над чепухой намеченных сюжетов; и когда, наконец, отключив телефон и купив вина, отрешусь от окружающего живого мира, со мной остаются книги.

Начинаю переставлять их на полках, ибо меня вдруг беспокоит отношение Лермонтова к Ярославу Смелякову или Эйнштейна к Эйзенштейну: быть может, им не нравится долгое соседство друг с другом? Вдруг у них психологическая несовместимость? Сколько лет уже плывут вместе! Я разговариваю с великими на «ты», я похлопываю их по переплетным плечам. Из озорства я разлучаю Герцена с Огаревым, засунув между ними холодный огонь Байрона. Или устраиваю свидание Экзюпери с Генри Лоусоном, а Монтеню даю возможность пообщаться с Максом Планком. Иногда я даже разрешаю себе устроить небольшую стычку между, например, Бодлером и Маяковским...

Вовсе самобытно ведут себя знаменитые дамы, если на книжной полке лишишь их мужского общества и выделишь в чисто феминистскую компанию. Сведите Жорж Санд с Гертрудой Стайн и для затравки подсуньте туда мадам Панову — термоядерная реакция!

Для меня все эти люди — живее живых. И потому не боюсь за свое озорство. Тем более, оно не от хорошей жизни.

Нынче сообщили по «Маяку», что английские ученые приняли световые волны квазара, который является пока самым удаленным от нас объектом Вселенной. Световая волна, которую наконец поймали, покинула этот квазар и рябила по вселенскому океану еще задолго до того, как вспыхнуло на белом свете Солнце.

Светит квазар в миллиарды раз сильнее Солнца.

До чего, право, смешны все наши земные делишки и попытки оставить память о себе в бесконечных холодных зыбях Вселенной!

Анри Пуанкаре:

«Можно ли рассуждать об объектах, которые не могут быть определены конечным числом слов? Можно ли даже говорить о них, понимая, о чем говорят, и произнося нечто иное, чем пустые слова? Или же, наоборот, их следует рассматривать как непознаваемые? Что касается

меня, то я не колеблюсь ответить, что они просто не существуют.

Все объекты, которые мы сможем когда-нибудь себе представить, или будут определены конечным числом слов, или будут определены несовершенно и останутся неотделимыми от массы других объектов; и мы не сможем исследовать их логически строго до того, как мы их отделим от этих других объектов, с которыми они остаются связанными, то есть до того, как мы придем к определению их конечным числом слов... Человек, каким бы он ни был болтуном, никогда в своей жизни не произнесет более миллиарда слов; а тогда исключим ли мы из науки объекты, определение которых содержит миллиард и одно слово?» Это из книги «Последние мысли».

Жуткое дело — умные люди! Их надо убивать в детстве.

В незавершенной поэме «Езерский» Пушкин, сетуя на то, что «исторические звуки нам стали чужды», писал:

Вот почему, архивы роя,  
Я разобрал в досужий час  
Всю родословную героя,  
О ком затеял свой рассказ...

Ведь нет ничего на свете неповторимее любой самой обыденной семейной хроники.

Ведь, кажется, нет ничего полезнее и насыщекнее для души пишущего человека, нежели рыть архивы предков.

И вот уже сколько лет лежит под диваном в соседней комнате чемодан с бесценностями, сохраненными матерью иногда и с риском для жизни, а я... боюсь его открыть. Зато, хотя у меня есть на житье деньги и хотя никто никуда не гонит, через месяц поплыву в Арктику.

Мой дед Дмитрий Иванович Конецкий родился в 1840 году.

Умер в 1909-м. Похоронен на Волковом кладбище.

Узнал об этих датах недавно от двоюродной сестры Тамары Сергеевны Васильевой. Она слепа — с блокады. И сказала о деде случайно — считала, я и так все это знаю. А я ни черта не знал, ибо никогда никого из дедов вживе не видел и как-то и позабыл про то, что они где-то и когда-то были. А тут, ясное дело, поразился. 1840 год! Чуть было Пушкина Дмитрий Иванович не застал!

Поехал на кладбище, опять-таки с удивлением поняв, что Волково кладбище от «волка» — бегали там серые и логова рыли.

Деда, конечно, следа не нашел, но наткнулся на замечательную могилу «Смотрителя Волкова Православного кладбища Александра Андреевича Худякова — скончался 7 июня 1879 года на 45-м году».

Эпитафия:

*Прохожий! Здесь лежит смотритель.  
Живых он в горе утешал,  
А мертвых в вечную обитель  
Сам каждодневно провожал.  
17 лет он здесь трудился,  
Квартиры мертвым отводил.  
Когда ж он с жизнью распростился  
И бранный труп его остыл  
Он сам в квартире стал нуждаться!  
Таков, знать, час уже пришел.  
А новый... квартиру здесь ему отвел.*

Там, на кладбище, я и решил, что заберу в рейс пару папок с материнским архивом.

Ночью с 21 на 22 июня 1941 года — ровно тридцать восемь лет назад, ибо сегодня 22 июня 1979 года, — мы находились на даче на хуторе близ гоголевской Диканьки. И около четырех часов утра мать разбудила меня и брата, и мы вышли во двор, где справа были клетки со спокойно пока жующими кроликами, слева хлев со спокойно пока жующими коровами; а с запада, из-за реки Ворсклы (в памяти осталась строка хохлацкой песни: «Ворскла — ричка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а вийною, де швед полиг головою...»), из-за кукурузных полей, по чуть светлеющему небу, очень низко, пригибая все торжествующим ревом, шли на Харьков или Киев эскадрильи тяжелых бомбардировщиков; и мы отчетливо видели черные кресты на их крыльях.

— Война, — сказала мать и зарыдала. Она знала, что говорит, потому что первая мировая застала ее во Франции и она добиралась на родину через Скандинавию, и уже с тех пор запомнила германские опознавательные знаки на аэропланах.

И вот когда мы потом среди тысяч и тысяч других беженцев на подводах, запряженных быками, тащились на восток, то вокруг невыносимо тягостно мычали недоенные коровы. Они шагали, растопырившись над своими раздувшимися до синевы (как будет множественное от «вы-



мя»?) и мучительно мычали в раскаленные украинские небеса.

И хотя страшно вспоминать это бегство, этот исход полусумасшедших от страха толп, я все-таки вспоминаю и смешное. Так и маячат перед глазами самые упрямые существа на свете — козы и козлы. Думаю, нет ничего более тормозящего, нежели коза, которая привязана за рога веревкой к задку телеги и всеми четырьмя ногами упирается в дорожную грязь или пыль.

У Сергея Орлова есть стихотворение «Станция Валя».

Легким именем девичьим Валя  
Почему-то станцию назвали.  
Желтый домик, огород с капустой,  
Поезд не стоит и двух минут,  
На путях туманно, тихо, пусто...  
Где ты, Валя, проживаешь тут?

Станции Валя нет. Есть полустанок.

На этот полустанок вышел эшелон с детьми, которых сперва умудрились эвакуировать на запад — навстречу немцам, а потом кое-кого успели собрать и отправить на восток — обратно в Ленинград.

Этим эшелонном возвращались домой с украинской дачи и мы.

На соседних путях стоял санитарный эшелон, битком набитый ранеными. Он прорывался в тыл.

От полустанка до лесной опушки было метров пятьсот. Из-за леса, вывернулся немецкий истребитель-бомбардировщик. Люди посыпались из вагонов и побежали к лесу.

Точно помню:

Очень долго ждал мать у подножки вагона. Уже все повыскакивали, а ее нет и нет. И я думал, что она вещи собирает, — это в ее характере было: собирать вещи в самой неподходящей обстановке и очень долго. И я оказался близок к истине, но собирала она не вещи в смысле вещичек или чемоданов, а показала наконец на площадке вагона с огромным пучком наших пальтишек и пледом. Руки ее едва сходились на этом пучке, который она, естественно, прижимала к груди и животу. А надо-то было спуститься по трем высоким вагонным ступенькам. Как по ним без рук спустишься? Да еще лицом в поле — а она именно так решила вылезать.

Я орал, чтобы она бросала пальто на землю. (Самолет к этому моменту уже заходил на второй вираж.) Но

не тот был у матушки характер, чтобы бросать детские пальто и плед на сырую землю или в пыль. Она сползла со ступенек, считая их задом, и спиной, и закинутой головой. Ее далеко запрокинутую голову особенно хорошо помню. И тут я сразу толкнул ее под вагон, хотя отчетливо понимал, что под вагоном убежище плохое, что надо-то как раз наоборот делать — бежать от состава. Однако самолет приближался стремительно со стороны хвоста поезда. И мы с матушкой оказались под вагоном, рядом с солдатом. У солдата была полуавтоматическая винтовка, а вагонные колеса были не со сплошным диском, а со спицами. И солдат стрелял, просунув винторез между спиц. Куда он палил, я не заметил, потому что увидел брата, который бежал через поляну к опушке леса и был где-то на середине поляны, когда самолет, обстреляв эшелон из пулеметов, сбросил на паровоз две маленькие, вероятно десятикилограммовые, бомбочки. Я видел, как они падали и взорвались левее паровоза, метрах в ста от него, — плохой немец был бомбометатель. Встало два разрыва. Они были метрах в двадцати от бегущего брата. Его приподняло взрывной волной, пронесло довольно далеко — и замедленно, как в замедленном кино, швырнуло на землю.

Я думал, мать этого не видит, так как она была дальше меня под вагоном, но она все увидела. И — без всякого крика — все так же с пукон пальтишек и другой мягкой рухляди в руках выскочила из-под вагона и побежала к брату по высокой траве поляны. Солдат попытался удержать мать, но ее бы и танк не остановил. А я побежал за ней, чувствуя себя совсем голым на пустынной поляне, — все люди попадали на землю.

И только несколько солдат где-то на середине поляны устанавливали на колесо от обыкновенной крестьянской телеги ручной пулемет. Раньше эти солдаты с пулеметом ехали на крыше вагона. Кабы не исторический опыт гражданских войн, вряд ли бы тележное колесо так быстро оказалось приспособленным под своеобразную турель для зенитной стрельбы.

Спринтерские дистанции в те времена я бегал хорошо, во всяком случае — лучше матери. И потому оказался возле брата первым. Глаза у него были открыты, но шок оказался глубоким. Он был ранен осколком бомбы в левую руку между плечом и локтем. Более другого меня поразила чистой белизны кусочек кости, который отлично был виден в окружении разорванных мышц. Рана еще

вообще не кровоточила. Как потом объяснили опытные люди, осколок был горячим и запек кровеносные сосуды. Но подбежала мать, отбросила наконец в сторону мягкую рухлядь и упала на брата. И здесь я увидел то, что большинство зрителей видит только в кино. Я увидел, как мать прикрывает своим телом ребенка.

Немец зашел на третий вираж и палил по эшелонам и поляне разрывными пулями. Они отличаются от обычных тем, что взрываются круглыми искристыми огоньками, коснувшись даже цветочной головки. И эти вспышки-взрывики разрывных пуль хорошо видны даже при солнечном свете. Ежели нет, то пусть меня бывалые вояки поправят.

Я-то абсолютно уверен в том, что видел эти вспышки-взрывики вокруг нас, но выше самой земли — на уровне цветочных головок ромашек.

И вот мать лежала на брате и елозила руками, как бы махала ими плашмя, чтобы прикрыть неприкрытые места его тела. И тут из раны хлынула кровь.

Я эти мгновения провел, лежа на спине рядом. И хорошо видел голову немецкого летчика, который высунул ее с левого борта кабины, рассматривая результаты своей работы. Опять чисто киношный кадр: спокойная и омерзительная немецкая рожа в летных очках над бортом кабины, рассматривающая искромсанные тела детей и женщин внизу.

Когда самолет промелькнул, мы потащили брата в кусты. До них было метров пятьдесят. Там он окончательно очухался и попросил пить. Воды, конечно, не было. Я рвал ему спелую голубику. В те времена мы называли ее гонобобелем. Рану традиционно перетянули носовыми платками.

Самолет исчез. По слухам, наши солдатики якобы все-таки куда-то ему попали с помощью тележного колеса. Думаю, это возможно, ибо немец демонстрировал такую степень беззаботной наглости, которую судьба в любой игре обычно наказывает.

А дальше произошло нечто вовсе уж несуразное — эшелон дернулся и поехал, оставляя всех раненых, убитых и воющих на все голоса живых в чистом поле и на опушке леса. Боже, какой вопль разнесся, нарушая станции покой!

Чувство покинутости... Едва ли оно не самое жуткое и безнадежное на войне. И не только на войне.

Вспыхнет в небе дальняя зарница,  
Стукнут рельсы, тронется вагон...  
Я хотел бы здесь остановиться  
Навсегда у сердца твоего...

У тебя по самый пояс косы,  
Отсвет зорь в сияющих глазах...  
Валя, Валя, где-то за откосом  
Голос твой мне слышится в лесах.

Когда я рассказал Орлову эту историю и прочитал стихи наизусть, он, конечно, был доволен. Все поэты радуются, когда их знают наизусть.

На этом полустанке я видел десятилетнюю девочку, у которой были оторваны обе ноги. Она пыталась заползти в канаву под штабель запасных железнодорожных рельсов. А такого количества крови, которое оказалось на полу нашего купе, я уже никогда в жизни не видел (блокадные голодные смерти — бескровные). Какой-то дядька лет сорока артист ленинградской эстрады, наш сосед, умудрился, вероятно, не проснуться вовремя. Осколок бомбы пробил вагон и вырвал ему кадык. Вся кровяшка, которая вытекла из артиста, успела уже свернуться, когда мы вернулись; все стекла окон, конечно, вылетели.

Первое время в Ленинграде довольно часто попадались интеллигентные ленинградцы, которые уверяли, что наша пропаганда преувеличивает немецкие зверства, ибо немцы — воспитанные люди и выдумали Бетховена.

От фронтовиков я отличаюсь и тем, что хотя много убивали и самого меня, и самых моих родных людей, но я сам никого в отмщение убить не мог и не убил.

А дорого бы дал в свое время за то, чтобы хоть один паршивый немец, стрелявший по мне, был на моем счету.

Отмщение — великая штука. И никуда от этого пока не денешься. Коль отомстишь, то и смертные муки принимать легче.

Был у меня анекдотический случай.

В сорок пятом и сорок шестом годах мы иногда несли охрану пленных немцев на городских овощехранилищах. Там фрицы перебирали картофель. После работы, когда они вылезали из бункеров, нужно было их обшаривать, чтобы не выносили жратву. Делали мы это небрежно. Часто, бывало, видишь: под штанами над кальсонными завязками прячет фриц пару картофелин, ну и махнешь рукой.

Охраняли мы их уже без огнестрельного оружия — только плоские австрийские штыки на поясе в чехлях-ножнах.

И вот однажды увидел я на полусгнившем мундире здорового пленного какой-то значок. Присмотрелся. И понял, что это значок, который выдавали особо прилежным воякам, долго участвовавшим в боях за Ленинград, то есть за осаду Ленинграда. Сохранил его фриц какими-то сверхнаглыми чудесами и продолжал носить!

Заорал я и «халт», и «хенде хох», а потом оттянул гнилую ткань мундира, уцепившись за этот значок; вытащил штык и секанул по материи. Пленный перепугался, намерений моих мирных не понял, решил, верно, что мальчишка ему сейчас секир башку сделает, ибо офицеров вокруг видно не было.

А я только знак этот вырубить с мундира хотел.

Короче, дернулся вояка в самый неподходящий момент, мотнулся взад-вперед, и я задел штыком ему кончик носа.

Никогда не предполагал, что из малюсенькой царапины на кончике носа может так бурно хлестать кровь.

Пленный мой опрокинулся на спину, задрыгал ногами и заверещал вполне нечеловеческим голосом.

Влепили мне за это дело три наряда вне очереди.

Даю честное слово, что все это произошло случайно, но если бы я попал в Германию в мае сорок пятого года, то, боюсь, пролил бы там много и невинной крови.

Пушкин почитал мщение одной из наипервейших христианских добродетелей. Я злопамятен, но, когда мне отмщение, как показывает опыт, аз не воздам, ибо ленив.

Не любил и не люблю ссор и драк. Суть моего характера в том, чтобы находиться в принципиальном мире со всем и всеми в окружающем мире.

В юности одно время пришлось много махать руками — конечно, красивая женщина с ветреными наклонностями была виновата.

В драках даже попытки использовать не только оружие, но просто что-нибудь тяжелое не предпринимал. И ни разу в жизни не ударил человека ничем, кроме голого кулака, хотя хорошо знаю, что любой твердый предмет укрепляет не так даже руку, как мужской дух...

Занятно, что страх перед дракой и во время нее особенный, с примесью мазохической приятности, завлека-

тельный страх, его тянет ощутить снова и снова, хотя опыт предостерегает о шишках и синяках...

Привычку к оружию нам прививали сознательно, продуманно. Мы, например, носили палаши. Возни с этим атавизмом древних абордажей и плац-парадов много. А прыгать на ходу в трамвай, когда на боку болтается метровая «селедка», дело даже опасное: палаш частенько попадал между ног и бил по правой «косточке» — есть такая выступающая чуть выше ботинка косточка, на курсантском языке «мосёл». После возвращения в училище палаш надо протирать и смазывать.

В драке хочется вытянуть палаш на свет божий. Правда, в нашем училище никто ни разу такому искушению не поддался. А вот уже после драки бывали смешные случаи. Я как-то наблюдал ближайшего друга, которому порядком досталось в схватке с гражданскими парнями после танцев в клубе «Швейник». Так вот, уже по дороге домой, на улице Писарева, он вдруг вытащил палаш и по всем правилам фехтовального искусства принялся рубить безвинную водосточную трубу. С каким чудесным, хрустальным звоном сыпались из нее сосульки...

Вот вспомнил палаш и даже испытываю к нему нежность. Как приятно было ощущать тугую плавность, с которой клинок выходит из ножен! Жаль, что при демобилизации не зажал офицерский морской кортик. Обошлось бы мероприятие в шестьсот рублей старыми деньгами, а кортик украшал бы сухопутный быт, вися на ковре и позевывая львиными пастями великолепной упряжи.

В фильме о революционном певце Эрнсте Буше показывают, как после войны немцы делали на заводах из солдатских касок дуршлаг и кастрюли. По всем правилам заводской технологии делали. Знамена со свастиками тоже не пропадали втуне. В фильме показывается, как эти знамена и флаги поступают в переработку на трикотажные фабрики. У этого народа ничего даром не пропало. Конечно, завидно смотреть. Но и жуткое что-то здесь. Право дело, каскам лучше смешаться с землей-матушкой в полях и лесах, а знамена со свастикой лучше публично сжечь. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Хотя сегодня упоминать о том, что война остается с тобой навечно, тривиальность, но я повторяю: война навсегда во мне. И потому, например, я не люблю запах го-

рящей и тлеющей газеты: махорка, закрутка, кресало, кремь, горячая горькость во рту...

Увы, часто приходится убеждаться в том, что фронтовики не знают элементарных вещей из военного дела, когда пытаются писать о войне. Или подводит память, или их опыт узкий.

Помню профессора-литературоведа, который дал мне трясущимися от волнения и волнительных воспоминаний руками свои фронтовые рассказы. «Карабин с оптическим прицелом» или «градуированная сетка прицела» у спайперского карабина — это цветочки...

Попадаешь в нелепое положение, когда рукопись ветерана, израненного, проведенного под смертными крылами четыре года, оказывается битком набита элементарными ошибками. И тебе, военному мальчишке, приходится на это указывать.

Поколение воевавших уходит. Это серьезное обстоятельство для общества. Ибо это последнее поколение, которое с абсолютно чистой совестью, без всяких общих слов, могло считать себя еще при жизни выполнившим долг перед историей с полнейшей наглядностью.

Как ни удивительно, в нашем семействе была немка — вторая жена отца, Надина Бернгардовна Зальтуп. Отец сошелся с ней, когда мне было около двух лет. Она была могучего сложения, много выше отца. До войны я ее не видел.

Когда уже начались первые бомбежки, мать взяла нас с братом и повезла к ним на Большой проспект Васильевского острова. Мать хотела устроить мир в отношениях перед лицом военного лихолетья.

Помню, как плакал отец, когда мы к ним заявили. Он был уже в военной форме — майор.

К сорок четвертому году, когда мы вернулись из эвакуации в Ленинград, их дом разбомбили. И все счастливое семейство оказалось в одной коммунальной квартире: Надина, отец, мать, брат, я и еще еврейская чета — скрипач из оркестра какого-то театра с супругой. Это было веселое житие. Особенно для матери.

Потом Надина Бернгардовна получила комнату — уже в пятьдесят первом году, после смерти отца. Я исчез на долгие годы в казармы и моря. Когда вернулся, начал наблюдать и изучать неизвестную мне «гражданскую жизнь». И потрясся ее фантастической выдуманностью.

Например, Надина регулярно приходила к нам в гости. Она любила мыть полы в материнской комнате или на кухне. Она была значительно моложе матери, и ей доставляло, вероятно, некоторое удовольствие демонстрировать перед стареющей матерью свои еще неплохие физические возможности. Она мыла полы, несмотря на протесты Любочки (так она называла мать), и твердила о том, что у нее еще «кровь горячая». Хотя, вероятно, она этим уязвляла мать; мне кажется, что мать разрешала Надине мыть полов, так как понимала ее одиночество и чувствовала в ней определенную искательность, желание не потерять последней зацепки из прошлого, черпнуть из материнской духовности, приобщиться к материнской способности сохранять тягу к красивому и в самых ужасных жизненных ситуациях.

Надина детей не имела, существовала в зияющем одиночестве, работала каким-то клерком в юридической консультации. И когда она заболела раком, то мать ухаживала за ней, ездила в больницу; и мы одни ее и хоронили. Совестно, что я никогда больше на ее могиле не был и даже начисто забыл, где она упокоена...

Во время войны в блокадном Ленинграде она служила судебным исполнителем! Немка! Жена беспартийного военного прокурора! В блокированном немцами городе — судебный исполнитель!! Ходить по домам и описывать имущество! Это ли не фантастика? Попробуй сочини такое в романе — знатоки нашей жизни от возмущения в собственной слюне захлебнутся.

А вот сделать рассказ про то, как вторая жена приходит к первой и торжествующе полы моет, до сих пор очень хочется.

Какой силы воли была мать, ясно из того, что уже где-то в конце ноября сорок первого года она, силком конечно, водила нас с братом в кино. И в «Авроре» мы смотрели «Приключения Корзинкиной». Но не досмотрели — началась воздушная тревога или обстрел.

Когда отец вышел в отставку и начал тихо спиваться, у него пробудились литературные наклонности. Вот образец его творчества, напечатанный на машинке и подклеенный на первую страницу «Краткого курса истории ВКП(б)». Книга была подарена мне с приказом никогда с ней не расставаться.



**«ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА.** Я вношу предложение, чтобы на каждом военном самолете был портрет Валерия Чкалова.

Пусть его прах покоится в Кремлевской стене, но его сблик должен всегда парить в небесах. Пусть его улыбка, встречаясь с лучом солнца, скажет солнцу, что он жил для Советского народа, что десятки тысяч летчиков носят в своих сердцах Великого летчика Великой Страны Социализма, которую ведет Великий СТАЛИН. Тяжела утрата.

Я знаю, что ты, солнце, не веришь, не хочешь верить, что ЧКАЛОВА нет, что не прилетит к тебе в поднебесье Валерий, что своими крыльями он больше не будет ласкать твои лучи в поднебесье. Ты любишь его, солнце, первой чудной любовью, того, кто первый долетел до тебя, кто первый коснулся тебя, тебя, солнце, которое дает жизнь.

Он первый рассказал тебе о счастье Социалистической страны, он первый рассказал тебе там, в недостижимой высоте, о правде земной и на своих крыльях принес тебе привет от Великого Сталина, который своим гением согревает человечество.

О, Великое солнце-жизнь, ты пошлешь свои жизненные лучи в Страну Советов, на ее необозримые поля, леса, реки и доли и чтобы мы поняли тебя, Солнце, ты в своем спектре добавишь новый цвет, который назовет человечество ЧКАЛЫЙ.

Этот Чкалый цвет, в грядущих боях, будет светить Сталинским соколам, и переплетаясь с улыбкой Великого Вождя, гения человечества, будет нести победы, победы и еще раз победы трудящимся всего Мира».

Вся орфография, пунктуация остаются подлинными. Больше всего мне нравится «Чкалый цвет». Удивительные прокуроры жили в ту эпоху. А мой отец был не только сталинским прокурором, но, самое смешное, умудрился окончить юридический факультет Петербургского университета. Увы, биография отца настолько темное дело, что мне ее уже не распутать.

По чудовищной орфографической безграмотности мы с братцем в него. Мать не имела никакого образования — закончила какой-то частный пансион, но писала безошибочно.

Когда отец был следователем Василеостровского района, у него стажировался Лев Шейнин. В «Рассказах следователя» Шейнина описаны несколько дел, которые

вел отец во времена нэпа, включая знаменитую в свое время историю грабителей склепов на Смоленском кладбище.

Молчать отец умел замечательно, даже сильно подвыпивши.

Не знаю, «белые стихи» о Чкалове и Сталине — это мимикрия дрожащего от социального страха человека или его искренний восторг перед свободной судьбой хулиганистого пилота?

Надо сказать, что в конце тридцатых годов отцу пришлось бы вообще плохо, кабы он не расстался с матерью.

У матери было три сестры — мои тети. Все тети были замужем за царскими офицерами. Дяди были фронтовиками в первую мировую. Их боевыми орденами я играл в детстве. Дяди были настолько наивными вояками, что свои царские воинские отличия не уничтожили. Все они оказались в тюрьмах к концу тридцатых и были реабилитированы в пятидесятые.

Старшая сестра матери Матрена Дмитриевна, когда стала довольно заметной балериной в труппе Сергея Дягилева, сменила имя и стала Матильдой. В семье ее звали Матюней. В расцвет театральной карьеры Матюне на день ангела — девятого апреля — бывало так много различных подношений от поклонников-балетоманов, что бабушка Мария Павловна отправляла мою маму — самую младшую из сестер — с коробками дареного шоколада в Литовский замок. Там была тюрьма (в ней сидел и Федор Михайлович Достоевский), и конфеты предназначались арестантам.

В балете Стравинского «Петрушка» Матюня танцевала кормилицу. Особенно вызывал восторги ее лихой и бесшабашный танец, когда по ходу действия вокруг пляшут кучера и другой простой люд.

Было трудно представить тетю Матю в такой роли, потому что, с тех пор как ее помню, она была уже пожилой женщиной с удивительно скромным, тихим, мягким, незаметным поведением в семье. Работала в банке на Невском проспекте — разбирала денежную мелочь и упаковывала денежки в длинные тюбики, согласно их достоинству.

Несмотря на тихость и незаметность, после смерти бабушки Матюня оказалась центром и неформальным лидером всех родственников. Мать любила ее, не побо-

юсь сказать такого слова, коленопреклоненно. И сохранила два ее письма.

«Париж, 5 май 1914. Мамусеночка моя родная, как Ты здорова? Пишу тебе из Парижа, где находимся уже четыре дня. Устроились хорошо, платим за комнату в отеле 95 ф. в месяц, конечно, без завтрака, но и то Слава Богу, ведь за двоих обходится всего 3 ф. в день, есть горячая вода. Ходим обедать в такой же ресторан, как и с Тобой ходили. Любонька (это моя мать.— В. К.) от Парижа в неопишемом восторге, чувствует она себя значительно лучше. Не знаю, воздух ли Монте-Карло оказывает скверное влияние или горы утомляют ее донельзя, но она там едва двигалась, просто иногда, чтобы придти домой, садилась на каждой скамейке; может быть, лечебные души помогли — она взяла их 11—12. Теперь она репетирует с нами новый балет, их там шесть человек, довольна очень. Мамуличка, я думаю купить себе 2—3 платья к зиме, в Лондоне будет хуже и подороже. Купила Любоньке шляпу, беленькую, отделаем сами. Затем на те деньги, которые она получила, я купила ей черное шелковое платье, очень хорошенькое, 69 франков. Будешь бранить, так брани меня, Родная. Хотя ты сама, мамусенька, любишь красивые вещи. Работа есть, но балет, который ставят, совсем не трудный, прямо легкий для нас, пока. Эгреты для тети Степановой, конечно, я могу купить, но не знаю, как поступить: в Америке и Англии вышел закон, что носить их нельзя, иначе берут страшный штраф — ввиду того, что уничтожают совершенно птиц, а эти эгреты сдирают с них с живых. Благодаря этому варварству запретили носить, быть может и у нас запретят. На следующие заработанные Любой деньги куплю ей теплое пальто, но это, пожалуй, лучше в Лондоне сделать. Напиши, как думаешь. Целую тебя горячо и крепко-крепко. Твоя Матюша».

Кажется, дело идет о перьях африканских страусов. Во когда еще начинали борьбу за экологию!

Из Рио-де-Жанейро, с парохода, который ранее заходил в Сантос, сентябрь 1913 года: «Сам Дягилев не поехал, едем под начальством барона. Ах, вот новость, наш Нижинский женится. Давно из города в город ездила за балетом одна венгерка, не знаю, помнишь ли ты ее? (Это письмо адресовано матери, которая находилась в России.— В. К.). Потом венгерка стала заниматься у Чекетти, затем была принята в труппу без жалования, так как сама богата. На пароходе она влюбилась, а теперь

назначена свадьба. Как посмотрит Дягилев, не знаю. Все этим происшествием очень заинтересованы...»

«С П Р А В К А. Конецкая Матрена Дмитриевна находилась на излечении в больнице „В память 25 октября“ с 20 января 1942 года. Умерла 22 января 1942 г. Диагноз: дистрофия, тромбоз вен нижней конечности».

Смерть Матюни и средней сестры матери — тети Зики я описал в рассказе «Дверь», но там много сглажено, ибо бумага не все терпит.

Как-то услышал выступление по ТВ старой женщины-блокадницы, которая работала по уборке трупов из квартир. Она — мимоходом так, без особых педалирований, — сказала: «Нас не так удивляла мертвая мать, нежели живой ребенок».

Маму всю оставшуюся жизнь мучило и давило неизбежно тяжкое воспоминание. Воспоминания такого рода страшнее разных людоедств, бомб и снарядов. Последние как-то забываются. Не будешь же ты каждую секунду поминать снаряд, который рванул и кого-то рядом прихлопнул: ну, было такое и прошло. А здесь случай нравственных мук, которые вечно сжимают сердце, которые с особой силой возникают, как только глаза закроешь. Мучения совести. И вот такие мучения мать приняла, чтобы спасти нас с братом.

О подобных нравственных пытках, порожденных блокадой, как-то глухо пишут. А, еще раз подчеркну, они страшнее воспоминаний о муках физических.

Из учебника истории: «В первую зиму морозы начались значительно раньше обычного и не ослабевали до конца марта. 24 января температура опустилась до минус 40 градусов. 25 января остановилась последняя электростанция Ленинграда — „Красный Октябрь“. Нечем стало топить котлы. В город-гигант не притекало более ни единого киловатта электроэнергии. Погруженный в холодный мрак город остался на какое-то время без радио и телефона. Город словно бы онемел и оглох. На предприятиях запускали карликовые станции, работавшие от тракторных или автомобильных моторов...»

К середине января сорок второго года в нашей квартире умерли все соседи. И мы перебрались из комнаты, окна которой выходили на канал Круштейна, в комнатенку в глубине дома, окно которой выходило в глухой дворовый колодец. На дне колодца складывали трупы. Но от проживания в этой комнатенке было две выгоды. Во-первых, по нашим расчетам, туда не мог пробить сна-

ряд — на бомбежки мы к этому времени уже почти не обращали внимания. Во-вторых, комнатенку было легко согреть буржуйкой. Окно мать забила и занавесила разной ковровой рухлядью. Спали мы все вместе в одном логове. Буржуйку топили мебелью, какую могли разломать и расколотить. Совершенно не помню, чем заправляли коптилку, но нечто вроде лампы светилось. Декабрьские и январские морозы были ужасными. И у брата началось воспаление легких.

В тот вечер вдруг пришла Матюня. Окоченевшая, скрюченная. Тащила откуда-то и забрела отогреться. Ей предстояло идти до улицы Декабристов, где они жили вместе с Зикой — Зинаидой, — еще одной моей тетей.

Мать варила какую-то еду — запах горячей пищи. Чечевицу она варила. Куда нынче делась чечевица? Малюсенькие двояковыпуклые линзочки, их нутро вываривается, а шкурки можно жевать.

И вот мать, понимая, что если Матюня задержится, то ей придется отдать хоть ложку варева, ее выпроводила, грубо, как-то с раздражением на то, что сама Матюня не понимает, что ей надо уходить, — уже плохо сознавала окружающее. Она понимала только, что мороз на улице ужасный и что ей еще идти и идти — по каналу до улицы Писарева, и всю эту улицу, и улицу Декабристов. И все это по сугробам, сквозь тьму и липкий мороз. От огня буржуйки, от запаха пищи. Из логова, в котором был какой-то уют. Как он есть и в логове волчицы.

И мать ее выставила: «Иди, иди! Надо двигаться! Зика ждет и волнуется! Тебе надо идти! Там чего-нибудь есть у вас есть!»

И Матюня — этот семейный центр любви и помощи всем — ушла...

Она глубоко верила в бога; так, как нынче уже никто в современном мире не верит; в доброго, теплого, строгого и справедливого православного бога. Она выбиралась из комнатенки, шаря руками по стене, и бормотала молитву.

Недавно прочитал у Лескова:

«— Умилосердись, — шептала она. — Прими меня теперь как одного из наемников твоих! Настал час... возврати мне мой прежний образ и наследие... О доброта... о простота... о любовь!.. О радость моя!.. Иисусе... Вот я бегу к тебе, как Никодим, ночью; вари ко мне, открой дверь... дай мне слышать бога, ходящего и глаголющего!.. Вот... риза твоя в руках моих... сокруши стегно мое...!»

но я не отпущу тебя, доколе не благословишь со мной всех...»

Когда я читал молитву у Лескова, то опять увидел уходящую Матюню и вспомнил ужас перед тем, что делает мать, и крик брата: «Пусть Матюня останется!» Но у матери были свои предположения на наш счет. Она лучше знала, сколько в каждом осталось жизни или сколько в каждом уже было смерти.

«Нас не так удивляла мертвая мать, нежели живой ребенок...»

Мать сказала нечто вроде: «Прекратите истерики и ешьте!»

Через несколько дней мне приснился сон, который я рассказал матери: я видел ясное и теплое, летнее солнышко, и вдруг оно среди бела дня закатилось, и я понял, что оно больше не взойдет никогда. От страха проснулся. (Кстати, такое же ощущение безнадежного ужаса, как в том сне от закатившегося вдруг среди бела дня солнца, я испытал, уже будучи офицером, узнав о смерти Сталина.)

Когда я рассказал сон, мать сказала: «Это умерла Матюня! Иди к ней! Это я виновата, я ее тогда выставила! А зачем она сидела так долго?»

Я был к тому моменту самым жизнеспособным. Меня закутали и запеленали в разную одежду, и я пошел на улицу Декабристов.

Матюня была еще жива, а тетя Зика уже умерла и лежала на диване почему-то полуголая и в валенках. Матюня сидела в кресле, примерзнув к нему и к полу. Я затопил печурку. Почему-то у них на кухне валялись деревянные колодки для обуви. Из клеенки и колодок я и соорудил костерчик. И пошел за матерью и братом. Матюня все это время молилась. В молитвах она благодарила Христа за те муки, которые он послал ей, ибо теперь возьмет ее к себе, минуя, так сказать, ад и чистилище. Я вернулся домой. И мы все трое пошли на улицу Декабристов, взяв детские санки, чтобы привезти на них Матюню к нам. Но из этой затеи ничего не вышло: ни спустить по лестнице полубезумную Матюню, ни тащить ее через сугробы нам было не по силам.

Не помню, каким образом мать добралась до Александра Яковлевича Соркина. Это был отец жены моего двоюродного брата Игоря Викторовича Грибеля. Он и устроил отправку Матюни в больницу, ибо был главврачом военного госпиталя.

Тетя Зика — моя крестная, Зинаида Дмитриевна, — когда-то пела в хоре Маринского театра. Это была женщина тяжелого характера, как теперь понимаю, истеричка. Их ссоры с матерью заканчивались для матери обмороками.

Возле трупа Зики на столе лежала записка, нацарапанная обгорелой спичкой, и тоненькая свечечка. Записка сейчас передо мной: «Прошу зажечь эту венчальную свечу, когда умру. — З. Д. Конецкая-Грибель». На том же клочке бумаги нарисован план какого-то кладбища.

Муж Зики Виктор Федорович Грибель к началу войны уже погиб в Крестах.

От него сохранена моей матерью одна только бумажка:

«МАНДАТ. Выдан съездом железнодорожных войск Северного фронта Штабс-капитану ГРИБЕЛЬ в том, что он делегирован Съездом в Министерство труда и в Секцию труда при совете Рабочих и Солдатских Депутатов для представления резолюций, выработанных Съездом.

Председатель Съезда

Солдат (подпись я не разобрал.— В. К.)

Секретарь М о д е й ч у к.

*11 мая 1917 г., г. Псков».*

Сын Виктора Федоровича Игорь Викторович Грибель — мой двоюродный брат, в войну сапер, лейтенант, по официальным документам пропал без вести в сорок первом под Тихвином, а по неофициальным — подорвался на противотанковой мине, то есть от него и праха не осталось.

Я его очень любил и хорошо помню, как он к нам заскочил на минуту попрощаться, уже в походной форме с полуавтоматической винтовкой, где-то в сентябре сорок первого.

Дядю Витю тоже помню. Это был серьезный, молчаливый мужчина, в пенсне или очках, хороший шахматист. Арестовали его первым.

Несколько раз я был с матерью и тетей Зикой в Крестах в очереди на передачи. Молчаливая была очередь.

Двоюродный брат Игорек, как теперь вижу из следующего документа, был не робкого десятка юноша:

«К о п и я.

Народному Комиссару Внутренних дел СССР  
тов. Берия, Главному Военному Прокурору СССР,  
Москва, Пушкинская ул., 15-а

от гр-на Грибель Игоря Викторовича, инженера  
Жилуправления Ленсовета, проживающего  
гор. Ленинград, ул. 3-го Июля, 71, кв. 4

### З а я в л е н и е

6-го февраля 1938 г. мой отец Грибель Виктор Федорович, 1887 г. рожд., был арестован органами НКВД на ст. Сланцы-Поля Гдовского района, где он работал в должности Ст. Производителя работ Строительства Сланцы-Битумного Завода УШОСДОРа НКВД немного более года. До начала декабря 1938 г. Ленинградская Областная Прокуратура, при наведении справок, сообщала, что дело гр-на Грибель числится за ней, а с 3-го декабря 1938 г. по апрель 1939 г., где находится дело, установить было нельзя — дело пропало.

3-го апреля 1939 г., на приеме, наконец, удалось установить, что дело поступило в Военную Прокуратуру — Ленинград, пр. 25-го Октября, д. 4.

10 апреля 1939 г., на приеме, Военный Прокурор сообщил, что дело моего отца было в Военной Прокуратуре, но потом возвращено в НКВД для доследования.

В мае 1939 г. в Справочном Бюро НКВД была получена справка, что следствие закончено и дело передано через Военного Прокурора в Военный Трибунал.

11-го июня 1939 г. в Военном Трибунале подтвердилось, что дело там, и впервые было получено разрешение на передачу белья. Через месяц, т. е. 11 июля 1939 г., в Военном Трибунале была получена справка, что дело вновь возвращено из подготовительного заседания в Военную Прокуратуру для доследования и пока новых сведений нет.

**Итак 19 месяцев по делу моего отца решения нет.**

Я глубоко уверен в невинности моего отца, а 19 месяцев безрезультатного следствия лишь подтверждает мое глубокое убеждение в этом. О состоянии здоровья



заклученного моего отца после 19-ти месяцев содержания под стражей говорить не приходится. В октябре 1938 г. он находился в больнице, в июне 1939 г. — опять в больнице.

Гражданин Прокурор, я прошу Вас истребовать дело в порядке надзора и положить конец грубому нарушению закона. Если мой отец виноват в инкриминируемом ему преступлении, пусть его судят, а если не виноват, прекратите его мучения и мучения его семьи.

И. Грибелъ. 6.8.39».

Я любил Сталина, любил его улыбку. У меня в заветной тетрадке была его фотография — в белом кителе, со Светланой на руках, у южного моря. В затянувшуюся бомбежку на 7-е ноября сорок первого мы в бомбоубежище под зданием Управления Октябрьской железной дороги — это напротив Александринского театра — слушали его речь и историческое бульканье воды в его стакане, когда он делал паузу и отпивал глоток. И я плакал от веры в него и от любви к нему. Он умел говорить образно и ценил юмор. Это он сказал (или повторил какого-то классика): «Полное единодушие бывает только на кладбище».

Отлично сказано!

И когда ему захотелось полного единодушия, он начал превращать страну в подобие кладбища, ибо у него дела не расходились со словами.

Поразителен его интерес к языку накануне смерти. В начале пятидесятых я с интересом изучал в военноморском училище «Марксизм и вопросы языкознания». Читать труд дилетанта о проблемах языка куда занятнее, нежели сочинения ученого-языковеда. Над последними умрешь со скуки.

Сквозь треск пустых речей и славословий он слышал накануне смерти гробовую тишину народного молчания — «народ безмолвствует». А в этой тишине молчания он слышал грозные слова, и он взялся за проблемы языковедения, ибо только слова, язык не подчинялись его воле и продолжали где-то жить и копошиться

Занятно, что и говорливый Никита Сергеевич среди забот и хлопот по догонянию Америки нашел время заняться языковой реформой.

Первые седые волосы у меня появились, когда я был всего лишь лейтенантом. Мой подчиненный матрос

Амелькин во время выборов зашел в кабину для тайности голосования. Это было ЧП на весь Северный флот. Матрос сидел в кабине не меньше часа. Страшный час моей жизни. Потом оказалось, что Амелькин — отменный патриот. В кабине на бланке бюллетеня он сочинял стихи, посвященные Сталину. Они ненамного отличаются от отцовского сочинения про Чкалова.

Второй по возрасту после Матюни была тетя Оля. Ее муж, мой дядя Сережа, тоже был штабс-капитаном, фамилия его была Васильев, а отчества не помню. Сперва их семейство выслали в Саратов, потом всех посадили. Дядя Сережа и его дочь Кира умерли в лагере от голода уже после начала войны. После революции дядя Сережа работал корректором в типографии и любил сам ремонтировать сапоги.

Дольше всех тетя продержалась на этом свете тетя Оля — единственная из сестер матери, которая сама провела многие годы в лагерях, — так почему-то случается довольно часто: кто оттуда выходил живым, как бы сдавал экзамен на выживаемость.

Так вот, хорошенькое было положение у отца, когда все материнские родственники при первых признаках сгущения туч над головами бежали, естественно, за помощью к нему — прокурору. И какова была у отца поддержка, ежели он так и не оформил официально развода с матерью (это я из того вывожу, что после смерти отца пенсия за него — четырехста рублей теми деньгами — получила мать, а не Надина).

Как-то из каких-то южных плаваний я привез много кораллов. И вдруг решил один коралл отвезти отцу на могилу, ибо решил, что был он революционным романтиком, а все романтики — в чем-то наивные и хорошие люди.

Я верю в нашу молодежь.

Нельзя жить, не веря в нее.

Я верю, что рано или не слишком уж поздно молодежь оживит все омертвелое, что накопилось за десятилетия в стране и народе.

Отец не был членом партии. Зато очень гордился моим ранним вступлением в нее.

Неудачливый революционер М. И. Муравьев-Апостол писал на закате дней: «Каждый раз, когда я уйду от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в

нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается словом: любили. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже саму жизнь, ради любви к Отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому...»

Пушкой это звучит выпендренно, но мое поколение военных подростков были и есть дети 1941 года: тогда мы научились любить отечество.

## *ПОД СЕНЬЮ РУССКИХ СФИНКСОВ В КОЛОМНЕ*

Усядься, муза; ручки в рукава,  
Под лавку ножки! Не вертись, резвушка!

*А. С. Пушкин. Домик в Коломне*

Без сомнения, немногим из вас... известна хорошо та часть города, которую называют Коломной... Тут совершенно другой свет, и, въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые желания и порывы.

*Н. В. Гоголь. Портрет*

Именно тут-то, в Коломне, молодые желания и порывы никак меня не оставляли и, увы, довели до греха.

В конце сороковых годов на Фонтанке возле отсутствовавшего в те времена Египетского моста стояли под гранитной стенкой наши шлюпки — штук двадцать шестивесельных ялов в два ряда, цугом, на фалинях. Шлюпки принадлежали Первому Балтийскому высшему военно-морскому училищу. Плавсредства — вещь ценная. И потому здесь дежурили круглосуточно два курсанта. Пост этот так и назывался — «У шлюпок». На двадцать четыре часа ты исчезал из казармы в коломенские нечи — это было замечательно. Особенно в белые уже ночи — в конце мая, в начале июня.

На посту разрешалось читать. Сидишь себе на корме концевой шлюпки, почитываешь «Кавалера Золотой Звезды», покуливаешь отсыревшую махру и поплеываешь за борт — в грязную воду, где плывут и плывут в Финский залив, в дальние моря и океаны, как нынче пишут в словарях, «средства механической защиты от

венерических заболеваний и для предупреждения беременности».

Черт, сколько этих средств несли в конце сороковых Фонтанка, и Мойка, и канал Грибоедова, да и сама державная Нева! Суровый запрет на аборт — дабы поскорей восполнить те двадцать миллионов, которые полегли от Ленинграда до Берлина. Плюс никаких еще тревог и забот об охране окружающей среды.

Нагляделся я со шлюпок на эти средства механической защиты производства завода «Красный треугольник» в нежной юности на всю катушку. По первым разам с души перло, есть не мог, хотя страдал еще ощущением беспрерывного голода. Потом, конечно, привык, перестал замечать, ибо душа моя тянулась к поэтическому, к живописи и к первой, светлой, чище подснежника, любви.

Об этом и мечталось в мои двадцать лет на посту у шлюпок и в августовские, уже темные, ночи, и в первые ночные морозцы сентября, когда из широких печных труб на крышах старинных домов начинали куриться дровяные дымы, ну и, конечно, особенно хорошо мечталось в белые ночи. Глядишь из шлюпки, как с вечера освещаются семейными, абажурными огнями окна, а потом гаснут, и тогда на набережных остаются только бессмысленно мигающие в пустоте светофоры.

Чуть колыхнет шлюпку, шкрябнет она деревянным буртиком об осклизший гранит; напарник закемарит, все тихо, и в этой тишине бесшумно спланирует к реке бессонная чайка, сядет, повернувшись против ветерка, крикнет что-то глухим, отсыревшим, как твой бушлат, морским голосом. И все это над медленной водой, под сенью сфинксов, которые возлежали на парапетах, охраняя давно отсутствующий мост.

Мост этот был построен в 1826 году, а двадцатого января 1905 года в 12.19 на мост вступил 3-й эскадрон конногвардейского полка. Шестьдесят гордых всадников возвращались из столицы в Петергоф. Кроме них на мосту находилось девять прохожих и два извозчика. Один ванька оказался чрезвычайно невезучим, и фамилия у него была соответствующая — Горюнов.

В 12.20 раздался оглушительный удар, «подобный, — как писало «Новое время» Суворина, — залпу десятка орудий. Вслед за ударом, через несколько секунд, со стороны моста раздалась визги, крики, шум и ржание коней...» Одновременно все авторы учебников по физике для гимназий довольно потеряли руки, прямо в которые

рухнул замечательный пример для главы «Резонансные колебания».

Грохот рушащегося моста слышала моя матушка, которой было двенадцать лет, а находилась она в семейном гнездышке, в центре Коломны, в доме угол Екатерининского и Лермонтовского проспектов, напротив Эстонской церкви.

Так как катастрофа произошла через одиннадцать дней после «кровавого воскресения», то в газетах были попытки объяснить крушение моста не резонансом, а преступной халатностью царского городского головы.

Никто не погиб — brave конногвардейцы и потомки Акакия Акакиевича Башмачкина отделались ушибами и купанием в ледяной воде Фонтанки. Утонуло лишь несколько лошадей, среди которых и лошадка извозчика Горюнова.

Ужасное — во всех смыслах — потрясение лишило его рассудка, и бедный извозчик стал обитателем мрачного сумасшедшего дома на Пряжке. Необыкновенно тихий, ни с кем не вступавший в контакт и таким своим поведением схожий с давним моим героем Геннадием Петровичем Матюхиным, удравшим от сует и пошлости мира в кашалота, Горюнов забивался в какой-нибудь больничный угол и часами смотрел в одну точку. (В отличие от другого знаменитого безумца — уроженца здешних коломенских мест Евгения, который когда-то спасался от неистовых невских вод на льве возле Исаакия, а потом грозил Петру Великому и всем царям мира.)

Из отчуждения и отстраненности извозчика Горюнова выводило лишь неожиданно доносившееся конское ржание, когда в больницу доставляли хлеб и продукты. Тогда ванька подбегал к зарешеченному окну, надеясь увидеть лошадей.

В конце концов его выписали из больницы.

И он стал ежедневно приходить к обвалившемуся Египетскому мосту, залезал (так уж мне хочется) на уцелевших сфинксов, благо залезть на них было просто, а городские его не прогоняли. И, сидя на сфинксах, неотрывно смотрел на медленно текущие воды Фонтанки, вслед своей лошадке.

Ну, и однажды не вернулся в ночлежку.

По предположению психиатра Борейши и журналиста Эд. Аренина, Горюнов в состоянии гнетущей тоски бросился в реку и утонул, уплыл в Финский залив и в далекий океан...

1905 год—начало XX века — время арлекинов, клоунов, маскарадных масок. Вспомните натюрморты той поры — сколько в них театральных масок! И в этом есть какой-то тайный и большой смысл, который провиденчески чувствовал Блок. Из этих арлекинов с белыми лицами и маскарадных масок рождались Пикассо и Шагал. Последнее придумал лично я, но не судите строго, ибо внутренний смысл начала XX века мне уже не ощутить...

Ежели сфинксы возле Академии художеств натуральные и привезены из Египта, то сфинксы Египетского моста ниоткуда не привезены. Их породил тот же ваятель, который сотворил прямо под перо Пушкину «Девушку с кувшином», — академик П. Соколов; ту самую девушку, которая, урну с водой уронив, об утес ее разбила...

Эти замечательные стихи я вспомнил потом в порту Арбатакс на немислимо далеком острове Сардиния, направляясь на теплоходе «Челюскинец» в греческо-египетские края.

Сфинксы бывают двух национальностей.

Греческий Сфинкс — дочь Тифона и змеи Ехидны, жила на скале близ Фив и задавала каждому гуляющему загадку: «Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень на двух и вечером на трех?» При этом Сфинкса обязывалась в случае разрешения загадки умертвить себя; не разрешавших же загадки она пожирала. Никаких затруднений с продовольственной программой у Сфинксы не было много веков по причине безнадежной тупости древних греков. Пока не явился Эдип с его комплексом. Он разгадал загадку, и Сфинкса, будучи джентльменом, вынуждена была сдержать слово и прыгнуть со скалы в Средиземное море.

Египтяне же считали Сфинкса олицетворением в образе полуженщины-полульва царской власти, соединяющей силу льва с разумом человека. Когда Сфинкса сооружали царицы, они давали им женские головы, а также груди. И тогда Сфинксы олицетворяли неизбежность судьбы и нечеловеческие муки.

Женщины к этому моменту волновали меня уже до головокружения — в полном смысле слова. Увидишь на улице этакую сержанточку в сапогах, в короткой зеленой юбке — тогда короткие юбки вроде только армейские женщины носить могли, — увидишь этакую сержанточку с талией в ремне, с ляжками под юбкой в обтяжку —

и голова кружится от какой-то дурноты и бешеной злобы на недоступность по причине собственной робости. В Эрмитаж, правда, мне в те времена тоже не рекомендовалось ходить. Помню, как бежал я один раз от скульптуры бессмертного Родена «Поцелуй». В этой скульптуре девушка и юноша так гармонично переплелись, что святых выноси. Меня и вынесло.

Пишу все это и даже вздрагиваю от гражданской смелости и думаю о том, что после Вересаева, вероятно, ни один из наших советских писателей не переживал мучительных, пыточных периодов мужского созревания. И ни один из наших писателей, как я могу судить, включая даже лауреатов, первородного греха не совершал...

Да что там Роден! Чугунные грудки полуженщин-полульвов на парапетах возле провалившегося Египетского моста и те вызывали головокружение.

Помню, у юго-западного сфинкса под левой грудью была здоровенная пробойна от осколка снаряда или бомбы. Так мы в эту пробойну вечно заглядывали. Могу сообщить вам, что сфинксы полые внутри, была там затхлая полутьма, окалина, окурки и битые бутылки.

И вот белая ночь, перламутровый свет, без всплеска течет Фонтанка, не дрогнут в ней отражения спящих домов.

Устои провалившегося моста в сотне метров и черные рваные пробоины в телах сфинксов.

Сфинксы лежали и на этой, и на той стороне реки, лежали непоколебимо, невозмутимо, вечно задумчиво, глядя и в жизнь и в небытие незрячими глазами, соединяя вечное страдание, неизбежность судьбы и с радостью, и с нечеловеческими муками.

У тех послевоенных сфинксов не было золота на широких лентах, ниспадающих на плечи; золото давно облезло с чугуна.

Если не хочешь предаваться мистике и загадочности, то это хорошие, серенькие сфинксы. Задние лапы поджаты, но впечатления, что звери хотят куда-то прыгнуть, нет. Если глядеть на сфинксов в фас, то все формы их мягкие, лица сохраняют ощущение жизни, живости — что редко у скульптур. Передние лапы полульвов, которые вытянуты, без когтей, пухлые. В общем, нет в сфинксах Египетского моста ничего потустороннего, даже если будешь смотреть на них долго-долго и прямо в незрячие,

слепые глаза. Эти сфинксы на Лермонтовском проспекте очень русские. Вообще Коломна — самая российская часть Ленинграда.

Из шлюпок нам разрешалось вылезать, дабы размяться и прогнать сон. И вот вылезешь по штурмтрапу — три гранитных блока от воды до решетки набережной, — вылезешь, подойдешь к сфинксу, заглянешь почему-то опять в снарядно-осколочную пробойну под левой грудью, добавишь туда еще один окурок и пойдешь вдоль шлюпочного цуга. Длина яла семь шагов — равна расстоянию между гранитными тумбами.

Идешь вдоль шлюпок, считаешь шаги над текучей грязной водой, которая медленно втягивается в пространство между устоями обрушившегося моста. На середине реки ветерок чуть тревожит воду, и по ней бежит мелкая-мелкая рябь — как на стиральной доске.

Пусто вокруг. Город спит.

Только изредка промчится «скорая помощь», разбрызгивая оставшиеся после короткого дождика лужи. Или пройдет хмурый милиционер (вполне возможно, внук извозчика Горюнова), но даже не глянет в твою сторону — не испытывали в те времена милиционеры особых симпатий к матросам.

Кошка перебежит из парадной в подворотню четырехэтажного дома № 136, проходного, сквозь открытые ворота которого видны мусорная яма и поленницы дров. (Сейчас в этом доме школа ОСВОДа.)

Или вдруг на радость тебе вылезет из подворотни собака — уж такого дворняжеского вида, что дальше и ехать некуда: мокрая и испачканная; за ней в обязательном порядке появится вторая. Ежели первая вылезет черная, то потом за ней вылезет рыжая с белым пятном, тоже, конечно, мокрая и грязная. А если первая будет рыжая с белым пятном, то вторая обязательно будет черная и хвост кольцом — любовь у них. И вот они стоят минут десять-пятнадцать в сосредоточенном молчании, глядят в перспективу Фонтанки и думают свои собачьи думы. А ты, ясное дело, испытываешь к ним явную солидарность и большую симпатию. И возникает извечный вопрос: кому лучше живется, бесхозным псам, то есть Гекам Финнам, или Томам Сойерам?

Нынче по набережным Фонтанки прогуливают породистых мопсов на поводках. Или, что еще страшнее, трусятся в оздоровительном беге мопсовые дамы-хозяйки.



Боже, что стало бы с Пушкиным, коли он вдруг увидел бы этих дам, когда писал «Руслана и Людмилу» в доме адмирала Клокачева возле Калинкина моста! Это дом № 185. Там умер потом в забвении и нищете оставленный от архитектуры Карло Росси...

Акваторию нашего текучего сторожевого поста замыкал скромный, безо всяких украшений, пешеходный мостик Красноармейский. Он был выше по течению.

У этого моста в Фонтанку впадает Крюков канал. Сюда нам разрешалось доходить — метров сто от передней шлюпки.

Тылы городской больницы № 17 («В память 25 Октября»). Огромные парадные двери заколочены, и окна вспомогательных больничных корпусов тоже заколочены, без стекол и производили очень грустное впечатление, как и все прибольничные строения на свете.

В полукруглом маленьком скверике, огражденном решеткой из пик, постамент без памятника — черный гранитный куб. От тротуара его отделяют якорные цепи. Весенние липы в скверике низко склонились, и пики ограды давно вросли-впились в их черные стволы. В холодные ночи из люков в скверике поднимается вонючий пар; вокруг люков растет бурьян и понурая трава, засыпанная прошлогодними еще листьями. Каменный парапет ограды кое-где покрыт мхом, очень сыро.

За Смежным мостом хорошо просматривается до самого конца Крюков канал. Его булыжные мостовые были разорены, но тополя продолжали жить среди нагромождений проржавевшей трофейной техники.

В Крюковом канале чудесным видением отражается колокольня Никольского собора. Колокольня бело-голубая. Ее шпиль был замазан маскировочной краской. Но в верхнем, подшпильном проеме колокольни четко рисовался черный колокол. Им любовался опальный Суворов, умирая в доме напротив.

Сам Никольский собор — главный морской и рыбацкий собор России. Первую державную службу в нем отслужили в честь победы над турками при Чесме в 1770 году. Собор двухэтажный. В проходе второго этажа уже скоро век висит наша семейная икона Тихвинской богоматери — подарок всем морякам и рыбакам от бабушки Марии Павловны, которая знать не знала, что ее внука пронесет по всем океанам планеты — семейство было на сто процентов сухопутное.

Михаил Херасков в стихотворении «Чесменский бой» возвышенно писал: «Пою морскую брань, потомки, ради вас!» Я последую за нашим древним стихотворцем, но, правда, слово «брань» буду толковать часто в расширительном смысле. Имею в виду не только флотскую ругань, но и всякие другие темные грешки молодости...

В одном квартале от Фонтанки начинаются желтые лабазы Никольского рынка с его низкими, купеческими арками.

На Старо-Никольском мосту и по Садовой улице в послевоенные годы трамвайные рельсы лежали на шпалах прямо поверх земли...

Здесь постоишь минуту-другую, послушаешь сонное дыхание города и вороний ор. Вороны вокруг бродят по лужам и со скуки стараются подобраться к тебе поближе, потом притворно пугаются, взлетают на чугунную решетку набережной, вцепляются в нее хищными лапами. Вороны, вообще-то, любят человеческое общество, их тянет к нам...

В тот раз напарником на посту возле шлюпок был у меня Серега Ртахов, шикарный парень, сын адмирала, клеша у него шевиотовые были, победительная наружность и хорошие организаторские способности. И еще потомственно привязан был к военно-морской службе, служил лихо, без напряжения, с некоторым снисходительным гонором к тем, кто, как я, попал в военно-морское училище не своей волей, а волей и игрой непредсказуемых сил, то есть войной. После училища служба у Сереги пошла превосходно, одним из первых стал командовать крупным десантным кораблем, потом соединением, а потом с такой же стремительностью полетел вниз, оказался вышвырнутым с военного флота, занесло на Колыму, где работал он лоцманом. А был у меня последний раз года три назад. В измызганном пальто, застойно пьяный. Просил пятерку. Я дал десятку. Потом получил от него письмо из туберкулезной загородной лечебницы. Он просил прислать какую-нибудь мою книгу. Я не прислал. И не поехал к нему, хотя писал он мне, конечно, в расчете на то, что я приеду и привезу ему бутылку. Вроде бы после того, как его подлечили, он сейчас работает сторожем в морге при той же больнице, где лежал.

Вот вам пример российского алкоголизма при полном жизненном успехе, здоровье, красоте; при полном ладе и гармонии с социальной действительностью.

Сергея Ртахов и толкнул меня на тропу грехопадения в парадную дома № 136, угол Лермонтовского проспекта и Фонтанки.

Застучали в белой ночной тиши каблучки над нашими головами по граниту набережной — об этом стуке я в каком-то раннем рассказе написал, но только остальное все там выдумал и занавесил застенчивой занавеской социалистического реализма.

А по правде, свесилась к нам сверху, через чугун решетки, кудрявая головка этакой моей сверстницы. Сказала, что с танцев бежит, но там, на танцах, настоящих парней не было и ей теперь скучно — «ну, просто ужасно как скучно!».

Сергея мгновенно усек, что к чему, и полез по штормтрапу развлекать девицу. А я остался наедине со средствами механической защиты и размышлениями о своей непутевости в женском вопросе.

Так и не знаю, что там Сергей наговорил про меня девице, но он быстро вернулся и велел идти к ней в подъезд.

Скинул я клеенчатый, с капюшоном плащ, вылез на набережную и философски задумался в полнейшей нерешительности; ежась в своем отсыревшем бушлате и робе; глядя на глухую стену больницы, и на весенние тополя, и на серое, как дым, последождевое небо, и на далекие синие купола Троицкого собора с пушистыми — в золотых лучах — крестами.

— Кавалер! Совсем замерз? Долго тебя ждать? — крикнула Ева из подъезда дома № 136.

И Адам побрел через Рубикон, вспугивая из луж ворон, мокрых, с густо-серыми грудками.

В парадной Ева шепнула:

— Не бойся, — у меня вообще-то муж есть...

А потом сунула мои замерзшие руки в свое теплое женское и захихикала от их прикосновения.

Утром по дороге к себе на работу на завод «Красный треугольник» она опять простучала каблучками над нашими головами по древнему граниту, опять перевесилась через чугунные перила, крикнула нам:

— Эй, мальчики, как вы тут? Смена скоро?

Мне так стыдно было, что я послал бы ее к далекой матери, кабы не Серега. Он показал мне кулак, а ей помахал рукой и пожелал доброго утра. Она засмеялась, кинула нам кулек с тремя конфетами — соевыми батончиками:

— Это вам на завтрак, мальчики! Только не подеритесь!

— Как тебя звать? — спросил Серега.

— Нина! Ну, я побежала!

И убежала.

Вопрос, которым Пушкин заканчивает «Домик в Колмне», здесь годится и мне: «„Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоученья?“ — „Нет... или есть: еще полчаса терпенья...“»

## КАК Я ПЕРВЫЙ РАЗ КОМАНДОВАЛ КОРАБЛЕМ

«Секретно.

Командиру „СС-4138“  
лейтенанту Конецкому В. В.

Капитан-лейтенанта  
Дударкина-Крылова Н. Д.

### РАПОРТ

Настоящим доношу до Вашего сведения по пожарной лопате № 5. При обследовании пожарной лопаты № 5 мною установлены нижеследующие отклонения от приказа Главного командующего ВМС СССР:

1. Черенок лопаты короче стандартного.
2. Насажен плохо, качается.
3. На конце черенка нет бульбы.
4. Трекер лопаты забит тавотом.
5. Щеки лопаты ржавые, не засуричены.
6. Лопата не совкового типа.
7. Черенок лопаты не входит в держатели на пожарной доске.
8. Лопата на пожарном стенде вследствие этого не закреплена, а держится черт как.
9. Лопата не окрашена в красный цвет.
10. На лопате нет бирки о последней проверке.
11. На лопате отсутствует инвентарный номер.

12. Лопата не учтена в приходо-расходной книге.
13. Лопата не включена в опись пожарной доски.
14. Лопата висит не на штатном месте. Далеко от места будущего пожара.
15. При опробовании — лопата сломалась.
16. Сломанная лопата не была внесена в акт списания.
17. Лопата не исключена из описи пожарной доски.
18. Нет административного заключения о причине поломки лопаты.
19. Нет приказа о наказании виновника поломки лопаты.
20. Лопата и до поломки превышала по весу норматив на 11 кг 250 г.
21. Лопата не была закреплена за конкретным матросом боевого пожарного расчета.
22. В процессе эксплуатации лопата неоднократно использовалась не по прямому (пожарному) назначению. Дознанием установлено: в зимних условиях ею чистил снег на палубе боцман, старшина I статьи Чувилин В. Д. Тогда же ею были нанесены побои боцману, старшине I статьи Чувилину В. Д. А 08 марта пожарная лопата использовалась на демонстрации для несения на ее лотке портрета женского исторического лица.

Вывод. Ввиду окончательной поломки лопаты — заводской № 15 256 (корабельный № 5) — признать дальнейшее ее использование для боевых и пожарных нужд невозможным. Стоимость шанцевого инструмента списать за счет боцмана, старшины I статьи Чувилена В. Д.

Для определения стоимости лопаты (черенок, тулейка, наступ, лоток) создать комиссию в составе 3 (трех) офицеров, включая начальника медико-санитарной службы старшего лейтенанта Захарова А. Б.

Проверяющий: капитан-лейтенант  
Дударкин - Крылов Н. Д.

*Порт Архангельск.  
Борт „СС-4138“  
июля 08 дня 1953 г.»*

С автором этого секретного документа я и собираюсь познакомиться вас ближе.

Все вышли в экспедицию  
(считаю и меня),  
Сова, и Ру, и Кролик,  
И вся его семья.

*Винни-Пух*

**«16 ИЮНЯ 1953 г. СССР. СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ.  
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ.**

Тов. лейтенант, на Ваше письмо от 09.06.53 г. сообщая, что оснований для перевода Вас на Тихоокеанский флот нет. В дальнейшем по вопросу прохождения службы прошу обращаться по команде в соответствии со ст. 5 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР. ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ СФ КАПИТАН II РАНГА ВСЕЕВ».

Самый не освещенный пока в мировой прессе период моей жизни (из-за врожденной скромности) — военная служба на Северном флоте.

Есть срок давности. Прошло больше тридцати лет. Можно кое-что вспомнить. Я служил на военных спасателях, но серьезные аварии случаются редко. И главная работа — буксировка или судоподъем, то есть извлечение из морских глубин затонувшего железа.

Безнадёжно скучно было летом. Стоишь в какой-нибудь удаленной от цивилизации бухточке на якоре. Без связи с берегом. За бортами десятки понтонов — ржавые железные бегемоты, опутанные пуповинами воздушных шлангов.

Под килем когда-то погибшее судно.

О том, кому на этом судне не повезло, не думаешь.

Работают водолазы и такелажники, а ты занимаешься боевой и политической подготовкой. То есть объясняешь матросам про дубовые лесополосы и коварство академика Марра. А матросы у тебя настырно интересуются причиной самоубийства Маяковского: «Это правда, товарищ лейтенант, что он венериком был?»

Коли я уж так с ходу расхристался, то объясню все-таки, почему написал тогда письмо в кадры Северного флота с просьбой о переводе на Камчатку.

Конечно, крошечная скука от теоретических занятий с матросами и монотонность судоподъемных работ свою роль сыграли, но истинные причины были серьезнее.

Поднимали мы австралийский транспорт «Алкао-Кадет» возле мыса Мишуков. В сорок втором году австра-

лиец затонул, получив прямо в дымовую трубу полутонную немецкую бомбу.

Поднимали его трудно. Транспорт хотел покоя и не желал возникать обратно на свет божий из тишины и мягкого сумрака морской могилы.

Наконец все-таки наступил волнительный и торжественный момент продувки понтонов. И из бурлящих вод, обросший водорослями, занесенный илом, в гейзерах воды и струях травящегося из понтонов воздуха возник потревоженный от вечного сна пароход — огромное морское чудо-юдо. Защелкали фотоаппараты, заорали «ура», вскинули над головами чепчики, — матросики летом на Севере именно чепчики носят. Выждали положенные мгновения и полезли на утопленника за чем-нибудь полезеньким. Спасение на водах всенепременно связано с таким постыдным фактом — такое было, есть и будет. Ибо спасателям извечно кажется, что они имеют чистой воды моральное право «на некоторое количество сувениров» — так скажем для приличия.

Я пробрался в штурманскую рубку транспорта. И обнаружил среди ржавого железа какие-то черные и мерзко скользкие кипы. Пхнул сапогом одну — она развалилась, а в середине проглянула прилично сохранившаяся бумага. Оказались австралийские навигационные пособия, вахтенные журналы, лоции — слипшиеся, спрессованные тяжестью морской воды, как бы обугленные по краям страницы. Тут я и забыл про то, что хотя любопытство не порок, но все-таки большое свинство. Набил полную пазуху мокрыми документами и вдруг услышал сперва гудок, а потом аварийные тревожные свистки и ощутил под ногами дрожь металлического покойника.

Всех спасателей мгновенно сдуло с этого «Алкао-Кадет».

Хорошо помню, как наш боцман волок на родной спасатель шикарный австралийский стульчак, но вынужден был бросить добычу на полпути.

Под брюхом транспорта начали рваться-лопаться понтонные полотенца, на которых он висел.

Минуту или две «Алкао-Кадет» полусонно чесал в затылке, затем вздохнул и нормально булькнул обратно в могилу, оставив за собой такую бурунную воронку, что в нее затянуло рабочую шлюпку. А звук австралийский транспорт издал пострашнее и уж во всяком случае погромче того, с которым сыпется земля на гробы братских сухопутных могил.

Еще минут тридцать над затонувшим гигантом вылетали из воды четырехсоттонные понтоны, наполненные воздухом. К счастью, ни один из них не вмазал в днище нашего корабля. Если бы такое произошло, то поднимать с грунта возле мыса Мишуков пришлось бы уже два парохода.

Когда все утихло, я занялся разборкой, как говорят в романах, «немых свидетелей» жизни и работы австралийских моряков: записные книжки штурманов, карты Ямайки и «рапорты об атаках за июль 1942 года».

Потом разложил свою бумажную добычу сохнуть на световом люке машинного отделения, нимало не заботясь о том, что ее кто-нибудь сопрет: кому нужны мокрые, грязные, в ржавчине бумажки? Да еще на английском языке! Я-то в те времена пытался его учить и любопытные австралийские документы могли бы стимулировать усидчивость.

Но вышло вовсе нелепо и неожиданно. Бумажки попали на глаза одному бдительному товарищу. На «рапортах об атаках» он обнаружил английское слово «секретери». Меня кое-куда вызвали и дали такую взбучку, что до сих пор икается. Оказывается, я должен был все эти документы немедленно сдать в соответствующий отдел.

Среди десятилетней давности австралийских секретов бдительные товарищи обнаружили и бумажку с русским текстом, которая принадлежала лично мне и попала туда случайно. Вот ее текст: «Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью. Благодаря рабству произошел расцвет древнегреческого мира, без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма».

Такой текст показался некоторым начальникам подозрительно-загадочным. Пришлось долго доказывать, что автор не я, а Фридрих Энгельс. Такие уж были времена и нравы, что интерес офицера к произведениям классиков, мягко говоря, не поощрялся.

Вот и решил, что лучше будет, если я сменю скатерть, то есть сменю место службы с европейского Севера на азиатскую Камчатку.



За обращение с письмом к высокому начальству не по команде я получил добавочную взбучку от командира корабля капитана III ранга Зосимы Семеновича Рашева и продолжал тянуть ляжку на вторичном подъеме «Алкао-Кадет».

Однако ничего на этом свете не проходит бесследно.

26 июня 1953 года меня катером сняли с корабля и привезли в штаб части, где я получил командировочное предписание:

**«УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА. 30 ИЮНЯ 1953 г.** С получением сего предлагаю Вам отправиться в г. Энск для выполнения специального задания в распоряжение кап. I ранга Рабиновича Я. Б. Срок командировки 01 дней, с 30 июня по 01 июля 1953 г. Об отбытии донести. Основание: мое распоряжение. Для проезда выданы требования на перевозку, за № ф. 1, № 142 002. Начальник АСС СФ кап. I ранга Блин о в».

Блинов мне нравился, и, кажется, я ему тоже. Сейчас вспоминаю, как он пришел ко мне в каюту, — капитан I ранга, аварийно-спасательный цезарь и падишах. И вот этот падишах заглянул в каюту к мальчишке-лейтенанту, чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую в самостоятельной роли на корабле после училища и не слишком ли мне грустно.

Вроде бы мелочь, а не забывается.

Блинов сделал тогда замечание. Вернее, дал дружеский совет. Я был назначен на «Вайгач» временно — на один месяц, ибо вообще-то был утвержден на другой корабль, который находился в море на спасении. И потому в каюте, куда поселился, никакого уюта наводить не стал.

— Почему, лейтенант, у вас нет на столе фотографий? — спросил Блинов. — Где фото вашей девушки или если ее нет, то мамы?

Я объяснил, что нахожусь здесь временно.

А он объяснил мне, что моряк должен быть дома в любой каюте и на любом корабле, ибо каюта офицера это не казарма, где люди отслуживают свой срок. И каюту следует обживать сразу, тем более что собрать в нужный момент чемодан — дело нехитрое.

И этому правилу я следовал потом неукоснительно.

За одним исключением: фотографию любимой девушки никогда не ставил на стол и не вешал на переборку. Не хотелось, чтобы ее кто-нибудь посторонний разгля-

дывал. Ну, а мама терпеть не могла фотографироваться и никогда фотографий не дарила. Она вручила мне — офицеру и члену партии — миниатюрную иконку покровителя всех моряков Николы Чудотворца. И наказала никогда с ней в морях не расставаться. И нынче эта иконка плавает со мной, хотя и побаиваешься то бдительного таможенника, а то и собственного первого помощника.

30 июня 1953 года я убыл для выполнения специального задания бесплацкартным вагоном из Мурманска, имея с собой портфель, в котором был бритвенный прибор, пара белья и подшивка старых «Огоньков», украденных с какого-то катера. Убыл, одетый во все летнее, без продаттестата, без денежного аттестата, без шинели, не сдав никому дела, имущество и обязанности.

Анекдотический срок выполнения специального задания — одни сутки — объяснялся тем, что на месте мне следовало сразу же явиться на некий спасатель<sup>1</sup>, заступить в должность штурмана и перегнать кораблик вокруг Кольского полуострова в родные пенаты. А командировочные деньги флотскому офицеру полагаются только за время пребывания на суше.

Со мной вместе ехал капитан-лейтенант, старше меня всего года на два, шатен с густой шевелюрой, высокого роста, жилистый и подвижной, глаза стальные, в правом на радужной оболочке — кусочек черного. Раньше я с ним никогда не встречался.

Когда оформляли документы, капитан-лейтенант вызывающе безмятежно напевал лихую песенку американских моряков с союзных конвоев:

Вызвал Джеймса адмирал,  
Джеймс Кеннеди!  
Вы не трус, как я слышал,  
Джеймс Кеннеди!  
Ценный груз доверен вам,  
Джеймс Кеннеди!  
В СССР свезти друзьям,  
Джеймс Кеннеди...

На тот момент отношения с бывшими союзниками очередной раз были аховыми, песенки их были не в моде, и я как-то неуклюже, но все же попробовал намекнуть об этом капитан-лейтенанту.

<sup>1</sup> Эти суденышки в дальнейшем я буду обозначать «СС» — спасательные суда. (На чем только военным морякам в те послевоенные годы не приходилось плавать!)

— Эту бравую песню написал Соломон Фогельсон,— сказал капитан-лейтенант.— Он еще автор стихов для музыкальной комедии советского композитора Соловьева-Седого «Подвески королевы». Теперь ты успокоился?

Я успокоился, но выпучил глаза, ибо мы десять лет распевали эту песню, твердо веруя в ее американское происхождение.

Вещей у капитан-лейтенанта было побольше, чем у меня: и чемодан, и шинель, а в кармане шинели затрепанный соблазнительный томик с «ятями».

Мы сидели друг против друга на жестких полках, поезд уносил в глубины Кольского полуострова, и надо было знакомиться. Для затравки я спросил у капитан-лейтенанта про старинную книжку в кармане его шинели. Обратился, конечно, на «вы» и, кажется, даже начав с уставного: «Разрешите обратиться, товарищ капитан-лейтенант?»

— Брось, зови меня Колей. Можешь даже на «ты». Фамилию запомнишь сразу: Дударкин-Крылов. Я правнук дедушки Крылова. Про лебедя, рака и щуку еще не забыл на службе? Прабаушка служила у баснописца кухаркой, а старик любил пошалить между баснями,— и капитан-лейтенант залился в приступе почти беззвучного смеха. А передохнув, закончил: — Пушкина-то хоть знаешь, лейтенант? «Собравшись в дорогу, вместо пирогов и телятины я хотел запастись книгою...» — и опять беззвучно засмеялся.

Своим тихим и лукавым весельем нравился мне Дударкин-Крылов с каждой минутой больше и больше.

Его книжка оказалась мемуарами графа Витте — довольно странная литература во глубине кольских руд. Каплёй (так для экономии звуков на флотах называют капитан-лейтенантов) заметил мой интерес к произведению графа Полусахалинского и подмигнул тем глазом, где была у него черненькая отметина.

— Слушай, лейтенант, сейчас внимательно. С намеком буду говорить. Когда Витте ехал в Америку подписывать мирный договор с японцами, то задержался на денек в Париже. Там в одном кафе-шантане президент Французской республики сказал ему, что России, вероятно, придется выплатить Японии контрибуцию — и в астрономическом масштабе, ибо война проиграна совершенно гениально. Витте хладнокровно ответил, что за все время существования Российской Империя никогда никому контрибуций не платила и платить не будет. На это

французский президент заметил, что, к сожалению, бывают мерзкие ситуации, при которых и такое делать приходится. Например, им, французам, пришлось раскошиться, когда боши подошли к Парижу. «Ну, вот,— ответил Витте,— и мы контрибуцию заплатим, когда самураи подойдут к Москве». Так вот, есть у меня, лейтенант, странное предчувствие, что нам с тобой предстоит пройти тот самый путь, который японцы не прошли. Правда, в обратном направлении.

— В каком году вы окончили училище и какое?— спросил я.

— Еще раз «вы» скажешь — не дам Витте читать. А демократизм мой проистекает из одного сказочного приключения. Назовем его «Золотая Рыбка», а эпиграфом возьмем: «Все по благу, все не так, вот где истый кавардак!» Училище закончил в прошлом году, артиллерист.

— И уже капитан-лейтенант?

— Сам до сих пор удивляюсь,— сказал Коля и рассказал следующее, время от времени заливаясь беззвучным хохотом.

Коренной москвич. Первый после училища офицерский отпуск проводил дома в столице. Где-то на Арбате из моряцкой солидарности высвободил из лап сухопутного патруля какого-то заблудшего старшину второй статьи. Когда опасность для старшины миновала, тот спросил у новиспеченного офицера фамилию и название флота, на котором Дударкину-Крылову предстояло служить. Затем, вежливо попрощавшись, заблудший старшина второй статьи загадочно сказал: «Дударкин, сегодня ты выпустил на свободу Золотую Рыбку!»

Назначен был правнук кухарки дедушки Крылова на гадчайшую должность — командиром мелкого зенитного подразделения эскадренного миноносца. На военно-морском языке — «командир пульно-вздульной группы»: масса подчиненного личного состава, то есть масса неприятностей за каждого загулявшего на берегу матросика, и никакой реальной возможности эффектно продемонстрировать начальству свои таланты. За полгода получил десяток взысканий. После чего приказом Главкома ему было досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. Поудивлялись, пообмывали, начальство продолжало лепить Коле взыскания еще щедрее. А через полгода приходит приказ о присвоении ему звания капитан-лейтенанта, хотя даже должность-то его такому званию не со-

ответствала. Тут уж не только начальство озадачилось и обозлилось, но и корешки стали отчуждаться — блату-ет варень без стыда и совести. Дударкин и сам не рад, и чувствует себя в ирреальности, от которой с ума сходят: нет у него нигде никакого блата и никакой руки. Вах! Получает письмо, подписанное «Золотая Рыбка». Заблудший старшина пишет из столицы, что, к сожалению, присвоить Коле капитана третьего ранга пока не может, так как это уже старший офицерский состав, а он, старшина, сидит в Москве писарем ВМС на младшем офицерском составе, и вставить фамилию Дударкина в списки очередного представления пока невозможно; но не все потеряно; и когда его, старшину, переведут за хорошую службу на старший офицерский состав, то он обещает довести Дударкина до капитана первого ранга за оптимально минимальный срок.

Приказы Главкома, как известно, не обсуждаются, исполняются беспрекословно, точно и в срок. И Дударкину подыскали должность, соответствующую званию.

— Отправили меня на «бессрочное исправление», как выразился кадровик,— сквозь беззвучный смех и посверливая меня не улыбочивыми стальными глазами, продолжал каплей рассказывать,— на плавбазу «Тютюнск» издания одна тысяча девятьсот пятого года, знаешь такую?

— Нет,— сказал я, ибо на Северном флоте такой плавбазы не было и нет. И, кроме того, я все никак не мог уловить: врет все это каплей или нет. Очень было правдоподобно, но и фантастично.

— Плохо, что не знаешь, лейтенант! Знаменитая база. Она простояла без движения восемь лет. И вот, с величайшими предосторожностями и бесконечными докладами о готовности к любому бою и походу, разрешили нам самостоятельное плавание — пять верст до девятионного полигона. И мы туда дошли! Правда, не обошлось без досадных мелочей. Так, например, у нас вдруг сама собой выпалила сорокапукалка, то есть, как понимаешь, сорокапятимиллиметровая зенитная пушка. Стрельнула она, когда какой-то разгильдяй начал возле нее прикуривать и чиркнул спичку, а боевой патрон в пушчонке, оказывается, оставался еще со времен Отечественной — забыли его тогда обратно вытащить. От удивления, что наша зачехленная уже восемь мирных лет сорокапукалка вдруг взяла да и выпалила по береговому посту СНИС, где вахтенные сигнальщики играли в козла, мы,

командиры, немного растерялись, и дальше плавбаза начала действовать самостоятельно. Врубила полный ход и понеслась с девиационного полигона в Баренцево море. Когда мы проносились мимо навигационного буйа, командир Гришка Бубенец наконец пришел в себя и молодецки скомандовал, чтобы буй зацепить и стать на него, как на рейдовую якорную бочку. Плавбаза зацепила буй и потащила его за шею, как гуся с колхозного рынка. В этот момент из океанского плавания вернулся крейсер, на борту которого находился комфлота. Вот эта встреча нам была уже совершенно лишней. В результате я и еду с тобой на какие-то диковинные плавсредства в порт Энск.

Дальше рассказывать Коля не смог, так как впал в очередной припадок беззвучного хохота, показав тем самым, что не является настоящим юмористом. Ибо последние, как широко известно, никогда над смешным не смеются, а, как правило, плачут.

— У тебя жена есть? — поинтересовался я.

— А! Тебя небось первая любовь мучает и лирика типа:

Лейтенант молодой и красивый  
Край родной на заре покидал,  
Быди волны спокойны в заливе,  
И над морем луч солнца сиял.

Такая лирика меня мучила, но я не собирался в этом признаваться.

— Лирики впереди не будет. Только если на уровне «Приди, приди, мой милый, с дубовой, пробивной силой». А жена есть, люблю ее. Сыну четыре с половиной. Как-то заболел, подлец, и говорит мне: «Ты у нас балаболка». А потом: «Я устал от тебя жить!» Женился еще на третьем курсе. А после того как мы на «Тютюнке» чуть не гробанулись, супруга ужасно испугалась, что без алиментов останется. И теперь, кажется, меня тоже полюбила. Ученая, работает в почтовом ящике. После многолетних исследований они открыли воду в арбузе. Но оказывается, вода бывает сорока разных видов. И Сталинскую премию им пока придержали. Сейчас супруга уточняет, какая именно вода в арбузе. А должность мою на отряде назовем для темноты так: «Военный советник». Теперь, если тебе, лейтенант, про меня все ясно, давай спать.

Ранним дождливым утром мы высадились на безлюдной станции Энской и зашлепали по грязи искать свои кораблики.

Стояли они тесной грудой в глухом уголке порта.

Шесть новеньких «СС», которых пригнали сюда с Балтики Беломоро-Балтийским каналом. Я пошел на № 4138, а правнук дедушки Крылова — на № 4139.

У трапа вахтенного не было. Я поднялся на палубу, прошел в надстройку и несколько раз крикнул: «Ау! Ау! Ау!»

Никто не откликнулся. Я поблагодарил бога за то, что знаю расположение судовых помещений, ибо именно подобный кораблик мы спасали полгода назад и я нормально на нем тонул, вцепившись в бортовой отличительный огонь.

Дверь командирской каюты была заперта. Я постучал. В двери щелкнул замок, потом она распахнулась, и на пороге возник мужчина в нижнем белье, с пистолетом «ТТ» в руке. Это оказался капитан-лейтенант Мерцалов, с которым мы были шапочно знакомы по совместной службе в отдельном дивизионе Аварийно-спасательной службы.

Я доложил, что назначен на «СС-4138» штурманом.

— Вам в предписании к кому приказано явиться? — спросил командир, пряча пистолет под подушку.

— К капитану первого ранга флаг-штурману Рабиновичу, товарищ командир!

— Вот к Рабиновичу и являйся, а потом стань на вахту к трапу, а то временные экипажи уехали, и я здесь один кукую. Какая-то сволочь уже пожарную лопату сперла.

Якова Борисовича Рабиновича, который в данный момент проживает в Ленинграде, руководит Обществом книголюбов, является владельцем лучшей в СССР личной морской библиотеки и всегда готов подтвердить каждое слово в этом рассказе, я нашел на флагманской «СС-4132».

Никогда и нигде больше не встречал флотского офицера с такой шикарной, адмиральской макаровой бородой. Нервно дернув себя за адмиральскую бороду, флаг-штурман спросил:

— Лейтенант, вы на своем корабле уже были?

— Так точно, был.

— Ну и, гм... как там Мерцалов? В полную сиську?

— Никак нет, товарищ капитан первого ранга! Как стеклышко! Только на борту нет ни одного матроса, и по тому одну пожарную лопату уже украли!

— Вы здесь плавали, лейтенант? — поинтересовался каперанг.

— Никак нет. Первый раз увижу Белое море и Онежский залив!

— Гм,— сказал Рабинович и задумался, посасывая клок своей адмиральской бороды.— Но на спасении рыболовного траулера «Пикша» в Кильдинской салме это вы были в должности штурмана?

— Так точно!

— Ну, я вас помню, помню еще на аварийной барже, когда она пыхнула голубым дымком... Это могло быть?

— Так точно!

Рабинович решительно выплюнул кончик бороды и сказал:

— Отправляйтесь на свой корабль. И постарайтесь ничему из того, что с вами может в ближайшем будущем случиться, не удивляться. Можете идти!

В малюсенькой, с иллюминатором над самой водой, темной и сырой каютке штурмана на «СС-4138» я, свято исполняя приказ-совет начальника АСС Блинова, сразу навел марафет и уют, повесив над столом вырванную из старого «Огонька» «Данаю» Рембрандта. Затем перешвырял в иллюминатор, в близкую воду, пустые лимонадные бутылки, оставшиеся от предыдущего хозяина каюты. Забортная вода была так близко, что бутылки и не плюхали.

Через час пришел Коля Дударкин и сквозь беззвучный смех сообщил, что я уже не штурман, а помощник командира «СС-4138».

Я ему не поверил и пошел к Мерцалову. Тот прорычал, что это действительно факт, а не реклама.

Я взял портфель с бритвенным прибором, парой белья и зубной щеткой и перебрался в каюту помощника, которая была расположена выше и выглядела повеселее. Там, свято исполняя приказ-наказ Блинова, навел уют, повесив над койкой «Маху раздетую» Гойи и перекидав за борт энное количество пустых бутылок из-под боржоми. Бутылки плюхали в мутную воду довольно гулко. Я добавил к ним целый ящик каких-то лекарств, которые оставались от бывшего хозяина, и задумался о том, что



следует делать помощнику командира, если никакого экипажа на корабле нет?

Камбуз, естественно, тоже не работал, а жрать хотелось уже ужасно. Когда хочется жрать, лучший выход — спать. И я прилег на койку, любуясь на «Маху раздетую».

Через часок опять пришел Дударкин-Крылов и под большим секретом сообщил, что поплывем мы вовсе не в Мурманск, а в Порт-Артур и вернемся к родным пенатам не раньше, нежели через несколько месяцев, если вообще вернемся: есть слухок, что всех нас оставят служить на Дальнем Востоке. Пока я пытался осмыслить услышанное, Коля добавил, что пришел приказ о назначении меня уже старшим помощником командира «СС-4138».

— Ты меня, подлец, начинаешь догонять: я до старпома год лез! — заметил Дударкин-Крылов.

И я понял, что, несмотря на смешки, говорит он и на сей раз правду.

И, свято исполняя приказ-наказ капитана I ранга Блинова, перебрался в каюту старпома, где навел уют, повесив на переборке «Бой при Синопе» Айвазовского и выбросив в иллюминатор энное количество пустых бутылок из-под кефира. Звук от их падения в каюте старпома уже почти не было слышно.

Коля оставил мне мемуары Витте, банку тресковой печени, пачку печенья и ушел. (По приказу ВМС № 58 от 30 июня 1949 года офицеры на Севере получали ежемесячно допнаек: 1200 граммов сливочного масла, 600 граммов печенья и 300 граммов рыбных консервов.)

Ночь я спал беспокойно.

Утром вызвал командир. Лик у Мерцалова тоже был утомленный. Командир сказал, что видел разные там Порт-Артуры и Дальние Востоки в гробу, что он не мальчишка, что у него трехстороннее воспаление легких, что он не такой дурак, как кое-кто в кадрах думает, что он выезжает в Североморск в Штаб флота, а пока есть приказ мне принять от него командование.

И я поставил автограф на следующем уникальном документе, копия которого сейчас перед моими глазами:

## АКТ

Нижеподписавшийся командир «СС-4138» капитан-лейтенант Мерцалов В. Н. по приказанию нач-ка АСС СФ капитана I ранга Блинова сдал корабль лейтенанту Конецкому В. В.

Техническое состояние корабля хорошее. С кораблем сдано все полностью имущество согласно ведомостей снабжения и приемочного акта от 14.06.1953 г. от перегонной команды, за исключением пожарной лопаты.

Шхиперское имущество, полученное в Ленинграде, на корабле полностью. Акт от 29.06.53 г. № 155 с картами и книгами тоже сдан.

Сдал: кап.-л-т Мерцалов.  
Принял: л-т Конецкий».

Сочинял всю эту чушь я, а не Мерцалов, ибо по причине трехстороннего воспаления легких он был в таком состоянии, что и расписался-то с трудом.

Но вот не помню: упомянул ли я пожарную лопату со скрытым черным юмором или на полном серьезе? Кажется, без всякого юмора. Когда принимаешь на лейтенантские плечи корабль водоизмещением 318 тонн, длиной 38 метров, мощность двигателя 400 сил, средняя осадка 2,5 метра, ширина 5 метров, скорость на полном ходу 10,5 узла, и когда ты до этого командовал лишь шестивесельными шлюпками, то юмор улетучивается.

Мерцалов тщательно спрятал во внутренний карман кителя акт с моим автографом и ушел на поезд.

Я перебрался в каюту командира и, тщательно исполняя приказ-наказ... ничего я исполнять не стал. Командирская каюта и так была шикарная — шагов десять по диагонали, ковер! Полог на койке! Шторы из темно-вишневого панбархата!

2.

Вся наша экспедиция  
Весь день бродила по лесу.  
Искала экспедиция  
Везде дорогу к полюсу.

*Винни-Пух*

На спасатель с полдороги был возвращен балтийский экипаж, который перегонял корабль в Энск. С одной

стороны, это было мое счастье и спасение — офицеры, матросы, мотористы уже знали корабль. С другой стороны, эти люди были обозлены донельзя: вместо питерских и кронштадтских родных квартир им предстояло идти на Дальний Восток. К тому же все офицеры были старше меня, командира, по званию. Старпом был старшим лейтенантом, а механик даже инженер-капитаном третьего ранга.

Вечером флагман великой армады капитан второго ранга Морянцева, мужчина маленький, но решительный, собрал комсостав на совещание.

Этакий своеобразный совет в Филях.

Морянцева объявил, что на подготовку к выходу в море нам дается десять часов. В 07.00 третьего июля мы снимаемся на Архангельск, где будет происходить дальнейшая подготовка к переходу через Арктику на ТОФ. Всякая связь с берегом прекращается. За употребление на корабле спиртных напитков — трибунал. Командиры кораблей сейчас же получают личное оружие. Никаких писем домой о нашем маршруте быть не должно.

На кителе Морянцева были колодки боевых орденов во вполне достаточном количестве.

Решительность командира — великолепная штука. Сразу сжались кулаки и челюсти — раз такое дело, пройдем и Арктику, и Тихий океан!

— Вам, лейтенант Конецкий, обеспечивающим назначая капитан-лейтенанта Дударкина-Крылова. До Архангельска вы пойдете головными. Одновременно, по представлению капитана первого ранга Рабиновича, ваш корабль назначается настоящим аварийно-спасательным на время всего перехода на Дальний Восток.

Я получил тяжеленный «ТТ» с полной обоймой патронов, расписался за него, затянул пояс потуже и почувствовал себя Нельсоном перед Трафальгаром. Коля засунул пистолет в чемоданчик. И мы с ним вышли в белые сумерки северной ночи.

На причале поджидал флаг-штурман Рабинович.

— Гм, Виктор Викторович, — сказал Яков Борисович и зачем-то надел очки. Может быть, затем, чтобы я лучше видел его насмешливые глаза. — Какие у вас есть поручения в штаб АСС?

Я попросил ускорить высылку продовольственного и денежного аттестатов.

— Обязательно,— пообещал Яков Борисович, наматывая на указательный палец клок макаровой бороды.— Счастливого плавания, товарищи офицеры. В душе я вам завидую. И вашей молодости, и предстоящему вам делу.

Замечательный миг моей жизни. В душе, сердце и печенке все пело:

Лейтенант, не забудь,  
Уходя в дальний путь,  
По морям проплывая вперед...

Дударкин шагнул рядом довольно угрюмо. Наконец сказал:

— Слушай, ты, конечно, свершил карьеру, которая даже мне не снилась, но...

— И без всяких Золотых Рыбок, Коля! — не удержался я.

— Между нами, девочками, Витя, у этих корабликов обшивка толщиной в ноготь, а к арктическим льдам они имеют такое же отношение, как я к турецкому султану,— заметил Дударкин.

Какая мелочь! Я не испытывал никаких страхов, готов был схватить за шкуру Полярную звезду и перекинуть ее из Малой Медведицы в Южный Крест.

— Мне не нравится твое жеребячье настроение. Морянец, конечно, боевой мужик, но неужели ты не понимаешь, зачем и почему он поставил тебя головным на переходе в Архангельск?

— Ну, поставил и поставил...

Он объездил заморские страны,  
Совершая свой дальний поход,  
Переплыл все моря-океаны,  
Видел пальмы и северный лед...

— Вся армада — балтийцы, а мы — североморцы. Только ты и я — североморцы. Балтфлот списал сюда тех, от кого желал избавиться. Они все обозлены перспективой службы на ДВК.

— Ну и черт с ними!..

И не раз он у женщин прелестных  
Мог остаться навеки в плену,  
Но шептал ему голос невесты...

— На наших лайбах допотопные механические лаги да паршивые магнитные компасы — и это все, Витенька.

А здесь и летом такие туманы, что их ножом режь. Если мы, головные, обыкновенно и нормально подсядем на какую-нибудь баночку, то следующие за нами в кильватер brave балтийцы на меляку уже не сядут. Товарищ Морянцева шлепнет якорь и будет смотреть интересное кино: как твой «СС-4138» сидит на меляке и какие действия предпринимает во спасение... И вообще, понимаешь ли, кто толком не знает, в какую гавань плывет, для того нет попутного ветра. Эту сентенцию не я изрек. Это изрек Сенека. Когда я своими словами пересказал древнего философа Морянцеву, он так обозлился, что откусил мне пуговицу на мундире. Учись, молодой и красивый лейтенант, в некоторых случаях любить ближнего, только пока он далеко...

Конечно, все это не дословно, но холодок ледяного душа, пролившегося тогда на мою восторженную душу, и сейчас ощущаю.

Есть азбучная истина: пока ты какой-то там помощник командира, собственный корабль кажется тебе маленьким, прямо-таки ничтожно маленьким по сравнению с разными там лайнерами или танкерами и ты за него, малютку, стесняешься. Но как только вознесло на мостик в роли командира, так сразу замухрышка роковым образом начинает увеличиваться в размерах. И у тебя руки дрожат со страху, и ты абсолютно не можешь понять, как это раньше твой гигант умещался у развалюхи причальника?

Мне было двадцать четыре года и двадцать восемь дней, когда я поднялся в рубку и кораблик под моими ногами стремительно начал удлиняться и расширяться — точь-в-точь дирижабль, который надувают газом на стапеле. Но, к сожалению, взлететь кораблик никуда не мог — он был рожден плавать, а не летать.

В глазах у меня десятирилось, и — ужас какой! — я осип. Надо: «Отдать кормовые!», а я хриплю: «О-о-о! ...ые!»

— Эй, пираты! — заорал правнук кухарки дедушки Крылова. — Слушайте сюда! Отходим на носовом шпринге! Отдать кормовые! А вы, товарищ командир, будьте любезны, если вас, конечно, не затруднит, пихните, когда доложат, что корма чиста, вот эту штучку на самый малый вперед! Штучка, кстати говоря, рукояткой машинного телеграфа называется — это-то вы еще не позабыли?.. Право на борт! Товарищ командир, если вас не за-

труднит, поставьте ручечку обратно на стоп, а теперь чуток назад ее пихните! Так! Очень хорошо, ребята! Отдать носовой! Товарищ командир! Разрешите доложить, что мы на данный момент куда-то поехали, но не забывайте, пожалуйста, что мы пока задним ходом едем... Стоп машина! Малый вперед! Цель в дырку из бухточки!

И мы поплыли.

Никаких вам гирокомпасов, радиопеленгаторов, радаров. Никаких прогнозов погоды на факсимильных картах. Ну, и, кроме Луны, тогда у Земли еще не было никаких других навигационных спутников.

Только мы вышли в залив, как флагман Морянцев вызвал меня по УКВ и сообщил, что у них на борту лишний матрос, и матрос этот принадлежит мне, и потому надо всем лечь в дрейф, а я должен подойти к нему, Морянцеву, и забрать этого чертового матроса к едрене фене. Фамилия матроса была Мухуддинов. Он был знатный чабан где-то в альпийских лугах, имел орден Красного Знамени за трудовую доблесть и смертельно ссорился с боцманом Чувилиным В. Д., который недвусмысленно пообещал спихнуть знаменитого чабана за борт, как только мы окажемся на достаточно глубоком месте. Такая перспектива Мухуддинова не устраивала, и он с моего судна удрал на флагманское.

Естественно, Морянцев еще поинтересовался тем, как, почему и каким образом я умудрился не проверить перед выходом в море наличие на борту экипажа.

— Давай, Витя, швартуйся к нему сам,— сказал Коля.— Начинать привыкать.

Итак, первая в жизни швартовка. И не к причалу, а к другому кораблю на открытой воде. Правда, штиль был мертвый, но все равно другой корабль — это вам не твердый неподвижный причал. И я крепко поцеловал Морянцева левой скулой в правую.

— Без тебя, Витяка, я умру, а с тобой тем более! — одобрил маневр Коля, покатываясь в очередном приступе беззвучного смеха.

Знаменитого чабана перекинули к нам на борт, и я довольно удачно отскочил от Морянцева полным задним...

Белая ночь — будь она трижды неладна! В белые ночи маяки не горят, и опознать их по световым характеристикам: проблесковый, группо-проблесковый и так далее — нет возможности. Надо маяки знать визуально

или сравнивать натуру с рисунком лощи, а ракурс лощманских изображений вечно не тот...

О! Сколько пота я стянул со лба в эти белые волны! И как занятю сейчас — пожилому и умудренному — рассматривать «Записную книжку штурмана» тех времен, которую я вел согласно правилам штурманской службы, но не совсем по правилам.

На первом развороте:

«Строй кильватера, дистанция между кораблями 2 кабельтова».

«Обязательно прочитать „Огни“ Чехова, 1888 г.».

«Веер перистых облаков и усиление зыби указывают на приближение шторма».

«В Тихом океане странная медно-красная окраска неба после заката и увеличивающаяся продолжительность сумерек — признак урагана».

«У Жижгинского маяка могут встретиться плоты в большом количестве — обязательно выставить впередсмотрящего».

«Рандеву, если все растеряются в тумане,— Куйский рейд».

На следующей странице, сразу после строгих «ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ШТУРМАНА», где указано: «З. К. Ш. является официальным служебным документом, по которому можно в любой момент проверить, откуда получены данные, послужившие для тех или иных расчетов», — следует такая моя официальная запись: «Лицо — серое, как истрепанная обложка книги. В конце рассказа он напьется».

Дальше идут уже серьезные расчеты.

До Архангельска доплыли нормально и отшвартовались в Соломбале.

«Соломбала, 15.07.1953 г. Здорово, дорогие ребятки! Я все-таки гремлю в направлении Камчатки. Ледовые прогнозы хорошие. Вообще настроение бодрое, но отсутствие шинели и кальсон немного угнетает мой флотский дух».

Сейчас принимаем на пароход годовые запасы продуктов и пр. Бедлам грандиозный...

Что умоляю сделать? В мой майдан уложить вещи, перечисленные на обороте. Майдан зачехлить, отвезти на вокзал и сдать проводнице какого-нибудь поезда, который идет из Мурманска в Архангельск. Проводнице объяснить, что по прибытии я ее встречу и она получит

семьдесят пять рублей за перевозку чемодана и шителли. Фамилию и номер проводницы записать — для устрашения.

Ребятки, сделайте это в день получения письма! Иначе мне хана.

Перечень шмоток: логарифмическая линейка (в центральном ящике каютного стола), справочники штурмана малого плавания, стаканчик для бритья, «Этюды по западному искусству» Алпатова и свисток (обязательно!). Он висит на иллюминаторе за занавеской. Все остальное барахло, особенно: кортик, облигации, оружейную карточку, книги — уложите в ящике над моей койкой и закройте на ключ. Пакет с тетрадами и письмами заверните получше и тоже уберите куда-нибудь подальше от глаз начальства.

Сообщите, пожалуйста, за кем числятся мои альпаковые штаны, канадка и сапоги. Не помню, за кораблем они или за мной? Свитер, который входит в этот спасательный комплект, будет возвращен, если я сам когда-нибудь вернусь.

Привет командиру, всем нашим матросикам. Спасайте меня, SOS! Жду телеграмму о высылке вещей.

Виктор».

«Уважаемая Любовь Дмитриевна! Здравствуйте!

Насчет Вашего сына могу сообщить, что в июле он находился в Архангельске. Дальнейшее пребывание его пока неизвестно. Куда, зачем, на чем он пойдет, тоже неизвестно. Если что узнаю, обязательно сообщу. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо, и в конце 1953 года он будет у вас дома.

ВРИО командира в/ч. Ст. л-т Басаргин».

Не думаю, чтобы это письмо сильно вдохновило мать и улучшило ее настроение, ибо как раз в те времена выяснилось, что комната, в которой я проживал в Ленинграде, оказывается, нам не принадлежит и ее изымают, ибо с апреля 1942 года (момента эвакуации из блокадного Ленинграда) я нигде никогда не был прописан.



## А К Т

Сего числа нами: капитаном-наставником Арктического пароходства капитаном Северного Мор. Пути 2 ранга Панфиловым, штурманом экспедиции капитаном 3 класса Мироновым, начальником Военно-Морской инспекции капитаном 3 ранга Терезниковым произведен осмотр кораблей отряда на предмет их перехода в Арктику.

Комиссия считает необходимым произвести следующие работы для обеспечения перехода: 1. На всех единицах изготовить и завести носовые браги из стального троса. 2. На аварийно-спасательном судне № 4138 (мое! — В. К.) иметь стальной буксирный трос длиной 250—300 метров, заведенный через траловые роульсы на лебедку. 3. Произвести корпусные работы по заварке иллюминаторов ниже главной палубы...»

Старомодность ощущаете? Давным-давно уже нет никаких «Капитанов Сев. Мор. Пути 2 ранга», нет и «Капитанов 3 класса».

Арктика только осталась прежней.

И вот я крутился среди браг, буксирных тросов и сварщиков, ибо командовал аварийно-спасательным кораблем! И гордыня распирала меня, и я сворачивал горы. Игра стоила свеч!

Горы я сворачивал до 28 июля — черный день, в который на корабль прибыл капитан III ранга Кравец с приказанием мне сдать, а ему принять «СС-4138». Таким образом, я сваливался обратно в замухристые штурмана. (Кравца выкопали аж на Черноморском флоте. Это был унылый тип с душой из растопыренных пальцев и солидным брюшком. И с этим типом мне пришлось идти первый раз в жизни в Арктику.)

В тот же черный день убывал из отряда капитан-лейтенант Дударкин-Крылов Н. Д. Он летел в Порт-Артур для подготовки там нашей встречи.

Два удара одновременно — какое зияющее сиротство!

На прощание он подарил мне книжку Витте, и мы обнялись за штабелем солоубальских досок, и я сказал Коле, что полюбил его как брата.

— А я тебя обожаю, как ласточку, улетающую осенью! — заверил меня правнук кухарки дедушки Крылова.

В Порт-Артур мы не дошли — сдали корабль во Владивостоке.

Последующие два года меня так швыряло на пространных от Дальнего Востока до Северного моря и от Северного моря до Петропавловска-на-Камчатке, что книжку Витте я, конечно, потерял. Однако фантастические секретные рапорты на мое имя Коли Дударкина сохранились.

«Сов.  
секретно.

Бывшему командиру „СС-4138“  
лейтенанту Конецкому В. В.  
Капитан-лейтенанта Дударкина Н. Д.

## АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Настоящим доношу до Вашего сведения, что секундомер 1931 года выпуска № 11 522 475 бис 4 потерял способность использоваться по назначению.

28 июля 1953 года стоявшим на вахте мною, капитан-лейтенантом Дударкиным, было совершено действие, повлекшее к непреднамеренной утрате секундомера № 11 522 475 бис 4. Дата последней проверки — май 1936 года. Суточный ход секундомера — в соответствии с амплитудой килевой качки.

В 14 часов 00 минут местного времени я навел цейсовский бинокль на стоявших на причале в порту Архангельск женщин приблизительно 1930 года рождения. Одна была ничего, но, показывая в сторону нашего корабля тупым предметом, нецензурно смеялась. Возмущенный таким ее поведением и длительным воздержанием, уже будучи на боевой службе в море в течение четырех дней, я совершил резкое движение вместе с биноклем, которое и привело к выпадению из кительного кармана измерительного прибора, который упал за борт, но в двух метрах от воды остановился, так как был мною привязан к шнурку, что согласовано с приказом начальника ГО СССР.

Между прочим, бинокль тоже упал за борт и утонул, но, поскольку он за кораблем не числится, списанию не подлежит. Попытка же извлечь секундомер за веревочку из-за борта не удалась, так как за него ухватился прыгнувший за биноклем матрос Курва Ф. Ф. и неумышленно оборвал его. Это привело к еще большему наклону моего тела, и из него (из кителя) в воду выпало:

1. Грузиков для карт — 08 штук.
2. Транспортиров — 02 штуки.
3. Звездный глобус.

Все это имущество я держал при себе, так как в сумку вахтенного офицера оно уже не влезало.

Спасая матроса Курву Ф. Ф., за борт пытался броситься боцман, старшина I статьи Чувилин В. Д. и при этом сбил проходившего мимо с пробой обеда матроса Мухуддинова. С подноса Мухуддинова за борт упало:

1. Чайный сервиз.
2. Вина тарного — 14 бутылок.
3. Столовая мелочь — 08 наименований.

Вся команда, сгрудившись на борту, создала опасный крен, что отрицательно повлияло на запасную мотопомпу. Мотопомпа сломала бак с десятью килограммами спирта-ректификата. От спирта, попавшего в ЗИП, вышли из строя:

1. Молотки разные — 25 штук.
2. Кусачки-бородавки — 08 штук.

Часы морские в металлическом корпусе упали на морские карты, и все это высыпалось на палубу и далее в ватервейс.

Судьба всех предметов аналогична судьбе секундомера.

Для спасения матроса Курвы Ф. Ф. за борт было выброшено несколько брезентовых рубах. Плавая на этом номенклатурном гидрографическом имуществе, ввиду отсутствия спасательного круга, матрос Курва Ф. Ф. свою фамилию полностью оправдал и все вещи утопил.

На основании изложенного прошу вышеуказанное имущество списать за государственный счет с лицевого счета нашей воинской части, а на виновных наложить различные взыскания, особенно на Курву Ф. Ф. ...

Счастливого плавания, Витя!»

Вероятно, за всю жизнь Чехов пошутил неудачно единжды. Послал издателю Марксу телеграмму с обещанием прожить не более семьдесят лет, а по договору гонорар за новые произведения Чехова постоянно возрастал и через сорок лет должен был составить около 2000 рублей за лист. Посчитав, что при благоприятных условиях писатель может строчить 30—50 листов в год, и помножив 2000 на 50, Маркс откинул лапти в глубоком обмороке. Впоследствии выяснилось, что шок Маркса

проистекал из чьих-то нашептываний, что в обычае русских писателей под конец своей деятельности сходить с ума и выпускать «переписку с друзьями» или переделывать Евангелие в таком роде, что цензура может запретить не только поданное произведение, но и самого подавателя.

Если бы не тот факт, что «переписку» издал Гоголь, баловался с Евангелием Толстой, а так опасно пошутил Чехов, то я бы все это дело отнес до себя и стал опасаться за здоровье директора издательства, ибо собираюсь рано или поздно напечатать даже свою переписку с правительством.

Переписывался я с Председателем Совета Министров СССР.

Дело шло о желании демобилизоваться из рядов Военно-Морских Сил. К 1955 году я твердо решил, что никаких войн в ближайшее столетие не ожидается, а тянуть военную лямку под безоблачным, мирным небом — занятие бессмысленное.

И Председатель Совета Министров СССР пошел мне навстречу — приказом министра обороны СССР я был уволен в запас ВМС.

Из этого следует, что уже в возрасте неполных двадцати шести лет я умел глаголом прожигать сердца очень даже высокопоставленных читателей.

## *МЕМОАРЫ ВОЕННОГО СОВЕТНИКА*

Все время мучает ощущение, что я ДОЛЖЕН. Что должен, кому — не очень-то ясно, но от этого не легче.

Ну, вот возьмем однокашников по Военно-морскому подготовительному училищу. Кого ни встретишь, обязательно вопрос: почему не написал о Подготовии? Встречаешь адмирала: почему не пишешь о военном флоте? Объясняешь, что писать о современном флоте — мука мученическая: замучает спецредактор. Не верят ребята, обижаются: зазнался! оторвался! замкнулся!

А ведь многие из однокашников действительно надедали героических дел и вывели наш военный флот в открытые океаны планеты.

Нижеследующее посвящаю своему первому командиру отделения — старшему матросу Володе Тимашову.

Для нас, салаг, служилые были кошмарным бедствием, ибо законы в училище были законами бурсы.

Володя Тимашов оказался исключением.

Он, например, никогда не щекотал нас засушенной кроличьей лапкой за ухом, когда ты стоишь в строю по команде «смирно» и не имеешь права ни шелохнуться, ни прыснуть, ни прошипеть чего-нибудь.

Засушенной лапкой кролика терроризировал нас старослужащий матрос Володька Желдин. Потом он стал главным тренером сборной СССР по баскетболу. Женской сборной! И я видел его по ТВ, когда наши мастодонтские девицы взяли золото на Московской олимпиаде. Вернее будет сказать не «наши», а Желдина девицы. Он, кстати, у любой из питомиц между ног пройдет, не пригибая головы.

Тренерские и юмористические способности Желдин развивал на нас: «Ты вот! Будешь бегать от меня до следующего столба! И обратно!» Или: «А ты вот! Будешь ползать по-пластунски от забора до обеда!»

Да, куда только не заносит моряков на суше!

Точно замечено, что флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для людей определенного вида, выталкивая их из себя, успевает, однако, дать им нечто такое, что потом помогает людям стать заметными на другом поприще, как бы оно далеко от флота ни отстояло. Ведь дальше женской баскетбольной сборной от флота разве что сайгаки в Каракумах...

Так вот, даже будучи командиром отделения, к которому я имел честь принадлежать, Володя Тимашов подчиненных кроличьей лапкой не щекотал. Потому и захотелось сейчас его вспомнить.

В июне 79-го года для лечения пародонтоза мне назначили курс дыхания кислородом под давлением. Десять сеансов по часу.

Старинные связи привели на кафедру физиологии аварийно-спасательных работ при соответствующей Клинике — есть и такое заведение в Ленинграде. Клиника находится в старинном здании, от которого пахнет Петром Великим. Стены толщиной в метр, модели прославившихся в боях кораблей; лекари в больших чинах — из-под халатов прорисовываются погоны, обязательные черные галстуки — и строги до лютой.

Любимой присказкой врача-майора, когда он закручивал винтовой стопор входного люка барокамеры, была: «Опоздавшим — кость!» Так что являться на процедуру приходилось с временным запасом.

Возле флигеля, где располагалась кафедра физиологии аварийно-спасательных работ, ранним утром клиентов встречали лаем десятка два подопытных собак, которые, как и в космос, шли в барокамерах первыми в чудовищные глубины океанов. Утром псов выводили из вольеров и привязывали к забору — так сказать, на физзарядку.

Здесь, возле лающих, радующихся утру и цепной прогулке собак, мы перекуривали, хотя, конечно, курить перед кислородным мероприятием запрещено.

Собаки были самые разнообразные — выловленные в городе бродяги. Хотя над ними ставили глубоководные опыты, выглядели псы хорошо, угнетенных среди них не было. И потому лай, и суета, и всякие собачьи безобразия радовали наши души. Привязывали псов с таким расчетом, чтобы они не покусали друг друга, — как на далеком острове Вайгач. И вспоминался Вайгач, и остров Жолса, и пес-аквалангист Анчар, с которым когда-то встречали Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта на «Нерее». Анчар сидел на цепи возле барокамеры. Неужели я когда-то был в кабинете капитана Кусто и разглядывал модель «Нерея» на его столе?.. Промелькнувшая жизнь — зияющее прошлое... Вот я и доказался до патетической литературщины: «промелькнувшая жизнь», «зияющее прошлое»!..

Когда вместо шприца, зонда, скальпеля видишь барокамеру, снятую с обыкновенного аварийно-спасательного корабля, то есть сооружение для убережения водолазов от кессонной болезни, это вызывает положительные эмоции. Некоторые штатские товарищи по первому разу проникают в барокамеру не без опасений. Но я в свое время провел в ней много часов, и многое забытое освежалось в памяти, когда перелезал круглый комингс, усаживался на клеенчатую койку, слышал скрип стопоров входного люка, потом утробный шипящий гул воздуха, накачиваемого в камеру компрессором, и глядел на манометр — дышать кислородом надо под давлением в одну избыточную атмосферу. Когда эта атмосфера накапливалась, снаружи следовала команда майора: «Надеть маски». Конечно, скучно сидеть целый час и ничего не делать — только дышать, глядя, как в такт дыханию опадает и вздувается мешок с кислородом. Но голова свежая, кажется, что с каждым глотком кислорода

хвори слабеют и скоро ты станешь пионером или даже октябренок...

Ну, как вы, вероятно, догадались, здесь я и встретил правнука дедушки Крылова. Но узнали мы друг друга только на третьем сеансе.

Сидит напротив в камере мужчина и умудряется читать книгу, даже имея на физиономии кислородную маску. Я как-то попробовал последовать его примеру, взял с собой чтиво, но ничего не получилось — полутьма, да и стекла у маски мутные.

Заинтересовался мужчиной, спрашиваю: что, мол, вас так увлекает, какой такой детектив?

— Пушкина детектив,— говорит.— Заместо пирогов и телятины. Жевать-то с резиной на морде еще пока не научился.

— Едрить твою мать! — восклицаю российское приветствие, обнаружив еще в его правом глазу черную запятаю.— Коля!

А он все меня не узнает — двадцать шесть лет прошло. Тут необходимо еще то объяснить, что военно-морские лекари прописали мне кислород под давлением только после того, как выломали передний зубной мост. И смахивал я на бабушку Ягу, а не на лейтенанта, когорый, молодой и красивый, край родной на заре покидал.

Ну, а Коля был не амбулаторным, а штатным больным этого заведения — госпитальные штаны короче воробьиного носа, куртка длиннее фрака — знакомая любому нашему страдальцу клоунская больничная униформа.

Принято говорить «седой как лунь». Но, во-первых, я не знаю, что такое «лунь». Во-вторых, от «луни» веет уже настоящей старостью, а нам недавно перевалило за полсотни. В-третьих, Коля имеет хотя и абсолютно седую, но густую и красивую шевелюру.

— Белое море, «СС-4138», мемуары Витте?! Помнишь?

— А, Витёк,— говорит он без всякого оживления или видимой радости.— Пойдем в садик, посидим возле морга, там уютное местечко есть — среди старых лип.

— Такая встреча! — говорю.— А ты даже и не удивляешься!

— А чего удивляться? Если бы я тебя в абортарии встретил, то удивился, а тут — полная закономерность,— и наконец-то залился своим беззвучным смехом.

— У тебя что? — спрашиваю, как все больные на свете.

— А, так, пустяки — ИШБ. А у тебя?

— Пасть. Пovyпадали зубки.

— Ну, здесь тебе живенько вшибут новые на старые места по штатному расписанию, если, конечно, блат есть. Читал я твои писания, читал, прости, только все это душистая вода, легкий аромат с модной яблочной нотой или мыло туалетное ГОСТ восемнадцать дробь триста двадцать шесть дробь семьдесят восемь, парфюмерно-косметический комбинат «Северное сияние». Пользуешься после бритья «Яблоневым цветом»?

— Нет.

— Шесть рублей жалко? Вот тут и сядем. Куришь?

— «Космос».

— Ну, давай я туда вместе с тобой слетаю. Свои в палате забыл.

Мы присели в прелестном уголке, в глухой пустынности, на каменные ступеньки под доской с пожарным инвентарем. В секторе нашего обзора было шестнадцать лип, их ветви изящно склонялись, напоминающая покатостью женские аристократические плечи. Среди клинических лип рос один дуб. Здесь было так безлюдно, что даже какая-то пчелка жужжала. И порхала над густой травой бабочка-капустница.

— Адмирал? — спросил я.

— Откуда догадался?

— А физиономия у тебя какая-то бабская. Я иногда замечаю, что у некоторых адмиралов часто почему-то так получается. От сидячей жизни, наверное, от малодвижения.

— Ну, движения мне хватало, а контр-адмирала получил при отставке. И ни разу орлов не надевал. Н-да, Витя, великие писали ямбом, хореем, амфибрахием и другими антабусами, а ты для своей белиберды изобрел вовсе новый стиль — гамус.

— Коля, брось ты мои писания. Надоели критики до смерти.

— А если я сам пишу?

— Что? — с ужасом поинтересовался я, ибо отставные флотоводцы заваливают бредовыми мемуарами.

— Мемуары.

— Н-да. Что, делать нечего? Сам-то еще служишь где-нибудь?

— Не служу, и делать, действительно, нечего.



— Ну, если твои мемуары такие же серьезные, как рапорты о пожарной лопате, то дай почитать. Если нет, лучше не надо.

— Увы, Витя, серьезные.

— А хоть помнишь свои двадцать два замечания по пожарной лопате на «СС-4138»?

— Что-то помню.

— Я их сохранил.

— Если будешь публиковать, отметь, что при повторной проверке лопаты мною, отставным контр-адмиралом Дударкиным-Крыловым, было обнаружено еще двадцать два замечания.

— Хорошо, Коля, отмечу.

— Могу подарить еще штук шестнадцать замечаний по дефектам пожарного лома. Этого вот,— он ткнул пальцем в пожарную доску над нами.— Тиснешь в «Труде». А мемуары у меня здесь. Взглянешь?

— О чем хоть они, Коля?

— Об израильско-египетской драке.

— Ты там был?

— Мед-пиво пил.

— Неси,— сказал я.— Только при зрителях, под взглядом живого автора читать не буду. Возьму домой.

Он принес. И с души моей упал камень, ибо было в мемуарах страничек десять.

— В таком случае, адмирал, можешь сидеть здесь и наблюдать за выражением моего лица. Вытерплю,— сказал я.— Но лучше все-таки читай своего Пушкина: про пироги и телятину.

«Первый раз смерть прошла рядом не в море, а на суше, когда он на джипе добирался к месту службы. Машину атаковал истребитель, все выскочили и залегли. И Советник подумал:

„Я боевой командир, а лежу вверх задом, уткнув рожу в песок, и боюсь поднять голову. Что получается?“

Он поднял голову и увидел точку над шоссе. Она увеличивалась стремительно и беззвучно. Истребитель опережал грохот своих пушек и пулеметов.

Спутники лежали тоже, уткнувшись лицами в пустыню.

Пустыня перехлестывала кое-где шоссе песочными языками-зализами, как снеговые заструги — гладкие льдины в Арктике. Снаряды дырявили песок и покрытие шоссе. Одиноко торчал на пустынном шоссе джип с рас-

пахнутыми дверцами. Всплески разрывов не дошли метров двадцать.

Самолет исчез.

— Кажется, он улетел,— сказал Советник.— И кажется, я все-таки поглядел ему в лоб, ребята.

Спутники зашевелились.

Все были целы.

Песок шуршал тихо, умиротворенно, по-приречному. Вдали просматривалось море. Шоссе было очень черное, шершавое и прямое.

Когда долго нет сильного ветра, песок в пустыне делается коричневатым — обгорает на солнце.

Потом-то он много видел разной смерти. И трупы египетских пехотинцев с касками на лицах. И трупы разведчиков и минеров, которые пошли опознавать тела погибших товарищей. Их обязательно требовалось опознать, потому что семьям погибших полагалась пенсия, а семьям пропавших без вести она не полагалась. И египтяне тщательно опознавали убитых. И на его глазах разведчики сняли каску с головы убитого и взлетели на воздух вместе с трупом. Под каской израильтяне оставили мину-сюрприз. Израильтяне знали, что арабы будут опознавать убитых.

После разведчиков опознавать пошли саперы. Двое саперов, правда, тоже подорвались. Мины были заложены с дьявольской хитростью.

Потом он видел смерть морячков с тральщика, погибших в бурунах среди кораллов,— обьеденные акулами тела. На стыке Суэцкого и Акабского заливов акул хватает. Особенно между Курдагой и Шармшейком.

Накануне Советник был на тральщике — принимали задачу. Задача была отработана прилично, на боевых постах был порядок, оружие египтяне держали в хорошем состоянии, и даже в кубриках и гальюнах было вполне прилично.

Тральщик дрался до последнего, но его зенитки не доставали четырех тысяч метров, на которых кружили, сменяя друг друга, французские «Миражи» и американские «Скайхоки». Берег не смог прикрыть тральщика. Корабль продержался около часа. Самолеты атаквали бомбами и «нурсами», но не очень удачно: кораблик даже успел сняться с якоря и пытался маневрировать по маленькой бухточке за островами Гевтон.

Первые месяцы он служил на берегу. Приходилось заниматься малознакомым делом: налаживать круговую

оборону базы. Тут оказалось, что никто из египтян толком стрелковым оружием не владеет. Это были матросы с подводных лодок. Позиции вокруг базы считались десантно-опасными, то есть передним краем. Отводить людей, чтобы отстрелять их на стрельбище, было нельзя. Даже четверть личного состава не имела права покидать окопы. Тогда он придумал поставить мишени прямо перед окопами. Уже через неделю люди стреляли из автоматов Калашникова вполне прилично.

После окончания рабочего дня советники, переводчики и два египтянина — шофер и вестовой — ехали ночевать в гостиницу. Гостиница в мирные времена была предназначена для богатых туристов-молодоженов. Теперь там не жил никто.

Гостиница стояла на берегу моря, которое, как и вечернее небо, было синим до терпкости. Один переводчик оказался украинцем, варил борщ из капусты, которую покупали на местном рынке. Потом пили кофе, слушали «Маяк», затем валились спать, каждый раз ожидая визита неприятельских командос. Советникам не полагалось никакого оружия. Если не считать оружием противогаз и каску. Очень не хотелось угодить в плен прямо из гостиницы для новобрачных. И потом привычному человеку без оружия как-то неприютно и голо.

Скоро обнаружилось, что оба араба — и шофер, и вестовой — ночью из номеров исчезают. Они от греха подальше залезали на крышу гостиницы и прятались там под баками для нагрева солнцем душевой воды. Оружие арабы на крышу не брали. И можно было с чистой совестью укладываться рядом с собой в кровать для новобрачных автоматов. Купили еще ножи. Двери баррикадировали диванами. Джип ставили с тыла под окна. И так спали. Потом наладилась связь с танкистами. Подполковник — отличный парень из Каира — сообщил, что хотя все машины выработали моторесурсы, а ЗИП не подвозят, но два танка в норме. Танкисты обещали, что если случится заваруха, то морячкам надо продержаться час, — а через час танкисты их выручат. Это было приятно знать.

Очень красиво было море и небо из окон гостиницы для новобрачных. Купальни пустые, заброшенные, и прибой на коралловых рифах.

Как-то ему показалось, что снова налет. Вдоль улицы под тенью глинобитных домиков промчался сгусток уп-

лотненного воздуха. Он прижался к ближайшей стенке, подумал, что уже вырабатывается автоматизм реакции. Осторожно выглянул, ожидая грохота разрывов. Но увидел двух лохматых египетских коз. Козы жевали бумажные пакеты из-под апельсинов. Они убежали бы, если бы действительно началась бомбежка. Почудилось. Это просто дохнуло море коротким шквалом, ветряная струя ударила сквозь узкую улочку, заголила редкие пальмы, взметнула редкую шерсть лохматых коз...

И вот потом снилась, уже дома, уже на мирной земле, эта сценка. Опять и опять чудилось приближение «Фантома», опять и опять он прижимался к теплой, шелушащейся стене египетского домишки, выглядывал из-за угла и видел лохматых коз, жующих серую бумагу.

Трижды он просился в разведку на катерах, в рейс на десантном корабле, в дозор на тральщике, но трижды старший Советник не разрешал, говоря, что они здесь не для того, чтобы показывать свой героизм: они здесь, чтобы помогать в оперативных вопросах, а не в тактических глупостях.

Затем он был наконец послан к своему дивизиону эскадренных миноносцев. Дивизиона, правда, не оказалось. Два из трех эскадренных миноносцев еще только должны были подойти на базу.

Эсминец стоял на якоре. Под бортом эсминца стоял ракетный катер и принимал топливо. Ближе лежал в дрейфе еще катер и десантный корабль.

— Отгоняй их от борта! — сказал Советник подсоветному командиру корабля. — И запиши в журнал, что я тебе советую отогнать катера. Они горят хуже спичек, colega.

— Сейчас они уходят, — сказал командир. — Уже шелестят. Видите, мистер Николай, они отдают концы.

Действительно, катер командира звена заканчивал принимать топливо. А сам командир звена торчал у себя в рубке и демонстративно не глядел в сторону Советника. Командир был старшим лейтенантом, по-нашему — три звездочки, а по-египетскому — капитан-лейтенант. Бог знает, откуда старлей происходил и где учился военно-морским наукам. Но неприязнь к советникам демонстрировал последовательно. Вообще-то катерники на всех флотах мира отличаются вздорным характером и обожают бунтовать против любого твердо установленного порядка. Все катерники в этом похожи. Неписанно-

правило еще с времен торпедных катеров, когда требовалось мужество особого качества — хулиганское, наглое, беспардонное: лезть на скорлупке, которую можно ногтем раздавить, прямо в пасть главному калибру хоть эсминца, хоть крейсера.

Катер отходил, переваливаясь легким корпусом на слабой зыби. Она хлюпала у него под днищем довольно добродушно. У катерников с зыбью особые отношения. Кто из военных моряков, кроме катерников, так с зыбями близок? Кто с ними на одной ноге? Никто, пожалуй...

К счастью, на катере не было боезапаса.

Он отошел не дальше кабельтова, когда прямо в него угодила ракета. Кораблик приподнялся над водой, как сормовские «метеоры», переломился в воздухе, и Советник увидел египетского нахального старшего лейтенанта. Взрывной волной того смахнуло с рубки, и командир звена катеров мелькнул на фоне желтого далекого берега. Он летел с раскинутыми руками, распятый на гребне взрывной волны.

Ракета из той же серии упала по левому борту эсминца метрах в ста. Советник отпрыгнул за броню носовой башни и присел на корточки. Тяжелый водопад густосоленой и теплой воды обрушился на эсминец. «Почему не было оповещения? Что смотрят радары дальнего обнаружения? Что творится! Потеряли корабль!»

Советник бежал на мостик, не бежал — прыгал сквозь трапы.

В боевой рубке еще никого не было, душный воздух под раскаленным на солнце металлом. Советник вдавил палец в кнопку колоколов громкого боя: «Боевая тревога!» И сразу поверх его пальца сунулся темный палец командира эсминца. И они в два пальца давили на ревун, а бомбы поднимали столбы воды со всех сторон старого корабля.

Командиры боевых частей четко докладывали о готовности к бою. И командир корабля, и его подчиненные пока вели себя отлично. Это по видимости. А проверить, что они докладывают и соответствуют ли их доклады действительности, было невозможно.

Переводчик Славка появился рядом. Он был в каске, ремешок туго подтягивал к каске толстый подбородок.

Восемь «Фантомов» атаковали старый, времен прошлой войны, английский эсминец, а берег пролопушил и все еще не открывал огонь.

Получился не бой, а расстрел. Но они все-таки отбивались двадцать семь минут. Корабль прыгал, и кренился, и мотался от взрывов, и главное было — удержаться за что-нибудь. Один раз Советник отпустил пиллорус, в который вцепился раньше, и сразу его так шарахнуло о сталь, что это показалось страшнее осколка в голову.

На двадцать седьмой минуте выпал перерыв. Советник сам рассчитал возможное время атаки «Фантомами». Он знал расстояние до их аэродрома. И рассчитал длительность атаки, исходя из количества горючего, затрат на взлет, полет, бомбежку, возврат и посадку: получилось около тридцати минут. И он даже немного удивился точности своих расчетов, когда на двадцать седьмой минуте выпала вдруг пауза. И тогда оценил себя со стороны, решил, что держался хорошо, и отметил, что командир эсминца тоже молодец, только иногда репетовал его, Советника, команды-советы не по-арабски, а прямо повторял по-русски.

В минутном перерыве между двумя атаками у Советника возникло острейшее, нестерпимое желание закурить. Но закурить он не успел.

— Слава! Репетуи его команды хотя бы по-английски, когда он забывается и орет по-русски! — сказал Советник переводчику. — Особенно в машину, командиру БЧ-V. Механик хоть что-то по-английски поймет, а по-русски-то полная чепуха получается!

И здесь опрокинулись все его расчеты. Опять посыпались бомбы и взвыли «нурсы».

Осколки перебили паровые магистрали, и корабль окутался горячим паром.

Зенитные орудия были снабжены электронаводкой. Когда перебивало кабеля, матросы поднимали стволы орудий плечами.

Корабль начал крениться на левый борт. Орудия правого борта задирались на этом крене и продолжали вести огонь, хотя куда они вели огонь — понятно не было.

Якорь-цепь оборвало, и корабль подрейфовал в море, когда «нурс» прошел эсминец под первой башней. «Нурс» взорвался под килем. Это был конец. Крен на левый борт достиг шестидесяти градусов. Эсминец выглядел ужасно — весь такелаж, радиоантенны были изорваны и метались в вихрях взрывных волн.

Командир приказал экипажу покидать корабль.

Покидали без паники.

Советник твердо решил, что уйдет последним — после египетского командира.

Когда уходил, увидел чопы, торчащие из дыр подводной части. «Значит, они боролись за живучесть! — мелькнуло. — Значит, командир БЧ-V докладывал правду...»

С воды раздавались крики. Спасательный плотик запутался фалинем в искореженном железе, и его тянуло за переворачивающимся кораблем. В плотике было человек двадцать.

И тогда Советник побежал по бровке палубы к плотику, чтобы обрезать фалинь. Нож запутался в кармане мокрых штанов, он долго рвал его под аккомпанемент воплей с плотика. И обрезал фалинь. Его звали прыгать. Но он все еще не видел переводчика. Славка не сошел на плотик с командиром эсминца. Тогда где он? И Советник заорал: «Славка, Славка!!»

Это было глупо — орать. Все перекрывал гул воды, заполняющей стальные емкости под ногами, шум пара и лязг срывающегося с палубы металла. Но на его крик из тьмы дверей надстройки, из прямоугольника дверей, почти параллельных воде, показался наконец Славка.

Переводчик не был моряком и заплутал в корабельных шхерах, по которым найти выход, когда стенки стали полом, трудно и для опытного человека.

Спасательных жилетов не было ни у Советника, ни у Славки. Плотик отнесло уже метров на пятьдесят. Советник еще раз оглянулся на задранные орудия первой башни. Людей вроде не оставалось. Оверкиль назрел до самой последней стадии. Это было как нарыв, который лопается не от скальпеля, а от одного только приближения его, от движения воздуха перед острием.

— В воду, Слава! — приказал Советник.

— Плавать не умею! — заорал Слава.

— Марш!

Переводчик плюхнулся за борт. Советник прыгнул за ним, прихватил за волосы и поплыл к плотику.

Эсинец продолжал лежать на воде. Он — редкий случай — погружался не носом и не кормой, а плашмя, боком.

Спасательный надувной плотик был полон людьми, водой и мазутом. Он был пробит осколками и пускал пузыри. Никто устройства плота не знал. Советник приказал отыскать мех для надува плота. Мех нашли, но не могли найти штуцер. Раненые молились и стонали.

До берега было около двух миль. Плотик дрейфовал в сторону открытого моря.

«Теперь мне все равно,— подумал Советник,— потому что ничем не оправдаешься. Корабль погиб. Потеряли корабль. И мне отвечать. Плохо мне будет. Ох плохо!»

— Ну, если акулы не сожрут, то теперь порядок!— сказал Славка.

— Акулы оглушены взрывами или разбежались от взрывов,— сказал Советник. И вспомнил, что с кораблем уходили на дно документы, фотоаппарат, кинокамера, снятые пленки, деньги и ботинки, которые он успел снять, прежде чем прыгать в воду. «Хорош я буду, явившись в штаб в носках...»

— Для начала, Коля, это просто замечательно,— сказал я даже без всякой паузы.— Попахивает Хемом, но про смерть и всякие такие африканские страсти у нас никто писать не умеет. А где продолжение?

— Больше ничего не получается.

— Когда это тебя угораздило?

— Шестнадцатого мая семидесятого на рейдовой стоянке Порт-Беренис в заливе Фаул-Бей, Красное море. Египтяне говорили, в этих местах зимовала английская королева в добрые старые времена.

— И как все-таки это произошло?

— Как? Первая атака — четыре «Фантома» по три захода, вторая атака — восемь «Фантомов» по два-три захода.

— Что за посудина?

— Эскадренный миноносец «Кагер», тип «Зет», заложен в сорок втором в Англии, вступил в строй в сорок четвертом.

— Боже! Этот драндулет мог ходить еще в союзных конвоях!

— Тактико-технические данные помнишь?

— Откуда? Я четверть века обхожу все боевые корабли за тридевять миль, а если есть возможность, то и дальше.

Коля ткнул пальцем в рапорт — читай, мол, сам.

«Водоизмещение 2555 тонн, длина 110 метров, ширина 8, осадка 5,2. Самый полный ход — 28 узлов при попутном ветре. Главный калибр — 4 орудия в отдельных башнях, 2 в носу, 2 в корме, 114 миллиметров, максимальный угол возвышения 55°. Два торпедных аппарата,



четырёхтрубные. Экипаж 22 офицера, 239 старшин и матросов...»

— А что там у вас было из твоей родной пульно-вздульной артиллерии? — все-таки поинтересовался я еще.

— Десятка полтора «Бофорсов».

— Чего это такое?

— Сорокамиллиметровые автоматы. Эсминец стоял в двух милях от берега под прикрытием зенитного артиллерийского полка — три батареи по шесть стволов в каждой, калибр 57 миллиметров.

— На чем стояли? На бочке или якорях?

— У меня же написано. На правом якоре. На клюзе сто метров. Я считал зенитноекрытие недостаточным и настойчиво требовал установить на ближней береговой косе дополнительную батарею или «стрелы»...

— Что такое «стрелы»?

— Ты сейчас откуда?

— Месяц назад пришел из Антарктиды.

— Я спрашиваю, откуда ты свалился?

— Из барокамеры, где дышал кислородом вместе с тобой.

— Ты действительно дурак или притворяешься?

— Действительно дурак, Коля.

— Этой штукой стреляют с рук вслед самолету, и она догоняет его. Имеются в виду низколетающие самолеты. Если противник знает, что у тебя «стрелы», он уже не пойдет на бреющем.

— Теперь понял. Что-то вроде фаустпатронов?

— Если тебе так нравится. Так вот. Потопили нас накануне того дня, когда у меня была назначена встреча с береговыми артиллеристами для совместного обследования места под добавочную батарею. Ладно, это уже те детали, которые и вспоминать тошно. Ты кораллы в стиральном порошке пробовал вываривать?

— Нет, их следует выдерживать в хлорке.

— Вот этого мы не знали. Красивая штука кораллы. И вообще там много было красивого. Из гостиницы был выход на смотровую площадку — ступеньки к самому морю, видны прибрежные лагуны — разного цвета, в зависимости от цвета кораллов и водорослей. Такие зеленые иногда, как наши зеленя, а с другой стороны по горизонту красные горы. По синему небу — очень четкая кромка красных гор. А при луне, ночью — горы там и ночью видны, — какая красота! И вся долина Нила — мы

из Кены питьевую воду в канистрах возили — тоже красота дивная. А с крыши гостиницы остров Шакер просматривался. Это на него ездили трупы опознавать. А за ним, за Шакером, южная оконечность Синайского полуострова. Там база израильская была Шармшейк. Правда, потом меня перебросили в Сафаджу — пыль, песок, маленький порт. Там английская база была, и англичане, когда уходили, ее взорвали.

— Коля, теперь постарайся рассказать мне все более или менее последовательно.

— В конце апреля эскадренный миноносец «Кагер» прибыл в Беренис из Бомбея, где проходил докование и ремонт с декабря прошлого года. Кораблю было приказано отработать первую задачу до конца мая в условиях рейдовой стоянки. Ну, что такое полгода ремонта в мирном, нейтральном порту, не тебе объяснять. Конечно, личный состав значительно утратил боевые навыки. Я в Александрии был, когда они в Беренис пришли. Пришли и в первую же ночь на родном рейде взорвались. На верхней палубе возле кормового торпедного аппарата у них была устроена стальная выгородка-кранец, где хранился запас взрыв-пакетов для отпугивания диверсангов-аквалангистов. Ну, знаешь, от сигареты запыливают фитиль и время от времени кидают за борт.

— А! — обрадовался я. — Капитан третьего ранга Кребс? Крейсер «Орджоникидзе» на рейде Портсмута? Лето пятьдесят четвертого?

— Молодец. Возьми конфетку. Вот весь этот запас у них и шарaxнул. Но, к счастью, в торпедных аппаратах не было торпед. Иначе мне так и не пришлось бы повоевать. Вырвало кусок палубы и повредило гидравлику рулевого управления. Плюс всего четыре покойника. Вообще, должен сказать, на войне как-то мало убивают. На гральце у Курдаги всего шесть человек погибло.

— Слушай, но ведь в семидесятом войны между Египтом и Израилем вроде бы не было, — сказал я, вспомнив рейсы на Сирию и Ливан в шестьдесят девятом году.

— Потому мы, советские советники, там и были, что войны не было. В случае официального начала боевых действий мы должны были немедленно покинуть страну, «ТЩ» израильяне потопили в отместку за диверсию египтян. А «Кагер» — тут история длиннее. Еще в шестьдесят седьмом египтяне потопили однотипный израиль-

ский эскадренный миноносец «Яффе». Тогда израильтяне покаялись отплатить тем же. Вот и отплатили.

— Все-таки что дальше-то с вами было?

— Дальше у меня только черновик рапорта,— сказал Коля и сунул мне пачку замусоленных бумажек с карандашным текстом.

Я вылупил на них глаза, потому что покрыты они были массой условных обозначений, формулами и сокращениями.

— Тут и Крачковский с Шумовским не разберется,— сказал я.— Читай сам.

— Пролет авиации противника к месту базирования кораблей в Беренисе происходил по трассе пролета международной гражданской авиации. Заход в атаку на корабль произведен внезапно, со стороны солнца, из-за отрогов гор. Это одной парой «Фантомов». И заход второй пары на контркурсах с другого борта через малый, двести минут, промежуток времени. Вторая атака производилась с барражирования по эллипсам на высоте шесть-семь тысяч метров, выход поочередно парами с интервалами двадцать-тридцать секунд, с крутого пикирования со стороны солнца. Сбрасывание бомб и пуски «нурсов» производились с высот четыре-пять тысяч метров. Бомбометание производилось с высокой точностью — отклонение от центра корабля на десять—восемьдесят метров. Отрыв бомб и звуки от них не слышны. Хорошо виден выход авиации из пикирования. Вой «нурсов» слышен хорошо, но с запозданием. Точность «нурсов» хорошая. Слышимость работы авиации затрудняется из-за огня своей артиллерии. Наблюдению за атакующими самолетами мешает яркое солнце с отсветами от поднятого ветром песка и потоки воды от взрывов бомб, которые заливают глаза и оптику.

— Пару слов о командире, Коля. Где он учился? Если ты не устал.

— Тридцать четыре года. Мальчишка замечательный. Знаешь, он плакал. Когда над эсминцем вспучило последний пузырь, и — тишина над морем — нет корабля. Был. И нет. И все звуки куда-то тоже исчезли. Ни стоны, ни крика в этот момент. Он и заплакал. Совсем не ругался. А потом, на берегу, уже когда прощались, вдруг попросил вернуть бинокль. Славка каску-то сбросил, когда мы с ним на задницах к бортовому килю съезжали от фальшборта, а бинокль так и остался у него на шее висеть. И Славка его решил на сувенир зажать. А коман-

дир попросил бинокль отдать — ничего больше от корабля для него не осталось. И вот когда взял бинокль, то второй раз заплакал. Ну, что хочешь? Мальчишка.

— Коля, какой же он мальчишка? Нам с тобой в пятьдесят третьем на десять лет меньше было.

— А вообще они юмористы.

— Кто?

— Арабы.

— Вот уж чего не замечал.

— Ну и дурак, если не замечал. Ахмед всего полгода у нас учился. Спрашиваю, как это ты умудрился так хорошо русский понимать? Я, объясняет, в Бомбее всего четыре месяца на ремонте стоял, а уже и на хинди могу лекцию по марксизму прочитать. Надо, говорит, побыстрее с девушками знакомиться. Они балаболки — за один вечер голову по самую ватерлинию словами набивают. Только, говорит, надо УШИ РАЗВЕШИВАТЬ, когда с девушками по набережному гуляешь. Умница. И деликатности необыкновенной. Суеверный только слишком.

— Все моряки суеверны.

— Да, конечно, но у каждой нации свои заскоки. Откуда я мог знать, что на египетские боевые корабли нельзя раковины приносить? Утром этого проклятого дня попросил катер. Поехали на косу Бенас. Купаться. Вода прозрачности необыкновенной. С маской плавал. Набрал пятнистых ракушек. Знаешь, эти — щель такая волнистая, как будто губы улыбаются. Ах какая красота! Маска-то еще увеличивает... Выгружаю улов в каюте. Ахмед заходит. Побелел весь, шепчет: «Кацура!» Это слово у них и матерное, и вроде как проклятие, и вроде нашего «компец», «карачун», «хана». Я сразу ракушки в иллюминатор вышвырнул. Только он успокоился, закурил с ним, воду со льдом пьем. Жара, будь она неладна, африканская. И вдруг кошка заорала. Четыре кошки было — крыс пугали. Орет где-то кошка истошным воплем. Он опять побелел: «Кацура, мистер Николай, беда будет!» А еще пятница — святой день у них, ну, не святой, а молебный. Потому израильтяне по пятницам обычно сюрпризы и подбрасывают...

— Большие крысы?

— Среднего такого размера, и не очень наглые. А вот тараканы! Это тебе не наши букашки. Черные, и с полладони. Я их больше мурен боялся. Так вот, орет где-то кошка и вся лавочка. Спустились в кают-компанию обе-

дать. Кошка все орет. Вижу, и командир, и другие офицеры так переживают, что есть не могут. А жратва замечательная — голуби, фаршированные рисом...

— Где же ты все-таки у них юмор обнаруживал?

— Слова умеют обыгрывать. У них много слов, которые произносятся одинаково, а обозначают вовсе разное. Забыл, как такие слова называются.

— Омонимы. Сам их вечно с синонимами путаю. А писание твое для начала просто замечательное, Коля. Не вру. Попахивает, как уже говорил, Хемом, но про смерть и всякое такое у нас никто писать не умеет.

— Чем попахивает?

— Хемингуэем.

— Это можно напечатать?

— Это будет напечатано обязательно, Коля. Рано или поздно. Потому что это правда. А правдивые рукописи не горят.

— В отличие от эсминцев и адмиралов, — сказал правнук кухарки дедушки Крылова и кинул под язык нитроглицерин. — Неужели это можно читать, Витька?

— Еще раз говорю: это хорошо.

— Терпеть не могу, когда в кино большие начальники сосут таблетки, — сказал Коля и кинул себе в пасть еще одну. — Что-то сильно прихватило. Слушай, отведика меня на отделение. Только тихонечко. И пускай мне в задницу поскорее вопьется животворная тонкая сталь...

И я поволол его под аристократической покатостью липовых ветвей.

На этот раз у Дударкина оказался не приступ ИШБ, а банальный инфаркт.

Потому что, увы, все это происходило не в кино. Хотя... хотя если наша жизнь и смерть хоть на что-то в искусстве смахивают, то это только в самых дрянных третьеразрядных фильмах.

## ОТХОД

Днем поехал в отдел кадров, взял выписку из приказа о назначении на судно — теплоход «Колымалес».

Штатный капитан — Василий Васильевич Миронов. Познакомился с ним и его женой Марией Петровной в парходском садике. Жена зовет мужа В. В. Так он чаще всего и будет — «В.В.».

Отход на Копенгаген и в Мурманск откладывается на неопределенное время.

В. В. отправил жену домой, а сам почему-то пошел ночевать на судно.

Я проводил Марию Петровну до такси. Она похожа на мужа — крупная, спокойная, негромкая, вздыхает точно-точно как В. В. Сказала мне:

— Что остается у жены моряка от всей жизни? Полиэтиленовый мешок с радиogramмами. Желтыми уже. Со всех пароходов. Вот в войну, эвакуированная, в Ярославской области почтальоном работала. Пятнадцать, шестнадцать лет было. Нет, похорошки мне не доверяли, их в сельсовете вручали... Треугольнички носила. И вот — вся жизнь только через радио да письма... Вот сколько знаю жен моряков — все святые! А про плохих я помнить не хочу и говорить не хочу...

Маринисты тоже не хотят говорить о плохих женах моряков, ибо не судите и не судимы будете. Слишком тяжелая, безнадежно сложная штука — прожить женский век без мужчины. Чтобы за такую тему взяться, для начала надо проштудировать курс физиологии, сексологии и психопатии на половой почве. А где после таких штудий искать жасминную романтику, утренние звезды и Пенелопу?..

А вот в Марии Петровне, вероятно, и искать.

Кристина Хойловская-Лискевич в одиночку обошла на яхте планету, чтобы сказать: «Я не могла бы быть женой моряка».

Теплоход «Колымалес» — лесовоз, построен в 1960 году в Гданьске, Польша. Скорость 14,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 36 суток, длина 124 метра, осадка в грузу 7 метров, водоизмещение полное 9915 тонн, мощность двигателя 4500 л. с., дальность плавания 10 440 миль.

Предполагаемая ротация: Ленинград — Копенгаген — Мурманск — Певек (Чукотка) — Игарка — Мурманск.

Как привычно и славно на старом лесовозе с ржавыми бортами и обмятыми шпангоутами. И весь экипаж тридцать три человека. После многолюдства пассажирского лайнера, битком набитого антарктическими зимовщиками, стюардессами, барменшами, официантками, кажется, что попал в мужскую монастырскую обитель.

В. В. на три года меня старше.

Юрий Иванович Ямкин старше на два. Но весь рейс на Антарктиду он заставлял меня играть роль рефлексирующего интеллигента.

На «Колымалесе» никто никакой роли мне, вероятно, навязывать не будет. Кроме той, которая положена по штату.

Не люблю людей с «тяжелым», «волевым» взглядом, «пронзительными» глазами. Знаю, такое вырабатывается иногда без всякого наигрыша у людей ответственных должностей, опасной работы, привыкших командовать. Но знаю и массу подобных людей, нормально обходящихся обыкновенными глазами и взглядом. И мне непонятно, почему, например, мемуаристы, пишущие о Твардовском, считают нужным подчеркнуть его острый, тяжелый, пронизывающий взгляд. Чего в этом хорошего? Ведь мог же обойтись обыкновенным взглядом Пушкин,— хотя тоже редактором толстого журнала был...

Марина Цветаева — через свое имя — всю жизнь была ушиблена морем. Море — сквозная тема ее раздумий с раннего детства и до смерти. Про капитана Скотта она говорит, что он грел свои предсмертные антарктические дневники тайным жаром.

Когда-нибудь выпишу все, что Цветаева сказала о море,— никто из самых прославленных маринистов столько не философствовал над водами. И так глубоко и неожиданно!

У штатного капитана «Колымалеса» взгляд человеческий и человечный.

Прежде чем ответить на вопрос, В. В. обыкновенно делает добродушно-коротко-скорбный вздох. Такой вздох очень крупного мужчины удивительно симпатичен. В момент такого своего вздоха капитан Миронов делается детски беззащитным — бери голыми руками. Но я бы этого никому не порекомендовал: кроме того железа, которое сидит в нем в виде осколков немецкой стали, там есть много еще жестких конструкций. Скорее всего и мне не миновать на эти конструкции напороться.

Путиловской закваски паренек. Воспитывался при этом заводе.

Да еще и родился на шпанистом Крестовском острове. Кажется, в мои и его отроческие годы самыми шпанисты-

ми пацанами считались лиговские и крестовские. А га-ванская шпана появилась уже позже.

Но слышали бы вы, с какой ласковостью этот прошедший войну и все штормовые моря человек рассказывает о голубях! И я сразу обогатился кое-чем новеньким. Например, что пойманного голубя, даже увезенного за тридевять земель, нельзя выпускать раньше двадцать пятого дня. А потом уже можно — он не удерет, потому что забыл дорогу к родной голубятне.

Про этих птиц разговор зашел потому, что на пути в Ленинград в Северном море на судно сели два голубя — красавцы, аристократы. Устали птички или заблудились. Матросы соорудили им из старой рыболовной сети замечательное жильё на правом борту возле спасательного вельбота.

В первую же ночь после прихода в родной Ленинград грузчики сеть вспороли, голубей украли вместе с мешочком риса, который хранился в специальном металлическом ящичке возле вольера.

Разоренное голубиное жильё выглядит грустно и даже как-то безнадежно. Веет от него неудачей.

В. В. мастерски имитирует прицелкиванья, свисты и подсвисты разных щеглов, дроздов, синиц — темный лес для меня. Умеет он это с детства. Ловил и держал дома птичек до самой войны. А любимого чижа выпустил только в октябре сорок первого. Чиж два дня сидел на ветке за окном и не улетал — был совсем ручным. Держал В. В. и снегирей. Одного невезучего снегиря схарчил кот, и В. В. кота наказал. Я удивился:

— Как возможно наказать кота?

— Вообще-то невозможно, — согласился В. В., — но я все-таки придумал. Очень уж хищный был кот. Я накрыл его медным тазом, в котором бабушка варенье варила. И лупил по тазу палкой. Все это я проделал в той комнате, где у меня жили птички. И после экзекуции кот и близко к той комнате не подходил.

— Может, он оглох?

— А черт его знает.

Потом В. В. по ассоциации вспомнил, что на заводе в котельных цехах, где был страшный грохот от клепки, работало около четырехсот глухонемых — им грохот был до лампочки. Проживали глухонемые рабочие над рестораном «Нарва» — ресторанный шум и музыка им тоже не мешали нормально спать. Но вот дети глухонемых, ко-



торые рождаются вполне нормальными, мучались. Это он знает потому, что у рабочих глухонемых служила толмач-переводчица, которая сама была дочерью глухонемых родителей...

Тут буфетчица Нина Михайловна, пожилая, молодящаяся, удивительно некрасивая, принесла капитанское постельное белье и одеяло.

В. В. посмотрел на одеяло недоверчиво:

— Нина Михайловна, я к своему привык, а вы мне вроде не мое стелите.

— Нет, это ваше, Василий Васильевич!

— Да? — недоверчиво тянет В. В. — Мое вроде потемнее было...

— Так теперь его постирали — вот оно и посветлее стало, — вразумительно объясняет Нина Михайловна.

Капитан недоверчиво щупает одеяло и почему-то даже нюхает его:

— Вроде мое, Нина Михайловна, и потолще было, а? Потяжелее?

— Так теперь его постирали, вот оно и полегше стало, — терпеливо объясняет Нина Михайловна.

— Ладно, стелите, — все еще с некоторым сомнением командует В. В.

Возникает начальник радиации Василий Иванович и заводит разговор о том, что его приглашает на шикарный контейнеровоз корешок-капитан, сулит всякие прелести и жаркие страны вместо Арктики.

В. В. внимательно слушает.

И с каждым словом радиста капитанский взгляд делается безмятежнее и человечнее — сей момент даст радисту вольную, но, опять вздохнув, вопрошает:

— Кто лучше вас умеет в Арктике эфир подслушивать? Никто, Василий Иванович, так не умеет. Так что, дорогой, считай, что ты внесен в инвентарную опись теплохода «Колымалес» навечно.

Радист обреченно кивает головой и спрашивает у меня:

— Это вы «Среди мифов и рифов» написали?

Не знаю, тесен ли мир, но то, что океан тесен, не вызывает сомнений, ибо здесь вдруг еще выясняется, что радистка Людмила Ивановна со старика «Челюскинца», которая вырезала из пенопласта зверушек для внука в разгар израильско-египетской войны, учительница нашего нынешнего начальника радиостанции.

Ну, как мне-то в таком случае всю дорогу не помнить прошлые рейсы и прошлые книги, если на каждом шагу встречаешься с прошлым вживе?

Занесенный навечно в инвентарную книгу теплохода «Колымалес» Василий Иванович прощается до завтра, ибо отход откладывается еще на сутки: порт никак не может догрузить судно и раскрепить груз, хотя были взяты самые социалистические из социалистических и самые развитые из развитых обязательства по обработке судов, следующих в Арктику по самым опережающим графикам при всех встречных и поперечных планах.

Около пяти вечера отправляюсь домой.

В пустой кают-компании возле пианино сидит в кресле — уютненько, с ногами, — буфетчица Нина Михайловна. (Я уже знаю, что ее прозвище Мандмузель.) И читает «Королеву Марго». Подняв глаза от книги и опустив ноги долу, говорит:

— А у нас в Выборге в прачечной двести штук судового белья украли, но прокуратура-дура дела не стала заводить.

— Переживем и это, Нина Михайловна.

— Я просто к тому, что голубей украли и белье — это примета плохая.

— Типун вам на язык.

Объясняю свое служебное положение.

Я дублер основного, штатного капитана, утвержденного на коллегии ММФ именно на такое-то судно. Я отвечаю за судовождение в те часы, которые своим приказом назначит мне Василий Васильевич.

Я имею диплом капитана дальнего плавания и теоретически имею право командовать любым судном в любой акватории Мирового океана. Но не практически, ибо для назначения на утвержденного капитана в заграничные плавания надо пройти курсы, экзамены, проверки, зачеты и оформления.

Короче говоря, я никогда не буду штатным капитаном на торговом флоте.

И правильно.

Море требует от человека жизни. Или отдавай судьбу, или оно не признает. Литература требует того же. Я выбрал второе.

Обратимся к словарю иностранных слов.

«ДУБЛЕР (фр.) — 1) тот, кто параллельно с кем-либо выполняет сходную, одинаковую работу; 2) актер заме-

няющий основного исполнителя роли в спектакле; 3) киноактер, воспроизводящий речевую часть звукового фильма на другом языке путем перевода, соответствующего слоговой артикуляции действующего лица; 4) лицо, заменяющее киноактера при исполнении сложных номеров или акробатических трюков».

Не удивляйтесь, что в словаре в кучу свалены капитаны и актеры. Судоводители в той или иной степени актеры. Командовать людьми без определенного лицедейства невозможно. Другое дело, что лицедейство на каком-то этапе может незаметно перейти в суть и сделаться неотторжимой маской.

Схожесть судоводителей и актеров еще в том, что ты всегда на виду, ибо ходовой мостик своего рода сцена и на тебя каждую секунду с предельной внимательностью глядят иногда десятки глаз.

Я такой судоводитель, что внимания на взгляды не обращаю, хотя болезненно не люблю, например, сидеть в президиуме или публично выступать. И если на мостике оказывается посторонний человек, то он мешает нормально работать, и я ловлю себя на чем-то актерском в поведении, и цепочка мелких чувствований может привести к крупным ошибкам. Думаю, такое свойственно не только мне, но и большинству людей, ежели они не профессиональные артисты. Отсюда категорическое правило: на ходовой мостик не допускаются зрители — даже если они большие морские начальники.

Наше актерское амплуа закреплено и в официальном документе, который называется «судовая роль», — это список экипажа, где указаны должность (роль), год рождения и номер паспорта моряка.

В судовой роли я традиционно стою вторым после дублируемого капитана. В случае болезни или смерти основного капитана дублер автоматически принимает на себя командование судном.

Все, что указано в словаре иностранных слов, мне в жизни и в этой книге предстоит делать, включая акробатические трюки. Кроме воспроизведения звуковой части В. В. и других героев на литературно-цензурном языке с «соответствующей слоговой артикуляцией». Соответствующая артикуляция не получится. Особенно когда дело дойдет до речевой части старшего механика Октавиана Эдуардовича. Ну что же, к такой ситуации русскому писателю не привыкать. Вечно он тащит из болота за хвост не грязного бегемота, а романтического Дон-Кихота. Такая

уж у нас работа. И потому — после весьма долгих раздумий — я поведу часть и вымышленный дневник. Если можно выдумывать рассказы, повести и романы, то почему нельзя выдумывать дневник? Пишут же одинокие, несчастные женщины сами себе письма? И наклеивают на конверты марки, и опускают в почтовые ящики, и ждут потом свои собственные письма, и читают их случайному встречному.

Отход отложили еще на сутки.

Такие многоступенчатые отходы удивительно дурно действуют на психику, хотя вроде бы надо радоваться: из девяти отложенных отходов разков пять-то удается и дома побывать. Но в том-то и дело. Попрощаешься, уйдешь или тебя проводят, и ты вздохнешь с облегчением, и домашние вздохнут с не меньшим — ан нет! — к вечеру опять являешься: «Здрате, я ваша тетя...» Омерзительно. Опять отходную пить? Вроде бы уже и не лезет, а делать что? Сидеть на пароходе и смотреть на разоренный голубиный вольер? Очень грустно-грустное впечатление он производит, и в каждом грузчике, ползающем по палубному грузу, чудится умхляющийся птичий вор. И ведь на ближайшем пакгаузе шумит целый птичий базар из самых разных голубей — лови не хочу. А докеры украли судовых.

Решил домой не идти и остался ночевать на судне.

Каюта маленькая, но с персональным гальюном — и то хлеб. Вообще-то она в случае необходимости служит медизолятором.

В грязном стакане рядом с графином остались от предыдущего жильца три высохшие розы. Почему-то мне не хочется их выкидывать.

Около полуночи взял у вахтенного помощника ключи, поднялся в ходовую рубку, чтобы без зрителей познакомиться с радиолокационной и другой аппаратурой.

На судне никаких работ — пусто и тихо. И весь порт будто вымер.

С верхотуры рубки вокруг видно далеко и привольно. Ночи еще белесые. В белесом свете спят многоэтажные дома Автова.

В пенале обнаружил бинокль. Обычно-то на стоянке третий штурман такие дорогие причиндалы прячет у себя в загашнике.

Редко удается смотреть на родной город в бинокль.

«Вчерашние заботы», из-за которых нынче я опять гремлю в Арктику, начинаются с истории о потерянной винтовке, гауптвахте, мичмане-тюремщике Бармалее и строительстве трамвайной линии от Красенького кладбища на Стрельну.

На Красеньком кладбище упокоил вскоре ближайшего друга — Юльку Филиппова.

Мой первый ближайший друг беспричинно и бессмысленно повесился. О его судьбе вспомню когда-нибудь не мимоходом, а тщательно и с полной выкладкой. Юлька вошел в меня, мою жизнь навсегда и сыграл в ней роль в высшей степени положительную и во многом решил мою будущую писательскую судьбу.

Вероятно, сам он погиб потому, что не научился отделять красоту от действительности в нужные моменты. А я этому все-таки подучился.

Юлька начинал в военном оркестре трубачом мальчишкой-блокадником. Он еще в Подготовительном училище начал приучать меня к чтению серьезных книг. Это с ним вместе мы путались в «Анти-Дюринге», самостоятельно и в полном объеме читали «Капитал»; под его нажимом я согласился поступить в сорок девятом году в университет на филфак, русское отделение, экстернат (в те времена был экстернат — великолепная, удобная форма учения, которая почему-то ныне начисто упразднена). Ну, из университета через год нас выгнали, хотя мы толкали экзамен за экзаменом с некоторым даже блеском, — вышел приказ министра обороны о том, что будущие офицеры не имеют права получать второе высшее образование. Вероятно, смысл приказа был в том, что офицеры, получившие второе образование, при первой трудности с легкой душой могут драпануть со службы: на гражданке-то у них профессия будет.

Многовато моих друзей ушло из жизни самовольно. И женщины так уходили. И светоносные русские девушки, выдумывающие сами себя, а потом напарывающиеся на будничные мифы и беспощадные рифы...

Двадцать девятое июля, День Военно-Морского Флота.

В 17.00 отшвартовались от причала № 41 Ленинградского торгового порта.

Перед нами отходит к Кронштадту мощная грозовая туча. В ней полыхают молнии и вызывают треск в рации.

Догоним мы тучу или нет? Лучше не догонять — в грозовом ливне видимость равна нулю, а впереди узкость.

Поздновато нынче уплываем. Прошлый раз на «Державино» День ВМФ мы с бессмертным Фомой Фомичом праздновали уже на Диксоне.

В. В. по радиотелефону связывается прямо из ходовой рубки с супругой.

Мария Петровна была на судне до самого закрытия границы. И потому я спрашиваю:

— Думаете, она уже успела добраться домой?

— Живем-то рядом с портом. А вы куда-нибудь будете звонить?

— Нет. И так слишком долгое прощание.

Грозовые разряды затрудняют разговор по радио, но слышно, как Мария Петровна просит супруга не скупились на радиogramмы.

Он это обещает, но как-то уклончиво. А вот, мол, звонить из Мурманска будет обязательно.

Мария Петровна раздражается, кричит раздельно:

— Мне!.. Нужны!.. Твои!.. Радиogramмы!.. Не!.. Ленись!..

Туча продолжает отступать перед нами. Вероятно, она уже над самым Кронштадтом.

Прошли нефтебаки и насыпную часть Морского канала.

Между свинцовой водой и свинцовым небом алыми язычками дразнятся буи, ограждающие правую сторону фарватера. Дождик прикапал — теплый, летний... «А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь... мелькнет в толпе знакомое лицо...»

Кажется, уплывать в грозу — хорошая примета.

— Какая у меня до Мурманска главная задача? — спрашиваю у В. В.

— Ваша задача — отдохнуть, отсыпаться, выкинуть из головы вчерашние заботы и последний рейс на Антарктиду. В Арктике лед другой. Он, конечно, без всяких там ужасных айсбергов, но, сами знаете, подлый, как те люди, которые наших голубей украли.

— Ну это уж вы слишком арктические льды причастили: Слава богу, они нас пока не слышат.

Молодой пижонистый лоцман демонстрирует историческую образованность, вычитывая из записной книжки:

— «А на море так безызвестно есть как человеку о своей смерти. Это Великий Петр сказал, когда велел в Кроншлоте на Котлин-острове иметь непрестанную ве-

ликую осторожность, ибо приморские крепости вельми разность имеют с теми, которые на сухом пути, ибо на сухом пути стоящие крепости всегда заранее могут о неприятельском приходе ведать, понеже довольно времени требуют войску маршировать, а на море так безызвестно есть как человеку о своей смерти. Ибо, получа ветер способный, без всякого ведения неприятель может внезапно прийти и все свое черное намерение исполнить, когда не готовых застанет...»

Над боевыми кораблями в Кронштадте реют флаги расцветивания — празднуют мой военно-морские корешки свой День.

Туча свалилась к Шепелевскому маяку, впереди чисто.

Чуть рябит волна в Маркизовой луже.

Сдали исторически образованного лоцмана — и полный ход!

В. В. вскоре после войны, когда он еще был матросом на каком-то чумазом буксире, встретился с капитаном-чудаком.

Историю про чудака рассказал мне не без назидательных ноток.

Капитан-чудак был стар. Прибыл старик на подмену постоянному капитану и обнаружил в каюте шкафы и рундуки, битком набитые грязным бельем, носками, рваными ботинками и прочим наследством нечистоплотного и невежливого человека.

Носки и стоптанные тапочки старик выкинул в иллюминатор, засоряя окружающую экологию. Белье выстирал собственноручно. Выстирал и свитеры. Залатал и подбил ботинки и сапоги. Все чистое и отглаженное уложил в полном порядке. И в конце многодневных трудов, которые, естественно, вызвали у экипажа любопытство, старик-чудак заявил: «Вот вернется — пусть ему стыдно станет, а пройденного пути от нас не отберешь!» Вроде все это звучало вполне бессмысленно, но привязалось. Сперва В. В. употреблял присказку в чисто юмористическом варианте. Например, прихлопнут человеку визу за давние грешки, — можно сказать: «Да-а, пройденного пути у нас не отберешь!» Затем присказка наполнилась валютным содержанием: за каждые сутки морского пути положена моряку валюта, и если даже в конце пути посадил он пароход на мель, то заработанную валюту обратно у него не отберешь. Ну, а к старости наполнились эти слова новым, глубоким, гордым, горьким, щемящим,

чем-то сладким, отчаянным, веселым, тоскливым... Обернись назад, взгляни в свой кильватерный след, вспомни: сколько чего за кормой осталось — это все твое, и никто того не отберет...

На утренний чай в кают-компанию В. В. является первым. Когда бы он ни лег, в семь тридцать входит в кают-компанию и занимает место во главе стола, где на отдельной тарелочке лежит перед капитаном алая, свежая, чистейшим образом вычищенная морковка. Эта морковка — ритуал, вещь в себе, тотем, тайна. Ни о каких витаминах В. В. не думал, когда завел такой порядок начала рабочего дня.

На белой скатерти, среди белых приборов, на белой тарелочке алая морковка выглядит безумно соблазнительно. А звонко-мелодичное разгрызание морковки вызывает по отношению к капитану «Кольмалеса» особый вид почтения и, чего греха таить, зависти к его зубам.

Да, В. В. любит ритуалы и ритуальность — малюсенькие ритуальчики, но исполняемые неукоснительно. Не знаю, что бы он сделал с поваром и буфетчицей, кабы однажды утром не обнаружил на тарелочке свою морковку. Думаю, повар полетел бы за борт, а буфетчица на манер ведьмы вылетела бы с парохода через трубу. И на это страшное преступление В. В. отважился бы с ясными глазами и чистой совестью.

После утреннего чая по старинной традиции поднимаемся на мостик.

Утреннее солнце прозрачно-чистое, без дымки.

Много попутных и встречных судов. Их следует обсудить, помыть им косточки:

— Какая у этого-то надстройка дурацкая, как у нашего «Варнемюнде»...

— «Ро-ро» прет — да-а, это не мы: они за один автомобиль или за тонну груза получают фрахт в сотню валютных рублей...

— А мы сколько, Василий Васильевич?

— Так мы, Виктор Викторович, обычно шель и дрова возим — по шесть рублей за тонну выходит...

— Что это там? Вроде как полоса шуги?

— Море цветет.

— Такое густое цветение? В конце июля?

— Вероятно, тут давно штиль стоит — вот и скопились цветочки. Прямо ход сбавляй...



— Чаек не видно...

— Скоро появятся....

В желудках покорно перевариваются по два крутых яйца и хлеб с маслом. Дымятся первые после утреннего чая сигареты — благолепие и душевный комфорт.

— Когда в Союзе цены на ковры повысили, так об этом в Бельгии раньше, чем у нас, узнали...

— И что?

— Приходим в Антверпен, а там ковры на восемьдесят процентов дороже. Мы: вы тут спятили, голубчики бельгийские?

— А они?

— Вы, говорят, сами спятили...

Спокойное плавание по летней Балтике.

МОСКВЫ 0410 РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО ВСЕМ СУДАМ СЕВЕРНОГО МОРЯ ОТ РАДИОСТАНЦИИ ЛАТЫНЬ ОБЭ ПОЛУЧЕНО СООБЩЕНИЕ ЧТО ПРОЛИВЕ БОЛЬШОЙ БЕЛЬТ С СУДНА УПАЛ ЗА БОРТ ЧЕЛОВЕК ТЧК ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ СУДАМ ПРОХОДЯЩИМ ЭТОМ РАЙОНЕ УСИЛИТЬ НАБЛЮДЕНИЕ ТЧК ИНФОРМИРУЙТЕ НАС =410 СМБС ЛАЗАРЕВ.

Пока мы доплывем до Северного моря, бедолага наверняка утонет, потому никаких мер предпринимать нам не следует. Однако на душе осадочек.

Надо вдуматься в выражение «приказал долго жить». Надо снять с этого выражения покров привычности, обнажить парадоксальность: ведь это же наказ долго жить тем, кто жить остается, а не информация о чьей-то смерти!

Ночью ветер зашел в правый борт, засифонило в окно моей каюты.

Около полудня встретили на контркурсе «Нерей». Даже не верится, что я работал на этом малюсеньком буксирчике и зимовал на нем возле набережной Лейтенанта Шмидта.

— «Нерей», я «Колымалес»! Откуда идете?..

Возвращаются от Канарских островов. Никого из знакомых на борту нет.

Пожелали друг другу счастливого плавания.

И разошлись как в море корабли.

Сон. Большой, очень длинный парусный корабль. Входим в узкость. Вероятно, норвежские шхеры. Оглядываюсь — корму заносит, ибо бизань парусит. Командую вахтенному помощнику: «Травить гика-шкоты бизани! Сами не видите?!» Как только потравили гика-шкоты и бизань легла под ветер, проснулся. Проанализировал поступки — все правильно!

Возможно, парусник приснился потому, что намереваясь устроил большую стирку. На парусниках же курсантов часто заставляли стирать то робу, то паруса, то мыть палубу. Да и мое мокрое белье, которое сохло в каюте, на сквозняке парусило.

Баркентины, бригантины и барки будут плавать в океанах всегда. Ибо паруса никогда не забудут про ветры, а ветры никогда не забудут о парусах...

Уже в первые часы знакомства выяснилось, что весь командный состав перекрещивал пути с Фомой Фомичом Фомичевым.

Помполит расказал, как попал к Фомичу на подмену и потом две недели не мог вырвать у него денежный аттестат... Второй помощник Митрофан Митрофанович, который был вторым же на «Комилесе», когда я с Фомичом возглавляли «Державино», покатился со смеху, вспомнив, как мы становились на якорь в Певеке. Механик отлично знает про то, как Фомич посетил в Париже Лувр. Ну, и так далее. В результате безо всякой натуги в обиход на судне прочно въехало-вошло добавочное предложение: «Как сказал бы Фома Фомич...» К примеру. Паримся в бане. Забился шпигат. Кому-то надо чистить. Раздается: «Тут, как, значить, сказал бы Фома Фомич, кишка, значить, не так прохудилась, как, значить, закупорилась. Кто брюки последним снял, тот, значить, пушай туда первым и лезет, в шпигат этот подлый!»

Фома Фомич последний перед пенсией рейд делал на «Колымалесе». В. В. с ним знаком «семьями». Когда Фомич оформил уже пенсию, то в разговоре сообщил, что у него есть дача. «Почему же я раньше не знал? — спросил В. В. — У тебя она недавно?» — «Семнадцать лет», — скромно сказал Фома Фомич. «Чего ж ты мне раньше-то не говорил?» — «А зачем мне, значить, размножать, значить, черную зависть у вас у всех?» — вопросом на вопрос ответил Фомич.

В предпенсионном рейсе с Фомой плавал наш нынешний радист. Фомич пробился на подмену на «Колыма-

лес», так как его «Державино» погнали в Арктику. Пришли на «Колымалесе» в Роттердам, радист уже опечатал радиорубку, но капитан потребовал срочную связь с пароходством, чтобы пожаловаться на какой-то роттердамский непорядок. Радист — приказ капитана! — сделал связь. А Фомичу из пароходства — бах: «Следуйте в Мурманск!» — «Как?! Мы на Италию должны!» — «Следуйте!» Фомич решил подождать в Роттердаме письменного подтверждения приказа. Подтвердили. Плывут они на Мурманск, и Фомич каждые сутки отправляет в пароходство радиограммы: «Кровяное давление 280 на 220 зпт головные боли», «Давление 290 на 240 зпт боли голове отсутствуют». По приходе в Мурманск его списали — и с концами, на пенсию.

Давление и пульс Фоме Фомичу измерял старший помощник, ибо врача не было. Фомич вызывал старпома на мостик, и там — при всех свидетелях — ему и намерили морячки двести восемьдесят на двести двадцать. Эту фантастику он и зафуговал в эфир.

Проходим Гельголанд. Штиль.

Старший механик с древнеримским именем Октавиан обладает колоритной способностью систематически ломать или вывихивать себе руки и ноги. Прodelывает он это во сне.

В 02.20 я был разбужен непонятным грохотом, а затем басовитым ором капитана. Оказалось, что стармех с такой силой ударил ногой в переборку, за которой спит В. В., что мастер проснулся и выскочил из каюты на разведку в трусах.

Утром стармех приковылял на завтрак с палкой. Правая нога у него была в жесткой, с лубком, повязке. Дело в том, что он серьезно занимался джиу-джитсу, а всю жизнь ему снятся драки. И вот в этих зефирных драках он наносит противникам ужасающие удары ногами и руками. Если сокрушительный удар приходится в стальную переборку, то драка заканчивается травмой.

Октавиан Эдуардович утверждает, что человека ни разу в жизни не ударил.

Он круглый сирота. Родители пропали в войну. Древнеримское имя придумал себе сам, ибо в детдоме любил преподавательницу истории. Из сибирского детдома трижды бегал в Москву и на фронт. В Москву — искать родителей. Ему казалось, что мать жива и просто его бросила. Казалось ему правильно. Уже после войны

он раскопал мать в... Польше. Она вышла замуж за польского офицера. История какая-то темная. Когда уже после войны Октавиан встретился с матерью, от нее узнал, что отец тоже жив. Усыновляться Октавиан не стал. И разговаривать на эту тему дальше не захотел.

Палка, на которую стармех опирается после ночной драки с переборкой, мемориальная, подарок матросов. На палке выжжены миниатюры, показывающие этапы будущей жизни Октавиана Эдуардовича, если он не отучится от джину-джитсу. Вот старший механик на одной ноге — другая напрочь отломалась, и он бережно прижимает ее к груди. Вот он уже без обеих ног. Вот он на тележке для инвалидов, которая на маленьких колесиках-роликах: отталкивается руками от подстилающей поверхности. Вот он отталкивается уже только одной рукой. Вот он отталкивается... Простите, что остается у мужчины, когда нет уже ни ног, ни рук?.. Вот этим самым и отталкивается Октавиан Эдуардович. А вот он этим же местом и тормозит, когда тележка покатила под гору. Дальше написано по-английски: «The End!»

Очень талантливый самородок выжигал миниатюры. И потому показывать палку существам слабого пола лучше не будем.

Любимая присказка механика: «Конь любит ласку, а машина — смазку».

Инвалидов войны он называет самострелами. Курсантов-практикантов, которые явились на борт в Ленинграде после сильной драки, презрительно обозвал бойломом. А в обычной обстановке он называет их декадентами.

Десятилетний Октавиан тонул в речке Клязьме — упал с моста. Развилась гидрофобия. Полтора года не подходил к воде. На двенадцатый год рождения Октавиан сколотил из ящиков плот и заставил себя проплыть по реке под тем мостом, с которого упал. И страх пропал, и он почувствовал себя птицей. В юности пытался поступить в летное училище, но был очень дохлый и медкомиссии не прошел. Пытался поступить в мореходку на судоводительский, не прошел по конкурсу, ибо был очень туп и сер. Попал на механический факультет. В судовождении разбирается прямо-таки профессионально и большую часть свободного времени проводит на мостике.

Первый раз женился фиктивным браком на такой же, как и сам, детдомовской сироте. Она была неизлечимо больна — костный туберкулез. Женился из жалости и чтобы «иметь якорь», то есть родственника на берегу,

без такого «якоря» визу для заграничного плавания не давали. Честно отмучился с несчастной женщиной десять лет — пока она не умерла. Теперь женат вторично и растит маленького сына — одноклассника внучки Василия Васильевича. Капитан мне это и рассказал, закончив новеллу словами о том, что никто пути пройденного от нас не отберет...

У моей пишущей машинки очень отяжелели клавиши — тугие стали. Костенеет старушка. Ведь ей уже не меньше тридцати четырех лет — немецкая, трофейная еще, для ротных канцелярий машинка, под бомбежками кувыркалась, на первый гонорар ее купил. И вот уже ногти болят от железных клавиш, но какое-то суеверие не разрешает перейти на новенькую машинку, которая давно скучает под диваном.

Вибрации на полном ходу такие сильные, что «Эрику» тошнит прямо на меня и она закусывает ленту, как порывистый конек уздечку.

— Не смей безобразничать старушка!..

Прочитал у Нодара Думбадзе: «Я искал свободы и потому избрал смех». Я бы рад ему следовать. Но ныне знаю — и знаю твердо, что не мы выбираем смех в любой момент или в любой ситуации, а он, увы, нас выбирает или нет. И если нет, то дело твое табак. Насильно мил смеху не будешь. Кажется, он послал меня к черту, этот легкомысленный приятель. Вернись, дружище, ну что тебе стоит?!

## *ДАВНЯЯ ДРАМА В ПРОЛИВЕ ФЛИНТ*

Про пиратов Флинта ничего не будет. Дело происходило в территориальных водах Швеции, которую Петр радикально отучил от всяких пиратств и научил миролюбию и нейтралитету. Помните украинскую песенку: «Ворскла — ричка невеличка, тече здавна, дуже славно, не водою, а вийною, де швед полиг головою?»

14 мая 1959 года танкер «Фридрих Энгельс» снялся из украинской Одессы в шведский порт Лимхамн с полным грузом мазута — 10 929 т. Танкер имел длину 140 м (улица Зодчего Росси — 220 м).

Капитан — Вотяков Иван Николаевич, капитан дальнего плавания, 32 лет. Старпом — штурман дальнего

плавания, 29 лет. Второй помощник — штурман дальнего плавания, 26 лет. Судно новенькое — два года с постройки.

Молодой капитан поставил службу так, что штурманы во время несения ходовых вахт кроме наблюдения за горизонтом только фиксировали позицию судна, не пытаясь анализировать пройденный путь и предстоящее плавание. Когда капитан присутствовал на мостике, он не поручал ни одному из штурманов, даже старшему, управлять танкером при расхождении со встречными судами. Были случаи, когда капитан часами не допускал штурманов к навигационной карте: он болезненно реагировал на любые замечания по вопросам, связанным с судовождением. В результате штурманы замкнулись и не проявляли инициативы.

Обстановочка! Представьте этих молодых людей за общей трапезой в кают-компани — как они хлебают щи, не поднимая глаз от тарелок.

Никто из штурманов, даже старший, не знал пути, которым капитан Вотяков намеревался вести танкер в порт Лимхамн, а потому не могли обнаружить и предупредить неправильные действия и ошибки капитана.

На переходе через Черное и Средиземное моря, Атлантический океан и Английский канал курс судна проходил по обычным морским путям, имелось достаточное количество определений места.

После выхода из Дуврского пролива в Северное море капитан принял решение следовать дальше через Кильский канал. В соответствии с этим судно придерживалось прибрежного минного фарватера. (После окончания войны всего четырнадцать лет.)

27 мая теплоход подошел к плавучему маяку «Эльба I», принял лоцмана и последовал по реке Эльбе. На подходе к якорной стоянке «К-рейд I» у Брунсбюттель Ког танкер на малом ходу левым бортом сел на мель. Во время прилива, частично переместив груз из второго левого танка в первый правый, судно самостоятельно снялось с мели и переменило место якорной стоянки. О посадке на мель капитан Вотяков пароходство не информировал.

28 мая в 14.09 танкер вышел из канала в Кильскую бухту и в 17.42 миновал траверз маяка Фемарнбельт. После этого стало очевидным намерение капитана следовать в порт назначения проливом Зунд.

При дальнейшем плавании курсы располагались по объявленным минным фарватерам. Место судна определялось регулярно с использованием всех навигационных и радиолокационных средств.

29 мая в 00.00 на вахту заступил второй штурман Дружинин и матрос первого класса Василенко. Установленный капитаном порядок несения ходовой вахты не дал второму штурману возможности ознакомиться с районом плавания в период вахты, так как лоция проливов и карты подхода к порту назначения находились в каюте капитана.

(Здесь возникает подозрение, что огромным судном, в чреве которого 11 000 тонн мазута — двести-триста железнодорожных цистерн, — командует сумасшедший человек: почему он прячет несекретные лоции и карты непосредственных подходов к порту назначения у себя в каюте?)

С нуля часов Вотяков находился на мостике и сам осуществлял судовождение.

В 03.20 определили место по двум пеленгам: по маяку Дрогден и огню буя Лильгрунд. Через три минуты прошли траверз буя Лильгрунд в расстоянии 1 кабельтова, оставив его с правого борта. Еще через две минуты начали поворот на курс  $49^\circ$  — на середину прохода Флинт. Здесь второй штурман Дружинин в присутствии свидетеля — вахтенного матроса Василенко — сказал капитану, что глубины прохода Флинт меньше осадки судна.

(Самая глухая ночь, в рубке темно, но, вероятно, второй штурман так побледнел, когда позволил себе такое замечание, что его лицо можно было рассмотреть во всех подробностях и в темноте.)

Капитан ответил, что сейчас прилив, а потому проход возможен.

И второй штурман (скорее всего демонстративно и в нарушение законов судовождения) даже не включил эхолот на мелководье. Хотя отлично знал, что в Балтийском море и Балтийских проливах вообще нет ни приливов, ни отливов — Луна даже в сизигию натягивает здесь один-два сантиметра. На Балтике бывают только ветровые нагоны или сгоны уровня воды.

К этому моменту танкер имел осадку: нос — 8,3 м, корма — 8,75 м. Осадка на полном ходу судна увеличивается. Танкер шел полным. Осадка его была не меньше 9 метров, а глубины в проходе Флинт — 7,1 метра.

В 03.26 теплоход наскочил на подводное препятствие. Машина была застопорена, но только еще через минуту — в 03.27 танкер остановился. Были повреждены грузовые танки № 3, 4, 5, 7, а также грузовое помповое отделение, носовой коффердам и диптанк. Эти повреждения привели к утечке груза, о чем свидетельствовали пятна мазута на поверхности воды. Для спасения груза капитан Вотяков решил частично перепустить груз мазута из поврежденных в порожние танки № 1 и 8, чтобы создать воздушную подушку в поврежденных танках и не допустить дальнейшей утечки.

Всеми спасательными операциями, которые были разумными, своевременными и эффективными, с момента аварии и до прибытия спасательного судна «Голиаф» руководил сам Вотяков, а затем, после подписания контракта о спасении 30 мая 1959 года, капитан спасательного судна «Голиаф» Шацкий.

31 мая капитан Вотяков Иван Николаевич отправил радиограмму начальнику Черноморского пароходства, в которой полностью признал свою вину за происшедшую аварию. Отправив это РДО, капитан покончил самоубийством, утопившись под бортом судна. Дабы не возникло подозрений о его бегстве на близкий шведский берег, Вотяков, привязав к шее звено якорной цепи, закрепил на себе пеньковый трос, конец которого оставил на борту, а в каюте оставил записку, в которой указал номер шпангоута, возле которого его тело следовало вытащить.

Дальнейшие работы по снятию танкера с мели осуществляли спасательное судно «Голиаф», буксирный пароход «Карел», танкер «Очаков» и шведский лихтер «Инджегер Рейтер».

Всего было спасено 10 168 тонн мазута из общего количества 10 929 тонн, имевшихся на борту к началу рейса. Потеря груза составила 761 тонну (в том числе около 160 тонн мертвого остатка в танках теплохода). Убытки по грузу, таким образом, оказались просто чепуховыми.

Этой аварией я интересуюсь двадцать лет.

Нынче миновали поворот к проходу Флинт и место посадки «Фридриха Энгельса» первого августа. Штиль, ясность, голубизна. До Копенгагена, куда будем заходить для получения механического имущества, рукой подать.

Обмысливаю эту давнюю драму в тысячный раз и вдруг ловлю себя на том, что забыл фамилию капитана танкера. Спрашиваю В. В.:



— Агарю «Фридриха Энгельса» помните?

— Конечно. Я на «Андижане» был. Мы на «Энгельс» Вениамина Исаича Факторовича везли. Он здесь потом спасательные работы возглавлял. А чего вы?

— Фамилию несчастного капитана забыл.

— Вотяков. Я его труп своими руками в бочки из-под бензина укладывал. Сварили две бочки и туда засунули. И в Ленинград отвезли. Но самое сложное оказалось вытащить тело из воды. Воскресенье как раз было. Вокруг сотня шведских да датских яхточек и моторок шастает. Интересно же на аварийное судно поглазеть. Людишек хлебом не корми, дай на чужое горе полюбоваться. Тем более советский пароход на мели сидит — кремлевские тайны. Жарят из фотоаппаратов со всех сторон. Невозможно же на их глазах утопленника вытаскивать. И так во всех европейских газетах фотографии танкера и подписи аршинными буквами: «ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА НА МЕЛИ». Убытки-то, в общем, сравнительно незначительные, времена уже помягчили — ну разжаловали бы его, дали пару лет условно. Никак не могут наши начальники понять, что без особой нужды не следует называть суда именами великих людей. Ведь какая добавочная психическая нагрузка, когда у тебя под ногами «Сталин» или «Молотов»!

— А в чем корень-то драмы?

— Ну, посчитал неправильно прилив с высотой в два метра на полной воде, какой-то прочерк в таблице за ноль глубин принял... И лоцмана для прохода Флинт не взял. Лоцпроводка здесь не обязательна, но он-то первый раз шел. Любой из лоцманов отказался бы вести судно с осадкой девять метров через семиметровые глубины.

— Я не про это, Василий Васильевич. Я про психологию. Почему до самого подхода к Дрогдену он прятал в каюте лощи и карты от штурманов? Ясно же, что сумасшедший. И Шацкий с «Голиафа» так считал.

— Нет. Какой он сумасшедший? У меня при плавании во льдах есть главный принцип: «Упрямся — разберемся». А он еще молод был слишком. Уперся, а времени в себе разобраться уже не было... Вы поэта Поженяна знаете?

— Знаю.

— У него есть стихотворение. «Не правы всегда капитаны, всегда виноват капитан». Давайте сменим материю. Хотите, про чижа расскажу? Был у меня чиж

необыкновенной верности и ума. А вообще-то они глупые...

Я вернул В. В. к Вотякову, к моей уверенности в том, что тот был сумасшедшим. В послевоенные времена аварийные капитаны получали обычно на всю катушку, или вышку, или пятнадцать лет, потому что всем одинаково шили злостное вредительство, но ни одного случая самоубийства среди спасенных капитанов я не знаю.

Тогда В. В., которому про аварии в тот момент явно говорить не хотелось, свершил свой китовый вздох-выдох и рассказал, как в конце сороковых, матросом, влип в переделку на пароходе «Козлов» в Индийском океане. Пароход был грузовой, в трюмах оборудовали нары и везли во Владивосток сто человек курсантов мореходной школы — сэкономили на железнодорожных билетах. И вылетели на риф. Несколько пробоин. Капитан сразу как-то скис. Под командованием старпома успешно заделывали дырки, начали откачку, сползли с камней, повеселели. Пока люди работали, капитан пошел в корму, разделся, сложил одежду на кнехте, сверху фуражку — и утопился. А риф-то на карте отмечен не был, и вина его была маленькая, если вообще была.

Дальше вода вдруг пошла сквозь уголь — из угольного бункера в котельное отделение, а котлы огнетрубные. Покинули пароход. Вельботы и плотики перегружены; хорошо, штиль был мертвый. Подскочил «Смольный», никто из мальчишек-курсантов не погиб. «Смольный» довольно долго дождался, пока «Козлов» взорвется и окончательно утонет. Тогда погудели оставшемуся там капитану и ушли.

В. В. рассказал это безмятежно — пережитое давно превратилось в забытое кино. А когда вдруг вспомнил деталь: помпы и генераторы умудрились работать в затопленном помещении, то обрадовался этой детали — как старого друга встретил.

— А про Вотякова вот что еще скажу... Митрофан Митрофанович, паром видите?

— Да. Как только от причала начали мачты двигаться, так и засек, Василий Васильевич...

— Мы на маневренном уже?

— Да. Машину предупредили час назад.

— Ну и хорошо. Давайте средний. Чего-то лоцбот запаздывает. Так вот, Виктор Викторович, был у меня щегл, который точно знал, когда ему надо будет поме-

реть. Нашел птенца в саду на даче, когда дочке было еще пять лет. Гуляли с ней, и собака маму щегленка спугнула с гнезда. Я птенца взял, выкормил, я умею с ними. Звал его просто Щегл. Десять лет живет и в ус не дуется. Потом в мое отсутствие отравился коноплей. Ее надо кипятком ошпаривать, чтобы нежелательную ядовитость уничтожить. Ослеп Щегл. Что со слепой птицей делать? Понес я его в поликлинику водников, к окулистке, которая на каждой медкомиссии мне тонну крови портит, знаете ее, наверное, евреечка с усами. Объяснил, что дружок старый у меня ослеп. Она внимательно отнеслась, без смешков. Консилиум собрали, но ничего придумать не смогли. Убивать надо или там усыплять. А он, Щегл, поет себе и поет — это слепой! Никаких переживаний, только еще больше меня начал к собаке ревновать. Чуть ее поглажу, Щегл носом по прутьям клетки взад-вперед — тра-та-та! Думал я, думал: что со слепой птицей делать? А пусть живет, если ей так хочется. Пел чудесно. Каждую ноту — в сердце. Все сроки прошли, а он живет. Дочка подросла и замуж собралась. И за три дня до свадьбы дочери Щегл умер. Всего прожил пятнадцать лет, восемь месяцев и шестнадцать суток. Дочка, надо сказать, как-то смущалась перед женихом, что папа все еще в мальчишестве пребывает, голубей гоняет и слепого щегла нянчит. И вот Щегл убрался в самое время. Похоронил я его в банке из-под английского чая. Знаете, такие красивые банки — индианки в ярких нарядах танцуют... Ссыпал я в банку песочек из клетки, корм, который остался. Положил слепого певца в поильничек, — он к старости усох, маленький стал — точь-в-точь как добрые старички усыхают. Ну, и закопал в саду. Теперь к нему на могилку внучку вожу, и мы там с ней песни поем. Я внучку больше дочки люблю. Так вышло. Митрофан Митрофанович, лоцбот видите? Тогда давайте малый, а я спущусь форму облачу. Поглядите тут, Виктор Викторович, пообвыкайте.

Второй помощник вышел на вахту тоже в форме. И чувствовал я себя перед приходом в Копенгаген не совсем удобно. Нет у меня формы. Есть дома, но старая. И я ее с собой не взял. А В. В. на все швартовки одевается в форму и требует того же от помощников. На переходе морем капитан носит разбитые и разношенные до тапочного состояния ботинки и штатский серенький пиджачок. Форму на швартовки В. В. надевает не для того, чтобы выглядеть внушительнее, а из уважения к ходовому

мостику. Такими прямыми и старомодными словами он мне это и объяснил еще в Ленинграде.

Тогда же я записал такое его рассуждение о старости и молодости. Записано оно моими словами, ибо к манере его говорения я еще не привык и своеобразие словаря как-то даже еще не улавливаю, но не станешь же с собой по морям магнитофон таскать и включать его тайком под столом — сразу за стукача сочтут.

Говорил он приблизительно так:

— Я — человек среднего для мужчины возраста. Если взять молодость, то и она любит рассуждать на отвлеченные темы. Правда, не для аргументации своих дурацких каких-нибудь поступков, а так — в общем плане: о революции всемирной и прочее. Молодость хочет показать всем и каждому встречному, что она уже взрослая и знает о жизни и смерти не меньше старших. Старость тоже любит рассуждать до полной болтливости. Она боится не успеть высказать то, что успела продумать и узнать. Кроме того, старость раздражается на самомнение молодости и потому болтает еще больше и категоричнее. Серединность, к которой я имею честь принадлежать, умеет слушать и мотать на ус, если она не полная дура. Серединности необходимы и экспромтность молодости, и опыт старости в специальных вопросах или в общении с людьми. И потому серединность выглядит терпимой, но это — ложное впечатление. В душе серединность одинаково издевательски снисходительно относится как к молодости, так и к старости. Говорят, серединность — самое производительное время в человеческой жизни. И если хотите, самое дрянное, потому что самое приспособленческое. Если уж вовсе честно, то мое, воевавшее, поколение — самое приспособленческое за всю историю России. Потому у нас и такие славные детки народились. Вот потому я открыто и говорю: с волками жить — по-волчьи выть. А Октавиан Эдуардович, например, с утра до ночи гусей дразнит. Имею в данном случае в виду его вечные анекдоты и помполита. А знаете, по какому меню он питается?

— Откуда мне знать. Я у вас без году неделя.

— Есть у него сиамский кот. Зовут Багирой. Привередлив хуже принцессы. По вторникам курицу ему подай, по пятницам сырого окуня. Иначе ничего жрать не будет. И стармех точно по его меню живет. В длинных рейсах я за него серьезно опасаться начинаю, как бы с голodu не помер, су-у-кин сын!..

Про стармеха узнал от Нины Михайловны, которую Октавиан называет только Мандмузелью, еще такой штрих. Спит Октавиан без всяких матрацев, на листе го-лой трехслойной фанеры, под простыней. Производить уборку в своей каюте запрещает категорически: делает только сам. А нет для женщины ничего более раздражи-тельного, нежели не пустить ее куда-либо. Запрети жен-щине делать приборку на твоём письменном столе — она наизнанку вывернется, но махнет тряпкой по всем твоим бумагам в обязательном порядке. Это форма женского самоутверждения: я, мол, должна быть посвящена во все интимы, и мне должно быть все доступно. А ежели ста-нешь возле стола на стражу и для бдительности еще очки наденешь, то она, женщина, тварь полосатая, такого тебе в отместку на кухне потом наприбирает, что и святых не-куда будет выносить. И в силу всего вышеизложенного Нина Михайловна глубоко старшим механиком обижена и возмущена.

Сказать буфетчице, что я тоже прошу ее не прибирать каюту, у меня ни мужества, ни воли не хватило.

На берег в Копенгагене я не пошел, хотя раньше тут не был. Надоели мне границы. Ни Эльсиноры, ни Гам-леты мне не нужны, и берег турецкий и Африка мне не нужна,— так пели в одной популярной песенке середин-ных времен моей жизни. Надоело мне табунное шатание по магазинам, сексуальные журналы и танталовы му-ки — тратить валюту или не тратить? Покупать-то я ро-ковым образом ничего не умею. И на родине не умею, и в Африке. Но из опыта знаю, что ежели так вот не сой-дешь на берег в заграничье, то потом казнить начина-ешь: хорош, мол, литератор! Нужно глядеть на ихние язвы, нужно впитывать впечатления: а вдруг я бы там такое увидал, что сразу — за месяц — «Игрок» надик-туется? Или — в крайнем случае — «Вешние воды»? Ах, Иван Сергеевич, ах, Джемма, Джемма...

И вот, чтобы не казнить, вспомнил, что в Копенга-гене был — просидели три часа в аэропорту, когда не принимал Париж. Первый и последний раз тогда меня отправили за границу по гуманитарной линии и в разви-тую страну. Руководителем был писатель из воевавших. Молчать на пресс-конференциях умеет замечательно. И потому последние годы из заграничья почти не вылезает. В делегации был еще Семен Кирсанов. Он к старости стал бесстрашен и весело, намеренно болтлив — в шуст-

рой и талантливой болтливости легко топил все коварные вопросы интервьюеров. К концу выступления Семена Исааковича и он сам и коварные газетчики забывали, с чего вообще-то начали. И потому все каверзы ему были по плечу. Отвечая на сложные вопросы нашего бытия, Кирсанов расхаживал по помещению, непрерывно и быстро курил сигарету за сигаретой и стряхивал пепел на всё и всех вокруг, без различия чинов, званий, святости места; гениально разыгрывал гения, который так увлечен темой, что выключился из реальной действительности,— обаятельное хулиганство и в жизни и в стихах. Это он выломал в гостиничном номере биде и выставил его в коридор: надоело ему биде возле самого изголовья,— поселили нас в дрянном отеле, в бывших, так сказать, меблированных комнатах.

Как быстро и старательно мы забываем умерших. И сами смерти боимся до смерти, и говорить о ней много — плохой тон, потому что тогда уменьшается наш исторический оптимизм. Смерть бяка, потому что все ставит на свои места. А этого как раз и не надо для социального оптимизма.

Кирсанов — самый живой мужчина из всех литераторов, встреченных за жизнь.

К самолету в Москве он явился с элегантной заграничной сумкой типа мехов от гармонии. В багаж ее не сдал. Я помог поэту поднять сумку по трапу, решив, что в ней книги,— такая сумка была тяжелая. Да и поэт объяснил, что там у него сувениры, а в Париже много друзей и каждый чего-то ждет.

Сели мы рядом. Он меня к окну пропустил, а сам устроился у прохода, в котором и поставил сумку-гармонь. В гардеробе он ее тоже не оставил. Теперь я уже окончательно решил, что в сумке драгоценные фолианты.

Я Кирсанова первый раз видел, а про то, что он это написал такую щемящую, насквозь морскую, с запахами Одессы, мечтательную и ностальгическую песню, вовсе не знал: «Есть море, в котором я плыл и тонул... Есть воздух, которым я в детстве вздохнул и вдоволь не смог надыхаться... Родная земля, где мой друг молодой лежал, обжигаемый болью...»

Взлетели. Первый вираж — самолет на курс ложится. Крен. Дифферент на корму. Сумка опрокидывается, и по бесконечному проходу лайнера, завихряясь вокруг прелестных ножек буклетных стюардесс, покатались в корму сотни, а то и больше «мерзавчиков» — стограммовых бу-

тылочек «Столичной». Сумка его была завязана небрежно, то есть поэтически.

Прелестные стюардессы со строгими лицами ловили бутылочки, вытаскивали их из-под кресел и несли хозяйну. Я бы в таком положении помер бы или от страха, или от стыда, ибо терпеть не могу обращать на себя лишнее внимание. Но, оказалось, смущения Семен Исаакович не испытывал с отрочества. Первая новелла, которую он рассказал, засовывая «мерзавчики» обратно в сумку и по карманам, была о потере им невинности. Мальчишкой бежал к индейцам. Почему-то сразу после посещения Одесской гимназии императором Николаем II. В Батум добрался зайцем в трюме парохода. Заночевал в публичном доме. Там его со скуки или от безработицы соблазнила проститутка... Судьба сводила его и с Витте, и со Сталиным! Черт те стулья. Потом посыпал стихи. Читал замечательно. Из «Дельфиниады», где герой — старый дельфин. Я просил про море. И он сразу откликнулся:

У мачты стоит капитан...  
Он судно проводит,  
прибою  
грозя...

Хрипел и часто откашливался — у него был рак горла. Опухоль вырезали в Париже и при пособничестве Арагона сделали искусственную гортань. Ни одной жалобы за всю поездку. В Копенгагене купил маленькому сыну десятк игрушечных автомобильчиков. Очень небольшого роста, но крепыш по складу.

«Искать новую форму без крупных проигрышей — нельзя. Иногда и жизнь проиграешь», — эту его сентенцию я записал.

«Нельзя казнить голубей, не убей любви, не убей...»

Систематически доводил переводчицу до обморочного состояния. Начинал поэт, обращаясь к французам, на языке, который ему казался французским. Потом, когда выяснялось, что французы ничего не поняли, он переходил на обыкновенный русский. Переводчица облегченно вздыхала и начинала переводить. Но не тут-то было. Он каждую секунду вставлял в перевод уточняющие то французские, то русские слова. При этом сильно жестикулировал и сыпал сигаретный пепел на головы слушателей, расхаживая с полной непринужденностью между сидящими. Виски тоже не забывал. В результате начисто

забывал начало того, что сказать хотел, ибо тройной перевод, курение и виски требуют времени.

Летели мы прямым беспосадочным рейсом Москва — Париж. Вдруг объявляют: садимся в Копенгагене.

Глянул в окно и увидел морскую карту Балтийских проливов, включая проход Флинта и весь профиль Ютландского полуострова. Только меридианы и параллели отсутствовали.

Из аэровокзала в Копенгагене нас не выпускали.

Томились в роскошных холлах, где в сверкающую огнями перспективу уходили витрины с коллекциями русских икон — сотни наших кровных украшают международный перекресток в столице Датского королевства. Вот-то Гамлет бы удивился. А мне жутко и тоскливо было на это смотреть.

Сотни древних ликов из тьмы веков и тьмы монастырских келий, из снесенных церквушек и взорванных соборов в ослепительном неоновом свете среди толпы всяких разных шведов...

Сажу в каюте на лесовозе «Колымалес», печатаю эти заметки и никак не могу найти для «Эрики» удобное место. Стол такой, что под него колени не всовываются. В результате не по тем кладишам попадаешь, а это злит. И меня, и «Эрику». Она разговорчивая старушка. Шипит:

— Слушай, обормот, когда это мучение кончится?

Приходит с берега старший механик. Элегантен, черт возьми, донельзя. Умеет одеваться. Волосы длинные, но не так, как нынешняя молодежь носит. Этакая львиная грива, назад заброшенная. У В. В. густой чубчик вечно на лоб свисает, а у этого лоб чист и свободен.

— Виктор Викторович, мы с капитаном подумали и купили вам джинсы. Замечательные. Сразу моложе на сто лет станете.

— А себе-то купили?

— Обязательно. И Мандмузель себе купила. Тоже на сто лет помолодеть хочет. Правда, она у нас в обморок грохнулась. У нее воображение задним умом крепко. Поцарапает палец, сядет и минут пять представляет себе, что было бы, если б не о гвоздь царапнулась, а вся рука в мясорубку попала. И — хлоп! А нынче... Я, с вашего разрешения, дверь прикрою, прошли мы на центральной авеню мимо порномагазинчика. Торопливо прошли, а на витрине фаллос негра с ЭВМ и электромоторчиком. Ну,



знаете, задается на автомат потребная частота колебаний, амплитуда, температурный режим. Пробежали мимо, уже джинсы торгуем, минут десять прошло. Мандмузель — хлоп и в обморок. Что-то такое представила себе задним умом своего испорченного воображения. Лупим мы ее по щекам, чтобы в чувство, тут полиция, крики уже: «Совет вымен изнасиловали в универсаме Копенгагена!»

В Латинском квартале, недалеко от Сорбонны, есть два кабачка.

Один называется «Печальная акула».

Другой — «Зеленая лошадь».

Владельцы обоих — русские.

То, что я нынче пишу, слишком часто напоминает, увы, смесь из печальных акул и зеленых лошадей. Когда сам буланой масти, то до сокрушительного краха рукой подать.

— Что ты об этом думаешь, старушка? Тебе-то уж все про меня известно?

— Примерь джинсы. Тебе же этого очень хочется. И дай мне перекурить, — сказала «Эрика».

— Джинсы, конечно, замечательные, — сказал я. — Видишь, на заднице даже изображена какая-то дохлая курица.

— Осел, это же фирменный орел, — сказала моя ворчливая машинка.

— Не очень-то я люблю джинсы, — сказал я. — В них карманы тугие. А в тугом кармане дулю не сложишь.

— Да, тут ты прав, — вздохнула «Эрика». — Этаким шкурный страх давненько уже привел и тебя, да и всех твоих товарищей к рабскому казанию кукишей только в карманах.

Снялись на Мурманск ранним утром.

Фиолетовый Эльсинор возлежал на высоком мысу, похожем на дреднот.

Радуют скандинавские маяки. Их башни ослепительно белые — как зубки молоденьких и хорошеньких негрятенок.

Работал антициклон — небо чуть только кудрявилось серо-сизыми тучками, остальная бездонность была наполнена яркой и холодной синевой.

И каждая волна несла на себе небесный голубой отблеск.

И только в тени между волн угадывалась истинная природа внешне ласковых вод — зеленая сталь океана.

Глядя на элегический мир вокруг, В. В. вдруг вспомнил, как в конце сороковых годов его занесло на рыболовный траулер. В те времена рыбаки в Атлантической экспедиции зарабатывали сумасшедшие деньги.

— Стоим как-то у Фарер. Тихо все — как сейчас. На берегу фарерцы занимаются овцеводством. Им Гольфстрим климат смягчает, а пастбища прекрасные. Но это из жизни кроликов, вообще-то вдруг к нам на траулер осьминог лезет. Прямо за фальшборт уцепился, метра полтора от воды. Ну, мы его отцепили и выкинули обратно в родные пространства. Он опять лезет. Выкинули дурака обратно. Опять лезет. Ну, ехать с нами хочет. Ладно, упрямся — разберемся. Посадили его в ванну к стармеху, воды напустили. Решили отвезти в Калининград, в зоопарк. По науке, зверя следовало кормить только свежей рыбой, а ребята в длинном рейсе озверели до сентиментальности и суют осьминогу кто котлету, кто конфету. Он и помер на пятые сутки. Еще бы денек — и довели живым...

## *В РЕСТОРАНЕ «СПЛИТСКИ ВРАТА»*

Северное море, траверз Скагена.

По радио передали, что в арабской деревне Аль-Маджид израильяне оборудовали артиллерийский полигон. Корреспондент, ясное дело, не сообщает, ибо мы против религии, что в этой деревне родилась, блудила, а потом мыла ноги Христу Мария Магдалина. Теперь там при помощи всякой электроники палят пушки.

Штиль мертвый. Дымка.

Встретили огромный танкер «Маршал Бирюзов».

Скорости большие, удаляемся друг от друга быстро.

А у меня что-то такое начинает в мозгах трепыхаться: маршал Вирюзов?.. Так. Советского Союза был Маршал и погиб в Югославии — самолёт зацепил за деревья на горе, заходя на посадку, и все гробанулись. И я был на месте их гибели. Там поставили памятник. А от падавшего по склону горы самолета осталась просека... Так. Но что-то еще... что-то такое еще связано с этим именем... что-то приятно-неприятное, что-то такое кисло-сладкое...

Сплит! Боцман Жора со строящегося танкера «Маршал Бирюзов»!..

Но сколько лет прошло... А вдруг?

Я вызвал танкер — его уже было плохо слышно — и спросил имя их боцмана. Оказался какой-то Андрей Остапович.

Много лет назад меня занесло в Югославию и еще умудрило развезжать по ней на «Волге». И я встретил там в одном отеле горничную Франциску. Очень нас с этой девушкой повлекло друг к другу. Только цвейгоского амока не получилось, ибо я струсил: связь с иностранкой — «как бы чего не вышло...». И удрал этак по-английски — тишком, торопливо. В результате, как положено, спутал дороги, оказался в горах, не отмеченных в путеводителе и на карте, в лесах, в стороне от обкатанных туристских трасс...

Раскаленные вершины и раскаленные ущелья. И влажный полумрак небольших лесов. Пустынная дорога и пыль за машиной.

Давно хотелось пить. И вдруг — дом на обочине дороги, на склоне очередной горы. И ящики с пустыми пивными бутылками возле стены. Нога сама по себе надавила на тормоз, и задним ходом я въехал в тень дома.

Летняя сельская горная тишина висела в горячем воздухе.

Мощно-мужественные бараны и женственные овцы стояли, глядя в никуда, и даже не жевали жвачку.

Пыль медленно спускалась на машину.

Из дверей дома вышла босоногая девушка с легким стулом.

Она поставила стул возле машины и ушла в дом, держа лицо в сторону, не выказывая интереса или любопытства к чужому человеку.

Потом она вынесла легкий стол.

Из-за плетня показались рожицы мальчишек.

Девушка поставила на стол пиво.

Я вытащил из багажника пакет с воблой.

Странно лежали северные вяленые рыбы на теплом столе в горах.

Овцы смотрели в никуда. Мальчишки смотрели на нас. Несколько пожилых женщин вышли с задов усадьбы, скрестили руки на груди, на черных вдовьих платьях. Женщины смотрели в горы, хотя им невыносимо хотелось посмотреть на путника-познакомца.

Девушка стала в дверях дома, ожидая возможной просьбы, необходимости услужить иностранцу. Она безмятежно смотрела на овец.

В Белграде в отеле возле моего номера висела табличка: «Молимо за тишину».

Здесь тишина властвовала надо всем и всеми.

Горы хранят особую силу. Горы воспитывают в человеке молчаливость и величественность.

Югославия никогда не была побеждена. Югославия, конечно, никогда не смогла бы и победить, если бы не мы. Но и побежденной она никогда не была. И это живет в душе народа, как живет в словаках память Словацкого восстания, а в поляках — Варшавского.

Древний старик прошел сквозь женщин и мальчишек к столу.

Я встал и подвинул ему стул.

Старик глянул на девушку и сел на уступленный ему стул. В тишине дома быстро-быстро затопали босые ноги.

Девушка вынесла еще один стул.

Я сел.

Старик не мог скрыть любопытства к вобле. Он видел такую штуку первый раз за длинную жизнь. Он взял воблу и понюхал.

Вокруг нашего стола сомкнулся круг не смотрящих на нас людей.

Мужчин не было. Женщины и мальчишки.

— Твое здоровье, отец!

— Русский? — спросил старик.

— Да.

Он сделал останавливающий жест, он не разрешал мне пить пиво. И сказал что-то босоногой. Она опять убежала в дом и вынесла снежную, как Земля Бунге, скатерть. Женщины в черных вдовьих платьях подхватили со стола бутылки и воблу. И поставили их обратно, когда легкий снег покрыл теплый от солнца стол.

Старик произнес речь. Половина ее была из более-менее понятных слов.

Он говорил, что эту дорогу в горах еще до войны строили русские эмигранты. Они были раньше белыми офицерами, они были контрреволюционерами, но он их уважает, потому что они были несчастными и работали хорошо. Они были офицерами, а работали простыми рабочими. Когда пришли немцы, их убили.

Потом старик указал пальцем на каменную плиту, которая была прислонена к стене дома. Я и раньше видел эту плиту, но не обратил на нее соответствующего внимания.

СПОМЕН ПЛОЧА  
ПАЛОМ БОРЦУ  
ДУБАЧКИЋУ ЉУБЕНКУ  
(25.XII.1943 — 26 ГОДИНА)  
СПОМЕН ДИЖУ  
ОТАЦ ВЕЉКО  
И  
БРАТ ЈОВАН

— Это твой брат, отец?

— Сын.

Раскаленные горы и отупевшие овцы тихо жили вокруг.

— Они его тоже убили?

Старик объяснил, что они обмотали его партизанское горло колючей проволокой. Он умирал целый день. Потом старик похоронил сына. А сейчас ремонтирует могилу. Потому каменная плита стоит прислоненной к стене дома...

Прекрасны земли Адриатики, и нет слов, чтобы определить цвет воды в море. И дымка на горизонте смешивает горы с морем. Оранжевое, пепельное и пронзительно-синее переходит одно в другое без натуги, без границы, без горизонта.

Древние пиратские крепости, вздымающиеся над слабым прибоем.

И все хочешь убедить себя в том, что это не декорации приключенческого фильма. Это отсюда выходили в Средиземноморье отчаянные брига, галеры и бригантины. В этих камнях недолго отдыхали живые, настоящие пираты.

Но, честно говоря, когда я несся в потоке других машин вдоль изрезанных берегов Адриатики, то открытая красота пейзажей уже не волновала.

Я вспоминал Мистровича.

Раньше я даже не слышал о нем. А тут побывал в его доме, превосходной вилле, которую он завещал родине.

Широкая лестница прорезает три террасы. Террасы выложены крупными камнями, на них растут вдребезги зеленые кусты. Горячая лестница упирается в центральный портик. И когда дверь принимает тебя, то сразу по-

падаешь в музейную прохладу и музейный, как всегда несколько мертвый мир, в мир, где не живут люди.

Я всегда сочувствую музейным экспонатам. Им приходится быть там, где не пахнет жильем, приходится тратить часть своей красоты и на то, чтобы преодолеть в чело- веке музейную отчужденность.

И вот остались позади нагретая солнцем лестница, пальмы, просунувшие растопыренные пальцы листьев прямо в нестерпимо синее небо, и каменная женщина среди подстриженного машинкой газона. Женщина эта, изломав руки и скрестив колени, кричит о чем-то. И не поймешь — о чем? И какая-то тревога возникает в тебе еще до того, как двери виллы закрылись.

Там мало туристов. Я был почти один. Деревянные полы скрипели только от моих ног. Наверное, Мистрович так понравился мне потому, что я редко бываю в музеях.

Я совсем не уверен в том, что он великий скульптор. Я только знаю, что искусство — вещь такой интимности, что требует от смотрящего, или читающего, или слушающего совпадения колебаний, требует резонанса.

В тот момент, когда я вошел на виллу Мистровича, мне, очевидно, нужен был именно он.

Из-за редкости таких совпадений я со страхом хожу в музеи. Сколько раз пытался пойти и посмотреть прекрасное, чтобы обогатить себя, чтобы изменить себя, свое настроение за его, прекрасного, счет. Это иногда удавалось, но очень редко. Я не искусствовед. Я могу получить много от среднего художника и пошлой певицы, если в тот момент я живу с ними в резонанс.

И здесь случилось так, что Мистрович попал мне в жилу.

Быть может, неожиданная прохлада, тишина и просторность вокруг его скульптур. Быть может, портрет его матери — лицо крестьянки, стремительно окруженное складками шали, очень какое-то наше, русское лицо. И югослав Мистрович стал мне родным. Будто зашел в гости к русским, которые давно живут здесь, на чужбине, но воспитывают детей на родном языке и вечерами ставят самовар.

Ведь самовар — серьезная штука. Самовар — символ семьи, устойчивости во времени и пространстве. Одиноким человек никогда не стал бы держать самовар. Надо много спокойствия и много родных друг другу людей, чтобы появилась нужда в самоваре. Нужен длинный вечер, хозяйка и хозяин, нужно уважение детей к родителям и так

далее и тому подобное. Недаром изгнанники и эмигранты цепляются за него.

Нам помогает в издевательствах над самоваром то, что вокруг нас сама Россия. Когда Россия есть, можно прожить и без вечернего ведерного чаепития. Но толки о быстротекучести нашего времени, его ритме и т. д. не могут унять тоску по самовару. Я еще застал их воочию. Помню запах дыма, помню колена трубы, заплаканное дымными, нестрашными слезами лицо бабушки. Помню, как, купчески важно, купчески глупо сияя начищенным боком, похожий на человечка, въезжает на веранду дачи самовар. И его маленький краник наводит меня на какие-то вересаевские размышления. И я, конечно, делюсь своим наблюдением над краником и его похожестью на некоторое мое собственное место. И получаю подзатыльник...

В Сплит добрался уже поздним вечером, поставил машину на первой попавшейся стоянке и пошел по незнакомым улицам приморского города. Просто так пошел, без цели, размяться. И сразу попал в южную, открытую жизнь.

Увидел людей, по-итальянски не скрывающих горестей и радостей.

Зашел в кабачок, где шумели выпивохи. Долго пришлось пробиваться сквозь их флегматичные плечи, чтобы хозяин обратил внимание на меня. Я ткнул пальцем в жареные колбаски и бутылку пепси-колы. Хозяин флегматично обсчитал меня динар на двести. Я заплатил ему семьсот вместо пятисот, которые он попросил; получил две колбаски, пепси, холодный, толстого стекла стакан и пристроился на пустых ящиках в уголке. Штатные посетители оглянулись на меня по одному разу каждый. Они хотели узнать: кто это швыряет динары?

А мне хотелось от них понимания. А им на меня наплевать было. Им вполне хватало общества друг друга. И ни единый ханыга-люмпен не подошел ко мне, не захотел выжать из глупого иностранца рюмки сливовицы или стакана вина.

Не надо быть ученым, чтобы понимать: монолог — прерогатива сумасшедшего. Речь родилась из необходимости общения. Диалог — нормальная форма литературного произведения. Даже когда народ безмолвствует, он

ведет диалог с историей. Отсюда весьма подозрительно выглядит ярко выраженный «поток сознания».

Я вернулся к машине и осторожно поехал по узеньким улочкам приморского древнего города — поехал на шум прибоя.

Выбрался к набережной и запарковал машину на платную стоянку возле шикарного ресторана «Сплитски Врата». Денег было навалом — только что вышла в Сараевском издательстве книга.

Часть столиков была выставлена из ресторана на самый берег Адриатического моря. И я сел за такой столик под тентом, который шелестел от бриза.

Франциска не выдыхалась из меня, одиночество свирепело. Да я и здорово устал от гонки по серпантинным дорогам, от рож веселых западных немцев, обходивших меня на выражах...

Смысл вечерних европейских заведений в том, чтобы всей системой возбуждающих средств заставить мужчину захотеть женщину — любую! И потому очень плохо приезжать на Запад советскому гражданину без своей женщины.

Вечер был уже поздний.

Я был в шортах. Мои голубые тощие ноги покрылись пупырышками, потому что с моря дул прохладный ветерок. Вероятно, нет более нелепого существа, нежели я в шортах.

Все на набережной и вокруг было точь-в-точь как на открытках. Небо — темно-синий бархат. Звезды. Минареты. Подсвеченные фонарями цветы на газонах. И пестрая толпа туристского люда.

Пожилый официант изгибался и скользил между столиков. Он так щелкал каблуками, так изящно склонял голову — набок и вперед, — что напоминал цирковых лошадей.

Я заказал бутылку местного сухого вина. Это было сухое, но крепкое вино. Я знать не знаю букетов вин. Все они одинаково мне были противны. Я пил, чтобы опьянеть. На вкус и запах мне было наплевать, ибо я начинал этот спорт в сороковых годах с «ленинградской» водки. Кстати, и прошедшие десятилетия не сделали из меня дегустатора.

Вышли музыканты и певица в золотом платье.

Скрипки прихватили душу, взяли в плен, украсили одиночество среди чужих людей знанием чего-то. И я все



хотел убедить себя в том, что это я сижу, как пижон, на берегу Адриатического моря, и для меня поет девица. Песня медлительно истекала из ее горла и сразу попадала в микрофон, пронеслась по проводам, через катоды и аноды усилителей. Песня превращалась в потоки электронов и протонов, металась в вакууме радиоламп, разности потенциалов подавались на выход, работали кварцы, трепетали мембраны. И голос певички наконец колебал мои барабанные перепонки. Но даже все это не могло убить в живом голосе его красоты и печали. Слова, конечно, были непонятны, но иногда проскальзывали и знакомые. Песня отлетала от столиков ресторана в черноту, уже ночное море — к островку Древник-Вели и острову Шолта, на котором горел маяк; песня летела в пролив Сплитски Врата, на мерцающий маяк островка Ливка и мимо группопроблескового маяка Ражань...

Я сегодня так хорошо знаю все эти названия, потому что здесь вдребезги сломались судьбы капитана дальнего плавания Юры Ребрестого и бывшего морского агента в сирийском порту Латакия капитана дальнего плавания Евгения Петровича Таренкова. Этот блестящий, удачливый моряк повез меня с Юрой Ребрестым на «опель-капитане» по сирийско-библейским местам, чтобы сделать трамповым бродягам мимолеетный праздник.

Таренков причастил нас красотой древней православной часовни, которая стоит на вершине сирийского пологого холма среди акаций.

Часовенка была пуста. Никто не жил рядом и не охранял ее.

Зыбкий перламутровый полусвет. Два подстава с металлическими противнями, наполненными песком. Свечи в нише-алтаре.

Усталый Христос и славянская вязь евангельских слов под иконой:

«Блажени есте, егда поносят вас и ижденут,  
и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене  
ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша  
многа на небесех...»

Таренков бросил на нишу-алтарь несколько денежных бумажек, сказал:

— Берите свечи, братцы. И ставьте: направо — за ваших раньше срока погибших, налево — за ныне еще живущих.

И мы с Юрой послушно притеплили и поставили свечи в сосредоточенной и просветленной тишине.

В этой книге слишком часто будет встречаться: «Я тогда знать не знал, что через энное количество лет произойдет то-то или то-то...» Просто это уже не так дневники, как воспоминания.

Юрий Петрович Ребристый умер в море, в дальнем рейсе прямо на судне, был кремирован в Австралии, прах его развеяли над Индийским океаном.

Ребристый был моим первым капитаном в Балтийском пароходстве. Я работал у него вторым помощником на «Челюскинце».

Мы погодки.

Подкосила Юру тяжелая и нелепая авария, суд, разжалование, суровое наказание...

В горах за Латакней Таренков еще раз остановил машину. Мы вышли в сырость горного дубового леса. И среди старых, замшелых дубов услышали шум горной реки. Она текла в ущелье. Через ущелье горбатился одноарочный каменный мост, обросший мхом.

— Его строили еще римляне,— сказал Таренков.

— Камо грядеши? — громко спросил в вечность Юра, приостановившись у края ущелья.

— ...Камо-о... грядеш... — повторило торжественно эхо.

Огромные деревья спускались по склонам к реке. Их черные, влажные стволы густо оплетали плющи. Между каменьев росли нежные, как наши подснежники, цветы — белые и голубые. И лиловые фиалки. Горная вода в речке клокотала отчужденно, ее звонкие взбулькивания возле устоев римского моста подчеркивали тишину древности.

— Если в том, что всю жизнь болтаемся по морям, есть какой-то смысл, то, наверное, он в таких минутах,— пробормотал Юра.

Поздним уже вечером Таренков привез нас на берег Средиземного моря к разбитому итальянскому теплоходу. На мель судно выкинуло ураганом, а потом береговые люди его разорили. Итальянец стоял среди прибойных бурунов почти на ровном киле, без крена, высоко и нелепо вздымались его отвесные борта в ветреные небеса.

И тут мы тоже долго молчали, глядя на разбитое судно.

Наконец Юра сказали

— Не повезло макароннику.

А Таренков сказал, не захотев заметить в словах Юры некоторого наигранного юморка:

— Когда нападает тоска, я приезжаю сюда. Один. Даже без жены.

Юра через год, а Евгений Петрович через пять высадили свои суда на камни фактически в этом же Средиземном море, ибо Адриатическое в него входит, и почти на видимости ресторана «Сплитски Врата».

«Теплоход „Профессор Николай Баранский“ Балтийского пароходства, валовой вместимостью 9758 рег. т., 25 декабря 1970 г. при хорошей погоде и отличной видимости следовал Адриатическим морем с грузом леса из Канады в порт Сплит. Капитан судна Ребристый Ю. П. вполне обоснованно решил следовать к порту назначения проливом Сплитски Врата длиной в милю и минимальной шириной около 3 кбт, имеющим хорошую навигационную обстановку. Лоция рекомендует следовать в пролив курсом норд из точки, расположенной значительно южнее входа в него. Вопреки этому указанию капитан, опасаясь сноса течением на прибрежные отмели, проложил курс прямо ко входу. Далее он рассчитывал пройти серединой пролива курсом 10°.

В 19.30 судно следовало курсом 33° полным 16-узловым ходом, находясь примерно в 4 милях от входа в пролив. На мостике находились капитан, вахтенный четвертый помощник, рулевой и впередсмотрящий. Старший помощник был отпущен на ужин. Заранее был рассчитан контрольный пеленг 357 маяка на мысе Ливка.

В 19.49, наблюдая за огнем маяка Ливка через визир пеленгатора, вахтенный помощник доложил, что судно вышло на расчетный контрольный пеленг. Капитан в это время, переключив РЛС на шкалу 0,8 мили, подстраивал станцию. Примерно через минуту после доклада о выходе на контрольный пеленг капитан подал команду „Полборта лево!“, однако, увидев, что судно разворачивается медленно, приказал положить руль лево на борт. Но время было упущено, теплоход „Профессор Николай Баранский“, разворачиваясь влево, на полном ходу вылетел носовой частью на прибрежные камни всего в нескольких десятках метров от маяка Ражань. Средняя потеря осадки составила более полутора метров.

В дальнейшем, с ухудшением погоды, кормовая часть, оставшаяся на плаву, была развернута ближе к берегу

и испытывала на волнении сильные удары о грунт. В результате судно получило большие повреждения корпуса и винторулевой группы.

Только 30 декабря после отгрузки около 1700 тонн леса с носовой палубы (в основном за борт) судно удалось снять с мели.

Если бы капитан сразу после доклада вахтенного помощника в 19.49 дал команду о повороте влево, судно успело бы еще развернуться и миновать опасность. Но капитан промедлил, и последняя возможность была упущена. Это промедление не может не вызвать удивления — ведь судно стремительно приближалось к берегу, маяк Ражань был прямо по носу. И так близко, что его вспышки должны были освещать рулевую рубку. Причина здесь, видимо, психологическая — состояние, сходное с тем, которое раньше часто называли „радиолокационным гипнозом“.

Нельзя не отметить действия капитана сразу после посадки: благодаря верной оценке обстановки, его хладнокровию и решительности судно было спасено...»

Так звучит история на официальном языке.

— И ты, Брут? — спросил меня Юра Ребристый в коридоре Городского суда на Фонтанке. Ему показалось, что я пришел на суд, чтобы говорить внешне утешительные слова, а на деле любоваться на бывшего своего начальника, с которым мы не всегда находили общий язык, попавшего теперь в дерьмо и сидящего со споротыми капитанскими нашивками на жесткой скамье в судном коридоре. Юра ошибался. Я просто знал судью, был у него раньше на одном процессе экспертом. И надеялся «повлиять». Ни черта из моего намерения не вышло... Убытки больше миллиона — статья «Преступная небрежность».

— Юра,— спросил я уже после процесса,— я не прокурорша и не судья. Можешь ты мне объяснить, зачем тебе надо было...

— Крутить радар, когда до маяка четыре кабельтова? — закончил он мой вопрос сам.

— Да, именно это я хотел спросить.

— Я не могу этого объяснить. Это наваждение.

— Ты пил накануне?

— Ты сошел с ума. Я шел с Канады через Северную Атлантику в декабре.

Пожалуй, самый нелепый случай, который произошел со мной на судах, был не в море, а у причала. И связан он с Юрой. И я ему это напомнил при нашем последнем разговоре, когда горести его остались уже в прошлом и он уже опять был капитаном и уходил на Австралию.

Мы встретились в скверике у пароходства, где каждая скамейка, мусорная урна и даже стволы деревьев пропитались эмоциями расставаний и встреч.

— Юра, а ты помнишь, как мы грузились досками на Лондон, зимой, в лютый мороз, в Лесном порту, и ты все твердил мне с нотками угрозы: «Будьте любезны, следите за тем, чтобы все доски были расшпурены!» А я первый раз грузовым помощником и вообще не знал слова «расшпуривать».

Юра рассмеялся. Расшпуривать — раздвигать доски клиньями, подколачивать деревянными кувалдами. Но возможно такое мероприятие, только если доски достаточно толстые и идут большими партиями. Я грузил мелочевку и маленькими партиями — больше ста коносаментов (коносамент — штука сложная, будем считать их грузовыми накладными). Доски отправлялись индивидуалистам-фермерам в Англию.

Если тоненькие досочки раздвигать мощными клиньями, они просто-напросто горбятся и лопаются. А каждую фермерскую партию надо раскладывать плашмя от борта до борта и малевать на ней номер накладной, отбивая каждый номер краской определенного цвета. Где столько краски взять? Помню, я даже дымовую сажу разводил в воде. Мороз такой, что краска в ведрах замерзает. Грузчики на пределе бешенства, ибо простаивают, а я лазаю по трюмам и еще требую расшпуривать, они меня — матом. Конечно, никакой свой план грузчики бы не выполнили, если бы согласились на нелепые требования. Надоел я им хуже горькой редьки — они же давно поняли, что в деле я не разбираюсь. Ну, и решили припугнуть. И вот, когда я очередной раз залез в трюм и закатил очередную истерику, над моей башкой завис подъем леса. А дальше случилось то, чего мои враги не могли предвидеть. Крановщик зазевался, и пятитонный подъем досок полетел вниз. Не знаю, какой звериный инстинкт сработал и каким чудом я успел выкинуться со скоб-трапа на твиндек; выкинулся боком и, уже лежа, увидел, как пакет досок торцом ударился в трюмную переборку на том месте, где я секунду назад находился. Гул и грохот разнесся по всему огромному теплоходу — с большого кача

пакет ударился. Мокрой лепешкой рухнул бы я метров с десяти на обледенелую сталь. Так и не знаю, только попугать собрались докеры тупого и настырного штурмана или...

Конечно, любой моряк вспомнит несколько случаев, когда побывал рядом со смертью на погрузке или выгрузке, но это «расшпуривание» мне особенно запомнилось.

Рассказал я все это Юре в пароходском скверике. Он посмеялся, потом спрашивает:

— Честно говори, ненавидел ты меня тогда?

— Да, старина; был грех. Спать не мог от ненависти. Зачем ты от меня эту ненаучную фантастику требовал?

Он опять рассмеялся.

— А я,— говорит,— тогда сам первый раз в жизни имел дело с досками. Помнил только с училища: «Для полного использования кубатуры трюмов необходимо тщательно следить за расшпуриванием леса...» Ну, а еще когда ты меня ненавидел?

— Когда ты выпивал на стоянках, а мне запрещал.

— А еще?

— Когда заставлял печатать на машинке свои документы.

— И такое было?

— Было.

— Ладно, меняй гнев на милость.

— Давно сменял.

— А знаешь, с досками у меня что-то роковое связано. Сели в Сплитских Вратах, погода ухудшается. Что делать? Тысячу семьсот тонн леса за борт выкинул. Его вокруг судна качает, в борта жахает. Думали какую-нибудь боновую запруду соорудить, чтобы хоть часть груза не унесло. Но куда там... И еще все время попугаи орут. Набрали мои морячки попугаев. На продажу, конечно. А потом, когда поволокли теплоход в Одессу на буксире, у меня в Дарданеллах вдруг правая рука отнялась. Надо подписывать кипы документов, а я не могу ручку взять. И начальник на борту крупный, вижу: не верит мне, думает, симулирую, чтобы специально не подписывать. Во положеньице!..

Во всех мемуарах диалог вообще всегда выглядит обыкновенной липой, если, конечно, у тебя за пазухой не было магнитофона. Но и пересказ не годится. Ведь мы тогда РАЗГОВАРИВАЛИ..

На девятый день был у его вдовы. Ждал слез. Не дождался. Она держала себя в руках. И отчаянно ругала моряков. Вот, мол, вечно бегаєте от трудного, серого, страшного. Только в семье какие-нибудь неприятности — дочь в институт не приняли, бабушка при смерти, зять запил — вы шмыг в моря! И там себе безбедно шатаетесь, а мы на суше все расхлебываем. И до того, мол, вы самовлюбленные, что вот захотите прямо в море помереть, и тут вам лафа — там и мрете, а как здесь теперь без вас жить? Если даже могилы не осталось? Как дочь воспитывать?

Оказывается, Юра еще в курсантские времена сказал невесте, что решил умереть на мостике. И его вздорное по современным временам желание взяло да и сбылось.

...Красивая певица пела в ресторанчике «Сплитски Врата» на набережной Сплита.

Слова, конечно, были непонятны, но иногда проскальзывали и знакомые. Песня отлетала от уютных ресторанных столиков в черное, уже ночное море, к проливу Сплитски Врата. Один-два слушателя-туриста поднимали над головой руки и делали несколько хлопков. Певица наклоняла к самым губам стебель микрофона и говорила слова благодарности. Ее тяжелое платье искрилось под прожектором, как перья сказочной птицы.

**Бог мой, какая тоска по Франциске** начала шевелиться во мне... Официант совершил тур вальса вокруг столика, опоражнивая пепельницу, заменяя стакан со льдом. Я поманил его пальцем. Он застыл и изогнулся.

— Вы не могли бы мне перевести слова песни? — попросил я.

— О! Пожалуйста! Это не наша пьеснь. Мадьярска пьеснь... Бедный крестьянин... Бьедняк... Пойма чужую лошадь... Его пойма и закрыли в тюрьму... Пойма и закрыли на дно тюрьмы...

— Грустная песня, — сказал я.

— О! Йес! — он испытывал глазами: чего мне еще понадобится?

Певица запела опять, гортанно, покачиваясь вместе со стеблем микрофона.

— А что она поет теперь? — спросил я. Я не стал бы так утруждать отечественного официанта. Да он и не стал бы утруждаться.

— Опять мадьярска пьеснь... «Во мне вино... уже два литра... и потому у меня хорошее настроение... У меня

собачье настроение... Я собака, и потому мне очень хорошо...»

Я повернул стул спинкой к другим ресторанным посетителям и уставился в черное, ночное уже море.

Между мной и набережной шли гуляющие. Все они шли сами по себе. Отчужденность была стопроцентная. Или я просто не умею общаться с незнакомыми, или действительно всем было наплевать друг на друга. И мне тоже стало свободно. Я достал блокнот и кое-что записал о Франциске, о своей рабской трусости. Это нужно было потому, что тогда я думал о рассказе про первую любовь; детскую, начавшуюся еще где-нибудь во втором классе, но пронесенную потом через всю жизнь, хотя совершенно не состоявшуюся по причине трусости героя.

В те годы Юрий Казаков замечательно писал такие вещи, и его рассказы возбуждали и заводили, навевая очень серьезное и сильное желание творчества. В его рассказах на нескольких страницах то как-то медлительно, то мгновенно ощущались и неизбывность, и конечность времени и времён.

Романтизм есть или должен быть в любой художественности. Я не о литературоведческом романтизме. О романтической составляющей красоты. В самом приниженном и грязном реализме, в самом распущенном футуризме, в самом холодном классицизме, если они искусство, есть романтизм, ибо «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно».

Не знаю, пробовал ли Юрий Петрович Ребристый писать, но читатель он был с большой буквы. Он с детства жил с книгами, стихами. Я-то знаю, как сложно уместить в закуске души двух таких своенравных и ревнивых, прекрасных и коварных, юных и вечных женщин, как любовь к морю, морской серьезной работе, и любовь к художественному.

Вот море Юре и отомстило. Уверен, оно толкнуло его к экрану радара, когда сполохи маяка на входе в пролив Сплитски Врата уже высвечивали самые потаенные углы рулевой рубки. Зачем ему был радар? Наваждение... «Если в том, что болтаемся по морям всю жизнь, есть смысл, то он в таких минутах...» «Камо грядеши?..» Какая-то дурацкая строчка мелькнула в усталом мозгу капитана, эхо стихотворения — и «Профессор Николай Баранский» загрохотал по камням.

После тяжелых аварий у большинства капитанов возникает отчуждение от моря и обыкновенный страх, даже



если им разрешают работать; страх перед необходимостью вести судно дальше, и дальше, и дальше...

Конрад, конечно, все это отлично знал. И в тридцать семь лет бросил плавать.

Наши капитаны уходят на пенсию в шестьдесят!

...Ночная тишина спускалась с гор на южный город Сплит.

Музыка смолкла, и певица исчезла.

Только Адриатика чуть шелестела штилевым накатом.

«Пассажирский теплоход „Латвия“ Черноморского пароходства валовой вместимостью 5035 рег. т. 6 июня 1975 г. при хорошей погоде и отличной видимости следовал из Корфу в порт Сплит с пассажирами на борту. В 09.30 третий помощник капитана взял пеленг и измерил расстояние до ориентира, ошибочно принятого им за остров Стипански. В дальнейшем, продолжая определяться тем же методом и по тому же ориентиру и видя, что точки „уходят“ влево от курса, он, не известив капитана, постепенно уклонился вправо от назначенного курса 346, ведущего в Шолтанский пролив, на курс 357°, который вел в другой узкий проход между островами. В 09.30 капитан поднялся на мостик. С обстановкой он познакомился чисто зрительно, не проверив достоверность обсерваций третьего помощника. Взглянув через четверть часа (впервые после возвращения на мостик) на прокладку, он не увидел ничего сомнительного. И только в 09.53, видя остров прямо по носу в непосредственной близости, капитан засомневался в достоверности места судна. Посмотрев на карту, он понял наконец весь драматизм ситуации. Надеясь еще провести судно узким проходом между островами, он скомандовал: „Право на борт!“ Но было поздно. Примерно через полминуты, развёрнувшись всего на 20°, судно ударилось о каменистый грунт, получив очень большие повреждения».

Капитаном был тот человек, который возил нас к часовне в Сирии и подарил мне «Мимолетный праздник» — любимая мною глава из книги «Среди мифов и рифов».

Когда не пишется, я иногда слышу голос старого-старого писателя, его слова навеяны той главой: «Ты рассказывай нам о портах; там где-то жила Мария Магдалина, которую не забыть. Деревья ушли, люди измельчали, но память о Магдалине прекрасна. Напиши о берегах, за которыми скрываются люди... Милый друг, ты уже

часто теряешь голос... Остаются мифы не в пепле, а живые и гребующие воспоминаний. То, что ты не написал, мяукает, забытое в корзинке. А сам не мяукай. Помни Марию Магдалину, которая во что-то верила и потому жива и бессмертна...»

Столики на набережной Сплита опустели, а я все сидел, решив ночевать в машине, потому что гостиницу заказать не удалось. Это меня не пугало. Мне нравится ночевать в машине и глядеть из нее ранним-ранним утром на просыпающиеся города.

Кто-то плюхнулся за мой столик.

Я не обернулся, продолжал смотреть на далекие вспышки маяков, которые не помогут здесь моим товарищам.

— Не будь дураком! Зачем тратил в дорогом кабаке валюту на выпивку?

Тут уж я обернулся.

И как наш советский брат умудряется узнавать друг друга в самой экзотической обстановке и в дальней дали от дома? Рядом сидел грома. Слегка согнув ноги в коленках, я бы свободно разместился в его брюхе, как давний мой сумасшедший герой Геннадий Петрович Матюхин в кашалоте. Оказался боцманом из строящегося здесь танкера «Маршал Бирюзов». Одессит он был сто-процентный, ибо второй фразой была:

— Здесь, кореш, надо покупать каблуки, женское белье и...

— Откуда ты догадался, что я из Союза? И что такое каблуки?

Он не стал отвечать на такие глупые вопросы. Уже потом я узнал, что «каблуки» — все виды кожаной обуви.

— И не будь дураком. Последний раз говорю: не трать валюту на выпивку. Пошли. Покажу.

— Куда?

— В аптеку.

— Зачем?

Он не стал отвечать. В аптеке он купил литровую бутылку чистого медицинского спирта. Она стояла на наши деньги рубль.

— Всякие кретины туристы платят здесь столько за рюмку паршивого коньяку, — объяснил боцман. — Они до сих пор не знают, что водка это вода плюс спирт. Пошли.

— Куда?

— На хауз.

Мы пришли в отель, где на берегу проживала приемная команда танкера «Маршал Бирюзов».

— Смотри! — сказал Жора и открыл шкаф. Он был битком набит каблуками и разными другими коробками. Потом Жора открыл спирт и кран в умывальнике.

Дальнейшее мне было ясно без слов.

Боцман напустил воды в бутылку с этикеткой «Столичная», добавил спирта и позвонил по телефону.

Явился изящный, в черном фраке, пожилой мужчина с манерами лорда. Он был ни больше, ни меньше — главным администратором отеля. Маленькими глоточками аристократ-лорд выпил стакан теплой, еще не устоявшей смеси, от одного взгляда на которую меня мутило.

— О! Русский водка! — приговаривал лорд.

Потом лег на стол, даже не раскинув фалды фрака.

Жора бережно взял его на руки и отнес куда-то вниз, а вернувшись, сказал, что номер для меня будет на теневой стороне и что администрация извиняется за неисправный кондишен, но через час кондишен наладят.

Мне было ясно, что бежать надо сломя голову, но что я мог поделаться с этим одесситом? Черт догадал меня иметь такой безошибочно российский вид даже в шортах!

Только во второй половине следующего дня удалось покинуть Сплит. В чрезвычайно собачьем настроении.

## МУРМАНСК

Мурманск встретил неласково.

Речь в данном случае не о погоде — про таможеню.

Дохлае курицы на датских джинсах были сочтены мурманскими таможенниками за североамериканских орлов. Владельцам джинсов было предложено куриц с задних карманов спороть.

Сидим в каюте В. В. и портняжничаем с помощью маникюрных ножниц Нины Михайловны, которая в обморок пока не падает. Зато я мечу молнии и икру в глупость мурманских таможенников.

— Бросьте вы, трите к носу, — успокаивает В. В., любясь сквозь очки на свою тонкую портняжную работу. — Все таможенники на планете одинаковы. Недавно я в Гулле рядом с американским танкером стоял. И капитан рассказал британский анекдот. Случилось у одного джентльмена сотрясение мозгов. Привезли в больницу. Там все по последнему слову медицинской науки для трансплантации любых органов. Ввиду необходимости

капитального ремонта головы джентльмену ее отрезали, а телу велели ехать домой, ложиться в постель и вернуться за отремонтированной головой через трое суток. Чего вы на меня так глаза вылупили? Да-да, это все правда, это совсем не из жизни кроликов! Проходит трое суток — тело джентльмена за башкой не является. На четвертые сутки его тоже нет. Голова в холодильнике начинает тухнуть, главный хирург беспокоится, звонит телу клиента по телефону и требует немедленной явки, а тело джентльмена ему: «Спасибо, док, но голова мне больше не нужна: я нашел работу в таможне». — «Поздравляю, сэр. Куда вы назначены?» — «В Ливерпуль, сэр». — «Скажите своему боссу, что я рекомендовал вас в Лондон». — «Благодарю, сэр». — «Не стоит благодарности, сэр».

К концу британского анекдота пришел со спортым американским орлом в руках Октавиан Эдуардович, спрашивает:

— А куда нам этих трансплантированных куриц-то девать? Что на эту тему? Какие указания?

— Когда орел отделен от джинсов, он является обыкновенным сувениром и по законам нашей таможни опасности для СССР уже не представляет. Засуньте его в задний карман, а супруга, если вам так уж захочется, пришпандорит его обратно. Я лично выкину его за борт, будь он проклят, уже руки трясутся от такой ювелирной работы. Добротню пришивают, сволочи! — объяснил В. В.

— А вот нашим пожарникам голова тоже без всякой надобности, — говорит Октавиан Эдуардович. — Господи, как бы вы курить бросили! Атмосфера как в ротном курительном салоне на двадцать посадочных мест.

— Странные вы люди, старшие механики, — говорит капитан, закуривая новую «Пелл-Мелл». — Ненавидите пожарников, как глупые собаки кошек.

— Да я про хорошего пожарника, он мне вроде как отец был, — говорит старший механик. — Драпанул очередной раз из детдома. Ранняя весна, холодно. Элеватор горит. После бомбежки. Я возле него греться устроился. Тут меня батя и подобрал. Капитан был по званию. Из профессиональных довоенных пожарников. Пожилой уже — на фронт не взяли. Вдовец с пятью детьми. С матерью жил, бодренькой такой старушкой. Ну, и меня подобрал. Принцип известный — где пять, там и шестого прокормим. Святые люди. Я у них месяца три кантовался. Является батя как-то сильно поддавший, веселенький, майора ему присвоили. А на письменном столе у них ста-

ринный чернильный прибор стоял — главная семейная ценность в доме. Черномор, и вокруг на цепи ходит кот ученый или что-то в таком роде — точно уже не помню, хотя я несколько раз эту реликвию нацеливался украсть. Уселся батя за стол да как рявкнет, да как кулаком жакнет, — а человек был смиреннейший, мухи не обидит. Теперь, говорит, я все одно что полный енерал! А ежели енерал, то на все бумажки плевал! Мамаша, выкидывай к едрене фене енту чернильницу! Ну, мамаша, женщина исполнительная, убрала черномора с ученым котом в диван. Батя опять кулаком по столу. А теперь, говорит, выкидывай с шестого этажа и мою башку! Мамаша спрашивает: как же ты, сынок, без башки-то? А батя объясняет, что пожарный майор и без башки всюду, даже в Африке, енерал!..

И анекдоты эти дурацкие, и истории дурацкие, но вы себя и ситуацию представьте.

Сидят в каюте три старых моряка — всем за пятьдесят — и спарывают орла с джинсов.

Еще вдруг боцман заглядывает, а у него глаза прозрачно-голубые, глаза этакого веселого убийцы, и спрашивает:

— А вот ежели бы орел спереди был пришит, то его тоже спарывать заставили?

— А тебе зачем знать? — спрашивает Октавиан Эдуардович.

— Я так рассуждаю, — говорит боцман, — если б у нас на заднем кармане был серп и молот изображен, то тогда еще понять можно. А так-то мы же на ихнего орла каждый раз садимся и попираем?

Ну что ты объяснишь этому младшему командиру?

По своей глупости ситуация напомнила мне другой случай. Отходили мы из Риги на Антарктиду с полным грузом наших зимовщиков-полярников, а у пограничников, которые оформляют отход, на лицах мертво-железобетонные выражения. И вот пассажирский помощник попросил пограничного начальника-подполковника приказать солдатам сделать веселые выражения, доброжелательные, потому что мы не простых пассажиров или иностранцев увозим от родных берегов, а героев-полярников, которым впереди больше года антарктические пустыни покорять. Подполковник это предложение обдумал, согласился с пассажирским помощником и приказал своим солдатам улыбаться. И они улыбались часа два

поряд, пока мы оформляли отход. Поверьте, это было зрелище! Застывшие на два часа улыбки на молодых замерзших рожах. Мороз в Риге был минус восемь. Мадам Тюссо такие рожи и во сне не мечтались. А мне иногда думается, что солдатики после нашего уплытия привести рожи в нормальное состояние так никогда больше и не смогут — и помирать будут с такими сардоническими перекосами физиономий.

Шестое августа, Мурманск, погрузка овощей и вино-водочных изделий на порт Певек.

Взял такси и поехал в свое прошлое. Доехал до самого штаба АСС. Оставил машину у ангара со спасательным имуществом и пошел на причал. У причала стояло два спасателя — «Алдан» и «Агат».

Через дежурного мичмана передал командиру «Алдана» визитную карточку.

Мичман ушел, а я отошел к торцу причала и оглянулся вокруг с явственным ощущением того, что смотрю кино.

Огромный, почерневший от времени ангар. Сопки, поросшие еще зелеными рябинами. Отлив, запах отлива, то есть запах гниющей тины. Круглые туши судоподъемных понтонов — ухоженные понтоны, покрашенные свежей чернью. Здание штаба на горке, деревянная лестница к нему. И деревянный настил причала с кое-где провалившимися досками...

Действительно, кино... На этот причал я пришел больше четверти века назад с чемоданом, который переехал паровоз в Мурманске. От этого причала я двенадцать раз уходил в море по сигналу «SOS». Зимой, когда антенны над штабом принимали сигнал бедствия, врубался ревун, вспыхивали прожектора на причале, распахивались огромные ворота ангара, грузовики везли к кораблю помпы, троса, пластыри, бочки цемента. В малюсеньких домишках, которые и сейчас лепятся по сопкам и где проживали женатые офицеры, вспыхивали окна; посыльные матросы обегали по тревоге офицеров, и через двадцать-тридцать минут часовой скидывал с причальных тумб наши концы.

На этом причале я занимался с матросами строевой подготовкой: обучение хождению строевым шагом по разделениям в составе отделений. Хождение строевым шагом в шеренгу по десять. Расчет по два и сдваивание

рядов в составе взвода. Отработка строевого шага и равнение в шеренгу по пяти. А метель метет во всю ивановскую, а моих подчиненных — матросов, кочегаров, старшин и радистов всего-то полтора десятка. Почти все эти ребята списаны с боевых кораблей за самые разнообразные грехи. Выгнать их на плац-парад ради такой полнейшей бессмыслицы, как шагание взад-вперед с приветствиями на ходу, пожалуй, иногда было труднее, нежели заставить пронырнуть под килем нашего «Вайгача». А в защищенном от ветра уголке сидели две собаки и с интересом глядели на строевую подготовку.

Чего-то нынче я не вижу здесь собак.

Наши псины, конечно, были приبلудные. Один черный здоровенный кобель, другая — сучка — маленькая, белая, с коричневым ухом, коричневым пятном с правого боку и хвостом наполовину коричневым и наполовину белым. Это было мускулистое, пружинистое существо, озорное, азартное и ревнивое. Она была главной организаторшей игровых побоищ и первой начинала вдруг вполне бессмысленно лаять на пустоту вокруг.

Его звали Шторм.

Он был стар, но тоже задирист. Боевое прошлое украсило его морду добрым десятком зарубцевавшихся, но так и не заросших шерстью шрамов. Воспоминания о былых победах вели старика в новые и новые бои, но клыки и хватка подводили все чаще. В общем, глядя на него, можно было сказать: «Кости молоды, но дороги наши старые, а почта жизни сурова».

Веселенькую сучку звали Прилипала. Она сопровождала Шторма, как рыба-прилипала — акулу.

Обе собаки встречали нас, когда мы возвращались с моря, на причале. И только в эти моменты допускались на борт.

После одного из возвращений Шторма на причале не оказалось.

Силуэт женщины был, силуэт часового был, Прилипала заливалась веселым лаем, а моего главного любимца не было.

О силуэте женщины. Это была жена старшего лейтенанта Ханнанова. Она работала в нашей поликлинике и как-то даже слишком возвышенно, болезненно любила мужа и беспокоилась за него. За каждое появление на причале Ханнанов ее самым обыкновенным образом бил, потому что стыдился такой женской привязанности перед нами.

Но вернемся к Шторму. Его не было и день, и два, и три, а я не решался спросить про его судьбу, чтобы не узнать плохого.

И вдруг встретились возле штаба. Шторм брел по снегу, очень низко опустив тяжелую, мохнатую морду, и сильно хромал. Я присел перед ним на корточки, чтобы поздороваться, и увидел жуткую рану на его левом ухе. Оно было наполовину оторвано, рана кровоточила, и кровь плохо замерзала на легком морозце. Глубокая рана была и на лапе, но эту он мог зализывать, а ухо болталось беспомощно и бесхозно.

Шторм стонал и глядел на меня глазами человека, который узнал, что у него рак. А его горести, раны и беды усугублялись еще тем, что за время нашего отсутствия появился в поселке молодой наглый пес. Он сразу снюхался с Прилипалой, и та перестала обращать на Шторма внимание.

Молодые, упругие, веселые псы носились по снегу и хулиганили, а Шторм лежал в будке часового и, как в знаменитой песне поется, был уже этаким старым генералом, который «весь израненный и жалобно стонал»...

Раны его заживали медленно, но аппетит был зверский, все братцы-спасатели ухаживали за ним. И он поправился и так дал прикурить новому дружку Прилипалы, что я того больше в поселке не видел...

Вышел дежурный мичман и провел меня к командиру корабля. Командира звали Юра, ему было тридцать восемь лет, смотрел он на меня, как на воскресшего покойника, никак не мог понять, что перед ним человек, книги которого стоят на полке у него в каюте.

— Значит, вы у этого самого причала тогда кружку и поднимали? — спросил он и пригласил меня обедать в кают-компанию.

На столе в кают-компании лежали два огромных арбуза. Арбузы на спасательном корабле в Заполярье!

Назавтра корабль уходил.

Юра оказался из тех моряков, которые рождены для аварийно-спасательной работы. Я видел, что он счастлив быть тем, кем он был, и что его не удручает тот факт, что должность командира корабля соответствует званию всего-навсего капитана третьего ранга.

Потому я пожелал ему на прощанье спокойного плавания и не менее двух аварийно-спасательных операций за время дежурства.



Корабль чистился к предотходному смотру высоким начальством. Все вокруг мыли. И когда мы шли к трапу, то капитана третьего ранга и меня окатили мыльной водой. Командир смутился, хотя все это было так же естественно, как неестественны были мои ощущения от возврата к тому лейтенанту, который четверть века назад опускался возле этого причала за борт в трехболтовом скафандре с заданием найти на грунте и поднять на поверхность железную кружку.

Конечно, вспомнилось и неудачное спасение «СС-188». Я этим джек-лондоновским приключением уже много раз в прошлых книгах хвастался.

С гибнущего на Могильном рейде у острова Кильдин в январе 1953 года корабля нас снимал бравый капитан-лейтенант Загоруйко, но выгрести на обыкновенной весельной шлюпке-шестерке к родному «Вайгачу» Загоруйко не смог, и попал я в бессознательном состоянии на другой корабль — «Водолаз». Там пришел в себя, когда всех нас, обмороженных, завалили в душевую. (Интересно, что со страху мы так надували друг другу спасательные жилеты, что у меня на груди и на спине, по рассказам ребят, оказалось два сухих пятна, — раздувшийся резиновый жилет придавил одежду к телу с такой судорожной мощью, что вода туда не смогла профильтроваться.) Из душевой меня перетащили в койку второго механика, которая оказалась свободна, ибо хозяин был на вахте. И там я или опять вырубился, или просто заснул мертвым сном. А когда очухался и открыл глаза, то рядом оказалась прекрасная женщина.

Она оперлась подбородком на сплетенные руки и глядела на меня. Она была совсем рядом, в полуметре. Как же, вероятно, я свои глаза выпучил!

И далеко не сразу уразумел, что я в чужой койке, в чужой каюте, на чужом корабле лежу носом в переборку, а к переборке на кнопках прикреплена фотография молодой и прекрасной артистки Тамары Макаровой.

Спустя лет десять снимается морской фильм. Натуру режиссер, естественно, выбирает, никак с автором не советуясь: «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Это классическая формула в отношениях режиссера с авторами. Но тут чего-то где-то заело, и автор потребовался. Меня посадили в самолет, высадили в Мурманске, посадили на катер, повезли куда я знать не знал, ибо дрых; высадили на необитаемый какой-то берег, посади-

ли в «газик» и наконец окончательно вытряхнули на съёмочную площадку.

И я оказался на острове Кильдин, на берегу рейда Могильный.

Съёмки были ночные. Возле пенной полосы прибора светили мощные киношные прожекторы. Они светили на камни Сундуки, но этих совпадений мало.

Носовая часть утонувшего «СС-188» валялась всего метрах в ста от съёмочной площадки. Какой-то жуткий ураган вырвал останки корабля из морских глубин и вышвырнул далеко за урез обычного прибора.

Для обогрева съёмочной группы и актера Бориса Федоровича Андреева, которому следовало по ходу дела залезать в Баренцево море, горел костер. В камнях, на которых он горел, была прослойка сланца или чего-то другого взрывоподобного. Во всяком случае, раскалившиеся камни под костром выстреливали огненной шрапнелью. И напоминали мне, естественно, сигнальные ракеты и как мы пуляли ими с тонущего корабля в черные небеса, пока ракеты не кончились.

Уберегаясь от раскаленной каменной шрапнели, а может быть, из-за несколько мистической сентиментальности, я полез через скалы к останкам «СС-188» и потрогал ржавое, страшно искореженное и бесформенное железо... Сочините рассказ о том, как автор участвует в киносъемках на том самом месте, где он тонул. И каждый скажет вам, что вы сбрендили.

Не припомню случая, когда хоть один из профессиональных морских спасателей печатно рассказал бы про свои приключения правду, только правду и всю правду. Тут должна обязательно получиться такая смесь саморекламного бахвальства с чистосердечным признанием о мгновениях панического ужаса, что никакая бумага не выдержит.

Кроме этого, всякое спасение на море — сложнейшая юридическая каша. И рассказчики опасаются навредить кому-нибудь или просто самому себе.

Экзюпери где-то говорит, что спасенные не любят благодарить спасателей. Они их не только благодарить не любят, но терпеть не могут даже вспоминать про наличие спасателей на этом свете.

В каюте-медизоляторе нет такого стола, на котором возможно прочно закрепить машинку. Сегодня соорудил из кресла, брючного ремня, полутора метров бечевки

и четырехугольной металлической заглушки из иллюминатора великолепный подиум для своей капризной «Эрики». Правда, гостей теперь можно будет принимать только на койке.

Упоенно-тихое состояние духа — нет земли и быта. И даже плохие ледовые прогнозы не портят настроения. Погрузка идет нормально — принимаем в третий трюм коньяк и бормотуху.

На рынке у грузин купил слив, винограду, а на распродаже пять пар носков и штук десять разных журналов. Возвращался с берега обремененный денежной мелочью. Во всех карманах грамм по сто медяков и серебра. И почему у меня ее вечно столько набирается?

Возвращался на судно и думал о том, что, кажется, я уже и порты привык любить. А многие годы они меня как-то отчуждали и пугали. Нынче же нравятся даже порталльные краны с их верблюжьи-жирафной надменной неторопливостью.

А вот припортовые полупустыри, пыльный бурьян, малиново-фиолетовые репейники, напоминающие почему-то о Хаджи-Мурате; иван-чай, чахлая трава вдоль подъездных железнодорожных путей, капли мазута на шпалах и запах мазута от беспощадно загаженной прибрежной воды; и гудки, и лязг буферов, перекачивающий перестук трогającego товарного состава, и голоса диспетчеров: «Осторожно! Подаю на шестой!» — все это я люблю с детства.

И эти гудки, и гулкие голоса из металла обостряют ощущение приближающегося ухода в бескрайние пространства морей...

В мурманском магазине возле базара первый раз после войны видел продуктовые карточки — талоны на колбасу и масло.

Вечные сложности с электрическим чайником. Недавно сгорел теплоход «Касьянов». Из-за какого-то электроприбора сгорел. И вот теперь с обновившейся строгостью изымают со всех пароходов электрочайники.

Говорю В. В., что по такой логике следует отобрать ото всего народонаселения СССР не только чайники, но и электроутюги. Ибо, вероятно, никто из академиков еще не подсчитал, сколько необразованных старушенций сгорает по вине этой страшной техники.

В. В. философски:

— Вот ежели кто на судне повесится, то это единственный случай будет, когда все веревки не реквизируют с пароходов.

Я не сразу понял, о чем он. В. В., по своему обычаю, вдохнул, выдохнул и объяснил терпеливо:

— Понимаете, Виктор Викторович, невозможно пока морякам без веревок и тросов плавать. Потом-то придумают магниты какие-нибудь для притягивания судов к причалу. Вот тогда уж бди в оба, чтобы кто у тебя ненароком не повесился,— иначе и шнурки с ботинок отберут.

Из новостей науки и техники в области саннадзора в Мурманске. Пришла ревизорша-докторша и капала из пипетки какую-то хитрую химию на ладошки буфетчице и дневальной. Если на конечностях есть следы хлора, то капля реактива остается прозрачной, а если почернела,— значит, после уборки гальюна обслуга не сует руки в дезинфекционный раствор.

Наша Мандмузель, Нина Михайловна, на всей этой химии погорела. Зато внизу — дневальная Клава успела сунуть лапы прямо в негашеную известь.

Отошли от причала № 11 в 11.00. Буксиры «Торос» и «Кижичи». Раскантовались в ковше и тихо поплыли мимо корабельного кладбища, мимо огромного рудовоза «Александр Невский», мимо памятника заполярному солдату на высокой сопке, ну, и, конечно, мимо мыса Мишуков, где когда-то поднимали и топили австралийский транспорт «Алкао-Кадет», с борта которого началась моя первая дорога в Арктику.

Все время слежу себя: есть в душе тревожность или нет? Все-таки впереди лед, который всегда остается прежним, а я еще плохо знаю своего помощника Митрофана Митрофановича, рулевых матросов, характер судна. Темный лес вокруг. Так что слабенькая, но тревожность где-то под сердцем живет.

Одинаково не люблю как волевого сопротивления себе, так и податливой уступчивости, как хамства, так и угодливости. Это к тому, что мое замечательное сооружение — стол из кресла, брючного ремня и бечевки — оказалось за время моего отсутствия демонтированным.

Самодетельность проявил электромеханик. Он выпилил из двойной фанеры настоящую столешницу и фир-

менно закрепил ее на ручках кресла. Но! Я ведь теперь буду этим ему обязан. И еще мы с ним, увы, соседи...

На судне, как это бывает и на земле, ежели близкие соседи оказывают непрошеную услугу, то частенько выходит так, что принять ее ты вынужден и терпеть потом ее вынужден, хотя она, эта услуга, может оказаться и неудобной, и даже нелепой. Но ведь не станешь же обижать соседа, с которым тебе предстоит общая дальняя дорога.

## *В МОРЕ БАРЕНЦА*

Через сутки после отхода общесудовая тревога со спуском шлюпок до воды без посадки в них людей.

— А почему бы тогда их туда не посадить? — спросил я у В. В.

— Времени много потеряем. А тревогу попрошу провести вас.

— Есть.

Капитан хочет, чтобы экипаж меня увидел и чтобы я экипаж увидел. И еще он хочет сам на меня посмотреть.

Играю тревогу. Капитан заступает на ходовую вахту в рубке, отпустив Митрофана.

Начинается с того, что старпом выходит по тревоге без шапки.

Делать ему замечание или нет? На Севере по тревоге люди должны выходить добротнo одетыми: лучше потерять минуту на одевание, нежели потом простудиться. Да и много ли поработаешь на палубе без шапки или в тапочках? Старпом — образец для команды... Но... «Но!» Если капитан — мужчина крупный и грузный, то старпом Станислав Матвеевич Кондаков — просто громадина. Голову вынужден держать все время чуть склонив — плафоны на подволоках для него опасны. И потому к ношению головного убора решительно не приучен. Старпом — добряк, флегматичен, медлителен. Но иногда мастер называет его Гангстером. И тут не только юмор. Иначе Окта иан не сказал бы про него: «Наш чиф как звезданет из-за сарая, так хрен опомнишься вовек!»

Короче говоря, не будем делать замечания, просто скажем:

— Менингита не бойтесь, Станислав Матвеевич?

И на это насупился. Не любит не только замечаний, но и намеков на них.

При спуске левой шлюпки люди запутались с фалинем. Пришлось конец перетравливать и обносить. Спустили минут пятнадцать. Обычное дело, хотя и хорошего мало.

При подъеме правой шлюпки неравномерно пошли тали, и она перекосилась. Редкий случай. Тут и не поймешь, кто или что виновато. Командир этой шлюпки Митрофан. Промучились с подъемом на ветру и в холодрыге минут тридцать. Это уже просто безобразно. Боцман мучился с таями, а Митрофан только наблюдал. Он из матросов, прошел и боцманство. Почему не вмешивался?.. Из крестьян, первое городское поколение, сорок лет, образование среднее — капитаном никогда не будет.

Поинтересовался потом у В. В., как секунд шевелится во льдах?

— Митрофан Митрофанович — хороший грузовой помощник. И штурман тщательный. Но его под прессом надо держать. Легко плохим веяниям поддается. Вот возьмите кенарей. Своей хорошей песни у них нет. Обезьянничают. У меня как-то соседом композитор жил. И кенари через стенку его наслушались и такие фуги начали выдавать, как в Домском соборе. И вот учишь, учишь кенаря благородному пению, потом уйдешь на часок и забудешь форточку открытой. Вернешься, а кенарь воробьев наслушался через форточку и, как Фома Фомич любит говорить, уже только вульгарно чирикает. Так вот, перечить ему — Митрофану, — как и кенарю, не следует силой голоса. Если на кенаря начнешь орать, и он в ответ будет орать. Ты громче — и он громче. Сутки орать будет, и тебя переорет, и всех других птиц. Сплошная мука с этими кенарями...

— Вас понял, — сказал я, — спасибо.

— На здоровье, — сказал В. В., шумно вздохнув.

— Вы на подводных лодках служили когда?

— А чего спрашиваете?

— Курсантом проходил практику. При кислородном голодании на лодке трудно говорить. Прежде чем сказать что-либо, надо набрать полную грудь воздуха, и только потом, на выдохе, произнесешь нужную фразу. Иначе этакий неразборчивый, свистящий хрип выходит.

— Нет. У меня другое. Махонький осколочек левое легкое зацепил. С кончик парусной иглы осколочек. Его из меня магнитом уже в мирные времена тащили. Какие еще замечания по тревоге?

— Старпом без шапки. Общая отработанность нормальная. Концы шкентелей не оставили на палубе. Если по ним спускаться, по мусингам, без штормтрапа, то такое усложняет посадку.

— Кому как,— уклончиво подвел итог капитан.

Половину текущего года я провел в плаваниях. Конечно, много раздумывал о грядущих сочинениях, но ПИСАТЬ ничего общего с раздумываниями и придумываниями не имеет. Если раздумывания с писанием имели бы много общего, все люди стали бы писателями. Рука сильно сбита. Кулак не сжимается.

Из старого номера «За рубежом» вычитал у американского психолога забавный ряд безапелляционных суждений-наблюдений.

«Мужчины владельцы собак — агрессивны и любят подчинять окружающих своему влиянию».

В воображении я превладел тысячами собак, вне сомнений быстро завожусь, человек агрессивный, а вот люблю ли подчинять окружающих своему влиянию? Кажется, флот выбил из меня такую склонность, даже если она была.

«Женщины владелицы собак — весьма заботливые существа».

Вероятно, это верно для американок. Но заботливые женщины обычно аккуратные и чистоплотные, а русские собаколюбки бывают и распущенными, и не весьма чистоплотными.

«Любители кошек — люди замкнутые и малообщительные».

Гм...

Микеланджело, Хемингуэй и Октавиан Эдуардович Цыганов — выдающиеся любители кошек. К Микеланджело формула подходит абсолютно точно. К Хемингуэю вовсе не подходит. Октавиан замкнут в глубинах, но общителен нормально. Достаточно его любви к анекдотам. Они ничто без общения. Правда, стармех всегда держит дверь каюты закрытой, хотя капитан это делает только в часы сна и расшифровки криптограмм. Примеру капитана неколебимо следуют остальные командиры. Однако стармех, вполне возможно, закрывается наглухо в каюте не из внутренней замкнутости, а просто в пику большинству. Он, например, вовсе не употребляет спиртного. Спросил причину. Он спокойно, без юмора, объяснил, что, так как все вокруг спиваются и так как это массовое спи-

ваше, очевидно, кому-то нужно и выгодно, то он, Октавиан Цыганов, не желает кому бы то ни было доставлять удовольствие таким вредным для собственного духа и тела путем. Боюсь, что, если у нас введут сухой закон, стармех немедленно запыет горькую из голого протеста.

«Любители птиц — разговорчивы и легко заводят друзей».

В. В. умеет рассказывать, но разговорчивым его не назовешь. Друзей, если судить по тому, что мне буквально с первого момента знакомства захотелось заслужить его доброе отношение и приблизиться к нему, может обрести легко.

«Женщины-птицелюбки разговорчивы, легко заводят друзей, но при этом агрессивны и обожают командовать».

Знаю только одну женщину, которая десятки лет проживает с попугаем. Она подходит под такое заключение полностью — когда-то плавала, поднялась до старшего помощника, затем долго работала диспетчером в пародстве — должность для людей агрессивных и крутых.

«Хозяева черепах — методичны, карьеристы, способны к однообразной работе».

Если приравнять черепах к ракам, то такое годится для Митрофана. У него в каюте живут два рака. Одного зовут Володя, другого — Петя. Для раков сделан песочный пляж, проточная вода и весь вообще потребный сервис.

Меня все мучает вопрос: надо ли свободный конец шкентеля с мусингами при спуске шлюпки без людей оставить на палубе, или он должен разматываться из бухты в шлюпку. Кажется, мое вмешательство в ненадевание головного убора старшим помощником и вопрос шкентеля насторожили Василия Васильевича, а мне не хочется, чтобы он настораживался.

Хорошо помню, как в 1954 году на углерудовозе «Выгегра» у родной набережной Лейтенанта Шмидта при учебном спуске шлюпки выложился носовой гак и шлюпка стала раком, вытряхнув в воду боцмана и нескольких матросов. Я сбежал с мостика и прыгнул — именно прыгнул! — на шкентель с борта и спустился по мусингам к воде, чтобы помочь упавшим. Это говорит о том, что рукой шкентель не достанешь — на него с ботдека надо прыгать, а это по плечу только молодому мужчине и уж никак не пожилой буфетчице...



(Последние два абзаца редакторы настойчиво рекомендовали мне снять — слишком много спецтерминов. Но: 1. Кто из городских читателей сегодня знает происхождение манной и пшенной каши? Однако «деревенщики» словарики к своим книгам не прилагают. 2. Коли пишу я свою последнюю морскую книгу, то пусть в ней будет побольше от ПРОИЗВОДСТВА, а любое производство без чего-то непонятного для неспециалистов бывает?)

В ночь после тревоги около двух поднялся в рубку.

Судно шло на автомате, вахтенный матрос прибирался в душевой, Митрофан корпел над грузовыми документами в штурманской.

— Митрофан Митрофанович, кто же у нас вперед смотрит?

Он прошел в ходовую и стал у окна. Молча: мол, сам видишь, что океан пустой, чего тогда на него пялиться?

Я тоже начал игру в молчанку. Четверть часика отшагал из угла в угол без единого звука. Потом зашел в штурманскую — надо было глянуть на генеральную карту. В штурманской два стола. На одном путевая карта, на другом — в глубине рубки — генеральная. Там лампочка. Несколько раз щелкаю выключателем — не горит.

— Митрофан Митрофанович, почему лампа не зажигается?

Митрофан, все молча, вытащил из штепселя лампы другой шнур — как оказалось, от его счетной электронной машинки «Электроника» — и включил лампу. Характер! Нет, не характер, а манера у него такая дурацкая: не докладывает о свершенном. Подправит курс на рулевом автомате, введет поправку на дрейф — и промолчит. И ты только случайно обнаружишь, что поправка введена, сделано все правильно, но он не доложил. Это опасно. Но не мне же, временному здесь человеку, перевоспитывать второго помощника! Следует только так приспособиться, чтоб максимально сократить возможность неприятных последствий.

И рулевой матрос воспринял такую дурацкую манеру. Попросишь принести чай. Уйдет, придет. Молчит. Ждешь, ждешь: когда же он чай принесет? Наконец интересуешься: «Володя, я вас просил...» — «Так чай второй час на столике стоит, Виктор Викторович. Я думал, вы не пьете, потому что горячий не любите!» И все это безо всякого намерения поставить в неудобное положение и не от разгильдяйства. Просто повадки у моих соплавателей такие

своевольно упрямые. Посмотрим, кто из нас окажется упрямее в конце концов. Во мне упрямства с раннего детства не меньше, чем в старом ишаке. Но куда подевалась моя вспыльчивость? Ведь на берегу, где-нибудь в трамвае или в очереди, взрываюсь мгновенно, а тут только тихо улыбаюсь про себя — никакой раздражительности.

— Митрофан Митрофанович, давно «Электроникой» приучились пользоваться?

Наконец он открывает пасть:

— В прошлом году в Африке — кажется, в Мозамбике — пришли негры на экскурсию. Завели их ко мне в каюту. А я сижу, на счетах бабки подбиваю. «Разве у вас, — спрашивают, — разрешено в бога верить?» — «А с чего вы взяли, что я верю?» — «А зачем вы тогда четки перебираете?» Потом поняли, что к чему, и ну хохотать. Эти негры первый раз в жизни наши счета видели. Вот и купил машинку. За свои кровные. Стыдно стало. Сами-то они натуральные обезьяны: когда груз насыпью, осадку на миделе смотрят, а у парохода прогиб в корпусе на десять сантиметров...

Вот так потихоньку начинаем мы приглядываться друг к другу.

Пока идем на восток, все закаты будут перед моими глазами. Сегодня около семнадцати часов солнце ярко, холодно и отстраненно-весело светило в мой иллюминатор. А в ослепительной солнечной дорожке, которая совпадает с кильватерным следом, видны планирующие чайки. Горизонт на западе темный от туч, почти темно-фиолетовый, солнечная дорожка упирается в него, а чайки планируют у кормового флагштока. Вся эта картина возникает в полном величии и блеске, когда корма проседает на зыби. Килевая качка неторопливая, но глубокая.

И все равно это плохое утешение. Мне странно и неприятно видеть из каюты корму, я привык видеть нос.

20.00. А солнышко все еще не закатилось — торчит слева, градусов пять над горизонтом. Расписался аж в пятнадцати бумажках — инструкциях, рекомендациях, наставлениях: будьте любезны, товарищ Конецкий, отвечать за ледовое плавание теплохода «Колымалец». Вроде формальность, а когда расписываешься на этих документах, кое-что екает.

Главная сложность предледного этапа: с одной стороны, нельзя показать, что ты сильно интересуешься каки-

ми-то специальными вопросами,— например, как регулировать при движении в караване скорость, через число оборотов по телефону или только телеграфом? С другой стороны, нельзя и вовсе не проявлять интереса.

Если сильно интересуешься — значит, дрейфишь или показушничаеть свое тщание и старание. Если мало интересуешься — значит, ты разгильдяй и шапкозакидатель. Вот и находи золотую середину. Короче, вечно верное для флота: не торопись, торопясь.

Утром опять вспомнился Фома Фомич Фомичев. Открыл глаза, увидел на окне каюты след чайки — размазанный штормовыми брызгами след, фоном которому служили довольно небрежно выстроенные, но могучие валы, шедшие на нас строго с норда.

Это уже та зыбь, которую наработал ветер за последние сутки.

Чайка же фланировала, вероятно, с наветренного борта, и ветер принес ее гуано на иллюминатор. Вот я и вспомнил бессмертного Фому Фомича и его философские размышления о коварстве чаек и необходимости фосфора для мозговой деятельности. А ведь люблю я этого своего героя. И неужели этого все мои морские критики-начальники не почувствовали?

Быть может, читателю интересно будет узнать, что уже после выхода книги «Вчерашние заботы» я столкнулся с прототипом Фомы Фомича нос к носу в коридоре пароходства. Столкнулись мы, он схватил меня за пуговицу, я инстинктивно прикрыл подбородок по всем законам бокса левой рукой, а правую на всякий случай привел в боевую готовность. Ну, думаю, сейчас он мне все пуговицы на мундире откусит. Но, как и всегда в жизни, Фома Фомич поступил сверхнеожиданно и опять умудрился удивить меня до колик.

— Всю, Викторыч, твою вульгарную книжку прочитал,— говорит Фомич,— вот, значить, глупость так глупость! И где ж ты, значить, такого идиота Фому выкопал?

Я перевел дух и объяснил, что мой герой вовсе даже не идиот, а вполне квалифицированный судоводитель, но прототип категорически с этим не согласился.

У нас на палубе между фальшбортами и комингсами трюмов триста сорок восемь бочек квашеной капусты и триста тридцать три бочки соленых помидоров. От па-

лубного груза пахнет провокационно-возбуждающе. Когда капусту и помидоры схватит морозом, запах перестанет действовать на экипаж разлагающе — так я надеюсь.

Врагов на этом судне я пока своим верхним чутьем не чувствую. Враги, неприязненно относящиеся к тебе люди из экипажа, в любую секунду могут возникнуть из обыкновенной психологической несовместимости. Но пока, кажется, я здесь миновал чашу сию, хотя до конца в этом нельзя быть уверенным; мой статус в силу возраста высок, и не каждый, кого я могу раздражать, решится на открытое выказывание своего раздражения. Надеюсь, что в таком случае почувствую и скрытое.

О Нине Михайловне. Одинока, мужа нет, детей нет, есть двухкомнатная квартира в дорогих коврах и «Жигули», на которых она сама ездить не может, так как живот не проталкивается за руль.

Какое удовольствие от горчицы! Накупили за границей. А я уже забыл ее вкус и вкус черного хлеба с горчицей и солью. Господи, это какой же талант надо иметь, чтобы оставить Россию без горчицы или уксуса, а?!

Седьмое августа. Баренцево море.

Боцман принес теплую одежду. Ее фасон изменился за то время, что я не плавал в Арктике. Приведу целиком текст бумажки, которую обнаружил в кармане куртки с капюшоном:

«ПАМЯТКА по уходу за мужским зимним костюмом для работы в особых метеорологических условиях: 1. Стирать нельзя. 2. При глажении осторожность не требуется. Изделие можно гладить при температуре более 160°. 3. При химической чистке требуется осторожность. Обработка изделий должна производиться с применением тетрахлорэтилена или тяжелого бензина (уайт-спирита)».

Интересно было бы встретиться с автором этого сурового текста. Во-первых, чем мужской зимний костюм должен отличаться от женского? Во-вторых, ежели нельзя стирать, то зачем надо гладить? В-третьих, где я, к чертовой матери, найду в особых метеорологических условиях тетрахлорэтилен или тяжелый бензин (уайт-спирит)?

Прочитал у переводчика сонетов Шекспира Игнатия Ивановского:

«Первый признак русской литературы совпадает с первым признаком любви: другой человек тебе дороже

и интереснее, чем ты сам. По наличию степени этого признака и располагаются русские писатели. В центре — Пушкин, Толстой, Достоевский».

Очень точно сказано! (Кроме, конечно, «наличия степени признака».) И: кто это любит Достоевского? Поклоняться ему можно, уважать, потрясаться; но ЛЮБИТЬ?

На траверзе Канина Носа сильно качнуло. У В. В. в каюте открылся шкаф, откуда вылетели пять тарелок, которые, естественно, разбились. Это явление природы он объяснил тем, что было без двух минут четыре утра, то есть две минуты до смены вахт. А именно на смену вахт, по утверждению В. В., всегда приходит и бьет судно особенно подлая волна.

Чайкино гуано, которое напомнило мне Фому Фомича, к полудню брызгами смыло.

Развиднелось.

Читаю о Томсоне и удивляюсь всяческим пересечениям человеческих судеб как на суше, так и на море. Пожалуй, эти человеческие пересечения нынче единственное, чему я не разучился удивляться.

В разгар шторма все-таки принял ванну. Должен сказать, что это мероприятие при штормовой качке не доставляет большого удовольствия. Особенно когда из крана время от времени вместо воды вырываются сгустки перегретого пара.

После такой ванны приснился ужасный кошмар, о котором даже не хочется вспоминать.

Встал около пяти утра.

Поднялся на мост. На вахте был старший помощник. Мы со Станиславом Матвеевичем еще совсем мало знакомы. Спросил его о поломанной руке. Он рассказал, что руку ему перешибло в Бремене на «Ленинабаде» тросом, когда швартовались при отжимном ветре. Еще рассказал про разгрузку в Антарктиде на ледяной барьер с теплохода «Бобруйсклес». Тогда у них в районе четвертого трюма обвалился огромный кусок льда. По опрокидывающемуся монолиту тракторист пытался вывести трактор с тракторными санями. Связка, конечно, ухнула в трещину. Тракторист уцелел.

В ответ я рассказал о волне-убийце, на которую мы наткнулись, когда шли от Мирного. И оба почувствовали на мгновение этакое родство душ. Потом я спустился

в каюту к В. В. и пришел оторвавшуюся пуговицу к пиджаку — иголку взять забыл в дорогу.

А В. В. брился.

Бритье В. В. — это серьезное мероприятие. Электробриту он презирует. Только опасное лезвие. Попробуйте бриться опасной бритвой на штормующем пароходе — ледяное хладнокровие надо иметь. Весь процесс, правда, оснащен самыми современными кремами, мазями, особыми кисточками, французским одеколоном и прочее, и прочее. Короче говоря, ритуал.

К полудню нас прикрыла от ветра Новая Земля, и качать почти перестало.

Меня всегда удивляет, как безмятежно старшие по должности моряки способны потревожить — например, поднять среди ночи — младшего морячка для уточнения какого-нибудь сущего пустяка: «Где список радиомаяков СМП?» Вероятно, корень здесь: меня-то так в свое время сколько тысяч раз безо всякой настоящей причины поднимали; ну, а теперь я тебя поднял...

В бюллетене словацкой литературы под названием «Меридианы» вычитал: «Ян Штевчек особо подчеркивает „феминизацию гуманизма и литературоведения“. Не только в Словакии, но и во всей Европе литературу изучают главным образом женщины. „К этому положению я отношусь, к сожалению, скептически, потому что женский интерес к литературе или слишком эмоционален, или же, как это ни парадоксально, весьма рационален, механистичен... В будущем, судя по всему, литературоведение захватят женщины: может быть, от этого оно сделается более драматичным, личностным и воинственным“».

Ну, это считает Ян Штевчек. И про литературоведок. А я скажу о прозаичках.

Когда наших прозаичек и поэтесс поздравляют печатным образом, то не указывают, с какой круглой датой поздравляют. Входят, так сказать, в женское положение и их вековую привычку темнить с возрастом. И не знаю я случая, когда наши летописицы запротестовали бы. О чем это говорит? А о том, что женщины-писательницы целиком, с ручками и ножками, отдаться писательству не в состоянии. Они вечно разрываются между своим земным, плотским, женским существованием и литературной работой. А это в свою очередь неизбежно приводит к сдвигу между двух стульев.

Было у меня несколько приятельниц, пишущих прозу. Давно это было. Молоденькие и довольно соблазнительные. Никак уж не синие чулки. И все рассказывали про литературные победы (на фронте печатания своих рассказов) одинаковые истории. Приходит соблазнительная писательница к редактору журнала, приносит рукопись. Редактор клюнет на ее чары, просит о свидании, короче говоря, намекает, подлец и феодал, на постель. Писательница неуловимо-уловимым намеком дает понять, что все в свое время произойдет как по писаному. Редактор ее опус проталкивает. После чего гордая писательница сообщает, что он, редактор, не на ту нарвался, что она верная жена и вообще неприступный Эверест.

Слышал я таких новелл довольно много. А представьте-ка теперь другую ситуацию. Приходит симпатичный молодой писатель к редакторше женского журнала. Грымза эта редакторша, одинокая неудачница. И начинает писатель неуловимо-уловимым намеком выказывать этой гримзе влюбленность, очарованность. Та подтаивает и рассказ прозаика печатает. После чего писатель берет ноги в руки и отправляется обратно к себе в кабинет, показав на прощанье редакторше нос. Так вот, задается вопрос: можно человека с подобной нравственностью назвать русским писателем? Да он, кстати, и никогда в жизни никому не признается вслух про такие свои делишки — стыдно, грязно, пошло за пределами, унизительно.

А женщины-писательницы рассказывают подобное ничтоже сумняшеся, даже с этакой хвастливой гордостью и веселым хохотом.

Мораль: мораль женщины и мужчины — штуки вовсе разные.

Но ежели женщина в своих писаниях полностью подделывается под мужскую прозаическую повадку, манеру, нравственность, то это уже не женская литература. А кому подделки вообще нужны?

Я печатаю это и слышу стальной лязг двери входа в машинное отделение; затем вспышка всяких машинных звуков, затем захлопывающийся лязг двери, затем особенно громкие голоса людей, которые вышли из грохота, где они уже за пять минут автоматически привыкают орать, а не говорить.

Орет Октавиан Эдуардович:

— Ты красишь, как матрос! Где видишь, там и красишь! Матрос видит трубу и красит с того бока, с какого видит! А ты, декадент, крась, как моторист! Где не видишь — вот там и крась! Понял? Еще инженер будущий! Муравьев тебе надо в штаны напустить!

— А это зачем? — спрашивает декадент несколько ошалело.

— Чтобы шарики в голове быстрее шевелились.

— Вы меня оскорбляете! — дерзко заявляет молодой бунтарь.

— Может, мне на тебе жениться? — интересуется старший механик. — Ты мне всю посевную завалил, а я на тебе по чистой любви женюсь, а?

— При чем тут посевная? — совсем запутывается декадент-практикант.

— Простой ты человек, прямо как хозяйственное мыло, — говорит стармех и хлопает дверью своей каюты.

Октавиан Эдуардович старше меня, а выглядит не больше чем на сорок.

Двухпудовая гиря — это все, что он взял с собой в рейс из вещей, потому что должен был сдать дела другому и в Арктику не идти, но... С гирей не расстается ни дома, ни на путях-дорогах. И вот почему. Когда наступает момент в компании пьющих идти за добавкой, стармех предлагает не банальный «морской счет» для определения жертвы, обреченной на путешествие по закрытым магазинам и ресторанам, а соревнование: небольшое, шуточное, по поднятию гири.

Нет такого мужчины, которому в подпитии не казалось бы, что он запросто обыграет в шахматы Карпова или влезет на Адмиралтейскую иглу. Мужчины хватаются за гирию. А жертвой, обреченной на путешествие по закрытым дверям, розыски таксера с бутылкой под сиденьем и пр., делается тот мужчина, который выжал гирию меньше всех. Сам стармех, как он утверждает, еще ни разу в жизни за добавкой не ходил. В какое место его щуплого тела ни ткни пальцем, там мгновенно вспухает каменный бугорчик, и твой палец отскакивает, будто ударенный током. Здесь никакого преувеличения я не допускаю.

Демоническая личность ниже среднего роста. Такой черный, что похож на ассирийца. Это внешне. Внутренне тоже черный, от мрачного юмора. Глядя на картину сплошных ледяных полей вокруг омертвелою судна, бор-



мочет: «Овсяная каша с рыбой! Какая гадость! Виктор Викторович, вы знаете, почему не делают ледаколы на воздушной подушке? Они бы тогда запросто сюда к нам добрались, а?»

Постоянен в своих привычках и привязанностях. Пожалуй, он единственный из моих знакомых моряков, который уже десять лет не меняет судна. Мучается тем, что не пересекал экватора. Потому вполне готов к восточному варианту возвращения домой. Тогда путь «Колымалеса» проляжет через Малаккский пролив. Правда, до экватора все равно чуть-чуть не хватит, но Октавиан Эдуардович уверен, что уговорит капитана сделать маленький зигзаг.

Игрок. Настоящий, вечный Игрок. Я знаю еще только одного такого вечного Игрока — поэта Александра Межирова. Оба могут играть во что угодно, оба всегда по абсолютному счету в выигрыше, оба превосходно владеют собой во время игры — и при проигрыше, и при выигрыше. Оба безжалостны к партнеру и всегда играют красиво — красиво выигрывают и красиво проигрывают.

Умеет удачно покупать хорошие вещи: в Мурманске умудрился купить отличный полушубок — на зависть всему экипажу.

Часто простуживается, но никогда никаких жалоб на здоровье от него не услышишь.

И под всей его тренированностью, хладнокровием, спокойствием есть мощный слой нервности — нервности породистой лошади. Несколько раз я замечал, что перед началом игры — в козла, в шеш-беш — он мертвенно бледен.

Очень самолюбив. И если считает свое самолюбие ущемленным, способен вести себя не самым умным образом. Предположим, распределяются премии среди экипажа. Стармеху назначается десять рублей, а старпому пятнадцать. Октавиан Эдуардович, которому в высшей степени наплевать на пятерку, угрюмо и непреклонно требует себе тоже пятнадцать: «Я не хуже старпома!»

Сейчас на планете что-то около ста пятидесяти государств. Он знает все их названия и дни рождения. Являясь к завтраку, торжественно говорит: «С праздником, товарищи! Сегодня День провозглашения независимости Сьерра-Леоне!» При этом он торжественно целует масляный золотой перстень. Кроме перстня он носит и обручальное кольцо.

Раз в неделю наша буфетчица выставляет на стол аджику. Если аджика получается в норме, то Октавиан Эдуардович говорит: «Напильником — по пищеводу!»

Он умеет ценить красоту и не боится показать это. Как-то позвал меня из каюты на палубу, чтобы поделиться зрелищем удивительного по пышности и бешенству красок заката.

Суеверен. Я как-то заругался на наш двигатель («Зульцер») за сильную вибрацию, стармех вспыхнул: «Не говорите о нем так! Он обидится!!» Я спохватился и сразу: «Нет-нет! Он хороший, очень хороший! Даже винт не дал нам погнуть в такой катавасии!» Октавиан Эдуардович повеселел, посветлел и ласково сказал про двигатель: «Он умный — поджал винт, как собака хвост в нужный момент». Вообще любит зверье. Знает всю серию чапаевских анекдотов типа «Петька: „Василий Иванович, белого привезли!“ Чапай: „Сколько ящиков?“»

В 12.00 принял вахту. Нет второго матроса, а тот, что есть, Стасик, первый раз идет в Арктику. Сразу удалось связаться по УКВ, канал «16» с ледоколом «Драницын». Его оказалось отлично слышно. И он приказал идти к мысу Желания, пока не упремся в восьмибалльный лед, там лечь в дрейф и ждать его.

Получилось эффектно: я вошел в рубку и сразу связался, а до этого никто не догадался вызвать ледокол по радиотелефону. И сразу стало четко ясно, что предстоит делать. А вся суть была в том, что не восьмибалльный лед ждал нас на курсе, а просто-напросто ледоколу надо было — не терпелось! — получить почту из Мурманска, которую мы ему возем.

Ослепительное солнце, почти полный штиль... Ах какое над головой небо, какая густая, но прозрачная голубизна, в самом зените — синее, к горизонту чуть зеленоватое. Ах какой четкий, тушью отчерченный горизонт. Ах какая синяя безмятежная вода и на каждой зыбине — голубой блик. Ах какие белоснежные маленькие чайки, семействами, стаями штук по двадцать, и орут нежно, даже ласково, — прибрежные чайки, прилетели с Вайгача или Новой Земли.

Солнце так сильно грело левый борт, что выплескивающаяся на слабом покачивании из ватервейса вода сразу начинала испаряться из лужиц на стальной, покрашенной зеленью палубе. Парок отбрасывал легкую тень на стенку надстройки. И от нагретого воздуха по белой

стенке надстройки тоже мерцали и дрожали прозрачные зыбкие тени-блики.

Цыкнул на Митрофана для дела и для некоторого закрепления уверенности в себе:

— Почему не записали в журнал?! Прошу, пожалуйста: «В двенадцать десять вышли на связь с ледоколом „Драницын“, получили приказание лечь в дрейф у кромки восьмибалльных льдов».

Митрофан послушненько записал.

Знаете, как колышутся тридцатитонные льдины на зеркальной, безветренной, но мощной — под три метра высоты — зыби? Они, братцы мои, колышутся весьма величественно — как подвыпившие короли гиппопотамов. И не дай господь вмазать в такого гиппопотамьего короля!

«Драницын» показался с норда белой точкой, приказал ложиться на курс пятьдесят градусов и держать самый малый. Ледобои поленились спускать шлюпку, решили сами подойти носом к нашей корме за почтой.

Надстройка у ледокола огромная — шесть, что ли, этажей. И кажется он, когда идет прямо на вас, огромным «Кон-Тики» с четырехугольным гигантским парусом, наполненным ветрами всех ваших надежд.

Еще разок чуть сунул Митрофана Митрофановича носом в угол, ибо ему не пришло в ум, что для почты надо приготовить мешок и веревку. Они, правда, потом не понадобились: ледокол брал почту только для себя, а не на все ледоколы, как это обычно бывает. А для маленького пакетика мешок не нужен. Конечно, кабы ледокол знал, что любимые пишут письма в таком мизерном количестве, то не стал бы рисковать, подходя к нам практически вплотную.

Итак, он приказал лечь на курс пятьдесят градусов и держать самый малый ход. Я все это выполнил и указал молодому рулевому Стасику на необходимость держать на курсе очень точно. Пришел В. В. и без всякого энтузиазма наблюдал за тем, как ледокольная могучая туша заложила левый вираж и начала приближаться к нашей тощей корме, которая вздымалась и опускалась на зыбях.

— Чего он делает? — спросил В. В.

— Ему лень спускать вельбот, он будет брать почту, подойдя вплотную.

В. В. схватил трубку и спросил, на какую дистанцию собирается приблизиться ледокол. Тот ответил: «Пять — десять метров».

— Пятьдесят метров — это еще не вплотную, — сказал В. В. — На пятидесяти метрах пускай резвится как хочет.

— Он не говорил «пятьдесят», он сказал пять — десять, — сказал я.

— Чушь! На пяти — десяти метрах он так тукнет нам в корму, что поплывем без винта и руля.

— Они здесь привыкли к таким шуточкам, — сказала я.

— Зато я не привык! — сказал В. В.

Мучительная процедура продолжалась десять тягучих и неприятных минут. Невольно подумаешь о стыковке в космосе будущих орбитальных станций размером с Исаакиевский собор. Таким собором навис над нами «Драницын». Его нос с четырехугольными клюзами, из которых торчали десятитонные якоря, медленно и неотвратно приближался, то вздымаясь метра на четыре, то плюхаясь обратно в равнодушную синюю зыбь.

В. В. плюнул за борт и ушел в рубку. Он не мог видеть такого безобразия. Я прошел к заднему ограждению мостика и забрался на релинги, чтобы видеть лучше.

Метров с пятнадцати матросик с «Драницына» метнул бросательный конец. И сразу удачно. Видеть свою корму я не мог, но, как только заметил, что бросательный натянулся, прыгнул к телеграфу и врубил средний вперед.

Ледокол выдернул почтовую добычу и отвалил вправо с таким выражением на тупоугольной морде, что казалось, он довольно урчит.

Если бы любимые женщины ледокольщиков видели всю эту операцию, они, верно, стали бы писать морякам чаще и больше. Эх, риск, риск; никуда ты с моря не денешься, вечно ты рядом...

В. В. на мои тоненькие вопли о том, что нет впередсмотрящего матроса, а рулевой первый раз в Арктике:

— Все мы когда-то куда-то идем в первый раз, Виктор Викторович, — и длительный вздох. — Так что смиритесь.

— Есть, доплывем и с такой вахтой.

В. В. на мою попытку вмешаться в работу старпома:

— Давайте молодым дорогу.

А через минуту сам не выдержал и дал «стоп»!

Ничего, привыкнем, притремся, ну, и знаменитое «упремся — разберемся».

Не сам ли капитан «Драницына» ждал письма, думаю я сейчас про нашу стыковку с ледоколом? Пожалуй, ради других не пойдешь на такой фортель. И потому не буду сообщать истинное название ледокола. Надо помнить, что не суди и не судим будешь...

Нужно добиться такого положения, когда все члены вахты почувствуют влечение друг к другу, захотят еще и еще раз попасть вместе в трудную ситуацию, чтобы работать вместе, ощущать плечо друг друга, чтобы даже считали часы, когда приходится быть врозь...

Из морских особенностей. Водоплавающие мужчины за обедом и ужином едят хлеб, довольно щедро намазывая его маслом,— и с первым, и со вторым. Моряки не чавкают. Не встречал в кают-компаниях человека, который ел бы громко. Если моряк приходит к тебе домой в гости, а у тебя нет жены или прислуги, то, поев или даже попив чаю, он выкажет желание помыть использованную посуду. А между прочим, женщины, которые приходят ко мне, как правило, не моют за собой даже чашки.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Лекарство против страха“!»

Всю дальнейшую вахту обдумывал философски метафизический вопрос: почему если уронить выстиранные, мокрые кальсоны за борт, то они мгновенно утонут? А когда их пускаешь плавать для прополаскивания в наполненную водой ванну, то они, хитрецы, не тонут?

Попросил Митрофана помочь в решении вопроса об этом загадочном явлении природы.

— От ваших вопросов моему телу становится жарко,— сказал Митрофан, снял свитер, завязал рукава свитера у себя на животе и принялся за определение места по радиопеленгам, напевая:

Рация испортилась — ловит лишь Пекин,  
А кораблики взбесились—как пьяный хунвейбин...

На густо-сером небе солнце выглядело луной. Оно хорошо видно, оно есть — круглое, вроде бы привычное, но

без лучей. Это такая дырка в небесах, которые тоже белесо-серого цвета.

У моего электрического чайника немного деформирована крышка. Я подначил В. В., и тот вызвал к себе Октавиана Эдуардовича. Сказал строго:

— Я высажу вас, старший механик, на необитаемый остров. И — всего на три дня провианта. Если вы не почините крышку у этого чайника, — здесь В. В. подумал и добавил: — И выдам для обороны от медведей дробовик с одним стволом.

— Не дадите, — невозмутимо сказал Октавиан Эдуардович. — При вашей скупости и на один день провианта не дадите. Да и вместо дробовика швабру всучите...

Однако через час крышка чайника была в ажуре.

В пяти милях от острова Оранский обнаружил по РЛС лед. Легли на девяносто градусов. Сбавили ход до среднего. Все это сделали по моему мудрому указанию, ибо я, обнаружив лед там, где, согласно прогнозу, его быть не должно, напугался.

В девяти милях на юго-восток от мыса Желания вошли в лед сплоченностью три-четыре балла. Последовали переменными ходами и курсами, обходя большие льдины с осторожностью.

Если в Антарктиде на судах у женщин от наэлектризованного воздуха встают дыбом волосы, то в Арктике для мужчин нейлоновые рубашки превращаются в очень опасную штуку. Иногда так долбанет током, когда ее надеваешь, что кажется — попал в лейденскую банку.

За бортом очень синие волны. Среди них плывет рыжее бревно. На бревне сидит белая чайка. И огромная радуга. Через все небо. Радуга втыкается в волны с левого борта, а правым своим основанием упирается в далекие скалы мыса Желания.

Второй раз выпало огибать Новую Землю с норда. На этом меридиане всегда мысленно отмечаю, что переливаюсь из Европы в Азию.

Мне вспомнилось, что двадцатого августа 1953 года был произведен, как я дословно помню из сообщения ТАСС, «взрыв одного из видов водородной бомбы».

А первого ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане американцы взорвали свою водородную мощностью двенадцать мегатонн.

Между прочим, США взорвали «устройство», а наша бомба уже тогда была транспортабельна.

Двадцатого августа 1953 года, благодаря неуставному обращению по начальству, я оказался довольно далеко от эпицентра взрыва — в заливе Бирули, бухта Северная, западная часть полуострова Таймыр. Старенький «Ермак» завел нас туда, укрывая от льдов пролива Матиссена. И мы увидели белого медведя, который брел по самому берегу, вдоль кромки слабого прибоя, мимо покинутых людьми черных домов-развалюх. С военного тральщика ударили по медведю из спаренного зенитного пулемета, но, слава богу, не попали. Потом мы высадились на берег. Могилы зимовщиков были возле самых домов. И мы очутились среди неряшливой торопливой смерти. Одну надпись на кресте из плавника я разобрал. Там был похоронен ребенок, проживший на свете одни сутки, и его мать. В развалившихся хижинах валялись еще не сгнившие до конца бумаги, возле входных тамбуров торчали кучи слюды, и вообще создавалось впечатление, что люди все неожиданно вымерли или торопливо ушли. Но с взрывом нашей водородной бомбы все это никак не было связано. Мы и понятия не имели о том, что влетаем в новую эру термояда. И в моей «записной книжке штурмана» на двадцатое августа 1953 года целый листок заполнен расчетами высоты нижнего края Солнца — вероятно, я тренировался в решении астрономических задач, правильно понимая, что в Тихом океане это мне пригодится.

Странные у меня способности. Читал всегда очень много. Но пробелы всплывают анекдотические. Например, потребовалось заплывать в США, чтобы понять, почему с детства путались индейцы, индусы, индийцы и удивляла индейка. Оказалось, что индейка — любимая птица индейцев и что это открыл великий Колумб, когда спутал Америку с Индией. Неужели есть еще люди, которые открывают подобные истины, только дожив до седых висков?

Я не лгу и не кокетничаю. Это все правда.

А проплывая Югорским Шаром, то есть над Уральскими горами, которые здесь уходят в море, чтобы возникнуть затем островом Вайгач и Новой Землей (много лет назад это было, еще на пассажирском лайнере «Вацлав Воровский»), я впервые задумался о той неразбери-

хе и сложности, которую внесли в российский характер древние старцы-географы, проведя границу между Европой и Азией по сухопутному Уральскому хребту. Когда континенты разделены океанами — все ясно и понятно. Но у нас получилось так, что рязанцы и новгородцы — европейцы, а омичи или томские ребята уже азиаты.

Именно тут с неуверенностями и страхами, но четко открестился навсегда от славянофилов и от западников, заняв позицию «оси симметрии», а по-русски — «между двумя стульями». Во всяком случае, я надеюсь, что в этих заметках невозможно обнаружить как западничества, так и той своеобразной консервативной утопии, которая является разновидностью феодального социализма и началась с диалога Хомякова и Киреевского добрых полтора века назад. В центре славянофильской идеи торчала аксиома исключительности русской истории, русского характера мышления, русской духовности. Как будто история малайцев или эскимосов не исключительна!

Каждый народ есть исключение из правила.

Таким образом, и дураку ясно, что правил, а значит и аксиом, вообще не существует. А если нет правила, то откуда можно исключаться?

Но вот сохранение своей неповторимости есть задача любой нации и народа. Не растерять себя в пестроте мира, когда общение между соседями делается с каждым днем легче, ибо расстояния сокращаются, почта при помощи индексов работает бесперебойно, спутники ретранслируют телепередачи, — вот в чем главное. И здесь художникам всех родов войск первое слово.

Как пойдет развитие нашего национального характера, если современная жизнь категорически требует и от нас рационализма, деловитости, расчетливости, меркантилизма?

Ведь все наши установления по обычным и тринадцатым зарплатам, по премиям и сверхурочным, по судовым затратам и отпускам, по экономии и качеству, по «обработке недостающего штурмана», все начеты, вычеты уже столь деловиты и рациональны, что любой американский капиталист или даже немецкий бухгалтер давно бы спятели, ибо у них закваска не та: не наша у них закваска.



## В ҚАРСКОМ МОРЕ

...тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем. Ему принадлежит весь мир, и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды.

*Остаток надписи на поморском кресте. (Сам не видел, и плохо верится в такое поэтическое философствование поморов над морем, но больно уж соблазнительно!)*

Десятое августа. Подходим к острову Белый, редкие льдины.

В 12.00 довернули на 90°.

Траверз Белого-Западного, затонувшее судно рядом (1932 год).

В момент поворота — три моржа на льдине.

Солнце прорывами, ветерок вовсе легкий, слабенъкая зыбь.

Да, ничего-то здесь за те тридцать лет, что заносит сюда судьба, не изменилось: те же три радиомаяка, и так же прешь, пока в Полярную звезду не упруешься, ибо все влево и влево забираешь со страху перед мелководьем возле острова.

Необходимо начинать вентилировать трюма, ибо овощи гниют. Чтобы наладить проветривание, надо вскрыть вентиляционные крышки, которые расположены в основаниях треног мачт.

Барашки крышек, конечно, насмерть закипели ржавчиной. Матросам придется крепко повозиться с ломami и кувалдами. И вот я вижу, как у Митрофана Митрофановича происходит душевная борьба. Наконец решается и говорит матросу:

— Сходи, пожалуйста, Володя. На руль сам стану. В первом номере верхний ряд ящиков плесневелый; запах уже затхлый...

Володя, которому вообще-то на данный момент положено нежиться в теплой рубке:

— На румбе сто тридцать семь! Ходит немного лево, ветром корму забрасывает.

— Вас понял! — отвечает Митрофан и принимает руль.

Никуда не денешься: наш второй помощник несет заботы по грузу честно, не за страх, а за совесть — образцовый перевозчик.

И ведь в силу своей тяжелой судьбы он будет нести эти заботы до самой пенсии.

В. В. плохо себя чувствует.

Но молчит.

Мертвый штиль.

Нерпы.

В 19.00 снялись с дрейфа. За подошедшим «Мурманском» следует «Енисейск», затем мы. Дистанция пять кабельтовых.

Сплошной слабый лед.

Сплошной сильный туман. Скорость двенадцать узлов.

В. В. явно болен.

Когда В. В. ложится в койку у себя в спальне с серьезными намерениями поспать всласть, то выкидывает свои брюки на кресло в кабинете. Это означает как бы его полную сдачу в плен Морфею, то есть он как бы выкидывает белый флаг, который, правда, выглядит довольно грязным. Брюки одиноко висят на кресле во тьме каюты, но если кто-нибудь откроет дверь, то свет из коридора падает на кресло, и брюки В. В. издают охранно-предупреждающий сигнал.

Мне очень мешают работать глаза, то есть очки, то есть почти полувекое издевательство над самим собой — взять хотя бы вечное чтение на боку на диване...

Очки не лезут в тубус радиолокатора, его приходится растягивать, чтобы пропихнуться. Затем очкам оттуда не выпихнуться. Затем суешь их бог знает куда и хватаешь бинокль — попробуйте так работать! И еще с В. В. оптические причиндалы мы путаем: схватишь чужие и плянешь в недоумении на карту, ибо видишь черт знает что — как сквозь очковую змею. И так хочется шмякнуть оптику об палубу! И В. В. хочется, и мне. И с биноклем сложности. По вековому закону бинокль мастера хранится на мостике в отдельном пенале и никакой царь тронуть его не имеет права. Линзы подогнаны по капитанским глазам. Но рядовые бинокли на «Колымалесе» в таком безобразном состоянии, что пользоваться ими могут только рысьеглазые штурмана. И согласие на эксплуатацию капитанского бинокля я получил, но, будучи мужчиной абсолютно порядочным, после каждого пользования стараюсь вернуть окуляры на капитанские отметки, а на это тоже уходят секунды, и отвлекаешься от

окружающей ситуации. Думаете, это мелочи? Нет в море мелочей, вовсе нет...

И при всем при том выяснилось, что я первым обнаруживаю льдинку на курсе и встречное судно в тумане — раньше штурманов и матросов. Это закономерно. Недавно было проведено специсследование морского глазомера.

Дистанцию до одной морской мили капитаны измеряют на глаз практически безошибочно, а на одной—трех милях ошибаются примерно на 0,1 мили. Помощники капитанов и матросы обнаруживают более значительную погрешность: их ошибка достигает 0,22—0,25 мили на милю. Однако когда оцениваемое расстояние увеличивается до трех—пяти миль, результаты и капитанов, и их подчиненных выравниваются.

Повышенное ощущение ответственности — вот в чем весь фокус.

Карское море начинает пошумливать.

Из радиорубки звенит морзянка.

— И зачем вы, Виктор Викторович, в Мурманске сливы покупали, когда надо яблоки? — вяло интересуется В. В. — Вы к морзянке как относитесь? На нервы не действует? Вот в сорок шестом преподавала нам морзянку любовница знаменитого генерала. Ее с фронта генерал выгнал, когда забеременела... Она на возвышении сидела за столом, а мы пониже ее, за детскими партами на ключах... Глядим на ее коленки — потрясающие коленки под столом, такие, что... Чего? Авторулевой у нас как? Рыскаем вроде слишком... Анна Ивановна ее звали, ну, а мы между собой Анютой... Помните, цветочница Анюта?.. Не лезет никому в башку морзянка. Анюта жалуется лаборанту: курсанты у меня плохо занимаются... Врубите полный, Виктор Викторович... Ну, лаборант, ни слова не говоря, принес лист фанеры и забил стол с фасада, коленки скрылись, и мы уже нормально заниматься начали... Рулевого на руль! Мы ж на мелководье выходим!.. Сперва думали, что про знаменитого генерала это все чушь и слухи, но у Анюты заболела дочка. Не помню почему, но меня отправили к ней домой с лекарствами... Электромеханика на мостик! Опять авторулевого в крайнее положение загнали... Вот он на мелководье и вырубается... Да, грустная история... Во-первых, оказалось, все это правда. Я у нее знаменитую генеральскую фотографию увидел. Ну, а дочка померла...

Электромеханик у нас подменный, из пенсионеров, которые подрабатывают в арктических рейсах. И вечно он оказывается в бане, когда его вызывают на мостик.

И тут влетел на мостик полуголый и с банкой спирта в руках — спирт для протирки контактов. Он неделю этот спирт у Октавиана Эдуардовича выпрашивал.

Влетает на мост, спотыкается — трах! бах! — банка со спиртом вздрезбег.

Рулевой от руля, жадным голосом:

— Лей, старпер, еще!

А мы и без добавки начинаем потихоньку на мостике косеть. Спирт пропитал ковер.

— Тащи капусты с палубы! — говорит В. В. электромеханику. — Тебе не электричеством заниматься, а закуской!

— Да есть у меня искра! Есть! Все глядите! Есть искра! Не по моей вине авторулевой барахлит! Это по механической...

А в это время из лоцманской каюты доносится песня на слова Александра Володина: «Забудьте, забудьте, забудьте меня... Мы жители разных планет...»

Я глядел на старого электромеханика, который уже боится лезть в схему, потому что на старости лет начал бояться самого электричества; слушал дурацкие слова в исполнении Эдуарда Хиля и думал о том, что каждый по-своему с ума сходит.

Кроме очков больше всего тревожат ноги: немеют икры, и при ходьбе кажется, что икры и ляжки набиты ватой — боюсь никотинного варианта, когда дело кончается ампутацией. Лягнула мне какая-то врачиха о том, что у меня в нижних конечностях уже вовсе нет пульсации кровеносных сосудов, и теперь любое ощущение в ногах рождает прямо-таки панический ужас. Мнительность или...

Когда в Баренцевом море в голубой штиль на синих зыбях я вдохнул замечательный морской воздух всей грудью, то вдруг плюнул в пачку с сигаретами и кинул их за борт... а через пять минут спустился в каюту за новой пачкой. Но вкус воздуха я ощутил хоть на миг, а то уж вовсе забыл, что воздух — это замечательная штука.

Разделили со старпомом вахту третьего помощника, стоим по шесть часов, ибо В. В. окончательно завалился. Весь в поту, литрами пьет кипяток со сгущенным молоком.

Ложился в дрейф и снимался с дрейфа я; начинаю привыкать ко льду, но после мостика никак не заснуть — в башке крутятся льды, дистанции, скорости, шкалы, указатели. Чтобы от них отделаться, нынче читал «Конец главы» Голсуорси.

Туман. Туман Туман.

За «Енисейском» в дистанции два—пять кабельтовых. «Енисейск» — дальневосточный танкер, очень большой, в грузу, но его капитан первый раз идет в Арктику — это раз. Второе — махина на середине самого малого и малого ходов вперед имеет критические обороты. А держать надо именно эту середину для сохранения нужной скорости. Потому «Енисейск» идет рывками. И нам приходится. Пробовали гроб нести, когда впереди-несущий то быстро идет, то медленно? Попробуйте. Только вместо гроба возьмите на плечи десять тысяч тонн.

Туман. Туман. Туман.

Первая серьезная перемычка. Через двести метров «Енисейск» застрял. Дистанция полтора-два кабельтова. Деваться некуда. И я даю «стоп». Пропорционально потере инерции прищемливает сердце. «Енисейск» врубает свои могучие мощности и рывком уходит вперед. Даю самый полный вперед. Ни фига «Колымалес» решил подремать в неподвижности. Первый раз даю задний — самым малым назад отползаем метров на пятьдесят. Тем временем «Енисейск» уходит и уходит, канал за ним ментально затягивает. Даю самый полный вперед. Прошибаемся сквозь сгущение, и начинается самое отвратительное — догоняние. Громыаем скулами по льдинам...

В который раз все это? «Сколько можно?» — вопит какая-то трансляция в грудках.

От сотрясений со снастей падает иней.

Красиво

Чудом вписываюсь в дырку за «Енисейском».

Сдав вахту старшему помощнику, спускаюсь к В. В. Он спит. Слава богу — хоть не переживает за удары. Они еще непривычны. Как жалостливо, по-детски незащищенно выглядит огромный мужчина в болезни, сжавшийся комочком.

Двустороннее воспаление легких. Это док все-таки определил. И то странно. Делается уже законом, что в Арктику посылают не штатных судовых врачей, а желающих подработать. Нынешний эскулап — спец по переливанию крови. Но понятия не имеет о банках. Пришлось

мне даже перейти на приказной тон: «Будьте любезны: на мою полную ответственность — банки! антибиотики — не скупясь! Одновременно аскорбинку — не скупясь!..» Здесь приказной тон кончился: нет у этого типа аскорбиновой кислоты, а без нее колоть антибиотики пятидесятитрехлетнему человеку — дело вредное... Попросил еще доктора держать В. В. все время на снотворном. Капитан чуть очухается — сразу на мост. Накинет на мокрое тело куртку — и вот уже бледным привидением качается в дверях рубки на зверском сквозняке... Докачался.

Первые мысли о том, что и как делать, если придется В. В. эвакуировать на ледакол или куда-нибудь на Диксон. Тревожно.

По трансляции: «Сегодня НОВЫЙ художественный фильм! „Всего одна ночь“!» Это резвится помполит. Весь рейс он будет объявлять все фильмы «новыми».

Экипаж обсуждает болезнь капитана.

Старший матрос Володя, красавец, бывший подводник, с небольшой наглинкой:

— Пневмония! У меня тоже была. Слово страшное, а по существу — терпимо. Из-за жены подхватил. Прекрасная женщина. В свое время бегом за мной бегала — любовь! Первый раз она меня всего на трое суток посадила. На Каляева. С этого все и началось. Я за пивком стою, поллитра в кармане. Она прибежала, бутылку учуяла, выхватила и трах об стенку. Я ее за косу и пару раз по шее. Очереди-то стыдно. Она: «Милиция! Убивают!» А мильтоны в «раковой шейке» возле очереди дежурили. Хвать меня. Она: «Посадите его! На трое суток хотя бы!» Посадили. Отсидел. Прихожу домой бритый. Спокойно делаю все. Хлеба по дороге купил, буханку черного. Спрашиваю супругу: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» А дите наше у бабушки. Квартира пустая. Беру жену за косу, привожу в совмещенный санузел. Кидаю в умывальник буханку черняги, подушку кидаю в ванную. Еще и чайку чашку дал — родная жена все-таки. Назидаю: «Сиди, подруга. Прочувствуй на своей нежной коже горечь утери свободы». Она ревет, я дверь заколачиваю. Цветочный ящик с балкона не пожалел, разорил и досками дверь крест-накрест — по всем правилам. Потом канистру пива приволок и сижу на кухне. Вобла была. Концерт слушаю по телевизору, а супруга в совмещенном узле свой концерт наяривает. Думала меня на нервы взять: вопли, стуки, рыдания. Я — ноль внимания.

Часа полтора орала — выдохлась. Поняла, что я инквизитор. Ну, я спать лег. Утром к пей в окошечко из коридора заглянул. Есть там у нас такое окошечко — в старом фонде проживаем. Заглянул, все спокойно: сидит моя голубка на стульчаке и чернягой закусывает. Я ей в окошечко ору, чтобы зарядку делала. Она у меня, когда беременная была, каждое утро зарядку делала и мне после смены спать не давала. Кричит, что ей на работу надо, ударно трудиться хочет. Нет, говорю, я тебя без права вывода на работу посадил. Ну, и служить пошел. Я тогда на Канонерке маляром художествовал, потому что визу на год прихлопнули. Вечером «Руслана и Людмилу» передавали по телевизору. Хорошая постановка. Я еще одну канистру пива с воблой выпил. Супруга немного поорала — но уже так, для блезиру. Хорошая штука совмещенка! Если бы отдельно ванная и отдельно галльюн, то хлопот больше бы было. А тут — одна забота: самому в подворотню бегать. Я бдительность и потерял! С ейной работы являются две гусыни — ейные профсоюзные боссы. Интересуются, что с ударницей комтруда и чем она заболела. Дальше порога делегацию я не пустил и успокоил. Говорю, что она, мол, вполне здорова, но сидит в женском вытрезвителе на трое суток за мелкое хулиганство. «Ах, ах! Ох, ох! Не может быть!» — и все такое. Я их вежливо выставил. Так они, стервы, все милиции обзвонили и опять, гусыни, являются. С мильтоном. Ну, ее на свободу, а мне — бах! — пятнадцать суток! Холодрыга в камере, скажу я вам, вода на полу, а забрали-то меня прямо от телевизора в одной рубашке, даже без галстука. Я и простыл.

С левого борта обнаружили мишку. Мишка поймал какую-то несчастную нерпу и потому не побежал от судна. Продолжал рвать жратву, время от времени поднимая башку с черной точкой носа.

Уже два часа солнце закатывается, но никак закатыться не может. Оно просто катится над горизонтом в щели между ним и черно-фиолетовой тучей. Смотреть на светило невозможно — сноп концентрированных испульленно-оранжевых лучей. Но на наших мачтах — идем на чистый ост, а солнце садится, на северо-западе полыхают кроваво-алые отблески. И западные края льдин высвечены нежно-алым и розовым. А далекий «Енисейск» — до него одиннадцать миль — сверкает, отражая низкие солнечные лучи, пульсирующим лазером:

О мишке объявили по судну. Ребятки бросили кино и побежали на палубу — раздетые, конечно, так их в перетак.

Все время льдины кажутся живыми существами, которые думают-думают-думают какие-то тягостные думы и способны, не моргая, глядеть на закатное светило. А можно и так решить, что они опустили белые веки и просто бездумно ловят последний солнечный привет.

22.20. Светило все-таки утопило себя под горизонтом, но нестерпимо яркая оранжевая полоса продолжает гореть.

Стекла в каюте помутнели от соли — мыть надо, но боюсь сквозняка.

Буфетчица в столовой за обедом настойчиво спросила, когда можно сделать приборку в каюте и сменить белье. Терпеть не могу уборок в своей каюте и привык менять белье сам. Но больше оттягивать невозможно. Назначил на завтра после завтрака.

Обед был воскресный: бульон с пирожками. По традиции на воскресный ужин подается еще бульон с куриными потрохами.

В дрейфе между островом Свердрупа и островом Сидорова из архипелага Арктического института.

Безделье.

Снежные заряды. Издали выглядят косыми занавесками из полинявшей на коммунальной кухне тряпки.

Я вырезаю из «Иностранной литературы» рисунки писателей. Оказывается, и Мериме рисовал, и Стендаль, и Гюго. А Лорка — отличный, профессиональный рисовальщик. Думалось о том, как безнадежно поздно начинаешь узнавать сам себя. Так поздно, что и нет уже никакого смысла начинать все сначала даже в своем воображении.

Читал Микеланджело: «Настоящая живопись, будучи сама по себе божественно возвышенной, никогда не породит ни одной слезы...» С литературой дело другое: «Над вымыслом слезами обольюсь...» В наше время литература и кино слишком часто давят на слезные железы. Но ведь любой практик знает, что выдавить слезу — раз чихнуть.

«Пороку даже сладострастие в картине способно развевать печаль и тоску, которые держат человека в своих тисках». Это тоже итальянец Микеланджело.



По последнему слову тамошних ученых, в нежно Италии больше всех бьют своих жен полицейские, врачи и адвокаты.

По свидетельству советских ученых, в последнее время у нас милиционеры, прокуроры и судьи все чаще говорят о воспитании добром — гораздо чаще и настойчивее говорят об этом, нежели педагоги.

«Юмор в его лучшем виде связан с аффектом радости...» — из статьи английского психолога. Статью принес доктор, когда я сидел в каюте у больного капитана. Я попросил Айболита принести кодтерпин. Док мне говорит, что он расписывался за кодтерпин на особой бумажке, ибо это группа «А» — особенно сильная отравка. Я нашему психиатру объясняю, что группа «А» — это группа немецких армий, капитану они в данный момент не нужны, неси кодтерпин. Он начинает стонать, что кодтерпина у него всего три упаковки. Наконец ушел.

В. В. с грустным вздохом заметил, что последнее время отчетливо замечает, как с возрастом слабеет у мужчин воля. Вот и он сам в такой трудный рейс согласился идти без настоящего судового врача.

Поймал себя на том, что часто употребляю выражение: «Грудь кашля раздирает». Оказывается, цитирую что-то из собственных сочинений. Да, случается, что часто повторяешь и про себя, и вслух какие-то давным-давно написанные фразы, хотя уже начисто не помнишь, кто из героев и в какой ситуации их произносил.

Мучает, что уже около года не пишу художественного. Трудно писать на судне — не хватает воли. Все травля, идиотское кино, шеш-беш, клочковатое чтение.

Зато, кажется, я теперь уже точно знаю, что отвечать на набивший оскомину вопрос: «Почему вы плаваете?»

Вот искренний ответ: «Я просто вынужден поддерживать репутацию!» Нет. Тогда что? Что толкает в новый и новый путь? Охота за литературным материалом? Любовь и тяга к морю? Нет. Меня толкает в путь недостаток «энергии заблуждения».

В опытах доказано, что люди наиболее активны, когда вероятность успеха составляет около 50%. Деятельность, в которой 50% на 50%, требует веры в успех и в то же время позволяет верить в него. Если вера не нужна (гарантировано 100% успеха) или невозможна (ождается 100% неудачи), то работа становится механической, а существование бессмысленным.

Мне кажется, здесь и зарыта та собака, которую Толстой в применении к писательству называл «энергией заблуждения».

На море особенно ясно, что формула «руководить — прежде всего укреплять веру в успех», — есть самая действенная формула.

О судовождении в условиях дурной видимости, среди отдельных льдин и полным морским ходом. Такая «эквилибристика на шарах» осуществляется при помощи радара. Отметки отдельных волн и льдин на экране иногда выглядят одинаково по интенсивности свечения. Но отметка волны исчезает после одного-двух-трех пробегов электронного луча по окружности экрана. Отметка же от льдины не исчезает. А так как, в отличие от волны, льдина практически стоит на месте, то от нее при быстром движении судна появляется на экране зеленый хвостик. Отметка льдины делается очень похожей на головастика. Хвост головастика параллелен вектору вашей скорости и направлен против него. Чем больше скорость, тем длиннее и отчетливее хвостик и тем проще отличить льдину от мимолетной волны. Но чем больше скорость судна, тем тяжелее последствия, если льдина окажется неопознанной и вы от нее не отвернете. Бывают очень упрямые волны, этакие коровы, которые стоят на месте довольно продолжительное время. Тогда у них тоже вырастает хвост и вас обманывает. И вот когда смотришь на такие отметки впереди по курсу, то непроизвольно молишься: «Пожалуйста! Ну, будь добра! Окажись не льдинкой, а волной, пожалуйста, исчезни! Пожалуйста, не распускай хвост!» Желание это такое сильное, что иногда попадаешь под гипноз самообмана, то есть делаешься гусем, который со страху засовывает голову себе под крыло.

Если много глядел в небеса, на звезды, на Луну, на Солнце, на планеты, то астрологическая мысль о том, что поступки людей диктуются силами, находящимися за пределами Земли, не кажется еретической. Она даже делается такой же обыденной, как труп для штатного работника моря.

Каждый начинающий писатель должен четко осознать, что Россия уже давно страна не приозерная, а приокеанская.

И еще он должен понимать, что Россия — страна северная, зимняя.

Так как в Союз входят южные республики и так как мы каждый год летаем в Сочи или Ялту, то ощущение зимности, северности России несколько нивелируется.

Как прекрасна чистая, открытая вода после льдов!

На этой чистой, открытой воде была одна льдина, в которую я и решил упереться лбом для более беззаботного лежания в дрейфе. Но тут впервые после болезни возник на мостике В. В. Он был в неизменных стоптанных до положения лаптей ботинках и полушубке, надежном на рубашку.

Покачивался даже на неподвижной палубе — ослаб от болезни, лекарств, невыспанного снотворного.

Я завизжал поросенком.

Я искренне визжал на эту громадину. Ничуть не хотелось остаться на судне без основного капитана. Тем более у старпома не было допуска, и нам пришлось бы дожидаться какого-нибудь чужого человека, чтобы плыть дальше.

— Честное слово, Василий Васильевич, — визжал я, — ничего не останется делать, как радировать в штаб, паролство и отправлять вас в больницу! О чем вы думаете? Полежите еще сутки! Видите, здесь все прекрасно...

В. В. сделал свой обычный добродушно-короткий-скорбный вздох и сказал:

— Виктор Викторович, вы прекрасный человек. Я готов с вами в разведку. Кого оставили здесь-старшим на рейде?

— «Алатырьлес»... Вы после банок, вам надо... Я вертолет вызову!!

— Яковлев там?

— Черт его знает... Идите хоть оденьтесь по-человечески...

— Чего же вы к флагману задом ложитесь? — поинтересовался В. В. и опять скорбно вздохнул. — Давайте к нему носом ляжем.

— Давайте-ка тогда сами, — сказал я, ибо мой визг подействовал на В. В. так же, как лай моськи на слона.

И В. В. стал крутить пароход вокруг одинокой льдины, чтобы воткнуться в нее носом в направлении на «Алатырьлес».

«Колымалес» заупрявился, и маневр не получился.

Нет такого капитана, который не испытывал бы некоторого комплекса в подобном положении. Ведь когда капитан борется со своим вздорным пароходом на швартов-

ке, при постановке на якорь, во льду, то он некоторым образом укрощает быка на глазах помощников и матросов.

Я не мог понять причины нашего верчения вокруг льдины и настойчивого желания В. В. лежать в ожидательном дрейфе именно носом на флагмана.

Понял только в каюте, когда мы с В. В. сели пить чай. Капитан признался, что полчаса тореадорничал ради того, чтобы лежать в дрейфе не правым бортом к ветру, а левым. Окна капитанской каюты выходят на лобовую стенку надстройки и на правый борт. Одно бортовое окно задраивается неплотно, и в него сифонит ветер, что при простудных заболеваниях не рекомендуется.

Больше всего мне понравилось то, что, заложив два неудачных виража вокруг ледяного островка, В. В. смирился и не стал крутить третий.

Никакими комплексами капитан не страдает. Плевать он хотел на самоутверждение: не хочет пароход? — подрастет, захочет.

Конечно, какую-то роль сыграло и то, что слаб В. В. сейчас, как новорожденный олененок. А рвется в баню — панацея от всех бед. Едва отговорил. Тут выяснилось, что на Ленинград они шли из Испании. В Бильбао или еще где-то наломали для бани эвкалиптовых веников — замечательный дух в парилке и т. д.

— Стоп! — сказал я. — У вас есть еще эти веники?

— Есть.

Через полчаса В. В. дышал испано-эвкалиптовым паром из носика чайника под одеялом.

А я глядел на грязные полосы мороси в смеси с туманом и вспоминал Монтевидео. Мы зашли туда на пути в Антарктиду, и я, конечно, оказавшись в эвкалиптовой роще, наломал себе приличный пук ароматных веток, чтобы полоскать больные десны.

Было странно вспоминать фиолетовые тени голых эвкалиптовых стволов на оранжевом песке сельской уругвайской дороги... На припортовом пустыре я нарвал еще букетик... «Блудничали будничные травы и цветы на пустырях возле порта...» Этот букетик я поставил возле иллюминатора, и, когда рисовал от нечего делать натюрморт, за стеклом иллюминатора проплыл первый антарктический айсберг. Это было двадцать пятого февраля к северу от острова Южная Георгия. Нам в борт тяжело дышал тогда пролив Дрейка...

Заниматься ингаляцией — дело муторное. И чтобы развлечь В. В., я сказал про одного из штурманов, что он

не очень-то решителен в сложных ситуациях и что меня это раздражает.

В. В. заметил на это очень веско — явно давно и глубоко продуманное:

— А мне и не нужны решительные помощники. Хватит и моей решительности!

И так это прозвучало, что отпала всякая охота дискутировать на такую вечно спорную тему. Тут не в схоластических спорах дело, а в том, как капитан решил это сам для себя и на всю жизнь.

Теперь о самой решительности. Это определение обязательно употребляется в официальных характеристиках на моряка-судоводителя. В нем масса различных оттенков, оно как белый солнечный луч, состоящий из всех цветов спектра. Их перечислять — слишком скучно. Попробую объяснить на бытовом примере. Возьмем чайный термос. У термосов всего мира устройство довольно дурацкое. Они имеют круглое горло, а у чайника — носик. Потому только немногие люди умеют налить из термоса жидкость в стакан, не плеснув на скатерть. Так вот, наклонять термос над стаканом надо **РЕШИТЕЛЬНО**, и тогда потеря жидкости будет минимальной, а невинность скатерти оптимальной. Но чтобы резко наклонить термос, придется рисковать тем, что вы выплеснете на скатерть и все его содержимое. Таким образом, решительность всегда связана с риском.

«Риск — объективная черта любого морского предприятия, любого рейса судна. И какие бы заклинания ни произносились по поводу этого „сакраментального“ понятия, риск всегда будет присутствовать в решениях капитана по управлению судном, особенно при маневрировании в сложных условиях. Да и сам институт морского страхования исходит из факта существования риска. Весь вопрос в его степени, допустимости и обоснованности».

Быть решительным всю жизнь, всю жизнь рисковать — вызывает определенную амортизацию и усталость.

Ведь часто бывает, если говорить в одесско-юмористическом духе, что дать «стоп» или «полный назад» оказывается так же стыдно, как, простите, спустить машинку в туалете в гостях у незнакомых людей. Чем стеснительнее и нерешительнее вы будете тянуть цепочку, тем ужаснее могут получаться подвывания в фановой магистрали.

Так как «Колымалес» главную часть времени проводит в Средиземном море, а В. В. главную часть своей морской жизни проводит в лоцманской каюте, то она украшена большущей картой Средиземного моря.

Когда смотришь на итальянский сапожок, Сардинию, Грецию и Сицилию, находясь на трассе Северного морского пути, то зрелище это несколько даже возбуждает. И не только южными ассоциациями, но и тем, что итальянский сапожок — явно женский сапожок.

В столике у изголовья койки лоцманской каюты существует треугольная, будто топором вырубленная вмятина. Эта вмятина-пробоина напоминает о том, что В. В. — человек везучий. В какой-то вовсе сумасшедший шторм, именно в Средиземном море, возле женственного итальянского каблучка, когда «Колымалес» шел с грузом стали и качка достигла безобразного апогея, массивная каютная дверь слетела с петель и врезалась ребром в стол рядом с капитанской головой.

В. В., находясь в лоцманской, часто машинально поглаживает своим широким указательным пальцем треугольную жуткую вмятину — свидетельство того, что родился он если не в рубашке, то, во всяком случае, в тельняшке.

Над койкой пришпилены карты Северного моря и Бискайского залива. Но эти карты не трогают во мне никаких романтических струн. Да и вообще сейчас за всеми границами есть для меня единственное место, куда еще тянет, — это Париж...

Впервые надел «специальную мужскую одежду» — слюнявчик с тесемками, напоминает ощущение от курсантского бушлата. И, защитившись таким образом от сквозняка, отдраил окна и помыл их от соли.

Получили РДО о том, что все средства навигационного обеспечения по всей трассе Северного морского пути включены.

В этот момент проходили остров Правды. Домишко полярной станции на острове был ярко освещен зачем-то аж двумя прожекторами, а маяк, который находится в двухстах метрах от станции, не горел.

Я попробовал по радиотелефону вызвать полярную станцию на острове, то есть минут пять орал: «Правда! Правда! Правда! Ответьте для связи!» Никто, ясное дело, не ответил, и потому обматерить полярников мне не удалось.

На острове Герберштейна маяк тоже не горит.  
03.30. Итак, втягиваемся в пролив Матиссена, а СНО нигде не работают.

Когда поднялся на мостик старпом, пришлось сказать:

— Я вам сдаю малиновый рассвет, сильную рефракцию и негорящие маяки.

От благодарности чиф воздержался.

Искаженные рефракцией острова напоминают то пирамиду Хеопса, то гриб атомного взрыва. Иногда они переворачиваются строго вверх ногами.

При мертвом штиле поперек курса полосы сулоя — напоминает вход в Малаккский пролив к северу от Борнео.

Какие-то привиденческие, призрачные явления на поверхности воды в момент утренней зари — на северо-востоке море все розовое, а по нему зелено-стеклянные и голубые полосы.

Митрофан и здесь не удержался, буркнул на всю эту красоту:

— Льяла кто-то за борт откатал...

Вот еще из мелочей. Митрофан Митрофанович обожает точить карандаши в штурманской рубке. А меня почему-то это бесит.

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРПОМА У МЫСА МОГИЛЬНЫЙ

...Как океан объемлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами...

*Ф. Тютчев*

Мыс Могильный в широте 76°45' является северным входным мысом мелководного залива Дика, расположен в 14 милях к северу от бухты Гафнерфьорд. Могильный мыс глинистый, высотой 20 м; в ясную погоду открывается в виде отдельного островка с 13—14 миль. В трех кабельтовых к норду от мыса Могильный находятся две могилы и столб астрономического пункта с памятной надписью на металлической пластинке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В районе мыса Могильный грунт плохо держит якоря.

*Лоция Карского моря*

Проснулся от сотрясения: на хорошенькую ледяную дуру мы наехали.

Продолжаю лежать и слушать. Понимаю, что идем полным по каналу, что В. В. после удара ход сбавлять не стал — значит, где-то на изломе трахнулись.

Начинаю вспоминать сон, который снился.

Бах! — опять удар, и с графинной полочки вылетает стакан с двумя засохшими розами. Стакан уцелел, а цветочки — в прах рассыпались. Те самые розы, которые давно хотел выкинуть, чтобы освободить для пользования стакан, но все не делал этого из сентиментальных соображений, хотел сохранить цветочки для хозяина каюты в неприкосновенности: вернется он из отпуска — розочки как стояли, так и стоят.

Не устояли розочки. Что ж — туда, значит, им и дорога...

А сон жутковатый. Я ныряю на большую глубину, вижу из-под толщи вод где-то высоко над собой круг, светлый, оставшийся на поверхности моря после того, как я откуда-то в него прыгнул. Продолжаю идти на глубину, хотя все время понимаю, что глубина уже предельная для возможности возвращения, но все гребу и гребу, затягивая нырок безо всякой цели или необходимости — так сказать, из чисто спортивного интереса...

Вспомнил сон, закурил и в который раз пристально, серьезно подумал-прочувствовал: а если бросить писание? Да. Бросить. На какие-нибудь вечерние курсы в Академию художеств ходить, а летом на перегоне речных судов в Арктике подрабатывать... И вдруг такую боль и страх испытал — от одной мысли, что больше вот не буду писать! О-го-го как это страшно, оказывается. Нет, уже нырнул в запредельную глубину и нет тебе возврата...

Смотрю на часы и вдруг понимаю, что час тридцать ночи: моя вахта, уже полтора часа моя! Судно явно в тяжелых льдах. В перемышку вошли еще перед ужином у островов Гейберга. Почему меня не подняли? Неужели идет один Митрофан? Что бы этакое значило? Будили, а я заспал?! Бог мой! Не встал на вахту! Не может быть... Но ведь раза три за жизнь такое случилось...

Кое-как одевшись, бегом поднимаюсь в штурманскую. Штора, отделяющая ее от ходовой, плотно задернута. Гляжу путевую карту — острова Гейберга, где когда-то мой радист Камушкин нашел чудесный, детский кораблик, далеко за кормой. Мы у мыса Могильного на подходах к проливу Вилькицкого. С мостика доносится голос В. В.:



— Идите смелее, Митрофан Митрофанович! Мы же бормотуху и картошку везем, а не яйца!

Значит, сам капитан на мостике; а время мое. Что бы это значило? Почему это он меня отстранил от законных прав и обязанностей? Чем я не угодил? В душе и печенках накат ревности и обиды.

Слышу звонок телеграфа, вздох переворачивающейся под бортом льдины, шорох и скрежет льда по стали...

Что же все это значит? В любом случае, Витя, спокойно, не психовать.

Спускаюсь в каюту, чтобы обдумать ситуацию.

Вспоминаю, что вчера В. В. на меня наорал.

У мужчин, когда они, например, стригут ногти на ногах после бани, выражение на физиономиях делается весьма сосредоточенным и скифски суровым. С таким именно выражением наорал на меня В. В. Орал он прямо на трапе между кают-компанией и мостиком, то есть на весь теплоход.

Было так. В густом тумане, в очень тяжелом льду, в темное уже время ночи мы не вписались в поворот канала, следуя в кильватер за «Енисейском». Отстали от него кабельтовых на восемь, канал забило насмерть. Я попросил «Ермака» застопорить и обождать нас, чтобы иметь возможность форсировать перемычку на умеренных ходах. Ледокол сперва согласился, но затем приказал мне вовсе стопорить машину, ложиться в дрейф и ждать, пока он выведет пять головных судов на разводье. На миг у меня возникло неприятное ощущение: показалось, что если бы действовал решительнее, работал большими ходами, то мы бы так далеко не отстали и ледокол бы нас не бросил. В то же время я знал, что в разводье предстоит ждать другой ледокол неопределенно длительное время, и потому никакого резона рвать себе брюхо в такой тяжелой перемычке не было. И В. В., конечно, тоже все это быстро уяснил; уяснил и то, что наорал на меня зря, однако извиняться, конечно, не стал...

Хватит, товарищ Конецкий, дергаться. Успокойлись, товарищ Конецкий? Сполосни-ка вот лучше рожу. Сперва теплой водой, а закончи тремя полными горстями ледяной. Вспомни чего-нибудь для смеху. Например, как медсестра в больнице у Коли Дударкина-Крылова выказывала свое непроходящее удивление оттого, что все мужчины моют физиономии водой. Вспомни, как она объяснила, что это вредно для кожи и что по утрам она вовсе не моется: в крайнем случае мочит ладошки и при-

кладывает их к лицу... Ну, а тепёрь закури и поднимайся на мостик.

На мостике полумрак, накурено.

Говорю положенное от века:

— Доброй ночи!

— А, Виктор Викторович! Не уберегли все-таки дублера! Это ты, Матвеев, виноват! Не рулевой, а бегемот какой-то! — ворчит Василий Васильевич. Никаких подводных камней в его голосе не чувствуется.

— Чего это вы, господа, меня игнорируете?

— К нолю до полыньи меньше двух миль оставалось, Там будем «Сибирь» ждать. Она у острова Жохова на точке работает. Решили вас не будить, а эти две мили уже два часа блудим... Митрофан Митрофанович, идите по своей кромке! Сколько раз вам говорил! К ней, к ней поджимайтесь!

Спазма, в которой — в омуте обиды и ревности — пребывала душа, начинает отпускать Просто В. В. переживает, что за время его болезни я много перестоял на мосту. Так, вероятно, надо понимать. В чем моряки проявляют свои симпатии? Механик принесет тебе на мостик соленых сухариков. Впередсмотрящий матрос спросит, сколько положить ложек сахарного песка в чай. Вот, больше ничего нам друг от друга и не требуется.

— А я уже собрался в бутылку из-под бормотухи лезть! — говорю я повеселевшим голосом. — Только прошу, больше так не делайте Кесарю кесарево.

— Ревнивый вы человек? — спрашивает В. В.

— Увы

— Я тоже.

Из радиотелефона:

— Я «Алатырьлес»! Проходим льдины, испачканные нефтью!

— Где идет «Алатырь»?

— Перед нами Мы концевые. За «Мурманском» «Индига» за ней эстонцы.

Выхожу на крыло. Туман сгустился до степени, когда бортовые отличительные огни дают зеленый и красный ореолы. Мощные прожектора ледокола вообще не видны. Сквозь густой бархат тумана лупит дождь со снегом. И еще боковой ветер — сильный дрейф. А прямо скажем, наши рулевые матросы при сильном дрейфе работают во льду плохо. Запах воздуха здесь уже вполне арктический. Как расшифровать понятными, человеческими словами этот запах, его отличие от запахов всяких разных

других северных мест, я не знаю. Туман такой, что в горле першит. Я так привык к этому эффекту, что даже в самолете, когда он входит в облака, у меня начинается першить в глотке. Иногда даже кажется, что какое-нибудь кучевое облако способно опрокинуться от самолетного гула, как айсберг от судового гудка...

Под бортом появляются рыже-черные льдины.

Из радиотелефона:

— Я «Мурманск»! Кто из судов откатывал льяльные воды?

Туманное, непроницаемое молчание.

— Тоже думали небось, что уже в полынье плывем, ну, и катанули,— объясняет В. В.— Поторопились.

Из радиотелефона:

— Я «Мурманск»! Всем судам! Ложитесь в дрейф! Ухожу на разведку корпусом!

— А все-таки сволочи! — говорю я, глядя на испохабленные льды.

— Не берите в голову, Виктор Викторович. Во все дырки лезете. Так вас скоро кондрат хватит, а мне с вашим трупом возиться. Жаль, что мы сами не откатали — ночи-то уже достаточно темные. Забыл сказать Цыгану.

Нет, никакие пропаганды и агитации за охрану окружающей среды на русского человека, когда до дела дойдет, не действуют. Тут как раз такой случай, когда дено и ночью надо петровскую власть употреблять. Никакой власти над В. В. у меня нет. Потому я заявил, что есть хочу.

— Так в чем же дело? — воззрился на меня В. В.— Станьте-ка сами на руль! Матвеев, иди вниз, подними помпохоза, пусть выдаст колбасы!

Было около двух ночи. Помпохоз мирно спал. И моя интеллигентная составляющая дала слабину.

— Зачем? Что вы?! Человек отдыхает! — запричитал тот раб, который во мне сидит и вечно боится дворников и швейцаров.

— Не берите в голову и станьте на руль! — приказал В. В.— Матвеев! Скажи помпохозу, что капитаны есть хотят! Живо! И хорошей жратвы!

— Да зря вы... — уже по инерции пробормотал я, принимая курс у рулевого и сосредоточиваясь на компасной картушке. Когда много лет не стоял на руле, тут тебе уже не до интеллигентных разговоров, тут держи ушки на макушке.

— Митрофан Митрофанович! Сбавляйте, наконец, ход! Чего это вы так расхрабрились? Сами не можете догадаться! Мы же все-таки бутылки везем, а не бульдозеры!

— То «идите смелее», «мы не яйца везем», то «ход сбавляйте», — бормочет Митрофан.

Не рекомендуется искать в приказах капитана логичности.

В абсолютно одинаковой — как теперь говорят, адекватной — ситуации капитан, возникнув на мостике, может заорать: «Мы же в тумане идем, черт вас подери! Держать дистанцию не больше двух кабельтовых!» Или: «Мы же в тумане идем, черт вас раздери! Держать дистанцию не меньше пяти кабельтовых!» Еще раз подчеркиваю: и плотность тумана, и скорость, и ордер, и время суток будут при этом абсолютно одинаковыми, но капитан еще присовокупит к своим противоречивым приказам ядовито-угрожающе: «Сколько раз я вам об этом твердил, штурман?!» И нет тут никакого самодурства. Все правильно. Просто капитан в сей миг так ЧУВСТВУЕТ, вот и орет, а не будет орать, застесняется своей противоречивости, алогичности — так он сам дурак, слабак и кончит рано-поздно плохо.

— Руль прямо, Виктор Викторович! Просто-напросто прямо! Приехали мы уже — уже в полынь! А то вы так сосредоточились на картушке, будто мы в игольное ушко пролезать собираемся! Стоп машина! Митрофан Митрофанович, позвоните механикам — пятиминутная готовность. Полынья большая, ветерок средненький, ледакол часа четыре какой-нибудь котлочисткой заниматься будет — чует мое сердце. Итак, география кончилась. Ба, Нина Михайловна, доброй ночи! Чего это вы решили нас навестить?

— Так помпохоз меня поднял, сказал, вы кушать хотите.

— Правильно сказал. Накройте-ка нам в моей каюте на четыре персоны. И колбаски не жалейте, и каждому по глазунье. И Гангстера поднимите — он всегда есть хочет. А спать новорожденным не обязательно. Старпому сегодня сорок исполнилось. Митрофан Митрофанович, местечко сделайте, пожалуйста. Радар чего-нибудь цепляет?

Ветерок сдернул туман, открылась черная вода полыньи, силуэты судов и довольно близкий берег Таймыра.

Пейзаж был так уныл, что напоминал тусклые от горя волосы вдов. Сквозь фиолетовую сумеречность летел редкий снег, мокрый, крупными снежинками. Где-то я читал, что в народе при такой погоде говорят: «Сын за отцом приходит». Чем-то жутким веет от таких слов. К умершему отцу, что ли, сын приходит? Неясно, но нечто очень точное — как всегда в народном.

— Мыс Могильный цепляет,— доложил Митрофан от радара.

Из радиотелефона неожиданно и явственно — звонкий женский голос: «Челюскин-радио, я Челюскин-радио! „Наварин“! Они выехали на машине к берегу! Следите за ними на берегу! Я на средние волны побежала!»

— Самый любимый глагол у женщин «бежать». Заметили? — раздается красивый баритон Октавиана Эдуардовича, который тоже появился в рубке.— Редко какая скажет: «Я пошла». Обязательно: «Ну, я побежала!» За хлебом, на сцену — куда угодно, но «побежала». Что-то в таком есть бодренькое, молодое, порывистое, далекое от гинекологии. Нина Михайловна, вы со мной согласны?

— Согласная, согласная!

— А чего это вы еще здесь торчите? — цыкнул Василий Васильевич на буфетчицу.— Старпому сорок лет исполнилось, а она здесь торчит! Ну, Виктор Викторович, вы все про здешнюю историю знаете. Кто на этом мрачном мысе похоронен?

— Приятно отметить интерес к северной старине,— сказал я.— А похоронен здесь тот лейтенант Жохов, вокруг которого сейчас «Сибирь» крутится. Возьмите-ка лощицу. Эй-би, там о нем есть.

Лоцию изучили, но ничего там ни о лейтенанте, ни о кочегаре Ладоницeve, которые «омрачили своей смертью» зимовку, как пишет Визе, не было. Зимовали здесь «Таймыр» и «Вайгач» шестьдесят четыре навигации назад — экспедиция Вилькицкого.

Под глыбой льда холодного Таймыра,  
Где лаем сумрачным испуганный песец  
Один лишь говорит о тусклой жизни мира,  
Найдет покой измученный певец.  
Не кинет золотом луч утренней Авроры  
На лиру чуткую забытого певца —  
Могила глубока, как бездна Тускароры,  
Как милой женщины любимые глаза.  
Когда б он мог на них молиться снова,  
Глядеть на них хотя б издалека,  
Сама бы смерть была не так сурова,  
И не казалась бы могила глубока.

Эту стихотворную эпитафию сочинил себе перед смертью утром 28 февраля 1915 года лейтенант, командир роты на ледокольном пароходе «Вайгач» Алексей Николаевич Жохов.

Двадцать седьмого августа 1914 года лейтенант первым усмотрел неизвестный остров в архипелаге Де-Лонга, на который через полвека занесло меня, мы вытаскивали там из ледяной каши ящики с печным кирпичом и мешки с мукой при разгрузке ледокольного парохода «Леваневский». На этом островке мы грелись у костра вместе со сворой чумазых собак и двумя белыми медвежонками.

Лейтенанту везло на открытия, но не везло на людей. Борис Вилькицкий не любил лейтенанта за излишне прямой и несдержанный характер. Открытый им остров начальник экспедиции назвал именем командира «Вайгача» Новопашенного. В январе 1926 года решением ВЦИКа остров был переименован в остров Жохова.

Лейтенанту не везло не только с начальством. Его подвел друг по Морскому корпусу лейтенант Транзе, ему не поверил корабельный врач Арнгольд, его не понял родной дядя, запретив жениться на своей дочери Нине Жоховой. Лейтенант Жохов не вынес длинной полярной ночи, зимовки, не мог есть консервы и, по официальным данным, умер от нефрита, омрачив этим зимовку. Кочегар Ладоничев умер от аппендицита.

Жохов родился 25 февраля 1885 года.

Женщина, которую он так любил, которой посвятил предсмертные стихи, осталась верна его памяти, ушла сестрой милосердия на фронт в 1916 году, — как только узнала о его гибели.

Нина Жохова пережила блокаду, до конца своих дней работала в ленинградской больнице имени Куйбышева и умерла в 1959 году.

— То есть вы, Василий Васильевич, наверняка не один раз ездили с ней в трамвае или троллейбусе, — так для пущего эффекта закончил я экскурс в прошлое.

— Да. Грустная история, — сказал В. В. со своим грустным вздохом. И вдруг рассказал, что терпеть не может, когда жена срывается и кричит ему при разговоре по радиотелефону: «Будь ты проклят!» В. В. сказал, что целую неделю потом чувствует на себе это проклятье, оно прямо-таки как какое-то огромное родимое пятно, а корень вообще-то в том, что жена, сорвавшись со своего

спокойного тона на проклятье, сама потом долго мучается, ну, а он мучается из-за того, что она мучается.

Вообще-то я заметил, что В. В. еще и немного суеверен. Над столом у него висит шикарный иностранный календарь с красным движком-указателем. И вот когда наступает тринадцатое число, то В. В. указатель не передвигает, и таким макаром мы проживаем два дня под «двенадцатым».

Пока Нина Михайловна накрывала на стол, а мы поджидали новорожденного Гангстера, капитан рассказал о соловье, которого звали Чок.

Чок ел тараканов и муравьиные яйца и любил сидеть на гслове Марии Петровны и на перилах балкона. Поют соловьи особенно замечательно с девятого мая по пятнадцатое — ждут подруг, строят гнезда и оповещают других соловьев о том, что место занято. Если соловья поймать между этими числами, то он и дома начинает петь уже в первую ночь. А если поймать в другие времена года, то вообще в неволе может не запеть.

Домоседа Чока сдуло сильным порывом ветра с балкона, он боролся-боролся с ветром, но не осилил и исчез.

Месяца через полтора В. В. пошел гулять в ресторан «Бурьян», то есть на Смоленское кладбище. И вдруг слышит из какого-то куста: «Чок!» И узнает своего соловья. И все это абсолютная правда, а не из жизни каких-нибудь кроликов. Чока В. В. начал звать, объяснять ему, что лететь на зимовку куда-нибудь в Африку далеко и опасно — соловьи летят не стайками, а поодиночке. Но Чок выпендривался и в руки не давался. Тогда В. В. пошел домой, взял клетку и Марию Петровну. Чок из своего куста слетел сперва на голову Марии Петровне, а потом сам залез в клетку.

Птичьи рассказы капитана среди суровых будней меня умиляют, как умиляли Юру Казакова его собственные детские рассказы.

О чем говорят за ночным чаем мужчины в день рождения старшего помощника на судне, которое дрейфует в черной полынье у мыса Могильный в Карском море, среди годовалых льдов, особенно белых из-за черных жилистых разводий? О том, что подорожали радиogramмы — средняя любовная, молодоженная два рубля; что морякам, которые даже при желании не могут заменить радиogramмы письмами, следовало бы, наконец, снизить тариф, а еще лучше — разрешить две радиogramмы в ме-

сяц бесплатно. О том, что у иностранцев радиogramмы еще дороже: пятнадцать — двадцать долларов, но зато международный профсоюз моряков гарантирует оплату проезда женам в любой порт на планете, коли судно стоит там больше двадцати суток; ну, и о том, что глазунью я ем неправильно: надо вырезать желток, съесть белок, а затем уже есть и желток, а я нелепо разрезаю желток вместе с белком, и в результате все остается на тарелке. Ну, и опять говорят о женщинах, которые через своих мужей, сыновей, отцов связаны судьбой с морем; о женщинах, для которых разлука есть норма существования, а неразлука — исключение. И, увы, часто тягостное исключение, ибо дети отвыкают от отцов, жен пугает необходимость близости с мужем где-нибудь на судорожной стоянке судна, в далеком порту, куда добирались самолетами и поездами несколько суток, а пока добирались, судно уже на отходе, а муж на вахте, в каюту то и дело стучат, телефон звенит, гудят динамо, вибрирует корабельная сталь, обратных билетов нет, на работе скандал, голова разламывается... Вот тебе и романтическая любовь, алые паруса, Ассоль и прочая чушь...

Рассказ новорожденного старшего помощника.

— Шли вокруг Африки. Тяжелый рейс. Возле Доброй Надежды угодили в ураган. Такое безобразие, что богу молиться начал: подвижка груза, ну, сами понимаете, судно старое, ни кондишена, ни... Дневальная была Тамара, красивая до полного безобразия и распушенная в нравственном отношении, но чистюля... Я — вам-то врать не буду — ни разу ее даже за попку не ущипнул. До полного безобразия жену любил, Аню. Как в романах говорят — благоговейно. Вся каюта в фотографиях — перед агентами в портах неудобно было, но карточки не убирал. Весь рейс мне Аннушка духовно помогала. На Тамару мне абсолютно наплевать было. Единственно, в чем ее использовал, — рубашки стирала: замечательно и постирает, отгладит... Сами знаете, как хорошее белье работать помогает; особенно когда устанешь в рейсе уже до полного безобразия. Дружественные у нас с Томом — так ее уменьшительно называл — отношения сложились. Делилась со мной своими романами, про детство вспоминала, тяжелое детство, тяжелая судьба. Ну, я ей тоже и про жену, и про детишек, и про разные свои неприятности рассказывал. Чайку попьем, полюбуюсь на ее красоту, кокетство разное — и все на этом, табу. Пришли в Одессу, на рейде стали. Туман — сметана с сажей. Же-



ны, конечно, прилетели из Питера, но сидят на берегу — закрыли рейд для катеров. Том мне все выстирала. А я ей за каждую постирушку все пытался фунт-другой сунуть, а она обижалась и не брала. Такие сложились доверительные отношения. Пришлось в Сингапуре ей за пятнадцать фунтов кофту какую-то сногшибательную покупать — на день рождения ей подсунул. Взяла кофту. Стоянка в Одессе короткая ожидалась — двое суток. А тут еще туман этот. Такие туманы на Черном море редкость. Но тепло, и я сплю с прихода в каюте с открытым иллюминатором. И вдруг голос жены слышен сквозь сон. Ну, думаю, бред очередной. Мне весь рейс Аня снилась. Знаете, очущаешься после сна, и еще некоторое время мерещится, что она рядом лежит. И здесь такое — полная иллюзия ее голоса, слуховая галлюцинация. Оказалось, не галлюцинация. Аннушка упросила какого-то одесского мальчишку-сорванца, и он ее в обход всех портовых правил, таможни и погранзастав на малюсеньком тузике на рейд доставил. И как этот сорванец нас в таком тумане нашел? Чутье у них, у одесских мальчишек. И вот когда они у меня под окнами каюты проплывали, я ее голос и услышал. Но в тумане-то звуки особенные, странные этакие, потусторонние. Я проснулся и думаю: несчастье какое-то приближается. И опять слышу глухой такой, но ее, жены, голос — окликает меня по имени: «Стасенька, отзовись... Стасенька, родной, отзовись...» Это они между судов на ялике плутают, и она возле каждого судна меня окликала. Туман-то такой, что и название на борту не прочитаешь... В общем, было два дня счастья. Улетать ей надо. Ну, хорошая жена — значит, перед разлукой надо все мое интимное хозяйство в порядок привести. Сидит, пуговицы пришивает, свитер штопает, по шкафам и рундукам лазает... Я по судну белкой кручусь — еще грузовым помощником плавал. Залетаю как-то в каюту, чтобы ее обнять да обратно в трюм закувыркаться. Вижу, сидит она на койке белая, лицо мертвое, глаза в одну точку, а в руках — черная женская комбинация или там трико с подвязками, дырявые дрянные тряпки; так развратом и разит от них и грязью. Кинула Аня мне их в лицо и... Ну, тяжелая истерика, истинная, волос половину у себя вырвала, волосы у нее замечательные были, гордость ее, а пахли как замечательно... Оказалось, короче, нашла она эти женские шмотки у меня под матрацем. И понял я, ничем ее теперь не разубедишь, что все это случайность, что Тома случайно туда

свои причиндалы сунула, когда каюту прибирала... Что делать? Мои слова Аня просто не слушает, меня не видит, вся в себе, в своем горьком ужасе. В таком состоянии руки на себя накладывают. Что делать? Понимаю, ничего я не могу найти, никаких слов и объяснений. Побежал к Тамаре, на колени перед ней стал: иди к жене, объясни, что к чему!

Красавица эта посмотрела на меня, особенно так посмотрела, засмеялась и пошла к Аннушке. Чего они там говорили, не знаю. Вроде подуспокоилась-жена, но уехала какая-то придавленная. А через полгода Тамара все-таки ко мне в койку залезла. И тогда призналась, что специально свои тряпки подбросила — влюблена была в меня. Или просто на мою неприступность злилась. Нет, нельзя женщин на суда брать, нельзя. Во всем порядочном мире по морям стюарды плавают, а с нашим равноправием да нехваткой услуги...

— Любовь — это обыкновенное предчувствие удачного и оптимального сочетания генетического наследства,— заявил старший механик.

— Видите ли, товарищи,— взял слово В. В.,— за женскую приятность, как, значить, говаривал Фома Фомич, мужчине обязательно надо платить неприятностью. Эту аксиому наш с вами коллега капитан Фомичев усвоил еще в молодые годы, когда был в сорок шестом на Крайнем Севере в охране зверосовхоза. И вот в зверосовхоз прибыл эшелон с трофейными или контрибуционными пушными зверями — немецкими лисицами или куницами из поверженной Германии. Эскортировали контрибуцию, значить, отчаянные девахи самых различных национальностей — из перемещенных лиц. А молодые бойцы охраны зверосовхоза толком женщин еще в жизни не видели — военная юность, голодовка, фронт, разнокалиберные потрясения неокрепших организмов и послевоенное казарменное затворничество. Естественно, что перед отбоем и после побудки они обсуждали женский вопрос, и главное: получится у них в будущие брачные ночи все в норме и тактично или ничего, значить, не получится. Когда прибыл эшелон, то вся охрана в различные щели зверосовхоза за девахами подглядывала и носами шмыгала от перевозбуждения и восхищения. Самые же отчаянные не только носами шмыгали, но и решились на экспериментальную проверку своих врожденных потенциальных возможностей. По принципу: упрямся — разбермся. Некоторые из решительных обогатились не толь-

ко успокоительным опытом, но и еще кое-чем; тут, как говорится, пройденного пути от нас не отберешь... Пенициллин в те суровые времена был дефицитом. Самым отчаянным экспериментаторам пришлось ходить за десять километров — по тундре, по тундре — в медпункт, а после прогулки они совершали лечебные процедуры в сортире на заполярном морозе обыкновенной марганцовкой. В результате у наблюдательного Фомы Фомича, значить, и выработался иммунитет к связям со случайными женщинами...

Вода в полынье, где дрейфовал наш «Колымалес», морщилась, хотя ветер почти совсем утих. И этак она морщилась — будто ей было горько и тошно глядеть на нас и слышать про все наше человеческое безобразие.

На ближней льдине пуночка клевала отбросы — маленькая серенькая птичка, которой плевать было на все здешние арктические страсти-мордасти...

— Так вы по такой же причине и поводу однолюб? — спросил я.

— Ну, зачем уж так, Виктор Викторович, хотя грязно, конечно, тоже посмотрелся в нежной юности, но тут, знаете ли, принцип. Тут уж у меня рабочая закваска, пролетарская, если хотите. Мария Петровна всю жизнь ждет — значит, и мне положено. Вот и у вас где-то написано: «Я однолюб и тем горестно счастлив». Ну, а я без горести. В награду мне теперь такая внучка — ого! Придете в гости — увидите — и уходить не захотите. Я и о пенсии без страха думаю. И если хотите, и о смерти тоже.

— А слоны, как ни одно другое животное, предчувствуют смерть и панически боятся ее, — сказал Октавиан Эдуардович. И мне показалось, что этот стальной циник много думает о смерти и побаивается ее.

— Мы не знаем, о чем думает и что видит собака перед смертью, но, быть может, она так спокойна, потому что знает своего собачьего бога, видит его и верит в него, — заметил В. В. И вдруг заинтересовался тем, почему я ни разу не послал радиogramму той женщине, которая провожала «Колымалес» в Ленинграде.

Я объяснил всем присутствующим, что если пройду ей хоть одну радиogramму, то она мгновенно вообразит себя в белом платье, вытаскивающей шлейф из автомобиля,

у которого кольца на крыше. И вылезает она в этом платье прямо к Вечному огню на Марсовом поле.

В. В. надел очки, долго и внимательно разглядывал мою физиономию, затем изрек вместе со своим обычным тяжелым вздохом:

— Ну, а вы будете при этом в белых тапочках.

Я не стал спорить.

Степень доверительной откровенности за этим ночным чаем недалеко от могилы лейтенанта Жохова получилась такая высокая, что пришлось рассказать коллегам кое-что из своего прошлого; о том, например, как я потерял невинность в парадной возле коломенских сфинксов. Рассказывал, конечно, в юмористических интонациях.

Перед вахтой еще успел заснуть на часок. Приснилось, что мне надо вести автомобиль, у которого спустили шины. И меня радуют спущенные шины, ибо я отвык водить автомобиль, боюсь быстро ехать и боюсь улиц. И вот я пытаюсь вести машину в объезд города по каким-то скользким горам...

В 13.00 снял судно с дрейфа, и мы поплыли за ледоколом в пролив Бориса Вилькицкого.

Лимонное солнце катилось над синими куполами береговых ледников, над глинистым Могильным мысом, над могилой Жохова и кочегара Ладоничева, и над синими торосами, и над серым блинчатым льдом, и над лиловыми окнами чистой воды. И при всем при том небо в зените было зеленым.

После ночного мороза со снастей капали на палубу прозрачные веселые капли. А с крыши рубки с шорохом падал подтаявший ледок.

И всю вахту вспоминались строчки предсмертного стихотворения Жохова:

Когда б он мог на них молиться снова,  
Глядеть на них хотя б издалека,  
Сама бы смерть была не так сурова,  
И не казалась бы могила глубока.

Чтобы отделаться от них, начал придумывать собственные стихи к рифме «ноты» — «еноты» — и ничего не придумал.

Наконец стряхнул с себя поэтическое наваждение и взгляделся вперед по курсу. Опять ледяное небо? Или просто длинное белое облако?..

Глаза проглядел, а понять не могу. Спрашиваю Митрофана:

— А не ледяное ли небо впереди, Митрофан Митрофанович?

— Ледяное, ледяное!

— А может, просто длинное белое облако?

— Точно, белое облако!

— А может, туман?

— Туман, туман!

Вот попугай на мою шею. Штурмана, которые долго плавали матросами,— особый народ. Они знают много такого, чего ты и не ведаешь,— это с одной стороны. А с другой — не любят решений, ибо привыкли к обязательному руководителю рядом.

Льды пошли плоские, ровные, над водой приподняты чуть-чуть. Кажется: корочка этакая декоративная, а перевернется возле борта — два метра!

Вечером в каюте старпома состоялся официальный бал. Я вынужден был танцевать фокстрот с Ниной Михайловной.

— Чего хочет женщина, того хочет бог,— сказал Октавиан Эдуардович, подталкивая меня в объятия буфетчицы.— Конечно, только извращенные французы могли придумать подобную сентенцию,— добавил он.

Танцевали мы с Мандмузелью под самостоятельную песню:

Последний раз маяк мелькнет,  
И снова жизнь моя пойдет  
Четыре через восемь.  
И как ты чувствуешь себя,  
В каюту с вахты приходя,  
Никто тебя не спросит.  
В привычном ритме, день за днем,  
Проходит рейс кошмарным сном.  
Четыре через восемь.  
Вот так и жизнь твоя пройдет —  
За рейсом рейс, за годом год.  
Четыре через восемь...

Ни всемирную, ни тем более русскую литературу я, даже дав самый полный передний ход, никуда не двину и даже дрогнуть не заставлю. И потому вдруг твердо решил, что следует мне писать откровенно и прямо только для моряков, для морского читателя.

В проливе Вилькицкого опять встретили белых медведей и опять застряли так плотно, что пришлось звать на обкол «Мурманск».

Мишки были просто невероятно чистенькие и желтенькие — как будто наелись лимонов и закусили канарейками, но полюбоваться на них я никак не мог. И секунды не выкроишь на постороннее отвлечение, когда ведешь судно в таком льду.

«Мурманск» расколочил могучую ледяную горушку на две равные кровожадные половинки. «Енисейск» между ними проскользнул. У нас под форштевнем они опять сошлись в дружественном рукопожатии. Я жажнул полный назад. Судно швырнуло вправо, и мы стали перпендикулярно каналу. И чтобы в него вернуться, пришлось совершить полную циркуляцию вокруг ледяного островка в оставшейся было уже за кормой полынье. А чтобы вписаться в трехсотшестидесятиградусный поворот, пришлось еще дважды давать средний назад... Да, чем дольше человек живет без ошибок, тем они неизбежнее в оставшееся ему время. Чем дольше моряк благополучно плавает, тем неизбежнее ему попасть в переплет судного, прокурорского дела или на грунт. Это обыкновенная теория вероятности. К счастью, ее мало кто знает.

Через полчаса опять не повезло. Отчаянно рванувшись самым полным ходом к близкой полынье сквозь сциллы и харибды сближающихся льдин, чтобы не упустить хвост «Енисейска», я вмазал правой скулой в край старого поля. «Колымалес» пошатнулся и вздыбился. Второй помощник на всякий пожарный случай исчез из рубки, а Октавиан Эдуардович одобрительно сказал:

— Так их! Крест на крест!

В 16.00 прошли траверз мыса Челюскина, поджимаюсь к острову Большевик. Развиднелось. Лед жуткий. Но — солнце! Сгинул туман. Совсем другое дело, когда солнце! Совсем другое, господа присяжные заседатели! Можете радар вообще к чертовой матери выключить, господа!..

Когда Митрофан выставлял координаты судна на АПСТБ-1, я вдруг осознал, что огибаю самую северную точку Евразийского материка на широте  $75^{\circ}$  и что всего четыре месяца назад я бултыхался возле Мирного на  $70^{\circ}$  южной широты. Носит же нелегкая!

В честь такого события ледокол вывел нас на чистую воду, а я спустился в кают-компанию поесть.

Нина Михайловна, загадочно улыбаясь, приносит что-то лакомое в горсти. Высыпает на столы. Радостное оживление: чеснок! А все думали, он давно кончился. Брюзжит один стармех. Оказывается, чеснок тоже не входит в его спартанское меню.

— Я еще не еврей! — объявляет Октавиан Эдуардович.

Все остальные оказываются евреями, ибо чеснок уничтожается моментально.

За три часа до выхода на чистую воду на караване произошла смена караула. Западник «Мурманск» передал нас восточнику «Красину».

Представьте себе два каравана судов, сближающихся на контркурсах в тяжелых льдах.

Во главе кильватерных колонн громадины ледоколов. Команда стопорить машины.

Суда покорно и понуро опускают усталые головушки и стоят, как старые лошадушки, безрадостно радуясь передышке.

Затем прощальные гудки — и покатили в разные стороны.

И, как всегда, когда глядишь со стороны на однотипное твоему судно в тяжелый шторм или в тяжелых льдах, когда наблюдаешь его крены или удары и шатания, то думаешь: «Господи боже мой, неужели и мы сейчас так же?!» А встречные проходили по нашему левому борту уже пустые, в балласте — их стучало посильнее, так, как и нас будет стучать на обратном пути.

В общем, встреча двух караванов и смена лидеров — впечатляющее зрелище и для привычных глаз.

Мои впечатления отравляла немного литературная известность. Патологически не люблю обращать на себя общественное внимание. А без этого в коммунальной квартире, то есть на Арктической трассе СМП, мне уже не обойтись.

Все и всё здесь друг про друга знают. В инкогнито не сыграешь. Из радиотелефона доносится:

«На „Колымалесе“ Конецкий плывет».

«Чего он тут делает?»

«Мозги в Арктике проветривает».

«Делать ему больше нечего! Наверное, мозоли на заднице отсидел».

Ну, и т. д.

Да, есть у меня теперь лишние заботы — и вчерашние, и завтрашние: «Конецкий застрял!», «Конецкий пилотку надел!» — под некоторым колпаком я тут сижу, стеклянным. Никуда не денешься, это факт, что с этой фамилией делается работать в море труднее. И все-таки свой я здесь, и потому хорошо мне здесь, несмотря на все тягости. В тысячу раз лучше, нежели неделями валяться на диване с «Наукой и жизнью» на Петроградской стороне и кормить бледных комаров бледной кровью перед телевизором.

## ИСТОРИЯ С МОИМ БЮСТОМ

Быть знаменитым некрасиво.

*Б. Пастернак*

Часто удивляет дешевизна в нашей стране некоторых бытовых вещей, о цене которых узнаешь неожиданным образом или, если хотите, путем. Имею в виду чашки, тарелки, графины, наволочки или матрацы. Узнаю я их цену в ресторанах или гостиницах, когда чего кокнешь или прожжешь. И каждый раз удивляюсь — дешева! А ведь годами прозябаешь дома с разбитой чашкой или вовсе без рюмок; или с графином, у которого давно горлышко треснуло, а пробка потерялась. И в голову не придет сходить в посудную лавку и тряхнуть мощной на три или там даже пять рублей, ибо тебе не трешка мерешится, а минимум сотняга убытков.

Недавно в дорогом ресторане перевернул целиком стол на очередного своего режиссера-экранизатора. И обошлось все удовольствие в жалкий четвертак...

Но вернемся к моему бюсту.

Слепил бюст столичный скульптор-монументалист Геннадий Дмитриевич Залпов абсолютно спонтанно, то есть неожиданно и для себя, и для меня.

Затрудняюсь сказать что-либо определенное о степени гениальности Залпова, так как в пластических искусствах, как и в музыке, ни бельмеса не понимаю.

Но одно его творение — Николай Васильевич Гоголь в натуральную величину, стилизованный под Бальзака Родена, — вещь безусловно замечательная. Во всяком случае, мне она крепко запомнилась.

На окраине Москвы у Геннадия Дмитриевича есть полуподвальная мастерская, при ней жилая комнатуха с дырявым диваном и шикарным холодильником.



Мастерская битком набита человекообразными муляжами, африканскими масками, скелетами, черепами и отвергнутыми заказчиками скульптурами.

Разглядывать изнанку монументалистики при дневном свете и с приятелями даже интересно, но тут пришлось после изрядной танцульки остаться ночевать у Генки в жилой комнате-каморке в полнейшем одиночестве.

Проснулся где-то около двух ночи — незнакомая обстановка, голова трещит, возле головы тарелка, набитая окурками.

Зима была, холодрыга.

Покряхтел я, поворочался, но — дисциплина! Преодолею нежелание вылезать из-под одеяла, забрал тарелку с окурками и отправился искать место общего пользования. Знал только, что оно с другой стороны огромной мастерской расположено. Шарил, шарил свободной рукой возле притолоки двери мастерской — выключателей не обнаружил. Тьма впереди — глаз выколи. Но и упрямства у меня достаточно: ежели, например, морковь натирать, то обязательно кочерыжку буду до тех пор насиловать, пока из пальцев кровь не брызнет. Короче говоря, воткнулся несколько раз во всякую монументалистику, рассыпал половину окурков, опрокинул пару скелетов, но в туалет все-таки добрался.

Тут надо еще заметить, что в нормальных, домашних условиях я никогда не вытряхиваю пепельницы в унитаз. Корень здесь в том, что окурки очень долго не тонут, сопротивляются судьбе со спартанским упорством, сражаются с унитаэным водопадом насмерть: вертятся там, крутятся, вроде уже потонут, ан нет — опять всплывут! И я за такое жизнелюбие окурки уважаю. Они, на мой взгляд, как и римские гладиаторы, заслуживают пальца, поднятого вверх. Но и сам я не могу уступить окуркам последнего слова. И вот минут пять провел в туалете, дергая и дергая машинку, пока последний гладиатор не утоп.

В паузах, когда я ожидал очередного наполнения опорожненного бачка, в голову лезли мысли о бренности бытия, вечности мироздания и о том, что рано или поздно придется высказать Геннадию Дмитриевичу свое мнение о его произведениях. Ведь уходить из мастерской художника во сто крат затруднительнее, например, нежели из лаборатории ученого. У гения науки можешь достойно молчать от начала до конца, ибо и он, и все окружающие знают, что ты ничего ни в чем не понимаешь, а с худож-

никами просто беда. Тут даже так получается, что чем хуже художник, тем тебе легче нагородить ему при уходе всякой чуши,— и он будет доволен, а с художественным гением полнейшая безысходность, когда топчешься уже в его передней — и ни единого слова не выдавить: нет слов и баста!

Но если уж совсем честным быть, то размышлял я про все эти материи и топил пять минут несчастные окурки еще и потому, что было жутковато возвращаться через темную мастерскую-покойницкую. Все-таки скульптура — довольно мертвое изобретение. И нервишки пошаливают. Однако и торчать до утра в туалете резона не было.

И когда, значит, последний окурочек утоп, я развернулся на сто восемьдесят и лег на обратный курс. И лавировал сперва довольно удачно — пространственная память-то у меня штурманская. Как вдруг сквозь пыльные окна сверкнула луна, и передо мной возник из небытия и тьмы небольшого роста человек — длиннейший птичий нос, волосы, ниспадающие прямыми прядями на изможденные щеки: луна высветила Гоголя мраморного, безо всякого пьедестала. И мертвые, черные провалы зрачков уперли в меня больной, черный взгляд.

Я чуть в обморок не завалился. Н-да...

Шутил в своих писаниях при жизни Николай Васильевич много, но и какой-то одинокой запредельной жути в классике достаточно.

К тому же я с детства запомнил, что более всего он боялся быть похороненным живьем, в летаргическом сне. И в завещании даже написал, чтобы не хоронили, пока «не укажутся явные признаки разложения тела». И еще, кажется, в завещании попросил не водружать на могилу тяжелого надгробья, дабы оно не давило на него тяжестью Каменного гостя. Как у нас и положено, похоронили Гоголя живьем — потом при вскрытии могилы обнаружили его в гробу перевернутым. И, чтобы больше не вертелся, навалили все-таки сверху соответствующее надгробье.

Не буду утверждать, что сказанное полностью соответствует действительности,— не в том дело. А в том, что в моем-то мозгу это существует с отрочества так, будто я сам гроб Николая Васильевича вскрывал: воображение — черт бы его побрал! — у меня тоже хорошее.

А тут не в воображении, а въяве увидел скорбную нахихлившуюся фигуру и лицо, которое потусторонне све-

тилось — черный полированный мрамор в лунных лучах, — ни житель света, черт бы Залпова побрал, ни призрак мертвый....

Бежал я от Гоголя — в трусах и майке — точно как Евгений от Медного всадника, обхвативши голову руками и подвывая на ходу.

В комнатенке засунул ножку стула в ручку двери — крючка не было; полистал разные легкомысленные журнальчики, покурил, но заснуть так больше и не удалось.

Лежал и раздумывал о мистических совпадениях. Ведь это факт, что вдове Булгакова Елене Сергеевне по бедности пришлось отыскивать на задах какого-то кладбища, на свалке среди старых, бесхозных памятников более или менее подходящую к ее вкусу и бюджету, бывшую, естественно, уже в употреблении, замшелую плиту. Понравилась ей одна такая глубоко вдавившаяся в землю плита. А когда плиту перевернули, то обнаружили надпись «Н. В. Гоголь». И этот самый камень лежит теперь на Булгакове — вот эстафета русской литературы.

Утром пришел Залпов, взгляделся в мою физиономию и говорит:

— Ну у тебя и выражение на личике! Прямо как у Понтия Пилата!

Я почему-то шепотом ему говорю:

— Сволочь! Ваятель чудотворный! Надо людей предупреждать, что здесь у тебя покойницкая, а не человеческое жилье! Ужо тебе!..

Ну, а потом рассказал все, как было.

Он расцвел утренней розой, когда убедился в том, что я действительно ночью насмерть перепугался. Понять его можно. Что для творца может быть прекрасней, нежели потрясение, произведенное его творением на другого художника? И Генка — в компенсацию за бессонную ночь и все пережитые кошмары — с ходу возвел меня на подиум (так на древнеримском языке возвышение для натурщиков называется), усадил на трухлявую вертящуюся табуретку и принялся лепить.

Пока он самозабвенно работал, я несколько раз задремывал и чуть было с подиума не свалился.

Часика через два Генка уже закончил.

Голова бюста показалась мне значительно больше моей натуральной, а глина, из которой он все это дело сляпал, показалась грязноватой. Эти свои замечания я высказал вслух, но робко.

Честно признаюсь, мне бюст понравился своей тяжестью, массивностью, монументальностью — размеры и объем произведения пластического искусства играют не последнюю роль, в чем легко убедиться на любом углу наших городов.

На робкие замечания Генка ответил, что голова у меня, действительно, опухшая, но на другое я и не должен был рассчитывать. А про глину монументалист сказал, что она первоклассная.

Затем он закрыл мое изображение мокрой тряпкой и добавил, что сеанс окончен.

Мы попрощались, и я убыл восвояси.

Спустя этак годик случайно узнаю, что красуюсь в столичном Манеже на выставке «Голубые дороги Родины» бюстом уже из настоящей бронзы.

Примчался в Москву на самолете, узнал, что на самом деле отлит в цветном металле — и опять спонтанно: не набиралось для огромной выставки, которая должна была прославить морское могущество нашей страны, нужного количества экспонатов. Вот меня и отлили — повезло Геннадии Дмитриевичу Залпову.

Собрал я штук пять московских красоток — знакомых и вовсе незнакомых — и повез их на выставку, чтобы оглушительно похвастаться свидетельством своего вечно го теперь бессмертия. Ну-с, купил билеты и повел московских красоток, одна из которых почему-то оказалась негритянкой, в космические пространства манежных анфилад.

Искали мы мой бюст, искали — раза три выставку обошли — нет меня. Ни в натуре нет, ни, как говорится, в списках-проспектах. Я было решил, что меня просто-напросто разыграли. Но тут негритянка обнаружила произведение Геннадия Дмитриевича Залпова. Под моим пластическим изображением висела бирка:

«Портрет писателя-моряка В. Корнецкого.  
1979. Бронза. 65×25×36»

Красотки принялись хохотать над опухшей бронзовой физиономией и перевернутой фамилией. Я обозлился, исправил фамилию под портретом шариковой ручкой, смотрительница-служительница подняла шум и гам, меня повели в дирекцию Манежа, и там я битый час доказывал, что не верблюд.

За это время красотики смылись.

Мне ничего не оставалось, как опять пойти в зал и повертеться минут пятнадцать вокруг бюста в надежде, что кто-нибудь из редких посетителей обнаружит наше сходство, но такого не случилось. Тогда я позвонил Генке и сказал, что отлил он не меня, а какое-то чучело, да еще и под другой фамилией. На это Генка сказал, что я не Гоголь, чтоб быть на себя похожим; и сам виноват, что у меня дурацкая фамилия, которую вечно путают; и что я должен быть ему до гроба благодарен хотя бы за то, что угодил в компанию Петра Великого, Витуса Беринга и Ивана Папанина. Но даже такие соседи по выставочному залу меня не утешили, а усы Петра напомнили почему-то усы булгаковского кота из «Мастера и Маргариты».

К счастью, тут я обнаружил портрет капитана дальнего плавания Ивана Александровича Мана. Он первым водил «Обь» в Антарктиду, а во времена войны проявил огромное количество какого-то уже запредельно бесшабашного мужества, когда угодил в штрафбат и высаживался в Констанце. Так вот, фамилию Ивана Александровича тоже переврали, и значился он как МААН — два «А» в середине. И я утешился, плюнул на мраморную слизь и решил выкинуть историю из головы. Но не тут-то было! Зимой «Голубые дороги Родины» привезли в родной Ленинград и развернули уже в нашем Манеже. На выставку занесло одного моего высокого морского начальника, Героя Социалистического Труда. И вот когда он обнаружил бронзовый бюст рядового судоводителя, а такое вообще-то положено при жизни только настоящим дважды Героям, то начальник так обозлился на мою нескромность, что к чему-то придрался и сделал мне дырку во вкладном талоне к диплому, а затем отправил меня вне очереди на курсы повышения квалификации комсостава флота.

Но и это не конец. Где-то еще через год звонит Гена и спрашивает, нет ли у меня знакомых в Прокуратуре СССР или в крайнем случае в КГБ. Я отвечаю, что пока нет, но в будущем все возможно. Он орет, чтобы я прекратил шутки, потому что легендарный бюст, когда «Голубые дороги Родины» везли уже с Дальнего Востока в Клязьму, на родных сухопутных железных дорогах сперли. Из Хабаровска мое бронзовое многопудье уехало, а в Клязьму не приехало.

Я говорю, что это вполне естественно и еще раз иллюстрирует любовь ко мне всего нашего великого народа.

Генка обозвал меня идиотом и объяснил, что бронзу воруют даже с могильных надгробий: делать какие-то втулки для передних или задних подвесок «Жигулей».

Я ему сказал, что он сам дурак.

Генка слезливо сказал, что если это моя проделка, то он умоляет бюст вернуть, ибо им, скульпторам-монументалистам, положен на каждый год лимит бронзы — она острый дефицит. А он, Генка, сейчас лепит Семена Челюскина — у того как раз юбилей. И рассчитывал перелить мой бюст в этого землепроходца, но теперь все срывается.

Я говорю: какой может быть юбилей у Семена Челюскина, ежели никто не знает дат его рождения и смерти? Генка говорит, что это не мое дело, а что с него, с Залпова, высчитывают по рубль двенадцать копеек за каждый килограмм моего портрета, хотя он лично никакого отношения к вагонной краже не имел.

Я ему говорю, что если килограмм бронзы стоит рупь двенадцать, то это не дефицит. И украли мой бюст влюбленные читатели, а не автолюбители. Хотя добавляю я и то, с чего начинал эту грустную историю, то есть что меня удивляет дешевизна в нашей стране некоторых бытовых вещей, о цене которых узнаешь в ресторанах или гостиницах, когда кокнешь чашку, графин или тарелку. И что не так давно в Доме кино я перевернул стол на очередного своего режиссера-экранизатора, и обошлось все удовольствие в четвертак...

Генка меня не дослушал и бросил трубку. Бюст сгнил бесследно. Даже фото не осталось.

Не скрою, я несколько огорчен таким концом этой истории, ибо явственно вижу очистительный огонь, в котором плавится мое бронзовое бессмертие, превращаясь во втулки для передней или задней подвески «Жигулей». Ведь любой — самый средненький — человек огорчается невниманием к его заслугам, готовясь к предстоящему — неизбежному и, увы, уже вечному — забвению.

После выхода книги «Среди мифов и рифов» я получил приглашение студентов-маврикийцев, обучающихся в Ленинграде в медвузах, на бокал вина и чашку кофе. И был горд всемирной известностью, опять забыв, что это штука некрасивая.

Встреча состоялась на реке Фонтанке. В Доме дружбы.

Вино показалось кислым, кофе чересчур горьким, а пирожные — просто хибином, ибо дело запахло международным скандалом. С мягкой и зловеще-дипломатической любезностью ребята обратили мое внимание на то, что я опорочил гражданина их страны шипчандлера Ромула (Рамлала). Ребята утверждали, что он отличный парень, без памяти любит русских, всеми силами и средствами способствует развитию дружеских отношений между нашими странами и учился в Москве. И что студенты вынуждены будут обратиться к послу, чтобы защитить Ромула от меня, если я печатно не принесу извинений за нанесение ему тяжких оскорблений клеветнического характера. Дело в том, что я вжарил Ромулу (Рамлалу) на полную катушку. В главе о заходе на Маврикий я рассказал, как этот тип устроил нам экспедиционный автобус для поездки из Порт-Луи в Курепипе за шестьсот рупий — бандитская, грабительская цена. Он давил на советскую психику значком с силуэтом Ленина на пиджаке. Но, как я обнаружил (со свойственными мне следовательскими талантами), при обслуживании американцев Ромул заменял этот значок портретом Никсона. Такие хамелеоны обнаруживаются во многих портах, ибо бизнес не знает морали.

И приносить какие бы то ни было извинения я отказался категорически, ибо не сомневался в том, что шипчандлер — пройдоха.

И землячество маврикийских студентов в Ленинграде обратилось-таки к своему послу с жалобой на меня.

Нынче я рассказывал эту историю В. В.

— Сейчас вам полегчает, — сказал В. В. и вытащил из стола папку «Бюллетеней» БМП, и я (то и дело бормоча с восхищением: «Маменьки мои родные! как мне в жилу! как в жилу!..») прочитал:

**«О ШИПЧАНДЛЕРСКОМ СНАБЖЕНИИ В ПОРТ-ЛУИ (ОСТРОВ МАВРИКИЙ).**

Капитанам всех судов загранплавания Балтийского морского пароходства!

В Порт-Луи (остров Маврикий) имеется три шипчандлерских фирмы: „Раджу Падааячи“, „Апаву“, „Мамуд Амир“...

(Главного шефа фирмы „Падааячи“ я и обложил в книге „Среди мифов и рифов“. В результате пережил несколько тоскливых месяцев в ожидании неприятных.

последствий, ибо опасения тихо гнили в душе, как овощи в овощехранилище.— В. К.).

Ни с одной из указанных фирм Министерство Морского флота не имеет соглашения по обслуживанию советских судов. Соглашения не заключались, чтобы не связывать инициативу капитанов в снабжении своих судов на наиболее выгодных условиях.

Фирма „Раджу Падаячи“ благодаря знанию русского языка ее представителем Рамлалом сумела быстрее, чем другие фирмы, установить деловые отношения с капитанами советских судов, посещающих Порт-Луи. Многие капитаны стали пользоваться ее услугами.

Однако, пользуясь отсутствием контроля со стороны капитанов, фирма „Раджу Падаячи“ стала злоупотреблять хорошим отношением советских капитанов к ней.

Фирма стала завышать ставки на продукты и снабжение, особенно по найму катеров. Например, НИС „Воейков“, покинувшее Порт-Луи 5 октября прошлого года, закупило все продукты у фирмы „Раджу Падаячи“ и пользовалось другими услугами этой фирмы. Только за продукты судно переплатило более 500 рупий. Что касается пользования катером, то фирме было переплачено в десятки раз больше нормального (вместо 375 было выплачено 7650 рупий). Несмотря на это, капитан НИС „Воейков“ в своем отзыве, оставленном фирме, отзывался о ней очень лестно.

Пытаясь заключить соглашение на обслуживание советских судов, фирма „Раджу Падаячи“ прислала в „Совинфлот“ письмо с приложением фотокопий около двадцати отзывов и рекомендательных писем, некоторые из них даже с гербовыми печатями советских судов. Такие документы выдали: т/х „Выборглес“; научно-исследовательские суда „Воейков“ и „Невель“, который выдал фирме четыре (!) рекомендательных письма, а также теплоходы „Восток-3“, „Тоснолес“ и танкер „Аксай“.

Вышеизложенное показывает, что фирма „Раджу Падаячи“ заранее планомерно запасалась отзывами для того, чтобы в удобном случае использовать их в нужных для себя целях.

Чтобы не допускать повторения подобных случаев в будущем, не следует давать отзывы и рекомендации в письменном виде любым заграничным фирмам и организациям. В Порт-Луи необходимо пользоваться услугами тех шипчандлерских фирм, которые предоставляют



наиболее льготные условия и которые рекомендуются Посольством или Консульством».

На Маврикии есть гора Тэ-Морн. Так вот, она с моих плеч свалилась.

Я был на том самом «Невеле», который «выдал четыре (!) рекомендации». И вот наконец гора Тэ-Морн рухнула с моих хилых плеч за борт теплохода «Колымалес», когда я (с добродушного разрешения В. В.) выдираю циркуляр из его аккуратной капитанской подшивки и перепрятывал в свою заветную папочку, где храню для прокуроров подобные страховочные документки. Теперь я уже не боюсь маврикийских студентов.

Вышли в море Лаптевых при чистом солнце, голубых небесах и среди редко и гордо — по-лебединому — плавающих отдельных льдин.

За чаем выяснилось, что помпа не знает, что мыс Челюскина назван в честь Семена Ивановича Челюскина! Он думал, что мыс назван в честь утонувшего и героически прославившегося парохода! Вы такое представить можете? Одно только есть смягчающее обстоятельство. Каюту помполита сегодня сильно притопило — отпотевание. Снаружи —6°, а изнутри тепло.

Из вентиляционных отдушин трюмов — запах бурно гниющей картошки, которую тоже притапливает.

Холод какой-то ясный и пронзающий — больше минуты я на крыле мостика не выдерживаю. В Ленинграде +22°.

На крыло выхожу для борьбы с отложениями солей в шейных позвонках: кручу башкой по тридцать раз в ту и другую стороны. Кручу с закрытыми глазами. Когда после процедуры их открываешь, несколько секунд находишься в состоянии невесомости.

Этой ночью небо было большое. И море — большое... Так просто велят писать классики. И потому не будем ничего добавлять.

Небо большое... Море — большое. И наш малюсенький пароход.

## *В ЦЕНТРЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ*

Тринадцатого августа в 12.30 вышли в точку выжидательного дрейфа на меридиане Тикси и параллели пролива Санникова. Здесь дрейфует еще пять судов. И Ко-

нышев на «Индиге». Поразительно нам с ним везет на встречи в экзотических точках планеты! Антарктические фотографии он, старый плут, мне все зажимает. Поболтали через эфир. Я с фотографий начал и ими закончил.

Семнадцатое августа. Продолжаем лежать в дрейфе на меридиане Тикси и параллели пролива Санникова. Ждем «Ермака».

Ровно два года назад товарищ Кучиев вывел «Арктику» на Северный полюс. У меня есть выписка из судового журнала «Арктики» на этот момент. Правда, я смотрю на эту выписку, как козел на слона. Слишком много знакомых обозначений и сокращений: все определения места в точке, где сходятся меридианы, делались при помощи спутниковой аппаратуры.

Лавина анекдотов о героическом плавании «Арктики» продолжает увеличиваться. Очередной: дело происходит уже на самой северной макушке планеты; как для торжественных случаев и положено, заранее были разработаны церемониал и ритуал, по которым первым на лед полюса должен был спуститься начальник всей экспедиции — Сам — министр морского флота. Потом он дол~~ен~~ был удалиться от «Арктики» метров на сто в полном одиночестве, чтобы дать возможность кинофотокорреспондентам заснять исторический момент с высоты мостика атомохода. А потом уже могли, сшибая друг друга с ног и сломя головы, устремиться по трапу остальные герои экспедиции.

И вот Сам спускается первым, складывает на груди руки, в глубоком раздумье склоняет голову и шагает по льдам, осмысливая, так сказать, историческую глубину и ширину момента, — ну, Наполеон после Аустерлица. А вслед ему стрекочет соответствующая аппаратура, запечатлевая первые шаги человека по нетронутой, прямо-таки плутоновской поверхности полюсного льда.

Где-то на восьмидесятом шаге Сам вдруг дает крен на левый борт, потом на правый и начинает как бы уменьшаться в размерах. Ясное дело: под лед проваливается, думают остальные герои и бросаются на спасение. Но зря торопятся и потому ошибаются. Оказывается, Сам просто-напросто увидел на нетронутом, полюсном, девственном льду пустую четвертинку от «Столичной» и пачку от «Примы». И от этого простецкого — прямо в духе Петрова-Водкина — натюрморта министра и повело кренить в разные стороны, ибо какие-то длинноволосые и джинсовые молодцы из состава героического

экипажа уже успели побывать там вперед Самого, слава весь ритуал и все опошлив...

Самая трогательная деталь при торжестве встречи Гагарина в Москве. (Для меня, конечно.)

Юра шел от самолета по ковровой дорожке доложить о выполнении задания. И на правом ботинке развязался шнурок. Жуткая ситуация! Попасть в смешное положение, в конфуз, когда весь мир смотрит... Любой супермен обмер бы от ужаса.

Гагарин продолжал шагать обыкновенно. Ни парадности в шаге для камуфляжа не прибавил, ни лицом не дрогнул: «Ну, что ж поделать, дорогие товарищи, коли шнурок развязался... все бывает; черт бы этот ботинок побрал... ладно, переживем и это...»

Наполеона трусом не назовешь. Но он панически боялся подобных конфузов.

А ведь и президентам великих государств иногда стоило бы специально подстраивать себе что-нибудь этакое при парадной встрече в чужой стране — мигом ты тамошним людям ближе, роднее станешь, ибо любое просто человеческое есть высшая покоряющая и объединяющая сила.

К нам пробиваются маломощные ледоколы «Капитан Сорокин» и «Капитан Воронин», которых Октавиан называет «полупроводники».

Из перехватов:

ЛК КАП ВОРОНИН 190400 7248/14943 СЛЕДУЕМ СОЕДИНЕНИЕ КАРАВАНОМ ЛЕД 10 ОБЛОМКИ ТОРОСЫ МНОГОЛЕТНЕГО 8 РАЗРУШЕН 1/2 ТОРОСЫ 3/4 СЖАТИЕ 1 ВЕТЕР СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 3 М/СЕК ТУМАН ВИДИМОСТЬ 2/4 КБТ ЗА ВАХТУ ПРОШЛИ 14 МИЛЬ=КМ ТЕРЕХОВ.

ЛК КАП СОРОКИН 190800 7458/12925 СЛЕДУЕМ СОГЛАСНО РДО 190817 КН ПОЛУНИНА ЛЕД ОДНОЛЕТНИЙ БИТЫЙ ОБЛОМКИ 3 ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 10 М/СЕК ВИДИМОСТЬ 8 КБТ ВАХТУ ПРОЙДЕНО 45 МИЛЬ=КМ ПЕРЕЛЫГИН.

Все указывает на то, что Арктика нынче (совершенно неожиданно для начальства) ведет себя так отвратительно, как уже полвека не было. Пароходство настойчиво

повторяет, что нынешняя навигация особая и требуется резко повышенная осторожность. От этих повторов живот подтягивает.

Тем временем культурная жизнь «Колымалеса» течет своим чередом.

Советский кинобоевик про ковбоев. Названия не уловил. В главных ролях Донатас Банионис и Сенчина. Сенчину Донатас по ходу дела насилует. Она не падает духом, поет песенки на слова Высоцкого и дрыгает ножками. Из кровати героиня показывает зрителям свои симпатичные грудки и всякие другие тайны. А я и не знал, что у нас снимают такие безнравственные фильмы! Ни одного даже аиста нет!

Возмутился Митрофан, серьезно, глубоко:

— Вернусь домой — разобью все ее пластинки! Если артистка живые концерты часто выступает, то не имеет права так себя на экране вести!

Самое смешное, что я в глубинах души с ним согласен — значит, и меня пропитало ханжество нашего бесполого искусства и литературы?..

Из перехваченных радиogramм еще известно, что сюда на соединение с нами идет «Великий Устюг» и еще шесть судов. Нас здесь — почти в центре моря Лаптевых — тоже семеро. Собирается армада из четырнадцати судов. И атомоходов нет. Зимние ледокольные операции возле Ямала — вещь, вероятно, замечательная, если судить по газетному шуму. Но после зимних боев атомоходы становятся на ремонт. И вот мы кукуем в дрейфе, а «Ленин» где?.. Четырнадцать судов в куче! Ведь опыт говорит, что через проливы в Восточно-Сибирское море нас будут таскать поштучно. Сколько же на это времени надо? Пора уже из Певека выходить на запад, а...

Все бы ничего, но только зубы от холодного ветра прохватывает и правую ступню почему-то часто схватывает судорога. Самое прекрасное в судорогах то, что они рано или поздно проходят. Но что бы они обозначали?

Собственное старение меня, конечно, злит. Но куда больше раздражает неуклонное старение вещей. Мне что! Мне стареть положено по штату, ибо я — живой. Но когда стареют мертвые вещи, это возмутительно! Лохмотья, оставшиеся после стирки простыни, или перегоревшая лампочка поднимают в моей душе двенадцатибалльный шторм. Вещи не имеют никакого морального права на старение!

Ветерок с норда хамоватый, плечистый, крутит и вертит наши безропотные пароходики. Такой ветер я обываю «сорвиголовистым».

Когда обветренные матросы приходят в рубку с палубы, от их синих ватников, вязаных шапок с немислимыми помпонами, сапог с загнутыми голенищами, румяно-задубелых лиц пахнет морозом, молодостью и даже счастьем. А некоторое стеснение и неловкость — пока обвыкнут в рубке — прекрасны.

Обмерзают стекла окон и иллюминаторов изнутри с наветренного борта.

Митрофан, которому надоели мои жалобы на зубную боль, рассказал о том, как ему рвали клык в Гаване. Он с раннего детства бутылки этим клыком открывал, ну, зуб наконец и треснул. Стоматолог — негр, огромный и страшный. Кресло откидное. Негр — раз! — и кнопку нажал, кресло — раз! — и Митрофан уже лежит в горизонтальном положении и видит над собой лестницу, а на лестнице показывается по всем статьям потрясающая мулатка — в мини! Митрофан пасть на ее прелести разинул, а негр — раз! — и уже нет зуба! и без всякого наркоза!

Я поинтересовался, что негр-стоматолог показывает пациенткам, то есть больным женского пола, чтобы дамы пасть разинули?

Этого Митрофан Митрофанович не знал.

Прибегали по льдам два пса, еще темненькие, летние, только брюшки белеть начинают.

Митрофан отправился в путешествие к полубаку, чтобы рассмотреть зверей поближе и с ними познакомиться. Путешествие это довольно опасное — через бочки с кислой капустой и помидорами, а бочки покрыты густым и скользким инеем. Был грузовой помощник без головного убора и без всякой верхней одежды — в одной красной ковбойке.

Песцы подбежали к носу судна, покрутились там, но потом вдруг чего-то сильно напугались и мгновенно скрылись в торосах.

Когда Митрофан вернулся, я сказал, что это он напугал зверей обкорнанной ножницами головой. Митрофан обиделся.

Дело тут в следующем. Для укрепления корней своей рыжей шевелюры Митрофан сразу после Мурманска принял решение на время арктического плавания остричься наголо. Но возникло затруднение. Куда-то за-

пропала судовая стригательная машинка. Правда, потом ее нашли в каюте первого помощника, но оказалась она, по выражению Митрофана, «тупой, как ковш шагающего экскаватора». В результате подстригли его матросы обыкновенными ножницами.

Уродлив стал Митрофан запредельно.

В. В. даже еще раз заметил ему:

— Ведь это факт, Митрофан Митрофанович, что в морях народ наш издавна хочет видеть свою мечту, а вы ее теперь подрываете...

Неприятное ЧП. Какой-то заскучавший в монотонном рейсе типчик сорвал пломбы с автобуса, который закреплен на крышке третьего трюма. Типчик в автобус забрался, перевернул заводской ЗИП и смылся, ничего не похитив. Оставил заметные следы на месте преступления — отпечатки подошв, ибо, пробираясь ночью к автобусу и нервничая, ступил в свежепокрашенный участок палубы.

Перед очередным кошмарным кинофильмом типа «Лекарство против страха», «Черный бизнес», «Чудо с косичками» капитан обратился к экипажу с проникновенными словами, призывая греховодника к смиренному покаянию. В. В. даже обещал налетчику сохранение орденов и шпаги, то есть сохранение его имени в тайне от экипажа. Налетчику предлагалось прийти в каюту капитана в любое удобное для него время текущих суток. Расчет был на то, что у нас много молоденьких практикантов и что кто-то по чистой глупости, из детского любопытства сорвал пломбу. Ему надо объяснить, что такая шалость ведет за собой соответствующую статью уголовного кодекса, — и концы в воду. (Конечно, у опытного читателя возникнет вопрос: а как вы собирались потом сдавать автобус грузополучателю в Певеке? Без пломб? На этот вопрос Митрофан Митрофанович разъяснил мне, что еще с матросских времен может сделать и поставить любую пломбу на любое рукотворное и нерукотворное сооружение, перевозимое на судах морского флота СССР.)

Никто к капитану не явился.

Тогда во мне разыгрались следовательские гены. И я предложил В. В. распустить по судну слух, что в Певеке мы вызовем милицейскую бригаду и по оставшимся следам легко найдем вора.

— Зачем врать лишний раз, Виктор Викторович? Ведь не будем мы вызывать следователей. Еще судно из-

за такой ерунды позорить? Да и времени там не будет. Черт с ним, с этим типом.

Но до чего омерзительно сознание, что рядом ходит и будет ходить и усмехаться грязный, трусливый человек!

В. В. регулярно смотрит все фильмы и по десять, и по двадцать раз. Вовсе не смотрит про войну. Я спросил, почему он их избегает?

— Плачу быстро, Виктор Викторович. Перед экипажем стыдно.

Никогда не надевает перчаток. На ногах носит только разношенные до состояния лаптей, лохматые ботинки — все пальцы наружу. Это, конечно, в море, в домашней, так сказать, обстановке. Лохматые лапти соединяет с сибаритством в вопросе курева — отравляется лишь очень дорогими английскими сигаретами. Выкуривает не больше трети сигареты. Остальное тщательно мозжит в пепельнице большим пальцем. Палец такой внушительный, что хочется обратиться к нему с прописных букв: «Уважаемый Большой Палец!»

Запас моего «Космоса» кончился. И я обратился к большому пальцу В. В. с просьбой:

— Уважаемый Большой Палец капитана теплохода «Колымалес»! Пожалуйста, не расплющивайте английские окурки. Я буду их докуривать.

И теперь В. В. аккуратными штабелями складывает свои окурки на видных местах. Оказалось, что он уже привык так поступать. Прошлый старпом часто оказывался в положении бедного Чарли Чаплина.

Тут может возникнуть вопрос: а почему В. В. не дал мне пару блоков английских сигарет в натуральном виде? Предлагал. Но они в необкуренном состоянии для меня слабые.

Продолжаем лежать в ледовом дрейфе, непрерывно работая вперед малым ходом для сохранения под урезом кормы майны.

Продолжаются мелкие неприятности:

Раки Митрофана начали вдруг линять. И один помер. Но не от линьки, а, по заявлению хозяина, сдох, откушав той рыбы, что нам вчера на ужин дали. Другой рак был более осторожным и нашу ужинную рыбу не ел. Потому, даже отливяв, жив-здоров на радость всем морячкам!

За отчетный период было два случая обесточивания судна: на ходу при следовании за ледоколом и при вы-

борке якоря. Обесточенное судно — это судно слепое, глухое, без руля, без ветрил, без рук и ног и даже без способности к осязанию окружающего.

На командирском совещании разговор по этому поводу. Электромеханику В. В. впилил выговор. Командиры сидели сосредоточенные и суровые. Демонический Октавиан Эдуардович повесил нос.

Да еще чертовщина во втором трюме. В мерительной трубке пять метров воды. Откатали льяла до срыва насосов. В трубке по-прежнему пять метров. Трюм набит ящиками с вином и опечатан. Вскрывать его — потом хлопот полон рот. Вчера было минус три градуса. Может, воздушник замерз? Но почему именно пять метров? Ведь это равно осадке, то есть уровню забортной воды. Но если бы действительно трюм был затоплен, то мы сели бы носом. Однако дифференциал не изменился. Вот и гадай...

Стармех еще больше почернел. Да, забыл. У него левая рука висит на косынке Нины Михайловны — опять во сне звезданул кулаком в переборку. Разбил костяшки пальцев, а потом так стремительно соскочил с койки, что разломал еще и кресло.

Меня даже при легком недомогании сразу тянет ныть и жаловаться любому окружению, а уж если боль сильна, так я обязательно сигнал-стон выдам на полную катушку. И стойческое перемогание хворей и напастей Октавианом Эдуардовичем вызывает глубокое уважение.

Сказал ему об этом.

Он сказал, что у каждого свой болевой порог, хотя все равны перед богом, как и все нации перед ним равны, хотя он, бог, дал для каждой нации свой запах пота.

Уже здорово темно по ночам.

Боцман принес меховой полушубок и откуда-то спертый водолазный свитер. Это удобнее и теплее спецкостюма.

Восемнадцатое августа, море Лаптевых, в дрейфе, в ожидании ледоколов.

Прошлый раз на «Державино» мы под командованием Фомы Фомича восемнадцатого августа уже пришли в Певек. Нынче до Чукотки еще восемьсот миль. Если прикинуть по факсимильной карте авиаразведки, то четыреста миль — «очень сплоченный лед», двести — старый, двухлетний лед и двести миль ледяной каши, особенно много каши в проливе Лаптева. И сутки за сутками давит ветер



от норд-норд-оста, то есть нагоняет лед в проливы и уплотняет его.

Последние РДО: «Северолес» навалил на «Камалес», пробиты второй и третий танки. Они шли под проводкой «Воронина». У «Гастелло» скручен баллер, утеряна одна лопасть винта. У «Шексналеса» пробойна с поступлением воды в трюм. Эти шли за «Сорокиным».

Да, недаром мне было перед этим рейсом как-то особенно боязно.

Давно не молился богу, а тут ловишь себя на детском: «Боже, не дай мне побить пароход!»

Двадцать первое августа. Поплыли за «Красиным». Он ведет по пятнадцатиметровой изобате.

Дневную вахту отвоевали более-менее нормально. Но начал Митрофан нервно. Через десять минут вдруг дернул телеграф на малый. А ледокол задал девятиузловый ход и предупредил, что за трехкабельтовой дистанцией между судами будет следить сам. И, конечно, как только Митрофан предупредил «Красина» о том, что мы сбавили, ледокол зарычал требование не своевольничать. И я врубил средний и посмотрел на Митрофана продолжительно, но он отвел взгляд. Эх, не люблю я командующих и разговаривающих в рубке утрированно тихими голосами — не доверяю я таким актерам. Надо самим собой быть, а не в суперхладнокровие играть...

Вертолет на жаргоне — «птица».

Слышен голос ледокола:

— А что, наша птица все еще летает?

Вертолет делает круги над караваном. Явно видно, что пилотам трудно. Они что-то говорят о неполадках на борту, но не разобрать толком.

Зато голос «Красина» слышен отчетливо:

— А вы тогда вверх колесами садитесь — слабо?

— Потом скажу! — орет пилот. Из этих его двух слов торчит здоровенный кулак, в них зарыта большая собака, в интонации явно просвечивает: «Сяду — дам вам прикурить за дурацкие вопросы и скоморошные советы».

Только не подумайте, что люди на ледоколе не озабочены положением вертолетчиков. Эти трепливые вопросы прикрывают тревогу.

Наконец вертолет крутым нырком падает к низкой корме ледокола.

— Хорошей посадки! — это уже хором не только ледокол, но и все суда каравана.

Между прочим, полеты вертолетов или самолетов ледовой разведки над судном часто отвлекают внимание рулевого и вахтенного штурмана. Поэтому сразу после того, как я слышу доклад: «Птица летит!» — немедленно на автомате ору: «Не отвлекаться! Смотреть по курсу!»

Это я в некотором роде и сам себе команду, потому что ужасно тянет поглазеть среди скуки рейса на вертолетик или низко летящий самолет.

Из микроскопических сложностей, которые возникают каждую минуту: вахтенный механик звонит в рубку и напоминает о том, что у нас давно работает вторая рулевка. Я разрешаю ее вырубить. Но через тридцать минут ледокол сообщает, что «заданем краешек поля». Знаю я эти «краешки»... И вот возникает вопрос: приказывать механику опять запускать вторую рулевку или так обойдемся, не врубая ее?

Или такой вопрос мироздания: по пять оборотов регулировать скорость или по десять? Чувствую молчаливое желание Митрофана регулировать по десять. Они здесь так привыкли, а мне чудится, что лучше получится в данной ситуации по пять. Опять сомнения и угрызения, и опять судоводительская составляющая берет верх над деликатностями, и я решительно приказываю прибавлять и убавлять скорость по пять оборотов. И через тридцать минут сажусь в лужу, ибо механики с такой ювелирной точностью работать практически не могут.

И так вот каждую минуту месяцами и даже годами.

Дальнейшее записываю, стоя на коленях в углу дивана у лобового окна капитанской каюты. Не спится перед вахтой. Вот я и забрался сюда. Гляжу вперед. Караван вытягивается в очередную перемышку. Туманчик, видимость не больше полумили. Ведет «Красин» — шесть мощных белых огней украшают его корму. Затем «Электросталь» — один оранжевый прожектор, довольно тусклый. У «Электростали» уже пробоина, и швы разошлись на двенадцать сантиметров. Идет с цементным ящиком. Го-то ледокол поставил ее сразу за собой. Перед нами «Механик Гордиенко» — два белых огня, расположенных горизонтально. Огни на «Красине» образуют два треугольника вершинами вниз.

Находит полоса густого тумана.

Слышно, как звякает — довольно мелодично — цепочка машинного телеграфа в рубке.

«Сейчас он уже не хрустит яблоком», — думаю я про В. В.

Из глубин судна через открытую дверь каюты доносится женский голос. Женщина красиво и печально поет что-то на иностранном языке.

Огни «Красина» и «Электростали» исчезают в тумане, а «Гордиенко» вдруг круто отваливает влево. Лихой вираж! В. В. пытается повторить маневр «Гордиенко». Этот маневр на военно-морском языке называется координат — корабль последовательно описывает две дуги, равные по длине и симметрично расположенные в разные стороны от линии курса, с целью уклонения от опасности или смещения пути вправо или влево. При совместном плавании координат выполняется по сигналу флагмана с указанием угла и стороны отворота и лишь в крайнем случае — самостоятельно. Чаще всего такой маневр применяется для уклонения от плавающих мин. Здесь мин, богу слава, нет. Но нет и никаких военных порядков. Шарахнулся «Гордиенко» со страху влево, а потом опять лег в кильватер «Электростали», но лед-то в канале он сдвинул! И вот В. В. попытался вильнуть за ним, удерживаясь на дистанции не больше двух кабельтовых... Удар! Опять звякает цепочка телеграфа — прибавляет В. В. обороты, не хочет отставать... От двух огней на корме «Гордиенко» изломанная световая дорожка на редких окнах воды между льдин. Канал за ним затягивает почти моментально, и тогда отражения исчезают.

«Сейчас он уже забыл про оставшиеся яблоки», — думаю я.

Радиоконцерт по заявкам моряков продолжается. Женщина поет: «Спасибо, жизнь, за все...»

Сотрясения судна уже непрерывные. Шариковая ручка прыгает по блокнотной странице... «Гордиенко» сбавил ход, вероятно, до самого малого, дистанция до него уже не больше полутора кабельтовых, сейчас В. В. тоже сбавит... Очень сильный удар — судно полетело влево... И «Гордиенко» идет влево. Он загружен обыкновенными бревнами, везет их из Европы на Камчатку. Что, на Камчатке своих бревен нет?.. Такое ощущение, будто «Гордиенко» плывет боком — бывает, так движутся автомобили на киноэкране (крабом)... «Красина» все еще не видно... Сколько еще мне до вахты? Час тридцать минут. Может, все-таки за это время лед полегчает?.. А пока вот можно заварить растворимый кофе и посмаковать его со сгущенным молоком... Все еще только два огня впереди

в тумане, нет, есть и третий, слабенький — врубил гакобортный «Гордиенко»...

Вода между льдин бесит своей отстраненностью ото всего происходящего, своим безмятежным спокойствием. В неподвижных водяных окнах отражаются густо-синие сумерки — слой тумана всего метров десять, а небеса чисты над нами.

В. В. сближается с «Гордиенко», дистанция наверняка уже меньше кабельтова... Слишком сближается В. В.! Метров сто дистанция... Два злобных горящих глаза в туманных ореолах и вместо рта — точка гакобортного огня: получается впереди какое-то чудище неведомое, нет, чем-то на гигантскую сову смахивает, терпеть сов не могу...

«Сейчас он снял тулуп», — думаю я.

Кто-то, подделываясь под Шаляпина, но все равно очень хорошо, поет: «...от той волны морской... а мысли тайны от туманов... отважны люди стран полночных...»

До чего опасно близким кажется впереди идущий парход, когда он поворачивает и вместо кормы видишь борт, протяни руку и — достанешь! И хотя знаешь: обман зрения, а все равно схватишься за телеграф. И В. В. дал стоп!

Где-то там, за туманами, солнце закатилось, утонуло в Ледовитом океане. И ребра льдин, обращенные к север-ро-западу, порозовели холодным... Холодным?.. Нет, розовое требует тепла, но здесь нет тепла... Хотя... Ведь можно же сказать «розовый иней».

Смотреть на переворачивающиеся за бортом (под бортом) льдины мне страшно. Да-да, обыкновенно страшно. Льдины метра по три толщиной. Из каюты они ближе, нежели с мостика. Потому и страшно.

К северу-востоку от нас Земля Бунге, по-местному Улахан Кумах. На этой Земле есть губа, обращенная к Северному полюсу; какой-то остряк назвал ее Драгоценной...

Опять не вписались в поворот канала и отстали от «Гордиенко». Теперь В. В. вынужден будет догонять... Звенит цепочка телеграфа — В. В. дал полный...

Сова эта проклятая впереди с горящими глазами... Никогда сов не любил...

«Сейчас ему кажется, что он в бане, а температура на нижнем полке за сто двадцать градусов», — думаю я.

Поет Анна Герман...

Если бы она была жива, я пробился бы к ней сквозь все кордоны, чтобы только тронуть край ее платья, и был бы счастлив, и мне удалось бы проглотить свой грешный язык, который только и делает, что все прекрасное на свете портит... О, как я люблю этот тревожный голос, в котором уже вечный покой вселенной. Ее голос еще способен пробудить во мне юношескую мечту...

Удар скулой о левую кромку канала, обламывается огромный кусок льда, опрокидывается навзничь, из разлома — фонтан зеленой воды, высокий. И сразу удар правой скулой. Судно эпилептически трясется.

Бока льдин уже не подсвечены закатом, тускло белеют только вершины ропаков... Странно, что туман начисто скрывает из видимости суда, но пропускает закатные отблески — вероятно, это следствие сильной рефракции...

За пятнадцать минут до полуночи побрился, сполоснул лицо горячей и ледяной водой; наступала моя ария, как сказал бы Михаил Сомов.

В дрейфовом безделье мы с В. В. опасно изводим себя азартным шеш-бешем. Надо это сокращать или прекращать. Можно сорваться и поссориться. Но, кажется, мы нашли некоторый выход из обострившейся шеш-бешней ситуации. Доведя друг друга до дрожания рук, мы спускаемся в столовую команды и включаемся в домино, становясь из игровых противников партнерами и сражаясь единым фронтом против стармеха-помполита. Такой переход из врагов в закадычных друзей действует очень благотворно, но... только тогда, когда мы выигрываем. Но я-то в козла плохо играю, а В. В. замечательно. И все проигрыши случаются от моих ляпов. Тогда В. В. приходится собирать всю силу воли в железобетонный кулак, чтобы не высказаться в мой адрес соответствующими словами...

Да разве человеческое любопытство возможно заткнуть пробкой, дабы оно отдохнуло на манер фонтана Козьмы Пруtkова? Никогда человеческое любопытство не иссякнет, и всегда ради его удовлетворения человек будет готов пойти на риск, на аферу и на смертельно опасный опыт. Меня даже несколько удивляет, что нынче не отправили к комете Галлея хорошую атомную бомбочку. Но я голову готов дать на отсечение, что через семьдесят шесть лет эту ошибку человечество исправит и довер-

чивая комета сменит свое ледяное ядро на плазму, ибо безумно интересно: а что из такого получится?

Вот я уже порядочно времени готовлю себя к смерти, уже в упор о ней думаю. И вообще-то ничего особенно не привязывает к жизни, кроме, конечно, страха перед смертью, ибо смерть омерзительная бяка; особенно для нас, которые ни умирать, ни даже хорониться не умеют. Но помирать, не узнав ничего новенького о комете Галлея, то есть до марта 1986 года, ей-ей, очень обидно!

Суть Игры для меня: выиграть, нарушая обязательные для выигрыша законы! Подставить себя под удар — и выиграть! Нарушить рациональность теории — и выиграть! Тогда появляется возможность проверить счастье, везение. И это очень возбуждает, волнует, захватывает. Победа над противником логическими и точными действиями волнует куда меньше. Потому я почти во все игры проигрываю, а это отвратительно действует на настроение.

Игра так властно затягивает даже гениев — Толстой, Достоевский — потому, что в игре проявляется и обостряется самое таинственное в человеке — азарт и способность воображения.

Была какая-то банда, или общество, «Вторых крестовосцев». Они обещали убить Толстого. Назначили точную дату — третье апреля девяносто восьмого года, если он до этого срока «не изменится». Третьего апреля Лев одиноко пошел гулять обычным ежедневным своим маршрутом. Гулял дольше обычного — ждал, выдерживал себя. Вернулся, записал в дневнике: «И жутко, и хорошо».

Испытать судьбу! Игрок! Всю жизнь играл по-крупному.

И даже смерть определил себе через игровое слово: «Ну, мат! Не обижайтесь...»

Еще об Игре. Игра слепа. Она копирует бесстрастность Природы, но игрок не способен быть бесстрастным. Игрок не бывает без азарта.

В шахматы возможно разыграть около  $10^{99}$  партий. В нас  $10^{27}$  атомов. В нашем мозгу 12—14 миллиардов элементов (нейронов).

В игре есть пол—«он» и «она», есть борьба между «+» и «—», есть общая симметрия и непрерывные отклонения от симметрии. Победа в игре иногда есть полное совпадение воображаемого с реальным. По эмоциональному потрясению для истинного игрока это можно сравнить с любовным экстазом.

Азарт знаком всем. Но немногие способны идти ему навстречу. Остальных он пугает космической, потусторонней силой.

Начало любой игры — состояние неустойчивого равновесия сторон. Уже первый шаг грозит нарушением равновесия. Риск.

Пробáсть.

Пропáсть.

Природа не рискует ничем и никогда.

Способность к риску есть человек.

Говорят, именно фантазия ведет к риску — к небытию или к вечности.

Оборвали правый бортовой киль. Сперва что-то непривычно дребезжало, затем встречным напором льда бортовой киль задрало вверх.

Каждый арктический рейс мы оставляем здесь бортовые кили. Но первый раз я видел своими собственными глазами ту деталь судна, которую можно увидеть только в доке.

Бортовой киль вынырнул из воды как раз под крылом мостика. Он изогнулся морским змеем и улетел за корму загадочной Несси. Мы с Митрофаном вылупили глаза, ибо совсем не сразу поняли, что высунувшаяся из воды и льда под бортом Несси — это наш собственный бортовой киль.

— Помяните мое слово, — мрачно пробормотал Митрофан, — первым же рейсом после Арктики нам дадут сталь из Роттердама. Вот покувыркаемся без килей в Северном море осенью!

Эта наша вечная игра со льдом так же завлекательна, как шеш-беш.

Когда вахта идет к концу, нервы уже издерганы, считаешь минуты до того мига, когда ответственность упадет с плеч: только бы дотянуть! только дотянуть!.. И вот другой принял тяготы. Ты спускаешься в каюту, пьешь чай или обедаешь, прислушиваясь к ударам льда и изменениям режима движения, и даже ухмыляешься мрачно шкурной мысли: пускай вот ТОТ ДРУГОЙ прочувствует, как тебе было сейчас худо... А уже через какой-нибудь час ловишь себя на том, что опять тянет на мостик, тянет продолжать Игру самому, самому идти вперед! идти вперед! — хотя кажется, что впереди стена: она расступится! А приняв решение: идти вот в эту едва заметную щель, — уже не менять его! Даже если вдруг увидишь нечто более

подходящее, не менять решения! Помнить: на изменение решения нет мгновений. Но не разгоняйся, не разгоняйся! И не потеряй инерцию, не завязни! Всё и вся контролируй, не надеясь ни на кого, ибо ты один так глубоко и абсолютно погружен в окружающую обстановку, мир, вселенную, — не слышь никаких советов, даже криков! И старайся сохранять силы, то есть давай себе расслабления, как дает их себе опытный боксер или борец и в разгар драки... но это уж как получится!

«Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто среди волненья их обретать и ведать мог...»

Ну, гибель нам не грозит. Однако неизъяснимы наслажденья среди волненья (попросту говоря: страха) мы обретаем и ведаем и среди арктических льдов, и среди антарктических, и в ураганы, и даже при проходе обыкновенной узкости в тумане. И это завлекает. И все не может надоест, не может надоест, не может...

Вот напасть-то, а?!

...Кусочек льда тонн в сто закувыркался под правым бортом, всплыл уже только у-рубки — вдруг под винт?! Стопорить? Нет, не успею! Да и отстанешь в мгновение!.. При, милоч, дальше... Изумрудный, ядерный кусочек, а нетороплив как, как медленно всплывает, как медленно ворочается в ледяной каше! — слон только еще медлительнее, хотя теперь и слоны быстро бегают, когда их научили на потеху туристам в футбол играть...

Нет ничего коварнее окон чистой воды в тяжелых льдах. Судно вырывается на свободу, как-то произвольно набирает скорость, и — бац! — впереди в непосредственной близости ледовая баррикада... Сотрясения такие, что опять ожили и забегали тараканы.

А как тщательно доктор поливал каюты всякой дрянью!

Шторма и льды идут тараканам на пользу. Сотрясения и крены оказывают на них реанимационное воздействие.

Говорил с В. В. о том, что мы не умеем острить в моменты подлинной опасности. Он не согласился, потому что вспомнил двух погоревших капитанов. Оба в прошлом были люксовыми судоводителями и драйверами. Оба смайнались с высоких мостиков порядочных судов. Один попал на боксер, другой на самоходный лихтер.



И вот один погорелец приволакивает на своем буксире несамоходного погорельца в порт, швартует его баржу в сложной обстановке, ошибается, и баржа летит прямо в причал. И буксирному погорельцу за разбитую баржу светит уже тюрьма, а погорелец юмора не теряет и орет несамоходному, летящему в причал на несамоходном лихтере погорельцу: «Степан Иванович, давай самый полный назад!»

Степан Иванович в режиме рефлекса заметался по лихтеру: машинный телеграф несуществующей машины ищет, чтобы полный назад дать, и еще орет: «Где телеграф?! Куда телеграф задевали, сволочи?!» Ну, и — бенц! — приехали... Но все с юмором!

На кромке распрощались с «Красиным», который нынче работал грубо.

— Тут два шага, сами дойдете до Кигиляха, — сказал ледокол.

— Широко, барыня, шагаешь: штаны порвешь, — ляпнул я в микрофон радиотелефона.

— Как это понимать? — поинтересовался ледокол.

Ну, не будешь же ему объяснять, что моя мама часто вспоминала старинный анекдот. Как буржуйско-дворянская дамочка, вся утонченная, изысканная и воздушная, нанимает извозчика Ваньку. Ну, а ехать ей, к примеру, аж от Николаевского вокзала до Николаевского моста. Ванька за такой пробег просит полтинник. Дамочка, вся утонченная и воздушная, таким райским грудным голоском говорит: «Помилуй господь! Полтинник? Двугривенный! Тут два шага!» Вот Ванька Горюнов, некультурный, дореволюционный, ей и отвечает: «Широко, барыня, шагаешь — штаны порвешь!»

Мама вспоминала этот анекдот, когда я просил чего-нибудь с ее — извозчицей — точки зрения вовсе невозможного и фантастического.

Все это объяснять ледоколу я не стал, я просто пробормотал: «Простите, вас понял, следуем самостоятельно!»

Солнце всходит и заходит — уже и не поймешь, черт знает что оно делает за круглым боком планеты.

Странноватый розово-холодный свет сочится из-под горизонта на северо-востоке. Этот свет и на тяжелых, холодных волнах. Они бьют нам в нос. И от форштевня вздымаются брызги буденновскими усами. Баллов пять уже задувает от юго-востока.

## ПИСЬМА ПОРУЧИКА ИСКРОВОЙ РОТЫ ИЗ 1914 ГОДА

...Это объясняется однообразием нашей жизни; не было о чем писать и каждый день являлись одни и те же мысли. Пустота дневника служит лучшей иллюстрацией нашей жизни в течение этих месяцев.

Фр. Хансен.  
*Среди льдов и во мраке полярной ночи*

ДЛИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ДЕСЯТИМЕТРОВОЙ ИЗОПАТЕ ПАРАЛЛЕЛИ 7302 ГДЕ ПРОХОДИТ ФАРВАТЕР ВЫХОДА СУДОВ ИЗ ПРОЛИВА ЛАПТЕВА НЕ ДАЛО ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗПТ ПОСЛЕДНЕЙ РАЗВЕДКОЙ ПОДТВЕРДИЛОСЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УХУДШЕНИЕ ОБСТАНОВКИ ЭТОЙ ЗОНЕ ЗПТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЛИВА ЛАПТЕВА ДЛЯ ПРОВОДКИ СУДОВ ОСАДКОЙ БОЛЕЕ ПЯТИ МЕТРОВ ПРИШЛОСЬ ПРЕКРАТИТЬ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ БУКСИРОВАТЬ КАЖДОГО ИЗ ВАС МОЩНЫМ ЛЕДОКОЛОМ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ САННИКОВА ГДЕ ГЛУБИНАМИ НЕ ТАК СЛОЖНО = 300 819 КНМ ЛЕБЕДЕВ.

Наглухо застряли у порога Восточно-Сибирского моря.

Символом однообразия нашей жизни может служить буфетчица-Нина Михайловна, которая сидит с ногами в кресле в пустой кают-компании и читает «Королеву Марго».

Вся связь с миром — только через эфир.

Я печатаю письма молоденького офицера — одного из первых военных радистов России. Поручик был влюблен в маму. Она же просто крутила ему голову. Однако почему и зачем хранила письма поручика и даже пронумеровала их?

Время от времени заходит В. В. и кладет на пачку пожелтевших конвертов со штемпелями «Действующая армия», «Военная цензура» новенькие РДО. И я их перепечатаваю тоже, ибо все может пригодиться в моем кулацком литературном хозяйстве.

«Новый адрес: Действующая армия, 5 Искровая рота, поручику ННР, а оттуда мне будут пересылать с нароч-

ными, т. к. я буду от штаба верстах в 500, в маленьком отряде, оперирующем в Буковине. Этот веселый отряд недавно взял Кимполунчъ (?— В. К.), что Вы, конечно, знаете из донесения Верховного Главнокомандующего — моего старшего тезки. Так вот, я туда и еду. Довольно, конечно, страшно, но бодрости сколько угодно. Вагон — теплушка, трясет страшно, писать невозможно... Сейчас остановились в Станиславове — чудный, великолепный город: громадный, чистый, великолепные магазины, кафе и рестораны — очень мало чем уступает Львову. Здесь я узнал, что отряд мой сплошь состоит из кавалерии, что еще больше придает интересу к предстоящей службе. Судя по карте и по рассказам, местность там удивительно красивая — кругом сплошные перерезанные горы, покрытые лесом и снегом: трудновато придется моим бедным лошадам, но ничего, с Божьей помощью к сентябрю войну кончим. Ваш Николаич».

РАДИО В/СРОЧНО 2 ПУНКТА ЛК ИВАН МОСКВИТИН ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ СВЯЗИ ПЕРЕМЕНОЙ ВЕТРОВ ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ВОСТОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ РАНЕЕ СПОКОЙНАЯ СТОЯНКА ШАЛАУРОВА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛЬДОМ ПОЭТОМУ ОКОНЧАНИЕМ ПРОВОДКИ ВИЛЮЙ-ЛЕСА ЗАЙМИТЕСЬ ПОЭТАПНЫМ ПЕРЕВОДОМ СТОЯЩИХ ШАЛАУРОВА МОРСКИХ РЕЧНЫХ СУДОВ НОВОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ НАХОДЯЩЕЕСЯ ПРИМЕРНО КООРДИНАТАХ 7310 14530 ТЧК СЕГОДНЯ ЛЕДОВЫЙ БОРТ 04199 ОСМОТРИТ ВОСТОЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЛИВУ ВКЛЮЧАЯ РАЙОН ШАЛАУРОВА ДАСТ ФОТОЛЕДОВУЮ КАРТУ СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ ПО РАДИО=29083 КНМ ЛЕБЕДЕВ.

Рейд у мыса Шалаурова. С юго-востока подошло большое поле льда. Привели машину в немедленную готовность. 14.45. С ледокола «Иван Москвитин» поступило приказание следовать в точку широта 73° 10', долгота 145° 30' восточная — в место разрезания.

Опять в стармехе пробудился бес. Октавиан Эдуардович обозвал «Москвитина» «полупроводником». Воистину это так! Слабенький ледокольник... Сегодня наш юбилей — месяц рейса. Из тридцати суток двигались одиннадцать.

«ШТАБ IV АРМИИ. НАЧ. СТАНЦИИ 5 ИСКРОВОЙ РОТЫ. Пишу вам, пройдя за полтора суток 60 верст

и найдя себе убежище в крестьянской избе, выселив, вернее, переместив из одной из 3 комнат хозяина и хозяйку, — мера по первому впечатлению некрасивая, по военному времени простая, а по моей службе — необходимая. Мрачные предчувствия прошлого письма, к счастью, пока не оправдались, и наши дела идут блестяще: немца тесним по всему фронту и постепенно подвигаемся к границе. Но моего бывшего блестяще-бодрого настроения уже нет. Почему? Вероятно, потому, что нет живого дела, а главное — постепенно, но верно начинаю терять веру в беспроволочный телеграф, то есть в том виде, в каком он сейчас существует. Мне кажется, что вся кампания пройдет для меня без отличий и с потерей веры в свое дело (раз беспроволочным телеграфом восхищаются только на словах, не отмечая никакими крестами). Не подумайте, что я говорю про скачку за орденами, но, во всяком случае, не следует забывать, что временами единственная надежда для Штаба — это моя станция, которая и оправдывает свое назначение. Впрочем, „цыпляют по восемь считают“, как говорят испанцы. Однако, как ни странно, на войне самый верный способ доставки разного рода бумаг — это ординарцы и грузовики (случайные), автомобили. Ваших писем не получал с Румынской границы. А может, и Вы моих не получаете? Вот *будет курьез, если письма, ранее написанные, Вы получите когда-нибудь спустя много времени...*»

На иностранном телеграфном бланке: «Я только что проснулся на линии сторожевого охранения отряда и по телефонограмме узнал, что сейчас едет офицер в Галич через Россию — соблазн слишком велик, чтобы не послать Вам несколько приветливых слов, будучи уверенным, что дня через 3—4 Вы получите это письмо. Ваши же письма я не получил оттого, что они, вероятно, сейчас лежат в Львове или под Перемышлем, откуда вследствие „некоторых“ серьезных затруднений не могут быть доставлены мне. По штемпелю Вы узнаете, где я, но только это не дивизия, а полдивизии и называется Буковинским или Черновицким отрядом. Сейчас начинается продолжение вчерашнего боя и уже завязалась ружейная перестрелка. Вспоминаете ли меня, бесконечно передвигающегося пока по польским волнам? Недавно видел Вас во сне и был счастлив, но день прошел затем грустный. Найти себя я не нашел, но собирать себя постепенно собираю, и результаты должны быть хорошие, а может быть, и дурные — время покажет...»

21 августа. На якоре в ожидании ледоколов.

Общесудовая тревога, проверка снабжения спасательных шлюпок.

Солнце, тишь, ясность, а мы в ледяном мешке, и ворот затянут — вокруг вспухшие ледяные языки и поля. Только у мыса Шалаурова свободная вода. Шестнадцать судов судьба свела здесь в одну кучу. Из них штук пять речников.

На якорь-цепь то и дело наваливает льдины, которые несет течением из Восточно-Сибирского моря в пролив Лаптева. Цепь выделяет под их натиском рискованные выкрутасы. Приходится держать машину в готовности и бить тупые морды непрошенных гостей форштевнем, давая ход вперед. А на клюзе всего полторы смычки, глубина под килем всего три-четыре метра. От работающего винта вздымается тягучая муть. И все время есть реальная возможность подорвать якорь.

На теплоходе «Виляны» у буфетчицы почечные колики. Врача там нет. Сообщаем нашему эскулапу. Он: «Я никогда не лазал по штормтрапу и не поеду». Во какой эскулап! Пришлось отправлять его в приказном порядке.

«Из действующей армии, Петроград, Екатерининский канал, ее высокоблагородию Л. Д. Конечкой... Вчера и сегодня впервые после долгого перерыва чувствую пониженное состояние духа: серьезно заболела лошадь, мой боевой друг, и, вероятно, долго проболует. К сожалению, не удалось „отбить“ вторую, но, верно, это время придет, а у немца хорошие лошади попадают. Может быть, скоро буду в том городе, где Вы служили искусству. Какая разная обстановка, правда? Сейчас идет проливной дождь, сыро, холодно, но прекрасно. Не завидую Виктору Андреевичу. Не хотел бы быть сейчас в мирной обстановке. Одна осталась просьба к Вам: пишите хоть коротко, но чаще,— письма в конце концов дойдут, марок не ставьте и непременно обозначайте ЧИНЬ. Вам и всем Вашим искренне желаю полного счастья и благополучия. Ваш Николаич».

КАП ВОРОНИН 20 400 7248/14 855 СОВМЕСТНО  
МОСКВИТИНЫМ ПРОДОЛЖАЕМ ПРОВОДКУ  
КАРАВАНА ДВУХ СУДОВ ПОСТОЯННЫМИ  
ОКОЛКАМИ ВЫВОДИМ ТХ ОУНСКИЙ ЗОНЫ

СЖАТИЯ ВРЕМЕНАМИ РАБОТАЕМ УДАРАМИ  
КЛИН ЛЕД 10 ТОЛСТЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ СЖАТИЕ  
2 РАЗРУШЕН ТОРОСЫ 2 ВЕТЕР СЕВЕРО-  
ВОСТОЧНЫЙ 3 МСЕК = КМ ТЕРЕХОВ.

Начинаем разлагаться. Игра. И выпивать тянет, если уж правду и всю правду. Поддаем тропическое винцо «под укроп». Укроп растет у В. В. в ящике под бортовым окном. Ростки жалкие, тощие, прозрачные рахиты. Как будто они в подвале без всякого света выросли. Но запах у них земной, летний — то есть укропный. Право, непонятно, почему укроп не растет и не развивается. На Молодежной местные помидоры ел, а в родной Арктике укроп не растет...

Прыгающий, совсем неразборчивый почерк: «...еду в один из отрядов, оперирующих в Буковине, через Станислав или Станиславлев. Условия будут, вероятно, такие же, как когда я был в Гвардейском Конном корпусе, но только местность будет гористая, скалистая и метеллистая. Нервы „немножко“ расхотились, немцы каждый день угощают нас бомбочками. Новый год я встречал один в вагоне... Бодр всегда, и иногда весел. Приходится терпеть сейчас некоторые лишения ввиду отсутствия иногда какой-либо еды, но это только временно, так как обыкновенно мы располагаемся в самых шикарных домах и продовольственный вопрос поставлен блестяще. Самые наилучшие пожелания Марии Павловне, Зинаиде Дмитриевне, Матильде Д., Васильевым. Дай Бог Вам... Ваш Николаич».

«...Одно определенно верно, что хотел бы скорейшего окончания войны...»

«...Вчера получил спешное приказание отправиться на передовые позиции и в тылы противника для организации связи с двумя совершенно новыми и только что прибывшими сюда искровыми станциями. Завтра утром отправляюсь к конному отряду, с которым вторгаюсь в Германию, оттуда, Бог даст, вернусь при удаче, и если ничего не случится, примерно через месяц. Со мной идет 20 человек конных. Настроение очень бодрое, энергии масса, и впереди интересного и „веселого“ предвидится много. Спасибо Вам за пожелание прислать мне теплое, но, к счастью, у меня все есть и даже с избытком. Вы пишете, что ждете меня в Петербурге даже во время войны, а я не считаю себя вправе просить об этом и думаю, что, спокойно исполнив свой долг до конца, я буду в Петербурге

только после окончания войны. Не знаю, как закончатся наши предприятия, но понадеемся на Бога и с Его помощью на успех. Из таких же, как я, начальников станций уже один убит, один в плену и один пропал бесследно вместе со своей станцией. Хочется бросить мысль о себе, но она навязчиво впивается в мозг, невольно мысли летят туда — к близким знакомым и родным, и хочется, безумно хочется их увидеть! В такие минуты они становятся особенно дорогими и милыми. Если увидимся когда-нибудь, есть чего рассказать прочувствованного. Дай Бог Вам, не забывайте. Ваш Николаич. Извините за спешку — лошади и люди уже ждут. Не забывайте. Ваш Николаич».

«...Не могу писать больших писем — либо нет места, либо времени. Место меняю почти ежедневно, живу либо в палатке, либо на коне, ни дождь, ни стужа, ни ветер меня не смущают. Сознание, что живешь в чужой (теперь уже нашей) стране и делаешь ответственное дело для родины, само подогревает и бодрит...»

*22 августа, продолжаем стоять на якоре у Шалаурова.*

После долгого преферанса приснился типичный штурманский сон. Лоцман заводит в узкую протоку, промахивается. Судно мягко вылезает на сушу. Ни у кого нет ощущения тревоги и катастрофы. Огромное судно прет, раздвигая и вспучивая форштевнем землю. Я приказываю дать воду на палубу всеми насосами из всех магистралей. Это мудрое решение обосновываю тем, что вода будет стекать через шпигаты с палубы за борт, таким образом будет смачивать землю, и тогда уменьшится коэффициент трения...

Открыл глаза. Полный штиль. За иллюминатором шел слабый снег. Но шел довольно странно: не вниз падал, а поднимался вдоль борта вертикально вверх. Как будто его порождали не хмурые небеса, а стывшее море. Снег совершал свой противоестественный путь торжественно-плавно. Крупные мохнатые снежинки радовались неожиданному продлению своей жизни. Их жизнь продлевалось тепло нашего судна — конвекционные завихрения воздуха вокруг.

У Октавиана Эдуардовича нынче счастливый вид. Оказывается, ночью ему опять снилась драка, но он не лягнул переборку, не треснул головой о столик и не засадил хук в коечную лампочку. И при всем при этом драка, которая ему снилась, была ужасная. У противника был

лом, а у двоюродного племянника Цезаря всего-навсего сварочный электрод. Причем электрод какой-то короткий и тупой. И хотя Октавиан Эдуардович несколько раз попадал противнику электродом в морду, но все это было малоэффективно. И тогда первый узурпатор Римской империи заставил себя проснуться и тем самым сохранил в целостности все свои члены.

Рассказал Октавиан это, когда мы ели за утренняя чаем пшеничную кашу.

ЛК ЕРМАК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКОНЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДА СЛЕДУЕТ ВЫВЕСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ЧИСТУЮ ВОДУ РАЙОНЕ ПРИМЕРНО СТАМУХИ КООРДИНАТАХ 7146/15741 ТЧК ПОСЛЕ ЭТОГО ЕРМАКУ СЛЕДУЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ КОРПУСОМ ЗА ВИЛЮЙЛЕСОМ СТАНИСЛАВСКИМ ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ = 50 916 КНМ ЛЕБЕДЕВ.

Итак, всякие надежды на проход проливом Дмитрия Лаптева накрылись. Нам предстоит с запада обогнуть острова Большой и Малый Ляховские, встретить «Ермака» и следовать на восток проливом Санникова. Кувыркаться обратно по своим собственным следам! Обратно на запад, обратно сквозь пролив Дмитрия Лаптева, вокруг Ляховских островов, в пролив Санникова! А помогать нам на обратном-попятном пути будет «Воронин», ибо катится в Тикси за топливом. Конечно, в таких вопросах я полный профан, но когда в разгар тяжеленнейшей навигации ледоколы уходят на неделю за топливом, то невольно возникает мысль, а не выгоднее ли заправлять их прямо здесь, на трассе, с танкеров? Во сколько обойдется тонна топлива «Воронину»? С учетом пробега туда-обратно к Тикси плюс простой каравана?

«Люблин. Последний день я в этом городе и пишу Вам накануне весьма крупных событий, участником коих с завтрашнего дня состою.

Оригинальное я получил письмо, прелестная Л. Д., и знаете от кого — от Вас, дорогая моя!.. Ой, виноват! Вам стало „ску-учно“, и тогда Вы вспомнили... (Неразборчиво.— В. К.) „старого доброго друга“. Может ли быть дружба между молодой, очаровательной, бойкой и лукавой девушкой и скромным джентльменом — не знаю. И, переехав с Екатерининского на Садовую, черкнули ему маленькую записочку... Эх, Л. Д., милый мой!



Митя Карамазов, маленькая вакханочка! Устал я порядочно. За год войны постарел я и одичал, не видя общества другого, как своих офицеров, солдат да изредка сестер милосердия. Надоело, хочется бурного веселья, близких людей, теплой беседы, хорошей обстановки, культурного своего русского города. Уже семь месяцев я в Галиции и по нашей матушке России соскучился страшно. Прицепили паровоз. Будьте счастливы. Ваш Николаич».

Подошел «Капитан Воронин», приказал всем сниматься. Выбрали якорь, дрейфуюем в ожидании других судов. 10.00. «Воронин» отменил приказ. Он берет только три судна, остальные шлепнули якоря обратно.

На тему наших великих стояний В. В. отправил приватную радиogramму какому-то своему старинному корешку в столицу. Все как-то получается, что другие суда, из самых разных ведомств, все-таки куда-то начинают уходить, а мы стоим в зловещей неподвижности.

Столица есть столица!

МОСКВЫ 287 РАДИО СРОЧНО ТРИ ПУНКТА ПЕВЕК НМ ПОЛУНИНУ КОПИЯ ЧОКУРДАХ КНМ ЛЕБЕДЕВУ ТХ КОЛЫМАЛЕС МИРОНОВУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СУМЯТИЦЫ И НЕРВОЗНОСТИ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ КМ МИРОНОВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ КАРАВАНА КОПИИ НАМ ТЧК ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОШУ СВОЕВРЕМЕННО ОТВЕЧАТЬ ЗАПРОСЫ КАПИТАНОВ СМПР14А/333=АСЗП БУРКОВ.

И вдруг льды зашевелились:

ПЕВЕКА РАДИО ДПР ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ ВАШУ ПРОВОДКУ ДО МЫСА СВЯТОЙ НОС БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЛК ЕРМАК КОТОРЫМ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ=17084 ЗНМ МАЛЬКО.

19.00. Получено указание ледокола «Ермак» следовать ему навстречу. Начали готовить машину. 20.30. Перевели машину в постоянный режим, провернули на воздухе и топливе, сличили часы, проверили сигнализацию, телеграф и рулевую машину. 21.35. Дали ход.

«Сорокин» примчался из Мурманска весьма вовремя. «Воронин» с теплоходами «Кигилях» и «Пожарский» влипли в сжатие. Их поволокло на мелководе северо-западной части пролива Санникова. (Точно так нас выдавливало туда в 75-м году.) «Сорокин» их околел и выво-

дит к востоку — против конечной цели их движения. До меляки оставалось около десяти миль.

Приехали с «Перовской» ребята менять кинофильмы. С ними врачаха. Вообще-то она медицинский судебный эксперт. Спрашиваю:

— А как и зачем сюда-то попали?

— Конецкого начиталась.

Смеется. Спрашивает:

— Это правда, что вы женоненавистник?

— Конечно.

— А вот женщина вам привет передает!

Оказывается, на «Перовской» работает Светлана Алексеевна — буфетчица с «Невеля». Она ассистировала, когда капитану Семенову вырезали аппендикс, и попала в «Среди мифов и рифов». Хвастается: «Я в книгу засажена!»

Все моряки обожают перемывать косточки прежним соплавателям, как актеры — бывшим партнерам.

В ноль часов я принял вахту. Легкая низовая метель с мелким колючим снегом. Туман. Тьма. Пять минут первого выходит из строя радиолокационная станция «Лощия». С ней удобнее всего держать дистанцию в кильватерном караване. Вызвал начальника рации. Василий Иванович является встрепанный со сна. Минут десять молча смотрит на мертвую станцию — антенна не вращается, моторчик скис.

Затем Василий Иванович уходит.

Я думаю, что за инструментом или одеваться. Но Василий Иванович исчезает до утра. Оказывается, у него не было теплого белья, а ремонтировать антенну в метель на пеленгаторном мостике на ходу судна — это, конечно, не Сочи. Но и нам без «Лощии» хреново.

Переживали за «Великий Устюг». Он не успел подойти к каравану до начала нашего движения. И вынужден был догонять нас, плутая в ночи среди ледяных полей, огйбая неизвестно куда идущие ледяные языки в метели и ознобе — нервном ознобе, ибо догонять караван полными ходами есть занятие не самое увлекательное. «Устюг» шел по следу с настойчивостью овчара и около трех ночи догнал и стал концевым. И я ото всей души поздравил кого-то на его мостике с удачей.

Днем выпал более-менее спокойный участок. Идем кильватером. Развиднелось. Солнце. Лед белый, чистый.

Из радиотелефона:

— «Алатырьлес», ответьте «Перми»!

— «Пермь», я «Алатырьлес»!

— «Алатырьлес», вы горите!

— Где горим?

— Корма горит.

На всех мостиках каравана хватают бинокли и смотрят на зад «Алатырьлеса». Интересно же, как он там горит. А горит здорово, потому что дыма много, закручивается, ползет по белому льду в торосы.

Ледокол:

— Очень плохо, «Алатырьлес»! Вы горите и сами не видите, что уже корма спеклась!

«Алатырьлес» смущенно и удрученно молчит минуту, вторую, третью. И вдруг весело торжествует:

— «Пермь», глаза протрите! Мы на корме мусор сжигаем! Сами не погорите! Небось мусор за борт валите, среду обитания портите!..

Возникает разговор о названиях наших судов. Ну как тяжело какому-нибудь арабу или англичанину разобраться на слух и записать своими буквами в журнал: «АЛАТЫРЬЛЕС»!

В разговор включается Митрофан Митрофанович. Он на имена судов смотрит со своей — бывшей матросской — точки зрения:

— Есть вот штуковина «Пятьдесят лет Советской Украины». Сколько ржи с букв шкрябать надо, а? А сколько на них краски идет, сколько рабочего времени, сколько за бортом в люльке покачаешься...

— Действительно, хорошее название, — соглашается В. В. — А вот мне на «Карачаево-Черкесии» выпало плавать. И в каком-то арабском порту получаем от властей указание, чтобы «Карачаево» снималось с якоря и следовало к причалу, а «Черкесия» пускай еще немного обождет лоцмана для выхода из порта...

— И куда вы поплыли? — спрашиваю я.

— Спать легли, — говорит В. В.

Хорошо, что солнце в корму. Если б наоборот, в таких белесых туманах было бы вовсе плохо. Но и при попутном солнце к концу четырехчасовой вахты от напряжения глазные яблоки как бы раздавливают изнутри.

Глаза начинают все больше и больше меня тревожить. Явно я в этот раз переборщил. От Антарктиды до пролива Санникова — это, пожалуй, слишком.

Сегодня вдруг сорвался и заорал на Митрофана:

— Да включите же вы прожекторы!

— Зачем? — удивился Митрофан. — У них, Виктор Викторович, у этого «Алатырьлеса», от наших прожекторов ни один клоп с подволока не упадет!

Таким заковыристым образом он объяснил мне, что от наших прожекторов никакой помощи моим глазам не будет.

Началась низовая метель. Снег мелкий, колючий и мертвый. Караван застрял. Рядом на льдине спали моржи, очень большие и рыжие.

Опять в ледовом дрейфе.

Вчера в это время пошли за связкой «Ермак»—«Тарту», набрали ход, хорошо шли по каналу,— ночь, торосы, пляска теней и льдов вокруг, сожаление: сюда бы кинооператора!— и вдруг «Ермак»:

— «Колымалес», осторожнее! Мы пошли зайцем!

Я такого еще не слышал, ничего не понял и сразу сознался в своей профанности:

— «Ермак», что значит «зайцем»?

— Лед разной плотности, идем скачками и зигзагами!

— Вас понял!

Тридцать шесть тысяч лошадей впереди скачут в разные стороны!

Через пятнадцать минут заяц «Ермак»:

— «Колымалес», мы уперлись! Простите! Отработайте полным назад!

Даю задний — слава богу, за нами судов нет, но льдыто в винт так и лезут! «Ермак» с «Тарту» на хвосте стоит на месте и молотит винтами лед. Намолотили ледовой каши в канале толщиной метра в три. Как только мы в эту кашу всунулись, так сразу аут — завязли, засосала она нас по-болотному, безнадежно — ни взад ни вперед. И вот тогда заяц нас бросил и поволол «Тарту».

Я спустился к В. В., разбудил его, доложил обстановку.

Он:

— Против стихии не попрешь. Но можно было мне дать спокойно поспать?

Я ему объяснил, что в прошлый раз в подобной ситуации он на меня наорал, вот я и страхуюсь теперь. Он сказал, чтобы я больше таким макаром не страховался.

И вот мы с тех пор опять в зловеще-мертвенной неподвижности.

«...Уезжая, как и всегда, я буду только с Вами и единственной моей мыслью, целью и желанием, нося Ваш образ в своем сердце, увидеть Вас и отдать всего себя на служение Вам. Будьте здоровы и Богом хранимы! Нижний чин из-под Перемышля привез письма, но от Вас нет... Сейчас нахожусь в большом городе, как это ни странно, хожу в кинематограф и с удовольствием слушаю небольшой, но хорошо сыгравшийся оркестр. Встречаю корпусных и училищных знакомых, и каждая встреча приносит с собой известия о смерти или ранении других наших товарищей — становится как-то особенно жалко и грустно. Мне страшно, что война нас так разъединила и отдалила, я не знаю, что случилось, и мне бы очень, очень хотелось, если еще возможно, услышать от Вас, Л. Д., откровенное объяснение происшедшему и происходящему. Был бы бесконечно рад, если все мои тревоги — плод моей фантазии...»

«...Христос Воскресе! Откровенно говоря, меня крайне беспокоит отсутствие от Вас новостей с Нового года. Я чувствую большую перемену в отношении ко мне; не рискую пускаться в область догадок и предположений, но думаю, что и Вы мне об этом *не* напишете. Вспоминаю прошлую Пасху. Вы были, кажется, в Ницце и в одном из писем прислали мне цветы — чудные увядшие еще не совсем лепестки с чудесным запахом. Мысль невольно переносилась в красивые теплые края и искала тот уголок, где могла встретить живой отклик своему движению. Теперь ничего этого нет: осталось одно только красивое воспоминание и грустный осадок, приятный; забыть о прошедшем нет сил, и что-то беспрерывно шепчет, что еще не все прошло, что лучшее еще впереди и, верно, желанное будет. Что это? Я, кажется, имею нахальство „удариться в поэзию“?! Вспоминайте изредка».

«...Итак, я опять в Карпатах, прелестная Л. Д.!.. В моей работе, деятельно помогает мне Бокс — английский бульдог, которого чуть не убила моя лошадь, к которой он неизмеримо меня ревнует... Последнее время чувствую неизмеримое стремление в Петроград, хотя бы на самое короткое время и вразрез своих же слов (в январском письме, если помните). Сейчас я, вероятно, поехал бы, кабы это было возможно...»

Итак, на траверзе мыса Анжу «Ермак» по-сусанински завел караван в ледяные дебри, все пароходики заклинились, он всех бросил, увел на усах эстонскую «Гарту».

Через десять часов к нам пробился «Сорокин». Под кормой скопились льдины общим весом тонн в сто. Мы заверещали «Сорокину», чтобы тащил нас первыми. Ему наши истерики надоели, и он вообще перестал отвечать в радиотелефон. Взял на усы «Кыпу» (тоже эстонец) и уволок.

Стоим в глухом бездвиженье. Около двух ночи проснулся, поднялся на мост. Вахтенный Митрофан полупупело сидит в лоцманском кресле и даже не слез с него при моем появлении.

Тишь вокруг. Льды молчат. Мертвые. Сжатия нет. На крыле чуть пахнет дымом мусоросжигалки, дым тянет с кормы. До кромки льдов сто двадцать миль.

Что остается делать? Печатать письма поручика Искровой роты дальше.

«...Непосредственная опасность бодрит и веселит. А пришлось испытать многое: был обстрелян ружейным и артиллерийским огнем, специально сидел в стрелковых окопах и наблюдал, как отражаются немецкие атаки, и раз ночью чуть не попался в плен. Если бы не разъезд уральских казаков, который предупредил меня, что в версте немцы ведут наступление, то был бы сейчас, раб Божий, уже за долгожданной границей. Слава Богу, люди мои быстро собрались, поседлали коней, и мы благополучно удрали в чудную лунную ночь. Очень трогательно было видеть, как солдаты окружили меня, приготовившись защищать, если понадобится. За все время командировки сделали около 800 верст верхами, не знаю, когда спал и что ел. Вся картина боев разворачивалась передо мной как на ладони... Сейчас нахожусь в маленьком дрянном городишке, где 80% живут евреи — конечно, про чистоту умолчу. Думаю, это письмо получите к Рождеству. От всей души благословляю Вас, мамочку, З. Д., М. Д., Игоречка. (Вероятно, уже ходит пешком под стол.)».

Изменяются и развиваются не характеры героев литературных произведений, а изменяется их поведение после надломов и переломов судьбы. Понятие «изменение характера», употребляемое по отношению к литературным героям, традиционно, привычно, но импрессионистично, а потому способствует полной путанице.

Вор после житейского потрясения, когда он по ошибке обобрал родную мать и та умерла, перестает быть вором

и идет работать в ОБХСС. И мы рыдаем, наблюдая его на экране или в книге. Но это не характер его изменился, а поведение и образ мыслей.

В основе романа — судьба.

«Роман» — человек в истории, в мире, во вселенной. Это предполагает способность писателя к изучению всего и вся, то есть к анализу, разложению на составные элементы при таланте затем все соединить обратно в гармоническое целое. «Роман» — нечто настолько громадное, что вызывает обыкновенный страх, как вызывает его вдумывание в понятие бесконечности или конечности мира, направленности времени, засмертного пребывания.

«Повесть» — сопереживание героям (после вживания в них), сравнение судьбы, души, тела героя со своей собственной жизнью и опытом своей души, разума, сердца и (чаще всего) ассоциация со своим собственным прошлым, настоящим или будущим.

«Рассказ» — сопереживание вновь какому-либо эпизоду своей жизни или воровство интересного эпизода из чужой судьбы. Под «воровством» здесь подразумевается и полнейшая выдумка — вернее, фантазирование.

Пищит морзянка — радист принимает «РАДИО-БЮЛЛЕТЕНЬ ГАЗЕТЫ „МОРЯК БАЛТИКИ“ НА 01 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА». Иду в радиорубку. Василий Иванович печатает новости: «СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ АКТИВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛКСМ. ОБСУЖДАЛИ ЗАДАЧИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР „О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИТЫ Г. ЛЕНИНГРАДА ОТ НАВОДНЕНИЙ“... СЕГОДНЯ ОПЕРОЙ „ИВАН СУСАНИН“ ОТКРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ КИРОВА. В ЛЕНИНГРАДЕ НАЧАЛОСЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРУППЫ ЯМАЙКИ... ЦВЕТОВОДЫ ТРЕСТА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАВЕРШИЛИ ПОСАДКУ 11 ТЫСЯЧ АСТР В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА... В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ ПЛАВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ ПО ТРАССЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ПРОХОДИТ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ. АТОМОХОД „СИБИРЬ“ И ДРУГИЕ МОЩНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ С ТРУДОМ ФОРСИРУЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ЛЬДЫ. НА ДНЯХ В ПОРТ ПЕВЕК

ПРИДЕТ „КОЛЫМАЛЕС“ И „БОБРУЙСКЛЕС“. ОНИ ДОСТАВЯТ ТРУЖЕНИКАМ ЧУКОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ГРУЗЫ. ПОСЛЕ СДАЧИ ГРУЗА В ПОРТУ ТИКСИ ТЕПЛОХОД „ДЕРЖАВИНО“ ВЫШЕЛ В ИГАРКУ».

Но позвольте, дорогие газетчики! Откуда в «Моряке Балтики» известно, что «Колымалес» придет в Певек «на днях»? А «Державино» следует поздравить с молниеносным удиранием из Арктики — для него заботы, действительно, делаются «вчерашними».

В. В. начинает вызывать мистическое почтение. Он опять побеспокоил столицу по своим таинственным каналам, жалуясь на внеочередную проводку судов Эстонского пароходства. И:

ПЕВЕКА РАДИО ДПР ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ КОПИЯ МОСКВА АСЗИП БУРКОВУ ВАШ КАСС 39 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ ЭТУ ОПЛОШНОСТЬ КМ ЛК ЕРМАК ФИЛИЧЕВА ТАКЖЕ КНМ ЛЕБЕДЕВА ПОСТАРАЕМСЯ ИСПРАВИТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ ХОДКОЙ ВОЗЬМУТ ВАС ПРОВОДКУ 020 929 ЗНМ МАЛЬКОВ.

*Второе сентября, пролив Санникова.*

Следуем в караване: «Турку», «Кыпу», «Колымалес», «Алатырьлес».

Ведет «Ермак». Часа через три застряли в сплоченном льду и легли в дрейф. Ледокол принял решение брать суда по очереди на короткий буксир. Всю вахту судно испытывало сильную тряску, вибрацию, удары в борта и днище. Возможны повреждения корпуса. Первым «Ермак» взял на усы «Турку». А нам было приказано следовать за их связкой самостоятельно, в минимальной дистанции.

Извечные для этих мест слова колеблют эфир: «Вы уж постарайтесь, „Колымалес“! Перешеек тяжелый, но сейчас, сейчас уже легче будет! Только работайте, бога ради, полным!» — так, с нотками мольбы, бухтит бас могучего «Ермака», но словеса нам не помогают, и мы превращаемся в пробку, засаженную в сжавшееся ледяное горлышко между полями.

Сравнение не мытых два года бутылок с двухгодовальными льдами достаточно точно, — старые льды именно такие грязные и унылые.

Рядом Земля Бунге, и река Генденштрома, и огромное кладбище мамонтов. Отсюда мы снимали на ледо-



кольный пароход «Леваневский» группу ученых в 1960 году. И отсюда сперли мамонтовый бивень. Вернее, кончик бивня. Но весил он добрый пуд. Было решено распилить доисторическую кость на две половинки. Одну — Георгию Данелия, другую — мне. Пилили стальной ножовкой. Ужасно воняло жженой костью. Углубились в мамонта за день работы сантиметра на полтора. Плюнули. И бивень целиком забрал себе я, замазав след от ножовки жеваным черным хлебом. Бивень долго украшал мою жизнь, вися на самом видном месте дома. Но при каждой встрече знаменитый режиссер продолжал требовать свою половину. Пришлось плюнуть вторично, то есть отдать кость дружку.

Потом случайно узнал из какой-то газеты, что на международных аукционах килограмм мамонтового бивня стоит триста долларов. Целый мерзлый труп — миллион долларов, целый скелет — сто тысяч. Жалко, что нам не пришлось участвовать ни в одном международном аукционе... Нынче вспомнилось, как тускло горели огни костров на мерзлой Земле Бунге в устье реки Генденштрома. И как шипел снег под горящим плавником костров...

Рассказ об этих местах я назвал «Огни на мерзлых скалах».

И свои и чужие книги помню лучше натуральной жизни.

И не спится, и от расшифровки писем поручика Николаича устал. Так и тянет к окну каюты, чтобы посмотреть на лед, погадать: а какой будет на моей вахте? И вот откручиваешь барашки, отдраиваешь окно, становишься коленками на стол (очень жестко коленкам! и какие это ироды ставят на коленки детишек? самих бы поставить! и чтобы под иродами пол содрогался!), высовываешься, глядишь, ледяной ветер слезит глаза (эй, парень! не простудись, хватит пялиться! чего ж ты голым высовываешься? видишь, твои кальсоны уже ветром надулись...), в сумрачной мгле не видно ни дна ни крышики...

В правом борту, в районе второго трюма, есть какое-то подлое местечко, — как в него ткнется льдинка, так раздастся неприятное железное звяко-чмокание. Вероятно, обшивка прогибается под напором, а затем выпрямляется.

Отдельные льдины до четырех метров.

В десять вечера уже густые сумерки. Тю-тю полярному дню.

Плюс к сумеркам, конечно, туман.

И три огня в тумане  
Над черной полыньей...

Вышли из льдов. И — дождь лупит со снегом, и штормить сразу начинается, течет по стеклам серая муть. И опять в дрейф пришлось лечь: ждем «Электросталь», которая передает на ледокол беременную женщину. Митрофан бормочет: «Им хорошо — у них есть кого береминить».

О глупом упрямстве.

Давным-давно знаю, что, выписывая из чужих книг цитаты или пересказывая что-то чужое своими словами, следует указать источник, ибо у тебя рано или поздно потребуют точной ссылки. Но, выписывая массу всякого с курсантских еще времен, я упрямо не фиксирую ничего, кроме фамилии автора. Это вынуждает потом тратить уйму времени на поиски, но и сегодня не могу заставить себя поставить под цитатой название книги, номер журнала, страницу.

Привычка полагаться на память? Лень?

Мама рассказывала, что я более всего выводил ее из себя, когда на какое-нибудь замечание говорил: «Нашлась такая!» Причем я начал употреблять это выражение в нежном совсем возрасте — около пяти лет. Вероятно, если бы на месте мамы был я, то мой сын и до шести лет не дожил. Правда, вкус крапивы я хорошо помню.

Это вспомнилось после странного сна.

Я на кладбище. Мать лежит поверх могилы. Я знаю, что она должна вскоре проснуться, ожить, но срок этому еще не пришел. У меня какие-то таблетки, которые я должен буду дать ей. И вот до срока еще вдруг вижу, что пальцы ее ног (в тапочках) начинают пошевеливаться. Вижу ее лицо с закрытыми глазами, мертвое, но на нем начинает проступать какое-то строго-требовательное живое выражение: мол, чего медлишь? давай таблетку... Не помню, сунул ей в рот или нет таблетку, но точно только то, что ощущал тихую, ласковую, удивленную, быть может, но полностью лишенную какого бы то ни было страха или ужаса радость. И мысль: а ведь такси я еще не заказал, как повезу ее отсюда? — и проснулся. Было около пяти утра, пасмурно. Наяву тоже не было никакого неприятного чувства — наоборот, было приятно и просветленно оттого, что во сне не было страха.

Детских моих фотографий сохранилось штуки три.

Глядя на них, я отчетливо понимаю, что мама не была выдающимся психологом. Одевала она нас в конце тридцатых годов в коротенькие штанишки, бархатные курточки и беретки. Боже, сколько тумачков получил я за такую анахроническую униформу! И как крепко прилипла к моей веснушчатой роже кличка «гогочка»!

Неужели мать не могла понять, на какие муки обрекает нас?

Или это делалось наперекор бедности?

Поручика Искровой роты мама не дождалась. Вышла за отца в апреле 1917 года. Ей было двадцать три, отцу двадцать четыре.

«Здравствуйте, далекая и близкая царевна, греза и зоренька моя! Вот уж действительно: с добрым утром! Сейчас еще только 6 с четвертью утра, яркий солнечный блеск и покой. Так легко дышать после вчерашней бури в душевной хате. Ах, Любанька — простите, вырвалось это слово, которое я так люблю, потому что оно Ваше. Все мои думы и желания направлены только к одному — Вашему счастью. Мне вспоминается песня, стихи:

Море шумело, море гудело,  
Волны сливались с волной, —  
Сердце рыдало, сердце все ждало:  
Милая, будь же со мной.

Море дробило утесы и скалы —  
Сердце дробило себя.  
Море в пучину других увлекало —  
Сердце же гибло, любя.

Море утихло и блещет лазурью,  
Радостен моря привет.  
В сердце по-прежнему вопли и буря,  
Сердцу влюбленному отдыха нет.

Да, именно сердцу влюбленному отдыха нет, да разве ему нужен он? Не в этом ли весь смысл и счастье любви, чтобы самоотверженно, с восторгом, со счастливою улыбкой отдавать любимому человеку все свои помыслы, желания, труд, здоровье, жизнь и видеть отраду только в том, чтобы зреть хоть проблески счастья у любимого человека и черпать новые силы для неустанной работы, украшать ему путь, целуя следы его ног, и плакать от счастья, что ты можешь и любить и принадлежать ему. Ваш Николаич».

А теперь опять из тех ситуаций, которые не сразу выдумает и бойкий беллетрист.

Май 1942 года.

Эшелон с блокадниками.

Мать — страшная старуха. Такой рисуют саму смерть. Только у покойников не бывает голодной дизентерии, а мать уже ничего не ест. Раньше не ела — нам все отдавала. Теперь появляется какая-то еда, но мать лежит на боковой полке пассажирского вагона и есть уже не может, ее то и дело несет кровью.

Вагон с офицерами-фронтовиками: едут в тыл в академию, здоровяки, битком набитые радостной жизнью, пьют, едят, играют в карты, спят со смачным храпом — вырвались из окопов, целые, с чистой совестью, впереди несколько месяцев тыла; вонючая старуха им, ясное дело, мешает. И вылечили!

Сел к ней в изголовье здоровенный танкист:

— Бабка, ты сейчас не рыпайся! Открывай рот! Ну! Вася, помоги!

Взяли и влили в нее полстакана чистого спирта. Покорчило ее минуту-другую, потом вырубилась. А проснулась — понос прекратился.

Везла же нас мать к Николаичу в город Фрунзе, где он проживал после положенной десятилетней отсидки с женой и двумя сыновьями. Они приняли нашу троицу на свои шеи и поселили во вполне по тем временам приличном сарайчике-флигелечке.

Так закончился этот платонический роман.

Еще первого сентября штатный капитан «Комилеса» Аркадий Сергеевич Конишев вызвал меня на связь с «Индиги» и сообщил о смерти Константина Симонова.

«Комилес» одиноко печалился в двух милях по носу посреди черной полыньи.

В 1975 году на этом «Комилесе» Константин Михайлович с женой и дочерью проплыли Арктику. Здесь он, верно, написал:

Кто в будущее двинулся, держись,  
Взад и вперед,  
Взад и вперед до пота.  
Порой подумаешь:  
Вся наша жизнь —  
Сплошная ледакольная работа.

Да, написать такие строчки мог только тот поэт, который прошел Северным морским путем.

Вспомнилось, как в день пятидесятилетия с юбилейной трибуны Симонов сказал:

— Меня чуть не погубила тщеславно-неумеренная общественная деятельность на ниве литературы.

И надо заметить, что он сумел осадить себя круто:

Неужто под конец так важно:  
; Где три аршина вам дадут?  
; На том ли, знаменитом, тесном,  
Где клином тот и этот свет,  
Где требуются, как известно,  
Звонки и письма в Моссовет?  
Всем, кто любит нас, так некстати  
Тот бой, за смертью по пятам!..

И близкие, и далекие смерти, когда находишься в море, переживаются как-то отчетливее и масштабнее, нежели когда ты на земле.

— Хочешь, прочитаю, что он написал в памятный журнал, когда мы его высаживали в Певеке? — спросил Коньшин.

— Конечно, Аркаша, — сказал я.

И он прочитал:

— «Мне и моим товарищам по путешествию на „Комилесе“, оказавшимся вашими гостями, хочется сердечно поблагодарить весь экипаж, весь ваш дружный коллектив за внимание, заботу, дружеское теплое отношение к трем сухопутным людям, затесавшимся в ваш морской монастырь. Я с большим интересом и вниманием наблюдаю вашу непростую и нелегкую работу в этом северном рейсе. И был рад нашим встречам и беседам на литературные и исторические темы, беседам, как мне кажется, взаимно искренним и взаимно полезным. Морского дела я, правда, еще за один рейс не изучил, но ничего, я молодой, я еще исправлюсь! А вам всем доброго плавания и счастливых встреч с близкими! Шестнадцатого августа тысяча девятьсот семьдесят пятого года, борт „Комилеса“, в виду Певека. Константин Симонов». Все понял?

— Да, Аркаша, спасибо.

— Тогда до связи.

— До связи.

Печатаая дневники, К. М. Симонов подчеркивает, что, прочитывая записи, он неоднократно испытывал желание задним числом вторгнуться в старый текст. Но удержался от дьявольского соблазна. И даже, чтобы побороть беса, чтобы что-то не «улучшить» в записях военных лет,

чтобы решительно отрезать себе все пути для этого, Симонов, перепечатав дневник, один экземпляр сразу же заклеивал в пакет и сдавал в архив, как документ-первоисточник.

Мне бы его волю в самоограничении!

Документ и поэтичность видения — чертовски сложная штука.

Документ сохраняется на века. А поэтичность видения... Как быстро убивает ее старение и шаблон жизни...

Четвертое сентября, у острова Новая Сибирь. Из судового журнала:

«В 04.25 подошел „Ермак“, обколел, последовали за ним. За нами в дистанции 1 кабельтова т/х „Алатырьлес“. Сильные удары о льдины, толщина льдин до трех метров, лед двухгодовалый. 16.00. По данным „Ермака“, широта 73°44' сев., долгота 152°26' вост. Следуем переменными ходами и курсами. Сильные удары, содрогание корпуса и механизмов. Ежечасно производим замер льял. Водотечности не обнаружено. 18.37. В связи с тяжелой обстановкой „Ермак“ принял решение проводить суда по одному. Т/х „Алатырьлес“ застопорил машины и остался в дрейфе. Мы последовали за ледоколом. Толщина отдельных льдин до четырех метров. 22.00. Ледокол приказал стопорить машины и ждать его возвращения, сам ушел за „Алатырьлесом“».

Заметил: когда В. В. рядом, я чаще дергаю телеграф и, бывает, сбиваюсь с ритма. Два раза уже так случилось. Случайная случайность? Или подкорка отвлекается на его присутствие, и потому появляется неточность поведения и слабнет сосредоточенность?

После вахты читал Любищева. Он горит желанием заставить всех непрерывно думать о времени. Но поступать так значит непрерывно думать о смерти, что для здорового, нормального человека противоестественно. Нельзя же вовсе скидывать со счетов: «Счастливые часы не наблюдают!»

Честно говоря, Митрофан Митрофанович начинает меня тревожить. Он стойко копирует повадку старшего помощника теплохода «Державино» Арнольда Тимофеевича Федорова — царствие ему небесное, — то есть при каждом удобном и неудобном случае сматывает с мостика в штурманскую рубку, чтобы определяться по радиопеленгам. А на кой черт мне его определение, ежели ря-

дом ледокол, который в любой момент даст точные координаты по спутниковой аппаратуре. Нам следует судно сквозь лед вести, для этого необходимо смотреть с обоих крыльев вперед по курсу. Пока никаких замечаний Митрофану еще не делал.

Москва в «Последних известиях» сообщила, что в прошлую арктическую навигацию к настоящему моменту 50% груза уже были доставлены на места, а сегодня — только 17%. Упомянули «Ермака», посочувствовали ему, бедняге. А он в данный вот момент едет прямо чистым нордом, ведя нас куда-то к Северному полюсу, а не на восток. И все равно хорошо, что мы не стоим, а куда-то едем, — пусть хоть к полюсу. Теперь мы с В. В. перестали трепать друг другу нервы шеш-бешем. Опасная игра. Митрофан запрещает себе даже смотреть на то, как другие играют. У него в прошлом с азартными играми связано что-то неприятное.

Может быть, я и по натуре игрок? Если так, то появляется хоть какое-то объяснение тому, почему меня опять и опять тянет сюда плавать.

Или я просто привязчивый? Так бог устроил. Занесло на моря — я к морю привязался, — судьба! А на землю занесло бы — к плугу привязался, крестьянином бы стал. И уверен — хорошим, потому что могу учиться. Правда, типично по-русски: на ошибках. Лоб разобью — перекрещусь. И второй раз на том же месте редко спотыкаюсь. Но преодолеваешь лень к учебе, только если находишься в действии и несешь ответственность за людей и материальные ценности. Вообще-то хвастаться здесь нечем. Еще железобетонный Бисмарк отметил, что все нормальные люди учатся на ошибках, но только дураки — на собственных.

Пятое сентября, у острова Новая Сибирь.

00.00. В дрейфе, в черной ночи, в черной полынье, среди белеющих ледяных призраков. «Ермак» завел нас так далеко к норду, что на картах нет глубин — никто их здесь еще не мерил. Шлепаем по белым пятнам. Лед жестко-металлический. Здесь уж действительно не просто Север, но Арктика. Опухают и ноют десны.

03.10. С правого борта прошел обкалывающим курсом ледокол, за ним следует «Алатырьлес». Дали полный вперед, начали разворачиваться в канал за прошедшими судами.

03.40. Уткнулись в крупный торос, потеряли движение, предупредили ледокол. Ледокол ушел вперед с «Ала-

тырьлесом», приказав нам работать самым малым вперед.

12.40. «Ермак» вернулся, начал подходить к нашему носу кормой, чтобы подать короткий буксир.

13.30. Закрепили усы, положив 37 шлагов сизальского конца (трехдюймового) в бензель. У бензеля выставлена вахта с топором.

13.35. Ледокол закончил обтяжку усов своей лебедкой. Начали движение за ним вплотную.

13.50. Застряли во льду вместе с ледоколом, который не может набрать инерцию.

14.10. Начали устойчивое движение. Ограничили перекладку руля до  $15^\circ$ . Судно испытывает удары, частые содрогания корпуса.

Несмотря на содрогания, сотрясения, стуки и удары, схватить на усах за ледокол было все-таки лучше самостоятельного влияния среди льдин в кромешном тумане. И даже возникало такое паразитствующее ощущение, будто ты в «Стреле» едешь, а не выбираешься из пролива Санникова в Восточно-Сибирское море.

Шестое сентября. 04.00. Стали в ожидании улучшения видимости. Туман, бусова, не видно полубака. Поднять вертолет ледокол не может. По данным «Ермака», широта  $72^\circ 17'$  норд, долгота  $156^\circ 46'$  ост.

Арктическое терпение в ожиданиях имеет особую природу. Ежели, например, я жду трамвай № 3 (угол проспекта Щорса и улицы Ленина в Ленинграде), то уже через какой-нибудь жалкий час ненавижу все мироздание вместе с мироустройством и подпрыгиваю от желания набить кому-нибудь из горсовета морду. А ежели еще вместо «тройки» наконец прокатит без остановки какой-нибудь заблудший или учебный трам, то у меня на губах серая, а может быть, и кровавая пена выступает. В Арктике же для бывалого человека дело другое. Ты ведь заранее знаешь, что вся навигация там — это ожидание и терпение: ждешь льда и чистой воды, тумана и хорошей видимости, ледокола или ледового разведчика, — то есть «ожидание у моря погоды» в Арктике есть состояние нормальное. И чем меньше будешь внутренне торопиться, дергаться и суетиться перед клиентом, тем дальше окажешься.

Но этот наш рейс по тяготности и простоям оказывается чемпионским. И попадись мне сейчас на узкой дорожке хоть сам хозяин здешних мест — белый мишка, я бы и ему морду расквасил.



Высшее руководство нашего орденоносного пароходства помогает в преодолении по мере сил:

РАДИО ВСЕМ СУДАМ БМП 5—12 СЕНТЯБРЯ ПРОСИМ ПРОВЕСТИ ЭТОТ ПЕРИОД ПОРТУ ЗАХОДА УЧИТЫВАЯ МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА ЗПТ ХОДЬБЫ ЗАЧЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БЕГУНА ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ СООБЩИТЕ СРОК 15 СЕНТЯБРЯ УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ = ЧМ ХАРЧЕНКО ОПМ СКОПИНЦЕВ ОКПМ КОСОВСКИЙ.

Знаете, кто эти товарищи, которые рекомендуют нам оздоровительный бег в районе Северного полюса? ЧМ — начальник пароходства, ОПМ — секретарь парткома, ОКПМ — председатель бассейнового комитета профсоюзов.

И вот такой анекдотической чушью высшие начальники загружают эфир, через который здесь с аварийной-то радиogramмой пробиться трудно! Сейчас, товарищи дорогие, побежим трусцой в зачет Всесоюзного дня бегуна.

А почему ночи напролет мы лежим в дрейфе? Потому что ледоколы не бегуны и переть вслепую в черный арктический свет не могут, ибо верные поводыри — вертолеты МИ-2, которые стоят на ледоколах, — ночью не работают: нет специальной навигационной аппаратуры, нет достаточно мощных вертолетных светильников. А без вертолета у ледокола и каравана нет возможности избежать ледовых мешков и лабиринтов — радар тут часто бессилен и возможность быстрого маневра сведена к нулю, а каждый час падает температура, и каждая секунда идет уже на вес платины.

Шестое сентября, у острова Новая Сибирь.

05.02. Начали движение, за нами в двух кабельтовых самостоятельно следует «Алатырьлес».

07.55. Отдали буксир с ледокола. Получили указание «Ермака» следовать генеральным курсом 150° по десятиметровой изобате Восточно-Сибирского моря. На пути ожидается лед три-четыре балла, местами до восьми. С десятиметровой изобаты выходить на пролив Мелехова. Дальнейшие рекомендации запрашивать у Певека.

Вам давно уже смертельно скучно, а читатель? Но вы же и бросить это чтиво можете в любую секунду! Да если даже и все подряд читать будете, то через полчаса выйдете на чистую страницу и захлопнете книгу. А вы попробуйте вот такое не читать, а переживать въяве. И два-

три месяца. И без антрактов. Это и есть Арктика. Монотонность.

Через десять минут после выхода в полынью и прощания с ледоколом дали полный ход. Полынья впереди была широкая — мили полторы, слабоизвилистая, ее направление совпадало с генеральным курсом. Погода была прекрасная — штиль, солнце.

Я позвонил В. В. и доложил, что мы вырвались на свободу. Он поздравил меня, заметив, что я давно уже только тем и занимаюсь, что вывожу моряков на чистую воду. Здесь содержалась некоторая подковырка, связанная с моими писаниями про некоторые отрицательные моменты морской жизни. Подковырку я покорно проглотил, а за поздравление поблагодарил.

В. В., назвав мою вахту «гвардейской», попросил поздравить с выходом на чистую воду весь ее состав — и штурманов, и матросов, и механиков, и мотористов.

Я с удовольствием выполнил его поручение.

Сразу в рубке появились и старший механик, и помощит.

Настроение у мужчин было жеребьячье. Даже Митрофан чего-то сострил — гомон, смех, — обычное оживление после спада напряжения.

А по уставу и гомон и смех в рубке вообще-то строго запрещены. Но было невозможно затыкать глотки людям. Тем временем мы шли полным ходом по полынье. Она, как я говорил, была широкая, вполне безопасная для движения полным ходом. Но все равно я — тут всеми богами клянусь! — несколько раз и очень строго сказал себе: «Осторожно, Витя! Не ликуй, Витя! Осторожно! Внимательно! Не распускайся!» — и действительно не распускался, не прислушивался даже к гомону.

Впереди в полынье плавала на самой ее середине могучая льдина, не льдина даже, а осколок ледяного поля. С обеих ее сторон оставались абсолютно свободные проходы шириной кабельтова по три — ширина пролива Сплитских Врат в Югославии, тех самых, где гробанулись Ребристый и Таренков. Имея полную свободу маневра, ход сбавлять я не стал, однако еще раз повторил про себя: «Осторожно, Витя! Сейчас особо осторожно!» После чего скомандовал:

— Руль право десять!

В этот момент льдина была прямо на курсе, и я решил оставлять ее с левого борта не менее чем в кабель-

тове, ибо опасался поддонов — подводных продолжений этой мощной отдельно плавающей льдины.

В этот же момент в рубке грохнул очередной взрыв хохота, и я оглянулся на рулевого, ибо не услышал его обязательного: «Есть руль право десять!» Рулевой встретил мой взгляд и успокоительно кивнул мне: «Мол, вас понял!»

Судно продолжало лететь прямо на льдину, а затем начало отклоняться влево. Я взглянул на указатель поворота руля и покрылся холодным потом: руль стоял не право десять, а лево десять!

— Право на борт!!! — заорал я. — Как идете?! С ума сошли!!!

И вот в наступившей мертвой тишине потянулись те самые мертвые секунды, которые знакомы всем судоводителям.

Рулевой скатал руль на правый борт, но судно не кенгуру. Судно уже набрало левую угловую скорость и, медленно погасив ее, стало так же медленно набирать правую угловую скорость. До льдины было метров триста. Никакой дачей полного заднего хода я не смог бы погасить или даже притормозить инерцию полного переднего хода, чтобы уменьшить последствия. Уповать оставалось только на то, что именно полный ход даст возможность отвернуть.

Мы промчались не в кабельтове от льдины, а метрах в десяти. Волна от судна тяжело плюхнула в нее, здоровенный кусок отвалился и сразу перевернулся.

Если бы у этой льдины был поддон, то мы в точности повторили бы судьбу «Брянсклеса», который в подобной ситуации прорезал себе чуть не весь корпус и затонул через пять минут.

Вот вам и приключение. Только возле «Брянсклеса» был ледакол, а возле нас уже никого не было. Ледакол подскочил к «Брянсклесу» и вдвинул ему свою корму в борт — все люди успели спастись.

В нашем случае не спасся бы никто, ибо после удара о льдину нас отбросило бы на середину полыньи, где мы бы и булькнули. Ни о спуске шлюпок, ни о плавании в одиночном порядке речи не могло и идти.

Конечно, рулевой отлично видел льдину на курсе, конечно, он давно готовился к отвороту от нее, но, вероятно, привыкнув к той самостоятельности, которую мы не можем не предоставить рулевому высокого класса при движении во льдах, он для себя решил, что эту льдину будет

огибать слева. Хохот же в рубке не дал ему возможности услышать мою команду, но он уверен был, что именно ЭТО я ему и скомандовал.

Вот тебе и: «Осторожно, Витя! Сейчас особо осторожно!»

И сейчас, когда читаю все это в тишине и неподвижности городской комнаты, как-то так стало мутить, и пришлось закурить.

Но занятно, что ругать рулевого я не стал, сказал только:

— Что же ты, братец?

В молодости я обрушил бы на него сто этажей ругани — хотя бы для собственной разрядки и успокоения.

Жуткая, но прекрасная луна с кормы. Сперва мешало зарево от нее, пробивающее тучи: рассеянный, привиденческий свет — плохо при таком освещении различать льдины, путаешь сало с гладким полем. Потом включилась в создание помех заря на востоке — это уже около четырех утра.

Казалось, никогда не кончится лавировка среди льдов и никогда не спадет напряжение.

За вахту тридцать миль.

После четырехчасовой работы синяки под глазами, надавленные биноклем.

Первым из Медвежьих опознали остров Крестовский, что очень обрадовало В. В. Он счел это верным предзнаменованием скорого и благополучного прихода в порт назначения. Ведь Крестовский его малая родина. А моя малая и милейшая родина — Адмиралтейский канал, дом № 9, напротив первого мостика на остров Новая Голландия. Рядом Нева и сумасшедший дом на Пряжке, дом Блока и Ксениевский женский институт для девиц привилегированного сословия, построенный эклектиком Штакеншнейдером... Кабы я родился в другом месте, то был бы иным человеком. Конечно, я был бы другим человеком, если бы не родился в тех ленинградских местах, которые никогда не попадают на видовые открытки, где все еще много сырой тишины, запаха грязной воды, где берега каналов не забраны гранитом набережных, а желтеют одуванчиками просто по земляным склонам. Старые тополя доживают тут последние годы, разглядывая свои отражения в неподвижной воде, и стариковски вздрагивают от криков мальчишек, вылавливающих из канала

неосторожную кошку... За дальними крышами с нашего третьего этажа были видны верхушки кранов на судостроительных верфях; краны бесшумно двигались среди низких облаков, а вечерами на них загорались красные пронзительные огоньки. Там мостовые горбились морщинистыми булыжниками. И булыжники по ночам вспоминали стук ломовых телег, грубые подковы битюгов, изящный шелест тонких шин извозчичьих пролетов. Там во дворах лежало много дров, поленницы были обиты жестью и досками. И когда осенью дули ветры с залива и черная вода выпирала из каналов, дрова всплывали и грудились в подворотнях, и жильцам было о чем поспорить, потому что все дрова здорово схожи и сразу с ними не разберешься...

Получили рекомендованные точки от ледокола «Владивосток». Шли по точкам до 15.04, когда встретили «Владивосток» и стали под его проводку для форсирования перемычки многолетнего льда сплоченностью девятьдесят баллов. В 16.00 ледокол закончил проводку. Вышли на чистую воду и следуем самостоятельно по рекомендованным точкам, «соблюдая повышенную осторожность»...

Вот я и сижу в лоцманской каюте — соблюдаю. И читаю какой-то старый номер «За рубежом». И вынужден отметить тот неприятный факт, что я нелепый и наивный болван, ибо в прошлой книге поселил на острове Вознесения одних лишь черепах, на тему которых всласть пофилософствовал. А оказывается, что на острове Вознесения находится крупнейшая военно-морская база США Уайдуэйк. Сюда американцы завезли все — от ракет до столовых печей, ночных биноклей и комплектов питания «для длительного патрулирования». Янки завезли сюда 4700 тонн аэродромного покрытия для действия «Харриеров» с земли и устройства для обнаружения подводных лодок.

А я объявил этот остров безлюдным и населил его только мирными черепахами!

И ведь прошли милях в двадцати от Вознесения... Как мы идеализируем планету и ее укромные уголки, приводя ее и их к стивенсоновским книжкам... Да, многовато дров я наломал в «Третьем лишнем». А все Ямкин виноват.

У правды есть свои сроки. И если правда долго идет к людям, то и она, и люди многое теряют.

Объясняться в любви к своему народу, рыдать у него на груди от своей любви довольно простое дело. Но относиться требовательно, судить строго и даже беспощадно — для этого нужно очень большое внутреннее напряжение, преодоление самого себя: попробуйте написать про свою мать что-нибудь плохое. Если попробуете, то поймете, как трудно судить и свой народ.

И здесь я всегда вспоминаю Салтыкова.

## КОЛЫМА

От морей и от гор  
так и веет веками...

*Ярослав Смеляков*

Хорошо этак сдать тихо-мирно вахту, раздеться в каюте до исподнего, сесть на койку, упереть ноги в ручку кресла и бездумно пялиться в иллюминатор, где медленно рассветает и далекие льды у горизонта делаются сине-голубыми. И все время хранить в подсознании упительную мысль, что сейчас ДРУГОЙ уродуется на мосту, а ты через пяток минут завалишься баиньки безо всяких забот, ибо никакие внутрисудовые дрызги не входят в твою компетенцию. Хорошо, когда на вашей вахте в льялах воды не прибавилось и ваш старший напарник вами доволен и подарил вам темные иностранные очки с усиливающими линзами...

Надо будет отдарить В. В. английским свистком, хотя он мне и дорог, как память Вити Дивляша.

По чистой воде прошли мыс Большой Баранов. Судно тяжело спало дневным, послеобеденным, адмиральским сном.

Работали обычные, нормальные дневные вахты чистой воды.

И вдруг меня будит Гангстер, сообщает, что мастер собирает на срочное совещание командиров.

Собрались.

Когда мужчины поднимаются после тяжелого дневного сна и бессонной ночи, морды их выглядят весьма побабски, все конкретные черты мужской морды расплываются: волевые подбородки притупляются, суровые глаза тускнеют, резкие скулы смягчаются, волосы залежало дыбятся; ну, про настроение, которое вообще-то есть еще и следствие характера, говорить нечего, — дрянное.

Но я люблю опухших после тяжелого дневного сна мужчин: в эти минуты они меньше врут и притворяются, они невинны и естественны — бери их, голубчиков, голыми руками.

Мастер информирует, что к нам обратились с просьбой (!) рассмотреть вопрос о возможности захода в порт Зеленый Мыс (бывшие Кресты Колымские): обстановка требует переадресовки части груза туда, хотя в Мурманске мы грузились целиком только на Певек. И есть еще неприятный нюанс — маленькие глубины на речном баре.

— Что думают командиры? — интересуется В. В. — Прошу только не забывать о названии нашего с вами драндулета. Все-таки мы «Колымалес», а груз ждут колымчане.

«Раз надо — значит, надо» — так думают опухшие командиры, и начинается коллективный подсчет, сколько следует откатать питьевой воды за борт, сколько мытьевой и что делать с балластом...

Выясняется, что даже после снятия палубных бочек с капустой и помидорами на речные баржи у Амбарчика осадка кормой на метр двадцать сантиметров будет больше глубины на баре.

— Упрямся — разберемся, — решает В. В.

И теплоход «Колымалес» угрюмо, но в то же время лихо описывает циркуляцию, и мыс Большой Баранов оказывается у нас по левому борту. Правда, мыс не видно — туман.

На штилевой воде спят утки. Испугавшись судна, они разбегаются в стороны из-под самого форштевня, не взлетая, быстро перебирая лапами и судорожно взмахивая крыльями.

В тумане машинные звуки глохнут, и судно движется почти немым, бесплотным привидением — вот утки и не успевают вовремя испугаться, набрать потребный разгон и взлететь. За разбегающимися утками остаются на густой от холода воде вспененные дорожки...

Напяливаем ватники и выходим с капитаном, старпомом и Митрофаном на палубу, чтобы лично упереться и разобраться.

Трюма открыты, стальные крышки поднялись гармошкой. От ящиков с картофелем понесло прелым теплом. Ящики выложены по самый верх комингсов. На первый взгляд тара кажется достаточно крепкой для ручной, поштучной переправы ящиков в носовой трюм. Это надо де-

лать, чтобы поднять корму. Но Митрофан настроен скептически:

— Развалятся ящички на дощечки, товар перепортим — и все прахом.

Я залез в трюм, поплясал на ящиках, досочки глухо отдавали под каблуками. Вспомнились крюки английских докеров, и я предложил таскать ящички не на руках, а волоком крюками.

(Почему еще мне нравится плавать? А потому, что я люблю эту работу. А любишь только ту работу, которую знаешь. Коли не знаешь,— возненавидишь даже дегустацию королевских вин.)

Старпом мгновенно подхватил идею, сообщил, что в рефрижераторной камере у нас полно свободных мясных крюков для подвески туш. К ним сообразили привязать веревки. И тогда приняли окончательное решение на аврал. В. В. приказал собирать экипаж в столовую команду.

Понимаете, объясняет мне, политика тут тонкая должна быть. Тут главный наш принцип «упремся — разберемся» не подходит. Надо ведь около тысячи ящичков в нос тащить. Я, говорит, сейчас торжественно выступлю перед экипажем с зажигательной речью. Обращусь к рядовой толпе с политически обдуманым предложением...

Но истинная речь капитана отличалась чрезвычайной алогичностью и аполитичностью.

— Товарищи,— сказал он, опершись на стол и поставив одно колено на стул.— Дела наши обстоят хреново, но приказывать права не имею. На баре четыре метра сорок пять сантиметров воды, а мы сидим кормой пять метров тридцать. Чтобы выйти на нужную осадку, надо перешвырять тышчонку ящичков картофеля с кормы в нос. Нужны, конечно, только добровольцы. Но коли вы сами не захотите, то мне ничего не остается, как вам приказать, а там воля ваша — жалуйтесь! Я кончил. Какие будут предложения?

Пауза получилась больше минуты. Экипаж размышлял сосредоточенно,— не привыкли люди в наше время к авралам.

— Ну хорошо,— сказал В. В.— Молчание — знак согласия. Добровольцам разделиться на две группы и добровольно таскать по обоим бортам.

В умении подчинять и подчиняться есть своя красота.

На аврал вышли все, включая и самого Василия Васильевича Миронова. Он облачился в синий комбинезон—



подарок гамбургских докеров. Над меховым воротом комбинезона красиво дымился его седой чубчик — шапку, как и перчатки, В. В. не надевает. Мне он приказал править якорную вахту.

Старший механик явился на перегрузку картофеля одетым с таким заграничным шиком, что был бы уместнее где-нибудь не на старом лесовозе, а на туристическом лайнере, проплывающем под Магеллановыми облаками возле мыса Доброй Надежды.

Я остался один в рулевой рубке.

В колымской черной ночи сверкали и переливались кучками бриллиантов на рейде три чужих судна. Несколько одиноких льдин с любопытством поглядывали на наш картофельный аврал, покачиваясь на едва заметной зыби Восточно-Сибирского моря.

Первые пять минут вахты я тщетно искал на пультах переключатель якорных огней. Оказалось, что на «Колымалесе» якорные огни включаются не из рубки, а прямо с палубы у носового штага и кормового флагштока.

По Москве было два часа дня, у нас — десять вечера.

Мясные крюки сработали отлично. Ящики волокли до спардека, поднимали на него, протаскивали до носовой палубы, спускали на нее по дощатым следам и опять тащили крюками к первому трюму. Шкрябать краску со стальной палубы и на носу, и в корме, и на спардеке после такой экзекуции нужды не было — ящики ее довели до блеска. Сперва морячки таскали картошку в охотку, бегом. Сухие ящики таскать еще куда ни шло, а вот мокрые — коэффициент трения большой. К концу второго часа кое-кого стало покачивать самым натуральным образом.

Для поднятия рабочего настроения врубили на палубу радио, и в черной колымской ночи зазвучало: «Благословляю вас, леса, долины, горы...»

Наблюдая из рубки за трудовыми подвигами экипажа «Колымалеса», я вспоминал сразу двух художников. Рисунок Льва Канторовича в книге «Четыре тысячи миль на „Сибирякове“». Аварийная перегрузка угля — колено-преклоненная, согбенная, нелепая фигура: «К концу смены радист Кренкель упал под тяжестью мешка, но наотрез отказался от перехода на более легкую работу».

Другой художник — Ван-Гог. «Прогулка заключенных».

Кроме художественных ассоциаций, среди вахтенных дел и делишек вдруг обнаружил, что у судна крен на ле-

вый борт в один градус. Это приятное было открытие, ибо крен увеличивает осадку — двенадцать сантиметров на один градус. А когда мы измеряли осадку, то крена не учли.

Время от времени я выходил на крыло, и тогда в лицо дышал могильный холод — северный ветер приносил дыхание ледовой кромки.

Треугольники могучих мачт были высвечены грузовыми люстрами и сильными огнями палубного освещения.

Я смотрел на согбенные фигуры, влекущие по ржавой палубе пятидесятикилограммовые ящики с полугнилой картошкой при помощи мясных крюков, и шелкал секундомером. Выходило, что за десять минут с кормы в нос перебрасывалось тридцать восемь ящиков.

В середине аврала мне стало тревожно за сердце В. В., и я свистнул ему и попросил подняться якобы по делу. Показал крен, попросил больше не надрываться: не тот возраст. Он пробурчал, что такие авралы полезны — сплачивают экипаж. Я предложил выгнать на палубу и наших дам: пускай собирают в мешки россыпь — пригодится. Но капитан с неожиданной для жителя страны развитого социализма логикой сказал, что россыпь ночная вахта без больших трудов перекидает за борт, так как сдавать груз надо по счету ящиков, а не по картофельному весу. Сейчас же дамы готовят для авральщиков внеплановый ужин и заваривают грузинский чай.

Он покурил со мной и опять ушел к трудящейся массе. Все стихло в рубке, и мне показалось, что наш пароход как бы прислушивается к той суете, которую развели на нем людишки-муравьи: прислушивается сквозь сон, а сам подергивает стальной кожей, как это делают спящие лошади.

И Гангстер, и Октавиан отработали аврал с четкостью автоматов, явно соревнуясь.

За послеавральным перекусом выяснилось, что при буксировке из ящиков раздавались взвизги, — там полно мышей. Крысы же визуально обнаружены не были.

С рассветом прибыл лоцман, прогрели двигатель, Октавиана загнали самого в машину, затаили дыхание и пошли на штурм колымского бара.

— Держать сто восемьдесят два!

— Есть сто восемьдесят два!

— Шар долой!

— Что, забыли якорный шар спустить?

— Ага! Боцман после аврала еще не очухался.

— Донные кингстоны перекрыть! На бортовые перейти!

— Уже перешли!

— Значит, опытные вы уже люди.

— Сколько человек в Амбарчике живет?

— Пять.

— Туман под берегом?

— Нет, это не туман, снежный заряд. Рано в этом году снег.

— Но берега-то у вас еще в ржавчине! (На колымских скалах мхи, и потому кажется, что поверх скал натянута истертая бычья шкура.)

— Видимость падает!

— Ничего, я и без видимости курс чувствую. Самый полный вперед!

— Есть самый полный!

— Течение в правый борт работает! И откуда оно тут взялось!

— Черт его знает. Хуже, что у вас компас застывается.

— Не замечали...

— Потянули за собой водичку, потянули...

— Сарай за мысом видите? Еще в семидесятые годы там зек жил робинзоном. Как-то был у него в гостях. За рыбой ездили. Году в шестьдесят пятом.

— А правее сарайчика у него коптильня?

— Нет, левее и выше сарая у него пещера в скале была. Он уже совсем одичал, обросший. Спрашиваю: «За что тебя? Сколько дали? Что натворил?» Ничего не объясняет, только: «За дело!» Чифирь пил, нас угостил — невозможно глоток сделать. Дали ему спирта, и он сразу заплакал,— это вспоминал В. В.

— Ну, не совсем так,— деликатно поправил лоцман.— Он здесь продолжал жить добровольно, уже получив в пятьдесят шестом вольную, фамилия Бодрин, бывший московский конферансье, два сына — полковники авиации, оба отказались в свое время от отца, чтобы не губить себе карьеры; он не обиделся, помогал семье деньгами, которые выручал за рыбу и зверя; летом расхаживал тут босым и в китайском толстом белье. За что посадил, действительно, никогда и никому не рассказывал; потом смыло его летнюю избушку штормовым накатом. И он, кажется, перебрался к дружку-зеку в Магадан, дружок там работал уже директором ресторана. Я видел этого

робинзона на фотографии во фраке — фото из времен его столичной жизни. На радаре! Сколько до мыса?

— Шестнадцать кабельтовых!

— Стелу Седова видите?

— На отдельном камне?

— Да. Пошли вправо!

— Здорово этот отдельный камень похож на рубку всплывающего подводного атомохода — даже неприятно делается.

— Сразу видно, что на военном флоте служили... Следующие створы видите? Держите пять градусов левее!

— А что там, под берегом? Плывет что-то?

— Нет, торчит. Это остатки баржи. На таких сюда зек-ков сплавляли. Дальше в реке еще две таких будет, те сохранились лучше.

— Неужто половодьем и льдом их до сих пор не разметало?

— Дерево мореное. Местные говорят — «остья крепкие». Тут еще один был знаменитый робинзон — дядя Федя. Из экипажа того «Комсомольца», который вез оружие в революционную Испанию, а их задержал немецкий крейсер, и моряки попали в плен к Франко. Затем их всех загнали в эти места. Дядя Федя разносторонний был человек, работал ассенизатором в Черском, коком на лоцботе, очень любил сгущенку. После реабилитации возвращаться на Большую землю тоже отказался: «Здесь жизнь прошла, и нет ее больше...»

Из радиотелефона:

— «Колымалес» — «Крымскому»!

— «Колымалес!» Это вы, Степан Иванович?

— Да, Борис Александрович! На Сухарном перекате встречаемся!

— Видимость аховая! Рано снег в этом году. Как прикажете расходиться?

— Левыми бортами!

— Вас понял! До связи.

— Врубите ходовые огни!

— Есть! В машине! Будем расходиться со встречным в тумане! От реверса не отходить!

— Опять заряд. Видимость не больше мили.

— Это еще терпимо.

— На Сухарном парные буи?

— Нет, слева вехи, справа буи.

— Изжога. Черт бы ее побрал!

— Самое хорошее — гриб пить, только не старый, не кислый.

Тучи — терпеть не могу штампы, но тут другого слова не подберешь — свинцовые. Тяжелый свинец. И двигаются замедленно от свинцовой тягости, набиты злым, мелким снегом. Но чуть между ними солнце пробьется, сразу такими радостными красками вспыхивают берега — малиновые наплывы лишайников на скалах, лиловые горбы дальних сопок, зеленые, яркие полосы какой-то тундровой травы в лощинах и вдоль уреза воды; а сама колымская вода мгновенно напиться солнечными лучами и делается легкой, обычной речной, радостной.

— Нынче урожай брусники. Мы с женой за час ведро набрали.

— Надо будет экскурсию сообразить.

— Справа домишки торчат. Что это?

— Брошенный поселок. Михалкино. Уголь переваливали здесь. Вон куча так и осталась. Сейчас никто не живет. Сторож-старик был. Помер. Теперь пусто.

Крыши домов уже снесло, окна зияют провалами. Мразью и запустением несет. Нефтяная емкость лежит на боку. Издалека похожа на грязный парус. Домов насчитал семнадцать...

— А ведь на здешнем угле пароходы плавали?

— Да, тяжело было кочегарам, но плавали. Уголек-то хилый.

— Вы ленинградец?

— Из Павловска.

— А живете где?

— Здесь. Полгода работа, полгода отпуск.

— На родину тянет?

— Четырнадцать лет на кооперативную квартиру стою, но пока строить еще не начинали.

— Жена работает?

— Да, по швейному делу.

— Дети?

— Сыну пять. Держите сто восемнадцать!

— Памятник Врангелю и Матюшкину покажите, пожалуйста.

— Он у нас на самом красивом месте стоит. На Краю Леса.

— Кто автор?

— В какой-то степени я.

— Вы скульптор?

— Нет, эскиз я сочинил.

— Кто инициатор этой самодеятельности?

— Секретарь Нижне-Колымского райкома, историк по профессии. Край любит, тут и родился.

— А кто место для памятника выбирал?

— Мы и выбрали. Чтобы Врангель с Матюшкиным и нынче нам, лоцманам, работать помогали. Памятник служит хорошим ориентиром.

Какие дали!

Какая мощь сопки на правом берегу Колымы. И кекуры торчат в тысячелетнем молчании.

Край Леса.

Самое передовое деревцо — хиленькая такая лиственница, а уже в каком-нибудь километре от нее — пышная шатром, в оранжевом убранстве, и подол до самой земли. И краски, краски — солнце как раз пробилось — лиловое, фиолетовое, серое, зеленое, малиновое — длинными полосами, горизонтальными. И лиственницы, уже задремавшие в осенней неподвижности. Чем-то напоминают крестьянок, когда те в расклеванных книзу сарафанах и с желтыми венками на головах... Под берегом останки еще одной баржи. Боже, сколько там законсервировалось воплей, проклятий и рыданий.

Подошли на якорное место в 20.10, стали на левый якорь, на клюзе три смычки, рейд порта Зеленый Мыс. За левый берег Колымы, который стал черным и над которым торчали черные пики лиственниц, опускалось кровавое, расплющенное солнце. Небо в розовых, малиновых сполохах, синие тучки и белый зигзаг высотного следа от истребителя-перехватчика. И невольно думаешь о том, как там себя пилоты чувствуют. Ведь ежели в этих пространствах закувыркается самолетик...

Вот я и на самом деле здесь, в центре всех скорбей, — все-таки и сюда приплыл. И смотрю на Колыму своими глазами. Зачем это нужно — не знаю, но чувствую, что мне это необходимо. Как-то уж специально судьба сложилась так, что нас завернули на Зеленый Мыс.

Перед сном листаю журнал «Наш современник» и натякаюсь на сочинение лютого литературного соперника Горышина. О русском языке рассуждает Глеб Александрович.

Приятно читать старого товарища на рейде порта Зеленый Мыс.

Дохожу до главы «Едем на Сахалин» — и глаза выпучиваются на первой строке. И ваши сей секунд выпучат-

ся: «Глянем на карту, пройдемся по ней глазами от Ленинграда до Тихого океана. Увидим вблизи океанского берега остров, похожий на рыбу, на прирученную человеком акулу. Рыба дразнит своим хвостиком японский остров Хоккайдо, а носом правит в устье советской реки Колымы. Плавник ее вольно колышет воды Тихого океана.

Давайте жадно смотреть на карту, на остров, похожий на рыбу, на Сахалин!»

Давай, дружище, давай посмотрим, бормочу я, стоящий на якоре возле Крестов Колымских и только что проникший в устье советской реки Колымы со стороны Северного полюса. Кто же из нас, дружище, спятил на старости лет? Даже если ты спутал устье Колымы с ее истоками, то от прирученной человеком акулы-Сахалина до этих истоков за горами и долами тысячи верст и все раком. И почему твоя ручная акула вольно колышет плавником в Тихом океане, а не в Охотском море? Пора, пора, старый соперник, смотреть на карту без жадности — она не девушка нашей юношеской мечты. И почему же все грамотеи-редакторы не выловили у тебя такой чуши? Нет, не стареют ветераны! Ты тот же, Глеб, ты видишь ручных акул, нацеливаешь их на Колыму, и девицы по-прежнему волнуют тебя — и девицы Сахалина, и девицы Алма-Аты, «где рычание тысяч машин неумолчно, слитно, но все равно постоянно слышится цокот каблучков по панели. В Алма-Ате полным-полно девушек. Знатоки говорили мне, что в столице Казахстана проблема невест решена...»

Четверть века назад я сочинил добродушную пародию, помнишь, старый соперник? И называлась она «В ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ»:

«— Скоро зацветет черемуха,— сказала сегодня девушка Тоня.

— Это холодно,— сказал я.— Когда цветет черемуха — холодно.

Я люблю смотреть на Тоню. И вот так легко, незатейливо с ней говорить.

Когда-то я любил смотреть на Валею. Я шел к Вале трудным путем. Ел чужие завтраки в столовке газеты „Голос Алтая“. Мои ноги были тогда длинные и волосатые, но я брал камень и приседал, чтобы они стали еще длиннее и волосатее.

Путь к Люсе был самым трудным. Она жила в Гаграх, а я печатал подвалы в „Карагандинской правде“ и бегал

на лыжах к почте — сорок километров туда и восемьдесят обратно. Ночами мне снились кавказцы. Они жадно, по-мужски смотрели на Люсю из-за кипарисов. Во сне я бил кавказцам кулаком прямо в глаз. Я хотел Люсю сбегать, обнять, укрыть руками, грудью. А она мне писала: „Какая скрытая страсть живет в кавказцах, ты бы только знал!“

„Ее я не трону, нет,— говорил я себе.— Я никогда не ударю женщину. Это слабость — трогать женщину“. Но мой путь к Люсе оказался слишком долгим и трудным. Я ослаб на этом пути. И сильно тронул ее при встрече...»

Да, Глебушка, до шестидесяти тебе осталась какая-нибудь одна пятилетка, и вот ты пишешь: «По улицам казахстанской столицы цокают каблучками девушки — казашки и неказашки. Одни в белых сапожках, в белых блестящих сапожках, с белыми сумками. Другие в красных блестящих сапожках, с красными сумками. Глаза их рябят на солнце, взоры бегучи, шустры, как вода в арыках...»

Ежели ты еще способен заметить в глазах девушек рябь, то твои дела не так уж плохи, как кажется моему бегучему, шустрому и жадному взору...

Я печатаю это в медицинском изоляторе, судно затихло, два ночи по местному времени.

«Надо сделать паузу, отдышаться» — так заканчивает Горышин свои рассуждения о русском языке, его «исконном ладе».

Сейчас я последую совету старого соперника и сделаю паузу, то есть прикорну, ткнусь, не раздеваясь, в жесткую, но уютную койку, закурю и с горечью буду думать о том, что писательская старость — жесткая и жестокая штука.

Утром увидел с рейда территорию порта, дальние сопки под первым снегом. Машины в порту уже наездили по снежку трассы, на угольных кучах он быстро таял. Вся широкая панорама берега смахивала на картины Брейгеля: отделенность малюсеньких черных людишек от всего огромного бело-серого пространства, отдельность их и какая-то муравьиная самостоятельность, четкость. И даже наличие вокруг человечков порталных кранов, автопогрузчиков, высоких мачт с прожекторами не уничтожает Брейгеля.

Ключули на рассказы об огромном количестве брусники, обулись в сапоги, ватники и отправились в сопки.



Упарились через полчаса. Моховые кочки, напитавшиеся снегом, заросшие гонобобелем и черникой, — сапоги вязнут, портянки трут; а лиственницы — какая милость и прелесть, какие у них тихие, опустившиеся ресницы... Влюбился в лиственницы. Да, Глеб, никуда нам от возраста не убежать. Избитый штамп, но и мне лиственницы девушек напоминают — легеньких, сказочных, прозрачных...

На полянах черные коряги, пни, на одной коряге вдруг висит проржавевший чайник. И вдали озеро с названием Кровавое.

Отходим от причала на якорь поздним вечером, оставив на берегу Митрофана для выяснения вопроса нехватки тридцати ящиков картофеля. Бр-р! Попробуйте так вот остаться, когда судно отходит от осточертевшего причала, остаться в чужой береговой жизни, среди враждебных торговых людей, с кипой бумаг в папке, с тяжестью на душе от нехватки груза, ехать на простывшей машине сквозь черную чужую ночь на базу ОРСа, а все презенты давно кончились, а шарф намотать не догадался, из разбитого окна дует, шофер рядом сопит перегаром, и судно выгоняют на рейд по твоей вине... Нет на море жесточе и жутче работы, нежели грузовой помощник. Когда я вспоминаю, что многие годы сам тянул эти тяготы, то ловлю себя на том, что качаю головой, недоверчиво качаю: неужели прошел и это?..

Черная тьма колымской ночи, пирамиды каменного угля в порту сливаются с тьмой, а на востоке тлеет над самым горизонтом волнующаяся полоса северного сияния...

— Будем отходить на кормовом шпринге! Без буксира! В носу! В корме! Ясно?

— В носу ясно! Отходим без буксира!

— В корме ясно!

— Отдать все продольные!

— Почему не включается палубное освещение? Электромеханика на мостик!

— Течение нос отождмет?

— Должно по идее!

— В носу! Отдать шпринг! В корме! Держать шпринг! Иван Иванович, Митрофан Митрофанович на берегу остался, вы там без него повнимательнее, пожалуйста!

— Корма поняла! Будем внимательными! Швартовщики куда-то подевались! Нет никого на причале!

— Бегут они к вам, бегут!

— Нос пошел от причала?

— Нет, не заметно!

— Слава богу, вырубили палубное! Дайте малый назад! Работнем немного, чтобы нос отошел!

— Есть малый назад!

Первые вибрации от оживающей, застоявшейся машины, а судно все еще сонное, медлительное и тяжелое.

— Пошел нос!

— Стоп машина! Руль право пять!

— Отдать кормовой шпринг!

— Правый якорь стравить до воды! Боцману стоять на правом якорь!

— Самый малый вперед! Право на борт! Сколько там до судна по корме?

-- Двенадцать метров! Чисто все!

Нос отваливает все быстрее. На тихой воде между бортом и причалом вытягиваются огромные тени от портальных кранов...

Стоять на разгрузке, погрузке, в разных ожиданиях, да и долго плыть — тягомотное дело, но уплыть от причала всегда замечательно.

Когда уплываешь,— возвращается, хотя это опять банально, ощущение судна живым и думающим существом.

Капитаны командуют, верещат, кричат, дергают за уздечку, грозят хлыстом или вожжами, а пароход знает, куда ему плыть, зачем ему плыть, он свое дело знает и плевать хотел на этих людишек, которые на нем копошатся. Так и в жизни: нам кажется, что мы свою судьбу строим, а это она нас строит.

Ночь простояли на якорь.

Около одиннадцати утра поплыли вниз по Колыме.

Солнце. Горячее, когда поймаешь его лучи в укромном уголке, где нет ветра. Небо — женственная голубизна и непорочность. Вода в Колыме темная и густая. Крутолобые сопки по берегам уже в несводимом снегу, утрамбованном ветрами, сияют внутренним северным светом; в распадах чистый ультрамарин, к вершинам приклеились облачка и почти не курятся — зацепились за белые, светящиеся лбы сопки и тянутся флюгерами.

Врубили полный и полетели на всех парусах к Северному океану, дышит он ледяным дыханием.

Нина Михайловна принесла в рубку кофе и бутерброды для лоцмана, заохала на колымские красоты.

А мне вспомнился пост у шлюпок на Фонтанке, сфинксы Египетского моста, колокольня Никольского собора, Серега Ртахов и первое грехопадение среди перламутрового света в парадной дома № 186, где теперь ОСВОД — символическое в чем-то совпадение.

Я спросил у местного лоцмана о Сереге Ртахове. Тот его отлично помнил.

Первый год Серега здесь совсем не пил, втянулся в специфику лоцманской работы, быстро сдал на самостоятельные проводки, читал интересные лекции по военно-морскому делу. Затем жена его уехала на материк, и Сереге доложили, что она ему изменяет с каким-то летчиком. Возможно, и вранье, но он страшно запил, запершись в квартире, кидал в окно с третьего этажа пустые бутылки и чуть не убил какую-то девчущку. В тот раз его откачали. Окончательно Серега погорел, когда вел по Колыме большой танкер, находясь в невменяемом состоянии. Дело кончилось тем, что капитан танкера приказал его связать...

Все время этого нашего разговора Нина Михайловна топталась в рубке и часто взглядывала на меня как-то вопросительно. Буфетчице не положено задерживаться в рубке на ходу судна. И я сказал ей об этом. Она сказала, что белье мне сменила и постелила вместо пододеяльника обыкновенную простыню — как я просил. Я поблагодарил ее, и она наконец ушла.

В протоке у острова Сухарного лоцман показал завод, в которой живут лебеди. Оказывается, пилоты уже много лет следят за лебединой парой, которая всегда прилетает на лето. Когда подошли ближе, в бинокль разобрали, что один лебедь большой, а другой совсем маленький — детеныш. Стали гадать, куда делся второй взрослый: браконьеры убили или что? Но скоро успокоились: над сияющей синевой протоки, между рыжими стрелами островков, среди всех этих по-северному продолговатых, плоских пятен, прорезалась вдруг еще белая черточка. Она оказалась целой лебединой стаей — птицы уже собирались в южную дорогу и начали тренироваться.

Глядя на лебедей, приближенных биноклем, я с грустью и горечью вспомнил нашу дружбу с Юрой Ямкиным и его тоску по человеческой верности, когда выяснилось, что погорел он на валютных сложностях безнадежно...

Итак, лебеди в синих, рыловских, водах и голубых небесах подарили нам на выходе из Колымы несколько грустных, но прекрасных мгновений.

А чаек почти не видели.

Лоцман объяснил, что эти птицы продолжают позорить души погибших моряков, ибо в море за рыбой летать ленятся,— роются на мусорных свалках в поселках и так лупят клювами собак, что те и близко боятся подходить к свалкам.

Как бы и лебеди рано или поздно не привыкли копать-ся в отбросах, вместо того чтобы плавать в гордом одиночестве недоступных протоков у острова Сухарного.

В 15.00 прошли Амбарчик, от Медвежьего легли на норд, сбавили до самого малого, поджидая зазевавшегося где-то малютку лоцбот «Иней», чтобы сдать лоцмана и совершить традиционный обратный ченч кинофильмами.

Солнце продолжало светить белым и горячим, но воздух над Восточно-Сибирским морем был ледяным.

Перешли на донные кингстоны.

Лоцман по собственной инициативе запросил с ледокола «Капитан Хлебников» для нас рекомендованные точки. Сыну этого Хлебникова, назвав его потом в книге «Соленый лед» Булкиным, я сдавал когда-то на «Воровском» техминимум в рейсе на Джорджес-банку и выслушал обаятельный рассказик о том, как старые капитаны в обязательном порядке экзаменовались на аттестат зрелости и писали сочинение про Таню Ларину.

К 16.00. В. В. поднялся на мостик — при полной форме и регалиях. И Митрофан был при параде, и лоцман. Один я смог ради торжественного момента расставания надеть лишь галстук при обыкновенном пиджаке.

Лоцман перебрался на «Иней», мы традиционно помахали сверху, а потом В. В. зашел в рубку, и сразу по ушам ударил протяжный мощный гудок «Колымалеса», затем еще гудок, и еще один — третий. В. В. отдавал маленькому лоцботу прощальную почесть. «Иней» три раза рывкнул в ответ. Это было трогательно. Редко нынче исполняются старые ритуалы. В. В. их спокойно чит.

Хорошие мужчины работают здесь, работают с чувством собственного достоинства, спокойно, ибо знают свое дело; они подчеркнута чистоплотны, они глубоко чувствуют свою ответственность — и лоцман Борис Александрович Василевский, и капитан «Инея» Виктор Петрович.

По радиотелефону мы еще пожелали им счастливо закончить навигацию, они нам — еще раз счастливого плавания.

Спать в чистом белье большое удовольствие, но плохо, когда прямо из чистого белья попадаешь на вахту в плавающий лед и полную тьму.

Всю ночную вахту мыкался на самом малом. Один раз уперся в осколок поля и даже на полном не смог его отпихнуть. Пришлось давать задний.

Митрофан проявляет трогательную заботливость о моем питании:

— Виктор Викторович, внизу котлета есть!

— Спасибо, очень приятно, поем, как сменюсь.

— За это время у нее, Виктор Викторович, ноги вырастут. При помощи нашей смены.

— Постарайтесь, чтобы не выросли...

К сожалению, ноги у котлеты выросли.

Около четырех начало светать. И можно было вырубить прожектора, от которых устают глаза. Сердце — тьфу-тьфу — не беспокоит, хотя вымолил за ночь пачку сигарет.

В свете прожекторов метались какие-то маленькие птички — мерцают, как ночные бабочки у дачного огня. Когда же я жил на даче последний раз?

Как ни трудно в это поверить, только в детстве.

## *АРКТИЧЕСКАЯ «КОМАРИНСКАЯ»*

В Певек приплыли без приключений, но там опять плотно застопорились.

«08.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

09.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

10.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

11.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

12.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

13.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

14.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

15.09. 19.17. Несмотря на ранее установленную очередность, т/х „Прокопий Галушин“ был поставлен к причалу впереди нас. Диспетчер не смог объяснить причину нарушения очередности и отказался связать капитана с главным диспетчером для решения возникшей ситуации».

Невыносимость стояночной мути. Бесцельная бездельность.

Сутки за сутками. А ведь это дни нашей единственной жизни. И они летят псу под хвост.

Обнаружились семь номеров «Октября». Ощущение от чтения такое же мутное, как и от стоянки в ожидании причала и разгрузки на краю земли в Певеке.

Плавают за бортом взад-вперед грязные льдины. Слабый шум от них — как будто кто-то безнадежно усталый из последних сил наваливается на весла...

На Чукотском берегу такая мразь жизни, пьянство, очереди за вялым пивом и гнилыми папиросами, что и носа туда нет охоты высовывать.

А среди человекoв встречаются, как и везде, самоцветы.

Эти самоцветы добывают где-то здесь, в вечной мерзлоте, обыкновенное золото.

Угодили в гости к горнякам.

И один из инженеров — Леонид Мурафа — подарил нам стихотворение, которое так и назвал: «Песня в подарок друзьям».

Жарю летней дышит Ленинград,  
Нагреты докрасна дворцов ограды...  
Взять курс в прохладу Арктики вы рады  
Не ради денег, премий и наград.

Вам плавать за границу надоело —  
Там нищета, там правит капитал,  
Там души продают за тот металл,  
Который тут предметом плана стал.

Вам надоел валютный звон в кармане,  
И подставляет «Колымлес» бока  
Под звонкие удары льда, пока  
Джо Конрад не опишет все в романе...

«16.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки».

Эх, как Русь любит быструю езду на тройках и очереди!

Из спецпсихособия: «Ностальгия — тоска по родине, дому — является крайним проявлением заболевания. Замечено, что моряки, которые чувствительны к монотонности, как правило, неуживчивы в семьях, трудны во взаимоотношениях в коллективе, — это так называемые экстраверты, стремящиеся к активному контакту с внешним миром. В условиях же отрыва от привычных раздражителей они-то и страдают прежде всего. Интраверты, при-

выкшие переносить тяготы и невзгоды в себе и редко делющиеся мыслями с окружающими, а порой и с друзьями, легче переносят длительные рейсы».

А куда я-то отношусь?

Понятия не имею.

В середине чукотской стоянки пережил душевное потрясение, ибо утратил необходимые для нормального существования вещи.

Сюда входили:

1. Пилотка подводника с замазанными черной краской кантами. Не расставался с пилоткой пятнадцать лет — талисман, сгусток морского суеверия, материализованная уже в книгах легенда, чрезвычайно удобная для работы в море штука, — не срывает никакими ветрами, клапана опускаются, надежно прикрывая уши; придает мужчине лихой, непривычный для торгового моряка вид, хранит башку мужчины от ударов о всевозможное судовое железо.

2. Ботинки сорокового размера.

Эти музейные вещи напялили на капитанчика, размер ботинок которого был сорок пятый.

Вы спросите, как возможно напялить сороковой на ногу сорок пятого? Ответ получите, если останетесь ночевать на пароходе у вовсе нового дружка в порту Певек.

Короче говоря, когда я собрался возвращаться на родное судно, то обнаружил странный люфт в ботинках. Мои миниатюрные, аристократические ноги болтались в ботинках, как в спасательных вельботах.

А собственные вещички тем временем уплыли на Колыму!

«18.09. Выгрузка. У заместителя начальника причала Сovenko возникли претензии к состоянию пломб на лазах трюмов, где находятся спирто-водочные изделия. Вызваны представители ОБХСС, милиции и начальник коммерческого отдела порта, которые в присутствии судовой администрации осмотрели пломбы на трюмах. Установлено следующее: пломбы повешены с нарушением правил пломбировки, свободно передвигаются по проволоке, без замка. Пломбы пластмассовые, с клеймом ОТК, по внешнему виду и состоянию можно судить, что они не снимались. Пломбы аккуратно обрезаны и сданы на экспертизу на предмет определения их целостности. Составлен акт».

Безо всяких серьезных надежд решил все-таки сходить на почту за «до востребованием». И опять был со мной Фома Фомич. Я вспоминал, как пришли мы с ним на почту, и по рассеянности Фомич опустил письмо, адресованное, ясное дело, в Ленинград, в ящик с надписью «Местные». Я обратил его внимание на этот прискорбный нюанс. Фомич минут пять сурово жевал губами и глядел в чукотские пространства, затем ринулся к заведующей и потребовал извлечения своего письма обратно. Начальница оказалась вполне под стать Фомичу — извлекать корреспонденцию наотрез отказалась. Фомич лебезил, брал на испуг, хватался за сердце, но получал одно: «Не положено, дорогой товарищ!» Так мы и ушли не солоно хлебавши. И Фомич очередной раз потряс меня своей нетрафаретной реакцией: «Замечательная заведующая! Значить, такую на служебном посту за пол-литра не купишь!»

Окончательно Фома Фомич (по данным Октавиана) спятил, когда решал в Лондоне гамлетовский вопрос: как быть, если матрос просится на берег в галюн в два часа десять минут ночи, а: 1) судовые галюны опечатаны; 2) есть приказ не пускать людей на берег Великобритании после 19.00; 3) есть приказ не пускать их туда меньше, нежели по пять человек в группе; 4) нужду в туалете в два часа десять минут ночи срочно испытывает только один член экипажа, а все остальные, значить, не хотят?

Вот тут-то легендарный драйвер окончательно и свихнул мозги...

Бывают же на свете праздники! — получил целый пакет писем, пересланных на Чукотку любезной соседкой.

Не вся корреспонденция оказалась приятной.

«Уважаемый товарищ Конецкий! До последнего времени Вы числились среди любимых мною писателей. Увидев фамилию в оглавлении 3-го номера „Звезды“, я взяла этот журнал и предвкушала новую интересную и приятную встречу с Вами. Однако приходится идти по стопам некоего газетного фельетониста тех времен, когда мы еще смотрели фильмы с участием Мэри Пикфорд. Он написал так: „Как ни крути, как ни верти, в какой ни рекламируй мере, но Мэри Пикфорд в „Дороти“ почти совсем уже не Мэри — ничем не лучше наших Маш,— и я признаться ей намерен: „О Мэри, Мэри! Я был ваш, но больше я уже не мерин“.

В Ваших „Путевых портретах с морским пейзажем“ читателя неприятно поражает пошлое смакование таких



подробностей, как, например, роман капитана с буфетчицей.

Но это бы куда еще ни шло.

Глубоко возмутителен описанный Вами эпизод с какой-то австрийской, что ли, графиней, которой Вы предложили в качестве условия принятия на борт ее собаки — сверх всех фунтов стерлингов — разрешить Вам „пощекотать ее животик“.

По Вашим словам, она это легко разрешила (хотя следовало бы вlepить Вам оплеуху!).

Но, понимаете ли, поведение зарубежной потаскушки, будь она графиня или герцогиня, меня, Вашего читателя, мало волнует. Несомненно, наши отечественные потаскушки поступили бы так же, как она. Возмутительно то, что Вы — советский человек за границей — показали себя пошляком, дикарем, варваром; словом — унизили свое достоинство, хотя бы только перед этой „графиней“ (и всеми, с кем она поделится своим приключением с русским, советским моряком!). А унижая себя, советский человек за рубежами нашей родины, позорит тем самым и всех нас, и всю нашу страну, которую он — хочет он того или не хочет — представляет там. По его поведению судят обо всем советском обществе.

Так что если рассказанный Вами анекдот основан на факте, то такого факта простить Вам нельзя. Если же Вы все это выдумали, выдумка не делает Вам чести. Вот уж поистине не скажешь: „Se pop e vero, e ben trovato“<sup>1</sup>.

Вместе с Вами, конечно, виновата и редакция журнала, и даже Горлит. Но это не умаляет Вашей вины.

Мне очень неприятно терять в Вашем лице писателя, чей талант и мастерство я ценила высоко. Что делать? Итак, dear sig, заканчиваю. Ваша бывшая читательница, ответа Вашего мне не надо. Я найду его в Ваших последующих книгах. Потому не подписываюсь».

Читательница опытная,— слово «Горлит» слышала.

Самое здесь интересное — обида нашей советской Маши за всю прекрасную половину человечества. Причем обида эта выражается через специфическую логику: она моя БЫВШАЯ читательница, читать меня больше не будет, но все-таки умудрится найти ответ в моих следующих книгах! Как же это она сделает: в капусте найдет, или ответ аист принесет?..

<sup>1</sup> Если это и не верно, то все же хорошо придумано (ит.).

Замечали разницу между мужской и женской реакцией на одинаковое по силе и величине хамство в адрес друг друга?

Глядите.

Женщина говорит мужчине: «Все вы такие, мужики, — развратники, изменщики и вообще, кабы не мой да не девичий стыд, я бы тебя, подлеца и нахала, да и не так бы еще обругала!»

Что отвечает этот сукин сын мужик?

Хмыкает и идет в пивную. Его, подлеца, не удручает то, что он приравнен ко всему остальному мужскому роду.

Теперь попробуем сказать даме: «Дорогая, пойми, ради бога, ты такая же, как все остальные четыре женских миллиарда на планете...»

Боже!

Гром!

Молния!

Вулкан!

Тайфун!

Какой философ возьмется объяснить, отчего мужики не сопротивляются тому, что все они одинаковые, а женщины так отчаянно сопротивляются даже легкому подозрению в их похожести?

Ладно, поговорим теперь про вовсе неожиданное в Арктике — о комарах. Повод тот, что сюда — на край земли, на Чукотку, — вернулась моя статья под названием «Комаринская». Писал ее, ожидая на Петроградской стороне прихода теплохода «Колымалес» и раздраженный до бешенства всяческими бытовыми неурядицами.

Выше меня — на седьмом этаже — проживает генерал-майор войск ПВО в отставке. Он работает над многотомной историей своих войск, начав ее со средних веков. Телефон у генерала вечно занят супругой, которая молчит только тогда, когда ночью надевает от комаров противогаз.

Пора, наконец, громогласно объявить, что в природе произошло озверение и комары наводнили Ленинград! Априори считается, что в век НТР природа удаляется от человечества. Чушь. Происходит наоборот. А я, к сожалению, городской обыватель и ненавижу комаров мучительной и бессильной ненавистью, черно завидуя, например, замечательному деревенскому прозаику Василию Белову, который кровососущих любит. Он пишет: «Кома-

ры вызванивали свои спокойно-щемящие симфонии». Во как! Симфонию Чайковского они ему напоминают! И спокойствие от их омерзительного писка ему на душу нисходит! В одном рассказе Белова старик-доходяга даже из состояния клинической смерти возвращается к жизни без всяких там реанимаций при помощи одной мечты о «тонком комарином писке». (Ну, в данном случае, то есть услышь я в состоянии ранней смерти комариный писк,— тоже не на шутку удивил бы сторожа в морге непристойным для покойника жестом или непечатным словосочетанием.)

Хотя комар мал, а человек в миллион раз больше и сложнее, но крошка имеет приспособления, которые вам и не снились. Если вы, начиная охоту на комара, сидящего, предположим, на потолке, будете вылуплять на него глаза, то даже последней модели пылесос или новенькая пышная швабра не помогут. Комар получит от ваших вылупленных глаз предостерегающий импульс и приведется в боевую готовность к зигзагу-молнии.

Теперь о снадобьях типа «Тайги». Не скажу,— хорошая химия! Честь и хвала отечественным химикам! Хотя существует мнение, что отвратительность вони снадобий так велика, что сразу заставляя комара предположить наличие рядом человека, ибо только человек такое может изобрести, создать и испускать. В результате комар молниеносно летит к вам.

Теперь о тонком комарином писке, который так Белову и даже Виктору Петровичу Астафьеву нравится.

Писк комара на потомственных горожан воздействует хуже самого укуса.

Если вы наловчитесь спать, вжав одно ухо в нижнюю подушку, а второе ухо придавив верхней, то, возможно, жужжания вы слышать и не будете, но и дышать вам все-таки надо. Потому у носа вы оставляете дырочку, как нерпа в арктической льдине.

И вот, как белый медведь терпеливо караулит возле дыхательной дырки и рано-поздно харчит самую осторожную нерпу, так и сволочь комариха рано-поздно находит ваш нос. В этом случае удар, который вы получаете в момент посадки ее в вашу ноздрю, никак нельзя назвать мягким.

Вероятно, комариха так долго изыскивает дырку, так досадует на всякие затруднения, что потом действует потеряв голову: бесшабашно и безрассудно, я бы сказал. Ее крылья работают с такой частотой, что впереди насеко-

мого возникает звуковой барьер, который принес столько хлопот авиаконструкторам.

И вот комариха, найдя наконец туннель, ведущий к вашей ноздре, преодолевает звуковой барьер. В результате, естественно, удар в ноздрю происходит в абсолютной тишине — звук-то остается позади комарихи! И потому неожиданность удара-посадки производит ошеломляющее впечатление и на вовсе не впечатлительного человека.

Правда, тут есть один нюанс. Если вы тренированный, многоопытный мужчина, то иногда успеваете проснуться еще до удара-посадки. Это происходит в том случае, если вы способны ощущать биополе комарихи, возникающее перед крошкой в виде этакого клина, лучика, остронаправленного и опережающего комариху на миллионную долю микросекунды. Но и этого микро-микровремени (для по-настоящему тренированного человека!) достаточно, чтобы, еще глазом не моргнув, треснуть себя по носу с зубодробительной силой, одновременно проклиная всех сучек, самок, куриц, тигриц и т. д. Такие избирательные в половом смысле проклятия вырываются из вас на основе научного знания о том, что кусаются и пьют человеческую кровь только комариные самки, а самцы живут на нектаре.

В результате серая толпа, малообразованная масса, мещане отпускают в сторону женщин двусмысленности — о кровососущей женской природе и тому подобную чушь. Это, конечно, неверно, хотя почти у всех кровососущих кровью питаются только самки.

Еще несколько слов о восприятии тонкого комариного писка тренированными людьми. Особенно бывает обидно, когда врежешь себе по уху, носу или лбу, а... комарихито и не было.

Это я о трамвае.

Иногда звук далекого трамвая, возникший в ночной тишине и неуклонно приближающийся, воспринимается тренированным мозгом как сигнал начала комариной атаки. Нельзя же, в конце концов, требовать от своего мозга того же, что и от самого себя в целом, в целокупности. Мозг иногда действует тупо, по шаблону, ведет себя по принципу: наше дело прокукарекать, а дальше уже дело ваше. И выдает сигнал-предупреждение, спутав трамвай с комарихой. И ведь должен был бы понимать, что самому ему от такой ошибки будет хуже всех дру-

гих членов и частей организма, ибо наступит БЕССОННИЦА!

Конечно, когда вы, треснув себя по лбу, проснетесь и обнаружите, что комарихи нет, а просто-напросто по ночным улицам-ущельям разбежался в парк последний трамвай, то ощутите некоторое чисто внешнее успокоение. Однако оно мимолетно, а вот БЕССОННИЦА...

Верхнего соседа зовут Михаил Германович, настоящий боевой генерал, провел всю войну на свежем воздухе среди самых разных климатических зон, но комаров боится панически — больше штатских, — как бы парадоксально это ни звучало. Нервы! Хотя весит Михаил Германович центнер и носит пышные кавалерийские усы — буденовские.

Уже второе лето генерал ночует в кабинете, разбив там герметическую охотничью палатку. Вечерами долго возится над моей головой со штырями — паркет плохо держит. До приобретения палатки генерал сам пробовал спать в противогазе, но с такими усами в противогазе долго не продержишься — понизилось кровяное давление и т. д. И теперь он спит в палатке, а противогаз отдал жене. Конечно, Михаил Германович стыдится нелепой палатки в кабинете, противогаза жены и даже факта своей бессонницы. Это его комплекс неполноценности: всю жизнь сражался и побеждал противника, нападающего сверху, с воздуха, и... дрожит перед комаром!

В конце мая по его инициативе группа интеллигентных жильцов решила на общественных началах вычистить подвалы, заполненные жидкой мразью. Начальник ЖЭКа Прохоров категорически запретил самодеятельность, заявив, что комары входят в экологическую цепочку и внесены в Красную книгу ООН. Эту издевательскую чушь он выдумал потому, что в пятидесятые годы служил под рукой Михаила Германовича в ПВО лейтенантом и крупно проштрафился, угодив при учебной стрельбе из сорокапятки в самолет-буксировщик, а не по конусу-цели. За этот подвиг Михаил Германович вклеил ему так, что лейтенант Прохоров вылетел из войск противовоздушной обороны прямо в гражданский банно-прачечный трест, где быстро сделал тупую, но последовательную карьеру, заочно окончив санитарный техникум. Теперь он уже третий год начальник ЖЭКа.

Конечно, если бы Михаил Германович в середине пятидесятых годов знал, что в конце семидесятых будет пи-

сать историю войск ПВО, сидя в доме под рукой лейтенанта запаса Прохорова, то, вероятно, не подложил бы своему подчиненному такой крупной свиньи, каковой является для военного человека демобилизация. Или хотя бы подстелил соломки на полу банно-прачечного треста в тот момент, когда Прохоров заканчивал там свою противоздушную траекторию, но, в отличие от меня, который наперед знает конец этой книги, генерал сквозь магический кристалл еще ничего впереди не различал.

Итак, Михаил Германович собрал наиболее интеллигентных мужчин нашего дома возле входа в подвал, на дверях которого висел огромный амбарный замок; сказал, что чихать хотел на Прохорова, и приказал привести Митяя — кочегара котельной детских ясель, ответственного за подвалы. Митяй был пьян и не явился.

Тогда Михаил Германович возложил на замок огромную лапу, сорвал его и повел нас — вооруженных ведрами и суповыми чумичками — в подвал без санкции какого-либо начальства.

Дом наш вообще-то вполне обыкновенный. В том смысле, что битком набит трусами, которые при виде техника-смотрителя Аллочки заболевают медвежьей болезнью. Но раньше в доме жили отборные гуманитарии — поэты, прозаики, переводчики, литературоведы мирового класса. Ныне, увы, большинство знаменитостей поумирало, или, прославившись, укатило в столицу, или, бесславно разбогатев, приобрело квартиры с лоджиями в новых районах на кооперативных началах. Однако какой-то салонно-нигилистический душок у дома остался. Потому-то, вероятно, мы и пошли за генералом во тьму подвала. Боже, каким соусом подвал оказался заполнен! Ни один профессиональный ассенизатор там и пяти минут бы не выдержал. А мы продержались полчаса — пока не приехал вызванный Прохоровым участковый уполномоченный. И началось!

Прохоров обвинил нас в даче взятки шоферу машины-дерьмовоза, в которую мы сливали подвальный соус, — мы сбросились шоферу по десятке. Генералу же до сих пор шьет статью за срыв замка с государственного помещения. И такая статья есть!

А потом на дверях парадной появилось рукописное объявление: «Лекция „КОМАР — ЧЕЛОВЕК — ОБЩЕСТВО“ состоится в субботу 19 июля во втором дворе в 17 часов. Явка всех жильцов, участвовавших в незаконной чистке подвала, обязательная».

Идти на лекцию о комарах в субботний июльский вечер я, конечно, не собирался. Мне кажется, вы сами уже убедились, что я кое-что про них знаю. И смешно предположить, что какой-нибудь теоретик из общества «Знание» меня может просветить по этому вопросу. И в то же время ловил себя на гаденьком чувстве страха за неявку. Хотя недавно только и громогласно объявил, что русский писатель имеет право бояться секретарш и швейцаров, но не начальников. И, к сожалению, это мое высказывание уже в газетах цитируют. Я же просто тогда неточно выразился! Русский писатель, действительно, не имеет права бояться начальников любых рангов, но сюда не входят начальники ЖЭКов. Этих гусей никак не следует дразнить — шутки вовсе уж выходят боком.

Иногда, работая очередную книгу, вдруг понимаешь, что от растерянности перед сложностью жизни и задачи засунул обе ноги в одну штанину. Очень опасная позиция, ибо каждая нога настойчиво требует свободы и персональной брючины. И у меня вот очередной раз случилось такое. И судьба заставила взять длительный тайм-аут, чтобы вытащить одну ногу — лишнюю. Но это не получается, ибо умер мой ближайший друг и советчик Петя Ниточкин. Без него в житейском и литературном море мне голо и одиноко, и мне не с кем посмеяться над своим страхом перед Прохоровым.

Возраст сказывается и в том, что все и всё, что и кого я вижу вокруг, мне докучает и меня раздражает. Мне не о ком сказать хорошее от чистого сердца. Зрелость это? Или пропечаталась наконец вся мелкость моего духа? В любом случае это приносит мне душевных мучений больше, нежели всем другим, кого вижу и знаю вокруг.

Около шестнадцати часов в субботу позвонил Михаил Германович и быстро уговорил на комариную лекцию идти.

— Эх! — с невольным укором сказал я верхнему соседу. — И дернул вас черт тогда замок дергать!

— Да он сгнил давно до корня! Я для пробы дернул, а он и рассыпался, — чистосердечно соврал старый вояка. — А если вы на лекцию не пойдете, то это не товарищески будет. Тоже мне герой! И Гуськов идет, и Требов, и Страдокамский.

— У меня судно на подходе, — сказал я.

— Вот именно. Можно подумать, что вам плавать надоело. Надоело?

— Нет, но...

— То-то и оно. Накатит товарищ Прохоров на вас телегу в пароходство — и тью-тью ваши героические плаванья!

— Ерунда! Смешно, право!

— Ждем вас с Гуськовым, — сказал генерал и бросил трубку.

Гуськов — детский поэт, живет с супругой-домохозяйкой ниже меня. Оба исключительно деликатные, нежные люди. Не пьют, не курят, в Домах творчества съедают всю отраву, которую там дают, чтобы — не дай бог! — не обидеть директора; обожают бадминтон в пыли по колению. Но отношения у нас сложные. Тут такое дело.

Лет десять назад случился у меня роман с одной резвухой из Комсомольска-на-Амуре, которая приехала поступать в машиностроительный институт, то есть имела выраженные способности к использованию техники. В первую же медовую ночь абитуриентка не выдержала натиска комаров и воскликнула: «Милый, а пылесос у тебя есть?»

Пылесос был, хотя я про него давно забыл.

И резвуха с юным и обаятельным кокетством, начлапочла охотиться пылесосной кишкой на комаров, таская ревуший агрегат по всей квартире в середине ночи и хлопая в ладошки при каждом пойманном насекомом, — чудесное, скажу вам по секрету, зрелище!

Но Гуськовы, как оказалось, спят со сложными комбинациями снотворных. Если человека, принявшего такую комбинацию, пробудить до срока, то — каюк! Человек не спит потом месяц.

Гуськовы не спали два. И меня возненавидели. И десять лет я ходил по квартире в носках, хотя от дверей дует. Ладно, к этому я привык. Но после истории с чисткой подвала Гуськов так перепугался, что сочинил поэму «Доброе зверье комарье» с печатным посвящением начальнику ЖЭКа Прохорову. В этой поэме два мальчугана идут на рыбалку. Один боится комаров и потому пропускает мимо ушей различные красоты природы — восход солнца, розовый туман и пр. Другой не боится комаров и потому пропитывается красотами насквозь. Сам Гуськов не открывает все лето даже форточки. И такое двуличие детского поэта меня так взбесило, что я перестал снимать дома ботинки.



На заднем дворе у нас растет старый клен и несколько старых тополей. В центре стоит беседка. Есть змеябум, скользилки на два ската, шведская стенка и садовые скамейки.

За углом помойка, но на газонах густая веселая трава, и в ней от весны до осени желтеют одуванчики, которые я люблю.

На газоне расположилось человек двадцать незнакомых мне лично жильцов — мужчин и женщин. В ожидании лекции они пили пиво из бидонов. На кончике змеябума сидели Гуськовы.

Места на скамеечке заняли два кровных врага, не могущие существовать друг без друга: театральный критик Требов и драматург Страдокамский.

Требов — наш главный ортодокс, консерватор, ретроград и вообще болван. Служить Мельпомене начал в каком-то академическом театре суфлером. Голос у критика оглушительный и соответствует его ногам: случается и такое в жизни. Нижние конечности у Требова вызывают подозрение, что мама в раннем детстве посадила сына-малютку на водовозную бочку и связала ножки годика на два веревкой, в результате чего они замкнулись на круги своя. И голос у него как из чего-то круглого — бочки или иерихонской трубы. Говорят, глупость, чтобы не очекь бросаться в глаза, должна быть оглушающей. И это у Требова получается.

— Фашисты! Фашисты виноваты! Раскачали петровское наше болото бомбами в войну! Теперь воды Финского залива фильтруются к центру города. Вот построим дамбу, и никакой подвальной самодеятельности не надо будет! Ни одного комара здесь не останется — орал театральный критик, тыча в драматурга Страдокамского тростью с набалдашником.

— Это откуда вы такую ерунду высосали? — хладнокровно вопрошал его наш главный оппортунист, нигилист и вообще левак Страдокамский, задиристо потряхивая козлиной, меньшевистской бородкой. — Во всем до сих пор война виновата! А? И комары у него от фашистов! Все дело в сибирских новостройках, если хотите знать. БАМ городят, пальба там, взрывы — и вполне закономерно насекомые покинули привычные сферы обитания.

— Вы пугаете комаров с лосями! — задыхаясь от смеха, протрубил ортодокс. — Отсюда видно, что у вас не божий дар, а яичница...

Напевая старинную казачью песнь «Эх, комарики-комарики мои! Нельзя девушке по садику пройти!», возник из котельной детских яслей Митяй — наш поп Гапон. Именно кочегар внушил нам мысль о том, что комары вылетают из подвала, в результате чего мы ему собственноручно подвал и вычистили. Митяй — единственный, радикально решивший проблему комаров, потому что не рвет связь с землей, деревней и каждое лето получает с родины десяток здоровенных жаб. Комары боятся жаб панически и облетают Митяя за добрый метр.

И на лекцию он явился не только пьяным, как десять дореволюционных сапожников, но и с жабой в кепке. Покрутив ею над головой, Митяй посадил жабу обратно в кепку, возлег на травку возле беседки и мгновенно заснул, а жаба бдительно тарасила глаза и изредка квакала.

Царственно проплыла к голове бума и села на нее колоритнейшая старуха Мубельман-Южина. Она подрабатывает на «Ленфильме» в ролях графинь, которые торчат на заднике во время балов и обмахиваются там веерами. Это тяжелая работа, но дело в том, что, полюбив в Ташкенте душку военного и воспользовавшись сумятицей военного времени, она уменьшила себе в паспорте возраст на энное количество лет. Естественно, это привело затем к полной путанице в пенсионных делах. И вот в старости платит за безрассудную страсть, жарясь под прожекторами в съемочных павильонах,— сюжет, достойный пера Бальзака! В разговорах Мубельман любит подчеркнуть, что в детстве не знала никаких хлопот с лавровым листом. Лавры не покупали в бакалейной лавке, а просто надергивали нужное для обеда количество из венков, которые получал от поклонниц ее троюродный дядя Сумбатов-Южин.

Удобно усевшись, Мубельман-Южина сказала глубоким, бархатным голосом:

— Федя Шаляпин спел однажды Мефистофеля не стоя, а сидя на ступеньке лестницы к Маргарите, и в прессе сразу написали, что он был так пьян, что пел лежа,— и указала веером на спящего Митяя.— Нельзя ли убрать эту э-э-э... лягушку? Я их боюсь.

— Пусть проспится. Это мелочи,— сказала хорошенькая техник-смотритель Аллочка, которая в беседке отмечала прибывающих по списку, одновременно нетерпеливо постукивая наманикюренным ногтем по золотым часикам.— И где же этого лектора черт носит?

— Холодный пепел мелочей гасит огонь души!— сказала Мубельман-Южина и царственно откинулась на ствол клена.

Из безликой массы, пьющей на газоне из бидонов пиво, донеслось:

— В народе говорят: словом комара не убьешь!

— А тем боле лекцией!

— Цыц!— сказала техник-смотритель.— Не в пивной сидите!

Безликая масса примолкла.

Тут подошел Михаил Германович и сразу крепко треснул меня по шее, зазвенев орденами и медалями, ибо был в мундире, при всем иконостасе.

— Вы бы полегче,— сказал я.

— Зато я ему впиться не дал,— объяснил генерал.

— Убить хотели?— насмешливо спросил ортодокс Требов.— О, святая простота! Если комара голой рукой бьешь, надо обязательно ладонь смачивать водой,— пояснил он.

— «Смачивать водой»!— саркастически передразнил Требова генерал.— Лейку с собой прикажете носить?! А плюнуть по-пролетарски на ладонь не годится, что ли?

Тут мгновенно сорвался с цепи на помощь другу-врагу левак Страдокамский:

— А когда вы свои противовоздушные истории сочиняете, тоже в ладонь плюете? — спросил он Михаила Германовича.

И пошла-поехала коммунальная заваруха.

Безликая масса, попивающая на газоне пиво, отстраненно комментировала происходящее:

— Если еще пятилетку войны не будет, все друг другу глотки поперебивают...

— Раньше с керосинками и примусами братски жили, а теперь с газом друг другу смерти хотят...

— Благосостояния много — вот корень где...

— Точно. Цены низкие. Надо же: по пять кило курей сразу покупают...

— Холодильники есть — вот и покупают...

— А тут давеча видела, слив на лотке шестнадцать кило сразу тетка брала...

— Серый волк тебе в трамвае товарищ...

— Все ноги оттоптаные...

— Тише тут! — цыкнула техник-смотритель.— Не на митинге!

— Вы нам рот не затыкайте!— немедленно сменил объект атаки Страдокамский.— Товарищи обсуждают вполне корректный аспект проблемы. Речь о необходимости увлажнения кожного покрова ладони в целях уменьшения воздушной подушки перед ней. Эта подушка-прослойка отталкивает насекомое, с какой бы скоростью вы ни действовали. А смачивать руку можете хоть духами «Коти»! Но вы их и не нюхали!

— А вот и нюхала!— сказала Аллочка.

— На потолке их давить бесперспективно,— вмешалась в разговор Мубельман-Южина.— Надо сперва с потолка венником согнать. И убивать, когда они уже ниже на стенке сядут...

В лучших традициях эстрады тридцатых годов на сцену, то есть в детскую беседку, ворвался лектор с портфелем-дипломатом, извинился за опоздание, объяснил его тем, что в субботу с такси стало очень трудно, достал конспект, надел очки и попросил тишины.

Лектор был средних лет, в лакированных туфлях и производил приятное, интеллигентное впечатление.

— Товарищи! Я буду брать быка за рога!— жизнерадостно начал он.— Всех волнует вопрос снабжения мясомолочными продуктами. Как уберечь скот от вредного влияния окружающей среды? Над этим и бьется пытливая мысль ученых! На данный момент разработка методов сохранения бычьего семени в замороженном состоянии продвинулась далеко вперед. Большой вклад здесь внесли английские, американские и японские ученые. Однако, товарищи, приоритет в этих вопросах остается за Советским Союзом!

— С фланга, издалека заходит!— заметил Михаил Германович.

— Господи! И что делают!— жалостливо шепнул поэтичный Гуськов.— Единственная радость у Буренки была, и ту...

— Тише, товарищи!— цыкнула Аллочка.

— Позвольте все-таки вопрос!— воскликнул, наставляя на лектора меньшевистскую бородку, Страдокамский.— При чем тут какое-то семя?

— Не мешайте слушать!— прошипел Требов.

— Как при чем?— удивился лектор.— Появилась возможность получать потомство от лучших племенных оплодотворителей и после их смерти!— Здесь лектор трахнул себя по лбу: комары не дремали, наступало их любимое вечернее время.

Техник-смотритель Аллочка встала, сорвала лопух с газона и дала лектору.

Из безликой массы донеслось:

— Эт, однако, как понимать?! Ежели, к примеру, мужик сегодня помрет, жена еще десять годков от его может детей нести?

— Да. Нынче этот вопрос технически решен,— сказал лектор, обмахиваясь лопухом.— Но остается моральная сторона. Здесь, правда, еще есть сложности.

— Надо спасать только лучших людей,— вклинился нигилист Страдокамский,— сейчас в США, как известно, создан банк спермы лауреатов Нобелевской премии. А у нас как с этим вопросом?

— Попрошу вопросы подавать в ручном виде,— сказала Аллочка.— Иначе, товарищи, мы здесь и до утра не закончим!— И постучала ногтем по часикам. (Девушка явно опаздывала на свидание.)

Лектор понес дальше:

— Во многих странах созданы хранилища замороженного семени, но здесь мы немного отстаем...

— Замолчите! Я вегетарианка!— царственно заломив руки, вскричала Мубельман-Южина.— Умоляю! Замолчите! Где лекция «Комар — человек — общество»? Вы перепутали аудиторию или тему!

— Скорее всего, я перепутал и то и другое,— пробормотал лектор.— Значит, вам о комарах? Так бы сразу и сказали!

Дальше он проявил удивительную гибкость и ассоциативность мышления, ибо перешел на комаров, но и мяса не бросил.

— Между комаром и говядиной существует прямая зависимость, товарищи! Во время массового лета комаров снижается не только работоспособность людей, но и у домашних животных резко падают надой молока и привесы мяса!— Продолжая говорить, он судорожно искал в портфеле новый конспект.— Итак, среди многочисленных насекомых ученые выделяют группу двукрылых. Их, в свою очередь, делят на длинноусых и короткоусых... Товарищи, может, прервемся, покурим?— вдруг предложил взмокший лектор: он не мог найти конспект.

Закурившая лекционная группа на пленере двора по композиции напоминала некоторую смесь из «Завтрака на траве» Мане и бессмертных «Охотников на привале» Перова, хотя чесались все уже как самые вшивые павианы.

Мимо проходили к мусорным бакам жильцы соседних дворов с мусором в пакетах. (Ныне модно выносить мусор не в ведрах, а в пакетах из рваной газеты.) Проходящие поглядывали с издевочкой, ибо квартал отлично знал о нашей подвальной самодеятельности и нынешней расплате за нее.

Штук пять бесхозных кошек, проживающих в котельной, бродили вокруг, рассчитывая на то, что кто-нибудь погладит лишай на их спинах. Кошки настырно лезли к ногам и начинали мурлыкать еще за метр, демонстрируя извечное у бездомных существ соединение наглости с подхалимством.

Митяй на травке безмятежно посапывал. Жаба вылезла из кепки и сидела у него на груди.

От всего вокруг веяло стабильностью и миром, если б только комары не вызванивали свои леденящие кровь симфонии.

Лектор наконец нашел конспект и просто, по-домашнему, повел рассказ дальше. Было интересно узнать, что биомасса насекомых на планете значительно превосходит биомассу человечества и продолжает стремительно расти; что в Африке самые ядовитые комары выводятся в ямках от слоновых следов...

— Слушай, ты, морда!— вылетело из безликой массы.— Ты нам про Африку не заливай! Чего делать с ними будете, морды?!

Лектор легко и привычно перевел вопрос на культурный язык:

— Вот тут спрашивают: «Что конкретно можно сделать с комарами?» Уже многое делается, товарищи! Не так давно в южные районы нашей великой страны завезли из Америки рыбку гамбузию, которая питается личинками комаров. Рыбок запускают на рисовые чеки — количество комаров уменьшается, гамбузии же отлично развиваются и, несмотря на незначительную величину, могут служить украшением любого стола! Но, товарищи, гамбузия может жить только в теплых водоемах, а мы с вами пока живем в Ленинграде...

— Вези гамбузию! Я ей валенки с галошами куплю,— вылетело из безликой массы,— и — под пиво!

Последнее слово произвело на Митяя чудодейственное воздействие. Он проснулся, вскочил и обвел вокруг выпученными, как у своей жабы, глазами.

— Не дам бить комариков! — заорал Митяй.— Мы не азиаты, чтобы живых тварей под корень из природы! Пу-

жай азиаты мух душат, мать их, а мы нашего комара жалеть должны!

С этими словами он схватил жабу, раскрутил ее над головой и запустил в небеса.

И пока жаба не шлепнулась где-то на крышу, мы все, обомлев, хранили мертвую тишину, которой первым воспользовался Трשוב.

— Некоторые нетипичные азиаты — товарищ прав — действительно передушили всех мух, — протрубил его иерихонский бас. — И что из этого вышло? Культурная революция у них вышла! И нам пора перестать делать из мухи слона! Да, у нас развелись комары! Да, они нас кусают! Но в США наводнение крыс! Крыса — это вам не комар! Она загрызет ребенка! В Чикаго за труп крысы власти выплачивают доллар! Один негр там заработал на крысах семьсот двадцать долларов за сутки! И Чикаго вынуждено было обратиться с просьбой о федеральной помощи к президенту! А нам стыдно распускать нюни, товарищи!

— Кстати говоря! — с новой энергией, но жалостливым голосом понес лектор. — Вы когда-нибудь думали о том, что у комара, как и у каждого массового вида в природе, очень много врагов? Беззащитных личинок и куколочек комариков хватают прожорливые водяные жуки и клопы! А едва комарик вылетит? И в воздухе его подстерегают смертельные опасности: днем — птицы, ночью — летучие мыши...

— Эх, комарики-комарики мои! — истошно зарыдал Митяй и бухнулся на колени, стуча в жилистую грудь кочегарскими кулаками.

Допившая уже давным-давно пиво безлика масса тоже закручинилась по комарам, из нее донеслось:

— Много комаров — быть хорошему овсу!

— Попы поют над мертвяками, комары — над живыми!

— Все ясно!

— Давай закругляйся!

Лектор удовлетворенно начал собирать бумажки, защелкнул дипломат, поклонился и задушевно произнес:

— А что до самих комаров, то тут секрет простой: надо научиться не обращать на них внимание, и тогда их словно не будет. Еще вопросы? Нет? Благодарю за внимание...

— Каких наук вы доктор?— кокетливо спросила Мубельман-Южина.

— А кто вам сказал, что я доктор наук?— спросил лектор.

— Я!— торопливо покидая беседку, крикнула техник-смотритель.— А вы академик, что ли?

— Товарищи, это недоразумение,— объяснил лектор.— Я просто доктор, врач. Обыкновенный психиатр. Без степени. Моя профессия — снимать у населения стрессы...

— Подожди еще минутку, благодетель!— странно прорычал Михаил Германович.— Я тебя поблагодарить хочу!

И тушу генерала как-то боком понесло к беседке. Поднявшись по ступенькам, он стал прямо против лектора и, бездарно теряя фактор внезапности, сказал:

— Сними очки! Я тебя бить буду!

Толпа загоготала.

Толпа всегда готова принять намерение шутить за саму шутку. Даже больше. Толпа часто не оценивает шутку, если эта шутка не предварена явным намерением оратора вскоре пошутить. И вот этого именно намерения-намёка массе вполне достаточно для гогота. Тут даже так получается, что саму шутку толпа чаще всего и не замечает, и над ней не смеется, ибо, чтобы оценить шутку, надо хоть чуточку, но подумать, а времени на это нет.

Психиатр послушно снял очки, спрятал их в дипломат, потом зачем-то снял лакированные туфли и покорно подставил физиономию генералу.

Михаил Германович сокрушительно замахнулся.

Лектор подпрыгнул, перевернулся в воздухе и врезал генералу пяткой левой ноги в лоб. (Таких номеров нашему Октавиану и не снилось!) Это была великолепная демонстрация смеси самбо с джиу-джитсу. Оказалось, психиатр был из тех международных мастеров этой штуки, которым категорически запрещено использовать в деле кулаки, голову и правую ногу. А левой ногой — в целях допустимой самообороны — можно пользоваться, но без ботинка, то есть голой, мягкой пяткой.

В результате Михаил Германович добрался на седьмой этаж (лифт не работал) самостоятельно, с самой незначительной моей помощью. После каждого марша, правда, он садился на ступеньку и шупал лоб.



Конечно, я не мог оставить все это безобразие без соответствующей реакции. Всю ночь писал статью в газету «Советская экология». Назвал «Комаринская». Статья получилась страстной, гневной, честной — в лучших традициях отечественной публицистики. По жанру где-то между «Не могу молчать!» Толстого и «Что делать?» Чернышевского.

И вот здесь, в Певеке, получил свою гневную статью обратно с сопроводителькой: «Наш журнал комарами не занимается. Рекомендуем адресовать Ваше произведение в „Вопросы философии“».

«21.09. Закончили выгрузку овощей и 12 735 ящиков портвейна, вермута и другой бормотухи в бутылках. При зачистке под метлу трюма № 1 обнаружены деформации в наборе и обшивке корпуса. Дана заявка на производство сварочных работ главному инженеру порта Певек».

Ну-с, в таких случаях составляется технический акт, который вручается капитану порта. Для составления акта назначается комиссия.

Назначенная комиссия лезет в трюма, где метель закручивает снеговые вихри, и где почему-то кажется холоднее, нежели на палубе, и где комиссия ползает по бортам, ощупывая голыми руками грубую и угрюмую сталь уставшего корпуса, который есть главный хранитель наших жизней.

Конечно, нелепо было бы ожидать, что прошлый путь, который никто от нас не отнимает, не оставил бы на судовом корпусе своих рубцов. Эти рубцы неизбежны, как неизбежны морщины на лбу и их углубление с каждым прожитым днем.

Я в трюм не полез. Посмотрел сверху в его стылость — и закружилась голова: отвык от высоты. Но признаваться себе в том, что боюсь обледенелого скоб-трапа, узкого лаза, мстительного железа, не стал, ибо действительно нужды туда лезть не было: стармех и старпом отлично дело знают. А коновалы-сварщики на трещины в ребрах-шпангоутах наложат горячие бинтики-швы за несколько часов. Здесь даже фельдшер нам не требуется.

Вечером смотрели по телевизору «Девять дней одного года». После судебных фильмов это выглядит прямо божественной чушью! (А чушь потому, что фильм не имеет к реальной жизни вообще никаких отношений.)

## В ЛЕДОВОМ ДРЕЙФЕ, ПЕСЦЫ

На земном шаре нет магистрали, схожей по трудности с Северным морским путем.

М. М. Сомов

В четыре часа ночи прибыл лоцман — старый мой знакомый, — бог знает, сколько раз мы с ним в Арктике встречались. Бодренко подбежал буксир «Капитан Берингов» — опять старый знакомый. И совсем не постаревший. Поехали от причала на рейд. К пяти часам стали на якорь.

Заснул, размышляя о том, как же мне все-таки быть с ботинками, плащом и пилоткой? Клоунское какое-то положение. И под эти размышления придумал клоунскую репризу для цирка, — не отпускает он меня.

Рыжий коверный ходит по арене с пакетом рафинада и пучком шампурных палочек с кусочками шашлыка. Когда какой-нибудь артист срывает особо бурные аплодисменты, Рыжий подходит к нему и незаметным жестом, каким обычно дрессировщики подкармливают животных, сует в рот артисту кусочек сахара или со страхом и отскоками дает ему скусить с шампура мясо — как делают укротители со зверскими хищниками.

Наконец заснул и оказался на ледоколе, которым команду. Две машины. Надо развернуть ледокол в узкость. Я работаю машинами враздрай на полных ходах. Все идет нормально... Проснулся. Вижу в иллюминатор: близко становится на якорь «Харитон Лаптев», отрабатывая задним.

Очевидно, звук его машин и винтов родил в усталых мозгах почти полную сонную аналогию.

Поднялся на мостик. Штиль. Быстро несет мимо льдины, чистые, белые. На них возлежат в позах древних римлян черные нерпы. Залюбовался их черными отражениями в дистилляте голубых вод.

Но вдруг возник в эфире шум и гам: «Внимание всем! Дети на льдине! Уносит в пролив!»

И швартовый катер помчался на спасение, лавируя среди белых льдин и черных отражений по дистилляту голубизны и покоя.

Заигрались детишки. Опять Игра и ее роль в жизни.

«20.30. Закончили сварочные работы. Согласно указанию Штаба ожидаем л/к „Владивосток“ для движения

на запад. Плавающий на течениях лед, отдельные льдины размером сто на пятьдесят метров. Машина в постоянной готовности».

Очень поздно мы выходим на запад. Каждый час ожидания мучителен.

«23.09.09.50. Получили указание „Владивостока“ следовать самостоятельно ему навстречу. 12.00. Следуем переменными ходами и курсами во льдах сплоченностью 6—7 баллов по указанию дублера капитана».

Хладнокровный штаб холодного Певека оказал напоследок подозрительную любезность: прилетел вертолет и пометался над заливом, своими курсами показывая нам разводья, по которым надо было выходить.

Честно говоря, я так и не научился засекаать в уме проекцию движения летательного аппарата на морскую поверхность. Попробуйте хорошим летним днем наблюдать за метаниями стрекозы над лужей, а потом, когда стрекоза улетит, попробуйте повторить ее метания, но сделайте это в уме и спроектируйте на нужную поверхность, а потом еще проведите по этой проекции кораблик.

Мы в балласте, то есть пустые. Нос задрался. Удары льда принимаем не только форштевнем, но и носовой частью днища. Чтобы немного заглубить пароход, приняли в третий трюм забортной водички. Есть серьезные опасения, что паёл (трюмный пол-настил из досок) может всплыть, хотя поверх досок наколотили тяжелые крепления.

Солнце. Ясно. Морозец. Красотища.

Прощай, Певек. Вряд ли я когда-нибудь еще раз буду стоять в стоголовой очереди за бледным брандахлыстом-пивом на твоих грязных берегах и неделями ожидать очереди на рейде. Хорошего понемножку.

Тысячами летят на юг утки. Дрянной знак. Значит, на севере уже вовсе нет разводий, если они так панически драпают.

«12.32. Легли на курс к месту формирования каравана. Встретили гидрографическое судно „Створ“. Застопорили машины, легли в дрейф. „Створ“ кормой подошел к нашему левому борту, приняли с него гидрографическое снабжение...»

Говорят, пьяницам всегда везет — значит, я законченный уже пьяница и море мне теперь по колено!

«Гидрографическое снабжение» — это пакет с моими шмотками: плащ, ботинки, пилотка!

«Створ» подходил осторожно, тяжело ему было во льду. С крыла ухмылялись рожи судоводителей, полностью, конечно, информированных о нашем конфузе. В обмен на «гидрографическое имущество» полетели ботинки коллеги сорок пятого размера.

Последние приветственные отмахи рук.

Ложимся на курс. И только тогда я вспоминаю, что прошлый раз у меня единственное было хорошее мгновение, когда я добился справедливой очередности постановки к причалу «Державино», сидел потом в ожидании рейдового катера над синей, безо льдов бухтой, противоположный берег которой представлялся замороженным тюленем, и с гидрографического суденышка «Створ» гремел Высоцкий:

Я не верю судьбе, я не верю судьбе!  
А себе — еще меньше!

Вот и не верь судьбе! Мне-то «Створ» шмотки с Колымы приволок нынче — фантастическая какая-то удача: в последний миг — на выходе уже из Певека! — успеть с ним встретиться на контркурсах и еще иметь возможность (своя рука владыка — я судно вел) застопорить машины и обменяться «гидрографическим имуществом»...

«14.00. Вышли в назначенную точку у сплошного поля двухлетнего льда, легли в дрейф на видимости мыса Шелагского. 15.30. Сплошной черный туман, температура — 11°. 15.45. Подошел л/к „Владивосток“. Строимся в ордер: ледокол, т/х „Толя Шухов“, т/х „Леонид Леонидов“, „Колымалес“. Приказ держать дистанции 2 кабельтова. Связь на первом канале „Акации“».

Черный туман при полном солнце где-то над ним — отвратительнее уже ничего не придумаешь. И это у кромки девятибалльного льда. И надо строиться в караван, а я потерял ориентировку: кто на экране радара «Шухов»? Кто «Леонидов»? Кто «Владивосток»? На лбу-то у радиолокационных отместок надписей нет. Ну, ледокол угадать можно — он полным ходом подходит со стороны Певека, его отметка имеет кометный хвост на экране, а как с остальными быть?

И ни одного огня в черном тумане, и ни одной черной полыньи.

Да, не сразу поймешь, как это замечательно — черная полынья и огни над ней, даже если их всего три...

Когда начали задерживаться занавеси тумана, я старательно отмечал в уме положение других судов, лежа-

щих в дрейфе у кромки, и их возможные курсы выхода в точку формирования каравана, но вот туман задернулся, все загудели, все задвигались, все спуталось и — потеря ориентировки! Отвратительное состояние. Пожалуй, я почувствовал беспомощность. Спасло то, что до сдачи вахты В. В. оставалось пять минут.

Я доложил, что ничего не понимаю вокруг.

Он сделал обычный добродушно-коротко-скорбный вздох и сказал:

— В двадцать один час по ТВ первенство мира по танцам на льду, Виктор Викторович. Идите отдохните пока.

Но я не мог уйти с мостика, потому что каша, в которую я завел пароход, казалась мне опасной. И не хотелось дезертировать.

Уже через минуту В. В. повел «Колымалес» так, чтобы выйти на корму «Леонидова», используя радар и те следы на воде и в мелком льду, которые остаются от работы судовых винтов. Ну, кроме этого он использовал еще одну штуку — опыт и уверенность. И через минуту дал средний вперед, ибо терпеть не может малый.

— Чего вы тут торчите? — поинтересовался В. В., когда я не сразу покинул рубку.— Бойтесь, я у вас прошедший путь отниму? Если уж вас здесь пилотка и ботинки нашли, то, как сказал бы Фома Фомичев, значить, все в аккурате и торчать вам больше на мосту, значить, нечего.

И я пошел вниз смотреть танцы на льду.

Пожалуй, спроси про главное качество партнера для длительной совместной работы, и я назову скорость, степень сообразительности. Она у партнера должна быть выше моей. Если же партнер соображает, осознает окружающую действительность, ситуацию медлительнее меня, он начинает служить яростным раздражителем.

А тот, кто по сообразительности меня превосходит, служит увлекающе-завлекающим фактором. Даже его брань по моему адресу не бесит, а заводит — и опять же яростно заводит — на дело.

Вероятно, отсюда проскакивает раздражительность к детям и некоторым старикам: они и соображают, и оценивают ситуацию, и поступают замедленнее привычного стереотипа.

Критерий сообразительности равен сумме: опыт + память + логические способности, умноженной на коэффициент врожденной нахальности.

Как-то Жак Ив Кусто завел «Калипсо» в ледяную ловушку возле Антарктиды, и ситуация сложилась вовсе хреновая. Он записал в дневник: «Будь я моложе, это привело бы меня в отчаяние... («это» — зреющий на борту бунт, ибо люди хотят бежать из западни, а капитан маниакально хочет ЗАВЕРШЕНИЯ намеченного дела.— В. К.) Но сейчас я свободен от иллюзий и твердо знаю, что завершение дела зависит от воли командира, что бы ни происходило вокруг. Отвага в тяжелую минуту — вещь столь же редкая, как дружба. Или любовь».

Это он о соплавателях. С которыми тысячи раз штормовал и ходил под воду... И он не только так думает, но пишет в дневник и спокойно дневник печатает! И те, кого он упрекает в редкости отваги, кто хотел рвануть когти из льдов и айсбергов пролива Дрейка, ему это прощают, ибо знают: капитан ПРАВ. Увы, да, отвага в тяжелую минуту битвы со стихией — вещь столь же редкая, как дружба. Или любовь.

А вообще, чем естественнее человек командует, тем удачнее все получается.

Частоты передатчика «Акации» совпадают с телевизионными. Потому можешь сидеть в кают-компании теплохода «Колымалес», наслаждаться зрелищем чемпионата мира по танцам на льду и одновременно быть в курсе всех событий на мостике и вокруг судна. Из телевизора, легко заткнув его музыкальную или спортивный комментаторскую глотку, доносятся голоса переговаривающихся в караване судов.

И вообще забавно смотреть первенство мира по танцам на льду, когда твое судно идет в тяжелейших льдах в Арктике и так сотрясается, что в телевизоре где-то отходят контакты и экран зловеще мерцает, и тогда вальсирующие в Швейцарии соперницы и соперники пропадают пропадом, а потом изображение опять возникает, но телевизионный звук заглушает морзянка или вдруг гремит голос В. В.: «„Леонидов“, вы ход сбавили? Почему не предупреждаете?!» И на фоне изящных кружений и верчений прелестных танцовщиц «Леонидов» кротко объясняет: «„Колымалес“, впереди завал!» И кажется фантастикой, что где-то далеко на суше сейчас действительно танцуют на зеркальном льду среди огней и музыки красивые люди. А тут еще возникает неожиданная мысль: «Если мы продолжаем принимать телепрограмму с мало-мощной певекской (через „Орбиту“) станции, значит,

удалились мы от Певека совсем недалеко, а ведь рубимся во льду уже давным-давно, — по сколько же миль-то получается в час? По две? По три? Н-да...»

Но эта неприятная мысль быстро оттесняется зрелищем танцев на льду — молодостью, которая совсем не боится поскользнуться, изяществом, мужеством, музыкой, праздничными огнями и живыми цветами...

Разрыв между обыденностью жизни большинства людей на планете и необыкновенностью жизни, например, этих танцоров или космонавтов, государственных деятелей или клоунов, укротителей или физиков-теоретиков огромен и зияющ именно в наше время. Раньше, когда не было радио и телевидения, какой-нибудь дед Архип и Ленька в глухой деревне и не знали про шикарную жизнь артистов балета на льду. Теперь дед Архип придет с Ленькой с пахоты или с гумна, скинет тулуп и садится к телевизору, а там летает в невесомости космонавт или крутит двойной тулуп весьма даже соблазнительная девица. В результате что? Стресс! Но стресс Архипа и стресс Леньки будут разные. Если Архипу в данном случае следует порекомендовать «Руководство по технике массажа при различных заболеваниях нервной системы», то Леньке полезно будет прочитать «Золушку» или «Пигмалиона». Но и в том и в другом случае я бы на месте сельского библиотекаря требовал молока за вредность работы, когда бы ко мне за этими книжками обратились дед Архип и Ленька. Особенно если учесть, что в библиотеке текут потолки, на улице затяжные осенние дожди, библиотекаряша подставляет ведра и тазы под льющуюся воду, спасая Г. Маркова и С. Сартакова от сырости, а по радио передают о модах на будущий сезон: «...юбки будут кокетливыми, колени можно открыть совсем» и т. д. и т. п. Вот тут и снимай читательские стрессы, веди заблудших к истине и добру книжными тропами. Да, еще забыл, муж у библиотекаря ревнивый и грозит всем мужчинам-читателям головы пообрывать и требует, чтобы на работу жена надевала платя с длинными подолами, а как тогда с модой быть?.. Тем временем Ленька «Золушку» не берет, бубнит угрюмо, что, мол, вы, Клавдия Петровна, не правы! Книга хуже кино — ее и в жисть не озвучить, а я к звукам привык и к дикторше телевизионной, которая «Музыкальный киоск» ведет...

Зверски интересно: согласился бы Антон Павлович выступать в «Голубом огоньке» по ТВ?

А вам не кажется, что Александр Сергеевич обязательно бы согласился на такое мероприятие безо всяких яких?

«Широта 70° 16' норд, долгота 168° 24' восточная. Ледокол ушел. По его распоряжению легли в дрейф. Машина в пятиминутной готовности. Отключили рулевую. Перевели часы на час назад».

А что этот перевод означает? Все еще верим — идиоты! — что пройдем домой на запад.

Перехватили РДО с «Алатырьлеса»:

СЛЕДУЮ ВПЛОТНУЮ БУКСИРЕ Л/К КРАСИН ЛЕД 10 БАЛЛОВ ОБЛОМКИ ПОЛЕЙ ВЗЛОМАННОГО ПРИПАЯ ДВУХЛЕТНЕГО ЛЬДА ПЯТЬ БАЛЛОВ ОДНОЛЕТНЕГО ПЯТЬ ТОЛЩИНА ЛЬДА 80 ТИРЕ 150 СМ ТОРОСЫ 3 ТИРЕ 4 БАЛЛА РАЗРУШЕННОСТЬ 2 ТИРЕ 3 СЖАТИЕ 1 ТИРЕ 2 ОБНАРУЖИЛИ ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ ТРЮМ НОМЕР 1 ТРЮМ ЗАГРУЖЕН ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ КОНКРЕТНО НЕВОЗМОЖНО НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТРЮМА 2/3 ГРУЗ КИРПИЧ ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ ПО ЗАМЕРАМ 20 СМ/ЧАС ВОДА ХОРОШО ПОДАЕТСЯ ОТКАЧКЕ ОТКАЧКА ВЕДЕТСЯ ЕЖЕЧАСНО ТРЮМ ОСУШАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МИНУТ

Когда наш брат, преодолев лень, да и, чего греха таить, безграмотность в этом вопросе, начинает так подробно фиксировать состояние льдов? А только тогда, когда наш брат влипает в вовсе дрянную ситуацию.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Мужские игры на свежем воздухе“!»

Ночью снилось безобразно-жуткое. Я ел жареного удава, который к тому же был жив и извивался. Такого не придумаешь. Правда, снился еще южный базар, овощи — масса цветных овощей. Может, это по причине зубов, — ем мало, опять дистрофия начинается? При голоде снится еда.

Утром командиры встали на час раньше: не объявили как следует об отводе часов. В журнал записали, а не объявили.

Все теряют юмор. Сидим, едим пшеничную кашу. На нее есть любители, есть ненавистники. Доктор, который уже заметно психически расстроен — он первый раз в море



вообще, — отказывается есть пшено и делает это истерично.

Стармех:

— А ты ее на хлеб намазывай — вкуснее будет.

Доктор:

— А идите вы все!..

Но уходит он сам — голодный.

Стармех:

— Помню, в подобной ситуации один мой электромеханик в дневной чай, ну, и неважно — может, и в утренний, брал два печенья, а нам их голыми давали, без всякой приправы. Так он между печеньями кусок черного хлеба положит и чмокает: «Во, это настоящий бутерброд!»

Буфетчица уютно сидит в кресле и читает «Королеву Марго». Она, черт побери, ее уже скоро три месяца читает!

Поднимаюсь на мостик.

Выясняется, что «Владивосток» бросил нас около пяти утра. И ушел, ничего не объяснив. Радист, правда, разнюхал, что ледокол бросил нас не от безнадежно непроходимых льдов, а по более серьезной причине. Между Колымой и нами получил тяжелые повреждения еще и теплоход «Тайшет». Он в грузу. Судно теряет плавучесть — не может справиться с откачкой поступающей через пробоины воды своими средствами. И ледокол пошел к «Тайшету», чтобы включить в это дело свои водоотливные мощности.

Нас — брошенных — трое. «Леонид Леонидов» Мурманского пароходства — с полными трюмами картошки для Колымы (с его нынешним старпомом в те времена, когда он был еще юнцом, я плавал на «Воровском»). «Толя Шухов» из Владивостока. У него на борту взрывчатка. Тоже, между прочим, дурацкое название для судна: детишек не хватает здесь для полного счастья! Ну, и мы — с абсолютно пустыми трюмами. Если не считать воды в третьем номере. Паёл там уже всплыл. Как бы все это дело там не замерзло, если мы здесь застрянем надолго. Температура с каждым днем падает.

Во льду несколько полыней. В них плавают последние утки. Слабая низовая метель.

С «Шухова» на лед спустили человечка — ходит возле носа, вмятины, вероятно, смотрит.

Холодрыга и серость.

Возле борта уже есть бусы песцовых следов, изящные и кокетливые цепочки.

Да. Всю дорогу нам в этот раз не хватает удачи.

Ее нужно совсем немного.

Чуть-чуть.

Но без нее в море плохо.

«24.09. В дрейфе во льду 10 баллов. Отвели часы еще на 1 час. Знак Айон-Северный в 16 милях».

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Двое суток после бессмертия“!»

Есть такие белые чайки, что по солнечному льду ходят как бы только их клювы, глаза и лапки. А в белом небе летят уже только одни лапки.

Каким длинным путем идешь, чтобы усвоить простейшее правило: если хочешь выглядеть приличнее, то брейся два раза в день. Ведь знаешь, что западные мужчины давным-давно сделали это открытие и используют, а требуется самому дойти! Начал два раза бриться — и даже настроение лучше.

Предупредительное РДО из парходства. О возможных сюрпризах в Красном море. Наше судно обнаружило там ночью на курсе шлюпку, осветило прожектором, чтобы выяснить, не нуждаются ли люди в помощи. В ответ получили очередь из автомата.

Эта информация будет важной и нужной, если «Колымалес» пойдет домой югом.

«25.09. В дрейфе во льду. В течение суток наблюдалось сжатие. Перо руля дважды самопроизвольно переключалось на 10° на правый борт. Для освобождения руля работали машиной до полного хода вперед. 09.40. Льдом отжат руль в положение „лево на борт“. Работая полным ходом вперед, освободили перо, включили рулевую, проверили: видимых повреждений нет — отключили. 14.40. К винто-рулевой группе ветром начало поджимать большой торос. Машина в постоянной готовности. 14.50. Судно разворачивает к норду вместе с ледяным полем...»

Проснулся около пяти утра от холода. Сменился ветер. Напробывал снег сквозь микроскопическую щелочку

иллюминатора. На столе образовался сугробик. Пришлось встать. Наддув ликвидировать, затянув барашки иллюминатора на рычаг рукоятью ножа. Потом опять лег, накрылся с головой тулупом. Задремал, даже что-то эротическое увидел. И вдруг мерещится, что судно покачнулось. Но стоим-то мы, намертво вмерзнув в поле. Что за черт! Шторм у кромки, и сюда зыбь подо льдом докатилась? Подвижка льда?.. Машина заработала самым малым. Куда это мы поехали?

Оделся быстренько — и на мостик. Там старпом. Оказывается, на нас несет «Толю Шухова», остается до него около кабельтова. Самые неисповедимые силы действуют на суда во льду. «Леонидова» уволокло так, что и в легкий снегопад или туман его уже и не видно. А «Шухов» со своими приближенными торосами претя на нас.

Когда старпом начал работать малым, чтобы попытаться очистить майну под кормой, это только увеличило скорость сближения.

Неприятно, когда две океанские громадины тянутся друг к другу, чтобы обнюхаться, как собаки.

Решили поднять мастера.

Василий Васильевич явился, отзевал пару минут после сна, приглядываясь к ситуации, затем высказался: «Ну, если нанесет его на нас или нас на него, то мы дальневосточникам руки пожмем с удовольствием».

Однако, конечно, сжатие начиналось нешуточное. И спать ложиться не стали, пошли сочинять гневную радиограмму Полунину, решив, что «Шухова» пронесет у нас по корме метрах в двадцати. Сочинили не так гневную, как скупающую: мол, брошены ледоколом на произвол судьбы, сжатие, подвижка льда, шевелитесь, так вас и так, а то и спасать здесь нечего будет.

«Владивосток» еще напортачил тем, что ушел, а старшего флагмана на наши три судна не назначил. И мы в точности повторяем теперь поведение лебедя, рака и щуки — так, что ли?

В. В. попробовал договориться с «Леонидовым» и «Шуховым», чтобы подписать радиограмму всем трем, — солиднее, весомее, объективнее. Но «Шухов» принадлежит к тому же пароходству, что и Полунин. Портишь отношения с начальством капитану «Шухова» не хочется, отправлять резкую радиограмму он отказывается. «Леонидов» колеблется, хотя восемьсот тонн картошки в его неутепленных трюмах превращаются в сырье для спирто-волоочной промышленности. Тю-тю кому-то

зима с картошкой. Будут макароны жевать. На метр в глубину уже картошка в трюмах «Леонидова» промерзла. Самим им на эту картошку наплевать. Наоборот, если Колыма станет, они скорее домой в Мурманск пойдут — без захода на Зеленый Мыс.

В результате радиграмма пошла за подписью одного В. В.

Ответ пришел быстро:

ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУЛЕВОГО  
УСТРОЙСТВА ЗПТ СКРУЧИВАНИЯ БАЛЛЕРА  
РЕКОМЕНДУЕМ РУЛЬ ОТ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ  
РАЗОБЩИТЬ ЗПТ СРОЧНО ВОПРОС  
ЛЕДОКОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЖАЛЕНИЮ  
РЕШИТЬ НЕВОЗМОЖНО = 250924 НМ ПОЛУНИН.

Он нас учит с берега отключать рулевую! И объясняет, что баллер может во льду скрутиться!!!

У В. В. даже не обычный добродушно-короткий вздох вырвался, а нормальный мат в шесть этажей.

И — а говорят, телепатии нет! — этот мат мигом долетел до Певека, ибо еще через десять минут радист положил на капитанский стол дополнительную радиграмму:  
ЛК ВЛАДИВОСТОК С АВАРИЙНЫМ СУДНОМ  
ТАЙШЕТ ТАКЖЕ СТОИТ ЗАЖАТЫЙ ЛЬДОМ  
НЕДАЛЕКО ОТ ВАС КАК ТОЛЬКО ПРЕКРАТИТСЯ  
СЖАТИЕ ПОДОЙДЕТ ВАШЕЙ ГРУППЕ СУДОВ  
= 250925 ЗНМ МАЛЬКО.

Вероятно, предыдущую идиотскую радиграмму от правил какой-нибудь клерк из штаба — не может же сам Полунин не спать, не есть неделями. И вот его настоящий заместитель объяснил нам обстановку по-человечески.

— Э-э-э-ах! — сказал В. В. — Ну право дело! Неужто, когда я сам на берег сяду, буду такую же чушь в эфир на суда давать? Помню, вскоре после войны соби- рали мы по финским и немецким портам трофейные раз- валюхи и плавали потом на них: пианино да всякую дру- гую репарацию таскали из Варнемюнде да Гамбурга... Сейчас не об этом. Как-то обнаружили тонущий парохо- дик, подошли к нему, брагу готовим, буксирный трос. Ну, капитан информировал службу мореплавания — все чин по чину. И посыпались ему указания типа: «на кормовые кнехты буксир не ложить» и тэ дэ. Мастер терпел-терпел, потом дает РДО: «Глубоко благодарен за ценные советы, так как до получения ваших рекомендаций хотел закре- пить буксирный трос за свою дымовую трубу». И что вы думаете? Вместо благодарности да спасательной премия

влепили ему выговор за недисциплинированность. И того мало — из капитанов смайнали! Вот тут и подумаешь, как на береговые ценные указания реагировать...

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Черный бизнес“!»

— А у вас во «Вчерашних заботах» фактографическая ошибочка есть, — с китовым выдохом вдруг проговорил В. В. — На «Железняке», когда там зверинец был, капитаном работал Хрыжановский, его даже «тигриным капитаном» прозвали. А Хетагуров старшим помощником был. В интервью он просто расхвастался...

Около двух ночи пошел проведать своего подопечного Митрофана.

Тьма, снег метет, мороз, все тараканы на камбуз убежали, в машине потек масляный коллектор, море вокруг все запаршивевшее, заструпевшее (как все-таки будет от «струпьев»?) льдом, который во тьме выглядит особенно зловеще.

Митрофан рассказывает, как в шестьдесят шестом году они подобным образом закуковали на Енисее. Приехали в гости на двух собачьих упряжках якуты, напились, ясное дело. Затем более трезвые уложили мертвецки пьяных на сани, сцепили упряжки цугом и укатили. Но вожак той упряжки, хозяин которой был мертвецки пьян и которого увезли, всего этого дела не понял и остался возле судна, ожидая владыку. Трое суток кружил вокруг по льду и так выл, что его решили пристрелить, ибо слишком действовало на нервы. И начали по нему стрелять, но он прятался за торосы и все-таки не уходил. И выиграл Игру пес! Проспавшийся хозяин хорошо знал своего зверюгу и вернулся за ним. Вот это была встреча!

И в Айонском ледяном массиве я вспомнил индийский рассказ Киплинга «Мятежник Моти Гадж»: о слоне и беспутном махауте Тиссе, а читал его лет сорок назад.

К одиннадцати утра ветер порывами двадцать один метр в секунду. Руль самопроизвольно пошел на левый борт и стал на ограничитель.

В. В. отправляет меня на корму смотреть за положением льдин. Он решил попробовать поработать вперед полным, чтобы освободить перо руля — лучше погнуть лопасти винта, нежели свернуть баллер. Надеваю тулуп, опускаю уши шапки. Палубы — каток для мирового пер-

венства по танцам на льду. Простывший металл. По нему струит поземка. До чего же злобен металл, когда простынет,— каждый поручень, угол, траповая ступенька хотят тебе изменить. Осторожно надо, уважительно к озлобленной стали.

Ветром сносит к фальшборту. Как хватил морозного воздуха, так сразу схватило любимый зуб — хоть волком вой. За бортами на льдинах снег закручивает танцующими джиннами.

Вот влипли-то!

На корме с трудом включаю замерзшую трансляцию, докладываю, что прибыл на наблюдательный пункт. Описываю картинку, которая сложилась под кормой.

Для того чтобы ее разглядеть, пришлось лечь на палубу плашмя и высунуть голову за леера. Корма-то скошена к рулю и винту — прямо вниз ничего нужного не увидишь. И вот, раскорячив ноги, цепляясь за стойки лееров, нависаешь над ледяными сталагмитами и сталактитами.

Самую близкую и опасную для руля и винта льдину называю для себя «гриб-стоматит». Это ледяная скала, подножие которой явно влезло в лопасти винта. Поверх вертикального ледяного осколка, весом тонн в двадцать, каким-то чудом взгромоздился плоский — вот и получился гриб. А «стоматитом» назвал из-за омерзения к этой льдине. Она опасна. Последняя слабая надежда: есть метра два чистой воды между баллером и нагромождением льда.

В. В. начинает работать передним. Потому, что на лед выплескивает зеленая струя воды, понимаю, что винт повернулся, преодолел, раздробил подножие «гриба». По направлению струи легко определить, куда смотрит перо руля. Судно уже дрожит — набирает полные обороты. Струя все еще идет не прямо за корму, а влево под крутым углом — значит, руль продолжает лежать на левом борту. Отодвинувшиеся метра на полтора под напором струи льдины шевелиятся, лезут друг на друга и переходят в контратаку — рушатся в освободившееся пространство, топят одна другую, лезут в винт. Это сразу чувствует машина — обороты падают. Воображаю, как В. В. сейчас сжал челюсти. Но продолжает работать вперед полным. И побеждает — зеленая кипящая струя отходит к диаметральной плоскости,— перо руля вышло из заклинивания.

По трансляции рекомендую убавить до малого и все время так работать. Очень хочется рвануть в жилье. Из носу льет, глаза слезятся от ветреного снега, перчатки промокли, сердце бьется, хвост трясется. Но нужно еще понаблюдать за «грибом». Что получится, если махина обрушится под корму, а винт вращается? Неуверенности, неуверенности, неуверенности... Первый раз я в такой сложной ледовой ситуации. Правильно ли мы занимаемся всей этой самодеятельностью? Каждую секунду надо принимать решения, и каждое решение может быть аховым.

О том и говорим, когда на корму приходит В. В. Он в любимых стоптанных до основания ботинках и без перчаток. Перчатки не надевал ни разу в жизни. Здоровенные лапы спокойно ложатся на злобный металл лееров. Ворот распахнут, шапка на затылке. Вот пижон! Забыл, как валялся в полубреду с воспалением легких. Не верится человеку, что стукнуло пятьдесят три и пора бегаться.

Не учат нас стареть. Когда-нибудь будут учить. Этому надо учить начиная со школы — очень сложное и трудное дело старение.

Спускаемся в румпельное отделение. Красавица английская рулевая машина. Щеголеватая чистота и блеск везде. Чувствуется властный и знающий хозяин — Октавиан Эдуардович.

А вот и он сам является. Видок невыспавшийся.

Спрашиваю:

— Плохо спалось?

— Нет. Просто допоздна армянское радио слушал.

— И что армяне говорят?

— Они утверждают, что наша жизнь дорожает, так как не является предметом первой необходимости. Остальное забыл.

— Помолчите,— говорит В. В.

Стоим, молчим, глядим на указатель положения руля. Руль «дышит» — ходит с борта на борт градуса по два. А что получится, если застопорить двигатель? Плохо получается. Через минуту руль уходит до ограничителя на правый борт. Это сразу навалились на перо льдины и отжали, и теперь хотят скрутить баллер.

Продолжаем стоять, молчать и глядеть на указатель положения руля с полной серьезностью и сосредоточенностью.

Вдруг В. В. прыскает себе в огромную ладонь, а потом уже откровенно хохочет и тычет в нас с Октавианом пальцем:

— Знаете, кого мне напомнили? Была у меня кенарша, Венашкой назвал — от Венеры. Очень красивая канареечка, соблазнительное существо. Ну, кавалера надо. И не простого, а тоже красавца и Аполлона. Привез из Лондона джентльмена — десять фунтов не пожалел... Скрутит нам руль, как пить дать!

— И чем же мы на ваших кенарей похожи? — с некоторой готовностью обидеться спрашивает стармех.

— А вот моя красавица обожала в зеркало глядеться. Сидит перед зеркалом часами и глядит на себя — наглядеться, налюбоваться не может. Точно как мы на твою рулевку сейчас пялимся. Привез я ей лондонского джентльмена за десять фунтов. Моя красавица его и близко не подпускает. Лупит по башке почем зря — пух летит. Отлупит, сядет перед зеркалом и опять на себя любуется. Ладно. Привез другого красавца, из Венеции, — двадцать тысяч лир не пожалел. Тоже лупит и отвергает, так сказать, на корню. Что делать? Поехал на толкучку у Сытного, купил пару рябых и зачуханных кенарей — только парочкой хозяин отдавал. Уродины — не дай бог со сна увидеть. Моя Венера сразу в рябого влюбилась и прямо голову потеряла. Шекспир да и только. Роман. Народила точно таких же рябых идиотиков. Греть греет, но, лахудра, не кормит по-человечески. Только сидит и глядит на них, разглядывает очень внимательно, головку в разные стороны наклоняет и сама, видно, удивляется своим рябым идиотам. Потом улетела обратно к зеркалу и обратно собой любоваться начала. Что делать? Подложил ее детишек зачуханной кенарше, растрепе. Оказалась замечательная мать! Всех выходила...

— От ваших ассоциаций начинается Институтом Сербского пахивать, — замечает Октавиан Эдуардович.

Каждое движение льда за бортом отзывается в румпельном отделении глухим эхом.

— Пойду-ка я в отпуск к чертовой матери сразу после этого рейса, — решает В. В. — И никакой весны дожидаться не стану. А сейчас — утро вечера мудренее. Партию?

Дело о козле.

— Кажется, у американцев существует обычай играть в карты приговоренным к смертной казни, — говорит Октавиан Эдуардович. — А мы будем играть в козла.



Гуськом вылезаем из румпельного.

Низко над судном проходит самолет, связь не открывает. Значит, случайно над нами пролетел.

Вспоминаем, что костяшки домино украли в Певеке школьники, когда были у нас на экскурсии.

Октавиан Эдуардович отправляется вытачивать из эбонита костяшки — он любит ручную ажурную работу.

Воруют на стоянках с судов всё. Головки проигрывателей, пепельницы, электролампочки, даже дурацкие рублевые шашки. И перед приходом в порт помполит очищает красный уголок от этих драгоценностей и прячет под замок.

В Певеке, когда разгрузка закончилась и чужие покинули судно, комиссар открыл культмассовые сокровища. И тут обрушилась экскурсия любознательных школьников. Мы им рассказывали разную морскую чепуху, напоили чаем с конфетами — приятно было глядеть на мальчишек и девчонок. А они сперли кости. Далеко пойдут ребята.

Двадцать шестое сентября. В дрейфе, в ожидании оковки и проводки.

Ночью заштилило. Солнце с четырех утра по судовому времени. Ясность в атмосфере. Лед от горизонта до горизонта сторосился. Торосы невысокие — метров до двух, но их гряды охватывают три наших судна концентрическими дугами. Будто попали мы в пасть белого сверхгигантского кита.

Снег возле торосов начинает таять с солнечной стороны.

Синие тени.

Использовал потепление, чтобы помыть в каюте окна с наружной стороны. Стекла покрыты коркой соли. Мыл горячей водой. И сразу все в каюте засверкало от ворвавшегося солнца. Великолепная штука — вымыть окна! Великая штука — солнце!

Меня, каютного домоседа, не способного вытащить нос из книги или газеты, вдруг повело на палубу. И мало того, я, обнаружив на полубаке лопату, принялся сбрасывать снег с палубы за борт.

Снег так блистал, что пришлось сходить за темными очками.

Как замечательно лопата подрезает плотный снеговой наддув, как она приятно скользит по ледянной корке, покрывающей сталь под снегом, как снег весело летит за борт...

Несмотря на штиль, давление льда на корпус остается сильным. Руль продолжает перекидывать с борта на борт.

Решили, что ждать освобождения из ледовой темницы раньше чем через неделю бессмысленно, но ершиться следует, и о себе напоминать тоже следует.

РАДИО ПЕВЕК НМ ПОЛУНИНУ КОПИЯ  
ЧЕКУРДАХ КНМ ЛЕБЕДЕВУ УЖЕ ПЯТЬ СУТОК  
ПРОДОЛЖАЕМ СТОЯТЬ ОЖИДАНИИ ЛЕДОКОЛА  
ТЧК КОГДА МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА  
ОКОНЧАНИЕ РЕЙСА НЕОДНОКРАТНО НАМИ  
УКАЗЫВАЛОСЬ НА ПРОВОДКУ СУДОВ ВНЕ  
ОЧЕРЕДИ ДОЛЖНО ЖЕ БЫТЬ КАКОЕ-ТО  
ПЛАНИРОВАНИЕ = КМ МИРОНОВ.

Текст сочиняли вместе.

Не думайте, что составить РДО на море — дело простое. Тут полно сложнейших и тончайших нюансов. Чрезвычайно опасно раздражить начальника, от которого зависишь. Но в то же время надо выказать ему свою твердость. Нужно быть еще более скупым на количество слов, нежели даже в стихах. Лишние слова толкуются адресатом как утрата тобою невозмутимости, хладнокровия, спокойствия. Очень трудно сбалансировать правдивость информации и количество утаенности. Вот вокруг вашего судна началась ледовая подвижка и сжатие. Сообщать об этом начальству? Тут без пол-литра не разберешься, тут закон «пиши, что наблюдаешь» никак не подходит. Ибо можешь начальство испугать (или вспугнуть!). Оно возьмет да и решит: если у них сильное сжатие, то и посылать к ним сейчас ледокол смысла нет — он там сам застрянет. Пушай, голубчики, кукуют, а мы тем временем выведем тех, кто близко к открытой воде болтаются...

ПЕВЕКА НР 2726 85 27 0915 ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ  
МИРОНОВУ ПОНИМАЕМ ВАШЕ НЕУДОВОЛЬСТВИЕ  
ОЗАБОЧЕННОСТЬ ТЧК ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА  
ЗАДЕРЖКИ КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ  
ОБСТАНОВКА ТЧК ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСАХ  
ШТАБ СТРЕМИТСЯ ВЫБРАТЬ РЕШЕНИЯ БЛИЗКИЕ  
ОПТИМАЛЬНЫМ СОЖАЛЕНИЮ ПРИ ЭТОМ  
НЕКОТОРЫЕ СУДА ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕВЫГОДНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ ТЧК НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИЧИНЕ  
СЖАТИЯ ДВИЖЕНИЯ ВАШЕМ РАЙОНЕ НЕТ  
ВООБЩЕ ТЧК УЛУЧШЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ  
ПОДХОДОМ СИБИРЬ АДМИРАЛ МАКАРОВ

ПЕРВЫМ ЗАПАД ПЛАНИРУЕТСЯ ТХ ЛЕОНИДОВ ТХ ШУХОВ ИДУЩИЕ КОЛЫМУ ГДЕ НАВИГАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ТОЛЬКО ЗАТЕМ ВАША ПРОВОДКА ТЧК ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ ЭТО ЭКИПАЖУ НАБРАТЬСЯ ЕЩЕ ТЕРПЕНИЯ ПОСКОЛЬКУ ВПЕРЕДИ ШИРОКОЙ ДОРОГИ НЕ ВИДНО=270916 НМ ПОЛУНИН.

Такие вот дела. В непривычном многословии радиogramмы, в «оперативных решениях», оптимальных вопросах» и прочих оборотах сквозит неуверенность штаба и даже, пожалуй, растерянность.

С шуточками, но начинаем поговаривать о зимовке.

А когда остаешься один, юмор исчезает. Бесит и пшенная каша, и то, что за весь рейс так и не удалось добиться от буфетчицы занавески на дверь. Дверь каюты я по непонятной своей привычке не закрываю в дневное время. И самое удобное мое место на койке просматривается любым проходящим по коридору надстройки моряком. И бесит уборщик-курсант-матрос-практикант-декадент: возится в коридоре по утрам полтора часа, хотя приборку можно сделать за десять минут, сачкует: после пылесоса тяжелая работа на палубе ожидает его.

А за иллюминатором садится в суровые льды солнце. И ропаки, торосы засветились розовым, превратились в стаи розовых фламинго. Удивительна эта нежная розовость на стылом океане.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Трынтрава“!»

Среди розовых фламинго скользит песок. Они уже не боятся судна, бродят под бортами, посматривают вверх. Много чаек, самые разные. Но и песок и чайки кажутся менее живыми, нежели эти розовые фламинго. Вру, конечно. Нет ничего более живого, изящного, хищно-кокетливого, нежели песцы.

Своих прозаических слов и талантов не хватит, чтобы передать впечатление, когда следишь за песцом, приближающимся к судну по вздыбленным льдам. Обопрись на Багрицкого. Правда, он это про соболей писал, а не о полярных лисичках:

Бежать, бежать, бежать,  
Кружиться, подниматься,  
Скользить, лететь, скакать.  
Опять, опять, опять!..

Иногда неожиданно возникший на ледяной глыбе песец напоминал мне женский голос, заплутавший в торо-сах. Должны же здесь, в ледовом океане, бродить жен-ские голоса, если нас кто-то ждет.

И еще кажется, что песцы чувствуют людские любую-щиеся ими взгляды и начинают изыщничать уже специ-ально — возьмет и застынет на гребне тороса, согнув и поджав переднюю лапку. Мордочка повернута к бли-жайшей чайке. Хвост пышный, легкий — по ветру. Стоит существо неподвижно, а в этой неподвижности и сколь-зит, и летит, и кружится, и поднимается.

Они еще не абсолютно белые, еще не закончили линь-ку, серебрятся, грязноватые иногда, роются в отбросах, жрут все, что валяется на льду вокруг судна. Их следы покрывают снег на льдинах сплошь. Веселее с ними жить в дрейфе. Да вот еще и кто-то из хороших актрис поет по радио Окуджаву, про коня, который притомился и не знает, куда ему ехать вдоль красной реки.

И на этом заканчивается очередной день — бело-жел-тое солнце падает под аспидно-сизый лед, улетают фла-минго и шуршит, шуршит, шуршит по стеклу иллюмина-тора жесткий снег, поднятый ветром со льда.

«28.09. В дрейфе, в ожидании околки и проводки.— 5°. Сжатие».

Повторная шифровка: в Красном море наше судно за-метило шлюпку, осветило ее прожектором, чтобы выяс-нить, не нуждаются ли люди в помощи. Получили в ответ очередь из автомата по мостику.

Ледокол «Капитан Сорокин», пробиваясь к нам, поте-рял лопасть и сам теперь кукует. С вертолета, который взлетел с «Владивостока», сообщили, что сам «Влади-восток» затерт льдами, движения не имеет, дрейфует вместе с «Тайшетом», который продолжает принимать воду и вот-вот булькнет. Вертолет наведалься, чтобы осмо-треть с верхотуры положение нашей троицы. Вызвал его «Леонид Леонидов», который получил два тяжелых нава-ла торосов в корме, в результате чего ему искорежило руль. Про картошку они больше вообще не упоминают — замерзла картошка в необогреваемых трюмах. Темпера-тура — 10°. Мы с В. В. пьем чай и рассказываем анекдо-ты. А что еще делать-то? «Сибирь» ушла обратно к «Ка-питану Сорокину», чтобы помочь ему обрезать или заме-нить лопасть. Раньше трех суток не вернуться. Во влипли!

С «Шухова» по льду пришли двое матросов, принесли кинофильмы на обмен. Хвастались тем, что уже поймали и убили шесть песцов. Какие у них при этом были мерзкие морды — какие-то воспаленные от кичливого хвостовства и все еще неудовлетворенной жадности.

29.09. «Владивосток» вроде взял на усы «Тайшет» и пытается вытащить его к Певеку, но дело идет туго. «Сибирь» к «Сорокину» не дошла, сама легла в дрейф — ремонтируют какую-то трубу. Пасмурно, серо, мерзко. И огромные торосы под кормой. Винт проворачиваем валоповороткой. Начал рассказ про Аркадия Аверченко. Давно его обдумывал. Начал с середины — с очереди за пивом, когда Аверченко восхищается тем, что у всех люмпенов-алкоголиков в руках по огромной сетке с апельсинами.

Хемингуэй гонялся за сравнениями в своей прозе и уничтожал их с той настойчивостью, с какой я гоняюсь за комарами, но редко уничтожаю как свои сравнения, так и комаров, — не хватает воли, и удачи, и ловкости. И долгое время меня беспокоили метафоры. Какое-то внутреннее ощущение требовало ограничиваться прилагательными. И даже из прилагательных выбирать только одно — самое точное. Но это внутреннее самотребование наталкивалось и на такое же сильное сопротивление. Если ты не ищешь сравнений специально, если они сами тушканчиками прыгают из-под пера, то почему не давать им, бедным и милым, родиться на свет?

И вот получил недавно письмо умной и талантливой читательницы. А может, она и про писательство думает, хотя от талантливого письма до писательства путь такой же длинный, как от меня до Толстого. Она объясняет свою тягу к сравнениям с пронизательностью и глубиной необычайными: «Зачем тянет,.. Наверное, чтобы выразить переплетение ощущений, пересечения миров, блуждания души».

В яблочко!

И потому не буду больше бояться сравнений.

И все дела.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Чудо с косичками“!»

Начал читать Грэма Грина «Проигравший получает все». И сперва пришел в восторг. И решил обязательно писать «Столкновение в проливе Актив Пасс», взяв материалы по аварии у транспортной прокурорши и Юры Ямкина. И даже сочинил первую фразу и записал ее: «Когда человек заходит в одиночестве слишком далеко, он перестает пытаться выйти из него. И правильно делает. Ибо это значило бы возвращаться, а следует идти только вперед».

В 22.30 закончил читать Грина в состоянии обалдения. Это же надо! Грэм Грин печатает хиленькую, из пальца высосанную чушь о бухгалтере, миллионере и рулетке в Монте-Карло.

А вот прошлый, сильный, мудрый спокойный Грэм Грин:

«Если нельзя закончить книгу на одре смерти, то любой конец будет приблизительным...» Сам он часто заканчивал книги и на неудаче, провале судьбы, почитая такое, вероятно, одним из вариантов смерти героя.

«Сегодня наш мир как-то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому — то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ. Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга, — тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути».

Скромное желание было у Грина: пробрести сквозь Африку без карты и найти пунтик, с которого человечество потеряло след истины и зашагало в чащобу мрака. И он пошел через Африку искать во мраке исток сегодняшнего тупика. И пришел к книге «Проигравший получает все».

После ночного, тяжелого, густого, морозного тумана все снасти обросли седым инеем.

Получили РДО из пароходства. Теперь предупреждают о многочисленных случаях пиратства в Малаккском проливе. Инструктируют о порядке вызова быстроходных полицейских катеров. Куда катимся?

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Нападение на тайную полицию“!»

30.09. Айонский ледяной массив, в ожидании околки и проводки. Температура —3°. Сильное торожение.

Вчера две утки убились, ударившись о рангоут. Мандмузель возмущена тем, что повар не умеет обрабатывать дичь. Надо было уток положить сперва в кипяток, потом ошипать, а повар ободрал перья вместе с кожей.

Нынче сняли с трюма полуживую, замерзшую утку. Матросы посадили ее на диван в лоцманской каюте, обогревают.

В. В. смотрит на утку, восторженно сияет ясными глазами под седым непокорным коком, говорит: «Хорошенькая какая!»

Ночью видели на западе зарево прожекторов полупроводника, то есть ледокола «Владивосток».

«Сибирь» отремонтировалась и прошла за сутки четыре градуса долготы.

Песцы порхают по сугробам с грацией то ли бабочек, то ли девочек из первого класса балетной школы. Когда над ними низко пролетают чайки, песцы останавливаются и задирают хищные мордочки к небесам.

Василий Иванович записал на магнитофон разговор штаба с ледоколом «Адмирал Макаров». Мы с В. В. прослушали запись. Хотя начальники разговаривали хитроумно и конспиративно, но стало ясно, что принято решение вытаскивать нас не на запад, а обратно на восток — всю троицу: «Леонидова», «Шухова», нас. Вытащить в безопасное место и бросить там до второго пришествия. Короче: идти нам домой югом — через разные там Сингапуры и Суэцы. Решили пока не сообщать об этом экипажу.

Лазал в трюм № 1 — для обновления привычки к высоте. Что-то в окружающей ситуации велит мне потренироваться, какая-то интуиция работает.

Когда слезал по обледенелому скоб-трапу, то обнаружил некоторую дрожь в коленках. А ведь когда-то мы расхаживали по карнизу пятого этажа в училище и поднимались на пятый этаж по канату, чтобы выкрасть закрытый в кубрике футбольный мяч.

Спустился нормально.

Один в огромном трюме.

Как здесь обостряется ощущение ледового давления на судно, хотя в трюме было мертвенно тихо. Только изредка скрип стали. На паёле в углах трюма снеговые сугробы-наддувы.

Осмотрел и проверил швы электросварки на треснувших шпангоутах и стрингерах. Мощные рубцы и аккуратные. Еще раз поклонился мысленно рабочим рукам певческих сварщиков.

В 14.00 над нами прошел вертолет с «Владивостока». Поговорили с разведчиками-гидрологами. «Владивосток» продолжает откачку воды из «Тайшета», который едва держится на плаву. «Сибирь» и «Адмирал Макаров» идут с запада, имея на усах по одному судну. Лед такой, что буксирные троса рвутся по два раза за вахту. С вертолета еще сообщили, что нам следует ожидать сильного жатия от норд-вестового ветра.

Благодарю гидрологов за добрые (в кавычках) вести. Разведчики — молодые славные ребята. Были у меня в гостях в Певеке. Разговаривали «за политику», то есть о бедламе вокруг. И вот они прилетели, чтобы поболтать с нами с небес. Передают привет от Леонида Мурафы.

Я: «Чего с вашими приветамии делать? Вытягивайте нас отсюда! Мы уже заплесневели!»

С небес: «Вы не одни так припухли! Восемнадцать судов кукует!»

Я: «Нам от этого не легче!..»

Кажется, в твердыне слов «на миру и смерть красна» обнаруживается трещина. Плевать мне на мир. Своя кожа ближе к своим костям.

Перечитал «Песню в подарок друзьям» Мурафы. И отправил ему радиограмму с просьбой отнестись к стихотворству серьезно, тренировать руку, пробовать и прозу. Проявил такую заботу, вероятно, потому, что представил первым исполнителем «Песни» Володю Высоцкого. С каким широким издевательским размахом он ее споет! И как ему понравится текст, ежели сам он написал:

Когда я спотыкаюсь на стихах,  
Когда не до размеров, не до рифм,  
Тогда друзьям пою о морях,  
До белых пальцев стискивая гриф.

В. В. (когда мы проиграли четыре партии в козла стармеху с помполитом): «И шутки ваши дурацкие! И игра ваша дурацкая — вторая по глупости после перетягивания каната!» Это он пар выпускал от злости на мою козлиную бездарность. Да, проиграть четыре раза подряд из-за тупости партнера не сахар. Особенно если сам ты ас по козлу.



Здесь позвольте заняться плагиатом. Зачем, право дело, мучиться, описывая происходящие у нас за бортом в узкой извилистой полынье природные процессы, коли они уже сформулированы авторами атласа ледовых образований?

Итак, верхний слой воды в полыньях вокруг наших трех судов явно охладился уже до температуры замерзания, и в нем начали интенсивно образовываться ледяные иглы — мелкие, продолговатые, мать их в душу, кристаллы, имеющие, черт бы их всех побрал, форму пластин, взвешенных в воде, в черной, вязкой, мерзкой воде. Образование этих кристаллов происходит, увы, не только у самой поверхности, но и распространяется на некоторую глубину. А так как вода в полыньях находится в спокойном состоянии, то происходит интенсивное — прямо на глазах — увеличение количества этих ледяных игл, и они быстренько образуют ледяное сало. А так как вдобавок ко всему с низких небес падает пушистый снег, то он на этих скоплениях ледовых игл не тает, образуя вязкую массу снежной каши, называемую снежурой. Из снежуры рождается шуга — скопление рыхлых, пористых, белесоватого цвета комков льда, которые плотно заполняют полыньи. А суток через трое, если температура упадет еще на четыре-пять градусов, все это схватится в один монолит, и наше дело будет табак.

Пока на судне никто ни разу не спросил меня о том, «как пишутся книги» или «сколько вы получаете за сценарий?».

«31.09. В дрейфе, в ожидании оковки и проводки. Температура —5°. Сжатие. В трещинах интенсивное становление молодого льда. Пурга».

Хочется, как во времена капитана Воронина, залезть на мачту с биноклем, высмотреть щель в полях и вести, вести, вести судно из западни; взломать неподвижность, драться. Все-таки чем-то это полезный рейс. Впервые я как следует понял бессильное бешенство людей, завязнувших во льдах в тридцати милях от чистой воды: и всё! — закуковали. И торжествующую радость сибиряковцев понял, когда они под парусами вытащили пароход на свободу. И челюскинцев часто вспоминал. Какая у них должна была быть слепая и жаркая злоба на этот бесстрастный, тупой лед!.. Найти, высмотреть разводье! Форсировать машину и бить, бить с полного хода!.. Но

все это фантастика и ерунда. И разводий нет, и никто нынче не разрешит в одиночку рубиться во льдах.

«02.10. 01.50. Подошел ледокол „Адмирал Макаров“, произвел околку, последовательно дали самый малый ход вперед, средний, полный. 02.30. Освободили перо руля от льдин, включили электродвигатель, соединили рулевую, осторожно провернули, повреждений не обнаружили. 03.00. Начали движение за ледоколом. 03.40. Застряли во льду, развернувшись носом на чистый ост. Стоим в ожидании ледокола, который ушел, не объяснив куда».

Всего сорок минут шевеления!

А тут еще на «Толе Шухове» опять поймали песка («собачку», по выражению Митрофана,— на его вахте дело было). Отпустили на лед сетку с приманкой и вздернули на борт, когда песок на сетку забежал. Убили каким-то дрекольем,— ради шкурки? Но песцы еще не отличившиеся. Из дикости и мерзости? От скуки дрейфа? Как когда-то линчевали матросики акул в Южной Атлантике? Но акула все-таки акула, а полярная беззащитная и доверчивая лисичка — и на нее с дрекольем бросаться? Если бы еще поймали, чтобы поразвлекаться и в зоопарк отвезти...

«Плавная текучесть силуэта» у песцов. Так искусствоведы говорят о высшего качества майолике, которая родилась когда-то на далеком острове Майорка.

Удачный опыт ловли и убийства песцов на «Шухове», их, так сказать, почин, подхватили уже и на «Леонидове». Но первенство держит первооткрыватель с детским именем: каждый день несколько штук.

Бессильная ненависть к бездумным и бездушным людям.

В. В., у которого любовь к птицам и вообще живому зверью в крови, тоже переживает.

Конечно, полярные лисички не ангелы. И переполнены противоречиями. Например, безобразно ленивы, но бесовски хитры. Они умудряются даже чаек ловить. С полярных зимовий тащат все, что попадает, даже детские игрушки. Детскими игрушками потом играют песцовые детеныши — в мячик, например. Страсть песцов к воровству отмечал еще Витус Беринг. Они ему здорово плешь переели. И с тех пор не перевоспитались. Клептоманы своего рода.

Но если взять из логова-гнезда детеныша, то они потом легко привыкают к людям, лапаются к человеку и уже никогда не пытаются убежать.

Взрослые дерутся из-за нор до полного изнеможения — как когда-то мы с братцем. Выбившись из сил в драке, противники лежат друг с другом рядом и время от времени кусаются, набирая полные пасти пушистой шубки противника.

Известно, что песцы следуют за белыми медведями в надежде подхарчиться объедками. Но тут им бывает тяжело, потому что медведи спокойно переплывают луюбую полыню, а песцы плавать не умеют, и им приходится совершать многомильные обходные маневры вокруг полыньи, чтобы опять выйти в кильватер мишке.

Увы, они каннибалы. Спокойно могут сожрать соплеменника, если он попал в капкан и не может сопротивляться.

Мы с В. В. горды тем, что никто с «Колымалеса» пока не последовал примеру «Толи Шухова» и попыток ловить песцов у наших людей мы не замечали.

Наоборот. Последнюю пойманную утку матросское вече решило выходить. Утка ничего не ела. Перетасчили ее под полубак, сделали просторную клетку, поставили обрез с водой, давали кусочки мороженой рыбы. На третьи сутки утка стала есть и кусаться, если просунешь палец.

И всех это радовало, а избиение песцов на «Толе Шухове» бесило, ибо в ледовом дрейфе они украшают жизнь каждым появлением. И вечный спутник детства Сетон-Томпсон укутывал полярных лисичек своей добротой и нежностью.

Но как остановить варварство шуховцев?

Песцов же с каждым днем становилось все больше. Они десятками кружили вокруг судов, и цепочки их следов на снегу напоминали изысканные кружева.

И тут я вспомнил фразу из письма Сталина Де Голлю: «В военной дипломатии, если надо, следует использовать не только Дарлана, но и черта с его бабушкой».

Никаких корреспондентских удостоверений у меня не было, но зато был опыт лжесвидетельства, то есть я в жизни выдавал себя и за доктора, и за оперуполномоченного в поезде Воркута—Москва, и даже за разведчика типа Маты Хари в Нью-Йорке.

Я сказал В. В.; что гарантирую прекращение браконьерства на «Шухове» за пять минут. И вышел на связь по радиотелефону с «Шуховым», попросил капитана. Вахтенный помощник сказал, что капитан отдыхает, хотя было около пятнадцати часов. Я попросил капитана поднять

и вызвать к рации, потому что его просит на разговор специальный корреспондент «Литературной газеты», «Комсомольской правды» и журнала «Советская природа».

Перед этой акцией я все-таки попросил у В. В. рюмку водки для укрепления духа, ибо наглое вранье — штука, требующая сильных психических напряжений, а разговаривать следовало спокойным, будничным тоном.

Капитан «Шухова» пробудился и на связь вышел.

Я ему опять представился всеми выдуманными титулами и сказал, что нахожусь здесь по специальному заданию редакций, чтобы наблюдать за отношением моряков к животному миру советской Арктики и что охота на песцов в летне-осеннее время здесь запрещена и карается по статье сто пятой дробь бис восемь Уголовного кодекса СССР — лишение свободы на срок до десяти лет. И заинтересовался тем, знает ли капитан, что за последние сутки его подчиненные поймали и убили девять песцов? Он сказал, что и понятия об этом не имеет. Это была полная чушь, ибо самый идиотический капитан знает обо всем на судне. Я сказал, чтобы он немедленно отобрал шкурки убитых песцов или их тушки, составил акт о происшедшем, шкурки и тушку с описью заложил в рефрижератор и что на Зеленом Мысу, куда он следует, его уже ждут представители соответствующих властей, предупрежденные мною о безобразном избиении животных его людьми. А убитых песцов там примут по описи. Браконьеров же я рекомендую ему наказать своей властью сразу, сейчас, потому что тогда ему будет легче выкручиваться из скандала на Зеленом Мысу.

Прямо скажем, капитан теплохода с детским названием перепугался здорово. И заверил, что все меры будут немедленно приняты.

Я чувствовал себя Суворовым в Измаиле.

И даже выиграл у В. В. три раза подряд в шеш-беш.

Он расстроился. И я, чтобы не мозолить ему глаза, решил обойти судно. Было около двадцати двух часов. Не мешало поглядеть под корму: что там с льдиной-стоматитом и прочими прелестями?

Тьма, метель, скользкая сталь, мертвая пустынность верхней палубы — и вдруг свет в машинной мастерской в кормовой надстройке. Чего это там ударники комтруда делают в такой поздний час?

Вхожу в мастерскую и вижу Володю — нашего старшего рулевого, бывшего подводника, с которым мы в силу

этого находились в особенно хороших отношениях, отличного парня и специалиста. Он заканчивает сооружение именно такой сетки-ловушки для песцов, какую изобрели на «Шухове». А рядом сидит и влюбленно смотрит на бывшего подводника наша дневальная. Это ей в подарок он, вероятно, собирался ободрать линючего песка.

Не надо иметь большого опыта работы с людьми, чтобы знать: не шуми на мужчину, не грози ему, не делай даже замечания, если в этот момент смотрит на него влюбленными глазами женщина. Получишь в ответ отчаянную дерзость, которая только подорвет твой авторитет. Потому я попросил Владимира Петровича помочь мне осмотреть лед под кормой. Пускай он мне посветит фонариком, а то рук не хватает.

На корме я ему сказал пару ласковых и велел немедленно сеть-ловушку уничтожить, ибо мы только что имели тяжелый разговор с капитаном «Шухова», и если теперь с «Шухова» заметят, что мы сами занимаемся этим же грязным делом...

Он сказал, что все понял и дает слово подводника, что охотой на песцов заниматься не будет. И только одно просит, чтобы я не говорил ничего капитану. Я сказал, что все останется между нами.

Не надо иметь большого опыта, чтобы знать: отдав приказ, его исполнение следует проверить. Так как от злости во мне все кипело, то ложиться спать я не стал, почитал в каюте книгу англичанина Перри о белых медведях и через часок опять оделся и пошел на корму, хотя вылезать на палубу страсть неохота было.

Коллега-подводник сидел на корме, опустив на лед сетку-ловушку в полной темноте. Дамы, естественно, возле него уже не было. Заметив приближающуюся тень, он рванул по скоб-трапу на кормовую надстройку. Я поднялся туда за ним, отобрал снасть, скрутил проволоку, на которой была растянута сеть восьмеркой, и сказал, что он получит свое имущество обратно, когда мы выйдем на чистую воду. Я был в таком слепом бешенстве, что этот здоровенный детина и не пикнул. Конечно, я мог бы сразу вышвырнуть снасть за борт. Но тут такой нюанс. Она была его имуществом, и мало ли для чего он ее сотворил? Поди докажи! И самовольничать в таком вопросе нам не положено. И потому я сказал, что храниться сеть будет до поры в моей каюте.

Конечно, я нажил врага, но что поделаешь, ежели иначе не просуществуешь на этом свете.

Еще на отходе в Ленинграде прозвучала во мне суконная, но полная правды мысль или фраза — черт знает: «Человек входит в коллектив через общий труд и личную ответственность». И каждый раз, когда я убеждался в том, что выполняю формулу на деле, во мне сквозь все тяготы начинала просвечивать радость обыкновенной жизни на этом свете и хорошее настроение в свою очередь помогало следовать этой суконной формуле...

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Последние дни Помпей“!»

В каюте засунул снасть в шкаф, чем весьма стеснил свои шмотки, и дочитал Перри. Мне кажется, автор не заглянул в медвежью душу, и потому книга скучна. Нельзя писать о звере только через его желудок.

Медведей в Арктике стало много больше, нежели еще десять лет назад. Это факт. И они уже нагледят — тоже факт. Значит, не совсем пустая затея вопли о сохранении наших младших или старших братьев. Эти вопли все-таки находят отзвук очень и очень во многих людях. И именно в добрых закоулках человеческих душ рождается эхо, а не в том месте, где живет страх наказания.

В этом рейсе первый мишка встретился у мыса Челюскина. Мчался от каравана панически, но — сукин кот! — успел на пути бегства еще нырнуть в какую-то прорубь, вынырнуть с чем-то съедобным и удрать за горизонт, держа это съедобное в пасти.

— Хороший зверушка! — сказал вечно хмурый второй помощник Митрофан.

Следующий мишка начал тоже с паники и бегства, но потом вдруг осадил себя на полном галопе, забрался на ропак и стал выть в нашу сторону, вытягивая шею и голову по-коровьи, — вероятнее всего, выл он матерно.

И Митрофан сказал хмуро:

— Хороший зверушка... пока спит зубками к стенке.

Дальше в рейсе мы их перестали замечать и тем более считать — слишком жарко нам было на мостике.

А вообще профессионализм в какой-либо нелитературной деятельности очень опасен для литературы, очень! Он притупляет остроту восприятия, лишает удивления

перед миром. Если тебе не интересен белый медведь и ты отворачиваешься от него, то это опасно...

В 14.30 обнаружили очередную неприятность: затоплена шахта лага. Естественно было предположить, что туда поступает забортная вода через деформированные сальники, но, богу слава, просто лопнул трубопровод от штевневового варианта лага. То есть вода поступала в шахту изнутри судна, а не из-за борта. Ладно, нам лаг понадобится еще не скоро, а осушить шахту — небольшая проблема, хотя и муторная для третьего помощника и стармеха.

Никто не знал, что навигация этого года окажется самой тяжелой за пятьдесят пять лет, что Индигирка, Яна, Колыма станут много раньше обычного, а Восточно-Сибирское море фактически не вскроется ни на сутки и мощные паковые поля будут толкаться в проливах Лаптева и Санникова и в августе, и в октябре...

Вот вам и долговременные прогнозы, и паутина полярных гидрометеостанций, и фото со спутников. Никто в восточном и западном штабах проводки не получал заранее предупреждений об экстремальных обстоятельствах этой навигации. Атомоходы спокойно ремонтировались, зализывая раны от зимних ямальских льдов и шумных высокоширотных экспедиций, а мы кантовались в Айонском ледяном массиве, наивно полагая, что еще пройдем на запад, и свезем игарские доски на теплое Средиземное море, и к ноябрьским праздникам шикарно ошвартуемся в Питере.

Октябрь — самое тяжелое для работы в Арктике время года.

И вот он наступил.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм „Дела сердечные“!»

У нас нет карт ни Чукотского моря, ни Берингова, ни Тихого океана, ни Охотского, ни Японского. В Певеке все комплекты уже разобраны: восемнадцать судов пошли вместо запада на восток. В 1955 году я проплыл этим маршрутом по географической карте СССР, но тогда, правда, мы в караване шли.

Каждый раз, когда я использую разрешение Октавиана Эдуардовича и моюсь в его ванной, то отмечаю увеличение количества голеньких и полуголеньких ню на стен-

ках и даже потолке. Зрелище, как я уже отмечал неоднократно, восхитительное. Но меня интригует, откуда лютый враг консула Антония, запутавшегося некогда в сетях Клеопатры, пополняет свою коллекцию голеньких прелестниц.

Нынче, наконец, решился задать ему этот вопрос.

— Нет, нет, вы ошибаетесь,— решительно сказал Октавиан Эдуардович.— Количество, гм, девушек в ванной — константа. Просто рейс затягивается и ваше внимание к этому загадочному вопросу мироздания резко возрастает.

Достаточно взглянуть на обнаженную девушку — бегло взглянуть (и не на идеально красивую), чтобы понять: в существе этом соединились все гармонии вселенной.

На такое мое восхищенное мнение никак не воздействует мой пол. Я неоднократно наблюдал тихое, благоговейное восхищение женщин перед совершенством юной девы. И это очень важно. Потому что если бы, предположим, петух мог мыслить так же глубоко и тонко, как я, то и он бы, возможно, высказал о девственной курочке, увидев ее обнаженной, такое же вселенско-гармоническое восхищение. Но я никогда не замечал, чтобы старая курица восхищалась молоденькой курицей-девушкой, а пожилые женщины способны на такой подвиг!

Последнее мое наблюдение бесспорно ставит человечество по интеллекту выше птиц.

Однако следует помнить, что любая дама любого возраста убеждена, что тайны ее телес есть (или были) самые замечательные тайны. Это отчетливо заметно по той презрительной снисходительности, с которой любая живая дама рассматривает фото глянцевитых красоток на развороте «Плейбоя».

Но не в этом дело. Я задумался над обнаженной натурой, имея в виду ответить на один из сложнейших вопросов века: почему мужчины умирают значительно раньше подруг?

Когда женщины не курили, не пили, не летали в космос и не таскали шпалы, этот феномен объяснялся довольно просто. А нынче?

Так вот.

Во все прошлые века среднестатистический мужчина испытывал соблазн блуда в тысячи раз меньше, нежели сегодня, когда каждую минуту тебе показывают молодое женское или в бассейне, или при занятиях аэробикой,



или в кино и журнале. И мужчине ничего не остается, как только сравнивать и сравнивать это молодое женское со своей старой женой.

Вот и живите до восьмидесяти лет!

Доплавался, черт побери, все-таки до такого состояния, когда никаких тайн в полярных морях для меня уже не осталось.

Среди полученных писем есть одно стихотворное, автор — капитан танкера «Маршал Жуков» Алексей Иванович Антонов. («Маршал Жуков», систершип танкера «Маршал Бирюзов», тоже строился в Сплите.)

Ты Расскажи и про ночные бденья,  
И как моряк находит вдохновенье  
В стихии и в себе самом.  
Мечтал и я когда-то пописать,  
О чем-то главном людям рассказать,  
Но не могу предать корявым мыслям лоску:  
Ведь двадцать с лишком капитанских лет,  
Увы, оставили свой след  
Не только в печени и в реденькой прическе.  
Ты на два года младше, ты еще мальчишка, —  
Еще есть время посидеть над новой книжкой.  
Достаточно тебе штормов и льдин.  
Пора травить, что выбрано, втугую.  
Теперь писать, писать напрапалую.  
Пусть знают обыватели-невежды,  
Что все еще идут за Доброю Надеждой —  
Находятся такие чудачки!  
Которые по волнам вечно бродят,  
Чего-то там в душе своей находят,  
Которым жизнь сидячья не с руки,  
Что есть еще летучие голландцы!  
И что у них меж жизнью и мечтой  
Еще не стерлись кранцы!

Вот какие стихи наши капитаны пишут...

Наш экипаж представляет к этому моменту из себя то самое общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются, пороку не выдумывают, отчаянных передовых статей не сочиняют, а простенько себе живут и бездумно-степенно блаженствуют в безделье ледового дрейфа.

Встал в четыре утра. Туман, снег.

Поговорил с «Леониновым». На вахте у них был старпом: Он работал четвертым помощником на «Воровском», когда в шестьдесят седьмом мы катали туристов в Арктику. Его лица вспомнить не смог.

Попугивают, опасно побаливая, правый локоть и шейные позвонки. Застудил? Как бы не хватанул остеохондроз. Спал в свитере, связанном из собачьей шерсти.

А если говорить честно, то инстинкт охоты — при взгляде на близко бегающих песцов — и у меня пробуждается! Как глубоко он сидит в нас современ мамонтов. По науке, инстинкт — это то, что задает программу мозгу. Но где тогда этот самый инстинкт сидит, где он, подлый, расположен — вне мозга? В желудке, что ли?

Люди раздражены на мою настырность в части запрета бить песцов.

Песцы же сразу учуяли возросшую степень безопасности: вокруг судна носится штук по десять зверей разом, Ребята кидают им за борт что придется, включая брезентовые рукавицы. Рукавицы песцы тоже, резвяся и играя, сьедают.

В 11.30 на весте показалась «Сибирь». Она бьет канал для «Владивостока» и «Тайшета», из первого трюма которого беспрерывно откатывают воду.

«Сибирь» — нам:

— Господи! И как вас, «Колымалес», сюда, в самый центр ледового массива, угораздило и занесло?

— Вашими молитвами! Ледоколы завели! Сами бы мы и при большом желании такого не смогли!

— Что верно, то верно...

Сразу веселее стало, как только атомная махина возникла в осязаемой близости. Может, она нас и на запад протолкнет?

Потом подслушали диалог «Сибири» с «Адмиралом Макаровым».

Степан Осипович Макаров хладнокровно заявил:

— «Тайшет» пусть тонет, раз такое дело! Там «Владивосток» людей снимет. А вот этих вытаскивать срочно надо, которые здесь в массиве кукуют!

«Сибирь»:

— Если «Колымалес» сейчас поволоку на запад проливом Санникова, от них только ребра останутся! Идемте к «Хосе Диасу»!

И около часа ночи второго октября «Сибирь» с «Макаровым» протаскивали на восточную кромку «Хосе Диаса». В феерии прожекторов тащили, в таких световых эффектах, какие и не снились Скрябину в цветном кошмарном сне.

Я наблюдал феерию из каюты и слушал танго: «Счастье мое я нашел в этой дружбе с тобой...»

Концерт по заявкам педагогов — в честь Дня учителя.

В три ночи «Сибирь» вернулась и уволокла «Леонидова» — без шума, без лишних слов, уверенно и спокойно.

А к «Шухову» подошел «Макаров», чтобы взять его на усы. Ледобои начали с шуточек:

— «Шухов», а почему у вас красный огонь горит? Груз разрядный?

— Да, взрывчатка.

— В ящиках?

— Да, в ящиках.

— Чего же вы тогда тут столько времени торчите! Растащили бы ящики по ледку до кромки да и трахнули — и плыви на все четыре стороны!

Во время этого юмористического диалога «Макаров» приближался кормой к носу «Шухова», а мы пялились на них в бинокли. И явственно заметили, как «Макаров» трахнул кормой в скулу «Шухова». «Шухов» заорал:

— Вы мне дырку сделали! В районе названия!

— Не понял! Какое название?

— Дырка у нас, дырка! От вас дырка! Там, где название судна!

— Ну, коль выше ватерлинии, то это не дырка! Работайте вперед полным! Застоялись вы тут! Винтом отвыкли работать! И что у вас за веревка на бензеле? Это мышиный хвост, а не трос! Если не положите нормальный трос на бензель, я вас не возьму!

Прямо феодал на крепостную девицу орет, прямо, черт возьми, право первой ночи назад возвращается.

Два песца прыгали в привиденческом свете прожекторов по торосам.

Когда «Макаров» взял «Шухова» на буксир и поволок, то вдруг вспомнил про нас и почему-то даже извинился:

— «Колымалес», придется вам подождать здесь еще сутки! Простите уж и не обессудьте!

Странная вежливость.

С мурманскими ледокольщиками мы, балтийские моряки, конечно, тоже несколько чужаки, но за многолетнюю совместную работу и в силу относительной географической близости понимаем друг друга легче. С дальневосточниками дело хуже — отчужденность ощущается сильнее. Скажете, что за глупость? Моряки одной России, на одном языке говорят, одно дело делают и вообще «Владивосток далеко, но город-то нашенький!» Все правильно. А ведомственная отчужденность есть, есть особые

взаимоотношения. И хотя давно суда всех пароходств плавают одинаково, по всему мировому океану, но все равно для дальневосточников, то есть сынов Тихого океана, мы некоторым образом каботажники из Маркизовой лужи, а они для нас этакие чересчур привыкшие к своей удаленности и широким пространствам провинциальные супермены.

Высказал эти глубокомысленные соображения Василию Васильевичу. Он вздохнул и выдохнул еще более тяжело и длительно, нежели обычно:

— Северяне хорошие товарищи? Неужели вы до сих пор такой наивняк? В товарищи он верит! Прошлую навигацию «Алатырь» задержалась в Игарке — котел вышел из строя. Мороз уже тридцать. На ремонт сутки всего нужны были, но за сутки всё и вся разморозишь. Прбсили буксир, чтобы он пар на это время давал. Северяне заявили, что буксира нет, а есть только ледокол «Мелехов». Сколько буксир стоит, а сколько ледокол? На «Алатыре» капитан чешется, а время идет, судно промерзает — авария углубляется. Согласились на ледокол. «Мелехов» подошел и акт на спасение сует. Алексеич с «Алатыря»: какое спасение? С ума сошли? В родном порту! Да мне восемь часов хватит, чтобы котел отремонтировать... «Мелехов» рядом стоит, теплом дышит, а пар не дает, а судно промерзает. Ну, Алексеич и подмахнул акт на спасение. Товарищи северяне за это спасение сто тысяч потребовали! На тридцати через арбитраж сошлись. И где теперь Алексеич? Диспетчером сидит! Ваш ход, дорогой товарищ!

Итак, две недели мы провели, дрейфуя вместе с пещами и разной человеческой подлостью в Айонском ледяном массиве при непрерывных сжатиях. И вот только третьего октября к нам вернулись атомоход «Сибирь», а за ней — ледокол «Адмирал Макаров».

«Сибирь» плавно и могуче прокатила метрах в сорока от левого борта, выкалывая нас из застарелого поля, в которое «Колымалес» уже накрепко вморозился.

Мы хлопали в ладоши, и махали махине «Сибири» шапками, и орали что-то благодарно-счастливое.

Еще через две минуты нелепым курсом в пяти метрах полным ходом прошел под командованием старшего помощника капитана «Адмирал Макаров». Он поднял на дыбы огромную льдину. Наше судно получило мгновенный крен до 12°, и раздался омерзительный скрежет и

грохот, в которых соединились вопли раненого металла и торжествующий голос победившего льда.

Сказать, что мы, завалившись вдруг набок, выругались,— ничего не сказать. Во всяком случае, в тот миг Степан Осипович Макаров должен был бы перевернуться в гробу. Ну, а если убавить эмоции и учесть отсутствие у автора «Ермака» гроба, то адмирал на небесах мог и ухмыльнуться, глядя на то, как его внуки продолжают зачатое им ледекольное дело. Без огрехов же, увы, ледяное поле Арктики не вспашешь.

— Виктор Викторович, берите старпома и стармеха! Осмотреть трюма! Вахтенный помощник, сообщите на ледекол об аварийном навале! И записывайте! Записывайте, черт вас поберит!

«Загремели на павшем доспехи»,— так положено говорить в подобных ситуациях флотским острякам.

Из «Технического акта»:

«Судно получило следующие повреждения корпуса и набора:

#### Трюм № 2, левый борт

1. В районе шпангоутов № 113—116, между вторым стрингером и декой вмятина размером 2×3 м. Стрела прогиба 159—299 мм.

2. Шпангоуты № 196—198, 119—121 завернуты в корму на 120—150 мм. Скуловые кницы с тех же шпангоутов завернуты в ту же сторону на глубину 120—150 мм.

3. Шпангоуты № 114—115 оторваны от обшивки выше 1-го стрингера по длине на 1 метр.

4. В районе шпангоутов № 114—115 оторвался кожух ограждения осушительной системы.

#### Трюм № 1, левый борт

1. Вмятина в районе водонепроницаемой переборки и 1-го стрингера, стрела прогиба около 300 мм, размер 2×3 м.

2. Деформирована водонепроницаемая переборка между трюмами № 1 и 2 со стрелой прогиба 130—140 мм, размером 2×2 м». Ну, и т. д.

Из судового журнала:

«14.05. Приняли под непрерывный контроль танки 1—3—4-й и льяла трюмов, хотя водотечности в поврежденных районах пока не обнаружили. 14.45. Подошел ледекол „Владивосток“, приказал работать средним хо-

дом вперед. Дали ход, движения судна не обнаружили. 15.04. „Владивосток“ прошел по левому борту в тридцати метрах, пытаясь пробить нам канал к каналу, оставшемуся после прохода «Сибири» и «Адмирала Макарова». Работаем вперед полным, судно неподвижно. „Владивосток“ приказал стопорить, будет брать на короткий буксир. 15.26. К носу подошел „Владивосток“, подает усы. Сообщили на ледокол: „Винто-рулевая группа в порядке, состояние корпуса плохое, имеются глубокие вмятины, много трещин в шпангоутах и стрингерах после навала льдины от „Адмирала Макарова“. 16.00. Начали движение на усах за „Владивостоком“ в 10-балльном льду. 16.27. Предупредили ледокол о том, что судно испытывает слишком сильные удары и сотрясения, попросили сбавить ход. „Владивосток“ выполнил просьбу судна».

И я пошел смотреть кино. В. В. меня подначил на кино. Замечательный, говорит, фильм, про цыган. Второй раз за рейс я в кино пошел, второй! И попал на старый, старомодный, истрепанный фильм, в котором снималась и пела дурацкую песенку старая подружка. Опять тягостное ощущение от человеческой тени, которая скользит по экрану, хотя давно уже ускользнула из жизни... А тут еще грохот за бортами и сотрясения: ни слова текста не разобрать. Плюнул я на самое массовое из искусств, выбрался из столовой команды и поднялся на мостик.

Тьма уже полностью поглотила всю окружающую природу. Только перед нашим носом прыгали кормовые огни «Владивостока», да старпом так резко затягивался сигаретой, что из мрака рубки время от времени высвечивалось его лицо.

Вообще-то старпом не курил — бросил. И то, что опять засмолил, говорило о том, что он нервничает. Тут занервничаешь! Мы ведь с ним вместе лазали по разбитым трюмам и своими руками щупали свернутые кницы, треснувшие шпангоуты и мятые пояся обшивки. А тут еще «Владивосток» волок нас по кочкам стотонных торогов с такой упрямой настырностью, как будто мы не разбитый вдребезги пароход, а новенький ледорез.

Представьте себе, что трактор волочит за собой осла, который уперся ему лбом в сцепку. Что в такой ситуации должен осел делать? Орать он должен, орать!

— Вызовите «Владивосток» и попросите его еще сбавить ход,— сказал я.

— Неудобно как-то...— проямлил старпом.

Вот ведь натура человеческая! Есть же классическое: «Неудобно только штаны через голову надевать!» А я Станислава Матвеевича понимал. Не хочется паникером и перестраховщиком выглядеть нормальному моряку, не хочется на Фому Фомича смахивать.

— Вам, чиф, еще раз повторять?! Немедленно доложите ледоколу: «Испытываем чрезмерные напряжения корпуса! Прошу сбавить ход!»

Ледокол буркнул в ответ, что сбавляет на один узел.

Тогда я сам записал в черновой журнал: «17.30. Повторно предупредили „Владивосток“, что судно испытывает сильные удары о края ледяных полей и крупные льдины и что необходимо уменьшить скорость движения. Ледокол сбавил ход всего до 6 узлов, сообщив, что это минимальная скорость, при которой он слушается руля в настоящей обстановке».

Записав в журнал, я спустился в каюту и лег читать «Дневник Микеланджело», ощущая неприятное одиночество.

Когда крутят кино, весь экипаж, кроме вахты, конечно, набивается в столовую команду, и если ты в кино не пошел, то, сидя у себя в каюте, ощущаешь какое-то особенное одиночество. Пустая надстройка. Кажется, эхо в ней бродит. Даже сквозь хорошую книгу пробивается одинокость.

Через двадцать минут в первый трюм пошла вода. При замере льял уровень с левого борта подскочил до 80 см, а правого — до 100 см.

Кино, как вы понимаете, кончилось.

Сыграли тревогу по борьбе с водой.

Шестой пункт инструкции для дублеров капитанов в арктических рейсах: «В борьбе за живучесть судна дублер капитана по указанию капитана находится в месте наибольшей опасности и непосредственно руководит работами в соответствии с НБЖС-70».

«Подошла твоя ария», — говорил в такие моменты М. М. Сомов.

Главное в такой момент не обращать внимания на трезвон аварийных звонков и на разные крики и вопли. Главное в такой момент тщательно, неторопливо одеться. Полезно, одеваясь, глядеть на себя в зеркало. Очень хорошо, если вы недавно побрились.

А вообще-то лезть в затопленный трюм на десятиградусном морозе для потомственного гуманитария — это, конечно, не самое желанное приключение.

Конечно, не сработала трансляция с бака в рубку, так как замерзла микрофонная трубка. Потом, конечно, не врубилось палубное освещение.

Но лезть в трюм, чтобы разведать водотечные пробойны, было все равно необходимо.

Для начала я плотно застрял в лазе, который начинается откидным люком на тамбучине. Вот в горловине этого лаза я и закупорился. Голова торчит наружу, верчу ею в разные стороны свободно, а туловище почему-то хранит полную неподвижность. Но не может же быть, чтобы при моей мизерной комплекции, имея на себе хорошо подогнанный ватник, я бы оказался толще лаза в трюм? Не может такого быть! А что же тогда? Поясницу холодит! А, дьявол! Зацепился за что-то хлястиком. Рванулся наверх, вырвал клоч ватника и пролез в черную дыру. Спускаюсь по скоб-трапу, жду, когда ноги окупутся в воду, а на голову мне довольно неделикатно давят сапоги старшего помощника, который последовал на разведку за мной.

— Слушайте, чиф!— ору в темноту.— Михаил Михайлович Сомов советовал в таких ситуациях не сучить ножками!

— Ни черта мы тут с фонариками не увидим!— орет чиф.— Эй, подавайте сюда грузовые люстры!

Знаете, как вода идет внутрь судна? Ну, и слава богу, что не знаете. Однако большинство из вас видело, вероятно, как в лесном озере со дна бьет ключ, весь в пузырьках сверкающего воздуха. Так бьют ключи из дыр или трещин в затопляемый трюм.

Таких пробойн и водотечных трещин оказалось пять.

Врубив все осушительные насосы, мы приняли решение продолжать следовать за ледоколом на ледовую кромку, чтобы вырваться обратно к Певеку.

«В результате осмотра установлено, что водотечные пробойны получены в местах повреждений, ранее причиненных неправильными действиями л/к „Адмирал Макаров“, а именно:

Сквозная вертикальная трещина обшивки в районе шпангоутов № 137—138 и деки длиной 600 мм, шириной 50 мм, там же горизонтальная трещина у деки длиной 200 мм. Данная трещина распространяется в танк № 1. Имеются еще две сквозные горизонтальные трещины в районе шпангоутов № 144—145 у деки длиной 200 мм и шириной 20 мм...»



Ну, а когда я выбрался обратно на палубу, то никаких волнений уже не испытывал, ибо отважны люди стран полных — особенно если у этих людей нашлись все-таки драгоценные минутки для того, чтобы проиграть про себя ситуацию. А ежели ты за жизнь множество раз ее проигрывал, то спокойствие у тебя просто даже удивительное — какой напряженной ситуация ни оказалась бы на деле. А если и есть волнение, то это скорее волнение азарта.

Пять пробоин ниже ватерлинии и затопленный первый трюм...

Весь рейс нам не хватало удачи.

Ее надо чуть-чуть.

Ее надо совсем немного.

Но совсем без нее в море плохо...

«02.10. Отдали буксир с ледокола, следуем самостоятельно на рейд порта Певек к указанному месту якорной стоянки».

В этот момент над нами запылало замечательное — по всему небу — северное сияние. Оно было таким ярким, что порттовые огни Певека потускнели.

— Будем отдавать правый якорь! — приказал В. В.

— Надо на «Макарова» срочно донос писать, — предложил я.

— Добиваться наказания ледокольников так же глупо, как ожидать почтения к уходящим в море морякам со стороны береговых грузчиков, — сказал В. В. — Давайте подумаем, как нашу колымагу так скренить, чтобы дырки из воды вышли: крен на правый борт сколько получится и максимальный дифференциал на корму? А пока вызывайте водолазов. Отдать якорь!

Загрохотала якорная цепь.

— На клюзе три смычки! — доложил боцман с бака по ожившей трансляции.

— Хватит, пожалуй, — сказал В. В.

— Стоп травить! Так стоять будем! Забрал якорь?

Якорь забрал, а сияние на небесах угасло.

Вокруг судна серыми привидениями медленно двигались крупные и какие-то бесхозные льдины.

«04.10. 00.00. Ведем откачку воды из трюма № 1. Произвели несколько попыток откачать воду из танков № 1 и 3 левого борта. Насосы не берут. Для увеличения крена на правый борт начали перекачивать топливо из танка № 6 левого борта в танк № 9 правого борта. На-

чали вооружать погружной насос. Снег. Температура минус девять. 05.00. Связались со штабом проводки Восточного сектора по радиотелефону, дали заявку на срочный водолазный осмотр, заказали сварщиков, вызвали механика-наставника».

«07.00. Прибыл буксир „Капитан Гассе“ с водолазами. Готовим к заполнению водой правую секцию трюма № 3 для создания у судна дифферента на корму и крена на правый борт с расчетом, что основные повреждения корпуса выйдут из воды. 08.30. Прекратили закачку трюма № 3 при достижении крена судна в 10° на правый борт. Поступление воды в трюм № 1 прекратилось. 11.30. Закончен водолазный осмотр, буксир „Капитан Гассе“ отошел от борта. Водолазный осмотр проводился в условиях малой подводной видимости. 11.40. Прибыла бригада сварщиков. Готовим аварийные документы для капитана порта Певек. Крен 13° на правый борт».

Я печатаю на вечной своей Пенелопе-«Эрике» акт технического осмотра под диктовку В. В. Крен большой. Печатать неловко. И вообще, конечно, все мы здорово измучены.

Телефон звонит. В. В. берет трубку. Из нее истошный крик на всю каюту: «Двести двадцать, горит земля!!!»

В. В. аккуратно кладет трубку на стол и говорит:

— Господи боже мой, Виктор Викторович, этого еще нам не хватало! Посмотрите в окошко, пожалуйста, Певек горит, что ли?

Мы настолько измотаны, что никакого юмора уже нет.

— Как горит?— спрашиваю я с истинным ужасом, вскакиваю и смотрю в окна каюты на лед и ледяные берега.

В. В. поднимает трубку со стола и спрашивает:

— И как она горит: хорошо или плохо?

— А это кто говорит?— орет трубка.

— Капитан.

— Простите! Я электромеханику звоню!

Оказывается, второй механик звонил электромеханику о том, что где-то зачало какое-то заземление, и в запарке ошибся номером.

— Ничего, дружок, бывает,— успокоительно говорит капитан второму механику и вешает трубку.

И только теперь мы улыбаемся друг другу.

— А про одну штуку мы с вами, Виктор Викторович, забыли. Печатайте: «РАДИО ЛЕНИНГРАД СТОЯНКЕ

РЕЙДЕ ПОРТА ПЕВЕК ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА ЗАЧЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БЕГУНА ЗПТ УЧАСТВОВАЛО 18 ЧЕЛОВЕК КМ МИРОНОВ». Если тебе предложено быть идиотом, то будь им,— заканчивает В. В.

«05.10. 08.40. Привели машину в немедленную готовность. Выровняли крен. С берега получено из стирки белье, продукты, комплект карт до Владивостока. Несмотря на настоятельную просьбу обождать, „Адмирал Макаров“ увел караван из Певека на восток. Остались в порту одни. 14.45. Получили указание ледкола „Макаров“ самостоятельно следовать к мысу Шелагский, догнать танкер „Игрим“, стать под его проводку. Следуем во льду, лед 6-8 баллов, очень подвижный. Продолжаем постановку цементных ящиков на пробойны в трюме № 1».

### *ВОКРУГ ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ*

Шестое октября. От мыса Шелагского шли за танкером «Игрим» около трех часов, удерживая дистанцию двадцать—пятьдесят метров. Его огромная трапезицеобразная корма суперсовременной конструкции начисто лишает возможности увидеть состояние льда впереди по курсу танкера, то есть предугадать момент, когда он может заклинить.

Вспотевшая от страха ладонь сжимает рукоять машинного телеграфа, чтобы в любую секунду пихнуть его на полный назад. Взгляд ни на секунду не отводишь от буруна под транцем кормы танкера. Когда руку снимаешь с телеграфа, пальцы мелко и пошло дрожат. Когда отводишь наконец взгляд от буруна, в глазах темные, медленно плавающие круги.

И это мы еще дублировали друг друга. В. В. стоял у левого телеграфа, я у правого.

Около четырнадцати «Игрим» предупредил, что впереди завал и он ложится в дрейф. Мы отработали полным назад и застыли среди старых льдин и молодого, но уже сторошенного льда. И тогда В. В. сказал:

— Вся наша работа здесь — один сплошной риск, Виктор Викторович. Но вы об этом почему-то глухо пишете.

Вот ведь и не читал и не читает В. В. никаких стихов, а совершил нормальный плагиат, о чем я ему и сообщил, продекламировав Симонова:

Кто в будущее двинулся, держись,  
Взад и вперед,  
Взад и вперед до пота.  
Порой подумаешь:  
Вся наша жизнь —  
Сплошная ледокольная работа!

В. В. свершил китовый вдох и заявил, что про риск в стихках ничего нету, — это раз. И два — мы не на ледоколе, увы, а на пустом и разбитом лесовозе.

«06.10. 00.00. Ледокол произвел околку, продолжили движение в составе каравана из 10 судов. 00.30. Застряли во льду. Получили распоряжение „Адмирала Макарова“ прекратить попытки форсировать перемычку и ждать дальнейших указаний, работая вперед малым. 01.40. Ледокол вернулся, произвел околку. Начали движение по каналу. 04.00. Застряли во льду. У бортов наблюдается подвижка льда и сжатие. 06.50. Околка ледоколом, начали движение по каналу, работаем полным ходом в составе каравана из 14 судов. 10.20. Застряли во льду. Работали полными ходами вперед-назад без результата, пытаюсь пробиться в канал за танкером „Игрим“. В течение вахты производили переноску цемента, полученного в порту Певек (цемент новый, 1000 кг), в трюм № 1. Ставим цементные ящики на пробоины. Ожидаем околки ледоколом. 13.20. „Адмирал Макаров“ произвел околку, но никакого движения не получили. Лед 10 баллов, торосистый, сильные сжатия, метель, поступления воды не обнаружено. Закончили постановку трех цементных ящиков в трюме № 1».

У кораблей продолжительность жизни собачья — около восемнадцати лет. На старом судне особенно наглядно, что сталь куда как слабее человека и век ее короче, а говорят — «стальной человек»...

И не облака, и не тучи, а тягучие фабричные дымы какие-то — очень тягучие, тяжкие. И когда пробьется сквозь них белое северное солнце, то сразу от его яркости на глаза слеза навораживает...

Седьмое октября. В ледовом дрейфе в тридцати милях к востоку от мыса Шелагского.

Солнце. Как важно, когда солнце, — веселее.

Сели бить козла прямо после обеда. Нам с В. В. не везет. Тут уж не моя козлиная тупость, а настоящее невезение. Ужасно бесит.

Так как Октавиан Эдуардович опять почти ничего не ел за обедом, Мандмузель принесла ему кусок колбасы. Колбасу он, подлец, очень аппетитно сжевал. Из нержавеющей стали колбаса — холодного копчения. У меня зубы ныли только оттого, что я наблюдал его хищное жевание.

Отбив ладони козлом, поднялись в рубку.

И увидели, что отчаянный рыбак «Художник Врубель», который давеча рубил ледовую целину на своих четырех дизелях, как залег на левый борт среди торосов с креном градусов в пятнадцать, так и продолжает лежать в таком неловком и нелепом положении. Это же на какой он толщины льдину выполз, ежели за ночь с нее обратно не свалился!

По всему горизонту чернеют среди сплошного льда и низовой метелицы застрявшие суда.

И над всем этим кладбищем целый авиационный парад: крутится вертолет с какого-то ледокола и летает самолет с Полунинным.

Начальство решает вопрос: куда плыть, когда это станет возможным? В пролив Лонга нас волочь или оги-бать остров Врангеля с норда?

Свои разговоры от нас они уже не пытаются скрывать.

А по трансляции бесконечное: «Говорит Магадан! Слушайте концерт-вальс...»

Слух о нашем бедовом рейсе докатился и до ушей родственников в Ленинграде. В. В. получил РДО от супруги. Она желает ему мужества и спрашивает, куда теперь следует писать письма.

Авиапарад прекращается, ибо метель из низовой переходит во всеобъемлющую. Не видим даже «Художника Врубеля».

В рубке В. В., я, Октавиан Эдуардович и помпа. Нижних чинов вообще нет. И потому стармех рассказывает очередную анекдот, имеющий некоторое отношение к цензурщине:

— Про занятия в армии слышали? Нет? Очень хорошо. Лекция для новобранцев в целях их общего развития про бронетранспортеры. Проводит комиссар. Строгий. «Наши могучие броневые машины, каждая имеет теперь радиостанцию...» Вопрос с места: «На лампах или на полупроводниках?» Пауза. Строгий комиссар: «Еще раз

объясню буквоедам: не на лампах, не на полупроводниках, а на бронетранспортерах!»

Наш комиссар:

— Ты когда-нибудь иссякнешь?

Стармех:

— Нет. У меня таких баек больше, чем у тебя новых кинофильмов.

В. В., чтобы разрядить ситуацию, ибо люди заводятся с пол-оборота:

— Пошли вниз. Забьем еще парочку козлов.

Идем вниз, забиваем, я пропускаю пустышечный дупель, и комиссар кончает на «офицерского». В. В. шевелит скулами, на меня не глядит и уходит в каюту.

Я поднимаюсь обратно в рубку. Отчаянно пухнут десны и ноют зубы.

Около шестнадцати метель стихает, и делается видно, как подошедший с оста «Макаров» обкалывает «Художника Врубеля», а потом уводит его к «Галушину», которого берет на короткий буксир.

Неуклюжая гусеница из связки «Макарова» с «Галушиным» и наседающего на них сзади «Врубеля» медленно ползет к горизонту.

Солнце давно под горизонтом, но надо льдом почему-то еще светло: зыбкий, привиденческий свет, забытый здесь солнцем по недоразумению.

Восьмое октября. 03.00. Ночь глухая. Мы лежим в дрейфе на траверзе мыса Кибера и островка Шалаурова. На горизонте появляется зарево. Оно быстро приближается: идут голубчики! идут спасители!

Мощный кулак бросили нам нынче!

Идут «Сибирь», «Ермак» и обожаемый «Адмирал Макаров».

Ах, какие красавцы! Как они себя свободно чувствуют, пока не взваливают себе на горб нашего брата!

В 04.10 прошли мимо нашей группы судов.

«Сибирь» и «Ермак» прокатили мимо в полумиле.

«Макаров» на стóпе ткнул ледяное поле с нашего левого борта в кабельтове, осторожненько его тюкнул, расколол, приказал дать самый малый вперед. Даю. Винт не проворачивается. Докладываю об этом нюансе «Макарову». Он велит стопорить. Стопорю. Все внимание вперед, и потому не замечаю, что с правого борта с кормы приближается «Ермак» — заложил вокруг нас вираж. Ну, теперь-то винт провернется — обкололи с обоих бортов. Жду указаний.

«Макаров» уходит на запад, молча и угрюмо.

«Ермак» сообщает, что будет подходить кормой к нашему носу:

— Готовьте бензель!

Отправляю истребителя песцов поднимать боцмана и остальную банду.

«Ермак» проходит вперед, а потом лихо пятится на наш форштевень. Приличный удар его кранцем — крен до трех градусов на левый борт. Осуществлена некоторым образом неожиданная побудка всего экипажа в пять утра по судовому времени, но это черт с ним, главное — куда-то поедем!

В густо-сизых небесах на северо-востоке возникает слабый, бледно-розовый след зари.

Старпом кутает горло махровым полотенцем, надевает тулуп и отправляется на бак руководить приемкой буксира и наматыванием на буксирные гаши бензеля.

Эту работу ребята научились делать быстро и четко: уже через четверть часа начинаем движение за «Ермаком», подрабатывая по его приказу вперед средним. Не слишком ли быстро мы пошли? Очень сильные сотрясения! Очень-очень! Но мы молчим, проглотив языки и вцепившись кто во что горазд. Еще один пример необходимости в море беспредельного принятия серий решений: «Сообщать ледоколу, что мы уже имели водотечность и вообще сильно битые? Или этим только отпугнешь его? Бросит к чертовой матери и пойдет к такому судну, за которое можно не особенно волноваться...»

Малодушно оставляю эти гамлетовские вопросы на совести старпома и иду спать, наивно пожелав чифу выйти на чистую воду к концу его вахты.

Он хрипло желает мне спокойно отдыхать.

Приходится заметить, что методика и техника крепления буксиров осталась такая же, как и пятьсот лет назад, — трос, скоба, сорок шлагов бензеля. А ежели придумали для космических кораблей стыковочный узел, так можно было бы поднапрячь мозги и всем миром придумать для северных морячков нечто вроде железнодорожного автосцепа.

**«ДУЭТ БУКВОЕДОВ»** — название какого-нибудь будущего рассказа.

Грязный лед так же противен, как неопрятный, немый, с капустой из щей на бороде старик.

Когда я в ноль часов поднялся в рулевую рубку, то, невольно и восхищенно зажмурившись, пробормотал: «Все смешалось в доме Облонских!»

В полярной, черной, метельной ночи от горизонта до горизонта полыхали сотни прожекторов, палубных и разных других огней — караван из тридцати семи судов-клиентов, вокруг которых суетились ледоколы «Сибирь», «Ермак», «Адмирал Макаров», «Владивосток», «Капитан Сорокин» и «Харитон Лаптев», пробивался сквозь ночь и сплошные льды курсом на пролив Лонга. Вернее, не на пролив, а на мыс Фомы острова Врангеля.

Поверьте на слово, это было зрелище, достойное богов всего Олимпа! Эти прожектора, пронзающие метель, в морозных ореолах, сполохах, в галло, светящие в самых неожиданных направлениях, ибо клиенты заклинились на самых различных курсах, продолжая светить себе в носы, хотя и никакого толка в освещении полярной ночи мощными прожекторами вообще-то нету. Но так уж моряки устроены, что электроэнергия нам никогда не жалко, а свет прожекторов оказывает положительное воздействие на психику судоводителей, которые психуют на мостиках.

Световые эффекты сразу тысячи дискотек и еще тысячки современных эстрадных ансамблей, в которых сверканье, кручение и завихрение огней давно заменяют какой бы то ни было смысл, и художественные руководители которых тоже никогда не смотрят на электросчетчик.

Кроме нескольких нелепых ассоциаций с положением в семействе Облонских, с дискотеками, эстрадными ансамблями и зрелищем, достойным богов, увиденное почему-то напомнило мне и несчастный конвой «PQ-17», о котором столько написано и столько получено за написанное гонораров, но, увы, только теми летописцами, которых на том конвое и близко не было. А жаль, что в такие отчаянные моменты, как правило, и на морях и в небесах не оказывается ни кинохроникеров, ни наших жен с детишками. Ах, что бы они могли увидеть! Но вот слышать, что в эти моменты мужья и папы говорят, этого уж им никак не надо. (Недавно узнал следующие цифры: на конвое «PQ-17» погибло 153 союзных моряка, всего в конвоях за всю войну погибло 829 офицеров и матросов с 90 судов. Есть о чем говорить, если вспомнить про наши двадцать миллионов.)



Матушка-атомоход «Сибирь» напоминает императрицу Екатерину своим торжественно-державным присядом на корму.

Может быть, кабы не надо было письма отправлять, то я бы и писал их легче. Но когда надо конверты купить, надписать их и отправить, то есть найти ящик, который не заколочен, или почту, которая не закрыта на обед, то от одного предчувствия всех этих тягот перо уже из рук падает... Ведь вот так и не закончил и не отправил письма Юрию Казакову из Певека. И еще: вовсе уж нет тщеславия отправлять их из экзотических мест. Вернее, оно бывает, но лень сильнее. И как это возможно стать литератором при такой лени к писанию, к письму? Ведь я «выдавленный из себя писатель». А настоящий должен на 50% быть графоманом, то есть любить сам процесс ведения пера по бумаге.

*08.10.* На коротком буксире за «Макаровым». У них на мостике сам капитан. Голос усталого вусмерть человека. О прошлых наших приключениях обе стороны не помнят. Ледоколышки свои бумажки для оправдания заделали. Мы — для обвинения их в дырках — свои. Нечего теперь языками чесать. Лед ужасный. Не до прошлых счетов, когда такой лед.

Собирательство, страсть к коллекционированию свойственна многим. Те, кто коллекционирует свои впечатления, переживания, мысли, рано или поздно подаются в сочинители. Ведь тот, кто для себя дневник ведет, — тоже сочинитель. Только без членского билета Союза писателей в кармане.

Бесконечные замеры льял, бесконечные лазания матросов по обледенелой стали в трюма — опасная и тяжелая работа. Безропотно, и бесстрашно, и буднично делают ее матросы. Если, как опыт показывает, на мостике бывают и трусоватые люди, то на палубе трусоватому матросу делать нечего. И все время за них душа болит, когда смотришь, как они кувыркаются над бездной. Какая там техника безопасности, какие там каски... Раньше я так за матросов не тревожился. Возраст? Или гуманитарная составляющая начинает верх брать над профессиональным практицизмом и цинизмом? Если последнее, то правы большие начальники, и мне самому по доброй воле надо уходить в тишь кабинета и настольной

лампы. Ежели за каждый неуставной прыжок матроса переживать начнешь, никаких нервов не хватит.

09.40 по местному. «Боцману на бак! Отдавать буксир!»

Дальше до кромки пойдем самостоятельно, хотя никакого пути во льдах не видно. Вообще-то разводья есть, но...

Метрах в двухстах белый мишка. Наблюдает за тем, как мы рубим на баке бензель. Бензель, однако, не рубится. Пять, десять, двадцать минут машет боцман на баке топором. «Макаров» теряет терпение: «У вас топор тупой? Поточите!»

Иду сам на бак. Лохматый пук изрубленного в пух и прах бензеля. На дне проруба видна сталь буксирных гашей, а они почему-то не отдаются. Не веря глазам своим, сую руку в проруб, на ощупь убеждаюсь в том, что бензель перерублен. С «Макарова» буксир тянут двадцатипятитонной лебедкой, а гаши из наших клюзов не хотят выходить. Что за черт? И зачем я, дурак, в проруб руку совал? Ежели бы в этот момент гаши вырвались, то и рука моя улетела бы к чертовой матери. Вопиющая глупость и бессмысленная самодеятельность. Очевидно, здесь моя тревога за матросов сработала. Их-то я отогнал, когда руку совал...

Наконец соображаю. Наш нос легкий, без груза. И «Макаров» своей мощной лебедкой приподнял его и посадил себе на кормовой кранец еще до того, как бензель был перерублен. Теперь на буксир на грузки нет, и гаши не вырываются из клюзов.

— Стоп лебедка на ледоколе! Работните машиной вперед самым малым!

— Вас поняли!

— Всем дальше от клюзов!

Трах, бах, тарарах... Лохмотья бензеля взлетают в воздух. Боже, что было бы со мной, если бы это произошло, когда я совал голую ладонь в проруб. Внутренне обливаюсь холодным потом. Ладно. Еще раз море пощадило мою глупость. Возвращаюсь в рубку. «Макаров» диктует координаты на данный момент. Сообщает, что получил их по спутниковой аппаратуре. Как все перемешано! Тупой топор, обыкновенный пеньковый трос на бензеле, космические спутниковые дали и... бог!

А бог потому, что «Макаров» разворачивается на обратный курс и вдруг брякает, нарушая нашу идеологию:

«Ну, „Колымалес“, не поминайте лихом! Ну, с богом вам!»

У В. В. сентиментальность не просыпается от таких ласковых слов, он не без яда: «Желаем вам тут счастливо ОСТАВАТЬСЯ! Такой же вам хорошей работы, как с нами!»

Ежели писатель берет целью всей своей жизни выдавливать из себя раба, то ему нет нужды заботиться и даже не следует думать о сюжетах, фабулах и внешнем действии. Все это само собой приложится. Сейчас в страшной штуке признаюсь. Я очень мало читал художественных произведений Чехова. Зато прочел, вероятно, все, что он написал «нехудожественное» и что написано вокруг него. Боже, какой козырь я кидаю критикам! Но пусть они задумаются над моим признанием, ибо вообще главное сегодня принадлежать к тому типу людей, который коллекционирует не марки или самовары, а свои жизненные впечатления.

Девятое октября, на траверзе мыса Фомы.

Впереди лавируют среди льдин дальневосточник «Ураллес» и «Капитан Кири». Между старых льдин — нилас. Остров Врангеля прямо по курсу. Куда идти, к норду или зюйду? «Ураллес» сообщает, что в проливе Лонга такой лед, что «Ленинград» там потерял лопасть; сейчас он перекачивает топливо в нос, чтобы задрать корму, а к нему на помощь следует «Ермак», у которого трещина в дейдвуде, и следует он на помощь, непрерывно сам-ведя откачку... Во заваруха! Во бой негров ночью!

Четкая рекомендация штаба: огибать остров Врангеля с норда.

Первые сведения о наличии большого острова к северу от Чукотки были собраны Г. Сарычевым в 1787 году от местных жителей.

На карту впервые остров был нанесен Ф. П. Врангелем и Ф. Ф. Матюшкиным в 1823 году.

В истинности существования острова удостоверился американский мореплаватель Де Лонг в 1867 году, по справедливости присвоивший острову имя Врангеля.

Хорошие тут работали ребята...

Северная часть, которую нам выпало огибать, равнинная, низменная, называется Тундрой Академии, высо-

та ее около пятидесяти метров, сложена рыхлыми наносомами, скованными вечной мерзлотой...

Лоция командует: «При плавании вблизи берега использовать навигационные знаки и триангуляционные знаки, особенно заметные на северном берегу острова...»

Ни черта, никаких знаков мы не видим. Лед и метель, а не какие-то там знаки. И — ни одной, даже генеральной карты этих мест! Какие там глубины? Подклеиваю к карте лист чистой бумаги, продолжаю на нее меридианы, на глазок откладываю минуты и градусы широты, по всей этой неутешительной липе ведем прокладку. Врублен, конечно, эхолот. Генкурс девяносто градусов.

Но главное, не в прокладке, главное — не отстать от «Ураллеса»! А как не отстать? К полудню мы уже опять блуждали в тяжелых ледяных полях... Труднейшая вахта, вся определяемая одним: хотя бы держаться на видимости «Ураллеса»! Он забирал все дальше и дальше к норду. Опять рвемся к Северному полюсу. Отсюда до него вовсе близко — меньше двадцати градусов.

У «Капитана Кири», который блуждал правее нас, нервы не выдержали, и он отвернул к зюйду и скоро исчез из видимости, а еще через полчаса мы услышали, как он сообщил «Ураллесу», что попал в ловушку среди льдов, а капитан «Капитана Кири» полез на мачту, чтобы высматривать щель...

Как я ни гнался за «Ураллесом», к тринадцати часам он уже только чуть виднелся на горизонте. И тут мы еще уперлись в перемышку, которая сомкнулась за «Ураллесом» без всякого следа от его прохождения. А ветер баллов шесть от веста, чуть сбавишь ход — и сразу сумасшедший дрейф. Нужно найти место, где «Ураллес» ее форсировал, нужно! Пялю глаза в бинокль — сверкает лед, сплошной, нагромождения метров до трех-четырёх; сбавляю до малого — несет под ветер с такой скоростью, будто на мотоцикле несешься. Где Митрофан?! Нет Митрофана в ходовой — определяется в штурманской по радиопеленгам, сукин сын, трус, выгадыватель типа покойного Арнольда Тимофеевича Федорова. Нет на него надежды, ни на кого нет надежды: рулевой молчит у штурвала — устал и все ему уже безразлично; впередсмотрящего нет — и не потому, что устав нарушаем, а потому, что люди цементируют новую пробоину, она открылась между 140-м и 141-м шангоутами...

Видимость хорошая, но солнце уже низко. В четырнадцать двадцать оно уже скроется. Это по судовому

времени. Так что впереди у меня еще четыре часа тьмы — хорошенькая дневная вахта! Что же будем делать ночью? В таких льдах в полном одиночестве не полавируешь! Нужно догонять «Ураллес», нужно! Где же он пролез через перемычку? И вдруг толчок под сердцем: вон там! там, черт бы меня подрал! сурик на льдинах! Но они плотно сомкнулись и громоздятся трехметровой баррикадой. Митрофан продолжает прятаться в штурманской, какой подлец! Не хочет даже свидетелем быть в тот момент, когда я раздолбаю пароход. Даю малый вперед, забрасываю нос на ветер, метрах в пятидесяти от ледяного завала стопорю. На стопе, на инерции иду на льдины, инерция большая, сильный удар, и сразу крен, и сразу — вперед до полного! Винт молотит исправно — недаром Октавиан Эдуардович сам в машине. Отзваниваю вторично полный вперед. Жуткое дело! Мы вылезаем на лед, как рыба. Крен на левый борт градусов шесть. И ползем на боку, но ползем метр за метром! Как это получается у нашего парохода: ползать по твердому на боку? Почему-то мелькает в голове идиотский натюрморт: здоровенный осетр на ледяных осколках в окружении зеленой петрушки лупит хвостом в разные стороны. Господи, еще бы метров двадцать! Ползем! Появляется Митрофан — хороший знак: значит, самое страшное позади; он же все видит и все понимает, ибо моряк он старый и хороший, — подлец только и трус... Чего это я всех уже вокруг, кажется, ненавижу? Все у меня подлецы и трусы, и даже В. В. специально садится играть со мной в шеш-беш так, чтобы можно было шатнуть стол в мою сторону, и тогда у него выпадает гаша за гашой... Опять медведь! Сколько их здесь — прямо как собак нерезанных. Стоит, сволочь, и принюхивается, но он где-то за краем глаза — нет, уже и не до медведей нынче... А где «Ураллес»? Виден еще — и то слава богу... Огромные ледяные поля, но между ними четкие разводья... Держать самый полный! Внимательнее на руле! В разводьях блинчатый лед, на поворотах он работает вместо кранцев, и мы начинаем догонять «Ураллес». Около пятнадцати часов уже темно. Когда же конец льда? Когда кончится эта чертова вахта? Чтобы я когда-нибудь, да по своей воле, да сюда, да будь я проклят!

Сдаю вахту старпому в шестнадцать. На 72-й параллели сдаю, курс 90°. Желая выйти на чистую воду и спускаюсь вниз. Такое ощущение, что спускаюсь не в каюту, а прямо на остров Врангеля — так за вахту при-

вык ощущать остров ниже себя на карте. Но в каюте не оказывается ни мускусных быков, ни заледенелой тундры. Есть не хочется — только спать.

Нашему поколению свойственно ощущать жизнь таким неправдашным театром, что ли. Уж какую ответственность несут некоторые мои однокашники-одногодки, уже скольких похоронили мы товарищей, сколько уж инфарктов, сколько убеждались в том, что жизнь — серьезная штука, дается один раз, а не все кажется, что она театр. Даже когда в реанимацию угодишь и о завещании серьезно думаешь, и даже когда заставишь себя этот мрачный жанр освоить на деле, на бумаге.

Ведь не верится, что в апреле я был среди айсбергов возле Мирного в Антарктиде, а сейчас черт занес к северу от Врангеля и нашенский Владивосток от меня на две тысячи восемьсот миль к ЮГУ!

Заглянул В. В., поинтересовался, чего я не иду чай пить; сообщил, что утка, которой он присвоил официальное имя Кряква Иванна, вполне жива и возле Камчатки ее можно будет выпустить на свободу.

Тут возник в проеме открытой двери Октавиан Эдуардович и мрачно заметил:

— Мы честно боролись за утиную жизнь. И потому возле Камчатки привяжем ее веревкой за ногу, честно дадим взлететь, а потом зажарим.

Мне показалось, что оба они смотрят на меня с некоторым непонятым, но соблезнующим интересом: так смотрят на подцепивших интересную болезнь или сумасшедших. Но оказалось, что с сумасшедшей температурой завалился Гангстер — схватил в промерзших трюмах, геройствуя там с установкой цементных ящиков, ангину. И теперь — по всем писанным и неписанным законам — его вахту с четырех утра до восьми предстоит стоять мне. Хотелось возроптать на самого господ бога, но смирился, вспомнив, как чиф нес меня на загорбке через воду в первом номере. Удобно было на нем ездить. А за все надо платить.

— Да, колотун! В такую погоду до пивного ларька сходишь — с туберкулезом вернешься, — сказал старпом, когда я устроился на его могучей спине, чтобы переправиться через затопленную часть трюма.

— Я же вам приказал, чтобы проконтролировали одежду всего экипажа, — сказал я.

— Их-то я проконтролировал, а себя забыл,— отфыркнулся Гангстер.

Девятого октября около трех утра на траверзе мыса Ушакова на пересечении  $180^\circ$  восточной долготы вышли изо льда и из нашего полушария в западное.

Зацепились за мыс Ушакова надежно. На нем радиолокационный отражатель стоит. Сам же мыс представляет низкую галечную косу.

Обогнув Врангеля, пошли в пролив между ним и островком (открыт в 1849 году английским судном «Геральд», в честь которого и назван). Скалистые обрывы высотой до 250 метров — это нас очень устраивало. И мы наконец-то повернули на зюйд, имея под килем от 25 до 40 метров глубины и ровное дно из крупного песка и мелкой гальки.

В прошлом рейсе обогнули планету по вертикали, в этом — по горизонтали.

Долго не разгорающаяся полоска холодной зари среди свинца всех видов. Выход изо льда был очень тяжелым — на крупной зыби.

Зыбь почувствовали за час до того, как визуально обнаружили кромку. Значит, близко штормит.

У кромки льдины раскачивались на зыби, испуская утробный гул, от которого у меня волосы зашевелились не только на голове, но и на всех остальных волосатых частях тела.

Коварная штука море. Чего только мы не натерпелись за эти месяцы! И под финал — удовольствие выходить за кромку на штормовой зыби!

Промежутки между отдельными обломками полей были большие, но заполнены двухметровыми блинами, блины от трения между собой обросли по периметру высокими буртиками.

Все виды ледяной дряни мотались, шуршали, шипели, плюхали, вертелись, переворачивались и норовили обязательно вмазать напоследок нам в большие борта.

Даже сравнительно небольшая льдина, мотаясь на зыби, запасается такой кинетической энергией, которой вполне достаточно, чтобы сделать тебе прободную язву, ибо судно-то тоже летит по зыбям с приличной скоростью. Одно дело — неподвижная льдина, на которую ты натыкаешься. Другое — льдина, которая и сама по себе имеет мощное встречное или боковое движение.

Короче говоря, выход из льда на штормовой зыби считается в морской практике опасным приключением. Держать-то надо самый полный ход, дабы выйти строго перпендикулярно ледовой кромке. И еще паршивая пред-рассветная муть — видимость не больше пяти кабель-товых.

— Виктор Викторович, вы привыкли нас на чистую воду выводить, — опять не без многозначительного под-текста сказал В. В. — Так, я надеюсь, и в данном случае эти свои способности используете на полную катушку.

Хорошенькую он мне поставил задачу...

Но я был горд и счастлив его доверием.

То, что мы носим определенную личину, не вызывает у меня сомнения. Но, быть может, это наша личина носит нас? Последнее не кажется мне менее вероятным.

Выскочили на свободу удачно. На последней льдине, которую оставили метрах в пятидесяти с левого борга, развратно валялось семейство моржей. Зверью явно нравилось возлежать на колыхающейся ледяной постели в окружении водяных гейзеров.

Как приятна чистая вода — стылая, каверзная, тяжелая вода Чукотского моря. Здравствуй, свободная стихия!

Чтобы поставить точку на всем оставшемся за кормой, следует писать сурово: «Позади остались полярная надбавка к зарплате и надбавка к ценам на телеграммы, на хлеб, на водку, на авиабилеты и маринованные помидоры; позади остались тысячи людей, существующих в гипнозе шальных отпускных денег; позади остались грязь за-гаженной тундры и весь так называемый героизм современной Арктики».

От мыса Литке на острове Врангеля легли курсом на Ванкарем. Когда развиднелось, был замечен на востоке остров Геральд.

На траверзе мыса Гавай рухнул в койку.

Барометр падает, явно входим в зону тяжелого шторма, а у нас первый и третий трюма открыты настежь. Первый — чтобы в нем можно было работать с цементными ящиками. Третий заполнен водой, которую накачали туда, чтобы посадить возможно глубже корму при движении во льдах. Затопили мы его без предварительной зачистки — и минуты не было на приготовления. Как и следовало ожидать, наколоченные на доски паёла же-



лезяки полетели к чертовой бабушке. Теперь в третьем трюме носятся вместе с водой, всплыв на свободную поверхность, тысячи досок, ударяясь в сталь бортов и уродуя друг друга. Щепки, древесные лохмотья, грязь и мразь забили льяльные колодцы — воду из трюма теперь можно будет выкачать только сверху — шлангами с палубы.

Ветер работает с чистого веста.

Курс — почти чистый зюйд.

Значит, принимаем шторм в галфинд.

В третьем номере несколько сотен тонн воды на кренах гидравлическими молотами бьют в борта изнутри, стремясь воссоединиться со своими вольными сестрами — штормовыми волнами Чукотского моря. И наших узниц-невольниц вполне можно понять и даже им посочувствовать. Но это все шуточки, а смешного-то ничего нет.

Мат-перемат... Ну, действительно рехнуться можно: не везет с погодой в этой проклятой Арктике, как мне весь рейс не везло в шеш-беш.

Объявление только приятное: стрелки судовых часов будут переведены на один час назад.

Выбросил за борт отслужившие своё теплые сапоги, у одного из которых поломалась молния. Сапоги долго не тонули, вертелись в кильватерном следе. Будем считать, что это я монетку бросил в бассейн фонтана в Риме.

Штормит, черт возьми, сильно. Тяжкие сотрясения от бортовой волны. И каждый раз, когда так вмазывает, думаешь, что в льдину вперлись... «От качки стонали зека, обнявшись как родные братья...» У нас от качки стенает железо. Да, сталь стонет, и никак не заснуть от этих стонов. Они бродят внутри корпуса судна, и даже чудится это в своем собственном пустом желудке.

Как говорят антарктические и всякие другие полярники: «Стихия? Нет-нет, стихии мы не видели... особенно ночью».

А все-таки даже в тяжелом шторме есть что-то от вальса.

Вальс ледовых брызг среди рева и сатанинского свиста, среди тьмы и снежных зарядов.

Шквалы подбрасывают к самым прожекторам бедолаг-птиц, и они так вспыхивают белым опереньем в штормовом хаосе, что невольно вздрагиваешь от неожиданной вспышки; от особенного, отраженного уже не от ледовых брызг и снега, и от теплой птицы — света.

Десять баллов от веста.

Все отвыкли от качки и распустились. Полетела посуда из шкафа в буфетной. Ошпарилась компотом дневальная Клава. От компота остались только сухофрукты. Кок вывалил на грязнуший пол противень с котлетами. И попытался шито-крыто собрать их обратно, чтобы накормить экипаж павшими котлетами, но его засек бдительный Октавиан Эдуардович. Не знаю, право, что лучше — грязные котлеты или гречка с тушенкой, которую в результате пришлось глотать.

Выбрался в коридор, увидел, что в углу наблевано, и услышал вопли буфетчицы. Пошел к ней. Правда, глагол «ходить» тут не очень подходит. Попробуйте ходить внутри прыгающего с уступа на уступ горного козла. А именно так вел себя «Колымалес». Да, в желудке прыгающего горного козла ходить невозможно. Тут больше подходит глагол «шататься».

У Нины Михайловны был приступ морской болезни, она была растрепана, поминала маму, зарекалась плавать, плакала и прятала голову под одеяло.

В те времена, когда штатно работал старшим помощником, я обратил бы на ее вопли столько же внимания, сколько уделяет медведь кисленькому муравью, слизывая его с муравьиной кучи, ибо вообще-то самое хорошее средство от морской болезни — заставить страдальцу убрать блевотину из коридора или умывальника.

А нынче начал Нину Михайловну утешать, налил ей воды и осторожненько отодрал одеяло от лица. Она в меня вцепилась, постучала зубами о стакан, подуспокоилась и говорит:

— Я не потому плачу, что укачалась, а просто вспомнила, что в девушках косу носила, замечательная коса была...

Тут пароход очередной раз так швырнуло, что я не удержался, плюхнулся на ноги Мандмузели и звезданулся башкой о переборку. Ноги Нины Михайловны оказались весьма костлявыми.

— Поплакала и хватит! — заорал я, сразу забыв про джентльменство.

— А вы мою косу совсем не помните?

— Какая еще коса? Идите посуду крепить!

— У сфинксов, на Фонтанке. Ведь это я была, Виктор Викторович!

Господи! Еще и этакого не хватало!

Поглядел на укачавшуюся Мандмузель — святых выноси, нет! Не может быть этого, ибо быть этого не может...

Но, между нами, девочками, говоря, осадочек в душе выпал — в моей нежной и художественной душе — довольно мутный.

— Подслушивать в рубке меньше надо, Нина Михайловна! — таким примитивным макаром попробовал я избавиться от мутного осадочка.

Наконец вырвался от нее на оперативный простор, дошатался к себе в каюту — там полный бедлам. Разбился флакон с одеколоном — дышать от дешевого шипра нечем. Кресло вырвало крюки-крепления и озверело летало из угла в угол, пока не заклинилось, взгромоздившись на умывальник. Я наблюдал за бунтом мебели, рухнув в койку.

Есть два способа существовать при такой качке. Один — все своевременно закрепить, убрать, все ящики замкнуть, все занавески привязать и т. д. Другой — бросить все на произвол судьбы: рано или поздно предметы найдут себе места, в которых застрянут. Последний способ требует хороших нервов. У меня они плохие, но и сил бороться с креслами не было.

Крены до тридцати градусов.

Из огня в полымя — из ледяного неподвижного царства в объятия совершенно свободных стихий.

И мне ведь с шестнадцати часов на самую обыкновенную штурманскую вахту — за старпома.

Все-таки умудрился заснуть. Не раздеваясь, конечно. И был вознагражден за свое умение спать и при тридцатиградусной качке: приснилась моя первая любовь, она была в шляпе с вуалью, шляпка кокетливо сдвинута на глаза...

Никогда в жизни не видел ее в шляпке с вуалью.

Но вот возникла среди Чукотского моря. Какая-то старо-молодая. Интересно, какая у нее нынче прическа? Седая у нее прическа, дружище! И какое тебе дело до ее прически? А все-таки хорошо, что я увидел ее в этом тяжелом и душном штормовом сне. Странно подумать, что в Чукотском море я первый раз штормовал двадцать шесть лет назад на «СС-4138». Тогда моя первая любовь казалась мне последней... Чего же она мне все-таки явилась? А! Нина Михайловна несла какую-то чушь о Фонтанке. Подслушала наши мужские разговорчики — вот

и несла. Никаких кос у той роковой Ниночки не было. Это у моей первой любви они были...

Чуть не на четвереньках поднимаюсь в рубку, плясь на карту, вижу, что курс проложен прямо через отметку затонувшего судна. Красной корректорской тушью глубина над затонувшим судном исправлена с тридцати четырех метров на шестьдесят и старательным почерком выведено: „Челюскин“, 1934 г.». Совсем близко от берегов Чукотки, от мыса Ванкарем они кувыркнулись.

— Митрофан! — ору второму помощнику. — Митрофан! У нас на борту цветы есть?!

— Я вот после Мурманска два раза болел! — орет Митрофан. — Но бюллетеня не брал! Сам перемогался! А чиф специально по трюмам ползал, чтобы простудиться!

Вот падла Митрофан Митрофанович! Ведь весь рейс труднее всего доставалось Гангстеру — и внутренние судовые дела, и штурманская работа, и на мостике-то никаких помощников, кроме матросов. И я, и В. В. имели на вахте помощников: В. В. — третьего, я — Митрофана. Чиф же кувыркнулся один.

— Какие вам цветочки? — доносится голос капитана.

Я со света и не заметил, что он сидит в лоцманском кресле.

Добираюсь к нему, ору:

— Кинофильм «Челюскинская эпопея» видели?

— Нет!

— Там с нашего полупроводника «Владивостока» на могилку «Челюскина» хризантемы бросали! Мы через час над ним пройдем!

— Хорошо! Вас понял! — орет В. В. — Мы ему укропу бросим!

— Почему мы лагом к волне прем?

— Заставьте радиста «Лоцию» отремонтировать! — орет Митрофан.

— Зачем она вам сейчас?

— А чего он врет?

— Чего врет?

— Что свой автомобиль за девяносто рублей отремонтировал! Из Выборга в Ленинград ехал и в сугроб перевернулся! Колесами кверху! И говорит — девяносто! Девятьсот! А откуда у него деньги такие? Мозги крутит!

— Вам какое до этого дело?

— Мозги темнит! Нас не обманешь!

— У вас определение есть?

— Какие к черту определения?

— А ваши любимые радиопеленга?

— Принимайте счислимое место, Виктор Викторович,— с нотками приказа в голосе говорит В. В. Давненко я не слышал таких ноток в его звуковой палитре.

— Есть принимать счислимое!

— И отпускайте второго помощника!

— Митрофан Митрофанович, вахту принял! Можете быть свободны!

Митрофан исчезает мгновенно.

В. В. отводит меня в угол рубки, подальше от ушей рулевого матроса. Там, за радиолокатором, мы с ним заклиниваемся, и я узнаю, что получен приказ не заходить к востоку от линии мыс Гаваи — мыс Ванкарем. О причинах и поводах таких приказаний не спрашивают, ибо прибывают они на судно в виде криптограмм.

Теперь ясно, почему В. В. штормует лагом к волне. Поворот на курс против ветра можно будет совершить только в двадцати милях от острова Колючин, а если отворачивать под ветер, то через пару часов мы опять воткнемся в тяжелые льды пролива Лонга.

В. В. интересуется моим мнением по поводу создавшейся ситуации, так как своему мнению он доверять в данный момент не может: полчаса назад, когда В. В. лежал на диване в лоцманской каюте, опять сорвалась с петель и опять врезалась в столик возле изголовья капитана стокилограммовая дверь от этой лоцманской каюты. Врезалась она опять буквально рядом с его виском. Вероятно, только моряки знают, что такое дверь, совершающая свободный полет на тридцатиградусном крене сквозь каюту, расположенную поперек судна. От удара двери в столике образовалась еще одна вмятина десятисантиметровой глубины. В рубашке родился В. В.

Мое мнение по поводу ситуации свелось к тому, что нам ничего не остается, кроме как продолжать следовать, как мы следуем. И если мы не перевернулись до сих пор, то, надо думать, не перевернемся и впредь; если, конечно, волна и ветер не усилятся еще больше.

По прогнозу в проливе Беринга обещали отход ветра к норду и его резкое ослабление, но одновременно предупреждали о возможности обледенения.

— Я нотис на подход к Владивостоку дал на семнадцатое октября! — заорал мне в ухо В. В.— Старый я дурак! Там нас уже груз ждет! Деликатный! Как его будем в загаженный трюм валить?!

Он уже пекся о каком-то грузе! А сам не имел медицинского допуска для тропиков и во Владивостоке должен был списываться и благополучно лететь в Питер. Но — долг!

Прибор АПСТБ-1 служит для подачи автоматического сигнала бедствия в случае неожиданной и стремительной гибели судна. После приема вахты штурман обязан ввести в этот прибор координаты.

Заступив вместо старпома на вахту в тяжелый шторм, когда волны сшибались лбами, я сразу убедился в том, что техника не хочет мне подчиняться. В АПСТБ-1 западала кнопка, вводящая минуты долготы. То есть: потони мы, и никто бы не знал, в каком полушарии нас, бедных, искать и спасать. Потом отказался включаться радар. Я сражался с ним минут пятнадцать и каким-то чудом победил. Ни от чего не получаю в жизни такого удовлетворения, как от победы над техникой. Когда вновь заработает дверной замок, телевизор или наладится незнакомый радар,— для меня праздник, ибо я терпеть ремонтные дела не могу.

Из книг, с гибнущего «Челюскина» уцелели всего две. Их читали и перечитывали в лагере Шмидта все время жизни на льдине.

Томик Пушкина и «Песнь о Гайавате» в переводе Бунина. Эх, Пушкин, Пушкин! Ведь зря ты, Александр Сергеевич, завидовал Матюшкину! Ведь сам-то ты и в эти богом забытые места добрался! И даже дальше, чем когда-либо забирался Матюшкин!

Вспомнилась сардинская глубинка, городок Арбатак и наша там с Пушкиным встреча...

Не бросили мы на бушующую могилу «Челюскина» ни цветочков, ни даже нашего жалкого укропа. Но отметили эту точку тем, что, плюнув на запретный квадрат, легли с 170° на чистый ост.

В судовой журнал я записал: «Считая дальнейшее следование лагом к восьмибалльной волне чрезмерно опасным и не имея другого выхода, приняли решение штормовать носом на волну на генеральном курсе 90°».

Затем я, используя пребывание В. В. в рубке, принялся за изучение «Правил ведения судового журнала». Да, это факт, что мне пришлось обновлять в памяти правила,

ибо командовать судном — одно, а править обыкновенную штурманскую вахту — совсем другое.

Явился на мост Октавиан Эдуардович и предложил начать раздел имущества старшего помощника, которому, по мнению старшего механика, остается жить, то есть скрипеть в этом прекрасном и яростном мире, не больше суток: у чифа, вероятно, не ангина, а нарыв в горле.

Мне были выделены сапоги Гангстера.

— Пожалуй, Октавиан Эдуардович, ваш юмор почернел уже слишком, — сказал я.

— Я вообще кристально черный человек, — ответил он.

На таком волнении «Колымалес» напоминал речную самоходную баржу, а не лесовоз с неограниченным районом плавания. От ударов под носовую часть днища по судну прокатывалась спазма, судорога, на доли секунды наступало ощущение невесомости, затем твое грешное тело тяжелело, а судно начинало трепетать крупной дрожью, дребезжало, гремело, звякало все, от киля до клотика, лязгали в косяках задраенные двери, скрипели переборки, бились и завивались занавески, мигали лампы; а когда судно наконец ухало носом под волну, винт выходил из воды и шел вразнос и сам воздух в помещениях вибрировал от гула гребного вала.

Давненько я не попадал в такую катавасию.

На траверзе мыса Дежнева. Вышли из зоны шторма. Догнали «Ураллес». Он пошел, прижимаясь к самому берегу. Мы шли левее его миль на шесть. И на наших глазах он угодил в длинный и противный ледяной мешок, из которого выбраться к югу не смог, и, развернувшись на обратный курс, поплыл обратно в Чукотское море. А ведь по прогнозу нам давали полное отсутствие льда в Беринговом проливе! Грозили обледенением, но льда на водной поверхности не обещали. Ох, слишком уж часто прогнозы липовые.

Одиннадцатое октября. Вышли из Анадырского залива у мысов с громкими названиями — Наварин, Чесма, Гангут.

Пока не зацепились за берег радаром, у меня было только легкое сомнение в месте судна. А оказались на десять миль впереди счислимого места. Слишком большая неувязка, товарищ вахтенный штурман Конецкий!

Начали откачку воды из третьего трюма погружными помпами и пожарными насосами.

Опять путался с опознанием мысов.

Трудная эта штука — рядовая работа обыкновенного вахтенного штурмана.

Где-то в этих самых местах со мной случился в 1955 году позорный случай.

На малых рыболовных сейнерах, которые мы перегоняли из Петрозаводска на Камчатку, было всего по два судоводителя: капитан и старпом. И стояли мы вахту шесть через шесть. Но и этого мало. Два из шести часов ты был в рубке вовсе один — подменял обыкновенного рулевого — крутил-вертел ручной штурвал и прямо из рубки управлял двигателем.

Позади оставалась уже вся Арктика, устали за пределами.

И я заснул, стоя на руле! Один на судне рулевой и впередсмотрящий заснул у штурвала! Или, как теперь пишут в официальных документах: «Впал в состояние оцепенения, потеряв контроль за окружающей обстановкой».

Очнулся от удара и увидел перед собой в десяти метрах корму идущего впереди среднего рыболовного траулера. Удар был легкий: пока я вырубался, вероятно, на две-три минуты, мой сейнер догнал траулер и скользяще поцеловал его левой скулой в правую кормовую раковину. Ни на траулере, ни у меня на сейнере никто ничего не заметил. Но я-то с тех пор знаю, что такое ОСТОЛБЕНЕТЬ от ужаса: я ведь, хоть и стоял на руле как рядовой матрос, но был-то капитаном! А если б впереди идущий траулер вдруг застопорил в те минуты? Я же всадил бы в него форштевень, то есть вдвинул бы свою малютку прямо ему в винт.

Не очень-то приятно и сейчас признаваться.

Хемингуэй подбадривает:

«Если ты совсем молодым отбыл повинность обществу, демократии и прочему, не давая себя больше вербовать, признаешь ответственность только перед самим собой, на смену приятному, ударяющему в нос запаху товарищества к тебе приходит нечто другое, осязаемое, лишь когда человек бывает один. Я еще не могу дать этому точное определение, но такое чувство возникает после того, как ты честно и хорошо написал о чем-нибудь и беспристрастно оцениваешь написанное, а тем, кому платят



за чтение рецензии, не нравится твоя тема, и они говорят, что все это высосано из пальца, и тем не менее ты непоколебимо уверен в настоящей ценности своей работы; или когда ты занят чем-нибудь, что обычно считается несерьезным, а ты все же знаешь, что это так же важно и всегда было не менее важно, чем все общепринятое, и когда ты на море один на один с ним...»

Плывем по карте «От мыса Крещеный Огнем до бухты Наталии». Тихий океан. Берингово море. Масштаб 1 : 500 000 по параллели 59°. Написание названия сохраняю точное, подлинное.

Смотришь на этот «Крещеный Огнем» мыс и думаешь об авторах наименования. Высокие романтики они были? Или просто кто из первопроходцев портянку здесь в костер уронил? Жаль, что карты на такие темы говорить не умеют.

Огромна помощь человеку от искусства, красивого слова, чужой мудрой мысли, чужого мужества.

Итак, вывод из этого плавания в плане человековедения. Еще раз убедился в нелепости своего познавательного устройства. Первое ощущение от встреченного на жизненном пути человека — чисто интуитивное, моментальное; оценка этого человека каким-то внутренним камертоном, но без словесной формулировки. Затем длительное наблюдение, изучение, которое заканчивается, как правило, противоположной первому интуитивному ощущению оценкой, которую я уже могу сформулировать. И наконец, опять — после значительного временного промежутка — решительный возврат к первому, моментальному ощущению.

Если первое было «+».

Затем длительное «—».

Окончательное «+».

Или: 1) «—», 2) «+», 3) окончательное «—».

Но к моменту «окончательного» рейс уже заканчивается, наступает разлука. Что получается? А то, что я очень длительное время пребываю в плену неверного, ошибочного. И ведь отлично уже знаю о таких своих этапах познания душ соплавателей. Но каждый раз повторяю и повторяю ошибки, то есть не могу заставить себя поверить в истинность первоначальной интуитивной оценки.

Двенадцатое октября.

Встречал рассвет у мыса Алюторского. Всю вахту курс 220°. В половине пятого утра прошли траверз мыса Ирина. Здорово кто-то скучал здесь когда-то об этой Ирине...

А я раздумывал о том, что, как и всегда, меня страшил этот рейс в Арктику. Но вот все самое тяжелое уже позади. И вдруг выясняется, что меня опять страшит будущее: родной дом страшит; ключи, которые я оставил соседке; явка в кадры; просроченный сценарий, который не получается и никогда не получится... И вот в данный именно момент я тоже чего-то страшусь и боюсь. Чего? Оказывается, боюсь под самый финал опять простудиться. Что ж выходит? А выходит, что человек всю жизнь трясется от страха...

Рулевой матрос спрашивает:

— Вы во Владивостоке списываетесь?

— Да. А вы?

— Нет. Но это мой последний рейс.

— И сколько отплавали?

— Десять лет.

— Чего же вы? В тридцать уже завязываете?

— Ага. Надоело. В деревню вернусь. Сад буду разводить, хозяйство налажу. Мать одна мыкается, пасеку держит. Приезжайте мед кушать — меня пчелы любят.

— Спасибо.

Здесь уже серьезно пахнет цивилизацией. Даже раздельное движение судов введено — прямой Английский канал. Но мы, одичав в Арктике, премя по приказу В. В. по левой стороне, то есть против движения встречных. Правда, судов мало, а Тихий океан велик, но...

Тринадцатое октября.

Открылась еще одна водотечная дырка — в форпике.

Карта «От мыса Поворотный до мыса Шуберта». Симпатичное предупреждение: «В районе острова Беринга запрещается прибрежное плавание судов без разрешения органов рыбоохраны (за исключением кораблей ВМФ и пограничной охраны), запрещается подача судами гудков, полеты самолетов и вертолетов ниже 4000 м, стрельба, добыча рыбы, морских животных, растений и посещения лежбищ котиков и бобров».

Котики и бобры могут спать спокойно. И Беринг тоже.

В Москве до 19°, в Ленинграде до 15°. Неужели еще так тепло?

Когда поздней осенью выходишь из Арктики, всегда вертится в башке: а дождутся меня ленинградские арбузы, валяясь в своих деревянных клетках-загонах на Петроградской стороне?.. Правда, нынче за арбузами такие очереди, что я обхожу их по дуге с радиусом метров сто...

На вулканах Камчатки — кубанки туч.

Откачка из третьего трюма идет тяжело. Воды осталось там по пояс, но это уже, конечно, не вода, а жижа, черная тягучая мразь, в которой на плавных кренах тяжело колыхаются всплывшие доски. Матросы в поясных бахилах голыми руками выбирают из льяльных колодцев намокшую мразь. Ни слова жалоб или кряхтений. Отличный экипаж, замечательные ребята, молодчина боцман. Ну, конечно, и элемент материальной заинтересованности есть. Рейс югом обозначает обязательный заход в Сингапур, а нет на планете лучшей отоварки, нежели в Городе львов.

Тихий океан был тихим. Он штилевал в какой-то блаженной истоме после недавнего злого шторма. Ветерок всего балла четыре прямо в корму. Потому даже не свистит.

Пустынная серая вода.

Я прошел в корму, чтобы постоять там и поглядеть в кильватерный след, одиноко и бездумно поглядеть, без всяких философий.

Стою, бездумствую над бело-зелено-голубым кильватерным следом, вибрирую вместе с фальшбортом, на который облокотился.

И вдруг слышу тихую песню:

Ой да как на реке Неве,  
На Васильевском славном острове  
Молодой матрос корабли снастил...

Господи, эту песню небось еще на кораблях Витуса Беринга пели! Откуда ее доносит? Кто поет?

Пел мой свирепый враг и охотник на песцов, у которого я отобрал сеть-ловушку. Сидел он в мастерской, сплетень делал. Растрогал он меня древней песней. Тихонько прошел я по другому борту к себе в каюту, вытащил из-под стола воровскую снасть, которая, честно говоря, до смерти надоела и я рад был от нее избавиться. Отнес в корму.

— Получи,— говорю,— обратно свое имущество.

Бывший подводник засмеялся, взял свое имущество, разглядел внимательно и широким жестом засорил среду обитания — вышвырнул снасть за борт в Тихий океан.

Слава богу, отходчивы русские люди.

— Пора,— говорит, — Виктор Викторович, нашу Крякву Иванну высаживать. Она чего-то киснуть стала.

Я спросил про песню: откуда он такую выудил?

— А черт знает. Привязалась с какой-то пьянки, еще когда на Севере служил. Так будем утку выпускать?

На церемонию выпуска Кряквы Иванны собрался весь свободный от вахты экипаж.

Утку посадили на крышку трюма и образовали вокруг нее островок безопасности.

Тепленькое солнце. И от моря уже потягивает теплом. И дельфины уже прыгают.

Чего будет делать птица? Полетит или нет?

Кряква Иванна пару минут сосредоточенно раздумывала, оглядывая бесконечные дали небес и сереньких свободных волн. Затем без особой поспешности и радости взлетела и... уселась на волну метрах в двухстах от судна. «Колымалес» быстро уходит. Выживет путешественница? Найдет соплеменника? Освоится на Дальнем Востоке? Я даже решил после возвращения в Ленинград позвонить какому-нибудь орнитологу и выяснить возможную судьбу нашей полярной путешественницы. Конечно, вспоминался Гаршин, его лягушка-путешественница и то, как наша Кряква Иванна будет хвастаться сородичам, если соединится с ними, своими подвигами: как-никак проехала на пароходе из Айонского ледяного массива вокруг острова Врангеля до самой Камчатки.

Мы не успели закончить несколько сентиментальные разговоры о судьбе утки.

**РАДИО АВАРИЙНАЯ ВСЕМ СУДАМ ТАНКЕР ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА КООРДИНАТЫ 5614 СЕВ 16422 ВОСТ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ ЗПТ ОТОРВАЛСЯ БАК ЗПТ ЧАСТЬ ЭКИПАЖА ВЫСАЖЕНА ШЛЮПКИ ЗПТ КМ ОСТАЛСЯ БОРТУ АВАРИЙНОЙ ПАРТИЕЙ ТЧК ПРОШУ ОРГАНИЗОВАТЬ РАДИОНАБЛЮДЕНИЕ ЧАСТОТЕ 500 КГЦ ПОЗЫВНОЙ УСБН=СМ/644 ЧЗМ ЧЕКИН.**

Перевозу на нормальный язык. У танкера оторвался и затонул нос. Капитан, опасаясь возможного продолжения взрывов, высадил большую часть экипажа на шлюпки. Сам остался на борту с аварийной партией для борь-

бы с водой, которая проникает в оставшиеся на плаву отсеки танкера.

Организовать радионаблюдение мы могли, но повернуть к бедолагам не могли: нам едва хватало топлива до Владивостока. И потом, мы знали, что в Петропавловске есть мощные спасатели и они, конечно, уже шли на помощь. И все равно неприятно, когда не можешь повернуть к аварийному судну.

Пятнадцатое октября. 05.15. Пролив Лаперуза.

Когда делал выписку из лоции о сахалинских чеховских местах, от встречного судна узнали, что на танкере «Заветы Ильича» при взрыве погибло три человека. Сам танкер еще держится, его буксируют в Петропавловск-на-Камчатке.

Ночью с левого борта в бинокль видны зарева над Хоккайдо.

Там где-то могила японского поэта Такубоку. Эпитафию сочинил он сам:

На северном берегу,  
Где ветер, дыша прибоем,  
Летит над грядою дюн,  
Цветешь ли ты, как бывало,  
Шиповник, и в этом году?

После гибели адмирала Макарова на линкоре «Петропавловск» Такубоку напечатал в газетах стихи, посвященные русскому адмиралу. Он восхищался мужеством противника и воспел благородство врага своей страны еще в разгар войны!

Любимым писателем Такубоку был Лев Толстой...

«...И я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник... расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной (меня „Петропавловск“ совсем поразил)»,— это Блок писал Белому через неделю после гибели броненосца.

Вечно здесь вспоминается Цусима. И блоковская девушка в церковном хоре, и то, как высоко, у царских врат, причастный тайнам плакал ребенок—о том, что никто не придет назад...

Собор, где рождались эти строки, был построен на берегу Невы в память погибших при Цусиме. Взорвали его уже на моих глазах. И соорудили там завод.

Строили собор на средства, собранные всем миром, всей Россией. Стены его были облицованы мраморными досками с именами погибших — от юнг до адмиралов.

Как говорил уже где-то раньше, море не ставит погибшим крестов.

Собор был морякам земной могилой. К нему приходили вдовы.

Куда сегодня прийти внукам тех героев? Ведь даже памятные доски, прежде чем взрывать собор, снять не удосужились. Имена матросов пустили по ветру. Как, между прочим, и имена всех русских пловцов вокруг света, которые были выбиты на стенах Кронштадтского морского собора.

Аврал по приведению в порядок и зачистке третьего трюма.

В аврале участвуют все. Штурманскую вахту стоит капитан. Никуда не денешься, и я тоже лезу в трюм, ибо сам являюсь автором этой подвижнической идеи.

Лаз в трюм узкий, потом скоб-трап. Метра три вертикально вниз. Затем метра четыре по узенькому карнизу, держась за прерывистую скобу. Затем еще вниз вертикально метров пять. После чего оказываешься на туннеле гребного вала. Никакого ограждения нет. По скользкому железу идешь в носовой конец трюма, качает, сверху сыплет мелкий дождь. Под носовой переборкой пролезает еще в одну дыру и спускаешься уже на самое дно. Особенно неприятно идти по туннелю. По сторонам лучше не глядеть — в трех метрах ниже тебя завалы изломанных досок и покореженного металла. Если поскользнешься — костей не соберешь. Матросы, конечно, привыкли и носятся по туннелю орангутангами. Командиры преодолевают этот отрезок пути без всякой лихости.

Спустишься на дно и сразу начинаешь думать о том, что рано или поздно придется возвращаться тем же скользким путем назад.

Три часа я честно вычищал вонючую мразь из шпаций, нагружал совковой лопатой бочки и отправлял их наверх. На большее меня не хватило. Решил, что достаточно личных примеров и самоотверженности. Пускай продолжают молодые энтузиасты.

Замечательная штука — душ после грязной работы. Но от непривычки разболелись и руки, и ноги, и спина.

Шестнадцатое октября.

Ничего не снилось, потому что вообще не спалось. Нынешний год рекордный по путанице биологических часов. Два раза укатывал от нормы на двенадцать часов по долготе в обоих полушариях.

От самого Корсакова идем вместе с пассажиром «Любовь Орлова» — моей детской любовью.

Штиль. Голубизна. Теплынь. Дельфины с белыми брюшками и белыми кончиками хвостов. Обязательно им надо хулиганить и резать нос судну — на всех морях планеты одинаково безобразничают.

У нас на борту из зверей остался и продолжает бороться за жизнь только рак Митрофана Митрофановича.

Последние шеш-беши. Они называются «японскими», потому что плывем уже в Японском море. Я играю удачливо, всем мщу за проигрыши. Но, правда, мстить я умею плохо. И потому сознательно выпускаю из «марсов» противников.

Вечером аховски завораживающая флюоресцирующая пена под форштевнем и за кормой. Блистающие зеленые алмазы на волнах напоминают почему-то новогодние огни.

После Владивостока «Колымалес» зайдет в Японию. И потому у предусмотрительного Митрофана Митрофановича уже выписаны нерабочие дни, которые отмечаются в Японии как праздники: «15 января — День молодежи, 21 марта — День весеннего равноденствия, 3 мая — День конституции, 5 мая — День детей, 15 сентября — День почитания стариков, 23 сентября — День осеннего равноденствия, 23 ноября — День прославления труда».

К этой справочке Митрофан подвешивает еще одну любопытную бумажку. Ее авторы сидят в иммиграционном отделе порта Сингапур.

«Всякое лицо мужского пола, которое, по мнению иммиграционного чиновника, носит длинные волосы, не допускается в Сингапур.

Длинными считаются волосы, падающие ниже обычной линии воротника рубашки, закрывающие уши, падающие на лоб ниже бровей.

Вход на территорию порта такому лицу будет разрешен, если он согласится немедленно постричься.

В противном случае командир самолета или капитан судна, доставивший такого человека в Сингапур, обязаны будут транспортировать его за пределы республики.

Указанная информация должна быть принята к сведению авиационными и судоходными компаниями всех стран мира и их агентами».

Мне это до лампочки: 1) волосы короткие, 2) Город львов мне в этот раз посетить не удастся — полечу домой самолетом.

А вот Октавиан Эдуардович почесывает свою шикарную львиную гриву.

Митрофан ехидничает.

И даже наш салажоночный доктор ехидничает, ибо обнаружил отсутствие в медпаспорте старшего механика свидетельства о прививке от тропической лихорадки.

Римскому цезарю еще то горько и обидно, что прививку ему недавно делали, но свидетельство он забыл дома. Теперь Октавиану Эдуардовичу предстоят шесть внеплановых соприкосновений с живительной и животворной сталью шприца. Потому он почесывает одновременно и львиную шевелюру, и задницу.

Семнадцатое октября. 05.40. Проходим мыс Неизвестный. Возле него много бочек, которых нет на карте. Вертимся среди них в темноте по радару.

Все побанились и погладились.

Наконец Босфор-Восточный. Тьма. Черные кудрявые облака. Проблескивает маяк на мысе Басаргина. Я и забыл, что один из моих героев носит имя этого мыса и смотрит здесь на облака.

Затмевается и кроваво пульсирует маяк Скрыплев.

Пост в Босфоре вообще не знает о существовании Балтийского морского пароходства. На посту никак не могут понять, что наше судно из Ленинграда. Редко наши суда бывают в самом Владивостоке: обычный порт захода — Находка. Нам просто повезло, что разрешили залезть сюда. Наконец пост связывается с лоцманской станцией.

Ложимся в дрейф на входных створах. По обеим сторонам пролива стоят на якорях могучие рыболовные плавбазы. Они не жалеют электричества на палубное освещение. Все вокруг мерцает, переливается, и не понять, где береговые огни и где огни судов. Огни огромных плавбаз светят в ночи торжественно и величаво.



Светает быстро. Прибывает лоцман. Второй раз в жизни вижу такого старого пайлота. Вместо команд с волевыми интонациями из старика вылетают скрипы, свист и шорох — как будто слушаешь магнитную пленку с записью рыбьих разговоров. Минут десять лоцман руководит движением судна только с помощью жестыкуляции.

Медленно вplyваем в бухту Золотой Рог.

Собственноручно отстукиваю прожектором название судна в ответ на бесконечные запросы бдительных постов. Оказывается, еще не окончательно забыл морзянку,— удивительно!

— Пайлот, а деревья еще есть в городе зеленые? — спрашиваю лoцмана, из которого уже насыпалось в рубке порядочно песка.

— Конечно, есть,— скрипит он.

— Апельсины?

— Полно.

— А бананы?

— Только что четыре банановоза пришли с Эквадора.

На каждом углу продают.

— Поделились бы с колыбелью революции.

— Не сорок первый год.

— И не стыдно вам?

— Чего стыдиться? Вы там, на западе, давно к голодухе привыкли — перебьетесь и без бананов... Стоп машина! Грунт жидкий — ил! На клюз не меньше шести смычек!

— Боцман! На баке! Будете травить до шести смычек! Как якорь?

— Правый якорь к отдаче готов!

— Хорошо!

Идем по инерции. Тишина. Тепло. Ближе сопка — курчавая от кустарника. Какое удовольствие видеть близко пожухлый кустарник!

— Средний назад! — командует скрипучий лоцман.

— Есть средний назад!

Выходим на крыло, привычно ждем, когда возмущенная вода приблизится к миделю — середине судна,— в этот момент обычно гасится инерция и начинается едва заметное движение назад.

— Отдать якорь!

— Есть! Отдать якорь!

— Стоп машина!

Все. Приехали.

Старик лоцман крепкой ладонью жмет руки всем, кто в рубке, и поздравляет с приходом.

Валюсь спать, и... белая большая птица планирует над судном — на парашюте! Удивительно и замечательно красиво... Затем парашют медленно и плавно переворачивается куполом вниз. Птица оказывается в огромной высоте и продолжает величественно парить, а парашют ей совсем не мешает. Птица вроде лебедя.

Хороший сон.

Возможно, возник он потому, что в момент, когда возле пышной от кустарников сопки мы становились на якорь, судовую антенну облепили вороны, и я долго глядел на них и за них — в бездонные и чистые небеса; а думалось, что о том, как велика Россия, знают только те, кто обошел ее с севера.

Утром бухта Золотой Рог погрузилась в туман. В тумане гудками звали кого-то десятки судов, глухо доносились удары в колокола.

Собираю вещички. В самолет много не возьмешь. Безобразно человек устроен: все вещички, включая шлепанцы, хочется прихватить, хотя они нормально приплывут к Новому году домой на «Колымалесе». Привыкаешь и к мертвой материи. С болью в сердце решаю оставить Октавиану на хранение «Эрику». Первая наша разлука за четверть века. Старушка плачет: ревнует, верно, к той новенькой машинке, что давно уже куплена ей на смену.

— Самое главное в жизни, старушенция,— говорю «Эрике»,— никогда не впадать в уныние ни из-за людей, ни из-за событий.

— Откуда ты выкопал такую чушь?! — бурчит «Эрика» сквозь футляр, который для страховки я обвязываю веревкой: замочек барахлит.

— Видишь ли, подруга, когда четверть века назад лейтенант, молодой и красивый, край родной на заре покидал, он надолго оставил невесту. На прощание сказала она: «Лейтенант, в целом мире нет места нам милей, чем родная страна». И подарила лейтенанту фотографию, где навсегда осталась молодой и красивой, а на фотографии написала эту философскую сентенцию.

— Хозяин,— проворчала «Эрика», — уж тебя-то я знаю. Ты как раз всю жизнь только и делаешь что впадаешь в уныние то из-за людей, то из-за событий.

— Уж когда я впал в уныние, то это как раз тут, подруга. Сперва на меня пришел начет в тысячу двести рублей, ибо приплыл сюда молодой и красивый лейтенант без продаттестата. Затем у лейтенанта высчитали за пожарную лопату, которую украли с кораблика еще в Беломорске. Затем он узнал, что, пока переплывал все моря-океаны, его невеста нормально вышла замуж.

— Ну, хозяин, уж такой банальности я от тебя не ждала! Ты всегда слабоват в сюжете, но на финалы выходить умел. И докатился до «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть»? Фу!

— Это не я докатился — невеста докатилась. И сколько я тебе уже вбивал в лоб этими вот пальцами, что жизнь и есть самое банальное кино! Толоконный у тебя лоб, старушечья,— точно уж немецкий! Слушай финал. Получил я горестное известие от невесты и закручинился, совершенно позабыв, как это многим мужчинам свойственно, про свои грешки. Да-да, подруга, и про Ниночку в парадной дома номер сто тридцать шесть на Фонтанке, ту, которая столько раз в этом рейсе с тебя пыль стирала, хотя я этой стерве строго-настрою запретил к тебе даже прикасаться. И вот закручинился я от лютой измены и отправился за утешением к официанточке в здешний ресторан «Золотой Рог». Эта официанточка после долгого плаванья казалась мне то Неизвестной Крамского, то Махой Гойи. К сожалению, казалась она такой замечательной не одному мне. И угодил я тут в сокрушительную драку. Сперва Маха велела сидеть в ресторане до закрытия, пока она чеки сдаст и остатки из разных бутылок в одну сольет, а потом выходить и ждать ее у фонаря на набережной. Там, на набережной, у меня и засверкали фонари под обоими глазами, потому что Маха того же наговорила и наобещала еще пятерым морячкам — на то она и Маха. Приплелся я на «СС-4138», взглянул в зеркало и понял, что минимум неделю надо будет отсиживаться в цепном ящике, ибо тут уж никакая бодяга не поможет. По закону подлости утром вызывают к адмиралу — начальнику АСС Тихоокеанского флота. И вызывают, представь себе, старушка, для торжественной церемонии, ибо за безаварийный перегон через Арктику малотоннажных судов Главком ВМС СССР досрочно присвоил мне звание старшего лей-

тенанта. Ну куда мне с такой рожей? Ни на какую торжественную церемонию. Проорал я своему отражению в каютном зеркале: «Служу Советскому Союзу!» Потом запер дверь наглухо и принялся крутить в погонах новые дырочки для третьей звездочки. А ты, подруга, говоришь, что я на финалы выходить не умею! Веди тут себя порядочно, а Новый год опять вместе встречать будем. Ясно?

— Катись, обормот, с моих глаз поскорее, спать хочу,— сказала «Эрика».

И я затащил на ее фанерном, старомодном футляре веревку рифовым узлом.

— Слушай,— уже сонным голосом пробормотала машинка,— кабы невеста не наставила тебе рога, ты бы никогда не стал писателем и остался полным обормотом на веки веков.

— Аминь! — сказал я.

Вечером два буксира тащат к причалу. Ну и местечко для балтийцев нашли дальневосточные братья. Два часа боцман сходню сколачивает через свалку металлолома под бортом.

Торопливо, наскоро прощаюсь с соплавателями, стараясь избежать встречи с Ниной Михайловной, и довольно суетливо покидаю судно и те прекрасные и яростные моря, через которые «Колымалесу» предстоит проплыть.

Едем с В. В. в аэропорт. И как же дурачки устроены моряки! Ведь предложи мне — и я бы пошел домой югом.

Спрашиваю:

— А вы бы, если б не медицина, пошли?

В. В. махнул рукой:

— А черт с ним... Пошел бы!

Ведь клялся, что только в отпуск, только к внучке, к чижу и канарейкам, а сам?

Чудная профессия. Летим над Сибирью. Капитан пыхтит — никак ноги не пристроить. Взяли в дорогу одну бутылку лимонада — дураки! Разве сегодня в сибирских аэропортах чего-нибудь купишь. Буфеты пусты, на каждой посадке из самолета выгоняют в обязательном порядке, включая женщин с детьми,— так, вероятно, пилотам и обслуге спокойнее. А что творится в современных аэровокзалах! Впечатление — как от железнодорожных времен войны. Вповалку на полах женщины и солдаты, старухи и офицеры. В сортир не войти, чтобы даже воды

попить из-под крана, стульчаки забиты, вонь, мразь. На посадке шибка, снег, дождь, ветер, дети режут, но самолет устроен так, что сперва надо загрузить носовую часть, а задние пассажиры запускаются во вторую очередь. Несчастливая мегера-стюардесса расшвыривает несознательных и непонимающих возле трапа; мат, вопли, слезы. О чем наши знаменитые аэроконструкторы думали? Паситесь, мирные народы,— вот о чем...

Летим. Сибирь под нами — страна будущего.

В. В. невозмутимо напевает:

— А я Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля, так развевайся, чубчик кучерявый, так развевайся, чубчик, на ветру...

Меня мучает еще то, что не смог заставить себя попрощаться с Ниной Михайловной. Удрал — как крыса с корабля в полном смысле слова.

Над Омском, где родился Врубель и сидел в мертвом доме Достоевский, делюсь с В. В. переживаниями — как на исповеди.

— Трите к носу, Виктор Викторович.

— Тру, да...

— Полноте, раб божий. Ни на каком «Красном треугольнике» Нина Михайловна не работала. В каком, говорите, году вы, гм, ее?..

— Она меня.

— Не играет роли. В каком году?

— В пятьдесят первом.

— С сорок восьмого по пятьдесят пятый она служила телефонисткой в наших войсках в Германии. Демобилизовалась в звании старшего сержанта. Теперь успокоились?

— Откуда же она знает подробности? Серега Ртахов, танцы в училище?.. Нет, это уже из жизни кроликов, как вы говорите.

— Вы чего-нибудь в рейсе из этой истории писали?

— Да. Когда на Колыме стояли. Ожили, как говорится, воспоминания.

— Ну, вы писали, а она читала. Надоела ей на пятом месяце «Королева Марго». Обычное любопытство плюс одиночество. Она вечно себе новые биографии придумывает.

Камень с моей души рушится уже куда-то на Тюмень, где под нами полыхают от горизонта до горизонта газовые факелы. За каждый такой факел японцы, по слухам,

готовы нам птичье молоко поставлять по пол-литра на рыло.

Над родным Питером — рассвет.

Ладога, Нева, Финский залив — все видно, как на хорошей карте.

Закладываем гигантский эллипс от Пулкова до Кобоны.

Через эту Кобону меня дохлого к жизни везли. Или через Новую Ладогу? Почему-то лайнер закладывает еще один вираж, от Маркизовой лужи до Шлиссельбурга. Появляются стюардессы с натянутыми улыбками, настырно начинают проверять пристяжные ремни.

Короче говоря, шасси не выходит, топливо сбрасываем в окружающую среду.

Вы уже знаете, как высоко я ценю жизненную литературщину.

И потому ясно отдавал себе отчет в том, что такая эффективная точка в конце жизненного пути, как посадка реактивного самолета на брюхо в Неву у родного моста Лейтенанта Шмидта, значительно увеличит интерес к посмертному собранию моих сочинений и вообще редкостно украсит биографию, но тут юмор почему-то испарился и копировать судьбу Экзюпери не захотелось.

— Остров невезения в океане есть,— сказал Василий Васильевич.— Весь рейс нам не хватало удачи; логично предположить, что география кончилась окончательно,— и он щелкнул пальцем по пустой лимонадной бутылке, которая торчала из заспинного кармана кресла впереди.

Эту фразу за рейс он произнес энное количество раз; столько, сколько раз мы застревали во льду. Но на «Колымалесе» мы потом шли играть в преферанс или шешбеш... Сейчас же никакого юмора в его голосе я тоже не обнаружил...

Ладно. Каждому ясно, что ежели все это написано, то с автором ничего плохого не случилось. Увы, в Неву, на горе моим биографам, мы не шлепнулись. Шасси вытряхнулось, и мы нормально вытряхнулись из воздушного лайнера.

## *ПОСЛЕСЛОВИЕ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ АВТОРАМ ПУТЕВОЙ ПРОЗЫ*

Принимаясь за путевое сочинение, необходимо заранее поднакопить запас смелости, который позволит

соединять вещи несовместимые. Например, воспоминания о первой любви с заметками о поведении акулы, когда последней вспарывают на палубе брюхо. Мужество такого рода выработать в себе не так просто, как кажется на первый взгляд.

Мужество такого рода принято называть ассоциативным мышлением. Иногда его определяют как безмятежность в мыслях.

Совершенно необязательно знать, зачем и почему ты валишь в одну кучу далекие друг от друга вещи. Главное — вали их. И твердо верь, что потом, уже по ходу дела, выяснится, к чему такое сваливание приведет.

Как-то, проплывая мимо острова Альбатрос, я вспомнил, что баскетбольная команда на судне носит такое название, потом отметил, что альбатрос — птица, лишенная возможности взлетать с воды. В результате получилась просто отличная глава о том, что баскетбольная команда летать не может.

Несколько раз мне придется настойчиво подчеркивать важность всевозможных знаний, получаемых со стороны. Помни: даже обрывок газеты, попавший в руки, может украсить твой интеллектуальный облик шириной энциклопедичности. Не только газета, но и короткая запись где-нибудь на стенке в местах общего пользования иногда дает сильный толчок воображению. Так было со мной в Лондоне...

Если же попадется на глаза мысль большого ученого или философа, тоже не бросай ее на ветер. Сразу отыщи в своих писаниях самые плоские и скучные эпизоды — а отыскать их не так трудно, как ты думаешь, — и посмотри на них под углом чужой мысли. Затем введи ее в текст, но не грубо. Сделай это нежно. И к твоему удивлению, плоские места вдруг станут возвышенными.

Имени мыслителя сообщать не следует — большое количество имен и ссылок отвлекает и утомляет читателя. Претензий мыслителя можешь не ожидать, даже если он жив. Во-первых, он твою книгу читать не будет, ибо, как гласит латинская мудрость: *aquila non capit muscas*, что может переводиться так: «Значительные люди не занимаются пустяками». Во-вторых, если какой-нибудь подлец наступит мыслителю, то мыслитель ничего поделывать не сможет, так как рассмотрение чего-либо под чужим

углом не плагиат, а один из видов эрудиции. Однако не следует забывать, что может найтись тип, который побывал там, где и ты. Дальнейший спор между вами в широкой прессе о мелких неточностях этнографии хотя и рекламирует обоих, но все-таки действует на нервы. Твердо знай, что на Руси со времен святого Андрея бесконечно переименовывают и по-разному пишут названия не только отечественных географических пунктов, но и все другие. Назови, например, Сингапур «Си-НГ-Пу-Ром», и тебе сам черт не брат, ибо в Си-НГ-Пу-Ре, никто, кроме тебя, не был.

Вопрос источников.

Ну, о том, что при пережевывании чужих книг слюна выделяется даже у совершенно высохшего человека, я и говорить не собираюсь. Страдая острым холециститом, Стендаль плоско заметил, что «банальные путешественники легче вычитывают из книг, чем из действительности». Это верно для Стендаля, но не для тебя. Вычитывать из книг сегодня куда труднее, нежели из действительности, ибо книг в век НТР выходит бесконечное количество. Ведь после изобретения диктофона отпала необходимость даже в знании азбуки. Человек ныне может создавать книги прямо от первого своего мяукания в колыбельке и до самой покойницкой.

Потому-то старайся не забывать, что кроме книг на свете еще есть картины, архитектура, музыка. Если, посетив музей, не обнаружишь в душе ни единой эмоции, немедленно вспомни одну картину или скульптуру, которая за десять тысяч километров от этого музея произвела на тебя впечатление, и опиши ее и его, используя закон ассоциативного мышления.

Неплохо иногда — еще раз подчеркиваю: иногда и в меру — вернуть о знакомстве со знаменитостями. Это придает пикантность.

Опасность большой темы.

Бывают удивительные случаи, когда зрячий человек, сочиняющий путевые заметки, в поездке вообще ничего не видит из реального мира. Его зрачки и белки не косят в стороны древних или новейших красот, а обращены только в центр самого себя. Это называется «поглощение себя большой темой». Человек видит не витрину шикарного магазина в Риме, украшенную к Рождеству, и не пи-



рамиду Хеопса, а особого вида туман. В тумане елозят разрозненные цитаты, строки из чужого письма, варианты и повороты большой темы; те притяжения случайностей, когда со всех сторон внутреннего мира, словно трава на колеса тележки, вдруг накручиваются и накручиваются подсказки, совпадения, открытия, неуклонно направляя мысли автора в сторону его одной-единственной большой темы, которая обнимает его так крепко, как страсть пылкой женщины обнимает ее сердце или как страсть охотника обнимает охотничье сердце, когда на ловца бежит зверь.

Не забывай о том, что писал в начале. Помни: читатель это давно забыл. Не навязчиво, но систематически повторяйся. Это увеличит объем книги и придаст ей некоторую «круглость», в которой может прощупываться библейская даже мудрость: всё на круги своя и т. д.

Если книга провисает по причине отсутствия у тебя художественной наблюдательности, подставляй опоры в виде эпизодов собственной биографии. При этом не следует относиться к своей биографии канонически.

Во-первых, биографии темное дело: ни одного точного жизнеописания не существует. Во-вторых, нет читателя, которому не любопытна биография самого серенького автора, и, уважая читателя, отбросить врожденную скромность подальше. В-третьих, люби и жалея будущего биографа, облегчай ему поиск фактов. Если ты укажешь не совсем ясные направления в будущих поисках, здесь не будет ничего плохого, ибо, как я уже говорил, он все равно не найдет истины.

Еще к этому вопросу: если бы даже было верно, что рассказывать о себе есть обязательно тщеславие, то все же ты не должен подавлять в себе это злосчастное свойство, раз оно присуще всем гомо сапиенс, и утаивать этот порок, который является для тебя, как человека пишущего, не только привычкой, но и призванием. (Приблизительно и довольно робко эту мысль высказал до меня Монтень в XVI веке.)

Опора на биографию в слабых местах хороша еще тем, что, соединяя прошлое с настоящим, дает твоему труду как бы заднюю перспективу, что никак не может являться недостатком, а скорее — совсем наоборот.

Рассказывая о героических поступках, совершенных тобою в жизни, будь осторожен. Например, вспоминая,

как ты поднял в атаку батальон, когда его командир засел в кустах, как бы посмеиваясь и над собой: сразу, например, сообщи, что вообще-то с детства боишься темноты или мышей. Читатель больше полюбит тебя, если ты чаще будешь демонстрировать свои мелкие слабости. Короче, тут следует быть хитрым, тонким и пропорциональным. Еще короче: кокетничай, но не очень уж виляй бедрами.

Не упускай из виду задачу, ведущую книгу к успеху. Я имею в виду именно задачу влюбить в себя читателя. И так как большинство читателей любит животных, когда читает о них в книгах, а не тогда, когда их надо водить к ветеринару или мыть; и так как в поездке по земле, воде и даже по воздуху еще не миновать встреч со зверями, рыбами, птицами, защищай фауну и флору — это модная и беспроегрешная тема. В путевые заметки полезно всадить все, что ты накопил за жизнь в наблюдениях за кошками, как за наиболее распространенными и доступными для наблюдения животными. Здесь не скупись, не оставляй ничего про запас: выпотроши себя, выверни наизнанку родственников, вытрясси знакомых.

В тех местах, где ты ненароком задел действительно сложные вопросы современности, то есть почувствовал под ногами бездонную трясику, отметил свою неспособность не только что-либо понять, но и просто сообщить читателю меру сложности, переходи на юмористическую интонацию. Этим дашь понять вдумчивому читателю, а такие тоже бывают, что кое-что мог бы сказать тут и всерьез, но по ряду известных ему и тебе причин этого не делаешь.

Теперь. Есть мнение, по которому ценность художественного произведения пропорциональна своеобразию и цельности авторской личности. (Последнее слово по последней моде даже пишут с прописной буквы.) Рассказывают, что в мире существуют тысячи великолепных путевых книг, картин, стихов, мюзиклов, которые выше даже самых высоких произведений общепризнанных гениев. Их авторы в свой звездный час вознеслись даже выше Александрийского столпа. Но если они вознеслись даже и без помощи водки или морфия, вознеслись вполне порядочным путем, то им, этим удивительным неудачникам, все равно никогда не удастся занять ячейку в памяти человечества. Почему? Потому, что бог дал им способности, но не дал значительной личности. Не забывай

примера этих несчастных! И не унывай! Сделаться уникально-неповторимым можно каждому. Что такое полнейшее отсутствие личности в личности, как не высший вариант цельности? Личность следует выдавливать из своей души, как Чехов выдавливал из себя раба, то есть капля за каплей. И нет человека, которому, если он постарается, такое не удастся на сто процентов.

Да, о вопросах вечности, пространства и времени. Разлика три-четыре помяни космос, безбрежность прошлого и будущего — иначе не поднимешься над уровнем среднего писаки. Но, достигнув вершин, не давай им сливаться в монотонную горную гряду или цепь. Вспомни конференсье. Он разделяет эстрадные номера, их высокое искусство своей трепотней. Он не дает слиться концерту в сплошную бурду из борща и сметаны. На фоне борщевой пошлятины сметана плавает белоснежным, как чайка, океанским лайнером.

Поняв философский смысл эстрадного конференсье, склони свою пижонскую писательскую голову перед ним.

Когда путешествие или в патуре или в тебе самом вдруг закончится, а книга все еще не придет к концу, начинай грызть кости чужих путевых произведений. Выбери тех авторов, с которыми давно хотел бы свести счеты. Здесь для камуфляжа приоткрывай и некоторые свои технологические, писательские слабости и тайны. Помни: уровень развитости современного читателя растет пропорционально телевизионной сети и числу телепрограмм; слова Ницше, что нахватанность убивает не только письмо, но саму мысль, — реакционный бред; телевизионная грамотность порождает десятки тысяч людей, которые сами не прочь стать творцами. Если такая аудитория хочет взглянуть на писательскую кухню, то не скупись, открывай холодильник, хотя вполне возможно, что он у тебя пуст.

И самое последнее. Никогда не называй путевые заметки путевыми заметками. В таком определении жанра есть что-то старомодное и обкатанное. Литературоведы-теоретики аллюром три креста галопируют мимо всяких разных путевых заметок. Потому назови свое творение «авторассказом», или «биороманом», или «автобиоповестью» — и твое дело будет в велюровой шляпе, ибо лучшие теоретики создадут тебе почет и рекламу — их же хлебом не корми, но дай порассуждать о суперсовременных литформах. Дай им эту возможность, дай!

А читатель... Что ж, читатели! Никто его не понуждает читать и глотать варево с нашей кухни. И, пожалуй, именно в этом — читать или не читать твою книгу — современный научно-технический человек действительно свободный и независимый человек...

Конечно, сейчас я, в первую очередь, издеваюсь над самим собой. И делаю это от страха и слабости. Ведь издевательство над самим собой есть один из видов самоутверждения, а мне необходимо утвердиться, ибо впереди опять большая работа и дальняя, совсем незнакомая дорога. Но парадокс в том, что любое самоутверждение раздражает окружающих и читающих. Потому раздражает и самоиздевательство — иногда даже больше, нежели открытые похвальба или самореклама.

Издевательство над самим собой опасно еще и тем, что можешь ненароком забыть о самоуважении вообще. Но люди, потерявшие способность или умение уважать себя, например мужчины ранним утром в очереди за пивом, легко впадают в панибратство. Панибратства же не терпит ни один просвещенный человек на свете. Я уж и не говорю о зубоскальстве, которое есть, как это давно известно, порок побежденных, а не признак здорового и мощного духа...

По мировому книжному рынку катится волна автобиографий, украшенная пеной дневников и мемуаров. Ветер века тянет в дымоход исповедальности, в субъективизм и самообнажение. Молодые бездельники обнажаются уже и натуральным образом на улицах Лондона и Парижа. Уже и специальное слово для них появилось — «стриккеры». Субъективность и субъективизм объясняются реакцией на онаучивание современной жизни. «Чем больше технократы во всех областях будут навязывать якобы объективные ценности, тем субъективнее будет литература» (Петер Херлинг, «Акценте»).

Они, они — технократы — виноваты в моей сумбурной субъективности, в потере мною цельности, если, конечно, она когда-то была.

Это у них, технократов, есть мнение, что необнаружение до сих пор сигналов других цивилизаций свидетельствует о неизбежности гибели любого эволюционного процесса, любой жизни во Вселенной.

Но взгляните на одинокую волчью звезду над океаном.

Разве о смерти она?

# Рассказы

„с некоторыми странностями“

## Хангра

Много-много лет назад на сухогрузном речном теплоходе я пришел в Архангельск. На берегу первым делом купил с десяток газет, журналов и расположился впитывать свежую информацию в сквере недалеко от улицы Павлина Виноградова.

В сквере ремонтировали дорожки, и скамейки были сложены в кучу. Оставалась одна — в запущенном, глухом уголке.

Листва кленов уже желтела, а тополя и липы были зеленые, но тусклые от городской пыли. Кусты окружали скамейку. В кустах стояла похожая на скворечник сторожка. К ее стене прислонились лопаты и ломы. С улицы приглушенно доносился лязг трамваев и гудки машин. Никого в сквере не было, и я спокойно читал газеты, сидя на единственной скамейке, а по дорожке прыгали воробы.

Впереди ожидал меня еще целый свободный вечер, поход в ресторанчик с друзьями, посещение почтамта, какие-нибудь, как всегда надеешься, хорошие письма. Потом мы должны были отправляться в Арктику.

Газетная бумага то светлела, то темнела, потому, что по небу все бежали частые облака, очень белые сверху, но темные, дождевые снизу. Скоро по листьям ударили первые капли. И я залез в сторожку. Там пахло сухим деревом и было приятно читать под шум дождя, еще не холодного, еще летнего дождя. Я и не заметил, как он прошел, когда услышал мужской голос:

— Он укусил астру! Вы видите: он кусает красную астру! Берегитесь его, бродяги!

На моей скамейке сидел мужчина средних лет и разговаривал с воробьями. Я хорошо видел его в маленькое окошечко сторожки.

— Большущий кот! — сказал мужчина воробьям.— Он кусает астры только так, для вида, а сам подбирается к вам!

Стайка воробьев, не обращая внимания на предостережение, прыгала по мокрой дорожке сквера. Самые беспечные плескались в большой луже у куста чернотала.

Белый с рыжими пятнами кот метнулся на дорожку сквозь жухлые листья куста.

Шурхнув крыльями, разметались кто куда воробьи и сразу принялись звонкими голосами ругать кота.

Кот попал одной лапой в лужу и досадливо сморщился.

— Они обвели тебя вокруг пальца,— сказал мужчина коту и покрутил на указательном пальце крышку спичечного коробка.— Они натянули тебе, сорванцу, нос...

Кот дрыгнул лапой и, вихляя узким задом, скользнул обратно в высокую мокрую траву газона.

Мужчина заглянул в нагрудный карман своего пиджака и вытащил из него папиросу. Очевидно, это была последняя папироса. Мужчина вывернул карман, вытряхнул из него табачные крошки и трамвайные билеты. Потом закурил.

Мне тоже хотелось курить, но я почему-то боялся обнаружить себя. Мне казалось, что это будет неприятно мужчине. Я видел его худощавое лицо, волосы, налипшие на лоб. Складки на брюках совсем пропали от влаги, парусиновые туфли были в песке.

Я люблю отгадывать профессию человека по его виду, но здесь все никак не удавалось подобрать дело, которым он занимался в жизни. У него были широкие плечи и большие руки.

Листва от дождя зазеленела весело. Облачка просветлели и торопились куда-то к морю. По одному, робко упали на дорожку давешние воробьи. Но еще качались покинутые ими веточки, когда заскрипел под чьими-то ногами мокрый гравий, и вся компания опять вспорхнула.

Шла женщина.

Когда она поравнялась со скамейкой, мужчина сказал:

— Там дальше тупик. Дальше некуда идти.

Но женщина сделала еще несколько шагов, выскивая что-то взглядом. Ей было лет двадцать пять. Обыкновенная молодая женщина в легком плаще.

— Садитесь,— мужчина показал ей место рядом с собой.— Эта скамейка последняя осталась.

Женщина поколебалась.

— Я не ем человек, — сказал мужчина. — А если очень мешаю вам, то уйду.

Женщина села. Она ничего была в профиль, лучше чем в фас.

— Нет, вы мне не мешаете, — сказала она, достала из сумки книгу и положила ее на колени.

— Этот белый сорванец опять спрятался за куст, — сказал мужчина и кивнул на белого кота. Он сказал это так, как будто он был давно знаком с этой женщиной, а она знала все, что давеча произошло с воробьями и котом на этой дорожке.

Женщина удивилась, быстро глянула на соседа, сразу же отвернулась и натянула на кисти рукава жакета. Ей было, наверное, прохладно.

Мужчина стал раскручивать папироску, но неудачно — кончик отвалился, за ним просыпался и весь табак.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул мужчина и дунул в папиросный мундштук. — Черт! — добавил он после паузы. — Когда-то в детстве я умел делать из таких пустых гильз свистульки. Все забывается. С годами.

Женщина отодвинулась на край скамейки и раскрыла книгу. Мужчина замолчал и долго смотрел, как вываливаются из-за вершин деревьев легкие облачка. Женщины несколько раз неприметно отрывалась от книги и рассматривала соседа.

— Если залезть в траву, вот как этот кот, то оттуда все будет казаться совсем зеленым, правда? — вдруг спросил мужчина. Он по-прежнему разговаривал с незнакомкой так, будто давным-давно знал ее.

Женщина пожала плечами и хотела отодвинуться еще дальше, но было уже некуда.

Мужчина заметил это и смущенно махнул рукой.

— Честное слово, я не хотел вам... помешать, что ли... Просто так славно все здесь после дождя...

Женщина перевернула страницу.

Ветер качнул вершины кленов. Они зашелестели. Ветер спустился ниже, зарябил по лужам, и сразу громче раскричались в сквере воробьи.

Мужчина смотрел на свою соседку и водил по губам пустой папиросной гильзой.

Она обернулась.

— У вас говорица едва держится на обшлагае, — тихо сказал он. — На правом... Вы можете ее потерять.

Женщина решительно выпрямилась и захлопнула книгу.

— Какое вам дело до моей пуговицы, гражданин? — спросила она.

— Простите,— сказал мужчина, смутился, встал и пошел прочь...

Свое сидение в будке я зафиксировал на бумаге и вставил в путевые очерки. Они были напечатаны в журнале. Не могу сказать, что кот, кусающий только для вида астру, ловкие воробьи и мужчина, который носит папиросы в нагрудном кармане пиджака, вызвали восторг читателей. Из книги же, позднее, редактор просто выкинул этот эпизод. И правильно сделал. Однако нет ничего на свете, что не имело бы продолжения.

Года два спустя я получил пакет из института, носящего имя великого русского психиатра. Честно говоря, я не торопился вскрывать пакет, потому что уже получал письма, в которых содержались прозрачные намеки на состояние моей психики. Один доброжелатель, например, подсчитал, сколько раз я в одной повести употребил слова «красные пронзительные огоньки». И пришел к выводу, что я, как и Гаршин с его красным цветком, кончу в полете лестницы. Совет тот, кто скажет, будто ему приятно получать такие предсказания.

В пакете оказались письмо и рукопись.

Письмо написал мне врач-психиатр. Он длительное время лечил Геннадия Петровича М., которому принадлежала рукопись. Геннадий Петрович страдал манией одиночества. Он был уверен, что находится внутри большой рыбы, кита или кашалота,— как пророк Иона.

Честно говоря, до этого письма я знал о пророке Ионе только то, что прочитал о нем у Мелвилла. Автор «Моби Дика» относился к пророку с иронией. Он отказывался верить в то, что Иона сидел в брюхе живого кита. В крайнем случае Мелвилл помещал Иону в китовую пасть. Но в брюхе дохлого кита пророк, по мнению главного китового специалиста, сидеть мог, «подобно тому, как французские солдаты во время русской кампании превращали в палатки туши павших лошадей, забираясь к ним в брюхо». Так писал Мелвилл.

Первопричиной душевной болезни Геннадия Петровича были травмы, полученные в автомобильной катастрофе. Врач сообщал, что Геннадий Петрович хранил вырезанные из журнала страницы с моим очерком, и пояснил,



что мужчина в архангельском сквере — он. Потому врач и выслал рукопись мне.

Геннадий Петрович был инженером, специалистом по автоматизации каких-то процессов в радиотехнической промышленности. Пробовать писать он начал в травматологической больнице, где после аварии провел около года. Очевидно, понимал, что возвратиться к нормальной работе он уже никогда не сможет, и искал новое занятие для себя. Во всяком случае, не тщеславное желание возбудить участие или удивление или увековечиться в памяти потомков водило его рукой.

Соблазн отождествлять автора с литературным образом, особенно если рассказ ведется от первого лица, бытует в читающей публике уже давно, с тех пор как эта публика появилась. И необходимо подчеркнуть, что, хотя рукопись Геннадия Петровича не может не носить следов моего пера, отношусь я к Геннадию Петровичу, как Лермонтов к Печорину, — бог меня прости за такие параллели!

Истинный автор и герой рассказа умер седьмого сентября шестьдесят шестого года. Название я сохраняю авторское: «Хандра».

«Деревянный двухэтажный дом стоял в снегу, среди старых елей. В легких летних верандах окна были синими от изморози.

Мне дали светлую, теплую комнату. И это было хорошо. А особенно хорошо было то, что комната квадратная. Мне нужна симметрия.

До обеда оставалось еще часа два, и я пошел прогуляться.

Пал снег. Ветра в лесу не было. Высоченные старые ели ловили снежинки складками коры, ветками, каждой хвоинкой. И все стало белым, обвисло, опустило плечи под тяжестью снега. И вдруг какая-нибудь ветка вздрагивала, снег падал с нее, ветка радостно взмахивала над угнетенными подругами. И казалось, взлетела большая птица.

Однажды я услышал в лесной тиши гитарный звон, долгий-долгий. И не сразу понял, что это упавшая с дерева льдинка задела где-то провода.

С детства я боюсь леса, хотя люблю каждый лист, травинку, ягодку и муравья. Не заблудиться боюсь, или нападения, или страшного зверя. А ощущаю лес живым единым организмом, с разумом. И лес смотрит на меня

неодобрительно, потому, что я глубоко чужд ему. Он дышит и шевелится не в такт с моим дыханием и движениями. Между тем говорят, что подружиться со зверем может только тот дрессировщик, который дышит со зверем в такт.

Слишком я занят собой в лесу. Он обостряет чувства, и я быстро устаю от их интенсивности. И от количества мыслей, мелькающих без системы и плана. Это даже не мысли, а обрывки мыслей, мечтаний, воображений, воспоминаний. И неожиданные, точные догадки, даже озарения, связанные с работой. Все это беспорядочно и густо замешено.

Я слишком становлюсь самим собой. И поворачиваю, укоряя себя за неумение быть с природой внутри нее, неумение обойтись без людей и книг, от которых ушел с удовольствием. И знаешь: пробудь в лесу дольше, и важные, точные решения, связанные с жизнью и работой, озарят. Но поворачиваешь к обжитому, к людям.

Никто без важного дела не надоедает действительно замкнутым, молчаливым личностям. А ко мне, даже если я настойчиво отстраняюсь, люди пристают. Они чувствуют мою зависимость от них. Я срываюсь на грубость и паживаю врагов, а это утомительно. Я не люблю иметь врагов, я не Дон-Кихот.

В тот раз я не повернул обратно. Мне после травмы следовало дышать свежим воздухом, надо было заботиться о физическом состоянии организма. От слов «организм», «симпозиум» меня начинает мутить. Но я заставил себя думать о здоровье и в одиночестве пошел дальше по зимнему лесу. Это было смешно, потому что уже в юности мне стало казаться, будто я стар и неизлечимо болен и никакой свежий воздух, рационы, режимы, ограничения в вине или курении мне не помогут. И я никогда не берег себя: все, мол, уже поздно. Это, между прочим, очень российское качество.

Но женщина, которую я любил, не соглашалась со мной. Она хотела, чтобы я думал о длинной, здоровой жизни. Мы встретили с ней однажды котенка в зимнем лесу и гнали его к деревне по глубокой снеговой дорожкой колее. Он был уже не очень маленький, но глупый. Белый, испачканный углем, с розовым носом. Мы боялись, что он заблудится и замерзнет или его схапает лесной зверь. Он неохотно бежал перед нами и часто огля-

дывался. Мы смеялись. Нам было хорошо тогда. Ее смех наполнял весь лес. Лес признавал ее своей.

Я шел зимним лесом совсем один.

Старые ели сменились соснами, молодыми, растущими густо, отчего ветки их торчали вверх, и лес поскущел, потерял в сказочности и таинственности. Наст под соснами был гладкий, укрепленный ветрами. Но и на этом насте виднелись вмятины от комков упавшего с веток снега. Тучи извивались вяло, как махорочный дым.

И я заметил тишину. Тишину, от которой зазвенело в ушах. Оказывается, я заметил тишину, потому, что она исчезла.

Два тяжелых танка вывернули из-за поворота. Они были по-боевому задраены, без видимых людей. И неслись прямо на меня в облаках снежной пыли. Не хотелось отступать на обочину, в сугроб, набивать снег в ботинки. И я сделал еще несколько шагов, рассчитывая на деликатность водителей. Но танки сокрушительно перли прямо на меня и передний пипикнул неестественно тоненьким голоском, требуя пространства. Я отступил. Снежная пыль, грохот и солярный выхлоп взвихрились вокруг. И очень скоро все опять затихло в лесу.

— Не надо было отступать,— обязательно сказала бы мне женщина, с которой когда-то мы гнали котенка к деревне.

— Вам следует вернуться в пятый класс,— буркнул бы я.

— Они бы свернули, надо было немного помедлить.

Конечно, если бы она вдруг явилась, то могла бы спросить, почему я здесь и как себя чувствую после аварии. Но она только смеялась, что я испугался танков. Когда-то она водила меня по тонкому льду Финского залива. Она видела, что я трушу, и специально уводила дальше и дальше от берега. Все это было. Финский залив, ледяной слабый припай, ветер...

Теперь ее сын учится уже в восьмом классе и занимается музыкой.

По широким следам танков шагало быстрее, и я запарился. Сосняк кончился, к дороге склонились через канавы старые ветлы. Их тонкие ветки не удерживали снега, верхушки деревьев были цвета охры, пушистыми, легкими. Отмершие нижние сучья ржавились заскорузлыми лишаями.

Слева за ветлами виднелась равнина с редкими перелесками, справа темнели свежие земляные обвалы. И сперва почудились в этих обвалах и отвалах следы войны. Но это оказался карьер.

На отвороте к карьере стоял человек. Он был в ватнике, ватных штанах, валенках с галошами и солдатской ушанке.

— Эй, чего делаешь? — спросил он, когда я подошел.

— Гуляю.

— А я машину жду, оказию, к шоссе, к автобусу, в город.

Он был небрит и отменно некрасив. Длинный нос — хобот, штук пять железных зубов; морщинистый, но еще не старый. Пахло от него пропотевшей одеждой и давно не мытым телом.

— Ну и что? — спросил я. Хотелось отделаться.

— Пойдем вместе. К шоссе, — решил он.

Я понял, что он будет много говорить. Разговор, согласно пословице, сокращает дорогу. А я очень не люблю, когда, например, едешь в такси и попадается разговорчивый таксист. Особенно если рассказывает он вещи тяжелые, о несправедливости, например, и как бы ждет от тебя помощи. Чужие несчастья расстраивают меня не меньше собственных. Но не скажешь чужому человеку: «Помолчите!» И я вытащил сигареты, чтобы угостить попутчика.

— Нет, не курю, — отказался он и забормотал сиплым голосом, что робит в кочегарке при санатории, дым вонючий задувает, пылюка от угля, кашля, грудь табака не принимает; всю жизнь рабочий, хотя землицы есть несколько соток; теперь жизнь хорошая: хата, где обогреться, есть, картошка есть, а где картошка — там и кабан, а что еще надо?..

Слова его разделялись матерщиной, неясным бормотанием и даже мычанием. Я понимаю такую речь, хотя она не доставляет мне удовольствия. Он чувствовал, что я понимаю, и продолжал говорить и говорить.

— Ну, чо, воевал с сорок первого ить до сорок шестого, ить вернулся, а детишек четверо, ить хлеба один кусок на усах, назавтра робить пошел, ить раны ще болели...

Он не жаловался, наоборот, несколько раз повторил, что жизнь делается лучше и главное: чтобы опять не было войны — «страшного дела».

У нас считается, что русский солдат на войне работает, воспринимает ее как страшный, тяжелый, но труд. Труд по сохранению своей жизни и уничтожению противника. Труд по созиданию мира через войну. И мы даже обратной связью теперь называем широкую, большую работу «фронтом», а руководство — «штабом». Может, это и полезно, но мне иногда тошно слушать про войну как труд и про труд как сражение.

Попутчик мой замолчал наконец.

Ветерок несильно дул нам в лица, дышал надвигающейся оттепелью и доносил громкий ор ворон. Самих птиц ни в небе, ни на ветлах видно не было...

Несколько машин с прицепами, груженные гравием, обогнали нас. Попутчик голосовал робко. Поднимал руку, когда ясно было, что машина уже слишком близко, что шофер тормозить поленится. И сразу находил объяснение шоферской лени или безразличию: то, мол, прицеп вихлял, то подъем крутой, то уклон скользкий. Чувствовалась в нем какая-то привычная, извечная забитость и полное неверие в свое право на «автостоп».

А мне тоже очень трудно бывает голосовать. И наше сходство в этом раздражало меня. Вернее, раздражало, как он все оправдывал свою робость, приговаривая, что «шофера, как все люди, — разные».

Так мы и дошли до шоссе и увидели дымок и снежную пыль за автобусом. Ждать следующего надо было час. Но попутчик и здесь переживать не стал. Сказал, вздохнув:

— И в автобусе разные люди ездют...

И наконец поинтересовался мною: с какого года? воевал? женат? И сперва не поверил, что я холостой. Но потом убежденно сказал, что это дело наживное — было бы здоровье и талант в руках, а годы мои — еще самый расцвет жизни...

Удивительно он это сказал. С таким добрым желанием и верой в мое хорошее будущее, что я будто снежный душ принял.

Мы попрощались за руку. Я снял перчатку, он этикет соблюдать не стал, и я пожал ему мокрую тряпичную рукавицу.

Я был благодарен ему за добрые слова. И зашагал обратно, мимо виденной уже березовой рощи, елочек снегозадержания, ям карьера, старых ветел... Только весь пейзаж изменился, засверкал и заискрился блестками инея в воздухе, потому что солнце просветило тучи. В раз-

рывах туч показалось мартовское, левитановское небо. Тени деревьев переплелись на снегу в кружево, и хотелось тени потрогать руками — так выступали они из белизны снега. А хвоя старых елей стала темной, как древнее серебро.

И вдруг я увидел лисицу, настоящую, живую, свободную. Лиса тоже увидела меня и замерла на обочинном сугробе, поджав к груди переднюю лапу. Она была, конечно, хищная, но такая живая и ослепительно рыжая, освещенная солнцем, среди белого снега и синих теней. Я вздрогнул, когда увидел ее, и тоже замер. Но потом не сдержал себя и поднял руку в молчаливом приветствии.

Лисица длинными неторопливыми прыжками пересекла дорогу близко передо мной и исчезла.

Пожалуй, я был счастлив тогда, среди зимнего солнечного дня один на один с лисицей.

После обеда все участники симпозиума спустились в холл смотреть по телевизору фигурное катание. Я немного опоздал, не сразу нашел свободное место и некоторое время оставался на виду, испытывая от взглядов коллег стеснение, смущение и даже страх.

Почему это? Почему мы так плохо чувствуем себя, оказываясь под взглядами чужих людей? Ведь уже тысячи лет мы живем и смотрим друг на друга — можно уже и привыкнуть не стесняться. Вероятно, мы подсознательно понимаем, что все мелкое, гадкое, трусливое отпечаталось в нашем внешнем облике; и вот начинаешь мельтешишь, закуривать, пить воду, то есть пытаешься набросить на себя маскировочную сеть.

Или же это чувство неловкости — пережиток далекого, дикого времени, когда чужой взгляд означал удар в спину, схватку, гибель? Когда выигрывал тот, кто видел, а его не видели? И страх перед чужим взглядом сохраняется в нас тысячелетиями?

Сначала ощущение неловкости, оставшееся после моего топтания посередине холла, мешало мне проникнуться красотой зрелища. Мне не приходилось раньше видеть ни танцы на льду, ни фигурное катание, хотя я много слышал хорошего о новом увлечении. Просто у меня нет телевизора.

Некоторое время я с досадой отмечал, как мгновенно менялись участники чемпионата, когда их выступление заканчивалось и они оставались без искусства, мастерства, творческого возбуждения.

Но вот я начал волноваться за выступающих. Когда вдруг кто-нибудь падал, я невольно про себя говорил: «Милый, ну ничего-ничего, не расстраивайся! Не плачь, всё вы еще так хороши, молоды, впереди будет вам большая удача!» И композиторов я утешал. И Сен-Санс, и Моцарт, и Бриттен казались мне добрыми дядюшками или дедушками, которые выводили на скользкий блеск ледяного поля племянников и внучек, сопровождали их в каждом движении.

Очень хорошо еще было, что соревнуются девушки и юноши из разных стран Европы. Когда объявляли их национальность, то сразу возникали за ними Рим и София, Париж и Прага. И образы этих городов как бы отражались на льду.

Это был нежный и мужественный мир. Волновало еще, конечно, и то, что всегда волнует в балете,— женская обнаженная, подчеркнутая даже костюмами, красота. Это сложное волнение так же далеко от похоти, как решительность далека от нахальства. Оно рождает на мгновения веру в мечту, и мне казалось, что впереди еще ждут меня и живая красота, и даль незнакомых стран, и счастье.

Мешали мне соседи. Один, как потом оказалось — охотник, предсказывал баллы, которые выкинут судьи. Он торопился, чтобы кто-нибудь другой не опередил его. Другие шутили, и часто получалось грубо:

— Вот пара — как швейцарские часы открутили!

Это после выступления швейцарцев.

Или:

— У них пять ног на двоих!

— Ну, такой бабе только штангу поднимать!

Это говорилось без злобы или злорадства — так просто.

Я знаю, красота, особенно если смотреть на нее не в одиночестве, вызывает в нас желание ее принизить. Быть может, нам делается заметна собственная некрасивость, наша далекость от искусства, и мы острым, снимая этим душевную обиду. Или же показываем знание закулисной стороны зрелища. И такой знаток тоже был. Он объяснял нам пазвания отдельных движений и как они влияют на формирование костей в детском возрасте.

Он объяснял про кости и тогда, когда одна девушка из Западной Германии с таким озорством и лукавством станцевала русский танец, что мы даже захлопали.

Девушка танцевала на бис, очень устала. И вообще многие уставали, вероятно, так глубоко, как устают птицы над океаном. Девушки опускались на скамейку, как перелетные птицы на мачту встречного судна. И коньки им торопливо отстегивали мамы, тренеры или, может быть, влюбленные.

О том, кто с кем из выступающих живет, тоже высказывались предположения. И я вдруг подумал, что должен остановить товарищей, что они убивают своей пошлостью не только красоту, но себя в первую очередь обворовывают. Однако смешно было говорить такие прописные, старчески брюзгливые истины интеллигентным людям с высшим образованием. И как будто я сам никогда не острил глупо, когда красота стесняла мне душу!

За ужином немного выпили, чтобы закрепить знакомство. Я не должен был пить, но боялся обратить на себя внимание. От водки сразу сдавило виски.

Руководитель семинара сказал о распорядке первого рабочего дня.

— Каждый день будет у нас иметь сюжет, — сказал руководитель. — Почему нынешним чемпионам дали первое место? Потому что у них есть сюжет. Женщина от кавалера как бы уплывает, но опять возвращается. И у нас каждый день будет иметь начало, середину и конец...

На тему о том, что женщина уплывает, но опять возвращается, рассказали несколько анекдотов.

Когда анекдоты исчерпались, перешли на политику. А я молчал и тем обратил на себя внимание.

— Вы осторожный человек! — с понимающим смешком сказал самый молодой. — Конечно, спокойнее помалкивать!

Он хотел сказать, что я трус. Я действительно боюсь паспортисток, домоуправа, дворников, но, мне кажется, в концлагере я бы вел себя достойно.

Голова болела ужасно, застолье было невыносимо, и я ушел на воздух.

Дорога только смутно белела, старые ели вздыхали, и слышалась невнятная капель. Мне хотелось сказать: «Мама, возьми меня отсюда!» Я шептал так несколько десятков лет назад, когда попал в детскую комнату при милиции и мне там крепко всыпали. Стало смешно: я вспомнил, что и мне было любопытно, кто из фигуристов муж и жена и кто нет.



Просто пока я не познакомился с человеком поближе, я вижу в нем собственные недостатки, как через увеличительное стекло. И раздражаюсь. Так было всегда, но теперь, после аварии и травмы, это обострилось. Люди вокруг — отличные специалисты. И через несколько дней я увижу, что пошлость в них наносная, а биографии значительные. И сам я стану нормальным, буду произносить не всегда нужные слова и совершать не всегда нужные поступки. Все станет на места. Нужно немного потерпеть.

Я тихо шел в ночном лесу, фонари возле дома уже стали не видны. Шорох капли нарастал и говорил о весне, хотя весна должна была наступить еще не скоро. Небо казалось светлее леса — наверное, над тучами взошла луна. И я тихо назвал по имени женщину, с которой когда-то мы гнали по колее котенка. И она пришла. Она всегда приходила, когда я так звал ее. Мы взялись за руки и долго стояли молча, чтобы не тревожить лесную ночь. Да нам и не хотелось говорить.

Быть может, она всегда оставалась бы со мной, если б я мог воспринимать ее как саму жизнь, а не как украшение жизни.

Я ходил по лесу целый час, чтобы в доме все легли спать, чтобы не видеть никого при возвращении. И женщина была со мной.

Когда уже показался слабый свет фонарей, вернее отблеск на снегу между деревьями, впереди раздался голоса и появились две фигуры, квадратные от тяжелых пальто.

— Сюда! — шепнула она. И потащила меня с дороги в сугробы. Снег сразу набился в ботинки. И в сугробах остался рваный рыхлый след.

Я отошел шагов двадцать и замер в темноте, под старой елью, как та рыжая лисица, которую я встретил днем. Моя попутчица прижала палец к губам, платок с ее головы сбился, волосы растрепались, и сквозь волосы блестели звездным, сильным светом ее глаза. Потом она засмеялась и, чтобы не было слышно, закусила варежку. Я тоже смеялся. Я стал таким же молодым и озорным, как она.

Голоса приближались.

— Кормят вполне прилично, и шеф не очень работу любит, — говорил один.

— Так-то оно так, но... Смотрите! Конечно, здесь водятся лоси! Следы! Я-то охотник, нас не проведешь! Здесь свернул с дороги лось-двухлеток...

— Это мы — лоси. Мы один общий двухлетний лось! — шепнула женщина, которую я любил. С елки падали капли и древесная мелочь. Запах оттаявшей хвой наполнял ночь.

Коллеги на дороге не предполагали, что мы прячемся так близко. Они поговорили еще о том, какие дурные у нас на Руси сортиры, и помочились на обочину дороги.

Я вернулся в номер, растер промокшие ноги одеколоном и выпил воды. Потом прилег, закурил и включил репродуктор.

Передавали оперетту «Девушка с синими глазами». Я ничего не понимаю в музыке, но тут мне показалось, что веселыми голосами поют панихиду. Надо было принять валерьянки и снотворного. Во мне росла ночная тревога, предчувствие кошмаров, страх одиночества.

Я думал о спящем вокруг лесе, снежных полях, тихих деревнях, ночных шоссе, одиноких машинах. Я представлял наш старый деревянный дом с летними верандами. Вот он стоит, весь темный, и только в моем окне — свет. Поскрипывают балки на пустом чердаке, чуть слышно звякает отставший лист железа в желобе крыши...

Обычно деревянный дом в лесу будит в моей душе спокойное, дачное ощущение, но тут вдруг показалось, что я в далеком чужом аэровокзале, застрял из-за нелетной погоды, сижу уже несколько суток, противны стали буфет, зал ожидания, газетный киоск...

Я прикурил очередную сигарету и почему-то поднес огонек к волосам на руке. Запахло паленой шерстью. Я удивился глупости, которую делаю.

И опять увидел ее. Она сидела в кресле под окном, уперев босые ноги в батарею отопления. Я встал и растер ей ступни остатками одеколона. Так однажды было. Давно.

— Уезжайте,— сказала она.

— Будет глупо выглядеть,— сказал я.— Придется выдумывать причину для отъезда, врать. Я не хочу врать.

— И не надо. Так и скажете: «Мне здесь больше невозможно. Я уехал. Мне следует вернуться в больницу».

— Уедемте вместе,— попросил я.

— Вы сами знаете, что вам лучше быть одному,— сказала она.

— Всегда?

— Да,— сказала она и пошевелила пальцами на тепловой батарее.

— Еще болят? — спросил я.

— Нет. Уже блаженно. А ваша рука?

Место, где я опалил волосы, болело, но не сильно.

Дождаться утра не было смысла — дорогу к шоссе, к автобусу я знал после дневной прогулки и проводов кочегара. Я написал записку руководителю, собрал чемодан и ушел.

В ночном лесу, как всегда, нечто жило, смотрело на меня. Обочины дороги различались плохо, я много раз сбивался в снег и опять промочил ноги. Но дышалось хорошо, головная боль прошла, думалось интересно и странно. Я размышлял о том, что если на теле людей еще растут волосы, то, значит, мы недалеко удалились от диких предков. И если в душе живет атавистический страх перед ночным лесом, то, значит, мы еще очень молоды. А когда мы повзрослеем, жизнь, может быть, станет праздником, сплошным ликующим праздником, как зрелище танцев на льду. И черт с тем, что это будет уже без меня».

Школьник убежал с урока, студент — с факультетского собрания, инженер или ученый — с симпозиума, потому что хандра. Ну и что? Тут главное знать: куда убежал?

Геннадий Петрович убежал в кашалота.

Известно, что сам черт бессилен перед человеком, который еще способен смеяться. Но Геннадий Петрович потерял юмор. Ему было страшно от мысли, что каждый день, когда не было праздника развития или углубления духа,— потерянный день. Ему казалось, что с возрастом количество таких дней только растет и растет. И что он видит вокруг себя все больше и больше дураков. В заметках он ссылаясь на высказывание доброго, мудрого, спокойного врача прошлого века, который заявил, что научился без раздражения смотреть на важно расхаживающих дураков только тогда, когда ослеп на один глаз. Доктор, судя по этому высказыванию, сохранил юмор, даже ослепнув на один глаз. Геннадий Петрович заболел серьезнее. Он не заметил юмора в словах доктора. «Разве можно быть нормальным человеком, если у тебя один глаз и ты живешь в жизни, а не в романе Стивенсона?» — записал Геннадий Петрович на полях.

Я промучился с его рукописью целую ночь — ужасный почерк. Интереснее всего было: действительно ли мужчина в архангельском сквере и Геннадий Петрович один и тот же человек? Так уж устроены пишущие люди — всегда не хватает уверенности в том, что кто-то действительно тебя прочитал. Геннадий Петрович хранил журнальную вырезку. Это интриговало. И я дозвонился в институт имени великого психиатра к врачу, который прислал мне рукопись Геннадия Петровича.

— Мы справлялись по этому поводу, — сказал врач. — Служебных командировок в Архангельск больной не имел. Но известно, что он иногда, при наличии денег и времени, улетал или уезжал куда глаза глядят. Такое поведение в здоровом состоянии разительно противоречит последующей энтропии. И это очень интересно...

Я не стал признаваться, что первый раз слышу слово «энтропия». Спросил только еще о женщине из рукописи Геннадия Петровича — нет ли возможности узнать ее адрес?

— Мы ее не искали, — сказал врач. — По ряду причин я думаю, что ее просто не было. То есть было несколько женщин в разные периоды жизни. Последние годы их не было вообще. И те, прошлые, не могли нам существенно помочь.

— Неужели он не просил о свидании с кем-нибудь?

— Нет. Он не хотел видеть даже мать. Кстати, она умерла за месяц до него. Он тяготел к полной неподвижности и одиночеству. И бывал тих и радостен, если мне удавалось оставить его в ординаторской. Я иногда нарушал все правила и оставлял его в ординаторской даже на ночь, когда сам дежурил по отделению. Там он и писал. Там он чувствовал себя в рыбе, в замкнутом пространстве.

— Почему именно в рыбе?

— А бог его знает. Все мы, знаете ли, сидим в рыбе, потому что не знаем, куда плывем, — пошутил психиатр. — Начитался Библии — сейчас это модно. А Библия для слабой психики — опасная штука.

— Если рассказ автобиографичен, а мне кажется, это так, то автор представляется довольно робким человеком.

— Во-первых, он не боится признаться в этом — уже кое-что. Во-вторых, Петрович попал в катастрофу благородным образом, если можно так выразиться. Мальчиш-

ка-велосипедист съезжал с железнодорожной насыпи и вылетел на шоссе. Петрович резко крутанул баранку и был готов. Очень интересно, что здесь замешан велосипед. Вы читали Беккета?

— Нет,— признался я. По тому, как врач стал называть Геннадия Петровича «Петровичем», я понял, что врач еще молод и что он был со своим подопечным в добрых отношениях.

— Очень интересный случай... Мальчишка наведывался сюда с матерью. Они и в травматологическую клинику к Петровичу наведывались. Они из Гатчины. Они и хоронили.

— А друзья, сослуживцы?

— Сослуживцы помогли кое в чем, но, знаете, последние полтора года он уже не работал, был на инвалидности. Его подзабыли. Это случается чаще, чем наоборот.

Мне нравился здоровый цинизм молодого, но уже много знающего о жизни человека.

— Петрович читал Декарта. Ему, как инженеру, вероятно, интересны были мысли о том, что все мы — машины. Листали Декарта?

Я поторопился уйти в кусты.

— Вы не смогли бы дать остальные его записи?

— Нет. Они нужны нам. Позвоните годика через два. А то, что я вам послал, можно использовать?

— У нас не любят патологии,— сказал я.

— Патология — это учение о страдании, о болезненных процессах и состояниях организма. Можно не любить патологичность, но не патологию.

— Простите, я неточно выразился...

— Еще есть вопросы? — спросил психиатр без большой любезности. Специалиста часто раздражает разговор с неспециалистом.

— Нет. Спасибо. Мне все ясно,— ляпнул я.

— Очень рад, что вам все ясно,— сказал он не без сарказма и повесил трубку.

Я немного обозлился. Типичная современная молодежь: нахватались Беккетов и Декартов, получили специальное образование и уже можно посматривать сверху вниз. И все-таки сквозь раздражение я поймал себя на уважительном к этому молодому психиатру отношении.

Думаю, в будущем мы с ним еще встретимся. Отплаваю я свое, осяду на суше, налажу быт, заведу наконец

собаку, прочитаю Беккета и полистаю Декарта. И тогда мы встретимся. И все рукописи Геннадия Петровича перейдут в мои руки. И, быть может, тогда я смогу назвать вам его полное имя.

## **Банальная курортная история**

Настоящий киль был сток-м, а кашалот — платоником, который в последние годы испытал влияние Спинозы.

*Г. Мелвилл*

О столетиях Германа Мелвилла я узнал случайно из немецкого календаря с кудрявым мальчиком.

В честь Моби Дика мы встретили тогда платоника-кашалота.

Он несся прямо в борт теплохода, высоко выныривая и пуская маленькие фонтанчики. Зеленый трубный след и белое бурление среди густых синих волн.

Разбивать философский лоб о ржавую сталь платоник не пожелал и в последний миг юркнул под киль.

Я должен был испытать особые чувства. Во-первых, встретил живого платоника. Во-вторых, как ни трудно в это поверить, именно кашалот виновен в моем затянувшемся общении с морями.

Но никаких особых чувств живой кашалот во мне не вызывал. Настроение было тоскливое. И в основе его лежал осадок, выпавший в душу от человеческой мелкой подлости.

Красавица испанка, продававшая на Канарских островах статуэтки мадонн, выдавала их за деревянные.

Я купил мадонну и держал ее на видном месте в каюте.

Скромный лик святой испанской девушки украшал суровую походную жизнь мужчины.

Потом нас качнуло, мадонна хлопнулась на палубу, и симпатичный девичий локоток отлетел напрочь.

Машенька была гипсовая: подделка под старое дерево.

Хоть плачь, так стало обидно от неумения и приобретать, и сохранять вещи. Я приклеил локоток канцеляр-

ским клеем и забинтовал Санта-Марию носовым платком.

Раннего детства не помню. Оно отсечено войной. Но, бинтуя мадонну, вспомнил, что лет в шесть у меня была мраморная лягушка; она упала, разбилась, и я ее точно так же бинтовал и плакал от обиды. Дяде с седыми висками было трогательно вспоминать милое детство и чистые слезы над бесхвостым земноводным в далеком южном океане.

Вскоре после повстречания кашалота справа по носу обнаружилось нечто оранжево-красное, похожее на перевернувшуюся спасательную шлюпку.

День стоял редкой красоты. Воздух и волны гуляли по океану, ласково взявшись за руки. Смотреть на солнечную ясность впереди сквозь бинокль было больно глазам. И мы долго не могли разобрать природу плавающего предмета.

Оказался еще один кашалот. Мертвый. Уже бесформенная туша тяжело колыхалась на гладких синих волнах. Из огромных ран выворачивался жир. Вероятно, платоник угодил под гребной винт крупного судна.

Уйма птиц — больших темных и светлой мелочи — облепили тушу. Сытые отдыхали рядом на волнах и колыхались. Ни одна птица не взлетела, хотя десять тысяч тонн стали промчались в десяти метрах.

На мостике молчали, храня ту неожиданную тишину, которую я слышал как-то при встрече с айсбергом у Ньюфаундленда, и между могил острова Вайгач, и на горе в сирийском порту Латакия, когда думал о близкой могиле Ионы — товарища Рыбы.

С некоторым содроганием представил я пророка во вздувшемся брюхе истерзанного птицами, рыбами и гребными винтами кашалота. Просидеть, или пролежать, или простоять трое суток в таком страшилище — не фунт изюма съесть. Бог знал, как наказать дезертира.

«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис; отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться.

И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля,

чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

И пришел к нему начальник корабля, и сказал ему: что ты спишь? стань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем...

И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться.

Тогда он сказал им: возьмите меня, и бросьте меня в море, и море утихнет для вас; ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.

Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле; но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них...

И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей.

И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи...

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня; все воды Твои и волны Твои проходили надо мною.

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травой обвита была голова моя.

До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.

И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу».

Вот этот миф я хотел положить в основу одной современной повести об инженере, специалисте по радиоэлектронике.

Мелвилл шутил, награждая разные породы китов философскими кличками. Но шутки гения несут печать истины и ее печаль. Ведь последовательный стоик считает, что и великий мудрец, оказавшись в коммунальной квартире, может запутаться в хаосе жизненных отношений. И тогда — если мудрец не может разумно упорядочить этот хаос — он должен покончить с собой, так как только смерть способна вырвать из неразумного хаоса жизни и приобщить к идеальной разумности мирового целого.

И современные киты часто следуют примеру стоика Зенона. Но только усатые киты! Зубатые же являются злейшими противниками всякой науки, псевдонауки и афинской демократии. Они набиты вздором, сопротивляются насилью, терпеть не могут самоубийц; как недавно выяснилось, болеют гриппом, принимают антибиоти-



ки в пилюлях из скумбрии, а к смерти проявляют не философское равнодушие, а овечью близорукость: если вожак получает гарпун в сердце и, обезумев от боли, оказывается на береговых камнях, то стадо следует за ним, демонстрируя чисто стадное поведение, которое особенно возмутительно у громил, имеющих в пасти по сорок два огромных зуба.

Не соглашаясь ни со стойками, ни с платониками по отношению к основному вопросу бытия, мы испытывали к дохлому, облепленному жадными до падали морскими птицами, колыхающемуся вверх брюхом кашалоту обыкновенное сожаление.

В феврале 1891 года китобойное судно «Стар ов зе Ист» («Звезда Востока») охотилось в здешних местах на китов. Со шлюпки загарпунили кашалота. Кашалот загарпунил шлюпку — шарахнул по ней хвостом и разнес вдребезги. Вторая шлюпка добила кашалота и подобрала с воды уцелевших. И один труп. А молодой китобой Джеймс Бартли пропал без вести.

Два часа разделявали кашалота и вдруг заметили, что желудок у дохлого кашалота дергается. Когда желудок вспороли, там обнаружили Джеймса, без сознания и обожженного желудочным соком. Джеймс попал в судовую лазарет, а потом в портовую больницу.

Паренек скорее всего знать не знал о пророке Ионе, но в некотором роде повторил его судьбу. Он отлично помнил, как разлетелась шлюпка, а он очутился в полной темноте и заскользил в преисподнюю по каналу, стенки которого судорожно сжимались.

Со всего мира съехались специалисты, обследовали морячка и пришли к выводу, что ему крупно повезло. Во-первых, он миновал зубы кашалота, во-вторых, быстро потерял сознание и лежал без движения, в-третьих, кашалот был прикончен через несколько минут после глотка, и температура тела его быстро понизилась.

Поправиться окончательно Джеймс не смог, бить китов — тоже, но плавал еще пять лет в каботаже и умер в девяносто шестом году.

Этот случай, описанный в заметке сентябрьского номера канадского журнала «Канадиан фирмермен» за 1958 год, был взят из старой книги «Китобойный промысел. Его опасности и выгоды», в которой воспроизведены копии письменных свидетельств членов экипажа кито-

бойного судна, данные под присягой заявления известных врачей и ученых, которые беседовали с жертвой кашалота и командой судна.

Тут, правда, интересно, кто все-таки жертва: Джеймс, который жил еще пять лет, или кашалот, которому вспороти брюхо.

Издательство «Казахстан» (Алма-Ата) в 1965 году напечатало книгу «В мире занимательных фактов», где отвело истории Джеймса положенные страницы. А друзья, зная, что я давно связал свою судьбу с пророком Ионой, сделали соответствующую выписку. Она подтолкнула соображение. Моя повесть об инженере, нашедшем способ подключать человеческие легкие к кровеносной системе кашалота, обретала все более реальные черты. Жизнь все удобнее укладывалась в миф, как Джеймс в брюхо кашалота.

И вот сейчас, в струях холодного океанского течения, глядя на зеленый трубный след живого и здорового, слава богу, кашалота, я вдруг вспомнил, что в моих болтовнях по океанам была когда-то цель. Еще в Средиземном море, когда мы везли осину на Сардинию и проходили Фарсис, эта цель была во мне. Она еще была даже в Сирии. А потом... потом я ее как-то незаметно утратил...

Живой и здоровый кашалот промчался по своим делам среди свинца, стали, чугуна и снега здешних холодных волн.

Я спустился в каюту и вытащил папку с записками Геннадия Петровича М. Я испытывал стыд перед умершим. Мне казалось, что я предаю его память, если забываю о цели своего движения в океанах. Я взял лупу и засел за рукописи.

Названия своему второму рассказу Геннадий Петрович не дал. Потому придумал я его сам: «Банальная курортная история».

«От Валерия Ивановича ушла жена.

Валерий Иванович никогда ее не любил, женился в некотором роде из чувства жалости, изменял при любой возможности, но к совместной жизни привык. И после неожиданного ухода супруги почувствовал себя как матерый боксер, кувырнувшийся в нокдаун от удара второразрядника.

Валерий Иванович взял отпуск и поехал к Черному морю в Пицунду, чтобы оправиться. Он уже бывал там с женой раньше.

Валерий Иванович снял комнатку у старухи хозяйки, устроился столоваться и повел жизнь отдыхающего холостяка. Вставал поздно, когда все уже лежали на пляже; шел к почте, покупал газеты, потом шел на рынок и покупал виноград, потом шел в столовую, которая уже пуста бывала, и завтракал без аппетита, глядя на пыльные эвкалипты, на их ободранные стволы. Потом шел на пляж и, глядя на загорающих, размышлял об этапах человеческой жизни.

Этапы проходили перед ним воочию. Детишки. Подростки. Юноши. Влюбленные. Молодые семейства. Семейства среднего возраста с подрастающими уже детьми. Стареющие люди, с животами, рыхлыми грудями, бесполой бесстыдностью, непониманием собственной некрасивости, думами о болезнях, с отношением к морю, солнцу как к лекарству, которое выписывается участковым врачом по рецепту.

Пляж давал полный спектр человеческого существования. Валерий Иванович наблюдал за семейством, в котором отец походил на артиста Евстигнеева, мать — на артистку Мордюкову, а дочка была уже девушкой, оформившейся, прекрасной своим девичеством, и еще привлекала внимание тем, что сильно косила на один глаз.

«Ничего, голубушка,— думал Валерий Иванович, с удовольствием наблюдая девушку, как она устраивает свой надувной матрасик под тень зонтика, как пластично двигается, расстилая полотенце.— Ничего, голубушка. Сейчас, конечно, твой косой глаз только даже красит, а вот мы через несколько лет на тебя поглядим, что-то будет? Хорошего не будет — гарантию даю». Он думал это безо всякого злорадства, наоборот, с сочувствием.

В воде на спинах медуз взблескивали солнечные лучи. Медузы колыхались плотной массой и отравляли купальщикам удовольствие.

«А чего же вы? — безмолвно спрашивал Валерий Иванович купальщиков.— Закон жизни, знаете ли: медуза тоже жить хочет. И ежели она вам мешает, то это еще не значит, что медуза имеет меньше прав на Черное море. Вот так, голубчики!»

Он все время ощущал в себе работу мысли, а люди, которые барахтались в воде, играли в волейбол и крутили романы, не думали. И потому он ощущал к ним снисходительность. Грустная философия доставляла Валерию Ивановичу утешение. Глядя на яркие краски пляжа, на муравейник голых тел, он думал о смерти, о своей ран-

ней душевной дряхлости, которая появилась в нем потому, что всю жизнь он много думал. Счастливые те, кто не думает,— к такому выводу он приходил.

Он смотрел на мальчишек. Тощие, озорные пацаны лезли на одинокий камень, скользили по водорослевой слизи, царапали животы, все-таки забирались на камень и прыгали с него в воду, головой вперед, «ласточкой».

«Милые вы мои,— думал Валерий Иванович, трогательно любя в этот момент тощих мальчишек.— Так и надо! Вперед, пацаны, вперед! Мальчишка должен расти смелым! Не дай вам господь пережить то, что мы пережили, но готовыми надо быть».

К камню подходил толстый, откормленный, ухоженный до свинства мальчишка в импортных плавках с пояском. И сразу Валерию Ивановичу ясно было, что мальчишка подошел к камню не для того, чтобы залезть на него и прыгнуть, а просто-напросто посмотреть, как это другие делают. Толстому мальчишке в жирную голову не могла залететь мысль, что если он сюда пришел, то самому надо прыгать. А папа мальчишки фотографировал сына: как сын стоит по щиколотку в воде и смотрит на прыгающих пацанов. Папе тоже не приходило ничего в голову.

«И кем он вырастет? — скорбно думал Валерий Иванович.— Вот вам и рост благосостояния!»

Молодая женщина решительно вставала, надевала резиновую шапочку, опраивала купальник и, чувствуя на себе многие взгляды, шла к морю. Тысячелетний опыт предшественниц выработал в женщине милые повадки, пленительность жестов, когда она идет в воду, и руки ее так изломаны в локтях, чтобы не задевать бедер, и вся она целомудренно вроде бы защищается от близкой волны, ибо волна эта сейчас будет нескромно обнимать и колыхать. И вот женщина, вроде бы защищаясь от волны, кокетничая с ней, играя страх перед ней и сознавая завлекательность для других ее игры с волной, наконец входит в море и плывет. И часто плывет далеко, безмятежно, без страха.

«Вам хорошо, у вас жировая прокладка сохраняет тепло в организме»,— думал Валерий Иванович. И еще он много размышлял о своем детстве и неполучившемся семействе, в котором рос. В предвоенные годы — в детстве — сосиска на обед была радостью. И он точно помнил, что, как диккенсовский мальчишка, стоял возле кондитерских и булочных и глядел на пирожные, на

крендели. И у матери не было денег купить ему вкусенького. Слезы щипали глаза Валерия Ивановича, когда он вспоминал такие детали своей биографии.

«Да,— думал он,— я пережил много тяжелого, много!.. И вот у меня теперь много денег, и я живу на курорте... А надо ли мне это? — задавал он себе вопрос.— Может, я хуже стал? Но ведь то, что я могу себе позволить сегодня,— это я сам заработал, я учился, мыкался по общежитиям, недоедал, учебников не было, ерунду в учебниках писали, сам, своей интуицией правду находил; учителя спеклись и сгнули, а я вот живу, отделом целым командую, уважают меня, сочувствуют...» И ему очень странно было вдруг вспоминать, что от него ушла жена. И он даже весь вздрагивал. Покидал пляж, покупал вино и валялся на кровати, читал газеты и «Технику молодежи».

Старуха хозяйка удивлялась жильцу, беспокоилась о его здоровье.

— Ты вставай раненько, с солнышком,— твердила старуха.— Тогда и веселее станет...

«Она, конечно, права,— думал Валерий Иванович.— Надо вставать рано, делать гимнастику... В здоровом теле здоровый дух... Надо взять себя в руки и не сторониться людей. Все это ерунда в конце концов...» Ему казалось, что он рассыпался на составные элементы. И он понимал, что надо сперва собрать в железный кулак волю, а потом с помощью воли собрать свои составные элементы.

И однажды он попросил хозяйку разбудить его возможно раньше. Получилось так, что наутро пошел дождь, и Валерий Иванович проснулся рано сам.

Дождь шумел в эвкалиптах; земля, растительность — все вокруг пахло остро. Ясно было, что в ненастье никто не пойдет на пляж, и Валерий Иванович обрадовался этому. Он представил себе пустынную пляжа, шум дождя по волнам, мокрую гальку и ощущение морского простора. Он надел плавки, накинул на плечи тонкий резиновый плащ, замотал в полотенце зубную щетку, пасту, мыло. И, босой, в рассветном сумраке, пошел к морю, слушая сквозь тонкую резину плаща быстрые удары дождевых капель.

Палатки турбазы все были закрыты, никто не попался Валерию Ивановичу по дороге к сосновой роще. Только кипарисы сопровождали его, шагая по сторонам аллеи. Дождь все прибавлял силы, кипарисы почернели от вла-

ги. По утрамбованному песку дорожки растекались лужи и ручейки.

Валерий Иванович миновал турбазу, прошел через калитку в ограде рощи и вступил под знаменитые пицундские сосны. Эти огромные, мощные, как бы очень сосредоточенные на своей внутренней, древесной жизни сосны растут по берегам мыса. Они очень старинные, ценные, и на каждом дереве прибита бирочка с номером.

Песок дорожки был густо усыпан хвоей, которая смягчала от дождя и ласково пружинила под босыми ногами Валерия Ивановича. Скоро сосны расступились, открывая море, которое шумело рассерженно. Волны бежали к пляжу под острым углом, и каждая, споткнувшись подошвой о близкое дно, вырастала, дыбилась, вершина волны не могла удержаться и с грохотом летела на гальку, вороша и комкая ее.

Пляж, как и думал Валерий Иванович, оказался пустынным. Было зябко, даже холодно. И тускло. За дальним изгибом гористого берега вставало солнце, но не могло просветить густые тучи и дождевую мглу.

Не снимая плаща, Валерий Иванович вошел в прибойную пену, намочил зубную щетку и почистил зубы. Соленая вода, смешавшись со сладостью зубной пасты, приобрела отвратительный вкус. Валерий Иванович чертыхнулся. Затея идти на пляж показалась ему ребячеством. Ветер, сырой, полный дождевых капель и брызг, пронизывал. Лезть в мутные волны прибоя было боязно, но отступать тоже не хотелось, и он пошел в волны. Галька больно била по ногам, деревянная плавщина моталась на возмущенной воде, но, когда Валерий Иванович нырнул, ему сразу теплее стало и веселее.

Он отплыл метров пятьдесят осторожным брассом и оглянулся.

Возле маленькой кучки его одежды сидела мокрая собака и волновалась. Валерий Иванович приподнялся на волне и помахал собаке рукой, успокаивая ее. Он узнал черного хозяйского кобеля Барбоса.

Потом, когда Валерий Иванович вылез из воды, пес обрадовался ему, прыгал вокруг и сопровождал до шашлычной, где Валерий Иванович позавтракал, глядя на пустующий пляж. От купания настроение, конечно, улучшилось.

Валерий Иванович вспомнил последний приезд сюда, в Пицунду, и собаку Нейру. Вероятно, он вспомнил Ней-

ру по ассоциации с черным Барбосом, которому бросал куски, а пес ловил их в воздухе.

Нейра была недавно родившей сукой. Пегая, с охотничьей внешностью. Наверное, ее держали хозяева для охоты на перепелок. Там, в Пицунде, охотятся на перепелок во время их сезонного перелета и держат собак для этого, хотя и не кормят их, и не следят за ними.

Нейра была обыкновенной собакой, счастливой своим материнством; тем, что отдыхающие щедро подкармливают ее — специально приносят вкусные куски. И полнота собачьего счастья отлично проявлялась, когда жарким полднем Нейра забиралась в тень пицундской сосны и блаженно лежала на боку, небрежно разбросав по теплой гальке свои собачьи груди. Она отдыхала, и переваривала куски, чтобы побежать потом домой к малышам и вкусно накормить их.

Но у Нейры была одна странность. Если кто-нибудь бросал камушек, Нейра мгновенно просыпалась, вскакивала и ловила камушек пастью.

В великолепном прыжке летела она за камнем, с полной беззаветностью, как лучший вратарь мирового футбола.

Конечно, это происходило тогда, когда она понимала, что камень брошен для игры, добро, а не со злобой и не для того, чтобы сделать ей больно. В последнем случае она просто поджимала хвост и убегала, потому что нужна была детишкам, которые где-то там скулили в ее логове. Она отлично понимала свою необходимость для них и потому никогда даже не огрызнулась — убегала от заварухи, и все.

Но если камень кидали для игры, она быстро входила в раж. Ей уже не оценить было — большой это камень или маленький. Она должна была его поймать, а ловить-то могла только зубами. И многие зубы Нейры были сломаны. Как у хорошего вратаря обязательно бывают не один раз поломаны кости.

Она могла часами прыгать и прыгать за камнями, уже с пеной на бархатных губах и подвывая от усталости. Азарт сидел в ней с рождения, очевидно. Она не могла пропустить летящий камушек. А камушков на пляже миллион, и тех, кто имел охоту покидать их, — тоже, потому что видеть стремительное, азартное тело было интересно, развлекательно.

И Валерий Иванович, кидая из шашлычной черному Барбосу хлеб с маслом, вспоминал Нейру. А уже по ас-

социации с Нейрой вспомнил, как пришел с женой к морю душным вечером, перед грозой. Пляж, как и теперь, был пустынным. И только бегала вдоль изгибов прибой Нейра, кусала соленую пену, резвилась в одиночестве. Валерий Иванович позвал собаку и бросил камушек.

— Не надо,— сказала жена.

— Почему? — спросил он.

— Просто не надо, я очень прошу,— сказала жена. Она была тогда беременна, с дурной кожей, капризностью. Что-то шло не так, и она скоро выкинула.— Неужели ты не понимаешь: ей больно, она хватает камни голыми зубами!

— Ну, знаешь ли! — сказал Валерий Иванович, но сдержал нарастающее раздражение, потому что привык сдерживать его в отношениях с женой.— Не буду, если ты так считаешь.

Они вернулись домой, съели дыню и легли спать.

Далеко гремел гром.

Уже в темноте жена вдруг спросила:

— Валя, ты на самом деле думал, что я хотела стрелять в тебя из револьвера?

— Давай спать,— миролюбиво сказал Валерий Иванович.

Она засмеялась неприятно.

— Ты помнишь, как я пришла с револьвером и пулями?

— Конечно, помню,— сказал Валерий Иванович.— Давай спать.

— Я его в сумочке принесла, а патроны в носовом платке завернуты были,— с удовольствием вспомнила жена.— А мы с тобой накануне поссорились, ты меня выгнал, совсем мы тогда расстались, помнишь?

— Давай спать,— сказал Валерий Иванович.

— Я прихожу от тебя вся зареванная, а мама в трубе револьвер нашла, а за хранение оружия — тюрьма... Мама бледная, до смерти перепугалась... И патроны много — целый платок! И зачем папка-покойник их прятал? Мама бледная и не знает: револьвер государству возвратить или выкинуть. Велела к тебе идти, а мы после ссоры расстались навек... Вот умора! Ты бы свое лицо видел, когда я пистоль вытащила!

Да, а когда она его вытаскивала, то спусковой крючок зацепился за сумочку и пуля жакнула в метре от Валерия Ивановича. Ясное дело, он обомлел... Час назад выставил девицу, оборвал наконец затянувшийся роман-



чик, поверил в то, что они уже окончательно расстались,— и вдруг является с пистолетом... Выстрел в полном смысле разрядил обстановку, они потом хохотали долго, помирились, вместе топили «ТТ» в Фонтанке, а потом и поженились. Вот ведь как в жизни бывает...

Непогодило весь день, время тянулось бесконечно, хотя Валерий Иванович несколько раз спускался еще на пляж, купался в одиночестве и учил Барбоса ловить камни, но пес только хвост поджимал.

Вечером Валерий Иванович поинтересовался у хозяйки — не припомнит ли она собаку по кличке Нейра, пегую, которая потешала отдыхающих лет пять назад.

— Нет, милый, не припоминаю,— ответила старуха.— Я что дальше, то лучше помню.

Дождь выдохся наконец. В воздухе хорошо стало, легко. Могучее инжирное дерево тянуло над двориком корявые ветви, увитые виноградом. Виноградные кисти были в каплях влаги. Сумерки стеклянню густели, пора наставляла идти в комнату, где ожидала Валерия Ивановича бутылка «Изабеллы» и «Техника молодежи». Но идти не хотелось. Тоска бессемейственности свирепела в нем к ночи. Он сел рядом с хозяйкой на ступеньках крыльца, спросил, чтобы поддержать разговор:

— А вот вы — русская. А вы давно на юге живете?

— С Черниговщины я,— сказала хозяйка, прислушиваясь к чему-то далекому, одной ей слышному.— Дубовые леса у нас. Без подлеска. Помню, девчонкой была — в лесу древесных лягушек били. Чтобы они дулю богу не показывали. Вот тут турки жили когда-то, год и не за помню... Ничем турка не собьешь, когда он в мечети молится. А православному в храме голую девку покажи, он из храма за ней сразу побежит...

Черный кобель подошел к ним и лег перед крыльцом. Близко замирало, затихало море. Голоса же приезжих, их транзисторы слышались громче. По шоссе за домом проходили машины. И полоска высокой кукурузы, качаясь, уже сухо шуршала, как будто дождя и не было.

— Переселенцы мы,— сказала старуха.— Прабабка в сто лет померла, все о крепостном праве рассказывала... А меня как привезли — маленькую еще,— я все ждала: море-то, оно что такое? Соль-то дорогá была... Ужасно дорога у нас на Черниговщине соль была. Думаю: и сколько это соли надо, чтобы целое море засолить? А в революцию опять турки вошли — хозяина моего побили крепко: кровью умылся... Вот и говорит

мне: похороны здесь, в саду, чтоб не забыла сразу. Вон за инжиром и похоронила — сколько годков-то уже! Так тут и спит хозяин-то, черт бы его, непутевого, по шерсти погладил на том свете! Так мне косу драл...

— Чего вы, мать,— сказал Валерий Иванович,— о таких серьезных вещах рассказываете и черта помните!

Прожектора легли на море. Зыбкий свет просиял за пицундскими соснами. Они обрисовались на фоне моря. Гудел ночной самолет. Черный кобель спал на подсохшем песке под крыльцом.

Старуха поднялась и ушла без слов ночного привета, скрылась в сарайчике-пристройке. Валерий Иванович тоже пошел к себе в комнату, старательно думая об утре, когда ранние выстрелы охотников за перепелками разбудят его.

Звуки выстрелов будут катиться с гор пухлыми, зримыми шарами, и будут эти шары сонных выстрелов тихо шурхать в высохшей кукурузе...»

## *Кошкодав Сильвер*

«И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силую отразась в глубине моей...»

(Автора эпиграфа Матюхин не указал. Это Гоголь, но Геннадий Петрович как бы считает эти знаменитые слова собственными.—

В. К.)

К окончанию той, ледяной, финской войны мне было семь. И я уже самостоятельно читал «Остров сокровищ», и мне чаще всего снились Сильвер и юнга Джим Хокинс, но я посвящаю эти воспоминания, написанные в трудных условиях, в желудке кашалота, не Роберту Льюису Стивенсону, а доктору Джекилю.

Итак, мне семь лет, очень холодная зима, я живу с мамой в пятиэтажном кирпичном доме. Это одинокий дом. Вокруг только дровяные сараи, а за ними пустыри и свалки. Дом где-то между Серафимовским и Богословским кладбищами. Теперь дома нет. Исчез. Иногда мне

кажется, что этого огромного одинокого дома никогда и не было.

Пятиэтажный дом, непонятно как очутившийся между далекими загородными кладбищами. В подвалах, на чердаках, в дровяных сараях — масса кошек и котов. Десятки, сотни, тысячи бесхозных котов и кошек, голодных, нищих и тощих.

Затемнение, в парадных горят синие лампочки, и все кошки и коты синие...

Над молодым Ренуаром сперва издевались, и в каком-то журнале я видел карикатуру на его картину — замечательную картину «Уснувшая девушка». Под карикатурой была злая подпись: «Девушка, красящая кошку в бадье с водой, подсиненной индиго». Какая злая глупость! Как всю жизнь мне жаль Ренуара...

Мама в ту войну работала в госпитале, там она надевала звездной белизны халат; за мамой ухаживали молодые военные, она часто бывала оживлена и приносила мне большие оранжевые апельсины. На улице было так холодно, что дома апельсины сразу покрывались росой, и я слизывал с них прозрачные капли. И все читал и читал «Остров сокровищ». И когда мама уходила в госпиталь, она никогда не закрывала меня в квартире на ключ...

Куда же мог подеваться этот огромный пятиэтажный дом? Не осталось даже фундамента — я искал его, когда уже стал взрослым, уже заболел и много ходил по пригородам, особенно веснами, и собирал букеты китайской сирени... Мне вредны белые весенние ночи, мне говорят об этом врачи, мне тогда еще более одиноко.

Да, морозы, синие лампочки в парадных, оранжевые апельсины и десятки, сотни, тысячи кошек. И я, и мама боялись кошек. Я и сейчас их боюсь, хотя они, конечно, изящные, но у них глаза круглые и в круглых глазах узкие щелочки, и они долго мучают мышей. Жильцы собрали собрание в подвальном бомбоубежище и решили позвать душегуба. Сейчас я знаю, что давить кошек называлось раньше булгачить, это означает еще обманывать людей и выдавать кошачьи шкурки за ценные меха...

Душегуб пришел и сказал, что выловит и убьет всех бездомных кошек за один вечер.

Это был страшный человек. У него не было ушей, левого глаза и левой ноги ниже колена. Вместо ноги была деревяшка с резиновым набалдашником — как у Сильве-

ра. А на голове, хотя трещали морозы, была только легкая кепка. Он велел всем жильцам уйти и оставить его одного. И уселся на лестничной ступеньке как раз возле нашей квартиры.

Был поздний вечер, но мама еще не вернулась из госпиталя. На улице была метель, иногда метель прерывалась, и тогда в разрывы снежных туч ярко светила луна — такая погода очень редко бывает в Ленинграде. Метель зализывала наш нелепый одинокий дом со всех сторон и выла на чердаке.

Душегуб сидел на ступеньке в синем свете, курил кодрявую трубку и бормотал:

Тра-та-та, тра-та-та,  
Вышла кошка за кота...

Я смотрел на него в замочную скважину, из которой дуло.

Я уже придумал ему имя — Кошкодав, или Котогуб.

Я уже тогда хотел быть талантливым мальчиком.

Вдруг этот страшный человек обернулся и поманил пальцем. И я понял, что он тоже видит меня сквозь замочную скважину. И я послушно вышел к этому человеку. Он был еще не очень стар. Пахло от него лошадьё, вернее, конюшней. Два пустых рогожных мешка лежали рядом на ступеньке. Он спросил, есть ли у нас в доме еще мешок. Я сказал, что мешка нет, есть рюкзак. Он сказал, чтобы я оделся потеплее, взял рюкзак и возвращался, так как ему нужен смелый мальчик, который поможет.

Я спросил этого странного и страшного человека, долго ли он будет убивать кошек, потому что мне надо поскорее вернуться и встретить маму из госпиталя.

Он поправил деревяшку на ноге и велел не задавать детских вопросов. Он казался мне пиратским капитаном Флинттом.

В разбитое лестничное окно видны были далеко внизу дровяные сараи. Над ними дымился в лунных проблесках метельный снег. Ветер дул с Невы, с залива. Сквозь лунный снег брели по крышам сарая к нашему дому массы кошек.

Когда я тепло оделся, взял дачный рюкзак и вышел к душегубу, кошки уже поднимались по лестнице к нашим дверям. Они шли деловито, как будто знали куда и зачем. Душегуб брал их одну за другой и кидал в рогожные мешки. При этом он продолжал бормотать:

Гра-та-та, гра-та-та,  
Вышла кошка за кота...

И коты, и кошки шлепались в его мешки беззвучно — не шипели и не мурлыкали. Почему-то я перестал удивляться и бояться. Только спросил что-то вроде:

— Дяденька, а как вы их будете убивать?

— Не твое дело,— сказал он.

Когда оба мешка душегуба битком набились кошками, он завязал эти рогожные мешки вожжами.

Штук пять кошек не поместились, сидели на ступеньках и вопросительно смотрели на Кошкогуба своими сверкающими глазами. Он взял мой рюкзак, раскрыл его, и кошки одна за другой сами запрыгнули в рюкзак.

— И все дела! — сказал душегуб.— Пошли. Сейчас узнаешь, как я душу их души.— И надел на меня рюкзак, в котором сразу зашевелились и замяукали кошки; кажется, они там перегрызлись...

Я так настойчиво пишу про кошек и котов, ибо здесь — в кашалоте — очень пахнет рыбой, а широко известно, что кошки любят рыбу...

Рерих к гробу Врубеля принес много сирени. А Блок не был знаком с Врубелем, но говорил речь над его могилой на Новодевичьем кладбище. Все они были сумасшедшие...

Да, про душегуба.

Он перекинул свои мешки через правое плечо, надел рукавицы, поднял воротник у полушубка, и мы пошли вниз.

Мы спустились по лестнице и вышли в черную метель.

Из окон нашего странного дома не лучилось даже одного лучика.

— Дяденька, сколько вы их уже погубили? — спросил я.

— Помолчи, малыш, а то горло простудишь,— сказал душегуб.

— А почему у вас нет глаза, ушей и ноги? — спросил я.— На войне потеряли?

Он не ответил, ему трудно было шагать с двумя мешками, битком набитыми котами и кошками, по обледенелым булыжникам нашего двора на деревяшке с резиновой нашлепкой.

— Где мы будем их убивать? — спросил я.

— Потерпи, малыш. Дойдем до поворота шоссе, и узнаешь. И все дела.

До поворота было около километра. Мы прошли этот путь не разговаривая.

Там душегуб сказал:

— Садись в сугробик, на обочину.

Я присел на корточках.

Душегуб свалил с плеча мешки с кошками и снял с меня рюкзак. Потом, тяжело опираясь о мою голову, сел рядом в сугроб, перевел дух, вытащил бутылку водки и глотнул из нее.

— Трех машин надо дождаться,— сказал душегуб.— Два мешка и твой рюкзак. А может, и одной хватит. И все дела.

— Вы их под машины бросаете? — спросил я.

— Увидишь.

Тьма, метель, пустое загородное шоссе. И руки мерзли даже в карманах пальто — я забыл рукавицы. Вероятно, я проныл что-нибудь о том, что хочу назад домой, к маме.

Душегуб не ответил, развязал рюкзак, достал верхнего кота, потряс его перед собой, держа за шкурку, любуясь здоровенным черным существом. Кот начал орать и по-всякому извиваться.

— На, возьми,— сказал душегуб.— Руки в нем погрей. У этого кота жена небось, что твой гвардейский гранадер. И все дела.

— Он убежит,— проныл я.

— Нет,— сказал душегуб.— Мы их убивать не будем. И они об том знают. К чухнам отправим. Они богато живут. И все дела. Ты только молчи. Тетки пронюхают — утром четвертинку не отдадут.

— А кто такие чухны?

— Финны. Чего-то машин долго нет. Как бы меня не нарочно здесь опять молнией не шархнуло.

— Зимой молний не бывает,— сказал я, грея руки в коте, который не вырывался.

— Меня всюду находят и наказывают. И за что наказывают? Первый раз был вроде тебя малолетком. Утром коров выгоняю в поле, молния прилетела — и нет одного уха... Гляди получше, у тебя глаза молодые, там что, фары? Машина? Стань на дорогу и руки крестом раскинь. Шоферы маленького пожалеют, приостановятся. Скажешь: заблудился, мол. Понял? И все дела!

— Я боюсь. Машину занесет, как они тормознут.

— Соображаешь, малыш. Для того тебя и взял, чтобы они притормаживали. Как я с одной ноги мешки в кузов заброшу? Незаметно надо, чтобы шофер не видел.

— Страшно, дяденька,— проныл я.

— Всем страшно,— сказал душегуб.

Я вышел на шоссе и раскинул руки крестом.

Черный кот повис на пальто, царапался и отчаянно орал.

В свете приближающихся фар кот засверкал огромным синим брильянтом.

Грузовик затормозил, душегуб закинул в кузов два мешка и вытряхнул туда же из моего рюкзака оставшихся четырех кошек.

Рюкзак он отдал мне.

А когда грузовик уехал, сказал:

— Жди, малыш. Пройдет много лет, ты будешь уже большой, и грустный, и больной, и к тебе придет мой сын. Он твой погодок. Его звать Леха. Потом пройдет еще много лет, и тебе станет совсем одиноко. И тогда к тебе придет моя внучка и дочка Лехи. Ее будут звать Соня. Она тебе поможет, но потом умрет. Ее убьет метеорит. Не бойся, малыш. Иди домой и жди их. И все дела. Ты их узнаешь, как я узнал тебя сквозь замочную скважину.

Сегодня я понимаю, что нахожусь в больнице. И понимаю, что меня мучают воспоминания о кошках только потому, что в кашалоте пахнет сырой рыбой, а кошки — это широко известно — любят сырую рыбу... Я уже могу сегодня смыкать концы с началами при наличии знания таких неприятных понятий, как смерть, например.

Но как научиться ничего не объяснять людям? Люди удивительно ничего не понимают! Даже такую вещь, почему собаки не любят кошек, приходится обстоятельно объяснять человечеству! А это так просто! Ведь собаки обыкновенно ревнуют кошек к людям! Это так обыкновенно, но все люди вокруг меня почему-то этому удивляются...

Тщательно все взвесив, я решил, что если останусь жить и выйду отсюда, то остаток жизни буду тратить заработанные деньги на то, чтобы хорошо, шикарно одеваться.

Когда ешь больничную еду без принесенного тебе с воли добавка, то возникает сиротское чувство, и я опять и опять вспоминаю маму...

Сегодня сон: вхожу в свою, но одновременно какую-то и не мою, выдуманную квартиру. Там незнакомая женщина, и я начинаю кидать в нее что под руку попадается, включая бумажные стрелы, которые я делаю, обрывая со стен старые, отстающие обои. Женщина куда-то прячется. Я выхожу на улицу — милиционер. Я жалуюсь на то, что в моей квартире незнакомый человек. Милиционер пугливо настораживается и не хочет идти со мной выгонять женщину. Возвращаюсь один. Никого нет, квартира пуста. Сажусь есть на кухне. И вдруг понимаю, что не проверил в спальне. Иду туда. В постели, где когда-то лежала моя Мэри-Маша, — худенькая, черномазая, довольно молоденькая женщина, которую я, преодолевая страх, колю маленькими ножницами. Женщина не выгоняется. И вот сейчас, после завтрака, я думаю, что это мог быть символ смерти.

Мне очень нравится мой сосед, который рассказывает про охоту.

Где бы узнать, что такое «ёж те нос»? Он часто говорит: «Я те, ёж те нос, дам прикурить!» И это его выражение напоминает мне «и все дела!» кошкогуба Сильвера.

Маша в гробу была прекрасна и до страшного молодая. Вероятно, постарались театральные гримеры, они всегда любили ее — за красоту, профессионально: гримировать красавицу под уродку или молодую под старуху всегда легче, нежели наоборот. Ее вообще любили. И это видно было по количеству людей на похоронах и по цветам. И опять эта сирень, сирень, сирень... Прощаясь, я коснулся губами ее холодного лба и опустил в гроб иконку — незаметно. Маша всегда уверяла в своей набожности, хотя в практике женской жизни, мне кажется, не очень-то следовала догматам даже нашей — не самой строгой на свете — церкви... Взять хотя бы то, как она первый раз пришла ко мне... Нет, я еще не готов вспоминать об этом... Лучшее вспомним, как прикатил с ней в монастырь недалеко от Михайловского, действующий; она познакомилась во дворе монастыря с каким-то стариком — вроде ключником, он свел ее с настоятелем, и мне уже было никак не развести их... И опять эта сирень, сирень, сирень... Потом поехали в Пушкинские Горы, я устал, жарко было, зарулил в рошу и заснул, положив голову на баранку: из Гатчины выбрались ранним-ранним утром. Кажется, и она заснула под шум древесных вер-



шин в роще, ветер был ровный, июньский, и вдруг по крыше машины забарабанило осколками шрапнели, я проснулся, выскочил, думал, хулиганят мальчишки; никого вокруг не оказалось, только ветер усилился, предвещал грозу и при каждом порыве срывал желуди с дуба, под который я загнал машину; желуди барабанили по тонкому кузову оглушительно. Маша стала хохотать так, как можно хохотать только в счастливой молодости; она первый раз тогда перестала бояться грозы, и мне не надо было уверять ее, что я сделал хорошее заземление; ночью ходили к Пушкину на могилу; какая-то ее новая подруга, которую она встретила в столовой, поэтесса, поставила в нишу надгробия свечу, и мы все молчали, пока свеча не догорела... Это было несколько театрально и высокопарно, но хорошо, что это было...

Сегодня читал Амосова: «Не надо бояться последнего момента жизни. Природа мудро позаботилась о нас: чувство отключается раньше смерти... Неправомерная преувеличенность страха смерти...» Очень интересно он определяет характер человека как способность к напряжениям — по их величине и длительности. Человек совершенствует себя, неотступно развивая способность к сильным и длительным напряжениям... Боже мой, боже мой! Какое горе, что я так тяжело болен и уже никогда не буду сильным человеком. Ведь будущее планеты в руках сильных характеров, и только сильные характеры смогут полноценно пользоваться благами созданного ими будущего....

Ей, конечно, вечно не везло с ролями. Да и таланта, вероятно, было маловато. А главную роль она получила самую несчастливую — до сих пор никто не верит, что пожар в театре произошел потому, что прямо на сцену попал метеорит. Не так уж много артистов гибнет на сцене. Судьба выбрала ее. И тем возвысила — и по заслугам возвысила, потому что любила подмостки истинно. И притом с ранней юности это вечное ощущение рока, страх перед молниями... И эта сирень, сирень, сирень... Куда я задевал дневники ее матери, жуткие по женской откровенности, драгоценные для меня, вечно страдающего незнанием женщин, выдумыванием их... В дневнике ее матери есть фраза, обращенная, вероятно, к любимому, который ее мать бросил: «Всегда помню, как ты играл моей грудью, как детишки с дорогой игрушкой...» Ах, что

будет с этими дневниками, если я никогда не выйду отсюда...

Сегодня снилась лошадь, которую мне оставил какой-то художник по фамилии Вовиков. Так его называли инвалиды у рынка, которые объяснили мне, что он просил у них тройак на похмельку, но они не дали ему. И вот этот художник Вовиков оставил мне лошадь, и всю сбрую под седло, и талоны на комбикорма, и сено; талоны такие, как дают на бензин. Лошадь стоит в сарае. Лето. Я было забыл про нее и вдруг подумал: она же голодная! И стал воровать душистое сено. Потом седлаю. И тут приходит дядя Леха — но ничем, конечно, помочь мне в сложном деле, чтобы оседлать лошадь, не может. Я у него спрашиваю: как надо, сперва кормить или сперва поить? Добрая лошадь, умная. Седлаю, залезаю, едет послушно, как в детстве, когда мы гоняли лошадей в ночное, и у меня была кобыла Матильда, и у нее отстегнулась уздечка... И вот я еду на этой детской лошади, которую подарил мне художник Вовиков, на базар, чтобы купить ей корм, а на базаре продают его картины... И опять сирень, сирень, сирень... Но это я так, просто вспомнилось, а во сне были леса, поля, поросший травой уклон, и я пускаю лошадь рысью, и понимаю, что нормально держусь в седле, и думаю о том, что Толстой прав... Но тут седло переворачивается под брюхо, я падаю и замечаю, что мне не страшно с лошади падать! Быть может, я выздоровлю? И я опять залез на лошадь, а сзади посадил дядю Леху. И лошадь все терпит, замечательно терпеливое, доброе животное... Тут к соседу Юрию Николаевичу пришла сестра делать укол, а он лежит с грелкой, у него затвердение, и он кричит, когда его колют...

Добирание до сути чужого творчества — процесс столь же медлительный, как и познание своего собственного таланта и предрасположенностей. И наоборот.

Я инженер-радиотехник, лишен мистики и не верю в привидения. К сожалению, многие мои ученые коллеги порой не слишком задумываются над аргументами, которые приводят, пытаясь убедить широкую публику, что, например, привидений действительно нет.

Некоторые коллеги утверждают, что и биополя нет. Как нет? Температура моего тела +36,6, а в комнате +20 градусов. Значит, вокруг меня образуется тепловое поле биологического происхождения. Другое дело, что, на мой взгляд, биополе — это обычное физическое поле. Но

мы пока не знаем его свойств, поскольку скорее всего это комбинация полей — теплового, электростатического и так далее, причем, возможно, модулированных, то есть способных нести достаточно подробную биологическую информацию. Отрицать такое биополе — все равно как отрицать существование латуни потому только, что она — сплав и ее нет в таблице Менделеева. Или, скажем, некто утверждает, что наука занимается только воспроизводимыми явлениями. А шаровая молния, которую воспроизвести пока нельзя? Что же прикажете — изъять ее из физики?..

Уже через много лет после войны я работал завлабом в НИИ на Васильевском острове. И прямо туда, в лабораторию, ко мне пришел рыжий лохматый мужчина лет пятидесяти, весь в шрамах.

Был обеденный перерыв, я сидел в лаборатории один и пил чай, который кипятил в колбе. В чае очень красиво поднимались и опускались чайники.

Мужчина вошел без стука и сказал:

— Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота!.. Я Леха, а ты Гешка?

Так странно он представился.

Потом объяснил, что является сыном того доброго человека, который давным-давно отлавливал в нашем доме бездомных кошек.

Я предложил ему чаю, он сел и сказал:

— Вряд ли что из моих соображений, Геша, тебя заинтересует. Лучше почитай вот это.

Он вытащил из-за пазухи пухлый пакет газетных вырезок. Вырезки были пожелтевшие, истлевшие, на разных языках. Сверху он положил фотографию искалеченного дерева. Под ней было напечатано: «Этот тополь — немой, но красноречивый свидетель того, что взрыв шаровой молнии в 400 раз сильнее взрыва тола. Куски дерева весом до 200 килограммов разлетелись метров на 30 вокруг. Удивительно, что удивший рыбу под этим деревом гражданин А. М. Сидоров, лесничий, уцелел. Лесничий утверждает, что подобные случаи происходят далеко не первый раз в его жизни...»

Я читал эту интересную заметку, а Леха смотрел мне через плечо и тепло дышал в ухо.

— Это началось, — сказал он, — после того, как мне вырезали аппендицит. И сразу с шаровой. Она влетела в операционную и контузила хирурга, когда тот уже пе-

рестал меня резать и начал мыть руки. А после случая, о котором ты сейчас прочитал, меня уволили из лесничих. И все дела,— объяснил он мне, продолжая называть меня Гешей, хотя мы не были знакомы даже шапочно.

— А снежного человека вы не встречали? — поинтересовался я.

— Я с ними водку пил. И все дела.

— А как у вас с инопланетянами? — спросил я.

— Я с ними водку пил. И все дела,— небрежно объяснил он, бережно вытащил следующую газетную вырезку и положил передо мной:

«МОЛНИЕНОСНЫЙ НОКАУТ. Редкий случай произошел в шведском городе Мальме. Молния, ударившая в футбольное поле во время матча, сбила с ног всех игроков обеих команд и судью. Но, к счастью, шведские футболисты и арабский арбитр отделались легким испугом...»

— Одно слово — шведы,— с брезгливым презрением заметил Леха, продолжая дышать мне в ухо.— «Отделались легким испугом»! Мне двадцать исполнилось. Играл за нашу республиканскую «Кувалду» против армянского «Розового туфа». Правым крайним. Как сейчас помню. Налей-ка мне еще чайку... Да, уже в самом начале игры мы этим армянам недвусмысленно показали, что намерены бороться за победу. На первых двух минутах у ворот нашей «Кувалды» подаются три угловых. И в дальнейшем армяне атакуют более остро. В середине тайма, когда, казалось, нам армян уже никак не сдержать, гремит гром. Я сразу понял, к чему гремит. Но тут уж нечего было делать — страсти накалились до ужаса и никакого заземления на бегу не сделаешь. Сразу пять штук молний! Первая, конечно, в меня — бутсы разлетелись, жареной резиной на все поле, а я лечу прямо во вратаря армян. Пробил его сквозь сетку вместе с мячом. Короче: все три арбитра, грузины, в больнице — такая драка началась! А на том месте, где меня шарахнуло, воронка образовалась. И всё дела. Это тебе, Геша, не шведы. С тех пор меня даже в городскую сборную не включают. «Чокнутый», говорят. Идиоты.

— А за сетку платить пришлось? — поинтересовался я.

— Смеешься? Ну, смейся, смейся. Однако дальше слушай. Тут как раз фортель повернулся в моей судьбе. После драки подходит ко мне одна армяночка, старше

меня лет на пятнадцать, с усами, интересуется самочувствием, то да се. Я еще в возбуждении был, ну и наговорил ей, что, мол, и отец мой и я являемся притягателями молний, чаще шаровых, но, бывает, как пынче, и обыкновенных. А через месяц она меня окрутила. И все дела. Оказалось, диссертацию по физике пишет, а отец ее академик, египтолог. Ну, женился. Уговор один был — галоши не носить и не заземляться другими способами. Жилищные условия замечательные — квартира в Москве на проспекте Вернадского, дача в Красной Пахре, надоест на даче — в санаторий «Узкое» едем на машине с шофером. Жена с меня глаз не спускает. Кинокамера, магнитофон, спектроскоп, блокнот всегда у нее под рукой. И в кровати, и на природе. Месяц живем — медовый. Слава господу! Меня ни разу не трахнула ни обыкновенная, ни шаровая. Полгода живем — ни одного грома, не говоря о молниях. Кучево-дождевые облака на семейном горизонте начинают собираться. У нее срок диссертации на носу, а материал застопорило, да и беременна она уже. И все дела. Мне самому как-то неудобно делается.

Трусь среди академиков. Тупой народ, Геша, прямо скажу. Его спрашиваешь: «Ваша профессия, гражданин ученый?» Он: «Я член-корреспондент АН СССР». Ты: «Очень приятно. А мне ваша специальность интересна». Он: «В прошлом году я получил Государственную премию РСФСР». Ты: «Очень приятно. А где вы и чем занимаетесь?» Он: «Я профессор. Веду кафедру в Уральском университете». Ты: «Очень приятно. А ваша специ...» Он: «У меня на кафедре сто семьдесят человек, но на Урал я попал вполне случайно, так как вообще-то коренной москвич, жил раньше на Кутузовском проспекте, между домом министра МВД и домом заместителя Госплана СССР». Ты: «Очень приятно. А ваша узкая профессия? Интересно мне...» Он, наконец: «Политическая экономия социализма». Ты: «Спасибо. До свидания. Приятно было познакомиться». И все дела. Он про тебя думает, что — недоразвитый. Ты про него — что круглый идиот. Ну, родила армяночка мне дочку, Соней назвали. И сразу ушла к такому вот уральскому профессору, а я обратно на Сахалин уехал. Теперь сижу комендантом в общежитии ПТУ кожевников...

Леха повествовал все это с безропотной обстоятельностью мастерового бывалого мужчины. Еще и о том, что без труда видит летящие пули, и ощущает перепады интенсивности реликтового излучения, и днем видит на небе

звезды; и что в Лермонтова в момент дуэли попала шаровая молния одновременно с пулей Мартынова...

Потом Леха замечательно спел «Была бы только ночка сегодня потемней» и «Манчестера русского трубы дымят...».

Была зима, но мне показалось, что за двойными рамами стало чем-то грозовым погромоухивать.

— Зимой вас стучает? — поинтересовался я.

Леха грустно усмехнулся:

— Бывает, Геша, все бывает. Ведь почему я на Сахалин подался? Гроза на этом острове с его холодным даже летом климатом — явление чрезвычайное. Я там к вулканологам примкнул. Коэффициент один и восемь десятых процента. И все дела. Природа замечательная — медведи, магма...

— Вероятно, ты путаешь с Камчаткой,— сказал я.— На Сахалине вулканов нет.

— Тебе виднее,— сказал Леха.— В аккурат тринадцатого декабря все население нашего райцентра было удивлено, ибо стало свидетелем редчайшего природного явления. Сквозь снежную пургу сахалинцы увидели яркие вспышки молнии. Уж как этих потомственных каторжников удивить трудно, но и они вздрогнули! Вышел из больницы с ожогом второй степени — и сразу в управление гидрометеорологии, талдычу, что корень во мне. Метеорологи свое: «Теплый воздух, принесенный южным циклоном, при столкновении с массами холодного воздуха, которые господствовали над островом...» Тьфу! Инерция мышления.

За окном опять громыхнуло.

— Слушай, Леха,— решил сказать я,— а меня нынче вместе с тобой тут не прихлопнет? Я, знаешь, все никак завещание не соберусь написать: трудная штука выдумывать наследников. Кому весь мой фарфор саксонский, кому хрусталь?..

— Обижаешь,— сказал Леха.

— А способности отца ты сохранил? — спросил я.— Имею в виду власть над кошками?

— Конечно.

За окном лаборатории видна была крыша жилого дома, утыканная телевизионными антеннами. По крыше дымился снег, и сквозь снег пробирались одна за другой к чердачному окну кошки и собирались вокруг треугольной дырки.

— Это самые упрямые: будут совещаться и голосовать,— объяснил Леха.

— И долго это?

— Тринадцать персон наберется — тогда кворум. Не меньше. И все дела.

Все это немного странно, подумалось мне, и очень вдруг захотелось весны, солнца, тихого тепла и сирени.

— Открой дверь на лестницу, Геша,— сказал Леха.

Я открыл дверь из лаборатории, и сразу к нам вошел и замер у порога огромный черный кот. Замерев, он продолжал выпускать из себя скрытую энергию через свирепые и решительные подергивания хвоста. На нас кот не смотрел. Отвернулся презрительно.

— Прямой потомок того великомученика, у которого жена гвардейский grenader. Помнишь? — представил кота Леха.

— Помню метель. Помню синие лампочки. И как он засверкал брильянтом.

— Когда смотришь на такого разбойника, сразу понимаешь, сколько вокруг сволочей на двух ногах ходит,— сказал Леха.

— Красивые существа, но только мышей мучают, простить не могу,— сказал я.

— Этим недолго самим мучиться,— сказал Леха, поглаживая черного кота.— Меня из ПТУ кожевников тоже выгнали. Теперь вот только кошками и живу.

Он развязал принесенные с собой мешки. И кошки, оспаривая друг друга, полезли в них.

— Но это ужасно! — сказал я.

— А что поделаешь? Ты-то хоть раз шаровую видел? — спросил Леха.

— Чего?

— Шаровую молнию видел?

— Нет...

— Увидишь...— неопределенным каким-то тоном заверил он меня и ушел, когда мешки наполнились доверху, ласковым голосом сообщая кошкам жутчайшие подробности предстоящей им казни.

Да, моя беда, что я не могу без человеческого общения, а социальное одиночество для автора бессмертной книги обязательно. Но за многие годы, которые я провел в кашалоте, я привык к одиночеству.

Я ничем не болен, но в тот январский вечер мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь пришел. Я был дома, в от-

пуске, уже поздно было, спать не хотелось, валялся на диване, смотрел телевизор. Он у меня всегда включен. Через телевизор я разглядываю, какие сегодня мужчины и женщины, дети и солдаты. На улице все они как-то мелькают быстро. Или мне при живом общении вовсе уж не хочется их наблюдать. А через телевизор я их рассматриваю как под микроскопом. Но это не отдых, это тяжелый труд художника.

И вот я валялся на диване, курил, смотрел через телевизор на женщин и мужчин и молил кого-то, чтобы в дверь вдруг позвонили.

Январь — самый тяжелый месяц для меня. Холодно, темно, метель. В январе я чаще слышу голос, который вообще-то слышу всегда, когда у меня пошаливают нервы: «...умер профессор Циммерман, умер профессор Ренц со словами „мясо“ на устах; умер старший астроном Берг, старший астроном Елистратов с женой, заведующий механической мастерской Мессер, помощник зав. библиотекой Сапожников, астроном Домбик, вычислительница Войткевич, вдова профессора Костинского и почти весь младший технический персонал. Две вещи я себе запрещаю, сынок: думать о еде и предаваться воспоминаниям, так как и то и другое не помогало в борьбе со смертью — вернее, борьбе за жизнь. Но в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое было настолько тяжело, что я не смогла избежать соблазна и вся ушла в воспоминания. Картины недавнего прошлого одна за другой вставали передо мной с потрясающей ясностью... Дорогое Пулково, сад, залитый солнцем, алые пионы, кусты жасмина, у веранды огненные лилии. Дом, полный музыки, радости и любви. Дорогие лица. Комфорт, довольство. Боже, какой контраст! Уснула поздно. Проснулась от странного ощущения: подушка была мокрая и липкая. Свет чуть брезжил через заиндевевшие окна. На простыне, халате, подушке темные пятна — кровь. Кровь шла из носа двое суток, день и ночь. Ничто ее не могло остановить. Лежала неподвижно на спине на подушке, и все равно она шла. Ты ставил мне на грудь под шею тарелки, и кровь сбегала по губам и подбородку непрерывной стружкой. В опустевшей ледяной десятикомнатной квартире, где часть людей эвакуировалась, а остальные умерли, стояла глубокая тишина. Испуганные дети жались ко мне. Есть было нечего. Я разделила между вами свой хлеб — тебе больше, Наде меньше. Следующий день не принес пере-



мен. Подкрадывалась коварная апатия, которая мирилась со всем...»

Идиот-бодрячок продолжает в сто пятидесятый раз орать по цветному телевизору: «Бумажный самолетик... Кто знал, что так случится?! Кто знал, что так случится, бумажный самолетик?!» В глупости нынешних эстрадных певунов есть что-то роковое, предсказывающее неизбежный конец Вселенной. О кретинизме авторов-песнеплетов и говорить не хочется... Пятнадцать миллиардов лет назад Вселенной не было! Не было самолетика — и все тут. И это уже вполне научный факт, а не реклама...

«...И вдруг пронзила мысль: ведь я умираю, а они?! Вот когда лихорадочно забилося сердце, заработала мысль. Надо что-то делать, надо что-нибудь есть, чтобы дать возможность организму бороться с этой непонятной новой болезнью голода. Если срывать обои? На оборотной стороне есть мучной клейстер. Нет, это даст мало, а сил возьмет много. Взгляд упал на две глубокие тарелки, до краев наполненные студенистой кровью. Вот где спасение — зажарить ее и съесть. Я видела ее уже на горячей сковородке, превратившуюся в плотные серые куски, которые можно будет жевать. Как осуществить? Прежде всего удалить тебя, чтобы это не коснулось души ребенка. Потом разжечь печурку... Охватывала слабость; я засыпала и сейчас же снова просыпалась. Стала уговаривать тебя пойти погулять, чему ты был крайне удивлен, так как последнее время, ввиду появившихся случаев людоедства, я тебя на улицу одного не выпускала. Ты долго копошился, я тормозила тебя и волновалась. Наконец ты ушел. Я завязала нос махровым полотенцем, чтобы не текла кровь, и, держась за стенку, добрела до соседней комнаты, где стояла печурка. Нагнулась за поленом и... потеряла сознание. Очнулась от твоих шагов. Ты вернулся. Испугался мороза и вернулся. Мой план сорвался, тарелки с кровью я выкинула в окно на кухне...»

Вообще-то я понял, отчего голос был нынче так настоящий. Утром нашел клочок бумаги — ее старый счет, десятилетней давности, он завалился в какой-то книжке: «Починка керогаза — 7 рублей, 1/2 куба дров поднять — 30 р., носки 2 пары — 20 р. 60 коп. Оле за январь — 200 рублей, гребенка 5 рублей, мясо — 14 р. 60 к. Долги:

Анне Владимировне до 10 января 50 р., Марии Агеевне — 36 р. отдать до 1 февраля...»

Я все слушал и слушал этот голос, но наконец в дверь позвонили.

Я был бы рад кому угодно и потому открыл, ничего не спрашивая, и увидел на лестничной площадке огромную овчарку. Потом уже, после овчарки, увидел красивую девушку в меховой кухлянке с капюшоном.

Она сказала:

— Не бойся, дядя Гена, Дик не кусается. И все дела.

За овчаркой и девушкой я увидел на лестнице, ведущей на чердак, шесть кошек. Они сидели каждая на своей ступеньке и смотрели на меня зелеными глазами. Только одна отвернулась.

— Кто вы, и что это значит? — спросил я, тихо радуясь.

— Я дочка Лехи, — сказала она. — Помните? Весной я послала вам глупое письмо, потому что вы мне приснились.

— Конечно. Очень рад!

Конечно, я был очень рад. Я так мечтал о том, чтобы кто-нибудь пришел и заглушил голос, который я слышу, когда у меня пошаливают нервы. И вот пришла молодая, прелестная женщина с огромной овчаркой.

У Дика на ошейнике висел транзистор. Из транзистора раздавалась «Песня Варяжского гостя». В пасти он держал сумочку.

Морда Дика выражала покорное отвращение к транзистору, «Песне «Варяжского гостя» и сумочке, из которой, наверное, пахло духами, хотя моя гостья была совершенно лишена светского лоска.

— Пожалуйста, не закрывайте дверь, — сказала она. — Должны подойти еще несколько зверей. Ужасная метель, и они мерзнут.

— Да-да, конечно, это у вас фамильное, я все понимаю. Только простите: я небрит и вообще... Немного не в форме.

— Я на полчаса, — сказала она и скинула шубку.

— Очень приятно. Я думал, это пришел полоумный мальчик. Он разносит по ночам телеграммы, — сказал я и повесил ее шубку на вешалку. — И у меня вечно не оказывается для мальчонки мелких денег, а большие мне жалко. Он просит на макароны — для больной бабушки. Врет, наверное.

— Меня зовут Соня,— сказала она, спокойно проходя в комнату.— Вам нравится мое имя?

— Я люблю это имя. Еще с «Войны и мира».

— Очень хорошо. Дик, положи сумочку на диван и сними транзистор! Мне надоела классическая музыка, дядя Гена.

Дик сделал все, что она велела.

За нами в комнату деликатно проскальзывали кошки. Они совсем не боялись собаки. А у Дика появилось на морде очень смешное выражение полнейшего отчаяния, как будто пес стоял над омутом и готовился броситься в него, чтобы утопиться.

— Соня,— сказал я.— В доме нет ни крошки колбасы, мяса, рыбы и ни капли молока. Что мы будем делать с этой оравой? Они сожрут нас, как сожрали какого-то подпоручика у Швейка.

— Это исключено. И все дела. Они совсем не такие голодные, как кажется. Они все притворы и попрошайки. Брысь по углам!

Кошки забрались во все углы и закоулки и затаились.

Неустроенностью жизни я обязан своей склонности к литературному труду. Иначе что же сидит во мне и диктует нелепые поступки? Ну кто же, например, вдруг повелел мне не выходить из дому, отключить телефон и тем более с кем-нибудь встречаться? Мне надоели вялые коллеги-инженеры, которые мусолят избитые анекдоты и вечно вают на жен или начальников все свои неудачи. И я взял отпуск в середине зимы и прожил две недели отшельником в центре огромного зимнего города, занавесив окна, чтобы с улицы приятели не видели света. Мне наплевать было, что кто-то тревожится обо мне и думает, что я уже помер где-нибудь под забором в сугробе. Все это время я не брился, под глазами набрякли мешки и зубы почернели от никотина. И даже сквозь чтение мне все слышался материнский голос: «...умер астроном Циммерман, умер астрофизик Ренц со словами „мясо“ на устах...» Сама она умерла от рака.

От рака люди мрут уже давным-давно. И все понять не могут, что это Небо подает им Знак. Ведь рак — это неуправляемое деление клеток, их цепное размножение, это обыкновенная модель атомной бомбы! Как множатся ужасные клетки, так вспухнет и умрет планета, если... Способность излучать свет — универсальное свойство жизни: светится печень кролика и кошки, ростки расте-

ний, наш мозг окружен нимбом... Угасает жизнь — исчезает свечение. Я должен светить людям и со дна могилы. Отсюда мое затворничество, отчужденность.

И вот награда — прелестная девушка с доброй большой собакой. Мне хотелось тронуть Соню пальцем, чтобы убедиться в том, что она не сон. Как-то Серов подвел Грабаря к «Девушке, освещенной солнцем» в Третьяковской галерее и сказал: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло: тут весь и выдохся. И самому мне чудно, что это я сделал, до того на меня не похоже. Тогда я вроде как с ума спятил. Надо это временами: **НЕТ-НЕТ ДА И МАЛОСТЬ СПЯТИШЬ**. А то ничего не выйдет». Вот и я решил малость спятить, когда закрылся в доме. Хотя вообще-то я не согласен с Серовым. Не может быть материал отработанным и исчерпан, если этот материал есть твоя жизнь, единственная и неповторимая.

— О чем вы думали, когда я позвонила? — спросила Соня.

— Мне надо написать словами портрет Белой ночи, а она скользит. Наверное, вообще нельзя написать то, что не отбрасывает тени.

— Неужели вы еще не заметили, что я тоже не отбрасываю?

— Когда лампы светят с разных сторон, сразу не разберешь.

— Дядя Гена, вы верите в предчувствия? Ой, сколько окурков! Курить вредно, но если вам нравится это, то курите на здоровье. Я вам писала, что часто хожу на дневные сеансы в кино? Благо у нас рядом кинотеатр «Бирюсинка». Я люблю детские фильмы. Это все потому, что я, наверное, ведьма. И в ступе летать научилась, — она встала, прошла по комнате и мельком взглянула на будильник, который стоял на шкафу. — Но мои суеверия не опасны для общества. И дедушка и папа много рассказывали про вас. И вы стали мне сниться. Вот я и прилетела.

— Зачем же вы смотрите на часы?

— А я и не смотрю, — сказала она с ненужной и милостливой лживостью. — Хотите, остановлю все часы? Сколько у вас часов?

— Будильник на шкафу и ручные. Ручные я не ношу, и они всегда сами стоят.

— Эй, часы на шкафу, — приказным и капризным тоном сказала она. — Становитесь на нуль!

Минутная стрелка будильника, у которого давно испорчен звонок, помчалась по кругу, как самолетный пропеллер. Потом свет в квартире вдруг погас и из передней в темноте к нам медленно поплыл голубой мерцающий огонек.

В его свете я увидел, как Соня села на пол, закрыла лицо руками и горько заплакала.

— Я боюсь, боюсь, — сквозь слезы и сквозь ладошки, которыми она закрывала лицо, говорила Соня. — Вдруг в глаз ударит? Никакая я не ведьма. Ждать каждую минуту, что она прилетит и ударит, — вот самое ужасное! Все время думать: не случится ли еще чего-нибудь? И как? И ждать — где, когда? Мне приходится носить га-лоши, а их теперь никто не носит!

Голубой огонек сделал круг по комнате, исчез в дверях, и сразу зажегся свет.

— Ладно. Делать нечего. Вот дурочка, все часы испортила. Сколько же теперь времени? — спросила Соня, вытирая слезы кулачком.

— Не знаю. Телевизор уже кончился.

— Он просто перегорел... Ладно. Вот и все дела. Мне пора.

— О! Не уходите! — взмолился я. — Мама сразу начнет опять говорить. Сколько можно одно и то же? «...Умер старший астроном Берг, старший астроном Елистратов с женой, астроном Домбик...» Я никого из них не помню, а она все повторяет и повторяет!

— Вы знаете, как убило папу? — спросила Соня, вытирая слезы.

— Я думал, он сам умер.

— Ему прямо в сердце попал метеорит. И все дела. Дик, дай сумочку! Я имела горькую сладость проститься с папой в крематории, — так говорит моя ученая мама.

Дик взял сумочку со стула и принес ее. Соня достала футлярчик из-под пробных духов и вынула маленький метеорит.

Я взял его. Он был очень тяжелый, с острыми краями — похож на осколок зенитного снаряда. И чудесно пах духами.

— Прямо в сердце, — сказала она и обтянула юбочку на коленках. — У вас холодно, дядя Гена. Дует по полу.

Наверное, не заклеены окна. Это опасно. И я не люблю, когда так смотрят на мои коленки.

— Замечательная смерть: его зарыли в Млечный Путь,— утешительно сказал я и протянул к ней руку.— Вставайте, наконец! Право, и я не отказался бы получить осколок Вселенной прямо в сердце и чтобы мне в изголовье поставили ночную звезду. Можно я поглажу ваши волосы?

— Не прикасайтесь!— воскликнула она, отшатнувшись.— Я заряжена сильным электромагнитным полем, дядя Гена.

— Черт знает что! Неужели нет никакого средства?

— На всем свете есть лишь одно еще существо, заряженное электричеством. Это мистер Рой Сэлливан. У нас с ним разные знаки зарядов, и мы могли бы составить прекрасную пару, но он живет в Америке и ему уже за семьдесят, дядя Гена.

— Бедная крошка! Что за напасть легла на ваше семейство?!

— Никто пока не способен объяснить это редкое явление,— сказала девушка.— Включите горячую воду на кухне. Я люблю мыть посуду и вешать занавески, потому что я наполовину армянка.

— Этак, Сонечка, вы застрянете там до утра. Я две недели ничего не мыл. К раковине не подойдешь.

— Ничего. Нам помогут звери. Дик, перестань трепать сумочку! Мистера Роя первый раз ударило седьмого августа шестьдесят третьего года. Он вел автомобиль. Молния из низкого, совсем маленького облачка. Попала в голову и прожгла шапку. Все волосы сгорели! Мужчинам это ничего, лысые тоже бывают симпатичные. А мне как? Ладно, пойду помою посуду, раковину и плиту. Плита тоже грязная?

— Наверное.

— Не люблю мыть плиту. Но иначе мне будет не успокоиться. Не шипи так! — цыкнула она на черного кота.— Прямо гремучая змея, а не кот. Пошли все со мной! Там есть передник?

Ей, конечно, скучно со мной, подумалось мне, а попросить ее отправить всех кошек вместе с Диком и остаться со мной я не решусь. Даже если она и согласится остаться, то из страха перед молниями, ночью, морозом и метелью. Метет метель, и вся земля в ознобе. И я не имею права использовать страх молоденькой преле-

стной девушки. И ни одной чистой простыни нет. Стыд и срам. Докатился. Да мне и не надо от нее ничего. Только бы она не уходила. Пускай ночуют все вместе — и она, и Дик, и кошки. А потом проснемся все вместе — и она, и Дик, и кошки. И я схожу и принесу им молока, и будем пить кофе.

— Я знаю, о чем вы думаете, дядя Гена,— сказала Соня.

— Если знаете, то залезайте в щель между мной и стенкой на диван.

— Вам это очень нужно?

— Наверное.

— А если я — нет?

— Буду допивать остатки. До утра хватит. И думать, как написать портрет Белой ночи. Нужен прототип. И для лета, и для ночи, и для смерти — видели когда-нибудь, чтобы смерть изображали в образе мужчины с косой? И для мудрости, и для любви всегда находилась модель среди живых женщин. Только для Белой ночи не найти.

— Я бы к вам на диван залезла,— сказала Соня, немного, но сосредоточенно подумав над моим нескромным предложением.— Если бы вы были сантиметров на десять повыше, лет на пять моложе, чуть побогаче и чтоб глаза были темные.

— С вами ничего не понять,— сказал я, чувствуя себя немного обиженным, хотя и ценю в людях откровенность и доверительность.— Вы только что жаловались, что ни до кого не можете дотронуться!

— У вас есть канцелярские скрепки, дядя Гена?

— Черт знает что! — сказал я.— Вон на столе. Сколько угодно.

— Перед тем как целоваться, я делаю так,— сказала Соня и начала тереть ладошку о ладошку.— Киньте-ка мне коробочку со скрепками. Не надо! Дик, принеси мне скрепки!

Дик подошел к столу, стал на задние лапы, взял передними коробочку и принес ей. Скрепки начали выскакивать из коробочки и повисли длинной цепочкой под каждой ладошкой Сони. Она засмеялась и подбежала к зеркалу...

Я ничем, ничем не болен. Просто иногда мне кажется все так явственно, что потом не отличишь, где сон, где явь. А они меня лечат электротоком. Я легко властвую

над временем, потому что с детства люблю выдумывать. Это все виноват Стивенсон Роберт Льюис, и доктор Джекиль, и мама, которая слишком любила цветы. Первое, что помню: огромная картина в тяжелой золотой раме — сирень в глиняных горшках, сирень, сирень, сирень... Куда же подевался наш пятиэтажный дом? Не осталось даже фундамента. Картину с сиренью мы сожгли, сперва раздробили топором раму, потом резали холст с цветами на кусочки бритвой отца, из холста летела вековая пыль. Или это была «Сирень» Врубеля?..

Сегодня ночью сосед по палате прочитал мои писания, я их не прячу — пускай все читают! Он прочитал и рассказал анекдот про семью, в которой каждую субботу ужасно орал кот. Он у них спрашивает, почему ваш кот орет? Он мне спать мешает. Они говорят, что каждую субботу кота купают. Он говорит, что тоже купает, но его-то кот не орет! А они спрашивают: вы своего кота после мытья выжимаете? Он говорит, что нет. А они, оказывается, своего выжимают.

Конечно, смешно, но и как-то грустно.

...Соня подбежала к зеркалу и показала мне в зеркало язык.

— Двадцать пятого июня прошлого года, когда мистер Рой удил рыбу, — сказала она, — этого капиталиста шандарахнуло в седьмой раз. Сейчас он лежит в больнице в специальной бронированной камере с ожогами груди и живота. Как жалко, что я уже больше никогда-никогда не буду маленькой! Даже если проживу до старости и впаду в детство. Подумаешь! Семь раз какого-то кулуксклановца обыкновенная — не шаровая — стукнула! На три метра он, видите ли, из автомобиля вылетел. И про него во всех газетах! Я красивая женщина, дядя Гена?

— Очень. Только ты еще не женщина. Вот когда научишься любить в себе не красоту, а душу, тогда только станешь.

— Боже мой! И этот туда же! Уши вянут. Да я, дядя Гена, русалку видела! И у нее из глаз знаешь что? У нее из глаз — черный свет! Знаешь, я решила мыть посуду завтра. И перестань глотать эту дрянь! Дик, выгони всех кошек в кухню и запири, а сам сиди у дверей и сторожи, чтобы не вылезли! Ну что ты на меня так смотришь, дядя Гена? Отвернись. Ты же видишь, что я раздеваюсь! Совсем ты у меня бесстыдный. Ну, что ты? Ты плачешь? Хо-



чешь, я почищу тебе яблоко? И ты часто путаешь сны с жизнью? Ох, какие у тебя холодные руки! Я сперва их тебе погрею. Не бойся, чего ты весь дрожишь? Я же через скрепки вся обыкновенная стала. И мы будем спать до утра совсем спокойно. Ты не храпишь, милый?

Нет, все-таки только женщины способны существовать в геометрии Лобачевского, то есть скользить сквозь время по двумя параллельным, но пересекающимся плоскостям. А мы, мужчины, как уперлись лбом в Эвклида, так и стоим. Лучше уж в зеркало упираться, чем в глухую стенку.

Возьмем такой всем знакомый момент. Делаешь ты, поборов робость и стыд, женщине нескромное предложение, как было в моем случае. Или, например, рассказываешь завлекательнейшую историю из политики. Или формулируешь — в поту и муках — заветную, сложнейшую, собственного открытия истину. И весь ты погружен в свое нескромное предложение, как было у меня с чудесной и ласковой Соней. Или весь ты погружен в свое изложение, в силлогизмы и образы. И каждой клеткой понимаешь, что весь цивилизованный мир обязан слушать тебя затаив дыхание, а она: «Милый, бульон капустой заправлять будем?» И это в самый пик твоих рассуждений, в самую кульминацию. И — все! Вавилонская башня грохается, осколок кирпича летит тебе прямо в рот, и ты, естественно, прикусываешь язык — все по Библии.

Конечно, я это придумал. Ничего такого у нас с Соней не было.

Она ушла, помыв посуду.

А я сидел на кухне и смотрел, как она моет.

— То окно, которое светится в доме напротив, оно всегда по ночам горит? Да? И вы на него смотрите? Я так и знала... Боже мой, куда бутылки девать? У вас нет мусоропровода? Вечно волосы в глаза лезут — сплошное наказание... Вы читали про Крысолова? Нет? О, он так играл на флейте, что мог увести за собой кого угодно. Это средневековая легенда. И он вывел из Гаммельна всех крыс, наводнивших город, а затем, обиженный неблагодарностью жителей, увлек за собой всех их детей...

Я вызвал по телефону такси и проводил ее до машины.

Над городом в ночной тьме кружила метель, ветер дул со всех сторон — за какой угол ни спрячешься. И пока

мы ждали такси, закоченели. Молнии пронзали снежную круговерть во всех направлениях. Закутанные в метельную круговерть дома и взблескивающие в свете молний трамвайные рельсы, по которым струилась поземка. Шум оледенелых ветвей старых тополей на бульваре, закруженных метельными вихрями. Дик испуганно прижимался к моим ногам, на его ушах светились огни Святого Эльма. И — гром среди метельного спящего города, гром, возвеличивающий вдруг человека и разоблачающий весь жалкий гений его.

Такси уехало в ущелье между сугробами, обдав меня колкими — из-под задних колес — ледяными брызгами, это были заледенелые лепестки сирени.

На память о Соне, о странной и прелестной девушке, осталась открытка с картинкой японского художника Томоо Инагаки «Шествие кошек». Эта открытка и здесь, в больнице, со мной.

Ночью, когда соседи спят, я достаю открытку и читаю: «Дядя Гена, я совсем не такая, как Вы думаете. По ту сторону жизни я буду тихим и светлым ангелом. И даже если Вы попадете в ад, во что я не верю, я прилечу к Вам светлым ангелом, и узнаю Вас в кипящей смоле, и протяну Вам руку. Я попрошу об этом у самого Иисуса Христа. Для себя я никогда ни о чем не прошу Бога, а только благодарю Небо за все и за то, что Вы есть на свете. И я у Вас действительно была и взяла 20 рублей на билет до Москвы. Соня. И у русалок действительно струится из глаз черный свет».

На картине Инагаки нарисованы шесть кошек или котов.

Четыре идут влево.

Две вправо.

Все — в профиль, то есть их тела в профиль. А пять кошачьих физиономий повернуты к зрителю. И десять кошачьих глаз следят за тобой — куда бы ты ни отклонился.

У трех котов усы есть.

У трех усов нет.

Одна кошка идет вся в профиль, на тебя не глядит.

В картине есть какой-то глубокий японский смысл.

Я его чувствую.

Интересно, веселее было бы приговоренному к смерти, если бы ему в телескоп показывали галактики и Млечный Путь и играли Бетховена?

## “Ария Джильды”

24 февраля 1979 года. +13°. Серо вокруг. Зыбь. Теплоход «Эстония». Мы между мысом Доброй Надежды и Антарктидой, куда везем зимовщиков.

Начал работать теплый кондишен.

Десять лет назад встретили здесь огромного кашалота. Мне он в жилу был, так как я вез рукописи сумасшедшего, вообразившего себя в брюхе Большой рыбы. Из этих рукописей я насочинял несколько рассказов, ибо увлекался в свое время «странной» литературой. И даже назвал одну книгу «Среди мифов и рифов», ибо в ней присутствовали записки сумасшедшего, которого я назвал Геннадием Петровичем М. И когда десять лет назад мы встретили здесь огромного кашалота, мчавшегося куда-то по своим делам с сумасшедшей скоростью, то у меня мелькнуло, что взбесился кашалот из-за того, что в его брюхе сидит мой Геннадий Петрович М.

Нынче встретили кашалота, который тихо-мирно спал на волнах, и ... прикончили его. Лень было второму штурману с крыла мостика в рубку идти, чтобы снять рулевое с автомата и отвернуть на пять градусов. «Да какой это кашалот?.. И никакой это не кашалот — бревно какое-то... Да и не наедем мы на него... в полукабельтове пройдем...» Пока штурманец рассуждал и прикидывал, кашалот проснулся, дернулся и — прямо нам под форштевень, а неслись двадцать два узла. И из-под винтов вылетел уже кашалотный фарш.

— Эх, Игорь Аркадьевич, так вас в перетак! — не сдержался я.— Еще Мелвилла с собой по всем морям возите!

Морячку, конечно, муторно стало на душе. Ведь даже курицу-дуру, выскочившую на дорогу под колеса автомобиля, жалеешь. И чувствуешь себя омерзительно, убийственно. Я так белку угробил в Михайловском. И до сих пор не забыть...

Чтобы поскорее затушевать неприятное событие, Игорь вспомнил один занятный эпиграф к «Дику». Мелвилл предварил роман доброй сотней эпиграфов — ни черта он их не боялся. И есть там четыре довольно фривольные строки из «Похищения локона»:

Заботу же о нижней юбке лучше  
Пятидесяти верным сильфам препоручим.  
Ведь эта крепость уж не раз была взята,  
Хоть укрепляют стены ребрами кита.

Так вот, Игорь весьма наблюдательно заметил, что здесь ошибся ради рифмы переводчик. Ибо нижнюю юбку, я бы сказал все-таки — корсет, укрепляли китовым усом. И пропустить в эпиграфе такую чушь главный китовый специалист не мог.

Конечно, Игорь прав: из китовых костей-ребер поллярные аборигены собирают остовы своих жилищ. И хороши были бы бедра наших дам, если бы они пытались защищать их китовыми ребрами!

В заключение отвлекающих от неприятного происшествия с кашалотом рассуждений второй помощник спросил, кто все-таки прототип моего сумасшедшего Геннадия Петровича М.

Что ж, можно уже поставить точку и в истории с ним.

Много получил я недоумений по поводу его новелл в путевых книгах. Читатели сетуют, что бред Геннадия Петровича мешает цельности восприятия и раздражает. Да и коллеги-писатели в большинстве поругивают, считая всю линию записок Геннадия Петровича надуманной и литературной. И я со всем этим согласен, но...

Недаром же была дискуссия о возрождении интереса к мифу. Возможно, мифы, притчи симпатичны нам потому, что они начисто лишены каких бы то ни было рассуждений, формулировок, лобовой открытости смысла в тексте. Единственный словесный жанр, где существует показ в стерильно чистом виде.

Сквозь тени древних слов, сквозь лад мифических строк просвечивает какая-нибудь простая истина. Простая, как крик петуха или горсть зерна в ладони сеятеля. И сам прием сказителя, который использует сверхфантастическое, сверхпарадоксальное и намеренно туманит речь, знаком всякому человеку, пытавшемуся передать другому простоту бесконечно сложного. Древние знали, что если показать истину как она есть, не облакая ее никакими покровами, то люди не увидят и не услышат. Должны видеть ее, потому что она перед ними, но не увидят, потому что не способны видеть неприкровенную истину. Вот почему истина облачается в мифический образ, прикрывается часто и вовсе чуждым ей покровом

и тогда вместе с этим образом или покровом становится отчасти доступной и для неразвитого духовного зрения.

В мифы ушел Геннадий Петрович М.

На самом деле его звали Геннадий Петрович Матюхин.

Вот его предсмертные больничные записи.

Последнюю тетрадь он назвал почему-то «Ария Джильды».

«Гномы, вероятно, избегают меня, хотя я зову их каждую ночь. Они знают: я не удержусь и расскажу кому-нибудь о них и о том, что я их видел. Ведь они приходят только к тем, кто никогда и никому не преговорится. Таких они угадывают на огромных, галактических расстояниях. Моя беда, что я не могу без человеческого общения, а социальное одиночество для автора бессмертной книги обязательно. Писать же не бессмертную книгу я считаю бессмысленным. И потому удаляюсь в брюхо кашалота. Я это делаю еще и потому, что мне не нравятся соседи по палате.

Вообще-то все соседи хорошие, нормальные. Они, например, лепят снежных баб, когда нас выводят на прогулку в больничный сквер. Сейчас декабрь. Промозгло. Бабы получаются кривобокие и страшные. А женщины — это так прекрасно!..

...В вазе стояли обыкновенные маленькие подсолнухи.

Я хотел ей<sup>1</sup> сказать, что молоденькие подсолнухи чудны и добры, как телята, потому что они теплы, шершавы и глупы. Я хотел, чтобы она поняла, как я талантлив...

Но говорила она, говорила быстро, немного побледнела, похорошела, курила.

— ...Предпочитаю эгоистов, людей, думающих и заботящихся только о себе! Да! Извольте! О таких не надо заботиться, и можно не быть им обязанной — свободной!.. Хочу опять музыкой заняться. Знаете зачем? Чтобы убедиться в том, что ничего не можешь, не умеешь, не способна... Понять музыку — отдаться ей! Но я не хочу, сопротивляюсь, не желаю отдаваться, а понять музыку хочу, знать хочу... Советовать не люблю людям. И вам не буду, хотя могла бы, есть что советовать, да! Только ответственности за советы не терп-

---

<sup>1</sup> Скорее всего здесь он вспоминает женщину из рассказа «Хандра» — так мне кажется.

лю — опять свободы лишает! И через совет вы в меня заглянуть можете. Советовать — в себе такое открыть, что словами не выболтаешь... Вы слушаете, думаете: душу выворачивает, — фиг! Я скрытная. Такая скрытная, что самой страшно — так хитрить могу, такой дым напушу — на контрапункте! Я честная только тогда, когда это не вредит. Я всегда поддакиваю. Унизительно поддакиваю, в ущерб самолюбию, но свое заветное сохраняешь... Еще. Головы никогда не теряла. Может, потерю еще? С вами вдруг потерю, а? Это хочется иногда — голову потерять! Иные поступки без такого не свершишь... Самое страшное — верить! Верить — вечно быть обязанной предмету веры — полная потеря свободы!.. Да, иногда хочу горе перенести, пережить горестное потрясение достойно... Не смейтесь! Не ухмыляйтесь! Горе делает человека значительнее в своих глазах, да. И в чужих, если хотите...

Я спросил что-то о ее отношении к любви. Она сказала, что любовь мощно приближает к жизни, но, боясь жизни, она боится любви, непременных, жестких связей с действительным. Для того чтобы примириться с действительным, ей нужно удаление от него. И это означает один выход — заняться искусством. Только в него можно уйти от жизни и одновременно влиять на жизнь, изменять ее...

— И чувствую, чувствую, медленно, медленно, по капле, но собирается во мне мужество, отчаянность Марины, она — мой бог! Знаю, верю, наберется достаточно смелости — тогда вспыхну и сгорю быстро, — и черт с ним, со мной тогда! Зато уважать себя буду. И вы все будете! В уважении к себе самой — цель жизни...

О театре она сказала, что разочаровалась в нем. Если сама не живет, то мечтать умеет мощно, и театр ей не нужен больше. Из книг берет только то, что уже созрело в самой, то есть берет в книгах подтверждения, они не могут открыть ей нового. Ненавидит Кристофа.

Ее послал мне сам черт. Хирург, врач, который изучает болевые точки на человеческом теле, а сам корчится под... Воистину, будь проклят тот день, когда я написал ей! С Юлием — за моей спиной по два письма в неделю. Пожалуйста, но зачем скрывать? И объяснение: «На все это можно закрывать глаза, а самой думать и отвечать серьезно. И, знаешь, от всего этого в целом появляется что-то новое в себе. Это интересно. Мостик!» Садизм? «Чтобы мне нравился человек, мне нужно видеть, знать,

что он страдает. Чтобы огонь, который во мне, не потух, ему нужны дрова...»

Все мелкие обстоятельства последнего дня нашей совместной жизни я помню хорошо.

Она узнала о концерте Клары Кадинской (сопрано) в филармонии случайно. Билетов не было. Но она не сомневалась, что достанет. Одевалась со сладострастным наслаждением. Напевала из второго действия «Риголетто»: «О, дорогое имя...» Надела длинное зеленое платье и зеленой тушью подвела глаза. При оранжево-рыжих волосах получилось что-то напоминающее осенние каштаны в Ялте. Билет купила через знакомую гардеробщицу на последнюю десятку, но во втором ряду, центр.

Певица вышла к черному роялю тоже в зеленом платье и с глазами, подведенными зеленым. Певица была прекрасна. Все недоступные ей миры красоты, свободной, парящей над буднями жизни... Все несбывшиеся мечтания... Неудовлетворенные страсти... Нежнейший французский шампунь... Джузеппе Верди... Оркестр ГАБТа СССР... Ослепительно-черный фрак дирижера Фуата Мансурова...

И певица заметила, отметила ее. Они легко слились в единое. Певица пела ей, смотрела на нее. Потом кинула ей розу со сцены.

Сверхнаслаждение, сверхнаркоз — катарсис.

Домой шла пешком по весенним лужам. Расстегнула пальто, ласкалась к ветру, слышала, как распускаются почки бульварных лип...

Потом тяжелая истерика, валериана, тазепам, ди-медрол...

Утром уехала к подруге и не вернулась.

Этакая «Крейцера соната», но, к счастью, без летальных исходов.

Кого мне ненавидеть? Себя? Ее? Кадинскую? Верди?

У нынешних актрис такие стали маленькие глаза, что в них не разглядеть души, даже если душа, возможно, там прячется огромная.

Актер может быть стопроцентным дураком, но он обязан быть таинственным дураком.

Последний раз я увидел ее во сне в ночь Нового года.

Случайно встречаемся возле Синода. Но ощущение такое, будто оба знали о встрече, готовы к ней. Она приглашает к себе домой. Я опаздываю на службу — военная служба, идет какая-то новая война. Спокойно соглашаюсь, но растет тревога опоздания. У нее дома много незнакомых людей. Да, во дворе жуткая грязь — заляпал ботинки. Она ведет себя замедленно, намеренно неторопливо во всем, хотя видит, что я дергаюсь. Женская наивность или хитрое испытание: нарушит он служебный воинский долг ради меня? Прошу ее проводить меня в часть. Идем мимо дома, в котором мы когда-то с ней жили. Он пуст, окна выбиты — взрывной волной?.. Мне надо еще куда-то зайти, чтобы переодеться в форму. Я опаздываю уже безнадежно. И еще понимаю, что такси в войну быть не может. Едем на троллейбусе, очень медленно. Потом она ведет меня через какой-то заграничный пассаж. Вокруг никого. Я спокойно касаюсь ее руки и понимаю, что женщине можешь простить все, если она вернется. (Только надолго ли?) Она приводит меня к себе на работу. Комната заставлена столами. Все столы аккуратные, ее завален папками, бумагами, захламлен. Она смеется и скидывает весь хлам на пол. Она хорошо выглядит, хотя постарела. И совсем чужая. И я вспоминаю, что она старше меня на два года. Я ухажу выполнять свои долги. Мне грустно и хорошо. Я говорю:

— Если я вернусь, то можно ангажировать тебя на мазурку?

— Я не танцую мазурку...

Теперь-то она, пожалуй, готова ее станцевать, но все уже поздно, совсем поздно.

Излюбленная повадка: прикрывать наглость желаний наивностью и алогичностью.

Если украшению нравится быть украшением, то почему ему не быть им? Если женщине нравится украшать собою мир, то и бог ей в помощь!

Моя Мэри-Маша будет очень любить сказки про принцесс и принцев. И очень будет любить подолгу рассматривать иллюстрации к ним. И, найдя на рисунке что-нибудь такое, чего раньше не замечала, будет счастливо смеяться. Правда, она будет счастливо смеяться и тогда, когда увидит лопух в канаве.

В сегодняшней прозе ни в коем случае не следует писать женскую внешность. Только имя, возраст, профес-



сия. Не унижаться до деталей типа «натянула край юбки на худые колени»!..

Несчастливая первая любовь для мужчины плоха не только тем, что ему нос натянули и ему больно. Особенно плоха она тем, что весьма длительное время, а иногда всю жизнь, мужчина потом страдает книжным восприятием женского. И даже при любви к жене и ее любви к нему он редко бывает удачлив в браке, ибо все ищет в жене книжной поэтичности. И еще. Человека, который в первой юности несчастливо любил женщину, тянет потом всю жизнь к ее матери, отцу, сестре. И перед этими людьми, когда мелькнет в них Она, он так же мужественно счастливо робеет.

И старая львица, и старая лошадь, и старая крестьянка — все они очень похожи.

И красивая женщина, и хороший писатель верят комплименту только на короткий миг самого комплимента, ибо сомневаются в себе.

В палате нас пятеро.

Сегодня сосед справа рассказал, что бросил жену по причине бесплодия. Какая гнусность!

А Ярослав Иванович — сосед в ногах — китобой. Он про дельфинов рассказывал. Оказывается, они указывали гарпунерам промысловой флотилии кашалотов. Обычно, когда одного кашалота подстрелят, другие его сородичи уходят на большую глубину, и охотник их теряет. Дельфины же вертелись и прыгали в тех местах, где кашалоты собирались вынырнуть, указывая гарпунерам на обреченных китов. И лишь когда гарпунер поразил все цели, дельфины, «сочтя свою миссию разведчиков выполненной, удалились из района промысла». Мне кажется, понятия «разведчик» и «предатель» слишком часто путают. Особенно в книгах и в кино. Ведь дельфины ничем не рисковали, донося на кашалотов. Да и какие же они разведчики? Они вели себя как легавые люди или легавые собаки. Судя по всему, дельфины, несмотря на приятное выражение их физиономий, мерзавцы и предатели, гнусные предатели! Мне обязательно нужно будет их опасаться, когда я буду плавать в кашалоте.

Левый сосед часто гневается на медперсонал. Но он ненастлив и тускл в гневе. Лет пятидесяти. Все вспоминает романы. Особенно первую любовь, когда девушка ему надоела и он решил от нее избавиться и искал предлог. И вот выменял на кулек леденцов у младшей сестренки возлюбленной ее дневник. Младшая знала, где старшая хранит дневник, а время было послевоенное, и она соблазнилась на леденцы. И вытащила дневник из дымовой трубы, где тот хранился.

И вот мой левый сосед изучил дневник. И обнаружил запись о поцелуе, который его девушка подарила кому-то другому в давние, еще до их знакомства времена. И он решил эти «данные» использовать.

Девушка пыталась удержать его и даже все повторяла: «Делай со мной все, что ты, как мужчина, хочешь». Но он ничего с ней делать не стал, чтобы во всем этом деле не завязнуть, а самой девице объяснил, что обещал ее матери и пальцем дочь не трогать. И не тронул, «морально устойчивый был». Так он нам и рассказал, что был морально устойчивый.

Девица укатила на целину, спуталась там с каким-то обормотом, родила сына и назвала в честь этого моего левого соседа Володей.

И вот они через много-много лет случайно встретились. И у нее уже «были морщинки возле глаз, как гусиные лапки», но она еще «вся такая упругая, такая упругая, как футбольный мяч, а у него сердце сжималось от прошлых воспоминаний».

И ведь я соседу не сказал: «Сволочь ты, сволочь!»

А почему не сказал? Потому, что ежели он всем в палате это рассказывает, так обыкновенно-откровенно, с рассудительными интонациями, как он девочку в голодное время леденцами соблазнил, чтобы она старшей сестры дневник ему продала, маленькую душу свою испачкала, то следовательно — сосед мой левый ничего в том плохого и сейчас не видит. Какой смысл обругать? Его убить надо, но кто на себя такую черную работу возьмет?

Пока он рассказывал, я почему-то вспомнил, как уже порядочно лет после войны мать вернулась из магазина вся в слезах. Оказывается, видела, как продавщица влила в бидон сметаны сколько-то там простого молока — разбавила для своей наживы. И вот мать плакала не от жидкой сметаны, а потому, что сделала это все продавщица на глазах всей очереди, нагло, от-

крыто. И вся очередь рабски молчала... А на материнский упрек продавщица ответила: «А мне детей кормить надо?»...»

Из всех записок Геннадия Петровича видно, что когда острота в восприятии грубости и пошлости жизни достигает слишком высокой степени, то происходит душевная катастрофа — человек сходит с ума.

Но довольно долго мне представлялось, что автор бежал в кашалота, чтобы уклониться от непомерности жизненной ноши.

Спустя годы меня осенило, что он, забираясь по стопам дезертира Ионы в брюхо кашалота, возможно, и не думал о бегстве от зла, от жизненных сложностей и перегрузок. Нет! Наоборот. Он задумал атаковать Зло мира изнутри! Но не преуспел в этом, как, впрочем, и Ахав Мелвилла. Мой больной автор записок никак не был пессимистом, ибо верил в возможность счастья для людей и хотел драться за него. Хотя, конечно, гуманитарно-интеллигентская сущность души и природы его и представить не могла жестокой последовательности безумного капитана «Пекода».

И вот он погиб вместе с кашалотом в струях холодного Фолклендского течения под винтами теплохода.

Иначе и быть не могло.

Говорят, что несколько лет назад, когда в Антарктиде еще совсем не существовало инфекционных микробов, зимовщики так отвыкли от любой заразы, что поголовно валились с гриппом, когда получали корреспонденцию из дома. И ласковые письма к ним приходилось перед отправкой в Антарктиду стерилизовать. Ну а истончившуюся человеческую душу от плохого в жизни уже ничем не защитить...

## Чертовщина

Протоплазма, по крайней мере потенциально, бессмертна. Смерть не заложена в амёбу.

*Учебник биологии*

А это уже не сон и не попытка выдумать себе собеседника. Это настоящая чертовщина. Она началась в поезде, когда я ехал в командировку в Москву и утром

встал с левой ноги, а натягивая брюки, попал большим пальцем этой левой ноги в дыру брючной подкладки.

Дело было в «Стреле», на глазах соседей — профессора истории и крупного технократа. Палец попал в дыру и двинулся дальше уже по целине подкладки с мерзким звуком.

Добрую минуту соседи исподтишка наблюдали за моими маневрами. Левая нога безнадежно плутала в темноте брючины. Ее путь к свету не был прямым путем. «Кто ищет, вынужден блуждать», — сказано в «Прологе на небе», которым открывается «Фауст».

Стучали колеса на подмосковных стыках. Рукотворные водохранилища чернели ленивыми лужами среди белых берегов. Была зима, от окна дуло, но меня прошиб пот.

И не осталось сомнений в том, что наступающий командировочный день пройдет под флагом сплошной безнадеги.

И действительно.

В нужных учреждениях не было нужных лиц или эти учреждения закрывались на обеденный перерыв перед моим носом, в самом великолепном в мире метро я умудрился дважды заблудиться и, конечно уж, не получил номер в гостинице, хотя еще за неделю хлопотал о броне.

Удивительное дело. В столице масса знакомых женщин и приятелей-мужчин. Но всегда оказывается, что позвонить некому, если остался ночью на улице или в ресторане без денег. И Белорусский вокзал не один раз оказывал мне покровительство. Зал ожидания транзитных пассажиров — перманентное заведение. России без него не представишь. Плох он только тем, что транзитность впитывается в кости. И начинает казаться, что вся жизнь — это сидение на жестком диване в зале ожидания. И тогда ты впадешь в очернительство, и комплекс неполноценности достигнет критической массы.

В тот раз я вспомнил телефон женщины, которая когда-то относилась ко мне неплохо, но потом вышла замуж за мужчину, который никогда не ночевал в залах ожидания для транзитных пассажиров.

Женщина не очень обрадовалась звонку, но сообщила, что ее мать едет ночевать к ней, потому что болеет дочка. Комната на Сивцевом Вражке остается пустовать.

Около двадцати трех я был у матери моей знакомой в старом доме старого переулка Сивцев Вражек. Ее звали Оксана Михайловна. Она догадывалась о том, что дочь когда-то неплохо ко мне относилась. И побаивалась, как бы я чего-нибудь не стал возобновлять. И потому ей полезно было со мной познакомиться. Я же знал только, что она патологоанатом. Это был первый патологоанатом, которого я повстречал в жизни.

Оксана Михайловна сразу завела разговор о том, что ливер людей, которые не берегут себя, отвратительно выглядит и неважно пахнет при вскрытии. Объясняя это, она посмотрела на меня взглядом профессионала, который по мешкам под глазами может со всеми деталями нарисовать вашу печень. И у меня замелькала в мозгу строчка, выстроенная ступенькой под Маяковского:

А эпилог

нам всем

патологоанатомы

напишут!

— Не собираетесь ли вы побывать в Японии? — поинтересовалась хозяйка, укладывая в пластмассовую коробку пирожки для внучки.

Теоретически это было возможно. И я спросил размер туфель, которые требовались.

Но требовались японский лак и смола для муляжей.

— Я храню растительность... — здесь она произнесла имя, отчество и фамилию одного из очень знаменитых и уважаемых писателей начала нашего века и продолжала, надевая старомодные боты: — Хотите взглянуть на его усы? Вам должно быть интересно. Я всю жизнь мечтаю сделать его муляж. И с открытыми глазами. У меня хорошо получаются глаза, если, конечно, лак японский...

Я снисходительно хихикнул. Я еще не знал, что скоро деревянный диван в зале ожидания на любом вокзале покажется мне райским уголком по сравнению с комнаткой в старом доме на Сивцевом Вражке.

Оксана Михайловна открыла шкаф и принялась рыться в беспорядке полок, попутно объясняя, что сотворение муляжей и снятие посмертных масок со знаменитых покойников — ее хобби со студенческих, комсомольских времен, с тех еще времен, когда она подрабатывала машинописью в секретариате Интернационала; что она снимала маску с Ивана Павлова, была последним человеком, видевшим писателя Н., в крематории она сбрила

с него усы и ресницы для будущего муляжа, а потом наблюдала весь процесс сожжения: как вспыхнула рубашка и от жары поднялась правая рука писателя в облаке ослепительного газа и т. д., и т. п.

— Занятно, занятно, забавно, забавно,— поддакивал я, все еще полагая, что меня разыгрывают. Но Оксана Михайловна выставила на стол стеклянную колбу. На дне колбы лежали вялые усы, наклеенные на липкую бумагу. Затем вытащила гипсовую посмертную маску. Из маски свисали цветные тряпки и торчали окаменевшие бинты. Но несомненная подлинность маски делали эти детали несущественными.

Горестная тяжелая голова легла в яркий круг настольной лампы.

Я, конечно, спросил, почему реликвия хранится дома и не сдана в соответствующее заведение. Оказалось, что такого заведения, то есть квартиры-музея, еще нет, что Оксана Михайловна предлагала кому-то реликвию, но все отказались.

Я такому объяснению не удивился, потому что у нас в России отчетливо заметен таинственный закон, открытый и сформулированный, кажется, Тейяром де Шарденом. Закон этот заключается в том, что природа прячет прошлое от взгляда исследователя особым образом. Мы можем реконструировать только начала и концы прыжков истории и эволюции. Сами прыжки не оставляют следов. То есть выражение «концы в воду» здесь проявляется в противоположном смысле. Концы из воды торчат, а середины исчезают.

Оксана Михайловна уехала, посвятив меня в секреты французского замка, который я должен был утром заллопнуть, и пожелав чувствовать себя как дома, так как ночевать я буду один в квартире — левая соседка в командировке, а правые соседи не ночуют: у них недавно умер дедушка и они боятся. Вот тут-то я и набрался храбрости, чтобы спросить, нет ли у Оксаны Михайловны чего-нибудь успокаивающего. У нее нашлась казенка в бутылке из-под «Цинандали».

Шел двенадцатый час ночи.

Я остался со старым писателем Н. в маленькой комнатке, окно которой выходило в переулок. Напротив был замызганный кинотеатрик. Там шел последний сеанс, и еще горели фонари у подъезда, освещая залепленные

снегом афиши. Снег густо падал с черных небес в щель переулка.

В комнате было тесно от дрянного комода, продырявленного дивана с ковром — верблюдов на фоне пирамид — и громоздкого зеркального шкафа. Жилье одинокой ученой женщины.

Над столом висела полка с книгами специального содержания. Первая книга, которую я взял, оказалась переводом со шведского. На обложке красовалась лупа и крупный отпечаток человеческого пальца. Книга называлась «Новейшие методы расследования преступлений». Я начал ее листать.

Маску писателя и колбу с его растительностью я накрыл газетой. Я знал, что буду еще ее рассматривать. Никуда от этого я деться не мог. Но время еще не пришло. И сперва судьбе было угодно ознакомить меня со способами расчленения трупа в целях его дальнейшего сокрытия. По этим способам, оказывается, легко можно определить, был ли убийца мясником-крестьянином, или имел отношение к человеческой анатомии, или полный дилетант в мясных вопросах.

Хорошие шведские иллюстрации помогали составить обо всем этом наглядное представление.

И сразу мне показалось, что за стенкой — в соседней, пустующей после смерти дедушки комнате — кто-то скрипнул полом. Я напомнил себе, что резкое уменьшение раздражителей, падающих на органы чувств нормального человека, например в сурдокамере, быстро приводит к слуховым иллюзиям. И что никто там скрипеть не может. Просто у меня звенит в ушах от тишины и духоты — батарея под окном жарила во всю ивановскую. Но на всякий случай я засунул шведскую книжонку обратно на полку.

Потом снял газету с реликвий.

Большая голова, набитая тряпьем, покорно молчала в свете настольной лампы. Провалы асимметричных ноздрей, широкий и плоский тупик носа, а сам нос, если взглянуть сбоку, очень тонкий и длинный. Переносицу почти горизонтально секла морщина, начинаясь у левой брови. А лоб строго посередине разделялся вертикальной складкой. Гипсовые усы плотно закрывали верхнюю губу и прижимались к впалости щек. На маске они были значительно больше, нежели в натуральном виде, больше и гуще.

Писатель — могучий интеллеktуал и поэт — казался похожим на старого паровозного машиниста. И, как такого машиниста, его невозможно представить без усов. И меня не так поразила сама растительность знаменитого человека в колбе, как то, что женщине хватило нахальства, гениальности или сумасшествия сбрить ее с мертвеца, отправить человека в последний путь с голым лицом. Я даже прикрыл усы на маске пальцами, чтобы попытаться представить классика бритым. Из самозащиты или по дурной привычке я бормотал вслух случайные панибратские слова, вероятно, инстинктивно стараясь снизить, расшатать необычность душевного состояния. «Занятная встреча, — бормоталось мне. — Занятное получается дело, метр... Это называется „LITTERA SCRIPTA MANET“, да, слова улетают, а написанное остается, не вырубишь его топором, написанного. Единственную пятерку по литературе я имел за твои сочинения, старина, н-да...»

Но смерть быстро прикончила ручеек словоблудия. Смерть глядела закрытыми глазами из-под клочкастых бровей и тихо жила в натекшей к ушам коже и морщинах большого лба. Горечь раздумий запечатлелась на челе.

Я вытряхнул растительность из колбы и коснулся волос пальцем. Они показались влажными.

Я закурил. Подумалось о своем ливере, о прокуренных легких; о веревочке, конец которой скоро найдется. Подумалось о смерти. Не о пристойной или величественной смерти, а о ранней, больничной, бессильной, как истрепанные бинты, которыми была набита полость маски.

За жизнь каждый из нас миллион раз мимоходом, вскользь, но подумает о таком. И каждый раз в ином варианте, ибо каждый раз человек находится в ином состоянии. Ведь адекватно повторяются лишь кошмарные сны — все остальное, включая каждое наше микросостояние, никогда не повторяет себя. И вот один раз из миллиона подумываний мы найдем все-таки вариант, который нас больше всего успокоит и примирит. И мы уцепимся за него.

Мы только не можем представить себе, что в предсмертии наше состояние будет таким необычным, каким оно никогда за все миллионы микросостояний даже близко не было. И тогда про утешительный вариант мы скорее всего и не вспомним. Любые иллюзии исчезнут.



Любая ложь не поможет, если только милосердный врач не причастит нас морфием.

Я встал, прошелся, посмотрел на себя в зеркало. Честно говоря, мне хотелось на живое лицо посмотреть. Но когда глядишь на себя сразу после рассматривания смертной маски, то волей-неволей прикидываешь, как будешь глядеться в гробу, как складки к ушам со щек натекут. Сколько мне пришлось в почетном карауле стоять, столько я на эти натеки возле ушей любовался. Притягивают.

Я походил взад-вперед по узкой комнате среди чужого пространства, чужих вещей, чужого жизненного уклада. Верблюд косился с ковра равнодушной мордой.

Падал за окном снег.

Из кинотеатра повалила толпа с последнего сеанса. Люди, попадая из надышанного тепла в снеговую ночную стылость, поднимали воротники, прихватывали друга друга под ручки, мелькали вспышки спичек, дым после первых жадных затяжек клубился густо. Какое-то зрелище свело людей вместе, держало там полтора часа. По белому экрану метались тени. Люди, быть может, плакали. Теперь они растекались в проходные дворы, в трамвай за углом, в переулки.

Я открыл форточку, услышал курительные и простудные кашли, скрип подошв, отдельные слова о недавнем зрелище. И тошно мне стало, как зрителям после последнего сеанса на зимней улице. Музыки захотелось.

Приемничек оказался слабенький — «Рекорд». Он зашипел последние известия. От шипения приемника я еще острее ощутил одиночество. И когда из кинотеатра ушли последние люди, погасли последние огни, заглохли двери, то даже вздохнулось. И почему-то вспомнился телевизионный фильм, который я недавно смотрел в плавании в кают-компании теплохода возле берегов Соединенных Штатов, в тумане, в метельном и тусклом океане. Это был мультяшечка. Симпатичный, солидный, вдохновенный кот играет на рояле. Кот не знает, что внутри рояля бегают по декам испуганный и хитрый мышонок. Это мышонок извлекает вдохновенные звуки из рояля, а не кот. Но вот аплодисменты. Кот встает, раскланивается, прижимает лапы к груди. Позади кота выскакивает из рояля мышонок и прячется в норку.

Нет тут никакой символики. Вспомнился вдруг долгий рейс в зимней Атлантике, неожиданный кусочек чужой земли на экране телевизора в кают-компании, солидный

кот за роялем и мышонок Моцарт в рояле, испуганный, несчастный и счастливый.

Мир утерял наставников и приобрел приемники, подумал я как бы чужими словами. Потом старательно продышался свежим воздухом, закрыл форточку, с почти-тельностью убрал реликвии подальше от глаз в шкаф и прилег на диван. Подушка оказалась жесткой и низкой. Я приподнял ее на валик, валик откинулся, задел что-то на батарее отопления, и это «что-то» глухо шмякнулось на пол. Я взглянул за край дивана и оказался лицом к лицу с мертвецом. Собственная растительность зашуршала на затылке сапожной щеткой. И понадобилось порядочно секунд, чтобы понять, что из-под дивана торчит не голова трупа, а просто-напросто с батареи упала еще одна сохнувшая там маска старика с ужасным выражением лица. К счастью, она не разбилась.

Я поднял ужасную маску дрожащими руками и положил на стол.

Потом опять походил по комнате, раздумывая, не стоит ли сорваться в аэропорт и улететь домой или к чертовой матери — безнадюга превышала допустимые уровни.

Смертный слепок на столе, казалось, корчился от ярости. Он почему-то напомнил мне протопопа Аввакума.

Удирать, однако, было стыдно. Да и очень уж не хотелось в ночной снег. И я заставил себя прилечь обратно на диван под верблюда и пирамиды. И стал думать о завтрашнем дне, о делах и планах. И вдруг явственно почувствовал за дверью комнаты присутствие кого-то. От предположения, что дверь сейчас тихо откроется, я окаменел. Пролежав в каменном состоянии с минуту, я услышал за дверью вздох. И, преодолевая желудочный спазм, бросился в переднюю и темный коридор, но там, слава богу, никого не оказалось.

Хорошо взбитому гоголь-моголю надо простоять сутки, чтобы опала пена и гоголь-моголь опять стал обыкновенной смесью желтка, белка и углеводов. Мое психическое состояние было близким к хорошо взбитому гоголь-моголю. В таком состоянии не уснешь, но я, как убеждает меня все последующее, все-таки уснул.

Звонок раздался около двух часов.

Я открыл глаза, увидел незнакомую комнату, смертную маску на столе в круге света от лампы и обнаружил

в себе остановку дыхания. Ночной звонок в городскую квартиру неприятнее львиного рыка возле озера Чад. И мы предпочитаем отпасовывать неожиданные ночные звонки ближним, то есть соседям. Для этого мы предпочитаем подождать второго звонка. Или третьего. После третьего мы уже принимаем решение — или окончательно окаменеть, то есть изобразить из себя пустое место, но не удовлетворить извечное, присущее даже змеям любопытство, или открыть дверь, чтобы удовлетворить любопытство, но получить хлопот полный рот.

Открывать на ночной звонок, когда ты ночуешь в чужом месте и не получил надлежащих инструкций от хозяев, вообще глупо, ибо звонящий не может знать о твоём присутствии, ты можешь изображать пустое место с довольно чистой совестью.

После первого звонка я продолжал лежать, отчетливо слыша удары метронома, как в блокадном бомбоубежище во время тревоги. Сперва я подумал, что слышу удары своего сердца, но это оказался хозяйский будильник, который стоял на комодке.

Звонок долго не повторялся.

Я же знал, что на лестнице есть человек. Он не ушел. Я его чувствовал.

И второй звонок раздался, требовательный, как бы говорящий: «Я знаю, что ты, сукин сын, тут! Отворяй, а то хуже будет!»

Следовало предположить, что это вернулась по неожиданной причине от дочки хозяйка и звонит, так как потеряла или забыла ключ. И я не стал ожидать третьего звонка. Выбрался в коридор, поискал выключатель, но не нашел его, оставил дверь в комнату открытой и в полусвете подкрался к французскому замку парадной.

Если я принимаю решение открыть на ночной тревожный звонок, то уже не спрашиваю: «Кто там?» Дело в том, что запах дверей без всяких «Кто там?», запах широкий, стремительный и молчаливый, неплохо ошарашивает ночного звонящего, даже если он представитель самой суровой власти, и эффект внезапности на доли секунды переходит к вам.

Распах не получилось — старая дверь способна была только ковылять по кучей орбите, цепляясь за неровности лестничной площадки.

Нарушителем спокойствия была пожилая высокая дама в шикарной шубе из норки и с цыганской шалью на

плечах. Она спросила Оксану Михайловну, назвав ее по фамилии.

Я спертым голоском объяснил, что хозяйка у дочери, я здесь чужой, телефон там есть, здесь телефона нет, но я готов служить, если в том есть необходимость.

— Вы сегодня здорово пьяны! Клянусь богом, это так! — сказала дама с той непосредственностью, с какой говорят на алкогольные темы только за границей, где подсобное высказывание не является чем-то оскорбительным, а просто фиксирует факт и придает этой фиксации даже оттенок некоторой лукаво-грубоватой зависти.

— Я из тех, кто не опасен в любом виде, — сказал я.

— Если разрешите, я зайду и подумаю, что мне делать. Вы еще не спали — вы одеты. У меня всего три часа. Я пролетом, знаете, как все теперь: «Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс...»

Она вошла в полумрак коммунального коридора с той уверенностью, с какой великосветские дамы прошлого века входили в театральную ложу, забронированную еще их дедами. И скинула шубку мне на руки. Шубка была сухая.

— Послушайте, — сказал я. — На улице метель. Как вы умудрились выйти сухой из воды?

— Меня ждет посольский автомобиль, — сказала она.

Тут я вспомнил, что на столе лежит смертная маска Аввакума и это может шокировать даму, разъезжающую по ночной Москве в посольской машине.

— Айн момент, — сказал я на иностранном языке, прошмыгнул в комнату, схватил маску и сунул ее под диван.

— Достаньте обратно! — раздался приказ, и я даже почувствовал себя героем шпионского фильма и чуть было не поднял лапки, ожидая увидеть кружок пистолетного дула возле лба.

— У этой штуки жуткое выражение, — сказал я. — Вы не боитесь?

— Положите, пожалуйста, маску на стол, — сомнамбулически прошептала дама. — Я приехала как раз для того, чтобы увидеть его. Я не буду вас долго задерживать... Ну вот, Андрюша... видишь... я здесь. — Она села на диван с ногами, в уголок, уютно. Она смотрела на маску издали взглядом скорбным, но спокойным, как смотрят честные вдовы великих людей на гранитные монументы супругов. — Ну вот, Андрюша... я здесь, любовь моя...

У меня почему-то напружинились все мышцы, как у мужчин-пижонов-петухов на пляже. И в таком напружиненном виде я отправился искать кухню, чтобы дать даме побыть одной и попробовать сделать чай. Я рад был странности всего происходящего и не жалел разбитой ночи. Только мне все казалось, что дама крадется по пятам за мной во тьме коридора. И что она окажется рядом, когда я включу свет. И когда я нашел кухню, выключатель и зажег свет, то сразу резко оглянулся. Никого, конечно, не было. Только три газовые плиты, умывальник и древний холодильник.

Я взял первый попавшийся чайник, наполнил его из медного краника, причем струя рвалась из краника злобствующей, брызгающей шавкой, поставил чайник на газ и, возвращаясь в комнату, нашел выключатели в коридоре и передней. Мне хотелось больше света. Как Гёте перед смертью.

— Меня зовут Наталья Ильинична. Я русская, родилась в России, в Петербурге, но мало жила здесь,— сказала дама, когда я тихо вернулся.

Ей можно было дать и пятьдесят, и семьдесят. Ухоженность и спортивность у волевых состоятельных женщин в век НТР долго сохраняют им статус-кво. Такие ухоженные состоятельные женщины превращаются в развалин и старух моментально — от толчка болезни или удара судьбы. Уверен, что именно такие длительно нестарые выдумали брючный костюм. Еще они отлично сохраняют и используют голосовую завлекательность. Ту самую, состоящую из грудных гармоник, которую все женщины любят слушать в себе с девочкиных времен. На эти гармоники покупается наш брат при знакомствах по телефону. Я лично терпеть их не могу. Мужчина, расхаживающий по пляжу с напружиненными бицепсами, так же смешон и неприятен мне, как и женщина, которая говорит завлекательным голосом «ой!», когда ей на самом деле не страшно.

— Меня зовут Виктором,— сказал я и понес с пьяной непосредственностью: — Женское в женщине, Наталья Ильинична, самое сложное для естественного выражения, хотя такое мое заявление и можно считать парадоксом. Меня ничуть не шокирует женщина, повесившая серьгу в нос, если ей действительно доставляет радость ходить с такой серьгой. Однажды я застал у племянницы подругу, девушку лет шестнадцати. Они вместе готовились к экзамену по литературе на аттестат зрелости, повторя-

ли типические черты «Матери» Горького. И подруга племянницы все прятала под стул ноги. Но я разглядел, что у нее на щиколотках намотаны розовые бусы. Девчонки изучали скорбную жизнь Ниловны и любовались на себя в большое шкафовое зеркало. И это прелестно было. Мне тогда показалось, что я попал на ласковые острова Таити...

— У вас есть выпить, Виктор? И я не очень вам мешаю?

— Нет-нет, не мешаете. А мне болтать или молчать? Как прикажете? Я вижу, что...

— Да-да, болтайте. Вы правильно угадали. Здесь не будет мелодрамы, голубчик. Я танатолог. И он, Андрей Дмитриевич, тоже был танатологом.

— А что это такое?

— Танатология — наука о смерти. Налейте мне «Цинандали».

— Это не вино.

— А простая водка у вас есть?

— Сейчас будет,— сказал я.— Хоть вы и русская, но иностранка. А попадая в Россию, иностранцы с удовольствием лакают любую дрянь, если назовешь ее водкой. В Сплите боцман одесского танкера «Маршал Бирюзов» покупал в аптеке обыкновенный югославский спирт. Он стоит там пять копеек в базарный день. И продается без рецепта. Будете спирт с водой?

— Да-да, голубчик. И вы позволите, я здесь похозяйничаю? — спросила Наталья Ильинична, поднимаясь с дивана.— Сделаем стилл лайф... Андрея Дмитриевича в центр... вот так... Сюда ступу с карандашами, здесь парочку книг... Чего не хватает? Пепельницы с дымящейся сигаретой? — Приговаривая все это, она действительно составила на столе натюрморт с маской в центре. Затем достала из сумочки очки, надела их и низко склонилась над маской, осторожно и ласково поглаживая гипсовый лоб длинными пальцами, будто пытаюсь раздвинуть разъяренно сжатые брови старца.— Я прихворнула, а он был уже известный врач... Это было девятнадцатого апреля тринадцатого года. Мезозойская эра, да? Он начал меня целовать. Он был очень сильный. Играл под Базарова. Попович. Сопротивляться я не могла, потому что руки мои он держал за спиной у меня, а чересчур вертеться я не могла из-за головной боли. Я попросила его отпустить меня. Но он принялся меня выслушивать, взяв на себя серьезный вид врача. Хотя я к этому врачу

не имела уже ни капли доверия, все же решилась дать себя послушать...

У меня на языке завертелась фраза известного анекдота, нечто вроде «приятно вспомнить», но я, слава богу, удержался. Слава богу потому, что, хотя дама была далека от мелодрамы, от анекдотов она была все-таки еще дальше. Она пришла попрощаться с человеком, которого любила и с которым всю жизнь провела во вражде,— шекспировская ситуация. Она всю жизнь стремилась облегчить человечеству страх перед смертью. Он всю жизнь считал ее работу величайшим преступлением перед нравственностью, ибо почитал смерть единственной силой, питающей человеческую совесть. Он, как я понял, считал, что чем больше нашпиговать современного человека страхом перед смертью, тем больше шансов у человечества не превратиться в скотов. Оба начинали в Париже в институте Пастера у Мечникова с выяснения роли простокваши в долголетию и с веры в то, что сознание неизбежности смерти, которое так часто делает людей несчастными, сеет пессимизм, приводит к самоубийству и воздержанию от размножения, есть зло поправимое. Стоит только победить болезни, заставить людей следовать правилам научной гигиены, и все будут достигать такой глубокой старости, при которой инстинкт жизни сменится инстинктом смерти и само прекращение физиологических функций будет сопровождаться приятными ощущениями, как они — весьма приятные ощущения — часто предшествуют сну или легкому обмороку. Но чем больше вставало трудностей на пути к достижению глубокой старости для всех и чем упорнее люди не следовали правилам научной гигиены, тем острее Наталья Ильинична ощущала необходимость помочь тем, кто умирает молодым, корчась от страха приближающегося конца. Она занялась исследованием составляющих этого страха. И выделила ту, которая порождается омерзительностью физического лика смерти. Она решила найти возможность смягчить пессимистическое ощущение, испытываемое большинством атеистов и верующих при воображении своего тела, своей физической оболочки в стадии разложения, гниения, зачервивенья, могильного одиночества. Она искала возможность автоматического уничтожения трупа в момент наступления необратимой смерти.

Не думайте, что дама с синтетическими ослепительными зубами западной кинозвезды и в парижском

парике золотистой блондинки читала лекцию в комнатке на Сивцевом Вражке. Лекции не было. Был метеоритный пунктир ее жизни на фоне тихого натюрморта со смертной маской старика-мученика. Это уж потом я обмыслил кое-что и уложил в систему на уровне своего понимания вопроса, то есть без всякого «noblesse oblige». Последнее выражение она повторяла так часто, что и я его запомнил. Оно означает: «Судить, как настоящему ученому, лишь с полным знанием дела».

Пока я слушал трассирующий рассказ Натальи Ильиничны, вторым планом стояла перед моим внутренним взором весенняя сценка: уборка двора дома номер девять по каналу Круштейна в Ленинграде в апреле сорок второго. Это был мой университет по танатологии. Во дворе лежали трупы... И вот оказалось, что старик, со смертной маской которого меня свела судьба, был специально командирован в блокадный Ленинград как дока-танатолог, и принимал участие в заседаниях исполкома и горкома комсомола, и давал рекомендации о способах сохранения нормальной психики у нас — детей и старух — при работах по уборке незахороненных трупов.

— Он ухаживал за больными на Чумном форту, это бывший Александра Первого... Шел ладожский, льдины синие и белые, без грязи... Я очень боялась за него, все ходила по городу — и по Большой Невке возле старого дворца Бирона, и по Мойке возле дома Пушкина... Вечерняя заря была странная — набекрень... Город весь шуршал от льдин и ветра. И я думала, как льдины плывут мимо форта — туда не добраться было. Это теперь — вертолеты... Ночью он позвонил, сказал, что заразился, что идет лед, дымы стоят над городом, он их увидит еще и утром, утро будет чистое, молодое, как только проклюнувшаяся трава... «Я все забывал вам сказать, — сказал он, — что я вас люблю. Как-то все не выходило сказать. Потом, зачем вам было это знать? Узнайте теперь. У меня температура, но голова ясна. Я знаю теперь окончательно: смерть связана с совестью материальной связью. Перечитайте «Смерть Ивана Ильича» графа Толстого. Обещайте иметь эту книгу всегда с собой!..» А я вдруг поняла и почувствовала, что он не умрет... Он еще сказал, что видит тюленя — тюлень плыл мимо форта на льдине, — и я засмеялась от счастья, что он не умрет, — он не мог умереть. И я ему говорила о вязах, как мы будем гулять среди вязов, летом... И о Тургеневе мы



говорили. Тогда Тургенев был другой, нежели сейчас... О, я уже тогда не могла отделаться от мысли, что если распад сложного, то есть труп, на элементарное неизбежен, но относительно медлителен, то мы имеем моральное право ускорять его в любой степени...

— То же, что и в атомной бомбе?

— В принципе. Для того чтобы превратить ваши восемь триллионов клеток в излучение досветового спектра, достаточно энергии одной вашей молекулы. Хотите конфетку?

Я взял у нее самолетную карамельку в обертке с надписью «Сабина».

Я стал у окна и ссал карамельку — она обладала странным вкусом и, вероятно, обостряла обоняние — и смотрел сквозь стекло.

Та получилась ночка! Никогда я еще не получал такую массу ненужного хлама, то есть информации, в такое позднее время суток. И никогда еще среди информационного хлама не вспыхивали с такой алмазной яркостью нескромные по-западному детали женских воспоминаний.

В шатающемся конусе света от фонаря кружил на дне улицы автомобиль-снегоочиститель. Клепной ножа снегоочиститель задел бровку тротуара, скрытую под сугробом. Водителю было не развернуться в тесноте переулка.

Я вдруг учуял запах в кабине шофера. Смесь надыханного влажного тепла, тепла от мотора, запах прокалившегося на цилиндрах масла, бензиновой горькости, грязной одежды, папиросного дыма. А вокруг этого кабинного запаха — первозданная чистота снега, блеск снега в свете уличного фонаря, отдельные снежинки, проскользнувшие сквозь щели... Я позавидовал шоферу снегоочистителя. Ночная работа тяжела, но кто не вкусил одинокой ночной работы, тот не знает чего-то особенного. В ночной работе есть вызов и солнцу, и звездам. Недаром великие часто работали ночью. Здесь дело не во внешней тишине и отсутствии лишних раздражителей. Дело в чем-то ином...

— Да, ночной чай и ночная папироса говорят иначе, чем днем,— сказала Наталья Ильинична.— И колени женщины говорят не так, как днем, согласны, голубчик?.. Атомную бомбу сделали, чтобы убивать. А через смерть, через страх перед уничтожением пришли к миру и надеемся закрепить мир навечно. И течение событий под-

тверждаст... Но ведь это опять — в корне своем — против течения истины, а не по нему. Как будто только страх смерти способен спасти жизнь! Уничтожить страх — вот что значит опередить течение истины. Я почти не боюсь смерти. И не потому, что у меня чистая совесть! Я побегу волной по Вселенной в тот миг, как только сознание угаснет: раз — и нет дурочки!...

— Далеко не все боятся смерти только через судьбу тела,— попробовал я встрять в ее рассуждения.

— Вы были в Майданеке, голубчик? — спросила она.

Я не был в Майданеке. Видел концлагерь под Гданьском. Печи лагерного крематория были украшены букетиками цветов. Экскурсанты возлагали живые цветы в зевы печей, на обгорелые кости.

— Печами Майданека заведовал инженер. Его фамилия была Телленгер. Вернее, Телленгер отвечал за поддержание в печах постоянной температуры. Они выбрали тысячу семьсот градусов. При такой температуре удавалось пропустить через печи две тысячи трупов в сутки. Я была там в составе комиссии Международного Красного Креста. Везде был пепел, белый. На лагерном огороде эсэсовцы заставляли узников выращивать капусту. Вырастали огромные кочаны. Чемпионская капуста. Вашему Мичурину не снилась. Ее ели и козяева, и узники. Последние знали, что завтра их пепел превратится в следующий кочан... Но я о другом. Чертовски топят у вас,— она встала с дивана и прошла к дверям, раскрыла их. И продолжала говорить, обмахиваясь сумочкой:— Меня поразил рэкет эсэсовцев. Они торговали пеплом. За несколько граммов пепла поляки — родственники погибших — платили эсэсовцам огромные деньги, отдавали любые ценности. Да. Живым нужна хотя бы щепотка праха от любимого человека... Этой мелочи я не учла... Ведь это так глупо — лететь сюда, чтобы увидеть кусок грязного гипса и прикоснуться к нему. А я — я! — здесь! Когда я узнала, что снимали маску, я уже ни о чем не думала — только прикоснуться к нему еще раз... Ну вот, видишь, Андрюша, ты победил, глупый мой! — Она опять погладила гипс и потом коснулась губами кончиков своих длинных пальцев, и продолжала:

— Вы никогда не думали, голубчик, почему похоронные процессии исчезли с улиц? Почему мы так быстро и скрыто провожаем граждан на тот свет? Не думали? А он,— она ткнула сигаретой в сторону маски Андрея Дмитриевича,— он думал! Он знал, что, когда

у людей чернеет совесть, а вы хотите, чтобы она продолжала чернеть, вам не следует напоминать им лишний раз о смерти! Вот почему он ненавидел мою идею и проклинал меня каждый вечер по телефону. Он не расставался с телефоном, как президент Джонсон... Он, между нами говоря, последние годы чувствовал себя неважно — что-то с головой. Он начал говорить, что нас, людей, разводят на планете какие-то сверхсущества, как мы разводим свиней, например. Мы разводим свиней ради мяса, а нас разводят ради сознания. И после смерти наши сознания поступают для каких-то целей этим сверхсуществам. А смерть, голубчик, обладает иногда способностью восстанавливать утраченное ощущение совести даже у отпетых мерзавцев. Пройдя сквозь страх смерти, наше сознание повышает сортность, повышает кондицию, усложняет структуру. Для того и существует смерть в арсенале сверхсуществ. Вот такие вещи он сообщал мне последнее время по телефону. Да, он любил телефон, как президент Джонсон... Что вы обо всем этом скажете?

— Забавно, забавно, занятно, занятно,— пробормотал я. — Какой-то ваш американец заметил, что всякий юмор — это, в конце концов, напоминание о смерти, о том, что все мы смертны. Андрей Дмитриевич, мне кажется, был большой юморист, хотя по выражению его лица такого и не скажешь. Хотите крепкого чаю?

Она не ответила. Сидела, запрокинув голову и устало прикрыв глаза. Верблюд и пирамида были фоном ее золотистому парикю, на который пошли волосы какой-нибудь бедной и несчастной парижанки.

У каждого случается вдруг представить соседа или собеседника мертвым. И поймать себя на этом. И поторопиться отшвырнуть наваждение, мистически ощущая в нем возможность воздействия на течение жизни собеседника. И еще настораживает в таких случаях возможность каких-то не различимых сознанием признаков во внешнем облике человека, сигнализирующих о приближении к нему неизбежного. Ведь должна же быть причина, по которой в твой мозг вошло видение его мертвенности... И когда неизбежное происходит — пускай через значительное время после такого твоего подумывания, — в тебе оживают какие-то угрызения, как в лермонтовском Печорине-фаталисте.

Я глядел на Наталью Ильиничну, и мне почудилось, что прилетела она сюда умирать и что печать смерти уже тоже легла между подбритых и подкрашенных ее бровей.

В обстановке сплошной чертовщины ничего неожиданно-го в таких ощущениях не было.

— Вам нездоровится? — спросил я.

— Пустое,— сказала она, открывая глаза.— Плохо выгляжу?

— Нет, что вы! Никогда не скажешь, что вы кокетничали с родным братцем толстовского Ивана Ильича на Больших бульварах еще до четырнадцатого года.

— Илья Ильич Мечников любил вспоминать, что в монастырях, голубчик, никогда не стеснялись говорить умирающим, что их ждет. В альтруизме современных докторов отсутствует логика. Если человек отличается от верблюда своим осознанием неизбежности конца рано или поздно, то зачем возвращать умирающего к положению верблюда? И возвращать человека к этому животному состоянию в самый величественный момент цикла? Я знаю, что умру скоро. Но не сегодня. У вашей милиции не будет неприятностей. Не волнуйтесь, голубчик.

А меня почему-то начал бесить «голубчик».

— Итак, я правильно понимаю, что под финал вы обнаружили никчемность работы всей вашей жизни? — спросил я.— Я правильно понимаю, что если сегодня мир стоит на страхе перед водородной бомбой, то нельзя даже пытаться уменьшить этот страх. Я уж и думать не хочу о других проблемах, которые встанут перед человечеством, если ваше открытие или идея вашего открытия осуществится в человеческой массе. Я о безнаказанности убийц, если нет улик, о невозможности оправдаться безвинным, о безнадежности в медицине, если она не сможет вскрывать наши трупы и исследовать больные органы. Таких угроз возникает великое множество. Вы о них, конечно, думали?

— Конечно.

— Тогда зачем весь огород? Вы никак не похожи на человека, который разочарован, который отдал жизнь пустой и даже вредной идее и накануне конца постиг ее бесплодность. В вас не заметно таких переживаний. Скорее,— простите, но мы откровенны без поверхностной вежливости,— скорее, вы кажетесь самодовольной.

— Речь не мальчика, но мужа,— выдала комплимент Наталья Ильинична, немного подпортив, правда, его легким зевком.— Ошибки людей, голубчик, которые дерзали мыслить по-своему, сделали больше пользы, чем великие истины, повторяемые бездарными устами. Не смерть в конечном счете уничтожает человечество,

а однообразии людей. Зачем и почему я должна удручаться? Я всей своей работой нанесла такой удар однообразию, который смогут оценить полной мерой только дальние потомки. Ведь это только сегодня смерть есть единственный регулятор совести, голубчики вы мои,— она обращалась и ко мне, и к Андрею Дмитриевичу, как к малым детям.— А что будет завтра, кто знает? Сомнения не означают разочарования. Возможно, я сделала больше Христа, Ньютона и Дарвина, вместе взятых. Только я слишком опередила время... Ужасной дрянью вы меня поили: болит затылок. Ну что ж, прощай, Андрюша, прощай, милый, прощай, любимый! — Она трижды перекрестила маску своего любовника и оппонента. Слезы блеснули в ее рационалистических глазах, она прижала рукой сердце и закончила шепотком: — Всегда помню, как ты играл моими косами, как детишки с дорогой игрушкой...

— Поискать валидол? — осторожно спросил я.

— Спасибо, не надо, болей в сердце нет,— отказалась Наталья Ильинична. — Не верьте слезам, голубчик. Они ничего не значат. Слезы бесполезны. Небесполезно только вдохновение... Однако мутит. Принесите воды со льдом!

Я помчался в кухню. Малиновый чайник мерцал на газовой плите — вода давно выкипела. Я выключил газ и полез в холодильник. Формочки со льдом там, конечно, не оказалось. Пришлось наковырять в стакан иней со стенок.

А когда я вернулся, Натальи Ильиничны уже не было.

Только неистово молчала на столе в ярком круге света от лампы протопоповская голова танатолога Андрея Дмитриевича.

Вот в какие дали может завести человека обыкновенная дыра в подкладке брюк!

Актеры, которым приходилось по долгу службы изображать героя и на смертном одре, не очень любят вспоминать такие штрихи своих творческих биографий. И мне не доставляет удовольствия описывать ту веселенькую ночь. Тем более иногда мне кажется, что в виде конфетки «Сабина» я проглотил какую-то жуткую химию или физику и что в момент смерти я исчезну таким сверхквантовым скачком из брэнной материи в неуловимую гравитацию.

# Из книги „Париж без праздника“

*Непутевые заметки, письма*

Ты можешь представить себе время, когда у тебя решительно все идет в печать? Я не могу. Да и скучно это, верно...

*Юрий Казаков, 1957 г.*

03 апреля 1988 года. Весна, вербное воскресенье, форточка открыта. Полдень — ударила пушка с Петропавловки.

По «Маяку» «Последние известия» — объявляют о переводе из спецхрана в открытые фонды книг Бухарина, Рыкова, Шмелева, нынешних эмигрантов. Их список начинается с Васи Аксенова и Галича. По алфавиту дуют. Здесь я с Советской властью не согласен. Надо бы все-таки Аксенова ближе к концу ставить.

А вообще-то, опередила меня Советская власть. Как будто стул из-под меня выдернули. Я-то весь последний год, что писал эту книгу, к боям готовился, к поездкам в Москву, к риску головой...

И вот вам!

Ведь честью клянусь: сей миг вычитывал рукопись, писания Аксенова против меня. Завтра сдавать надо в издательство. Везет на совпадения. Даже, как дальше увидите, иногда страшно становится.

Есть у меня дурацкая привычка: работать при шумовом фоне — вечно радио включено или ТВ. Это я на кораблях от тишины отвык, тишина на нервы действует — в морях или главный двигатель молотит, или какая-ни-

будь динамка, или голоса за переборкой. Вот и не могу в тиши. Вот и услышал на свою голову «Последние известия».

Но менять в рукописи не буду ни единого слова — сей миг она уже в документ превратилась — в устаревший документ. И это, конечно, замечательно!

## *НЫРОК В ОЧЕНЬ ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА*

Был такой публицист Аввакум Петрович. Сгорел в прямом смысле этого слова 1 апреля 1681 года. Был публицист Александр Радищев. 4 сентября 1790 года приговорили к смерти, но по случаю мира со Швецией засадили «на десятилетнее безысходное пребывание» в Илимский острог.

Юный и наивный Пушкин писал Бестужеву: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева! Кого же мы будем помнить?» Однако на опыте Пушкин убедился, что вспоминать об авторе «Путешествия» не так легко: его статья о Радищеве не была пропущена цензурой и появилась в печати через двадцать лет после смерти поэта.

Убили Пушкина, ясное дело, не за поэзию, а за публицистику.

Это я все к тому, что поворот нашей литературы к публицистичности, который намереди обнаружили, произошел уже довольно давно.

Кстати, впаяли Радищеву десятку не только за то, что он «вооружался противу цензуры», но и за выступление «противу праздничных приемов у начальства».

Были братья Ульяновы. Одного повесили, другой прошел тюрьмы, ссылки, эмиграцию, тоже получил пулю и умер 54 лет, упрямо утверждая, что ничего в художественных делах не понимает.

Вот анонимка. Нет не только имени и фамилии, но и обратного адреса. Речь о книге «Соленый лед»: «Половина Вашей книги — дешевка, бьющая в нос пошлость, поверхностность. Отчего? Думаю, от воинствующего Вашего невежества. **Воинствующего.** Вы не только малообразованны, Вы гордитесь этим!.. Что там паршивая граница! Вы своей страны не считаете нужным знать! (Не в том дело, что Вы не знаете, где город Пирятин, или думаете, что это фамилия, а в том, что Вы похвалаетесь этим, Вам не стыдно!)... Что Вам сказать на прощание? Нанесем удар ниже пояса — тем более что лба Вашего

мне как-то жалко, все же в нем что-то есть. А не перечитать ли Вам речь Ленина на 3 съезде союза молодежи, а? Дельные мысли могут прийти в голову. С тов. приветом».

Вместо подписи следует: «Педагог, конечно!» Штемпель на конверте московский.

Автор — бабуля, которой идет девятый десяток (она об этом сообщает в первых строках). Злость педагога, который не знает, что нет ничего позорнее анонимок, дала такую яркую вспышку потому, что в книге я немного прошелся по своим школьным педагогам. Но это бог с ней. Бабуля ловит меня на том, что она знает перевод названия мятежного брига «Баути» — «Щедрость», а я не знаю. Правда, пишет она названия кораблей без кавычек, потому и понять не может, что «Пирятин» вполне может быть и названием города, и именем героического моряка, например. Но это бог с ней. Но вот почему бабуля считает ударом ниже пояса свой совет почитать речь Ленина на III съезде молодежи?

Куда цеховая обидчивость заносит, а?

«„Талантливая книжка“. Это книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца А. Аверченко „Дюжина ножей в спину революции“. Париж, 1921. Интересно наблюдать, что до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные, и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только не похоже, любезный гражданин Аверченко! Уверю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете.

Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской; богатой, обвешанной и объедавшейся России. Такой, именно такой должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко — иногда и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички,



например „Трава, примятая сапсами“, о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с полтиной и за 50 р. и так далее. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие.

В последнем рассказе „Осколки разбитого вдребезги“ изображены в Крыму, в Севастополе бывший сенатор — „был богат, щедр, со связями“, „теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды“ — и бывший директор „огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина, в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию“.

Оба старика вспоминают старое: петербургские за-каты, улицы, театры, конечно, еду в „Медведе“, в „Вене“ и в „Малом Ярославце“ и так далее. И воспоминания прерываются восклицаниями: „Что мы им сделали? Кому мы мешали?..“ „Чем им мешало все это?..“ „За что они Россию так?..“

Аркадию Аверченко не понять — за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях.

Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять». («Правда», № 263, 22 ноября 1921 г. Н. Ленин.)

Терпи, бедный редактор! И самого Ленина нынче следует перепечатывать в массовых изданиях, а не только в собраниях сочинений.

Скромничал Владимир Ильич, когда твердил, что в художестве ничего не понимает и судить этот предмет отказывается. Обратите внимание на хвалебные эпитеты в адрес рассказов Аверченко: «замечательно сильные места», «высокоталантливая книжка», «поразительный талант», «рассказы яркие до поразительности», «прямотаки превосходные вещички»...

Вот употреби он один раз в адрес книги слово «искусство» — и все стало бы спорно, ибо даже самая животре-

пеющая ненависть породить искусство не может. Ни замечательно сильного, ни замечательно слабого. Ностальгия, конечно, может. А гений и злодейская ненависть несовместны, хотя нынче об этом опять пошли спорить до пены на губах, то есть с ненавистью друг к другу.

А вот почему Владимир Ильич называет Аверченко белогвардейцем? Кажись, до Турбиных тому было далеко, не сражался он под знаменами Белой гвардии...

Лежит на старом Пражском кладбище. Плита треснула. Буквы надписи почти исчезли: «Русский писатель Аверченко А. Т.»

Наказ Н. Ленина о поощрении таланта Аркадия Тимофеевича был выполнен. И перепечатали не «некоторые рассказы», а здоровенный том — 313 стр., «Развороченный муравейник», издание «Земля и фабрика», библиотека сатиры и юмора, тираж 10 000 экз., 1927 г., типография «Красный пролетарий».

Эта книжка у меня есть. В ксерокопии. На форзаце круглая рецептурная печать — вместо экслибриса: «ВРАЧЪ Смирновъ Владимиръ Ивановичъ».

Упрямый доктор был. Ер с печатки не стер. Этим он напоминает киевского мальчишку Вику Некрасова: «Единственное в моей жизни „Полное собрание сочинений“ увидело свет (в одном экземпляре!) в 1922-м или 1923 году. Состояло оно из шести томов. Страницы были пронумерованы, через каждые десять или двенадцать значилось — глава такая-то. Текста, правда, не было, считалось, что со временем я восполню этот пробел. Безжалостные варвары, немецко-фашистские оккупанты сожгли этот раритет вместе с домом и шкафом, где он хранился, — маленькие, сшитые нитками странички, с обязательным на каждой обложке „Издательство Деврень, Киевъ, 1922 г.“. В те годы я был еще монархистом, носил в кармане карандаш и на всех афишах приписывал „Ъ“».

Вот этот столбовой дворянин Виктор Платонович Некрасов и будет главным действующим лицом дальнейшего повествования.

Цель же у меня простая: вернуть на родину его книги.

В 1963 году «Новый мир» напечатал «Минувшее» С. Н. Мотовиловой (родная тетя В. Некрасова). Там есть о Владимире Ильиче:

«Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провел у нас полдня.

Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает.

Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон.

Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.

Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал:

— А мы с вами из одного города, из Симбирска.

— Как же ваша фамилия?

— Петров,— отвстил он.

(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)

— Какой же это Петров,— раздумывала мама,— может быть, сын булочника?

— Да нет,— ответил он,— этого Петрова вы не знаете.

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:

— Был у вас Ульянов?

И тут все выяснилось...»

В 1914 году семейство Некрасовых жило в Париже на рю Ролли, 11, в одном доме с Луначарскими.

Сына Луначарского звали Тотоша. Пацаны часто дрались. Когда Вика и Тотоша таскали друг друга за волосы, Анатолий Васильевич спокойно «сидел и правил рукописи, ибо, кроме революции, занимался журналистикой». В начале 1915 года некрасовское семейство через Англию и Швецию добралось на родину — в Киев.

В 1929 году Некрасов навестил Тотошу в Кремле и встретился еще раз с Луначарским. Тотоша погиб в десанте под Новороссийском в сентябре 1943 года.

В Париже мать Некрасова училась медицине, тетя Соня — биологии. А бабушка, как это называлось, «вела дом» и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на рю Мопя, 55, бывал и сам Плеханов, бывал и Р. Э. Классон, муж ба-

бушкиной сестры, видный русский марксист, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской.

Записана В. Некрасовым еще одна семейная легенда, или предание: «Рассказано оно было мне самой бабушкой и связано тоже с визитом Ленина на рю Ролли, у парка Монсури (или „на Мопа“?) и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась и стоит на специальной полочке под большой застекленной цветной (вернее, раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет сто тому назад) фотографией Шильонского замка. Почему все это сохранилось и почему именно это — мне не ясно. Уходя из Киева, немцы сжигали дома, предварительно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью, — не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартира за квартирой. И только днем. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с теткой. И начали, по их словам, с наиболее легких вещей — картин, разных фарфоровых статуэток, дорогих как память о чем-то и о ком-то, оставив тяжелые книги под конец. Конец пришел скорее, чем его ожидали, и все книги (а их было очень много) сгорели в своих прекрасных красного дерева шкафах.

Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка уже не помнила, но твердо помнила, что о принце этом, вернее, о его „внутренностях“ (верхняя часть снимается, и в нижней обнаруживается маленькая чернильница и песочница), у нее с Петровым-Ульяновым тоже шел какой-то разговор. Почему Ленин обратил внимание на принца — бабушка тоже не помнила (очевидно, просто, чтоб заполнить возникшую паузу), но то, что Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нем, посыпал написанное золоченым песком из песочницы, а потом сказал: „Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца“, — запомнила хорошо.

— Но, бабушка, — удивлялся я, — ведь в конце девятнадцатого века давно уже не было песочниц, были промокашки.

— А вот в принце был еще, сохранился, — невозмутимо отвечала бабушка.

— Странно...

— Ничего странного. Сохранился, и все.

— А что Ленин написал на бумажке? — не унимался я.

— Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов...

— И где же эта бумажка? Выкинула небось?

Бабушка смущалась:

— Выкинула, вероятно.

Я укоризненно качал головой, и бабушка еще больше смущалась.

Бабушка прожила 86 лет».

Еще бабушка Некрасова знаменита тем, что танцевала мазурку с Александром II на балу в Смольном институте.

Родился автор «В окопах Сталинграда» 17 июля 1911 года.

Эмигрировал в Париж 12 сентября 1974 года.

Исключен из Союза писателей СССР и Литфонда 29 декабря 1971 года.

## В ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ЦК УКРАИНЫ г. КИЕВА

Прошел уже немалый срок с тех пор, как мои очерки «По обе стороны океана» были подвергнуты критике на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Еще более резкой критике я был подвергнут первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым на июньском Пленуме ЦК КПСС.

Как коммунист и писатель, который не мыслит себе творчества в отрыве от партии и народа, я обязан прислушиваться к партийной критике и сделать соответствующие выводы.

Я стал кандидатом партии в самые тяжелые для нашей Родины дни 1943 г., в Сталинграде. В члены партии был принят летом 1944 г. на передовой, в дни тяжелых боев на днестровском плацдарме, в районе г. Ташлык. С тех пор прошло 20 лет. За эти годы я не имел ни одного взыскания. Весь мой творческий путь (а писать я начал еще в госпитале, после ранения, в последний год войны) направлен к осуществлению одной задачи — помочь партии в борьбе за нового человека, честного, стра-

стного, бескомпромиссного, борца за передовые идеи. В своих военных рассказах, в повести «В окопах Сталинграда», в фильме «Солдаты» я пытался в меру своих сил рассказать о подвиге и единстве народа, о простых советских людях, вынесших на себе всю тяжесть войны, — о рабочих, колхозниках, интеллигентах, взявших в руки оружие и сражавшихся против фашизма за свободу Родины, за идеи коммунизма.

В повести «В родном городе» и пьесе «Опасный путь», шедшей в Москве в театре им. Станиславского, я писал о демобилизованных фронтовиках-коммунистах, в борьбе с приспособленцами и карьеристами отстаивающих чистоту рядов партии. В небольшой повести «Кира Георгиевна» я попытался рассказать о жизненном и творческом крахе художника, для которого личное заслонило общественное, о сложной судьбе людей периода культа личности Сталина.

Я позволил себе кратко остановиться на своих произведениях для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что основной герой их — рядовой советский человек, а главная мысль — борьба за чистоту идей коммунизма, борьба с врагом, будь он немецким фашистом во время войны или беспринципным негодяем и стяжателем в послевоенные годы.

В 1957 году после поездки в Италию я обратился к новому для себя жанру — жанру путевых очерков. Две серии этих очерков — «Первое знакомство» и «По обе стороны океана» — вышли в свет, над третьей, посвященной поездке во Францию, я работаю сейчас.

Побывав на капиталистическом Западе — в Италии, в США, во Франции, — я встретил там среди прогрессивной интеллигенции и простых людей невероятную тягу и интерес к нам, желание как можно лучше разобраться в наших целях, мировоззрении, взглядах на жизнь. Рядовой итальянец, француз, американец не может найти ответа на эти вопросы в буржуазной прессе и литературе, поэтому он и тянется к нам, поэтому таким успехом пользуются сейчас на Западе (особенно в Италии) произведения советских писателей. Наши книги выходят сейчас большими тиражами, их быстро раскупают, вокруг них завязываются ожесточенные споры.

С другой стороны, и наш читатель все больше и больше проявляет интерес к зарубежной жизни, к тому, как и чем живет рабочий, крестьянин, интеллигент той или иной капиталистической страны, хочет побольше узнать о

культуре, искусстве, экономике, о материальной и духовной жизни этих стран.

На все эти вопросы с большей или меньшей полнотой можно ответить, прожив долго в этих странах, узнав настоящему народ, его чаяния, беды и радости. Гораздо труднее обо всем этом рассказать, когда знакомишься со страной в две-три недели в качестве туриста или члена какой-нибудь делегации. И все же долг писателя, как бы кратка ни была его поездка, рассказать о том, что он видел, что он слышал, и попытаться разобраться в этом.

Однако я не ученый, не экономист, меня, как писателя и в прошлом архитектора, больше интересуют вопросы искусства, культуры, встречи и беседы с людьми, круг которых, в силу условий, в каких мы находились, был ограничен. Поэтому, к сожалению, многое не могло не выпасть из круга моего зрения. Я не был, например, в итальянской деревне, а крестьянский вопрос один из самых сложных в Италии, я не был на юге Америки (куда нас не пустили, о чем я писал), где особенно сложно положение негров, не встречался с американскими рабочими, да и вообще в Америке видел больше небоскребы и музеи, чем людей (о чем тоже с сожалением пишу в своих очерках), — одним словом, понять и воссоздать полную, широкую картину жизни той или иной страны мне не удалось. Это тем более прискорбно, что без серьезного, глубокого анализа положения рабочего класса Америки и его борьбы за свои права трудно разобраться в современной действительности этой самой развитой капиталистической страны. Думаю, что в этом и коренятся недостатки моих очерков, послужившие поводом для их критики.

Основанием для критики могли служить, безусловно, и некоторые формулировки тех или иных положений, которые в силу этого могли быть неправильно поняты и неверно истолкованы. В первую очередь это касается фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» и моей оценки его. Фильм этот был подвергнут критике Н. С. Хрущевым. Когда я писал об образе старого рабочего, я подразумевал под этим отнюдь не рабочий класс, который люблю и уважаю, а только кочующий из пьесы в пьесу сценический штамп. И тут-то я допустил неточную формулировку, что и послужило поводом для критики. К тому же, очевидно, не стоило писать о незаконченном еще фильме — фильме, который не видел зритель.

Меня критиковали за то, что и в своих очерках недостаточно вскрыл язвы капиталистического мира, представил его в более привлекательном виде, чем он есть на самом деле. У меня не было такого желания. Мне кажется, что за внешним благополучием и роскошью капиталистического мира скрываются язвы куда более болезненные, чем нью-йоркские и чикагские трущобы, о которых столько уже писалось. Язвы эти в основном идеологического, морального порядка. В своих очерках я прямо говорю о пагубном воздействии на зрителя американского телевидения с его бесконечными драками и убийствами, о широченном мутном потоке полицейско-детективной литературы, одной из самых страшных отрав для подрастающего поколения, о тупике, в который зашло изобразительное искусство (сюрреализм Сальватора Дали по силе своего воздействия куда опаснее малопопулярного в широких кругах абстракционизма), о трудностях, с которыми сталкиваются прогрессивные итальянские режиссеры, как, например, Пазолини, которому определенные круги в Италии — церковь, полиция, крупная буржуазия — чинят всяческие препятствия, вплоть до специально спровоцированного ареста ведущего актера. Во всем этом и есть одна из основных трагедий капиталистического мира. Эти «трущобы» куда страшней трущоб городских.

Описывая ту или иную страну, трудно избежать некоторых параллелей, которые возникают при сопоставлении двух миров — капиталистического и социалистического. В вопросах быта и внешнего благоустройства они пока еще не всегда в нашу пользу, зато в таких вопросах, как идейная устремленность, моральная стойкость народа, — наше превосходство неоспоримо. Глядя на самое ценное, что есть в каждой стране, глядя на молодежь, видишь, насколько вырвалась наша молодежь вперед по сравнению с западной. Я об этом и пишу в своих очерках, противопоставляя американских юношей, пусть даже самых честных и прогрессивных, но ближайшая цель которых — сделать карьеру или основать небольшое дельце, — нашей советской молодежи, для которой вопросы личной выгоды всегда уступают место вопросам общенародным. Мне кажется, что именно в этом вопросе достаточно ярко проявляется преимущество социализма над капитализмом.

Мысли о превосходстве социалистической системы невольно возникают и при размышлении о судьбах и твор-



ческих возможностях крупнейших западных архитекторов. В своих очерках я пишу о Франке Ллоиде Райте, знаменитейшем американском архитекторе, вынужденном строить загородные виллы для богачей и не имевшем возможности осуществить свои широко задуманные планы по переустройству городов, планы, которые так легко было бы ему осуществить в Советском Союзе.

Во всех этих вопросах — вопросах воспитания подрастающего поколения, массового роста культуры, широты творческих горизонтов — преимущества нашей системы неоспоримы. Этим мы гордимся, в этом наша победа. Но есть еще в нашей жизни досадные, мешающие строительству коммунизма отдельные недостатки. Партия всегда учила нас смотреть прямо правде в глаза и не замазывать эти недостатки, а, наоборот, вскрывать их, чтобы избавиться и не допустить их в дальнейшем. Побывав туристом в Америке, я считал своим писательским долгом сказать о плохой организации туристских поездок, о том, что мешает нам в нелегком деле налаживания культурных и человеческих контактов. Рассматривая архитектурные памятники Италии, я не мог не задуматься о том, что у нас до недавнего времени не везде и не всегда уделяли нужное внимание памятникам старины, а подчас, без достаточного для этого основания, разрушали их, как это случилось, например, в период культы личности с Михайловским монастырем в Киеве. Будучи писателем и коммунистом, я считал своим долгом об этом написать, и отнюдь не с целью якобы очернить свою Родину, а только для того, чтобы эти ошибки не повторялись.

Меня критиковали за то, что, приводя примеры из советской жизни, я привел слишком много примеров отдельных наших недостатков, чем создал неполную, одностороннюю картину нашей действительности. У меня, конечно, и в помыслах этого не было, но, если при чтении моих очерков возникло такое впечатление, я об этом сожалею и считаю своим долгом в дальнейшей работе над очерками учесть критические замечания. Думаю, что предложенная мне «Новым миром» поездка по нашей советской стране — в Сибирь и на Дальний Восток — даст мне достаточно материала, чтоб рассказать о труде, жизни и успехах нашего народа, нашей страны.

Хочу подчеркнуть, что, находясь за рубежами нашей Родины, я в своих интервью и публичных выступлениях

всегда отстаивал линию Коммунистической партии Советского Союза и высоко держал знамя нашей Родины.

Все вышеизложенное я написал вовсе не для того, чтобы доказать, что очерки мои безупречны. Они далеко не безупречны — я это знаю как никто другой,— но писались они с самыми искренними намерениями помочь читателю разобраться в нелегких, противоречивых вопросах жизни и культуры незнакомых ему стран, правительства которых далеко не симпатизируют нам, а простой народ ищет и хочет дружбы. Мне не удалось рассказать обо всем, даже главном, но, работая сейчас над отдельным изданием очерков и над заключительной их частью, посвященной Франции, я постараюсь учесть все те справедливые замечания и пожелания, которые помогут сделать книгу по-настоящему нужной и полезной.

Мне ясно, что писатель должен отвечать на критику не словами и обещаниями, а делом, своей работой. Этим я сейчас и занят, в надежде, что мой труд не окажется напрасным.

Как коммунист, я считаю себя обязанным в практической деятельности руководствоваться решениями июньского Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам и приложить все силы к тому, чтобы создать такие произведения, которые принесут пользу нашему народу, строящему коммунизм. Я полностью осознаю свою ответственность перед партией и народом особенно в этот момент, когда в мире идет непримиримая борьба двух идеологий, так как мирное сосуществование двух систем ни в коем случае не означает мирного сосуществования идеологий. В этих условиях неизмеримо возрастает ответственность каждого писателя-коммуниста...

Август 1969 года.

В. Некрасов.

Как, когда, каким путем попал мне в руки этот документ, роли не играет.

Но в те времена и меня вызывали к начальству и приказали покаяться прилюдно, с трибуны Таврического дворца. И я весьма невинтно, но каюсь.

На арену меня почему-то выпустили между Николаем Черкасовым и Георгием Товстоноговым. Молотил я что-то про то, что рабство в российский народ вбили еще, мать их так, татаро-монголы, которые во всем виноваты.

Самое интересное — перед богом клянусь — я знать не знал, в чем и за какие грехи мне следовало каяться. Кажется, в «Леттр Франсез» было напечатано какое-то мое противокультурное интервью.

Отчет о заседании в Таврическом мелькнул в центральной прессе. В списке выступавших была и моя фамилия. И я получил от Некрасова открытку с тремя словами: «И ты, Брут?»

В те времена я работал над книгой, которая казалась удачной. И хотя я давным-давно знаю, что такое ощущение есть самое страшное, но все надеялся на исключение. Его не получилось.

Как будто я вылезал из пещеры и уже видел свет впереди, но складывал вынутые камни позади, и они рухнули и не только закрыли выход, но и размозжили меня самого. И я заметался, сбивая дыхание, лишаясь остатка воли и самообладания.

Я выкраивал из написанного кусочки и пытался спасти хоть что-то из груды листов. Ночами мне снились герои книги, они хихикали, уходя от меня по карнизам высотных зданий. Надо было найти опору хотя бы в одном-единственном новом рассказе. Чтобы только он получился, вернул мне каплю уверенности...

Рассказ этот я показал Юрию Марковичу Нагибину, который много мне помог в юности. Юрий Маркович рассказ разругал. Показывать опус Казакову я вовсе не решился.

И вернулся в моря на профессиональную судоводительскую работу.

Морю я обязан своим спасением.

«Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры, захватили в свои руки власть в искусстве и считаете законным лишь то, что делаете вы, а остальное вы давите». — Господи! Даже Чехов не мог спокойно переносить захват власти в искусстве сволочами, а он умел плевать на мелочи! Но ведь зарорал? Да. А что это значит? А то, что на Руси вечно было так, как оно есть. Но ведь и литература была!

Горький: «Истинное искусство не может процветать среди социальной неискренности. Попробуйте объективно написать бытовой роман, и вы увидите, что это труднее изображения мировой проблемы».

Однако писали!

Мне же такое оказалось не по плечу.  
Нырнул в океаны на многие лета.

Морская — так иди в свои моря.  
Оставь меня: скитайся вольной птицей.  
Умри во мне, как в мире умерла.  
Темно и тесно быть твоей темницей.

Это Белла Ахмадулина.

Почему-то я очень удивился, когда узнал, что Твардовский тоже ценил и даже любил Цветаеву.

Я часто подкусываю женщин, но когда пришло время оглянуться, то оказалось, что две самые великие глыбы-личности нашей «новой» литературы, это именно женщины — Ахматова и Цветаева. Безукоризненное нравственное величие и чистота духа!

Цветаева — Пастернаку:

«Борис, но одно: я не люблю моря. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, то есть моя вынужденная, заведомая неподвижность. Моя косность. Моя — хочу или нет — терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя — как Рильке (себя или божества — равно). Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, а это и есть — оно, все, что в нем ужасающего, — оно. Суть его. Огромный холодильник (Ночь). Или огромный котел (День). И совершенно круглое. Чудовищное блюдо. Плоское, Борис. Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (Корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову, например бы, ненавидела...). Гора — божество. Гора разная. Гора умяляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора — это прежде всего мои ноги, Борис. Моя точная стоимость. Гора — и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.

И все-таки — не раскаиваюсь. „Придается все — лишь тебе не дано“. С этим, за этим ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: *твой стих*, то есть преобразование вещи. Дура я, что я надеялась увидеть воочию *твое море* — заочное, над'очное, вне-очное. „Прощай, свободная стихия“ (мои 10 лет) и „Придается все“ (мои тридцать) — вот мое море.

Борис, я не слепой; вижу, слышу, чую, вдыхаю все, что полагается, но — мне этого мало. Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк или рыбак знают, что это. Моя любовь была бы превышением прав („поэт“ здесь *ничего* не значит, самая жалкая из отговорок. Здесь — чистоганом).

Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, на море я даже не пассажир! *дачник*. Дачник, любящий океан... Плунуть».

## ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА

### § 1

*Программа пребывания члена Союза писателей СССР во Франции (по обмену с МИД)*

**Цель:** сбор материала для прозаической книги «**Семейная хроника**» о русской балерине Дягилевской труппы Ольге Хохловой, близкой подруге моей матери, первой жене художника Пабло Пикассо.

**Срок:** 14 суток.

1-й день. Прибытие в Париж, посещение Посольства СССР, устройство на жительство, налаживание связей с нужными для дела знакомыми парижанами.

2-й день. Посещение музея Пикассо, встреча с сотрудниками. Вечером — любой спектакль в театре Шатлэ (желательно балет и желательно побывать за кулисами).

3-й день. Поездка на могилу генерала де Голля, которому в свое время дарил книгу и получил благодарственное письмо, где он высказался о необходимости сугубо дружественных отношений между Францией и СССР для обеспечения стабильности в Европе. Вечером — любой спектакль в «Театре Елисейских полей». (Во всех указываемых театрах на «Русских сезонах» работали мать, ее старшая сестра Матильда Конецкая и Ольга Хохлова. Театры с тех времен не перестраивались, и мне нужен их «антураж».)

4-й день. Вылет в Ниццу для посещения дома Пикассо (музея) в Каннах-Антибе, ателье Мадур и часовни в Валлори. В Монте-Карло — «Театр оперы», где Дягилев ставил «Дафниса и Хлою». Поездка в Авиньон, где одно время жила семья Пикассо.

9-й день. Выезд из Ниццы в Гренобль, где находится Международный тренажер по управлению судами супер-Большого тоннажа, и посещение Гляциологической лаборатории (руководитель Клод Лорус). Это мне нужно для работы над книгой на морском материале.

11-й день. Возвращение в Париж. Выступление в обществе «Франция—СССР», в «Тургеневском обществе» («Тургеневской библиотеке»), перед работниками нашего посольства или вообще там, где будет надо. Тема: современная советская литература, VI съезд писателей СССР.

12-й день. Лувр. Вечером — любой спектакль в «Гранд опера» с проникновением за кулисы и разговорами со старожилами.

13-й день. Встреча с господином Жаном Перюс, славистом, старым коммунистом; неоднократно принимал его у себя в Ленинграде.

14-й день — буду действовать по обстановке, которая к этому моменту сложится. Готов к встрече и выступлениям перед любыми группами эмигрантов из СССР (многих из эмигрантов-писателей знал лично). Их нынешний образ мыслей, быт, степень ностальгии очень интересуют. Не только из чистого любопытства, которое тоже есть, но и для задуманной работы (Ольга Хохлова, хотя и стала женой великого художника, но без родины-то осталась навсегда).

Отлично понимаю, что и эти наметки программы в реальности выполнить окажется чрезвычайно сложно. С уважением...

## § 2

Весь этот фантастический бред отправился в МИД Франции (10.07.1986 г.).

Французы в этот момент на нас злились. В результате срок пребывания сократился до одной недели, а место пребывания — на манер шагреневого кожи — до одного Парижа. Дату нашего приезда МИД Франции откладывало трижды.

Вылетели 13 января 1987 года из Москвы. Трое. Я — руководитель делегации.

Состав: магометанин (не ест ветчины) по имени Мохаммад и столничная дамочка из академических кругов с англо-французским именем Ирэна, но вовсе не похожая на женщину Вертинского: «Я люблю ваше тонкое имя —

Ирэна...» Увы, совсем не похожая. Так же, как Мохаммад не похож на Магомета, хотя и не ест свинства.

Всю жизнь не везет на попутчиков — воздушных и сухопутных.

Магометанин разыскивал в Париже родную правнучку Фридриха Энгельса, который, по моим сведениям, детей не имел, — книга для политиздатской серии о пламенном дагестанском революционере.

А Ирэна в первый же день успешно нашла белое длинное платье за восемьсот франков, которое для нее сняли с витринного манекена. Надо было видеть выпученные глаза Мохаммада, когда он обнаружил голый женский манекен: стриптиз?! И надо самому слышать его «цок-цок-цок!» — так он делает языком в моменты всяческих заграничных потрясений — первый раз покинул отечество. Биде в номере повергло Мохаммада в шиитский транс на полдня: «Чего они только — цок-цок-цок! — тут придумали! Ай-ай-ай! Сколько это будет стоить? На наши деньги? Не знаешь? А в каком году здесь придумали метро? Тоже не знаешь?» Самые нужные заграничные слова магометанин записывает на бумажку. И «биде» записал. Но даже процесс графической фиксации не помог. До самого конца поездки он не внедрил в свой череп «мерси»...

Рыская по Музею Пикассо и на полном ходу успевая пресмыкаться перед его всемирным величием, я еще пытался надиктовать свои эмоции, ощущения, названия картин и их содержание на малюсенький японский магнитофончик, который дал мне на время Юра Резепин — капитан теплохода «Кингисепп» (Юру я дублировал в навигацию 86-го года в трудненьком рейсе Мурманск—Диксон—Тикси—Зеленый Мыс—Певек—Зеленый Мыс—Дудинка—Игарка). Магнитофончик барахлил, инструкции к нему не было, и, к великому моему счастью, ничего из бормотаний моих в залах Музея Пикассо не записалось. А «к счастью» — потому, что к концу осмотра ничего от пресмыкания во мне не осталось. Наросла только и даже расцвела пышным георгином усталая раздражительность. Да, увы, Пабло не для моих вставных зубов. Ему Вознесенский нужен — как минимум.

И все стояла перед глазами рецензия Феллини на выставку произведений швейцарской художницы Анны Кеель. Три четверти рецензии — воспоминания гения кинематографа о тех двух случаях, когда он позировал для

средней известности живописцев. В детстве — по причине замечательно тощего тела («как у деревянной куклы») и выпученных глаз — живописец написал с Феллини отрока, который валится в ад вместе со стадами овец, пастухами и собаками. Фреску в новой церкви капуцинов художник не закончил и от расплаты сбежал в Бразилию. Но все же одна рука Феллини на фреске торчит до сих пор. Рука обороняется от чего-то падающего сверху. Второй раз Феллини позировал живописцу, который нашел в нем сходство с Бетховеном. Из этого дела тоже ни фиги не вышло, и модель вместе с творцом отправилась в бар.

«Редко можно в теперешней жизни найти художника, который обладает мужеством не скрывать свои изобразительные способности», — так замечает замечательный Феллини в своей рецензии.

С ним смыкается наш П. В. Палиевский в статье «К понятию гения». Автор рассуждает про характерное для XX века явление «гения без гения». Так и о «Гернике», хотя автор и не называет знаменитую картину прямо: «...присоединяться можно не только к именам, но к чему угодно уже известному, например к событию, поразившему мир, которому гений посвятит свое создание или прямо трагически выразит его какой-нибудь искромсанный дрянью, подчеркнув смятение души, — кто осмелится отбросить? Людям в момент печали не до того; отвергнуть загадочное сочувствие было бы и невежливо. А когда обнаружится глумление, не всякий — далеко нет! — решится признать обман; да и зачем, в самом деле? Лучше уж обойти его стороной, тем более что гений, как выясняется, перешел уже в другой „период“».

Вот и я в последнем зале Музея Пикассо обошел стороной великое творение, изображающее последнюю жену художника. Супруга воссоздана вместе с подлинной детской коляской. Голова ее — или кастрюля, или форма для пасхи, как я помню эти формы еще из детства. Вместо грудей формочки для бисквитов. Из чего сделаны ноги, не рассмотрел, потому что меня нормально замутило. Скульптура эта огорожена со всех четырех сторон страховочным канатом. Вокруг толпилось порядочно народу со всех концов света, и экскурсовод лепетала на всех языках сразу какие-то почтительные объяснения о гениальном произведении.

Особенно тошно было мне потому, что последняя супруга Пикассо месяца за два до моего приезда в Париж выстрелила себе в рот — очень редкий вид самоубийст-



ва для женщины. Французские газеты продолжали гадать о том, почему вдова гения, супермиллионерша, еще сравнительно молодая женщина, окруженная ореолом всемирной славы своего супруга, имеющая возможность общаться с самыми интересными и прекрасными людьми нашего времени, вдруг так нелепо и страшно покончила с собой.

Портрет же первой жены — один из великих женских портретов XX века.

Летом 1917 года поэт Жан Кокто, написавший либретто на музыку Эрика Сати к балету «Парад», предложил своему другу Пикассо создать декорации для этой постановки. И оба они отправились в Рим, где в то время гастролировала труппа русского балета.

Многие месяцы Пикассо провел в обществе танцоров, людей музыки, театра.

Искусство Анны Павловой, Карсавиной, Фокина оказало решающее влияние на смену стиля Пикассо. Интерес художника к красоте человеческого тела, который, казалось, навсегда пропал в годы кубизма, возродился. Таким образом наш балет вернул Пикассо к классическому реализму.

Он делал массу зарисовок танцовщиц во время репетиций. Вполне вероятно, что пластика моей мамы и тетушки помогла гению обрести праведный путь, но потом он опять свихнулся.

Да, действительно, таинствен и даже страшен путь Пикассо от классической простоты великого реализма к кастрюлям, формочкам для бисквитов, к металлическому чучелу-пугалу, толкающему подлинную детскую коляску, в которой, вероятно, его последняя жена возила живого и теплого ребенка.

Пикассо: «В конце концов, единственно важна легенда, порождаемая картиной». Какое-то странное истораживающее декларативное заявление. Оно настаживает еще и тем, что не можешь понять, о чем он говорит. Важен шлейф, который тянется за картиной, этакий кометный хвост? Так ведь подлая кража какой-нибудь картины из Лувра тоже порождает легенду через обыкновенную сенсацию...

И все-таки гений есть гений. Он сам разъясняет: «Эти люди (это о Сезанне и уже с ним) жили в невероятном одиночестве, которое, пожалуй, было для них благословением, даже если и было их несчастьем. Что может быть опаснее симпатизирующего понимания?»

Вот это вопросик! Он по зубам только гению. Ведь каждый из нас-то — рядовых — как раз и стремится к симпатизирующему пониманию!

Ведь кажется, что главная задача художника — искать в душе зрителя счастье сопонимания, хотя бы на доли секунды...

Думаю, что «Герника» так поражает еще и своими размерами. А мое неприятие «авангардного» Пикассо имеет те же корни, что и тормоза нашей апрельской весны и вообще перестройки: застарелый консерватизм, бюрократизм, разрыв между словом и делом, между замыслами и практическими действиями, создававшийся во мне многими десятилетиями механизм ретроградства, который, как всем известно, особенно цепок в психологии, а особенно в психологии, которая занимается искусством. Есть во мне еще и нехватка темперамента, конструктивности, смелости в постановке проблем. Дают себя знать и болезни — тромбоз вен нижних конечностей, поверхностность, «идеобоязнь», как заметил секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев; подмена анализа назидательностью, слабаватость в культуре дискуссий, часты случаи, когда одна полуправда заменяется другой четвертьправдой, а от такого особенно страдает сама правда. Свойственна мне и поспешность, что никак не свидетельствует о моем высоком журналистском профессионализме.

В результате я намертво споткнулся на новаторстве Пикассо

## ПЕЧАЛЬНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ

Контаминация — 1) смешение двух или нескольких событий при их описании; 2) соединение текстов разных редакций одного произведения.

...Казалось, что это ненастоящее, что это открытка...

*В. Некрасов. Маленькая печальная повесть*

В телефонном справочнике — три тома петитом на папирсной бумаге, в тумбочке у изголовья, без микроскопа не прочитаешь — Некрасова не оказалось.

В левацких писательских организациях и заведениях его телефон мне, как старому коммунисту, не говорили.

Возможно, опасались быть уличенными в связи с диссидентом. В правых заведениях тоже хранили телефонную тайну, вероятно, опасаясь моего в адрес Некрасова террористического акта. Тем более, террор во Франции бушевал на двенадцать баллов.

Вышел я на Виктора Платоновича только на третий день через своего переводчика мосье Катала.

Позвонил к Некрасовым около полудня.

Ответил женский голос по-русски. Я назвал себя и добавил, что прилетел из Союза, из Ленинграда.

Раздалось:

— О! Виктор Платонович сейчас в ванной под душем, не могли бы вы позвонить минут через десять?

— Нет! — сказал я. — Я еще ни разу не разговаривал по телефону с голым и мокрым эмигрантом. Зовите, мне не терпится.

В трубке было слышно, как женский голос прокричал: «Вика! Тебя какой-то советский писатель! Ленинградский! Виктор!» Затем раздался, вернее, донесся мужской рык: «Что? Черт! Конецкий? Скажи, что я иду!» Мужской рык был с неповторимым одесско-киевско-шпановским акцентом, то есть принадлежать он мог только Виктору Платоновичу Некрасову.

— Алло! Он уже бежит! — доложил женский голос.

— Алло! Это действительно ты? — спросил Некрасов.

— Привет, — сказал я. — Первый раз говорю с мокрым и голым эмигрантом! Просто потрясающе! С тебя капает на кленовый паркет или на персидский ковер?

— Да, ядрит твою мать! Даже на хрустальную люстру капает! Слушай, мне надо вытереться!

— Тогда запиши телефон, буду ждать, — сказал я, ибо звонил из номера отеля и всеми советскими фибрами ощущал, как электронный счетчик отсчитывает франки: во Франции звонить из гостиницы можно только за деньги. А французское МИД, по приглашению которого я находился в отеле «Аэробика», простите, оговорился — «Авиатик», выдало на все про все 1200 франков — один ужин в приличном ресторане. Ну а хлебосольная Москва выдала 300 франков — два бутерброда с икрой и пять кружек пива. Цены на выпивку и закусь во Франции не идут ни в какое сравнение со стоимостью уцененных пуловеров и тем более колготок — черные, с кружевным развратным рисунком колготки всего-то 20—30 франков. Вот и занимайся арифметикой на старости лет.

Виктор Платонович позвонил через пять минут и назначил свидание на бульваре Монпарнас, дом 59, — кафе «Монпарнас» — на 14 часов.

— Найдешь?

— Да. Это два квартала от моего отеля. Знаешь «Авиатик»?

— Нет.

— Улица Вужирард, сто пять.

— Вожирар.

— Ладно, не будем мелочны. До встречи! Да, а в кафе раздеваться надо внизу? Гардероб там или что?

— Нет, эти лягушатники не раздеваются даже в опере. Поднимайся по лестнице на второй этаж и садись к окну, если придешь раньше меня.

— О'кей!

За широким и высоким окном номера густо и монотонно падал парижский снег. 16 января. За бортом минус десять. Национальное бедствие для лягушатников. Снег безжалостно заносил корявые миниатюрные деревца на балкончиках дома напротив. Очень симпатично, когда на карнизах, выступях, нишах домовых фронтонов растут зеленые создания.

В Ленинграде вроде бы остался один-единственный плющ — он оплетает стену Института культуры имени Крупской, выходящую на Марсово поле, — самый живой дом в городе. Сейчас там ремонт, и я боюсь, что последнему плющу, или хмелю, или дикому винограду придет конец, хотя его корни прикрыли дырявым железным раструбом. Сколько раз скользила мысль: если есть один морозостойчивый плющ, то можно развести их и тысячу, и тянуло тайком отломить веточку, попробовать вырастить у себя на балконе...

Снег падал на зеленые деревца напротив и заносил автомобили, которые дрожали от холодрыги на дне уличного ущелья Вожирар.

В номере было жарко и душно. Краник на отопительной батарее не работал, а если откроешь окно, снег и холод моментально заполняют номер, и ветер задирает шелковое покрывало на широченной двуспальной кровати.

Русского чтива не было. Только три толстенных телефонных молитвенника на тумбочке у изголовья.

Своих подчиненных спутников я отпустил на все четыре империалистические стороны света.

Без стука вошла горничная, испуганно сделала книксен — в это время дня постояльца никогда не было в номере.

Я воспользовался случаем и вручил девушке несколько ленинградских открыток. Она еще раз сделала книксен и вышла.

Увы, она меня ничуть не взволновала. Времена Франциски из Хорватии канули в Лету.

В отеле было тихо — как на подлодке, которая легла на грунт и заглушила двигатели. Или как утром в городе после ночной бомбежки.

Снег все валил за окном, но все не мог завалить наглухо деревца на фронтоне противоположного дома. Они, возможно, выделяли тепло, живое и упрямое. Левее декоративных растений было окно — третий этаж. Поздними вечерами я смотрел в него на частную французскую жизнь. Женщина средних лет стелила на тахте пледы, потом задергивала занавеску.

Сквозь занавеску еще минут двадцать мерцал телевизор — как раз столько, чтобы подействовал нембутал, то есть помог мне преодолеть зыбкую мягкость роскошной постели и зыбкую сумятицу мыслей и чувствований. Мне этот (второй) раз в жизни Париж не дарил ни секунды радости. Быть может, из-за снега и морозца, и плывущих по Сене льдин, и застывших автомобилей, на которых побаивались ездить даже таксеры, и мы не вылезали из метро, четверть станций которого была закрыта — забастовка железнодорожников перекинулась и черт-те знает на кого еще, под землю...

...Хорошенькие сравнения я нашел, чтобы описать полдневную тишину парижского отеля в январе одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года! Но, как твердит Грэм Грин: «Я репортер, а бог существует голько для азторов передовиц». (Ибо у репортера ни о чем не бывает своего мнения.)

Так и не понять: зачем я в Париже — в предчувствии новой книги, где мне предстоит описать ностальгию во всем ее пышном и зловещем цвете, или в честь и память матери?

На втором этаже кафе «Монпарнас» было полупустынно. Я сел к столику у окна, снял дубленку, расположился с удобствами: ждать надо было еще минут пятнадцать.

Через площадь был виден огромный небоскреб, вполне нелепый,— Монпарнасская башня, на пятьдесят втором этаже которой прошлым вечером французская полиция провела эффектную операцию по борьбе с террористической экстремистской группировкой «Аксон директ». У террористов нашли одиннадцать килограммов взрывчатки — вполне достаточно, чтобы крыша этого нелепого небоскреба взлетела намного выше Эйфелевой башни.

Об этом я раздумывал, когда подошел официант и высадил меня от приоконного столика в глубину зала. Из иностранного бормотания гарсона я уяснил, что возле окна имеют право располагаться только компании, а не одиночки. Господи, на родине официанты вечно гоняют от столика к столику, и здесь тоже... Ну вот, домашняя тренировка и пригодилась — я не взорвался, не полез в бутылку, пересел послушно и стал формулировать первую фразу, достойную нашей встречи.

Если Виктор Платонович опоздает, то я скажу: «И это офицер-сапер?!» Если придет вовремя: «Точность — вежливость королей!» Боже, какая пошлятина лезет в голову... Но уж от некоторых тривиальностей я уклоняться не буду и «умом Россию не понять» брякну обязательно.

И брякнул.

Но сперва пятнадцать минут записывал кое-что из впечатлений прошедшего утра, а потом над полом в центре зальца из лестничного люка появилась не покрытая никакими шапокляками знакомая голова, со знакомым волнистым чубчиком и знакомыми усиками. Я опознал его мгновенно. И он тоже мгновенно засек меня.

Ну, обнялись.

Ну, прослезились.

— Зачем ты заказал эту дрянь? — спросил он, брезгливо отодвигая в сторону мой кофе.— Пить будем пиво. И только пиво. Плачу я. Не спорь. Ты у меня в гостях.

— А я и не буду спорить, ибо умом Россию...

— Не понять, в нее, так ее через так, и через этак, можно только верить, мать ее... Гарсон!

Он снял пальто. Из кармана пиджака торчала вязаная шапочка. Шарфа не было. Голая жилистая шея и голая грудь в вырезе до второй пуговицы рубашки.

Французский заказ гарсону пива он продолжал пересыпать таким хриповатым саперским матом, что я несколько раз (неволью) дергал лауреата Сталинской премии за рукав и молитвенно просил сбавить обороты: «Вика, тут же могут быть русские!» Он отмахивался:

«Пускай родной речи радуются, и вообще я их всех тут е...»

— Слушай,— спросил я.— У нас говорят, что ты здесь получаешь пенсию как ветеран Отечественной войны в советских инвалютных рублях.

— Чушь. Какая пенсия? Скажи, что там у вас творится с водкой? Совсе купить нельзя? И это правда, что она подорожала в два раза?

— Ну, тут надо целую лекцию читать,— сказал я.— Особенно, если будем пить одно пиво.

— Другого не могу. Возраст. С перепоя так плохо, что... Это только здешние шираки заглотят поутру таблетку аспирина — и никаких синдромов. У них даже утреннего трясуня не бывает...

— Это правда, что последней каплей, которая переполнила твою чашу, был кумачовый плакат над Крещатиком: «Выше роль женщины в сельском хозяйстве республики!»? Говорят, ты увидел этот плакат и заявил, что лучше помереть от тоски по родине, нежели от злобы на родных просторах?

— Вот только теперь я тебя окончательно идентифицировал. Когда наслышался твоей картавости.

— Не картавость, а мягкое эль,— сказал я.— Помнишь, как в Ленинграде, в ресторане «Восточный», а теперь отчего-то в «Садко» переименовали, заставляя меня произнести «отоларинголог»?

— Я тогда «Киру Георгиевну» писал. Тому двадцать семь лет прошло. Кира Георгиевна в детстве «эр» не произносила и от «отоларинголога» всегда впадала в транс.

— Я и сегодня эту абракадабру произнести не могу,— сказал я.

Мы шарахнули по первой кружке французского — без всякой водяной примеси — пива, закурили — я «Космос», Виктор Платонович свой неизменный «Голуаз», самые крепкие и дешевые французские сигареты, с таким черным табаком.

— Расскажи-ка про «Новороссийск»,— попросил Некрасов.— Как он потонул? По пьянке, конечно, они столкнулись?

— Какой «Новороссийск»? — не понял я.— Какая пьянка?

— Прости, я спутал. «Нахимов». Здесь писали, что на обоих судах все были пьяные. Они столкнулись на подходе к Новороссийску.

— Ты с ума спятил! На мостике пьяных не бывает, а уж на выходе и подходе к порту...

— Ты сам моряк — вот и защищаешь своих.

— Не неси бред. К новороссийской беде водка никакого отношения не имеет.

— Слушай, мы же договорились говорить правду. Объясни тогда, как они на ровном месте... Это же такое горе!

— Слушай, мне надо часа два, чтобы тебе что-то объяснить. Да и судебного разбирательства еще не было, я сам толком ничего не понимаю.

— А все-таки они были пьяные. А ты врешь по принципу: моя хата с краю и окна в другую сторону.

Ну что ты будешь с ним делать?!

— Слушай, я был в рейсе, когда это случилось. А когда в рейсе получаешь известие о катастрофе, то переживаешь особенно сильно. Точно могу тебе одно сказать: никогда мы не получали таких архидурацких радиogramм от министра, как тогда. Вот это действительно факт, а не реклама.

— Ты все еще плаваешь?

— Эту навигацию отплавал опять в Арктике: Мурманск — Диксон — Тикси — Колыма — Певек — Колыма — Игарка. Два месяца как вернулся.

— Господи, как я тебе завидую! — вырвалось у него. — Два месяца назад был на Колыме?!

Он не только завидовал, он ко мне «проникся». Спросил, конечно, причину моего появления в Париже. Я объяснил, что обследую разных жен Пикассо.

— Кажись, они не отличались выдающимися умственными способностями, — заметил Некрасов. — А ежели грубее, Толстого перефразирую: «Господа, как я понял, все жены Пикассо были достаточно глупы для того, чтобы их любил гений». Хотя каждая соответствует его «периоду», а это не фунт изюму... Ладно, слушай, как теперь с водкой там, на Севере, на Колыме?

— «А далеко на севере, в Париже...» Сухой закон по всей трассе Великого морского пути. Только в Дудинке по каким-то талонам спиртное продают. Мне лично за три месяца перепало всего два раза.

— И как же там люди живут?

— Плохо, Вика, очень плохо. Выжрали всю дрянь. Про одеколон, конечно, и не говорю. Это на уровне здешнего «Полотесна». У пограничных солдат сапожничко



ваксу изъяли. Ее каким-то образом научились употреблять.

— Это ты серьезно?

— Мы же договорились, что будем правду.

— А как там со жратвой?

— Ужасно. Сухое молоко выдают детям по специальным спискам. Сменим-ка пластинку. Ты же не из тех, кто сует пальцы в рану? Или уже из них?

— Нет, не из них. Но что будет дальше?.. Нет, не спрашиваю. Вряд ли что-нибудь радостное. А плохое всегда успеваешь узнать.

— Правильно. Тыкать пальцами рекомендуется только в свои раны...

— Это правда, что по телевидению показывали моих «Солдат»?

— Слухи были, но точно я не знаю, ибо сам не видел. А покажут обязательно. И «Окопы» переиздадут — как пить дать. И скоро. Все мы из твоих окопов вылезли, как классические предки из шинели.

Он заплакал и не стал скрывать слезу.

Так как за кормой оставалась уже четвертая кружка пива, я предложил проведать французский туалет. Некрасов сказал, что он такой тренированный, что это мероприятие передернет.

— У тебя сталинградский мочевого пузырь, — сказал я, чтобы скрыть волнение. Чужие слезы действуют сильнее собственных. Был нужен перерывчик.

— Мне нравится твоя фасон дэ парле, — сказал Некрасов.

— Что это значит?

— Манера выражаться. Наяривай, наяривай, так тебя и так! А к пиву у меня отношение святое. Оно, может быть, мне жизнь спасло и точку в боевой биографии поставило.

«Война!

Снаряды, бомбы, тупица начальник, нерадивые подчиненные, вор старшина. Да и ты сам. Выпей я, например, больше или меньше после того, как попался на глаза пьяному начальнику штаба.

— Э-э, инженер! Давай-ка сюда! Голую Долину надо кровь из носу взять, ясно? Собирай мальчиков, по кустам расползлись, и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь — „Красное Знамя“, не возьмешь — сдавай партбилет, ясно? Выполняй!

Тут-то я заскочил к Ваньке Фишенко, разведчику, ахнул спирта, стало веселее. Мальчиков собрал человек пятнадцать, пистолет в руку и — „за мной!“. Кончилось все в медсанбате. А возьми я эту чертову Долину?

Вариантов не счесть. В первый же день, как столкнулся с немцами, — май сорок второго, тимошенковское наступление под Харьковом. Десяток сопливых саперов с трехлинейками образца 1891/1930 г. против четырех танков с черными крестами. „Справа по одному к роще „Огурец“!“ И побежали. Каким дьяволом не подавили нас гусеницами!.. Или: „Хенде хох!“ — лагерь, потом другой, свой — читай солженицынский „Гулаг“.

Одно знаю — ни Александром Матросовым, ни Гастелло не был бы, окажись я даже летчиком. Все было куда банальнее. Начал младшим лейтенантом, кончил капитаном. В Люблине. И тоже не слишком героически.

На этот раз было пиво. В подвальчике бойцы расстреляли бочки и пиво выносили ведрами. Мы с начфином присоединились. „Эй, танкисты, холодненького!“ В Люблин въехал на броне „тридцатьчетверки“. Не дойдя до центра стала. Чего, спрашивается? Фрицев испугались? Железные, а я из мяса, за мной! И с пистолетом в руке покатился по мостовой. Снайпер! А окажись он попроворнее, и лежать бы мне в Люблине на кладбище воинов-освободителей.

Этим лихим эпизодом и закончилась военная карьера замкомбата 88-го Гвардейского саперного батальона.

Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отоваривания, семья...

...Подведу итоги не сейчас, под женевской сосенкой, а потом, в райских кущах — надо же чем-то там заниматься, а то сдохнешь от скуки».

Один читатель (из глухотоманной глубинки) в письме ко мне. — о Некрасове: «Внешне лохматый, неряшливый, безалаберный, хулиганистый стиль, но правдивость его, незализанность, жизненность — запоминается, даже замечательно запоминается. В общем-то средняя человеческая жизнь достаточно монотонна, усреднена, в ней не так много звездных мгновений. Но она, жизнь, такая, какая есть в его книгах, которые вышли и после „Окопов“. Мусор какой-то, пепельница, окурки, мерзость погоды — именно та человеческая неуютность и цапает за живое, дух упрямства, неустроенности, отсутствие железобетонной сытости (в назидание труженикам)»

Я бы определил Некрасова словами «изящный хулиган».

Когда вернулся за столик, он, нацепив очки вроде как в металлической оправе, читал газету — «Новое русское слово» за пятницу, 26 декабря 1986 года (выходит с 1910 года, цена 40 франков).

Эту газетку Некрасов мне презентовал.

Шедевр на полотне! Люкс!

Глядите сами:

«Ясновидящая Ольга. Отведет несчастье и дурной глаз от вас и вашей семьи. Предсказания. Гадания по ладони, на картах и по чайным листам. Помощь в любви, семейных делах и вопросах здоровья. Не надо переживать, Ольга поможет советом вам незамедлительно. Гарантирован успех. Принимает у себя дома или у вас на дому. Ежедневно. С 8 утра до 10 вечера».

«Что представляют собой традиционные еврейские похороны? В чем преимущество заключения контракта на похороны заблаговременно? На эти и все остальные вопросы, связанные с похоронами, можно получить информацию на русском языке, позвонив по телефону Манхаттен, Бронкс, 406-3311. Старейшее еврейское похоронное бюро. 1895 год, Бруклин, Нью-Йорк».

«Московские коллеги тепло приветствуют Сахарова. Через несколько часов после встречи Сахарова на Ярославском вокзале в МИД СССР состоялась пресс-конференция, на которой западные журналисты спросили заведующего отделом прав человека МИД Юрия Кашлева, что он думает по поводу замечания Сахарова об Афганистане. „Я не вижу в его замечаниях ничего дурного, — ответил Кашлев. — Наше руководство неоднократно заявляло, что мы стремимся как можно скорее разрешить проблему Афганистана. Если он будет честно высказываться по международным проблемам, его никто наказывать не будет“».

Из раздела «Юмор»: «У нашего Ханса большая неприятность на военной службе, и все из-за его чрезмерной старательности.

— А что случилось?

— Когда ему приказали вырыть стрелковый окоп, он зарылся так глубоко, что его обвинили в дезертирстве!»

— Беззаботные люди живут здесь и читают эту газетку. Завидую, — сказал я, посмотрев заголовки.

— Да-а-а... а вечером все они серые. Не все, конечно, а те, кто работает и служит.

— В каком смысле серые?

— В прямом. После конца рабочего дня. В метро. Серенькие они, да-а-а... И французики, и наши, так их, так и этак...

— Город зажигает огни, — вымолвил я совершенно случайно, ибо начисто забыл, что под таким названием Венгеров снял фильм по книге Некрасова «В родном городе».

— Дрянной фильм. Олег Борисов только хорош. И Леночка Добронравова красоточкой была.

— А на французском ты писать не пробовал?

— Нет.

— Ты же его отлично знаешь. Почему не попробовать?

— Потому что я русский.

— Тургенев тоже был русский.

— Увы, я не Тургенев.

— Но вот, говорят, Васька Аксенов уже на американском пишет и как кот в вашингтонском масле...

— А я не Аксенов, я Некрасов. И вообще, французы говорят: «Сравнение не доказательство».

— Как ты к Горбачеву? Вот ваше «Старое еврейское слово» пишет: «Журналисты спросили академика, собирается ли он встретиться с генсеком. „Это зависит от Михаила Сергеевича Горбачева,— сказал Сахаров,— это как он пожелает. Я от встречи никогда не откажусь“. „Это было бы неплохо“,— сказала жена академика Елена Боннер. „Конечно, это было бы неплохо,— продолжал Сахаров,— потому что я смогу еще раз выразить мою благодарность за изменение, которое произошло в нашей судьбе. Я испытываю большое уважение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву...“»

— Уважение я тоже испытываю, но кусать мне по его милости все труднее делается...

— Всем труднее. И правым, и левым. Слышал уже наше: «Двадцать лет понебрежничали — теперь сто погорбатимся!»

— Как здесь горбатиться? По нынешним временам одно остается: передовицы «Правды» и «Известий» на «Свободе» зачитывать. А кто мне за это платить будет?

— Нынче у нас передовиц почти нет: письма читателей вместо них засобачивают. Ладно, с этим вопросом ясно. А как ты — к Рейгану?

Тут я зачитал из «Нового русского слова»:

«В предрождественский день единственным официальным актом президента было поздравление по телефону,

американских военнослужащих, находящихся за границей. Президент сделал пять телефонных звонков и поздравил солдат на американских базах в ФРГ, Испании, на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также на итальянских островах Сицилия и Лампедуза. „Я думаю о вас каждый день, но особенно — во время Рождества,— сказал президент.— Ваша деятельность на благо соотечественников является, без всякого преувеличения, героической. Я знаю, как нелегко быть далеко от дома в праздники, но поверьте, что весь американский народ гордится вами. Передайте всем товарищам по оружию, что их главнокомандующий благодарит их и желает им счастья. Да благословит вас Бог!“».

Все, дорогой сталинградец, понимаю, кроме того, что президент нашел героического в тех солдатах, которые сидят под пальмами в центре Индийского океана на острове Диего-Гарсия. Более безопасного местечка на планете днем с огнем не найдешь.

— Про СПИД забыл! Они там на самом переднем крае с этим микробом сражаются. А Рейган мне нравится. Однако самый мой любимый царь — Александр Третий,— сказал Виктор Платонович.— Черт! Соли здесь в забегаловках нет. Хорошо бы пивко подсолить. Несмотря на всяких там Победоносцевых. Помнится, Мария Федоровна, царица, все удивлялась, когда и как они с начальником охраны успевали набраться, усевшись за свой бридж или преф. Она уйдет на минутку, вернется, а они уже тепленькие. Оказывается, у царя за голенищем плоская такая бутылочка всегда хранилась. Ну, разве плохой царь? И Паоло ему гениальный памятник сварганил. Так во дворе Русского и гниет?

— Так и гниет. Только ему дожди и метели — до фени. Никаких видимых следов всесокрушающего времени.

— Так, значит, и сучает на своем битюге?

— Так и сучает с жестокого похмелья. В холодной сидит — по заслугам своим, по делам своим и делишкам.

— Уговорились правду? Тогда запомни, что американцы мне нравятся,— с некоторым вызовом сказал Некрасов.— Эта нация родила Тома Сойера и Хемингуэя. Читал мое «Посвящается Хемингуэю»?

— Так я же специально готовился к встрече с тобой. И перечитал все, что сохранилось дома. И помню, как ты сидел в бетонной трубе у подножья Малахова Кургана. И было у тебя четыре книги.

— «Фортификация» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медный всадник» с иллюстрациями Бевуа, «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» Хема.

Герой «Посвящается Хемингуэю» восемнадцатилетний солдатик-связист Лешка, фамилии Некрасов не запомнил; запомнил, что пацан из какой-то деревеньки под Саратовом...

— Если дам тебе задание,— сказал я,— пять страниц прозы. Война. Сталинград. Любой воспоминательный эпизод. Но записать прозой. Любая выдумка тоже годится, но — проза! Сможешь?

Он отвернулся и погладил свои тусклые, но все еще волнистые волосы, задумался, отключился. Нефтебаки вспомнились? Валега? Фарбер? Смертное братство? Все, конечно, в такие миги вспоминается.

Я боялся, он обозлится на непрощеный тест.

Нет, не обозлился.

Глотнул пива, закурил, сказал:

— Нет, не смогу. И пробовать не буду. У меня к тебе просьба. Вернешься — положи букетик цветов к памятнику «Стерегающему». На Кировском. Я понимаю, сейчас зима. Вот пусть люди идут, на цветочки смотрят и удивляются.

О том, какие цепочки воспоминаний и ассоциаций привели его к «Стерегающему», к далекой японской войне, спрашивать не стал.

— Есть, комбат, сделаю,— сказал только.

Юноша напротив заказал еще кофе и зажал в зубах чек, а девушка стала обрывать у его губ прямоугольную бумажку, как билет в автомате парижского метрополитена.

«Когда я нес Лешке книгу Хемингуэя, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй не легок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и

реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видел в детстве картину „Кровь и песок“ с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И, шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Иполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной, — надо было заканчивать схему.

— А парнишку-то вашего ранило, — подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада...

Лешка лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда, — он с натугой улыбнулся, — скоро вернусь. А книжка ваша... — он косил глаза, показывая, что она у него под головой. — Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит, — сказал я. — А прочесть успел что-нибудь?

— ...Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— „Рог быка“?

— Ага, „Рог быка“... — Он мучительно наморщил брови.— Вот глупо получилось, а? Просто ужас... На два дюйма только... Сколько это — дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот... Бывает же такое... — и, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить...

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтобы Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух, столь несхожих людях, в старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином „жаль Пако, хороший был парень“, в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполито. Он сказал о нем: „Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито“.

И на Лешку, хочется добавить мне.

Я ставлю на Некрасова.

Я не знаю, насколько он замазан. Это знает КГБ. Но я знаю, что всю жизнь и до самого конца он ставил на Лешку. И этого мне достаточно.

— А не страшно, что здесь похоронят? В чужой земле, навечно?

— Нет. Я, Вика, безбожник. Один черт, где гнить. Я и полюбил этот глупый Париж. Терпеть не могу шираков, ле пенов с их фашистскими миллионами, забастовщиков и вот всех этих,— он круговым макаром мотнул головой.— Все они засранцы, мурло, бляди, скупердяи, буржуазная сволочь, все с жиру бесятся, но Париж я люблю.

В моей башке кругообразно завертелось: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится». Однако, может, Некрасов уже начитался здесь Набокова, кото-



**рый** Тургенева в грош не ставил и ужасался тем литераторам, которые признают Тургенева писателем. Тогда и эти слова упадут в пустоту. Да и вообще цитаты в таком разговоре не аргумент. Впрочем, они цикады, как заметил Мандельштам, и потому нигде не аргумент. Кроме поэзии.

Я театрально продекламировал:

На этом корабле есть для меня каюта  
И ветер в парусах — и страшная минута  
Прощания с моей родной страной...

— Анна Ахматова. «Смерть». Да?

— Да.

— «Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу...»

— Насчет улиц не знаю. А новый здоровенный теплоход уже назвали. Плавает Анна Андреевна по океанам. Порт приписки, кажется, Мурманск. Скоро где-нибудь в Сингапуре борт к борту встанем.

— Правда?

— Правда, ибо сам видел в «Известиях» фотографию судна. Подпись, конечно, соответствующая, нечто вроде: «Экипаж теплохода, взяв повышенные... используя скрытые резервы соцсоревнования...»

— Значит, Ахматова все-таки использует скрытые резервы социалистического соревнования? В ее характере. Небось еще один «Реквием» напишет... А знаешь, о чем я сейчас думаю? Как Анна Андреевна, встретившись с Солженицыным, а он ей очень нравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал. И Солж, великий Солж...

— А как ты к нему? И что он делает?

— Впал в политическое детство и в результате выпал как из литературы, так и из политики... А может — обыкновенная старость... Ты Анну Андреевну знал лично?

— Жили несколько раз одновременно в домах творчества, но я робел. Вечно она была окружена интеллигентными мальчиками, подававшими гениальные поэтические надежды. Один раз перемолвились. В Комарове. В старом еще; тогда столовка в таком деревянном бараке была. А в предбаннике пальто вешали. Мороз был жуткий. Висел там ее лапсердак — вытертое нечто, лянляое, в проплешинах, этакий елот, который лает у ворот. И выплывает из столового помещения Ахматова с

приживалкой или сожительницей. Царственным жестом указывает сперва на меня, потом на лапсердак и говорит державно и капризно: «Конецкий! Подайте мне мои соболя!» Ну, я трясущимися руками подал. И все. Легонький лапсердак был — как наволочка с диванной подушки. С кем из здешних писателей ты общаешься?

— Нет тут никаких писателей — все засранцы. И все передрались. Только к Наталье Ильиничне Саррот иногда тянет. Ты ее знаешь?

— Да. Вчера угощала виски. Она добрая. Сказала, что ты давно не был и что любит тебя. И еще сказала, что твое главное парижское место в каком-то кафе на берегу Сены. И что ты вечно сидишь и смотришь на Нотр-Дам. А потом ей вдруг занездоровилось, дочь померила давление, Натали всыпала мне целый карман франков и вызвала такси. А ты вот и не на берегу Сены сидишь.

Он махнул рукой:

— Раньше сидел.

— А пишешь где?

— Недельки две в году пишу. Недалеко от Барселоны. На самой границе с Испанией дачное такое местечко. Вот книжку тебе принес. Не побоишься везти к нам?

— Нет, Горбачев велит нам учиться демократии.

Если я чего боялся, так это того, что книжка окажется плохой. Поинтересовался, как к нему относятся французские власть предержащие.

— А никак не относятся. Нужен я им... Хотя орденом каким-то наградили — за прилежание в литературе или искусстве или еще черт знает за что. Ну, получил бумагу, поздравления официальные, сижу и жду, когда Калинин вызовет в Елисейский дворец соплю вручать, изучаю наградную грамоту. Неделю сижу, месяц сижу, второй сижу. Не вызывает Михаил Иванович. Наконец — здрасьте вам: орден надо в магазине покупать, за свои кровные. Шестьсот франков! Ну, сам понимаешь: чтобы я галантерейным лавочникам шестьсот франков?! Хрен им в глотку. Потом дружки скинулись и повезли в универмаг. Там тебе пожалуйста: и крест эсэсовский, и новозеландскую луну можешь приобрести по наличному расчету.

— Твой-то красивый?

— Красивый, зелененький такой, веселенький. В Сталинграде мне «За отвагу» вручили прямо в блиндаже.

— А как Сталинскую вручали?

— А ты мою «Маленькую печальную повесть» не читал? Нет, конечно. Хотя при чем тут «Маленькая печаль-

ная», это в «Саперлипопете». Книжка у меня такая. Ее тебе и принес. Сейчас вспомню, как в сорок седьмом вручали нам премии. Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко мхатовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарем Комитета по Сталинским премиям. Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходил в студийные еще годы в надежде попасть на «Турбиных»... Кстати, это правда, что у вас поставили «Турбиных» на телевидении?

— Увы, да. Феерическая пошлятина и дерьмо. Булгаков волчком в могиле вертится с тех пор.

— Следовало ожидать, — заметил Некрасов, нацепил очки, полистал книжку, прочитал: — «На сегодня контрамарок нет», — сказал Михальский, даже не повернувшись в мою сторону, он говорил с кем-то по телефону. «Мне не контрамарку, а...» — «Билеты в кассе. От двенадцати до пяти...» — «Нет... Мне это самое... Как его... Диплом, что ли?..» Он мельком взглянул на меня: «Фамилия?» — и, продолжая говорить по телефону, вынул из шкафа две плоские бордовые коробочки — большую и маленькую. Из ящика стола папку, из нее лист. «Вот тут, пожалуйста. Распишитесь». Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой золотая (так говорили) медалька с профилем вождя. С этого момента, точнее — дня (шестого июня сорок седьмого года), все издательства Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в планы.

— Знаю я этот автомат. Он и сегодня работает.

— Зато следствий не знаешь. Когда я сюда добрался, парижская «Фигаро» сообщила, что прибыл личный друг Сталина, член цэ-ка и миллионер в советских рублях. Миллионером не стал.

— А на что живешь?

— Ну не на книжки же свои, кому они здесь нужны, — ответил Некрасов. — Живу на радио.

— Что это значит?

— На «Свободу».

— А ее кто кормит?

— Эн-тэ-эс.

— Слушай, всю жизнь слышу эти буквы, скажи толком, что они обозначают?

— Всемирная политическая партия, имеющая целью уничтожение советской власти в России.

— Богатая партия, если ей и такое шикарное издательство, как «Посев», принадлежит. Но я не знаю среди энтээсовцев миллионеров. На что живет сама эн-тэ-эс?

— У меня нет документов, чтобы положить их перед тобой сейчас на столик, но я не сомневаюсь, что это деньги цэ-рэ-у.

— Получается, Вика, что я пью на деньги цэ-рэ-у?

— Выходит так,— сказал Некрасов.— Да, нелегко. Нелегко, Викочка, ох как нелегко. Тут с писательства не проживешь. Это тебе не Союз нерушимый, где по триста рублей за лист отваливают. Кроме Сименона и Труайя никто с книг и тиражей своих не живет. Надо подхалтуривать. Прилепиться к какой-нибудь газетенке, журнальчику, радио, телевидению. За книги платят с количества проданных экземпляров. Значит, самому читателю должно понравиться, не цэ-ка, а читателю! А как ему угодить? Сейчас в ходу мемуары и детективы. На растерзанную русскую душу здешнему читателю наплевать, подавай убийства в «Ориент-экспрессе»... И на квартиры каждый год повышают, сволочи, плату. И цены дай бог... Я приехал, пачка «Голуаз» франк двадцать стоила, сейчас четыре. И так все. В кино иной раз не пойдешь: двадцати пяти франков нету... Писать-то пишется. Но в общем-то. Тренажа здесь нет, понимаешь. Размякли. Дома всегда был собран. И школу хорошую мы прошли. Жонглировать, ходить по проволоке. Мускулы всегда в хорошей форме, реакция моментальная. А здесь? Здесь все можно, все дозволено. И риска никакого, никакой опасности. Здесь не надо быть героем... Пишу-то я не для французов, для вас, гадов. А вы далеко. И путь к вам, ох, как тернист...

«Он привык к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах условливаются за месяц, водки не пьют, поллитра на троих для них смертельная доза, в метро место даме не уступают, и это галантные французы, где ж д'Артаньяны? Обнаружил только одного, бронзового, на памятнике Дюма-отцу. И вообще, французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице останоятся, обнимутся ни с того ни с сего — и вчасос...»

Господи, — подумалось мне на этом месте, — может быть, и наш Леонид Ильич Брежнев — француз?

— Ты вообще умел жить? Ну раньше, дома, в самые удачливые моменты?

— Здесь говорят: «савуар вивр». Нет, не умел.

— Что читаешь?

— «Комсомолку» и Дюма.

— А из наших прозаиков?

— Один другого лучше! Воробьев, Кондратьев, Быков, Астафьев, Распутин. Распутину, как прочитал «Уроки французского», в Женеве это было, сразу ему посылку послал, анонимно. Альбом с живописью и кое-что вкусенькое: итальянские макароны и искусственные яблоки, очень косой был — вот искусственные и послал. Увидишь — скажи, что от меня. Теперь, верно, это уже ему не опасно будет. А что там у Астафьева с Эйдельманом?

— Оба — и Эйдельман, и Астафьев — с жиру бесятся, как твои французы здесь.

(Я не стал ему растолковывать, насколько своеобразны у нас и внутрирусские и внутринациональные отношения. Поэт Сергей Давыдов рассказывал, как вместе с другим пиитом, Олегом Шестинским, поехали они выступать в Волгоград.

Из окон интуристской гостиницы пииты увидели компанию парней. Парни сидели на берегу матушки-Волги, играли на баяне и пели народные песни — дело было еще до роков, панков и металлистов — в старые добрые времена. Шестинский, стремясь к народности и демократизму, надел под пиджак тельняшку, и ленинградцы отправились наводить мосты с местными парнями. Ну, подошли к компании. Шестало — подпольная кличка Шестинского — распахнул пиджак, мелькнул тельняшкой и сказал:

— Здорово, ребята! Я — с берегов Невы!

В ответ на представление ленинградца самый здоровый сталинградский парень встал, безмятежно размахнулся, врезал балтийскому пииту в глаз и миролюбиво объяснил:

— А мы, друг, с Волги!

Это называется: «Загадка русской души».

Ведь никакой поэзии этот волгарь не знал и никаких личных претензий к знаменитому переводчику с болгарского языка не имел. Думаю, ему просто размяться захотелось.

Не удержусь, повторю еще раз. Итак: «Здорово, ребята! Я — с берегов Невы!» Другой: «А мы — с Волги!» И — фингал другому русаку под глаз.)

— Ну, а кто из отщепенцев вернется, если позволят?

— Никто. Разве только Любимов. Режиссеры, пожалуй, без актерского обожания и подхалимажа жить не могут. А тут этого марафета не получишь. Ты хоронил Гаврилыча?

— А кто это?

— Ив́анов, «Солдат» ставил.

— Нет, не хоронил. Не было меня в Ленинграде. Да мы с ним и несколько разладились: очень уж дрянной фильм по моему рассказу поставил. Старость.

— Сколько сейчас Астафьеву?

— Шестьдесят три.

— Мальчишка. Его «Печальный детектив» я под подушку засунул, когда читать кончил. Еще совпадение у нас с ним роковое. Мой последний опус тоже печальный. Так и называется — «Маленькая печальная повесть».

— Подаришь?

— Нет, я же тебе другую книженцию приготовил. А с Астафьевым ты лично знаком?

— Да. Всего два месяца назад был у него в Овсянке под Красноярском. Пролетом из Игарки. Ты его рассказ «Ловля пескарей в Грузии» читал?

— Нет.

— Этим рассказом Виктор Петрович очень оживил последний съезд наших козлотуров. Баснописец Михалков на весь свет объявил Астафьева неинтеллигентным мужчиной. А кто у вас здесь самый талантливый?

— Талантливых, может быть, и много, а книг хороших нет. Одну назову — роман Сергея Довлатова.

— Что Аксенов?

— А ну их всех в...

— А твой шеф Максимов?

— Максимов? Я с ним в разрыве. Но прохиндей он идейный, и плохого, на радость тебе, о нем говорить не буду, хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку. А «Континент» закатывается. Да и Владимов подсел — хороший журнал в фэ-эр-гэ делал. Хочешь, дам его телефон во Франкфурте? Позвони. Жоре сейчас плохо, боссы из эн-тэ-эс ему под дых дали — в дерьме на тротуаре кукует.

— Ну, давай, — сказал я, хотя знал, что звонить не буду.

Он продиктовал.

— У тебя отличная память.

— Дерьмо, а не память. Просто утром звонил ему. Забавно: вчерашнюю встречу забываешь, а вот какого-то солдата Ютэн и лежавшего рядом с ним зуава помню, как будто вчера их видел. Оба они лежали в «Опиталь Станислас», где работала мама, один был ранен в ногу и позвоночник, другой в руку. И даже запах, исходивший от их гипса, я вспомнил, когда мне в свою очередь накладывали гипс в госпитале, в Баку. В Баку мне было уже тридцать с чем-то, а тогда, когда видел зуава в Париже, четыре или пять.

— Позволь-ка спросить, откуда ты тогда знал, что это именно зуав? Он что, черный был?

— Почему черный?

— Мне кажется, что зуавы — это то же, что и спаги.

— Нет. Спаги — во французских колониальных войсках — кавалеристы из местного населения в Северной и Западной Африке. Зуавы же — части легкой пехоты и комплектовались не только из местных, но и французских добровольцев. А где ты слышал о спаги?

— От Пьера Лотти. Или от Пьера Бенуа.

— А откуда «сапер», знаешь?

Конечно, я не знал.

— От французского «сапа», а «сапа» от итальянского «заппа» — заступ. Траншея, которая велась осаждающими в то время, когда они подступали к крепости ближе, чем на ружейный выстрел. Ну а сапер — это тот, кто ведет сапу. Скажи, пожалуйста, можно ли нынче в Союзе свободно снимать ксерокопию?

— Сам не пробовал, но думаю, что нельзя.

— Понимаешь, самый первый номер «Зуава» сохранился у моего дружка в Ленинграде. Это наш мальчишеский рукописный журнал.

— Ну, — сказал я, — если твой дружок крупная шишка, то он, пожалуй, сможет его ксерокопировать.

— Ты понимаешь, какой это раритет! Очень хочется скорее получить.

— Скажи мне, кого там в Ленинграде надо подтолкнуть, — сказал я.

— Замнем для ясности, — сказал Некрасов. — А как твои издательские дела?

Я похвастался, что с будущего года должен выходить четырехтомник.

— Ну, до полного собрания вряд ли доживу, — сказал Некрасов. — А внуку через месяц двадцать. Звать — Вадик. Он в армии, но не сапер, и порядки здесь такие, что каждый уик-энд приезжает домой. Вид сытый и довольный.

— Кто папа?

— Инженер-шахтостроитель, но работает сейчас в основном по линии переводов. Мама преподает русский в лицее. А вот что будет делать этот чертов Вадик после армии — не совсем понятно, так его в этак и перетак. Ни в отца, ни в деда не пошел — без книг свободно обходится. Но руки умелые. И вообще парень симпатичный. Есть девушка — француженка. К брачным узам только, подлец такой, что-то не очень стремится. Я, правда, тоже не стремился.

— На Новый год соленые грибы были у тебя?

— Постарайся понять, я не офранцузился, но парижанином стал... Седею что-то быстро. И болею. То что-то, то, как видишь, кашель, то еще какая-нибудь хреновина... Но видишь, живу и даже пишу. Пишу не длинно, не утомительно — это главный грех всех нынешних писателей. Хвастаться нечем, но и жаловаться не буду. Про безрезки спрашивать будешь? Про мою тоску о них?

— Буду.

— Их тут полно. «Було» называются. А вот как плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато... Что зато? Вика, дорогой мой Видуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколько. Прозрачна и чиста, как слеза младенца.

«И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило — это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь, — все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном по тому, что было „сметено могучим ураганом“, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают — дети там или не дети, земля предков и всякое такое, а если в корень глянуть, от въев-



шейся во все поры советской власти. Осточертела голубушка. А кому и кое-что прищемили...»

— Ну, а если бы тебе предложили,— вернулся? — спросил я.— Только, бога ради, не подумай, что я облечен какими бы то ни было полномочиями выяснять это.

— Нет, Вика. Сегодня у вас Горбачев...

Вот видите, что значит по памяти пытаться передавать диалог. Он сказал «у нас».

— Сегодня у нас Горбачев, а завтра опять Брежнев. Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с Эльбы. Сто дней... Помнишь? Французские газеты писали вначале: «Узурпатор высадился в бухте такой-то», а через столько-то там дней — «Его Императорское Величество вступает в Париж!» Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени, рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг,— тут же перешел на его сторону. А Наполеон шел и выходил первым — «Стреляйте в своего императора!» Так вот, я боюсь, что случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым — допустим такую петрушку,— на руках внесли бы в Кремль. И опять меня на Крещатике, трезвого, спровоцируют в милицию, кинут там банок и еще хвост отправят в горком.

— И такое было? — спросил я.

— И не один раз. А вот если бы пустили на неделю проститься. Эх, один раз пройти по Невскому, и к «Стерегающему», и к нашему дурацкому московскому цэ-дэ-элу... Только на Киев я даже из самолета смотреть бы не стал. Похуже твоего Ленинграда мой Киев.

«Преследовать не преследовали, топтуны за ним не ходили, обысков ни у него, ни у его друзей не делали, с работой было более или менее благополучно. Правда, „Лебединый стан“ Цветаевой или мандельштамовское „Про кремлевского горца“ с эстрады не прочтешь, но иногда что-то, не самое просоветское, нет-нет да и втиснешь. И радуешься. Жванецкий, например. Иной раз просто оторопь берет — и ничего, сходит одесситу с рук...» Это из книги с выдуманным героем. А у автора и топтуны, и обыски случались-таки...

Конечно, никакого магнитофона у меня с собой не было, диалог, который здесь есть, записываю только в том случае, если записал его сразу по возвращении в гостиницу, или же, как вот и сейчас, использую несколько

модифицированные цитаты из двух последних книг Виктора Платоновича.

Когда я читал их, то часто казалось, что слышу его голос, ибо суть цитат и его высказываний в кафе на бульваре Монпарнас, 59 одина. Вот сидит он, курит свой «Голуаз», тянет пиво и вдруг, закашлявшись до хрипа, опустит голову к распахнутому вороту, закроет подбородком жилистую шею, передыхает от кашля и думает неизбывную тоскливую думу свою; красивый даже в площадной ругани, ибо честный, честный, честный русский человек черт знает в каком поколении... и в каком положении... Небось и столбовое дворянство внесло в его судьбу свою лепту...

Бедный ты мой Виктор Платонович, мой Некрасов, мой сталинградский солдат и спаситель...

«Бел горюч камень. Сколько раз попадался он на его пути. Сворачивал то туда, то сюда, объезжал, ехал прямо. А в итоге — по правильному ли, как говаривал Владимир Ильич, по нужному ли пути направлял он коня своего? И туда ли, куда хотел, приехал он? Может, с тоской вспоминается какая-нибудь оставшаяся позади тропинка, соблазнительно манившая его? Или, напротив, большак, который разумно или неразумно объехал стороной?»

Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуясь.

Ну, какое я имею право жаловаться, если, отрубив весь Сталинград от первого до последнего дня, остался жив, и дошел до самой Польши, и вернулся в родной Киев, и обнял маму, которой тоже не так уж сладко было в годы оккупации, обнял, расцеловал ее, маленькую, худенькую, склонившуюся над своей дымящей из всех щелей печуркой, и прожил с ней еще двадцать пять лет! Подумать только — двадцать пять лет! Не всякому выпало такое счастье. А на меня, вот, свалилось.

И жили мы в Киеве. И в Москве, и в Ленинграде, и в любимом нашем Коктебеле, и в Ялте, и на озере Севан. И ездили по Волге, и в родном мамином Симбирске бывали („Но где же хорошавки, самые вкусные в мире яблоки, что-то не вижу я их нигде...“), и поднимались на Мамаев курган в Сталинграде, и сфотографировал я ее на месте наших окопов, на фоне скромного обелиска, под которым покоятся кости бойцов нашей 284-й стрелковой дивизии. Не сосчитать, сколько их полегло. И нету больше этого обелиска, снесли и бульдозером прошлись. По

могилам, по окопам. И стоит на их месте стометровая «Мать-Родина» с мечом в руке, и кругом ступени, мрамор, гранит, нагромождение бронзовых мускулов, куда-то рвущихся и кричащих солдат. Мама этого не видела. И слава богу...»

«Ну, а Париж? Лучший в мире город Париж? И мы в нем — изгнанники. Об этом ведь тоже обязательно спросишь. Что ж, живем, работаем, ворчим, болтаем, боремся против несправедливости, ссоримся все из-за той же истины, которую всенепременно каждый из нас знает лучше другого. По-прежнему пьем, кто чаще, кто реже, женщины по-прежнему часами говорят по телефону, темы никогда не иссякают, ждут не дождутся очередных „сольд“, магазинных скидок. Ну а я? Посмотрев недавно по парижскому телевидению все четыре серии бондарчуковской „Войны и мира“ и тут же бросившись к первоисточнику, который читал взахлеб, будто в первый раз, я понял, что из всех толстовских героев я больше всего смахиваю на старика Болконского. Так же нетерпим, ворчлив и раздражителен, жена считает, что и деспотичен. К тому же неожиданно выяснилась еще одна весьма прискорбная для меня деталь — оказывается, всегда казавшийся мне глубоким стариком князь Болконский моложе меня. Да-да! Если считать, что он ровесник Кутузова, а это, очевидно, было так, что оба они умерли, не дожив до семидесяти, Кутузов — шестидесяти восьми лет... А я перешагнул этот рубеж. Всю жизнь считал себя мальчишкой, делил всех на молодых и взрослых, относя себя к первым, а тут, вдруг, оказался не только взрослым, но и весьма и весьма преклонного возраста...»

С миром наживы и стяжательства свыкся относительно быстро, хотя не нажил и не стяжал ничего».

То, что он не миллионер, я понял и без объяснений.

Приезжал и уезжал Виктор Платонович каждый раз на метро. Домой к себе не приглашал. Или, как истый парижанин, предпочитал общение в кафе, или же не хотел показывать мне жилье. Думаю, оно скромненькое. На такую мысль наводит то, что в телефонную трубку я слышал шум душа из ванной комнаты. Но и бедняком Некрасова не назовешь, ибо он много летал по миру, а это дорогое удовольствие. Особенно всякие Австралии и Новые Зеландии...

— Не побоишься? — опять спросил он, показывая книжечку со своим фото на обложке. На обложке Некра-

сов был точно таким, какой сидел напротив меня через столик в кафе «Монпарнас».

Книжка называется не без выпендривания — «*Сапер-липопет, или Если бы да кабы, да во рту росли грибы...*»

— Я же тебе десятый раз объясняю: Горбачев учит нас демократии,— сказал я.— Надписывай, пожалуйста.

Он надписал: «Дорогому Вике Конецкого от Вики Н... Paris 17/1—87».

Я отдал шикарным арктическим сувениром — атомоход «Ленин» во льдах, цветной, стереоскопический.

Падежное окончание «кого» вместо «кому» говорит о том, что шесть или даже семь кружек парижского пива в некотором роде заменяют русские пол-литра.

— Небось в аэропорту в мусорную корзину бросишь? — настаивал Виктор Платонович.

— Нет, и в прежние времена твою книжку никогда не бросил бы.

— Сначала прочитай. Может, все-таки лучше будет бросить?

Он за меня беспокоился и боялся.

— Ладно, прочитаю до отлета,— сказал я и примолк, ибо приближался сложный момент расставания. Я собирался подарить его сыну свой на сто процентов советский шарф и запонки, но опасался, что Некрасов сочтет это отплатой за угощение и вообще чем-то оскорбительным для бедного эмигранта.

Но когда я протянул ему шарф и выстегнул из манжет запонки, он ни оскорбленно, ни недоуменно вести себя не стал. Просто сказал:

— Спасибо. Сыну будет приятно. Он у меня русский парижанин. Как и я. А вот внук уже француз...— и сунул шарф в карман пальто.

Затем Виктор Платонович проводил меня до гостиницы. И даже вошел вместе со мною в вестибюль. Или расставаться не хотелось. Или, что тоже может быть, решил проверить меня «на подбрасывание».

Есть такое военно-флотское выражение, происходит оно из торпедных дебрей, сохранилось еще от времен парогазовых торпед. А в переносном смысле обозначает: «Струсишь или не струсишь». И вот, возможно, комбат решил посмотреть, не побоюсь ли я показаться вместе с диссидентом в месте, где возможна встреча с моими попутчиками или соглядатаями.

Встреча, точно, произошла. И для Виктора Платоновича приятная.

Московская окололитературная дамочка, с которой мы прилетели, возникла прямо перед нашими носами и сразу после того, как стеклянные двери автоматически захлопнулись за нашими спинами.

Дамочка всплеснула руками и воскликнула:

— Здравствуйте, Виктор Платонович!

— Откуда мы знакомы? — буркнул Некрасов.

— Ну, вы, конечно, меня не вспомните, но когда-то жили одновременно в Ялте. Вы всегда под ручку с мамой ходили. Безумно рада вас видеть! — с искренней радостью воскликнула дамочка и еще раз всплеснула руками, отражаясь в десятке вестибюльных зеркал.

И я простил своей подопечной некоторую жеманность и налет бомонда и все другое, что раздражало в этой Ирэн. Потому что я увидел, как было Виктору Платоновичу до глубины печенки приятно и то, что его, старого, изменившегося, все-таки с ходу узнала соотечественница, и что так почтительно и произвольно всплеснула руками.

Подниматься ко мне в номер он не стал.

Мы сразу вышли обратно на улицу Вожирар. И чтобы скрыть некоторую приятную взволнованность, он сказал:

— А ты знаешь, что эта рю Вожирар — самая длинная улица Парижа? И еще тем знаменита, что на ней жила возлюбленная д'Артаньяна госпожа Бонасье.

— Теперь знаю, — сказал я. И уже в свою очередь проводил его до бульвара Монпарнас.

— Ей-богу, страшно на твою голую грудь смотреть, — сказал я. — Пока-то накинь шарф на шею.

Этот совет он проигнорировал, а меня отдалил авторучкой-фломастером.

— Если книжку отберут, то хоть ручка останется, — сказал он.

— Я же глава официальной делегации. Таких у нас на таможне не досматривают. Забыл уже?

Этой ручкой я стараюсь вовсе не писать, чтобы она дольше жива была, чтобы дольше заправка не кончилась. И она все еще жива и сегодня. Черная изящная ручка, хотя и обыкновенный ширпотреб.

На улице расстались не сразу. Искали антиникотиновый мундштук для Гни Данелия. Обошли штук пять табачных магазинов, но такой, как Гля просил, не обнаружили.

Это Некрасова расстроило.

Обнялись у черной дыры метро, стоя в рыхлом снежном сугробе по колено.

Парижане брели сквозь метель, как наполеоновские гвардейцы через Березину.

«Помру,— отволокут на Сен-Женевьев-де-Буа — там хорошая компания: и Бунин, и Мозжухин, Мережковский, дроздовцы, Галич...»

«Увы, почти никого из тех, кто стоял у моей литературной колыбели, не осталось в живых. Ни Твардовского, ни Вишневского, ни Толи Тарасенкова и Туси Разумовской, первых редакторов по „Знамени“, ни Игоря Александровича Саца, „личного“ моего редактора и друга, ни Миры Соловейчик, ни Владимира Борисовича, которому я обязан не только тем, что он меня „открыл“, но и тем, что, открыв, приобщил к тому, чем так щедро одарила его природа,— к его уму, культуре, благородству и порядочности. Господи, как мало осталось людей с такими задатками...»

И очень не хватает мне сейчас мамы. Как радовалась бы она, что мы живем с ней вместе в Париже. Она долго в нем жила и любила его. „Грязный, правда, везде бумажки, мусор, собачьи кучи, но, поверь мне, совсем этого не замечаешь...“ — „Но почему, мама, ты ж у меня такая чистюля?“ — „А потому, что люблю парижан. Всех без разбора. Даже апашей... С одним из них, представь себе, танцевала в каком-то кафешантане. Очень был красивый, черноглазый, с усиками, в красном шарфе и клетчатом кепи набекрень. Говорят, теперь их уже нет. Куда они девались?“ Да, исчезли апашаши — воры, грабители и сутенеры маминой молодости, как исчезли фиакры, трамваи, газовые фонари, пелеринки полицейских. Теперь террористы, гангстеры, хиппи, панки. Боюсь, что мама и их любила бы, парижане все же...

Но мамы нет. А Париж есть. И в нем тот самый „Городок“, о котором так замечательно написала когда-то Тэффи. Не могу удержаться, приведу несколько строк:

„Это был небольшой городок, жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и невероятное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, стали называть „ихняя Невка“.

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными музеями, галереями, театрами. Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. Собирались жители городка больше под лозунгом борща, но не большими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались.

Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы...“

Вот и я живу в этом не так уж и изменившемся за прошедшие годы городке. Хотел сказать, живу и не тужу. Нет, тужу. И очень тужу. Стоит ли расшифровывать, по ком и о чем? По-моему, и так ясно.

Вот если бы да кабы...»

Я читал эти печально-безвозвратные строчки 19.01.87 г.

Около пятнадцати часов по парижскому времени в номере отеля «Авиатик» зазвонил телефон. Мужской подхихикивающий голос сказал:

«Здорово! Узнаешь?»

Голос был вроде знакомый.

«Я Толя Гладилин».

«Теперь узнал».

«Некрасов передал мне от тебя привет».

«Чушь. Я не передавал приветов тебе. И где ты его видел?»

«Он у меня работает».

«Вот как! Значит, ты его босс?»

«Выходит, так».

«Поздравляю, но приветов тебе не передавал. И что тебе от меня надо?»

«Васька Аксенов написал, что ты в очерке о Казакове его приложил. В „Неве“ за восемьдесят шестой год. А мы здесь этот журнал не получаем».

«Передай Ваське, чтобы он не встретился мне где-нибудь на международном перекрестке: расквашу хлебало вдребезги. Он знает, я это умею».

«За что ты на него так?»

«За то, что по его вине на шесть-семь лет из литературы вылетели Фазиль Искандер и Андрей Битов».

«Ты имеешь в виду „Метрополь“?»

«Да. Чего тебе еще надо?»

«Мне нравятся твои книги».

«Спасибо. Мне твои никогда не нравились».

«Неважно. В здешней прессе я тебя регулярно хвалю. У тебя не было неприятностей по такому поводу?»

«Нет. Не замечал».

«Почему тебе разрешают публиковать то, что другим нет? Рука?»

«Нет руки. Просто само собой как-то налаживается. Полежит годик, глядишь, и выскочит. Еще есть вопросы?»

«Нет».

«Тогда пока».

Сразу и довольно раздраженно перезвонил Некрасову:

«Прости. Но сейчас Гладилин благодарил за привет, который я ему через тебя не передавал».

«А, брось, все мы тут одним миром... Чем я от него отличаюсь?»

«Прости, но ни с Гладилиным, ни с Аксеновым я никаких общений не хочу».

«Брось, не делай из мухи...»

«Не делаю. Ты для меня — солдат, кровь за родину проливший и меня спасший, и автор пока лучшей книги о Великой Отечественной войне. А Гладилин — аксеновская приживалка и затычка. Знаешь, как Толя еще выразился? Что „ты у него работаешь“».

«А я действительно у него работаю».

«Хороший у тебя босс».

«Здесь не выбирают...»

«Ладно, прости».

«И ты прости».

Был конец июля.

Купил красных астр — роскошные, прямо королевские астры попались. И поехал к «Стережущему». От моего дома до памятника три трамвайных остановки.

Из клинкета — ну, из той дырки, из которой обычно течет вода на этом памятнике, — ничего, конечно, даже не сочилось: водопровод испортился. Таким образом, героические матросы затапливали свой миноносец всухую. Од-



нако народ их не забыл: и без моих астр на выступах памятника было много цветов.

Тишина летнего сквера, которую не нарушают даже гудки автомобилей и шелест их шин по асфальту Кировского проспекта.

Солнце.

Мягкие тени на ухоженных газонах.

И впервые в жизни я умудрился прочитать текст на тыльной стороне памятника:

«В ночь на 26 февраля 1904 года из Порт-Артура выслан был отряд миноносцев в море, на разведку. За ночь миноносцы разделились, и с рассветом миноносец „Стеревающий“ оказался вблизи четырех японских миноносцев, вдали были видны еще другие неприятельские суда.

„Стеревающий“ повернул в Порт-Артур, а японцы, обстреливая, преследовали его. Вскоре один из неприятельских снарядов попал в машину „Стеревающего“ и миноносец остался без движения среди врагов, осыпаясь градом снарядов. „Стеревающий“ отстреливался из своих пушек до последней возможности.

Одним из первых был смертельно ранен командир — лейтенант Сергеев. Умирая, он напомнил оставшимся матросам, какая великая слава будет для них, если они погибнут, но не позволят неприятелю овладеть миноносцем. Эти слова умирающего командира глубоко врезались в сердца матросов. Следствием их и был тот бессмертный подвиг, который совершил миноносец „Стеревающий“. Вскоре были убиты и все офицеры: лейтенант Головизнин, мичман Кудревич и инженер-механик Анастасов. Вся палуба миноносца покрылась убитыми и ранеными, которые при качке беспомощно скатывались за борт. Когда японцы спустили шлюпки, чтобы подать на „Стеревающий“ буксир и увести его, по пути ими подобраны были слабые четверо раненых, машинист 2-й статьи Василий Новиков, кочегар 1-й статьи Алексей Осинин и кочегар 2-й статьи Иван Хирицкий. По окончании войны они возвратились в Россию.

На самом „Стеревающим“ из всей команды остались в живых только два человека. Увидя приближение японцев, эти два матроса спустились вниз и, задрав за собою горловины, открыли кингстоны, чтобы утопить миноносец.

Они предпочли геройскую смерть японскому плену.

„Стерегущий“, взятый уже на буксир японцами, начал тонуть и вскоре погрузился на дно моря вместе с двумя героями».

Дальше идет список экипажа и:

«Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!»

Уже и не узнаю, почему Некрасов попросил меня возложить цветы именно к этому морскому памятнику, — ведь сам-то он дрался только на суше. В кафе «Монпарнас» почему-то постеснялся спросить. Запомнился только отрывок из нашего разговора:

— Море! Мне с детства снились море и корабли. А обратил внимание на герб Парижа? Можешь увидеть на ратуше. Парусный галион бороздит океанские волны...

— Такой сухопутный город и вдруг...

«Зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, кто прославлен!.. Не хватает смелости, что ли, умения, силы...» Это Бунин мечтает о книге без всякой внешней связи, о «книге ни о чем», вспоминая при этом Флобера, который мечтал о том же.

26 января 1920 года Бунин покидал Одессу. А в 1921 году в Париже записал в рассказе «Конец»: «Прощай, Россия, бодро сказал я себе, избегая по трапам».

Странная какая-то бодрость...

«В последней повести Вы упоминаете о соборе в память погибших моряков в Цусимском бою. Дело в том, что я был хорошо знаком с этим храмом-памятником еще задолго до его печального конца. Отец мой — к-н I ранга А. И. Лебедев — был начальником Центрального Морского архива, который в 20—30-е годы располагался в Новой Голландии, и мы жили в том же доме, где был Архив. Отец мой был участником Цусимы, прошедшим японский плен, и был постоянным посетителем храма, а с ним, вполне естественно, и дети. Мне довелось даже неоднократно подниматься на звонницу храма, помогать звонарю, пока разрешался еще благовест по праздникам. Знал я и настоятеля этого собора — Рыбакова (имени не помню), тоже участника Цусимы, с того же судна, на котором был мой отец.

Храм своей строгостью форм, отсутствием всякой мишуры и позолоты производил глубокое впечатление. Со стен над досками свешивались тронутые временем, побы-

вавшие в боях судовые знамена. А вот доски с перечнем имен погибших, помнится мне, были бронзовые. То есть основа их была мраморной, а сам перечень имен был увековечен в бронзе своеобразными аппликациями.

И еще одно врезалось в память. В заалтарном нефе была огромная (метров пяти?) мозаика по рисунку В. М. Васнецова „Хождение Христа по водам“. Это было великолепнейшее произведение. Бушующие у ног Христа волны покоряли зрителя своей мощью. Все это кануло в Лету... В храме ведь почти не было образов — только справа и слева от царских врат, — благодаря чему еще рельефнее вырисовывалась фигура Христа. Вообще ведь архитектура храма-памятника была истинно русская, близкая храму на реке Нерли.

После взрыва, который пытались предотвратить прихожане, то есть моряки-цусимцы, и те вдовы, о которых пишете Вы, телеграфируя в Москву, но, увы, тщетно; мы ходили на пепелище, и я лично видел огромную глыбу так называемого пудожского камня, из которого был сооружен храм, где сохранилась мозаика головы Христа с традиционным нимбом над ней. Помнится, старушки-вдовы говорили об этом как о „чуде“. Ну, это к делу не относится, вроде бы мелочь, однако все события, связанные с храмом-памятником, свежи в памяти. А уничтожение васнецовской мозаики наравне с памятными досками, а может быть, и со знаменами — не знаю, — это вопиющее варварство. *Лебедев Гавриил Александрович*.

И как это памятник «Стерегущему» уцелел? Надо бы и его за компанию! И Александровский столп — все-таки на верхушке ангел с крестом и крыльями. То-то бы высоко этот ангел воспарил, кабы под столп тонну-две нитролуола...

Виктор Платонович Некрасов умер 3 сентября 1987 года в парижской больнице от рака легких.

Успел я с цветочками «Стерегущему» — слава тебе господи!

## СМЕРТЬ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

В октябре я выступал в Ленинградском лектории и рассказал о нашей последней с Некрасовым встрече. Вскоре позвонил один из слушателей, представился детским другом Виктора Платоновича и одним из соавторов его мальчишеского журнала. Я попросил о встрече.

Но Александр Борисович Воловик уезжал на побывку в свой родной Киев, и мы перенесли свидание на следующий месяц.

Конечно, сунул нос в единственную сохранившуюся у меня книгу Некрасова «В жизни и письмах». На странице десятой прочитал о еженедельном журнале «Зуав»: «Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное».

Сразу вспомнился Фарбер из книги «В окопах Сталинграда» и тот Фарбер, которого в кино играл Смоктуновский, и как этот очкарик Смоктуновский входит в блиндаж, на пороге которого лежит убитый; и как Кеша Смоктуновский очень интеллигентно перекладывает ногу убитого, освобождая проход...

С сотрудником «Зуава» мы после неоднократных перезваниваний договорились встретиться 25 ноября у меня дома в 14.00.

Александр Борисович опоздал на тридцать пять минут. Я уже было думал, он не придет, испугается сильного гололеда: была тоскливая ноябрьская ленинградская оттепель.

Первой фразой Воловика было:

— Простите, не буду снимать обувь, — ботинки новые, тесные.

Такие мелочи меня не беспокоят. А настроение у Александра Борисовича было хорошее, шутовское, даже озорное. Объяснил, что удрал из-под каблука супруги, ибо через четыре дня у него день рождения и дома полным ходом идут приготовления.

Главное, что бросилось в глаза, — это полнейшая внешняя непохожесть детского дружка Некрасова на самого Виктора Платоновича. Гость был мужчина чуть ниже среднего роста, плотной комплекции, со значком ветерана-строителя на лацкане пиджака.

Я предложил чай-кофе, но гость от всего отказался и в прямом смысле слова набросился с расспросами о Некрасове. Мне же уже давно надоело вспоминать для бессчетного количества слушателей о наших парижских встречах — тем более предстояло о них писать, а каждый знает, как опасно забалтывать будущую писанину.

Александр Борисович принес с собой старомодный пухлый портфель с тремя отделениями. И выложил на столик бесценные сокровища: это были самые первые номера «Зуава», о которых мечтал незадолго до смерти

Некрасов; были ксерокопии других номеров их журнала, присланные Воловику Некрасовым из Парижа; были письма еще доэмигрантских времен и переписка самых последних месяцев; были фото разных годов. Короче говоря, глаза разбегались.

Но в первую очередь следовало расспросить гостя о нем самом, его военном прошлом и выудить какие-нибудь детали из совместного с Некрасовым детства. Однако Александр Борисович о себе рассказывать категорически не хотел, от самотемы увиливал гениально. Зато очень художественно рассказал, как выполнил посмертную просьбу Виктора Платоновича и навестил могилу его матери на Байковом кладбище в Киеве. Найти могилу было трудно, ибо для этого следовало сперва найти какую-то киевскую письменницу, а застать ее дома никак не удавалось.

Затем он собственноручно нарисовал план могил — сделал это с инженерной четкостью, — оказался строителем мостов.

Бабушка — Мотовилова Алина Антоновна — родилась 7.5.1857 г., умерла 28.3.1943 г.

Тетя Соня — София Николаевна Мотовилова — умерла 28.2.1966 г.

Мама — Некрасова Зинаида Николаевна — умерла 7.10.1970 г.

Все трое похоронены на Байковом кладбище в Киеве. На могиле бабушки — белый мраморный крест, на могилах Софии Николаевны и Зинаиды Николаевны — дерновые холмики. После смерти В. П. Некрасова на могилу его матери несколько дней киевляне приносили цветы.

Александр Борисович посетил могилы 7.10.1987 г. — случайно вышло так, что он пришел к Зинаиде Николаевне в день годовщины ее смерти. Этот факт на Александра Борисовича очень большое произвел впечатление.

Практически, кроме кладбищенского рассказа и того, что Александр Борисович проработал в одном институте ровно пятьдесят лет, я от него ничего и не успел узнать.

Возможно, здесь сыграло роль то, что, как много раз уже объяснял, я не умею расспрашивать людей о них самих. И когда почувствовал под пиджаком Александра Борисовича пуленепробиваемый жилет, то отказался от всяких попыток.

Решили почитать письма Виктора Платоновича.

Здесь Воловик объяснил, что их переписка возникла всего год тому назад, ибо Некрасов, очевидно, боясь при-

нести неприятности своему дружку, упорно не сообщал ему свой парижский адрес. И узнал Александр Борисович адрес окольным путем и сразу отписал.

«12.12.86. Шура, Шурка, дорогой мой Воловичок! Вот уж не ждал! Вот обрадовал! Вынул из ящика конверт, вижу, что из Союза, решил, что от моих ленинградских „девушек“, и сунул в карман. Вечером, сидя в кафе за кружечкой пива, обнаружил его в этом кармане и... Ну, дальше сам можешь догадаться...

Значит, жив-здоров, естественно, на пенсии (а я-то, грешным делом, думал, что перебрасываешь по-прежнему мосты через Неву и всякие там Иртыши...), да к тому же встречаешься и с Капами, Лельками, Борьками и прочими... Этому завидую! Всем им привет, новогодние пожелания и... мой адрес. А Аня и Саша? Что, где и как они?

Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя на носу очки, а во рту что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, произношу, а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, Австралия, Бразилия, естественно, США, включая Гавайи. Прилагаемая фотография, кстати, изображает меня в Токио. С еще большим удовольствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев... Впрочем, судя по фотографиям и альбомам (а у меня их много), лучше и краше от всяких архитектурных и скульптурных излишеств он не стал...

Тронут твоим желанием посетить мамину могилку на Байковом кладбище. Но так ты ее не найдешь. Позвони в Киев по телефону, там одна письменница проживает, она охотно будет твоим гидом.

За сим, дорогой мой Шура, объятия и поцелуй тебе и Гизе! Хотя у тебя и много всяких дел, пиши. Вика».

«2.2.87 (получено 21.01.87). Дорогой Шура, посылаю тебе фотокопии нашего с тобой „Зуава“. (Куда делись „Ночные разбойники“ — ума не приложу.) Сделал и цветные фотографии, но проявлять отдам, когда закончится пленка. Также пришлю. Все же раритет... Если тебе удастся сделать нечто подобное с твоими номерами — радости моей не будет конца. Будете у Борьки — самый горячий ему привет. Пусть и он раскачается и черкнет несколько слов. Ведь нам вместе вроде уже крепко за двести!!!

А не загадываешь ли ты в период нынешних перестроек, демократизаций и либерализаций — сигануть не

только на Кавказ, а, допустим, в славный наш город Париж, который действительно стоит обедни...

О получении „Зуава“ сразу же напиши. Твое письмо шло 5 дней — с 27.01 по 2.02. Прогресс!..»

На этом интересном месте раздался междугородный телефонный звонок. Звонила из Москвы Кацева — переводчица Кафки, Бёлля и Макса Фриша, с последним она познакомила меня в Ленинграде прошлой зимой. С Евгенией Александровной Кацевой мы придумали некую игру. В войну она была в морской пехоте в звании старшины II статьи. И когда звонит, представляется по форме: «Капитан, разрешите обратиться? Докладывает старшина второй статьи! Разрешите продолжать!..»

Звонила Евгения Александровна, ибо только что получила письмо от Фриша из Цюриха. Макс не работал, он хандрил, пил свою швейцарскую водку, мечтал скорее приехать в Союз.

— Вы помните, что для Фриша значит, когда его покидает работа? Ну, из «Первого дневника»?

Я, конечно, не помнил, хотя Фриш мне чрезвычайно, даже до некоторого суеверного страха близок, иногда даже текстуальными совпадениями в своих вечно фрагментарных рассуждениях.

— Работа,— объяснила Женя,— это единственное, что избавляет Макса от ужаса, когда он внезапно, беззащитный в своей нейтральной Швейцарии, просыпается среди ночи или ранним утром. Сразу же посмотрите сто тридцатую страницу «Листков из вещевого мешка».

— Сейчас посмотрю,— сказал я.— А пока угадайте, кто сидит у меня в гостях?

Я знал, что Евгения Александровна была в приятельских отношениях с Некрасовым и никогда не пыталась забыть его, ибо нельзя работать над Бёллем или Фришем, не держа в уме, в воображении прозу Некрасова. И я знал, что старшина II статьи обрадуется, узнав, что у меня в гостях сидит жив-живехонек друг Виктора Платоновича. А передо мной на столе детские журналы Вики, фотографии, письма к Воловику.

Ну, она конечно: «Ох и ах!». Затем рассказала о неизвестном мне факте. Оказывается, за двое суток до смерти Некрасову прочитали заключительные строки из выступления Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где Кондратьев заявил на весь мир, что «Окопы» остаются нашей лучшей книгой о войне. И Некрасов — он был еще в сознании — просил дважды перечи-

тать ему эти строки. Так что умер, зная, что Родина его помнит. Евгения Александровна попросила меня пересказать этот факт Александру Борисовичу, подчеркнув, что это не легенда, что знает она об этом из первоисточника.

Я, конечно, передал. Правда, ни о Бёлле, ни о Фрише Александр Борисович слыхом не слыхивал: технарь-строитель мостов через всякие знаменитые реки, но без знакомства с мировой литературой. А я-то сразу сунул ему «Листки из вещевого мешка», дабы похвастаться автографом Фриша, где он желает мне счастья на море, за письменным столом и повсюду. Но никакого впечатления на моего гостя автограф знаменитого прозаика не произвел, хотя в письме Некрасова, которое открытым лежало на столике между нами, Виктор Платонович отмечает, что в детстве Воловик подавал блестящие беллетристические надежды: «Помнишь твою захватывающую „Тайну бандитов“, которая заканчивается, на мой взгляд, динамично: «„Геркулес“ догнал „Баторию“ и всадил ей в борт стальной таран, находившийся на носу корабля (продолжение следует)». Как видишь, ты, Шурка, определенно подавал надежды,— пишет Некрасов.— Но где же продолжение „Бандитской тайны“?»

Присланные тобою фото возвращаю».

— Эти фото я ему посылал,— объяснял Александр Борисович.— Наши фото конца шестидесятых. А он вот вернул: оказывается, они у него есть. Ему, знаете, разрешили все-все с собой вывезти — удивительно... Простите, мне что-то дышать трудно. Я встану, пожалуй...

Он встал со стула, я продолжал читать очередное письмо Некрасова вслух:

— «Середина июня, а ходим все в кожаных куртках. Дожди. Говно. На юг не поехал. Пляжа нет. А что без пляжа там делать? Как там у вас теперь с водкой? Говорят, легче стало. Впрочем, я сим сейчас не интересуюсь...»

— Странное состояние,— прервал меня Александр Борисович.— Никогда такого не было. Дышать трудно, и чуть голова кружится.

Он сказал это со спокойным удивлением.

Чего особенного? Разволновался человек от воспоминаний.

Я открыл форточку. На улице было около нуля, из форточки потянуло ленинградской стылой сыростью.

— Гололед,— сказал Александр Борисович.— Ужасный гололед. И курю много. Вот и дышится...



За время нашей встречи он выкурил две полсигареты через мундштук.

— Виктор Платонович смолил почище вас,— сказал я.

— Гололед,— повторил Александр Борисович.— От метро пешком шел, и еще лифт у вас барахлит. Пешком поднимался...

Этот лифт угробил и мою мать, и еще трех пожилых людей на площадке, и я со своим инфарктом пешочком с шестого этажа шлепал в реанимацию: не дашь же санитаркам тащить себя на носилках через шесть пролетов...

— Как у вас сердце? — спросил я. Его лицо начинало мне не нравиться.

— Никаких плохих ощущений.

— А раньше что было с сердечком?

— Нет. И на пенсии недавно — четыре года как бездельничаю.

Я все-таки усадил его обратно на стул и посчитал пульс. Рука у Александра Борисовича была полная, но плотная, пульс я нашел без особого труда. Он оказался мне нитевидным, хотя я толком не знаю, что за таким словом стоит. Удары считал по часам: тридцать секунд — сорок пульсаций.

— Оно у вас работает, как у космонавта,— сказал я, зная, как важны подобные комплименты, когда человеку становится плоховато.

— Да, это не сердце,— сказал он.— Дышать трудно. Странное ощущение...

— Идемте-ка в кухню. Посидите у дверей на балкон. Я балкон на зиму еще не забаррикадировал.

Мы пошли на кухню. Поддерживать себя за локоть Александр Борисович не дал и за стенку не придерживался, хотя шел неуверенно. Я открыл балконную дверь и посадил его перед ней на стул. Одной рукой он оперся на стол, но сидел прямо. А в меня потихоньку стал заползать страх: цвет лица не нравился. Я накапал кордиамин, валерианы и дал ему. Он выпил очень послушно. Это тоже не понравилось. Мужики часто отмахиваются от всяких разных капель.

— Нашатырь хотите?

— Не знаю, странно это... Вызовите такси, пожалуйста. Домой поеду.

До такси дозвонился быстро, но пообещали только в течение двух часов: «Не занимайте телефон — позвонят в любую минуту».

Какая сволочь, гнида и падла выдумала эти «два часа»? Какая гнусность вокруг! Вот вам: десять лет не работает на шестой этаж лифт... И — бейся башкой в стену, ори, задыхайся от бессильной ненависти... — называется мелочи жизни. И смерти — добавлю не ради красного словца.

— Попробуйте-ка лечь, — сказал я. — Здесь простудитесь.

Балкон был засыпан снегом, сильно сквозило сырым холодом.

— Вам ни капельки не лучше?

— Нет.

Я дал ему понюхать нашатырь. Довольно настойчиво это сделал.

— Дошло?

— Да, спасибо.

Я повел его назад в комнату. Но мою поддерживающую руку он вытерпел, только пока я помогал ему встать со стула, затем пошел самостоятельно. У дивана сказал:

— Ботинки новые. Вы уж простите, сидят туго, снимать не буду.

Когда лег:

— Лежать хуже.

И попытался сесть. Я снял с него галстук и расстегнул ворот рубашки.

— Все-таки сердце болит или нет?

— Нет.

Вот положение: вызвать «неотложку» — придется говорить при нем, а он в полном сознании. Услышит — добавочная психическая нагрузка: 1) значит, с ним очень плохо; 2) он в чужом доме — неприятности незнакомому хозяину; 3) увезут в больницу, а жена?..

Но он мне слишком уж не нравился. Главное — никакого улучшения самочувствия и плохой цвет лица. Однако никаких жалоб на сердце и никакого заметного страха, а страх при всяком сердечном приступе сильно обостряется. Даже руку к сердцу и вообще к груди не тянет. Шла двадцатая минута. Надо было решаться.

— Я вызываю неотложную, — сказал я.

Он послушно промолчал. И это было плохо.

«03» ответила сразу, но минут десять — пятнадцать спрашивали обо мне, моем больном и чем он раньше болел с детства. А я пятнадцать минут объяснял, что первый раз человека вижу, что ему семьдесят семь лет и ему очень странно плохо. Наконец пообещали.

Тут только я сообразил, что еще нет 17 часов и внизу работает литфондовская поликлиника. Набрал регистра-туру и попросил послать ко мне терапевта — бегом, ибо у меня стало плохо гостю, которому под восемьдесят лет.

— Сердце?

— На сердце он не жалуется.

— Сейчас скажу.

Александр Борисович про такси и дом напоминать перестал, мои разговоры выслушивал равнодушно. И это испугало уже до трясуну в руках. Я подсел к нему и гладил по колену, повторяя: «Сейчас будет доктор, сейчас будет доктор...»

— А лежать все-таки хуже,— сказал он довольно отчетливо. Но дыхание делалось хриплым.

Я стащил с него пиджак со знаком ветерана-строите-ля на лацкане.

Врача не было.

Так прошло пять минут.

Я опять набрал номер нашей поликлиники.

— У терапевта пациент,— сказали из регистратуры.

Тут я выругался по-некрасовски: «Пускай бросит все и бегом сюда! И сестру со шприцем!» И бросил трубку.

Полное бессилие. Говорить Александр Борисович перестал, но глаза были открыты. Взгляд спокойный и успокаивающий меня. Дыхание со- все более заметным хрипом в конце выдоха. Цвет лица землистый, и губы начинают бледнеть. И проклятый лифт не работает. Но врачи-то об этом не знают. Если попробуют в него за-браться, то застрянут.

И через каждую минуту я бросал Александра Бори-совича одного на диване и бежал на балкон, смотрел вниз во двор, затем бежал на лестничную площадку и орал в гулкую пустоту узкого пролета: «Лифт не рабо-тает! Сюда! Сюда, выше!»

Затем возвращался к Александру Борисовичу.

— Стран-н-о-е со-с-то-я-ни-е... Никогда так... Никог-да так...

Наконец вбежала Гита Яковлевна — наша врачиха. Я сидел на диване у изголовья Александра Борисовича и гладил ему лоб. Глаза он закрыл.

— Все,— сказала Гита Яковлевна прямо с порога.

— Что «все»?

— Все, Виктор Викторович.

Вошла еще одна женщина в халате — я принял ее за сестру из поликлиники,— стала обламывать ампулы.

Гита велела вызвать реанимационную бригаду:

— Дозвонитесь, а говорить я буду сама. Но все это пустое.

— А массаж? И прочие ваши штуки? Минуту назад он разговаривал.

— А я вам говорю: «Все!»

Я набрал «03» и передал ей трубку.

— Суньте ему нитроглицерин, есть у вас? — сказала Гита и властно распорядилась по телефону о реанимационной бригаде.

Зубы у Александра Борисовича были сжаты. Я сунул ему по одной таблетке под нижнюю и верхнюю губу.

Незнакомая женщина, которая оказалась врачом неотложной помощи, накладывала жгут для укола, руки у нее тряслись.

— Кто у него родственники? — спросила Гита.

— Понятия не имею. Это детский друг Виктора Некрасова. Я вижу его первый раз в жизни.

— И последний,— сказала Гита.— Бедный вы, бедный, примите сами сердечное.

Через сколько времени приехали реаниматоры, я не засекаю. Он и она. В один голос спросили:

— Зачем нас вызвали, если тут все ясно?

— Для порядка,— хладнокровно сказала Гита.

— Кто он?

— Лучше познакомьтесь с хозяином квартиры,— сказала Гита.— А покойный — друг Виктора Некрасова, только вы про такого никогда не слышали.

— Нет, слышала,— сказала молодая женщина-реаниматор.— Некрасов был хороший писатель, хотя я его ничего не читала.

— Тогда простите,— сказала Гита.

Ну что ж, Виктор Платонович, как видишь, тебя здесь знают и молодые, хотя и не читали ни одной твоей строки.

Реаниматоры уехали, дав мне успокаивающий коктейль; ушла в поликлинику продолжать прием Гита. Со мной и Александром Борисовичем осталась врач из «неотложки». Ее звали Мариной. Она вызвала милицию и принялась оформлять бумаги.

Александр Борисович лежал на диване — спокойный, с закрытыми глазами, челюсть стала отвисать. Я потрогал его руку. Тело едва заметно, но уже остывало.

— Надо бы подвязать,— сказал я врачу.— И я, пожалуй, накрою его.

— Нельзя. До приезда милиции ничего нельзя трогать. Отсыдьте. Какие у него документы?

Я обыскал пиджак. В бумажнике был паспорт и много разных удостоверений, включая участника Великой Отечественной войны. Была еще записная книжка и... нитроглицерин.

— От чего он умер?

— Острая сердечная недостаточность. Какие у вас красивые картинки висят. И вообще у вас очень уютно,— сказала врачиха.

Хорошенький уют, когда на твоём спальном месте лежит человек, который еще какие-то тридцать минут назад с тобой разговаривал о друге детства, эмигранте Вике Некрасове и подарил тебе фотографию, где оба они молодые, тридцатилетние, наверное, сидят рядком и по какому-то поводу неистово хохочут.

Надписать фотографию Александр Борисович не успел. Это пришлось сделать мне: «А. Б. Воловик хотел подписать мне эту фотографию. Это было за 40 минут до его кончины. Пришел в 14.30 25-го ноября 87 г. Умер в 17.00. (Хотел оставить мне „Зуавов“ и „Маяк“.) В. К.»

— Ох, писанины сколько... И вообще-то много, а случаи «смерть в чужой квартире» — особенно,— посетовала Марина.

Я закрыл форточку и сел читать «Зуава». Скажете: бесчувственный?

А я и сам не знаю, что со мной в данном случае было. Я не чувствовал рядом покойника. У меня даже малейшего страха или нежелания смотреть в лицо Александра Борисовича не было. Только как-то привычно и заученно мелькала и мелькала мысль о той невероятно тонкой, прозрачной пленке, которая отделяет живое от неживого.

Впервые эта мысль с абсолютной ясностью пришла в реанимационном отделении больницы имени Ленина. В сущности, два этих состояния в каждом из нас сосуществуют с самого рождения. И болеть не надо. Выпал из колыбельки, стукнулся мягким еще мозжечком — и все, мат, аут. Или пуля-дура. Или кирпич с карниза охраняемого государством памятника...

Самым тягостным, даже ужасным было представить себе родственников: как, кому, когда сообщать о случившемся? А вдруг жена сама сердечница? И жахнуть ей такое по телефону? Ушел человек, улизнул под благовидным предлогом от домашних предъюбилейных забот и хлопот и...

Так вот, чтобы не мучиться этими пока неразрешимыми проблемами, я и отвлекал себя чтением «Зуава» № 1. А в нем сочинение двенадцатилетнего киевского школьника Шурки Воловика «Приключения и путешествия Фрикэ Мегире»:

«На большой пассажирской пристани большого французского города Бордо топталась масса народу, около большого корабля. Корабль был трехмачтовый голет под названием „Республика“, который должен был сейчас выйти в море по направлению к Южной Америке. На палубу голета взошел один мальчик, с двумя мужчинами. Фрикэ Мегире, так звали мальчика, был француз из Парижа, который страшно любил. Другой был его дядя Андрэ Варон из Орлеана. Он был военный инженер. Третий был провансалец, старый морской волк Пьер де Гал, колоссального роста и сильный, как бык. Корабль отчалил, и мои путешественники послали последнее прости родному городу. Фрикэ уже не в первый раз плавал по морю и поэтому очень любил море.

Он целыми днями стоял у борта и смотрел на волны, которые поднимались и с шумом падали вниз. Через несколько времени они пристали к Островам Зеленого Мыса. Там с Фрикэ случилось маленькое происшествие. Он решил полезть на мачту, чтобы оттуда осмотреть окрестности. В одну минуту он влез на мачту, хотел схватить флюгер, как вдруг мачта под ним подломилась и он полетел стремглав вниз. Он бы, наверное, разбился о палубу, если бы не боцман Жан Белюш, схвативший его. Из-за сильного размаха он потерял сознание. Андрэ и Пьер очень испугались за рассудок Фрикэ.

Но Фрикэ, который был очень здоровый, через 1/4 часа уже гулял по палубе.

Постояв немного у берега, они поплыли к мысу Горн, который, как известно, находится на Огненной Земле. В время этого путешествия ничего особенного не произошло. Там, в городе Утувия, в Чили, они высадились. Капитан попрощался с Фрикэ, Андрэ, Пьером и Белюшем, который не хотел расставаться с Фрикэ, которому спас жизнь. Жан Белюш был бретонец и был отважный море-

плаватель. Через несколько дней они переехали Магелланов пролив и очутились в Аргентине. Они в дилижансе ехали в Пампасах, высадились в городе Патагонесе и пешком отправились к реке Колорадо, у которой и остановились и раскинули палатку. Оставив на хозяйство Пьера, Фрикэ, Белюш и Андрэ пошли на охоту. Долго они шли между высокой травой, как вдруг услышали рев, и откуда ни возьмись на них прыгнул огромный ягуар-людоед. Фрикэ не растерялся и выстрелил в ягуара, но промахнулся, и ягуар, еще больше освирепевший, кинулся на Фрикэ, но Фрикэ бросил в открытую пасть ягуара свою винтовку. Пока ягуар грыз винтовку, Белюш выстрелил и убил ягуара наповал. Вдруг из высокой травы выскочило несколько индейцев, растатуированные, размахивающие томагавками и ружьями, и связали трех охотников по рукам и ногам (продолжение следует). А. Воловик».

Здесь следует иллюстрация, на которой индейцы выскакивают из высокой травы, один из индейцев нацеливается кинжалом в зад стоящего на четвереньках француза. Подпись: «...из высокой травы выскочили индейцы... (рис. В. Некрасова)».

Закончив оформление «случая смерти в чужой квартире», Марина — думаю, с благой целью развлечь меня — принялась рассказывать истории почище, нежели у Фрикэ Мегирé. О том, например, как только что помер у нее сорокалетний мужчина, когда ему стало уже хорошо и блаженно после укола, а он тут взял да помер. А вот еще у нее такой был случай... А вот еще этакий...

Я вытерпел около часа. Наконец поинтересовался:

— Где же милиция? А ежели здесь убийство произошло? Они так же вот спешают?

— Приедут, приедут, не беспокойтесь,— сказала врачиха.— А вот мне... конечно, для проформы, но нам положено: вы с ним здесь ничего не употребляли? — так ответила она вопросом на мой вопрос о милиции.

— Да что ж вы, сами не видите? Или у вас обоняние отсутствует? — спросил я.

На телевизоре стояло блюдо с виноградом и чайные чашки. Честно говоря, мысль о спиртном перед визитом Александра Борисовича у меня появлялась. Ежели, рассуждал я, Виктор Платонович по этой части такой мастак был, то и его дружок, скорее всего, яблоко от яблони... Но, к величайшему счастью, какое только выпадало в моей грешной жизни, в данном случае победили лень

и тромб в ноге: за спиртным я не поплелся. Решил, что семидесятилетнему Шурке более подойдет чай или кофе.

— Да вы не обижайтесь,— сказала Марина.— Так уж нам нынче положено — спрашивать. Специальный пункт есть.

— Нет, алкоголя не было. Предлагал ему чай или кофе, но он попросил сперва немного поболтать. Не терпелось ему расспросить о дружке, которого я сравнительно недавно видел.

— А вот если б он кофе выпил,— еказала врачиха,— то, быть может, ничего бы и не случилось...

Господи! От чего же наша грешная жизнь зависит? (Потом, уже от вдовы Александра Борисовича, я узнал, что перед уходом из дому он выпил кофе. Так что в этом вопросе Марина оказалась не права.)

Милиция — майор участковый из соседнего отделения прибыл через два с половиной часа.

К телу он даже не приблизился — хватило одного взгляда. И сразу сел писать свою милицейскую писанину.

К этому времени лицо покойного заметно изменилось, но выражение оставалось спокойным, а глаза не открылись.

Марина наконец подвязала ему бинтом челюсть и спеленала руки на груди. Затем они с милиционером обменялись какими-то документами, и она ушла. Я укрыл тело простыней.

К счастью, скоро вернулась Гита — ее рабочий день в поликлинике закончился. Я откровенно сказал, что боюсь звонить родственникам. Для врачихи это должно быть более привычным делом...

Трубку взяла жена. Сперва Гита сказала, что Александр Борисович отправлен в больницу в безнадежном состоянии, затем сказала правду. Потом трубку пришлось взять мне.

Я сказал, что все вещи у меня. Женский голос сказал, что в заднем кармане брюк у Александра Борисовича какое-то удостоверение. И здесь я ляпнул, что сразу же его вынул. А ведь раньше-то было сказано, что тело уже увезли, и был даже назван морг судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, вдова была в таком же шоке и трансе, что ничего еще толком не могла сообразить, и потому спрашивала и вообще говорила какую-то чушь.

Гита ушла домой к больному мужу, подписав милицейские протоколы. Я подписал их еще раньше.



26.12.87 г. 09.50.

Жутковато, но что поделаешь? Сажу на диване, где умер Александр Борисович. Достаяю из его старенького, дешевенького портфеля с тремя отделениями папку с фото и письмами. Надо торопиться: родственники непредсказуемы — могут отобрать документы. Четкий, размашистый почерк Некрасова:

«11.01.60. Дорогие Шура и Гиза! Нет, мы не негодяи, мы просто ленивы. А о вас мы всегда помним и любим по-прежнему. Только вот нет теперь предлогов для поездок в Ленинград. А вы почему-то забыли и Киев, Корастышев, и вообще нэньку-Украину. А жизнь идет помаленьку. Через неделю собираемся с мамой, как и в прошлом и в позапрошлом году, под Москву, в Малеевку — подышать лесным, зимним воздухом, посмотреть на снег, походить на лыжах, а заодно и поработать — там это куда продуктивнее получается, чем в Киеве.

Похвастаться объемом написанного в этом году никак не могу. Последняя небольшая вещь была напечатана в № 12 „Нового мира“. Называется „Три встречи“ — это о Валёге — в жизни, книге и кино. А сейчас кончил рассказ, начатый еще в... 1949 г. Увы, обратно, про войну. Послал в „Новый мир“. Ответа еще нет...»

По радио сей миг: «Министр иностранных дел Чехословакии Богуслав Хнёупек горячо приветствует предстоящее подписание соглашения по ракетам средней дальности...»

«...А в конце января должны выйти наконец отдельным изданием итальянские записки „с иллюстрациями и фотографиями автора“. Ловите!»

Майор-участковый сказал, когда я укрыв тело чистой и новой простыней:

— Положите старую. Эта пропадет.

— Чего ж я буду простыню жалеть?

— Когда приедут за телом, еще одну попросят.

— Ну и что?

— Так эти перевозчики простыни реквизируют — в морг без простыней берут.

— Ну и что? Что ж, я его на грязных тряпках из своего дома дам выносить?

— Ваше дело. Мое дело — предупредить.

И уже проходя через переднюю мимо столика:

— И почему у вас здесь деньги валяются?

На столике лежало двадцать пять рублей. Там у меня всегда деньги лежат.

— Уберите-ка деньги отсюда. Валяются вот так. Пропадут, а потом на милицию катят.

— Хорошо. Уберу. Спасибо вам за все.

— Ну, что вы — не за что! Сами не болейте!

— Спасибо.

Так все потом и было: попросили вторую простыню, чтобы положить на нее тело. Расстелили на полу, перенесли Александра Борисовича с дивана, завязали простыни углами в головах и ногах. Очень заботливо продиктовали адрес похоронного магазина, который приписан к моргу: улица Достоевского, девять, возле Кузнечного рынка. Я записал. Предупредили еще: чтобы родственники, когда поедут в контору морга, не забыли свои паспорта. (Имя Достоевского тут к месту прозвучало!)

— Ты, Ваня, торшер сдвинь, чтобы ногами вперед развернуть,— сказал старший.

Шапки сняли оба, когда вошли.

Надели, когда уже подхватили белый кокон.

За все такие трогательные любезности четвертной, убереженный мильтоном, перекочевал в их карманы. Такая подачка, судя по новому взрыву информационных и утешительных слов, была для них сюрпризом.

Носилки ждали на площадке лестницы.

— Лифт не работает?

— Да. Уж извините.

— Ничего-ничего! Ваня, лямки туже затягивай, чтобы он не съехал.

«6.11.65. Дорогой Шура! Только что вернулся из Москвы. Пропихивал в „Новый мир“ свой новый „ор“. Рассказы. Вроде как о Камчатке и в то же время не только о ней. Все делается со скрипом. Все всего боятся, осторожничают... Первый этап — редакцию — вроде как преодолел. Но впереди еще множество Сцилл и Харибд... Пока не получишь в руки экземпляр журнала, ни во что не веришь.

Такое время...

А мост твой видал на фотографии. Великолепен... Но почему вы не делаете таких, как в Сан-Франциско?

Обнимаю и целую. Привет большой от меня и мамы Гизе. Твой Вика».

Когда уходила врачиха «неотложки», я поинтересовался, сколько ждать спецтранспорт?

— Часа два.

Не успела закрыться за ней дверь, как милиционер сказал:

— Ненаучная фантастика, хозяин. Часикам к четырем утра ждите. В лучшем случае. Кажется, они сейчас за город рейс делают.

— Да вы что?!

— А ничего. Тут вам надо большой блат иметь. Не на районном уровне. Тут, если у вас кто в Смольном работает, может, и помогут. Ниже не пройдет. Погода плохая, гололед, сердечники мрут по всему городу, как мухи. Запарка, короче говоря.

Так вот я и остался с Александром Борисовичем опять накоротке. Ходил из угла в угол по диагонали комнаты — извечная штурманская привычка. И от всей души поносил родную советскую власть.

Зря поносил. Спецтранспорт прибыл в 21.30, а не в четыре утра.

Оказалось, сработало мое писательское имя — Марина поднажала по своей линии. Так что определенные выгоды в нашей профессии есть.

Из книги В. П. Некрасова «Маленькая печальная повесть»: «Сегодня воскресенье, а в среду, 12 сентября, минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки — началась новая, совсем непохожая на прожитую, жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это дружба. Особенно, когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — дружба... Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, пройдено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуранных чертежках, в окопах пол-

ного и неполного профиля и в забегаловках и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду...

И это „отвечать не буду“, эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней под левой подмышкой: „Поздравляю!“ и без обратного адреса опустит где-нибудь на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... Во всяком случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану...

И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двое других из этой тройцы разделяет только Атлантический океан... Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное, что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной. Аминь».

28.11.87 г. 14.10. Не отпускает меня милиция. Сей миг звонил участковый. Ему надо номер свидетельства о смерти и диагноз, который поставили гражданину Воловкову.

— Гражданину Воловику. Официального диагноза у меня нет. Документы получили и оформляли родственники. У них и спрашивайте.

— Вы у них были?

— Да. Был. Отвозил вещи, они получили справку об отсутствии телесных повреждений.

— Это у меня в акте есть. Мне номер свидетельства. И диагноз. У вас их телефон есть?

— Есть, но нельзя ли потянуть резину? Хотя бы после кремации позвоните! Это же опять удар и потрясение для его родных.

— А когда похороны?

— Кремация в понедельник после полудня.

Он подумал, вздохнул:

— Не получается. Мне надо документы сдать до понедельника.

Явно врал — отделаться поскорее хочет.

Я продиктовал телефон. Он заверил, что постарается «осторожнее».

Из журнала «Зуав», который из патриотических побуждений потом был переименован в «Маяк». 1923 год. Киев.

«ЗУАВ. В 1831 году Франция завоевала Алжир и образовала для себя колониальную армию из туземцев. Французы набрали себе солдат из племени зуауа — кабилы. Это были очень отважные воины. Раньше зуавы состояли из туземцев, а теперь состоят исключительно из французов, хотя костюмы остались арабские. А именно: красная феска с синей кистью, синяя туника, на груди с узорами, красный широкий пояс, а поверх обыкновенный кожаный, красные шальвары и сапоги. Зуавов было 4 полка, которые разделяются по цвету овалов (узоров) на тунике. В первом полку середина овала красная, во втором — белая, в третьем — желтая и в четвертом — синяя (цвет туники). Зуавы обыкновенно храбрые солдаты. В известных битвах на р. Альме и в Палестро они были победителями. В 1871 году зуавы дрались как львы и этим, хоть немножко, помогли Франции. „Родственные“ зуавам солдаты это тюркосы (тюркосы — колониальные французские войска) или алжирские стрелки. Они только не белые, а черные (колониальные). Форма у них одна и та же. Это отчаянные храбрецы. Они смело идут в штыки, и случаи, где бы их победили, были очень редки. Во время мировой войны тюркосы наводили на немцев неопишущий ужас. И если говорили, что идут тюркосы, то немцы уже, наверное, знали, что им не одолеть тюркосов. В. Некрасов.

## ПО БЕЛУ СВЕТУ

На маневрах были спущены в воду в Нью-Йорке суда, управляемые с берега. Они управляются по средству воздушных волн Герца. Когда другие броненосцы стали обстреливать их, то они не поврежденные ушли из-под выстрелов.

## КИТАЙСКИЙ ГИМН

Китайский национальный гимн так просторен, что спеть его с начала до конца можно лишь в 8 часов».

Далее изображен чертеж ракетного снаряда и рисунки гранат: 1. Французская «брослетная» граната. 2. Германская «палочная» граната. 3. Граната из консервной банки. 4. «Хвостатая» граната (хвост выравнивает направление полета). 5. Французская ракетная граната.

На этом кончается «Зуав» № 1. Во всяком случае, на этом кончается тот «Зуав», который был у меня в руках.

29.11.87 г. 18.00. Позвонила Гиза — Гизель Марковна, теперь уже вдова Александра Борисовича Воловика, уточнила время кремации: завтра, в понедельник, 30-го, в 15.15, Большой зал.

Конечно, странновато все это, нереально как-то. Но за все на этом свете надо платить. За литературу втридорога.

30.11.87. В 08.30 заказал такси для поездки в крематорий. Цветы для Александра Борисовича — белые и розовые хризантемы — уже стоят напротив меня и скромно, потупленно молчат. Хризантемам через шесть часов предстоит сгореть.

Хотя, говорят, в крематории не только выдирают золотые зубы, но и цветочки совершают торговый оборот из гроба к шикарным вестибюлям метрополитена.

Читаю фантазмагорию Некрасова о его встрече со Сталиным. Как они с другом всех народов два дня водку пьют. И до того Сталин допился, что понес всю еврейскую половину человечества. И тут капитан Некрасов решил рвануть на Голгофу за угнетенный народ:

«— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?

— Эйнштейн не знаю, а Каганович да!

Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.

— Скажи, Никита, Лазарь вор?

Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.

— Вор или не вор, говори!

Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот он размахнется и ударит его.

— Говори!

Но Никита не в силах был выдать ни слова.

А я... До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затмение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:

— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?

— Фарбера? Какого там Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.

— И напрасно! Командир пятой роты, 1047 полка, 284-й дивизии. Выпили?

Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец.

Потянулся к телефонной трубке.

— За такое знаешь что? — сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, словно гвоздь. — Не знаешь? Так вот, узнаешь.

Он набрал номер.

— Берю ко мне, — и швырнул трубку.

Все! Я понял, что все.

Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.

В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.

Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.

И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие красные огоньки, как у кошки ночью.

За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.

Я понял, что это конец.

Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.

Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:

— Жиденский паренек... А я еще на брудершафт хотел.

Больше я ничего не слышал, я умер».

Фарбер... Фарбер... Фарбер...— сквозь всю жизнь пронес Некрасов фамилию этого детского дружка.

Я успел спросить у Александра Борисовича о его судьбе.

— Шурка?

— Да.

— Он умер два года назад.

— В одной эмигрантской книге Некрасов вспоминает Фарбера в разговоре со Сталиным. Читали?

— Нет, конечно. Зато вы сможете прочитать рассказ Шурки в четвертом номере «Маяка». Да не торопитесь. Я вам их оставляю, эти раритеты...

«НА КРАЮ ПОЛЯ. Два мальчика сидели около поля. Один из них был деревенский; другой был из города. И оба были друзьями уже 3 дня.

„Когда ты приедешь к нам,— говорил городской,— я тебе покажу прелестные дома, дворцы и церкви; ты увидишь огромные улицы, которые вечером так хорошо освещены, что видно, как днем“.

„А я,— возразил другой,— я тебе покажу леса, где собирают люди орехи, огромные сосновые и еловые шишки, и леса, где темно, как ночью“.

„А чему ты меня научишь?“

„Я тебе покажу, как гонять овец на пастбище, как делают сыр и масло из молока наших прелестных коров и как пашут нашими огромными быками, я тебе объясню, как надо сеять рожь, пшеницу, ячмень; как надо вязать снопы, как выдавливают виноград, как трепать лен и коноплю. Затем я научу плести корзины из прутьев“.

„Все это хорошо знать,— возразил мальчик из города,— но я научу тебя другому, что, может быть, еще лучше. Я научу тебя читать!“

Раре — Са ра. Перевод с франц. А. Фарбер».

«„Умер-шмуер, был бы здоров“.

Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города.

Тираны умерли — не все, правда, Молотовы и Кагановичи все еще поливают свои грядки, а может быть, что-то и строчат, лживое, но главные убийцы все же лижут в преисподней раскаленную сковородку. А я, отряхнув-



шись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы. Весна, март. Лопнули первые почки на каштанах. В Швейцарии это считается наступлением весны. Специальный человек следит за специальным каштаном в университетском парке, и лопнула почка, выглянул крохотный пятилапоый листок и сразу же в газету — началось! Дописывают... Напротив меня, под березкой, вылезли из-под земли четыре крохотных крокуса, три лиловых, один белый. Утром только выглянули. Сейчас уже распустились. И пчелка прилетела. За работу, товарищи! Что-то затянул я на этот раз. Прошли лето, осень, зима. И много событий произошло за это время. И в мире, и в моем парижском Ванве...

В кафе „Сентраль“, где я по утрам пью кофе с круасаном и листаю „Фигаро“, бросили бомбу. Кто — до сих пор неизвестно. Никто серьезно не пострадал, кого-то поцарапало стеклом, хозяйку слегка контузило...»

Ну вот, Вика Некрасов уже и в куцах.

Интересно, скучно там?

Когда доктора поставили ему диагноз — рак легких — он сказал: «Боже, как скучно...» Во Франции безнадёжные диагнозы от больных не скрывают.

Сразу сунул шоферу четвертак, чтобы он обождal возле крематория до конца процедуры. Этот ли четвертак тому виною или конечный пункт нашей поездки, но таксист разговорился. И я, проносясь сквозь ноябрьскую, ленинградскую мразь и ленинградские лужи, узнал, что бабушка шефа дожила до 96 лет. И все эти 96 лет очень оберегала одну икону. Когда наконец померла, внучек нашел в иконе пятьдесят золотых червонцев.

— И как это она в блокаду их сохранила и не потратила? — изумлялся шеф, когда мы застряли у знаменитого вечными заторами железнодорожного переезда, уже на близких подступах к крематорию.— Ну, один червонец я разменял ей на похороны — денег чего-то не было, а остальные храню, в память бабки. Она, кстати, великому князю Константину ручку целовала...

Помните бабушку Некрасова на царском балу? Любой черт в нашей стране ногу сломит.

— Может быть, все-таки великий князь Константин — ей? — поинтересовался я.

— Да-да, это я, конечно, спутал, — согласился шеф.— А померла она у меня замечательно. Приехал к ней, про-

сит бабуля кагору — религиозный праздник какой-то был. Ну, ясное дело, кагора нигде нет. Я четвертинку у ребят в парке достал, ей привез. Она говорит, что, значит, так господь велит; и закурила, а она в блокаду махорку жевать научилась, а после войны уже и по-настоящему курить. Иди, говорит, чайку поставь. Ну, я пошел, а у газовой плитки духовка не затворяется плотно; я минут десять с дверцей провозился, возвращаюсь, — а бабуля уже холодная, под иконами сидит, и сигарета дымится... И зачем жить-то, ежели все равно помрешь? Вот потом, когда я икону вскрыл, так понял, почему бабушка к другим иконостасам нас подпускала, а к этой нет... Ну, хоронить надо. К деду решил ее подселить. Приехал на кладбище, а мороз уже, я могильщикам бензинчику предложил землю оттаивать, на этом деле покорешился с ними, говорю, у дедули раковина треснула — заменить бы. Ребята шасть к другой могиле — метров за сто, сняли раковину, хорошая еще, приличная, и мне тянут. Я говорю, что неудобно вроде, а они объясняют, что к той могиле никто уже два года не ходит, а значит, и не придет...

Так вот мы с таксером мило побеседовали, и я вылез возле официальных елочек, породу которых не знаю, но ненавижу их, где бы они ни росли.

Таксер остался ждать наедине с мыслями о своей бабушке.

Обрыскал все крематорские предбанники четыре раза — нет моих Воловиков. Ну, думаю, неужто что-то напутал — стыд и срам, — не оправдаешься: убил старика и побоялся явиться на похороны.

Пошел к администратору, тот говорит, что родственники еще не прибыли. Оказывается, так как тело Александра Борисовича не в их морозилке, а в судебно-медицинском морге, то родственники на автобусе должны еще за ним заезжать.

Пошел гулять с букетом хризантем вдоль глухого, без окон, фасада крематория. Площадка сложена из бетонных плит, тонн по пять каждая, уложены плохо. На иную ступишь — она под тобой ёкнет, колыхнется, и кажется, в преисподнюю проваливаешься. А звук такой раздаётся — чем-то дальний артиллерийский гул напоминает. Блокада, конечно...

Прохаживался там еще один бедолага. Я ему говорю, что, мол, как бы нам самим в их холодильный подпол раньше планового срока не провалиться. Тот меня успо-

коил. Это, говорит, капитальное заведение немцы строили, и все тут под большим секретом,— технология у них совершенно сложная, от концлагерей идет. Сейчас, говорит, ведутся переговоры, чтобы второй крематорий строить; так его опять будут в полной секретности и только своими собственными руками фрицы строить...

Очередной бред и Кафка.

Кабы действительно фрицы строили, так пятитонные плиты под ногами не ёкали...

Ну-с, смотрел я на пригородный пейзаж — там далеко видно с крематорной возвышенности, но думалось что-то вовсе не возвышенное. А именно, что я таксеру слово дал вернуться не позже 15.15, а график, судя по всему, явно сбит, и что же мне теперь делать? Через полчаса появились родственники. Давно я так никому не радовался, как этому скорбному семейству...

И «Окопы» будут напечатаны, и даже это:

«Весь мир считает, что скучнее и серее советской литературы ничего нет. Все по заказу.

По заказу, не спорю. И человек, охотно или неохотно выполняющий его, щедро вознаграждается. Но все ли его выполняют, этот заказ? Нет, не все. И именно поэтому русская, советская (уточним, появившаяся на свет после семнадцатого года) литература, безусловно, интереснейшая в мире.

Бежать по утоптанной дорожке куда легче, чем по рытвинам и ухабам. Рекорды, установленные в Мексике, куда выше достигнутых в Мюнхене, Риме или Мельбурне — на высоте 2500 метров воздух разреженнее. Воздух московских (и прочих советских) издательств — воздух погреба, а дорожка, по которой писатель бежит, усеяна не только рытвинами и ухабами, она заминирована. Добежать до финиша не легче, чем легендарному Джесси Оуэнсу в Берлине под ненавидящим взглядом самого фюрера.

То, что написать хорошую книгу в нашей стране трудно,— это аксиома. Под хорошей подразумевается правдивая, говорящая не о пустяках, а о чем-то существенном, я не говорю уже о самом главном. Впрочем, Василий Семенович Гроссман попытался это сделать, написав „Жизнь и судьбу“, вторую часть разруганного в свое время романа „За правое дело“. Написал о самом главном и страшном, о тождестве двух, вроде бы враждебных, систем и — о! как легко было всех нас купить в те годы об-

манчивой оттепели — отдал не кому-нибудь, а в „Знамя“, бездарному и трусливому Вадиму Кожевникову. Результат известен — рукопись арестовали. В сталинские годы та же судьба постигла бы и автора, но шестидесятые годы отличались все же от пятидесятых.

По „делу“ Гроссмана меня специально вызвали из Киева в Москву, в ЦК. Считалось почему-то, что я могу повлиять как-то на Гроссмана.

— Гроссман написал антисоветский роман,— решительно заявил мне ведавший литературой в ЦК тов. Поликарпов.

— Нет, Гроссман не мог написать антисоветского романа,— сказал я.— Это исключено.

— Вы не читали его, а я читал. Это антисоветский роман!

— Вы неправильно его поняли.

Разгневанный Поликарпов повысил голос. Я тоже, он стукнул кулаком по столу. И я стукнул, добавив что-то насчет того, что немцев в Сталинграде не испугался, так уж штатского за письменным столом подавно. Это подействовало. В дальнейшем я ту, возникшую в гневном запале, фразу с успехом использовал в других, не менее сложных ситуациях.

Беседа наша мирно закончилась просьбой воздействовать на Гроссмана и убедить его никому написанное не показывать. Само собой разумеется, о проведенной беседе ни слова. Я тут же побежал к Василию Семеновичу и все рассказал. Он печально улыбнулся, показал пальцем на потолок и вынул из буфета пол-литра...

Гроссман написал великую книгу. Живя в Советском Союзе, рискуя всем. Это подвиг. И он его совершил. Солженицын тоже написал великую книгу «ГУЛАГ», но он ее скрывал. Гроссман ничего не скрывал, поверил почему-то крокодилу и сам полез в его пасть. Безумный, но подвиг.

Нет, советская литература такими подвигами не очень может похвастаться. А может, вообще он не нужен, подвиг? Или — не только из подвигов соткано искусство, литература?

Так думают многие. Писатели, в частности. Даны ведь миру „Смерть Ивана Ильича“ и „Холстомер“, „Дом с мезонином“ и „Попрыгунья“, „Над вечным покоем“ и „Вечерний звон“. Они скрасили наши дни. С ними легче жить.

Вот мы и подошли к главному.

В три шеи был изгнан из страны конструктивизм с его коробками, жалкими подражаниями всяким там Корбюзье. Нам нужна настоящая, жизнеутверждающая, богатая архитектура. И хоть именно тогда умерла от голода Украина, страну заполонили колонны, портики, жизнеутверждающие фасады. На экраны вышли „Весёлые ребята“.

Великое счастье жить на земле! О нем, об этом счастье, говорил Горький в 1934 году на Первом съезде писателей, обрадовав участников, преподнеся им социалистический реализм. „Социалистический реализм — это непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле“.

Здоровье... Долголетие... Великое счастье жить на земле.

Горький жил тогда в недурном особняке Рябушинского на Мало-Никитинской, а до этого в вилле в Сорренто, и в те же дни на восток один за одним шли эшелоны с полтавскими, черниговскими, курскими — всех не перечесть — колхозниками, виноват, „кулаками“ и „подкулачниками“.

А Шолохов писал „Поднятую целину“, Алексей Толстой „Петра Первого“, — вот какой был царь, но вы, товарищ Сталин, его переплюнули!

„Творчеству художников социалистического реализма присуще умение смотреть из будущего на настоящее“. Тоже Горький, тогда же.

Ну вот, мы и посмотрели из будущего, через пятьдесят лет, на то, что было настоящим. А два года спустя после прекрасных слов о здоровье, долголетию и счастье жить на земле Сталин убил Горького. А заодно и еще несколько сот писателей. И миллионы не писателей. Которым тоже хотелось долго и счастливо жить на земле.

Все это со временем стало называться „культом личности“, отдельными ошибками, отходом от ленинских норм, но писать об этом зачем? Зачем ворошить прошлое, растравлять раны? Партия все исправила, все поставила на свое место. Пишите о героях целины, романтиках БАМа, битве за урожай, славных пограничниках, ученых, кующих победу...

Вот, пожалуйста, и заказ! — ловят нас на горяченьком западные коллеги.

Ладно, разберемся.

В Союзе писателей, говорят, больше восьми тысяч членов. Нечленов — пишущих и печатающихся — не счесть. Кто же они такие?

Позволю себе маленький эксперимент, некую вольность. Поделим грубо всю писательскую массу на несколько категорий.

1. Верные автоматчики (выражение Хрущева) литературы. Все пункты Устава Союза писателей выполняют с завидным усердием и увлечением. Воспевают, призывают, прокладывают, воодушевляют, воспитывают, ведут... Люди злые все эти глаголы заменяют одним — вылизывают. Но это было бы упрощением — Маяковский воспевал не во имя житейских благ, он (до какого-то времени) верил. Мейерхольд, Эйзенштейн, Довженко тоже верили. Или убеждали себя, что верят. Закрывали на что-то глаза (надеюсь, что мучительно), пытались, нет, не приспособиться, напротив, возглавить. Это им стоило дорого. Мейерхольду жизни, но убежден, что каждый из них, обливаясь кровью под ударами, стонал: „За что? За что? Ведь я так старался...“ Сейчас таких уже нет. Последние могикане — Эренбург, Михаил Ромм — перед смертью что-то поняли, от чего-то отреклись, перестали воспевать, пытались искупить прошлое.

Нынешние автоматчики из другого теста. Иллюзий, веры — никакой. Основной стимул — те самые блага жизни. Циничны. Продажны. Умеют поторговаться. У иных и перо тонко отточено и язык неплохо подвешен. Вознаграждение по заслугам. Посты (оплачиваемые), тиражи, распределители, дачи, заграничные поездки. За отдельные срывы — пьянки, перерасходы, утайки заработка при оплате партвзносов — погрозят пальчиком, шито-крыто. За особое усердие — Героя Социалистического Труда. Дважды пока не было, разве что Брежнев. На очереди Шолохов. На подходе — пока не видно.

2. Основная масса писателей. Цену всему знают — и зрелому социализму, и лично товарищу Брежневу, Шауро (нынешний Поликарпов), Георгию Мокеевичу Маркову (нынешний Фадеев, без его влиятельности только), Чаковскому, всему Союзу писателей вкупе — но, кроме того, знают, что плетью обуха не перешибешь. На собраниях без излишнего энтузиазма, но покорно голову суют за что положено, дома отплевываются. Если не фан-

тасты, не исторические романисты, не детские писатели, пытаются писать о жизни. Ну, не совсем она такая, как на самом деле,— о политике, Андропове, нехватке мяса, Афганистане, что слышал по Би-Би-Си, о бриллиантах брежневской дочки, то есть о том, о чем целыми вечерами на кухне, герой, упаси Бог, ни-ни. И все же написанное на что-то похоже. Жизнь какая-то неладная, серая, скучная, дети отбиваются от рук, друзья изменяют женам, пьют, даже перепиваются, раньше на это было табу.

Проходит это отнюдь не гладко — доделки, переделки, вычеркивания („Ну, зачем вам это, дорогой Николай Степанович? И без того все понятно. Зачем подчеркивать, усугублять?“), замены одного героя другим, смягчение концовки („не надо точек над і“), введение мажорной интонации. Все это выводит из себя, треплет нервы, лишает сна, зато, когда книга выходит, есть ощущение, что поработал на славу, основная идея сохранилась, самое существенное удалось отстоять — „Вы знаете, сколько из-за этого куска пришлось драться? В ЦК даже посылали“, — и внимательный читатель, умеющий читать между строк, конечно же, уловит главное, для чего и писался роман. Что поделаешь — всем хочется быть немножко крамольными, при всем при том...

Благ поменьше, чем у первой категории, не сравнить. Тиражи поскромнее, путевки в Дома творчества в Коктебель, в Малеевку берутся с бою (заграничные духи и колготки, увы, девальвировались), заграничные поездки только за особые услуги (а как не хочется их делать!), влиятельные посты исключены.

Но жить все же можно. Отдельная квартира, заболешь — оплаченный бюллетень. Литфондовская поликлиника, гонорара более или менее хватает (на Западе это не получается), но главное — чувствуешь себя не подонком, уверен, что читатель тебя читает и даже благодарит за ту, пусть скромную, пусть под сурдинку сказанную, но все же правду, и где-нибудь на малеевской лыжне, под елочкой, можешь по поводу этого излить душу другу, а заодно поругать начальство, ну, и вообще...

26. Подотдел той же категории. Правдоискатели. Найдя, поведывают ее, правду. Не всю, конечно, об этом не может быть и речи, но врать и лакировать ни в какую! Область, охватываемая этими авторами, в основном деревня. Тут почему-то некая побрякушка. Этим писателям даже улыбаются, пытаются приручить, заманить к себе, награждают премиями. Но случая перехода в „их“ ла-

герь пока не наблюдалось. Явление новое, обнадеживающее.

3.— Врать надоело! Ну их! На всю железку! Таких исключают из Союза, выдворяют за пределы, кое-кого сажают. Книги их изымают, из справочников и словарей вычеркивают. Злопыхатели и очернители, советская литература как-нибудь и без них обойдется.

Такова в самом грубом виде классификация литературного процесса, писательской братии. Есть отклонения, нюансы, неожиданности. Есть ответвления. Например, те, кого окрестили бардами. По популярности, по любви к ним читателей, вернее, слушателей, с ними никто не сравнится, власть не нашла еще способа с ними бороться... „Двое из самых каверзных, слава Богу, отдали концы, третий тоже не очень здоров, часто болеет...“ А народ слушает, переписывает, поет...

Ну, а автор этих строк, к какой категории он примыкал? Во всяком случае не к третьей, с грустью приходится признаться. Ко второй? Ко второй б? Пожалуй? Где-то между ними. Имел и квартиру отдельную, и литфондовскую поликлинику, писал для журналов, издательств, за железный занавес ничего не посылал. Парочку-другую подпольных, в меру крамольных рассказиков писал для друзей, почитывал их за вечерним чаепитием. Вот так и жил. Пока не выяснилось, что мы с советской властью смертельно друг другу надоели...»

Закончу словами соседа Виктора Платоновича по чужбинному, ухоженному кладбищу:

Я в грусть по березкам не верю, разлуку слезами  
И надо ли эту потерю приписывать к счету потерь? не мерь.

От нас зависит.

*03 апреля 1988 года, воскресенье, 16.00*



## П Л Ы В Я С К О Н Е Ц К И М

«— Конецкий плывет...  
— Чего он тут делает?  
— Мозги в Арктике проветривает.  
— Делать ему больше нечего. Наверное,  
мозоли на заднице отсидел...»

В. Конецкий

«Носит же нелегкая!»

В. Конецкий

«Мне странно и неприятно видеть из каюты  
корму, я привык видеть нос».

В. Конецкий

Последний из трех эпиграфов как-то успокаивает, возвращает нас к привычно романтическому взгляду на вещи, но второй и особенно первый — явно нуждаются в комментарии. Ситуация не без пикантности: автор трех десятков книг и сценариев, писатель, можно сказать, с мировой известностью, — лично стоя на капитанском мостике, ведет корабль. По Северному Морскому пути. И хотя смотрит он, как и полагается капитану, вперед, с романтикой тут сложно. Название у корабля непозитичное: «Колымалес»; льды вокруг загажены отбросами, а из радиотелефона доносятся реплики, мною выше воспроизведенные. Вернее, воспроизведенные прежде всего самим Конецким. Тут интересен сам факт такой записи о себе. К характеру Конецкого и к тональности его прозы этот факт имеет не просто прямое, но, я бы сказал, принципиально важное отношение. Поэтому есть смысл повнимательнее вчитаться в это место, и особо — в мелодию мотивировок:

«...Моя впечатления отравляла немного литературная известность. Психологически я не люблю обращать на себя общественное внимание. А без этого в коммунальной квартире, то есть на Арктической трассе СМП, мне уже не обойтись. Все здесь друг про друга знают. В никогните не сыграешь. Из радиотелефона доносится: „На

„Колымалесе“ Конечкий плывет...“» — далее цитируется радиоперекличка, которая завершается так: — „Конечкий застрял!“ „Конечкий пилотку надел!“ — под некоторым колпаком я тут сижу, стеклянным. Никуда не денешься... факт, что с этой фамилией делается работать в море труднее. И все-таки свой я здесь, и потому хорошо мне здесь, несмотря на все тягости...»

Свой я здесь,— заметим эту мысль. А пока — об интонации. Никакой ведь саморекламы! Парадокс: другой автор выглядел бы в этих репликах, как в павлиньих перьях; да другой автор и не преминул бы извлечь из ситуации ореол скромного величия, и неловкости бы не заметил,— Конечкий же прет вроде бы напролом, как ни в чем не бывало, он знать ничего не хочет, и он прав — не потому, что ему «наплевать» на собственную известность (отнюдь не наплевать), а потому, что есть особый секрет в его интонации. Слова как бы играют встречным смыслом: смотрят «на нос», но оглядываются и «на корму». Поэтому Конечкий спокойно цитирует реплику своего читателя: «Всю, Викторич, твою вульгарную книжку прочел — вот, значит, глупость так глупость!» и слова докторши в ответ на вопрос, чего ее понесло на флот: «Конечкого начиталась». Цитируется без всяких объяснений, с полной видимой невозмутимостью. Невозмутимость эту переоценивать не следует: болит у Конечкого сильно, кожа, как и полагается, с души содрана. Но есть, повторяю, некий контрапункт внутренней музыки в его прозе, который позволяет ему играть именно в невозмутимость.

Дело в том, что слова у Конечкого ежесекундно остерегаются смыслового «оверкиля». И потому его не боятся: готовы. И облик Виктора Некрасова, «сниженный» у Конечкого до того, что читатели были шокированы,— «снижен» по той же причине: человек «затерт» жизнью, и это надо сказать о нем сразу: прямо и жестко. И когда Юрий Казаков (переписка с которым составляет один из ярчайших эпизодов в прозе Конечкого) называет своего друга «лопухом», «прохиндеем» и «сивым меринном», а себя «гением», — то это не просто игра в псевдоподдавки, свойственная обычно писателям, стесняющимся своих амбиций, это ведь еще и вера, что каждое слово писателя, попадая в сферу псевдосмыслов, будет «затерто» жизнью; истолковано как бы несколько вспять и наоборот. С учетом этой обратной перспективы, то есть «кося глаз на корму», — и говорится самое сокровенное, самое заветное.

Так что же это, прикрытие абсурдом? Да. И поэтому так важна у Конечкого «банальность» обстоятельств, «сеть помех», «сор документальности» — веер летящих ледовых брызг, жалящих, жгущих, ослепляющих, сквозь которые уже и ощущаешь все другое: жесткость перил, твердость палубы, надежность курса и прочие константы жизни: константы над подвижной хлябью, ибо Конечкий — «морской писатель».

Однако это-то как раз я и хотел бы раз и навсегда оставить в стороне. Потому что проза Конецкого — это прежде всего проза русского писателя, порожденная современной духовной ситуацией и на нее откликающаяся. Безотносительно к тому, «морской» перед нами ландшафт или «охотничий», «северный» или «южный», «парижский» или «питерский». Морской — он тоже видит сухопутную жизнь, но с неожиданного ракурса.

Конечно, вполне отвлечься от «специфики» невозможно, да и незачем. Конецкий сросся со льдами Севера, и никакие тропики (туда он тоже ходил), никакая Антарктика (было и это), никакие среднерусские дорожки (Чехов, Бунин) его от морского Севера не оторвут.

Но тогда вот вопрос: как примирить два ощущения? Первое: Конецкий вне моря непредставим; он наследник Станюковича, Новикова-Прибоя, Колбасьева; дело именно в этом: в этой теме, в этой специфике, в этой судьбе. И второе: в «морском сюжете» воплотилось нечто, этот сюжет превышающее, и Конецкий входит в наше читательское сознание не как (не только как) знаток «темы», но как исповедник определенной духовной истины, превышающей тему. То есть, он, конечно, «морской писатель», но дело все-таки не в этом.

В чем же?

Почему такая странно-сдвоенная репутация у автора «Соленого льда», «Завтрашних забот» и «Третьего лишнего»: морская специфика словно бы мешает ощутить более глубокую (и веуступчивую) позицию этого автора в вопросах, которые касаются всех и имеют отношение ко всему? Тут не отделишь. Без моря нельзя; я сам когда-то, лет тридцать назад, молодым критиком, салютовал первым романтическим морским рассказам Конецкого и не беру назад ни единого слова, но... что-то ведь и ускользает. Как ни странно, за тридцать лет работы о Конецком ни разу, кажется, не заговорили как об авторе сенсации. Впрочем, нет, сравнительно еще недавно, в момент, когда «ветром перемен» пораспахивало форточки в журналах, вдруг пронеслось и о нем по литературным коридорам: Читали? — Где? — В «Неве!» — Что?! — Конецкий о Казакове! — Нет. А что там? — Там та-кое!! — и после некоторого препинания следовало что-то гоголевское: вот, мол, ежели бы сейчас, как во времена Писемского, да разыграть «Ревизора» наличными писательскими силами, так на роль Хлестакова Конецкий предложил бы Евгения Александровича Евтушенко... — Ну? Так прямо и написал?? — Так прямо. Во времена!..

А полемика с Аксеновым! А диалоги с Некрасовым, прямо со страниц «Огонька» шедшие «в народ» легендами!

Некоторая суетность этих сенсаций, вполне, впрочем, понятных в горячке нововведенной гласности, не должна отвлекать нас от глав-

ного, а главное тут вот что: от Конецкого ж д у т высказываний по кардинальным вопросам. И ждут неспроста. Он высказывается. Хотя вроде бы прикован взглядом к «носу», разрезающему волны. А что, если «Никто пути пройденного...» — действительно ф и н а л ь н ы й аккорд «романа-странствия», начатого когда-то «Соленым льдом» и уместившегося в семь книг, в цикл под общим названием «За доброй надеждой»? Если это вообще последняя книга Конецкого на морском материале? Тем интереснее. Никто пути пройденного у нас не отберет. Конецкий и на суше останется Конецким.

Между прочим, из писателей-собратьев, о которых пишет он в своих книгах, только один — моряк: Сергей Колбасьев. Юрий Казаков, Виктор Некрасов — совсем из других сфер. Виктор Шкловский — вообще из другого измерения. Странный контакт? Как знать...

Но уверенность у Конецкого вдали от моря как бы пропадает; однажды он назвал свои «сухопутные» опыты так: «Опять название не придумывается...» Вот тут, на переходе от жесткого «не отберет!» к шаткому «не придумывается», на качающемся трапе от твердого борта к твердому берегу — и ловим мы у Конецкого то, что было скрыто за капитанской четкостью: судьбу и драму. Систему ценностей. Духовное присутствие, независимое от «порта приписки».

Надо понять суть драмы.

Вот другой аспект этого перехода от «моря» к «миру». Что за герои у Конецкого? Вроде бы — морские волки, настоящие мужчины, крепкие ребята, парни, пахнущие потом... Так, вроде бы, следует из романтических условий, и так вроде бы казалось по первым рассказам когда-то. Насчет парней — Конецкий о них действительно думает, но не совсем то, что принято по традиции...

А вот и третий аспект «сдвоенности»: то ли Конецкий беллетрист, то ли документалист? Писал рассказы и повести, перешел на дневники: почему? Вопрос неспроста, имеет отношение к современной диалектике жанров. И к специфике таланта. Беллетрист Конецкий от бога, у него сюжетная хватка и тонкое, подвижное, полное юмора перо. Прекрасный рассказчик. И пустил плавать целую команду героев от Росомахи до Камушкина. Однако вот вопрос: что для него интереснее: литература или литературная жизнь? Конецкий отвечает: литературная жизнь. И поскольку мы можем ему для начала не поверить, подкрепляет свой ответ следующим признанием: «Я очень мало читал художественных произведений Чехова, зато прочел, вероятно, все, что он написал „нехудожественного“ в то что написано вокруг него». Литература, стало быть, — не «зеркало», она — «часть» действительности, продолжение действительности, конденсат действительности. Возвращая Конецкому этот ход, могу сказать, что в его документальных повестях наименее интересны «художественные» вставки, и в этих вставках существенна отнюдь не отделка («под

Хемингуэя» или «под Гофмана»), а опять-таки фактура («израильско-египетская драка» в «Мемуарах военного советника»). Что же до «Кошкодава Сильвера», то хоть эта новелла написана тоже как бы не «самим» Конечким, а одним из его героев, однако же «следы его пера» носит, — так вот: это единственный эпизод, который просто скучен, а скучен именно от усилий «писательской фантазии», по мне то вся эта гофманиада с котами и зловещими совпадениями перечеркивается одним точным штрихом блокадной памяти, вот этим: «...Надо что-то есть... Если срывать обои? На оборотной стороне есть мучной клейстер. Нет, это даст мало, а сил возьмет много...»

Потрясающая рецензия Конечкого на «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина (так, в отделе библиографии, впервые и напечатанная когда-то «Дружбой народов») теперь, в контексте прозы Конечкого, воспринимается как откровение, просто несоизмеримое с «фантазией», «беллетристикой» и вообще «художественностью».

Приведу из той статьи одно место: «Мало кто знает, что детьми тогда считались только существа младше двенадцати лет. После этого рубежа существо превращалось в иждивенца, то есть вполне взрослого дармоеда, и начинало получать знаменитые 125 граммов. Страшно-нелепое обрушивалось на матерей, когда проклятые двенадцать лет наступали в зиму 1941—1942 года, и детеныш разом переходил на половинный паек. Тогда мать начинала отдавать ему все до последней крошки, погибала и, естественно, вслед за ней отправлялся и иждивенец. Мне повезло. К 22 июня мне исполнилось 12 лет и 16 дней. Так что в блокаду я попал готовым дармоедом и в силу этого, возможно, и выжил: не было „перепеда давлений“...»

Документальный это текст или художественный? Чувствуете бессмысленность вопроса? А сквозной «ток стиля» через документальные подробности, линию «роли» — чувствуете? А что эту роль продиктовало? Запредельная боль, превышающая всякое понятие о логике и норме. Какими же «средствами» этот художественный эффект достигается? Иронией... Словечками «иждивенец» и «дармоед», поставленными в контекст тотального «оверкиля» ценностей. И наконец — самой безумностью «цыфирного расчета» там, где «впору закрыть лицо и взвыть от отчаяния. И еще, еще одним словечком, ключевым для этого апокалипсиса: «естественно» — при описании смерти ребенка, которого некому спасти. Это что, «мастерство»? Или — запредельное чувство «документа», которое бьет «насквозь»?

Мастерство. Это мастерство. Это писательская рука Конечкого. Это художественный секрет его прозы, документальность которой («путевые заметки», «не так дневники, как воспоминания», пель-мель из радиодонесений, вахтенных записей, прочитанных в рейсе книг и взятых с собой старых писем, в свободное время расшифровываемых) есть не что иное, как тончайшая современная форма художественности.

Хитрая форма. Конецкий определяет: «факто-фрагментарно-автобиографически саморекламный жанр». На Западе это называется короче: фэксн. То есть факт плюс фиксн (вымысел). Основа документальная, а там... А «там»... как получится,— шутит Конецкий. Капитана зовут Василий Васильевич. Второго помощника — Митрофан Митрофанович. Потом еще этот... вездесущий... Фома Фомич Фомичев. Вы начинаете подозревать, что в этом «документальном» повествовании вас немного морочат. Тут вы соображаете, что рассказчика, то есть автора, то есть Конецкого, зовут Виктор Викторович, и это не розыгрыш. Так кто кого морочит? Или так: автор делает вид, что он «делает вид». А что, это так уж важно: Хлебников заменен Булкиным или нет? И что ледоход «Драницын» на самом деле назывался как-то иначе? Самое дело - то тут в чем? В том, что фактура документальная, или в том, что смысл художественный? А может, и в том, и в другом? В том, что из достоверной фактуры извлекается смысл всеобщее важный, высокий, духовно-практический, и он тем выше и чище, чем «грязнее» фактура, чем «неотесаннее», грубее основа: документ, факт. Это и есть загадка документального жанра в руках мастера. А лучше сказать: загадка реальности в руках писателя, чувствующего, что у него в руках.

Конецкий не смущается под датами с «08.09» по «14.09» семь раз подряд повторять запись: «На якоре в ожидании причала и разгрузки»: не боится монотонности. Он вгоняет в текст фразу: «Закрепили усы, положив 37 шлагов сизальского конца (трехдюймового) в бензель», не объясняя нам в ней ни одного слова. И, странное дело, эта монотонность и эта абракадабра действуют на меня сильнее и безотказнее, чем сюжетные повороты. Вопрос в том, что действует. Тут ведь не «романтика моря» — тут выматывающая нервы ляжка, то, что Симонов назвал «сплошная ледокольная работа». Ожидание и терпение. Ожидание у моря погоды и терпение сто раз подряд делать одно и то же. И пробойны тут — не от романтических ударов о скалы, а от прозаических швартовок, в том числе халтурных, и заделываются пробойны весьма неромантично: не героическим заведением пластыря, а изнутри, из трюма — надвиганием груза: ящикам с цементом. Да еще перед тем — опись надо составить: «В районе шпангоутов № 113—116 между вторым стрингером и декой мягина размером...» Такая романтика.

Так для этой выматывающей ляжки Конецкий и находит соответствующий способ изложения: «документальный дневник» с вкраплением протоколов и приложением копий. Передается — ритм «ишачки», ритм тоски, ритм сдавившей человека необходимости, внутри которой свобода достигается не «полетом над» и не «прыжком через», а каким-то двужильным внутренним перетаскиванием тяжестей, горьким, черным, «трюмным» осознанием. «Сор» дневниковых

записей и «пыль» старых писем — не помехи здесь. Это та самая пыль, в которой видны свет и объем.

Арктические записи (РДО... КНМ... ЛК... КМ... координаты... проводка) Конецкий совмещает с письмами из «шкатулки»: какой-то поручик Искровой роты (радиотелеграфист по-нынешнему) по имени Николай Николаевич летом 1914 года слал будущей матери еще не родившегося Конецкого влюбленные послания. Вот вам и контрапункт: капитан-дублер «Колымалеса» в 1979 году, отстояв очередную вахту, расшифровывает очередное письмо. Создается коллаж, где через саму несостыкованность элементов передаются и объем исторического времени, и его фантастичность. Искровая рота оперирует на Буковине. «Отряд недавно взял Кимполунчъ», — пишет поручик. Конецкий, не очень уверенный, что прочел название правильно, ставит в скобках знак вопроса: честность архивиста.

Меня, конечно, тут подмыло. В том смысле, что необязательно даже в карту Румынии заглядывать, — достаточно вспомнить поэзию. Конецкий и Орлова, и Симонова охотно цитирует, он явно не чужд этой сфере. Почему же не вспомнил строки:

Занят Деж,  
занят Клуж,  
занят Кымпелунг.  
...Нет надежд.  
Только глушь.  
Плачет нибелунг.

А хороша параллель: тридцать лет спустя после поручика Николая Николаевича поэт Семен Гудзенко входит в тот же город... (Кымпулунг — его правильное название)... Или не вписалась бы в художественную структуру у Конецкого такая романтическая параллель, и нужен оказался именно этот полурасшифрованный «Кимполунчъ»? И вся эта бессмысленная, обреченная, ничем не кончившаяся любовь молоденького поручика к «царевне, грезе, зореньке» 1914 года... История эта находит свой финал — в следующую войну. Нашелся-таки Николай Николаевич! В 1942 году, — пишет Конецкий, — вырвавшись из блокады, мать отвезла нас с братом в город Фрунзе, где бывший поручик проживал (далее я выделю два слова, в которых стилистика Конецкого видна рельефно. — Л. А.), «где бывший поручик проживал после положенной десятилетней отсидки с женой и двумя сыновьями. Они приняли нашу троицу на свои шеи и поселили во вполне по тем временам приличном сарайчике-флигелечке...»

Вот оно. Пылкий русский офицер, мечтавший совершить подвиги во славу отчизны, на десять лет загремел в лагерь... это как? А это

так, положено. А сарай, в котором укрывается семья, едва унесшая ноги от гибели,— это как? Вполне прилично.

Быстрая, острая агрессивность Конецкого укрощена и зажата волевым усилием. Любимое слово: «Н о р м а л ь н о». «Минуту или две „Алкао-Кадет“ полусонно чесал в затылке, затем вздохнул и нормально булькнул обратно в могилу...» Что «нормально»? Австралийский транспорт, с трудом поднятый со дна спасателями, не удержался на плаву; понтонные связки порвались; в воронку затянуло шлюпку со спасателя; вылетевшие из-под австралийца четырехсоттонные понтоны чудом не протаранили днище СС-4138... Это как?! Н о р м а л ь н о.

«Нормально». «Естественно». «Само собой». Художественный мир Конецкого строится на невозмутимости, из-под которой прет существо безумие. «...И постарайтесь ничему из того, что с вами может в ближайшем будущем случиться, не удивляться. Можете идти». Лейтенант шелкает каблуками. И ничему не удивляется. Ни в ближайшем будущем. Ни в ближайшем прошлом. Ни в отдаленном...

По писательскому происхождению Конецкий несомненно романтик, и он это признает. Он с этого начинается. По нынешней литературной же хватке он... если бы я не боялся слова, я назвал бы его сюрреалистом, чья невозмутимость входит в состав безумия, которое является здесь и предметом интереса, и предметом преодоления. Знаменитый «конецкий» юмор тоже входит в систему спасения души. В ночь после прихода в родной Ленинград грузчики украли с корабля голубей. Это что! Вот в Выборге в прачечной двести штук белья украли, так прокуратура и дела не стала заводить. Нормально! На стоянках с судов воруют все подряд, вплоть до электролампочек, так что помполит перед приходом в порт обыкновенно все прячет под замок; а тут погрузка кончилась, чужие уши, помполит расслабился, все выложил, неожиданно явились с экскурсией любознательные школьники; их впустили, напоили чаем, рассказали всякие морские истории; а они сперли домино. «Далеко пойдут ребята»,— только и выдавил им вслед Конецкий. Нормально.

Маска невозмутимости словно прирастает к герою в самых горьких ситуациях. Иногда ему кажется, что реальная жизнь — не жизнь, а... кино. Лейтмотив Конецкого — реальность, которая почище фантастики: кажется, что выдуманно, а — правда. Нет, именно «кино» — тут Конецкий-сценарист добавляет Конецкому-прозаику толику юмора. «Путь к причалу» снимали на острове Кильдин, как раз там, где автор сценария за десять лет до того тонул. «Сочините рассказ о том, как автор участвует в кино съемках на том самом месте, где он тонул. И каждый скажет вам, что вы сбрендили...» Но вы не сбрендили. Это — реальность. Может, реальность сбрендила?

Реальность: немцы, давшие миру Бетховена, стреляют по бегущим от эшелона женщинам и детям. «И здесь я увидел то, что боль-



шинство зрителей видит только в кино», — запоминает будущий сценарист: он видит, как его мать прикрывает телом его брата.

Реальность: отец, военный прокурор, когда-то кончивший юридический факультет Петербургского университета, сочиняет графоманскую поэму о Великом Сталине.

Реальность: офицеры флота не имеют права получать второе высшее образование.

Нормально. Солнце — «это такая дырка в небесах, которые тоже белесо-серого цвета». — Ты действительно дурак или притворяешься? — Действительно дурак. Мир Конечного — это мир необъяснимых логикой вещей, и жить в нем можно, только приняв дурацкие правила игры. В разгар ледовой вахты на затертый в море корабль приходит из центра циркулярное указание: провести оздоровительный бег. Капитан рапортует: провели... участников столько-то... «Если тебе предложено быть идиотом, то будь им». Нормально.

Наивно было бы думать, что это отсутствие реальности. Нет, это реальность. Просто надо знать ее законы.

Вот еще одно ключевое слово Конечного, в известном смысле разрешающее его коллизии: **н а в а ж д е н и е**. Капитан, проводивший теплоход через пролив, вылетел на прибрежные камни, потому что в самый критический момент, в виду маяка, занимался тем, что «подстраивал» радиолокатор. Зачем же ты крутил радар, когда до маяка было четыре кабельтова, и ты его видел собственными глазами?!

— **Н а в а ж д е н и е...**

Это наваждение, однако, не похоже на прежние романтические миражи с русалками и летучими голландцами. Перед нами новое по типу наваждение: наваждение цыфири. Обретаясь в ситуации как бы ирреальной («кино!»), человек у Конечного все время пытается восстановить ориентиры с помощью самозабвенной пунктуальности; он закрепляет плывущий мир регламентациями, правилами, запретами. Это — один из самых глубоких и драматичных пунктов в раздумье Конечного о русском человеке.

«Как пойдет развитие нашего национального характера, если современная жизнь категорически требует и от нас рационализма, деловитости, расчетливости, меркантилизма?

Ведь все наши установления по обычным и тринадцатым зарплатам, по премиям и сверхурочным, по судовым затратам и отпускам, по экономии и качеству, по „обработке недостающего штурмана“, все начеты, вычеты уже столь деловиты и рациональны, что любой американский капиталист или даже немецкий бухгалтер давно бы спятели, ибо у них закваска не та: не наша у них закваска».

Еще о юморе, кстати. Заметили ли вы, что юмор, которым спасается Конечный в ситуациях, когда жизнь можно смотреть, как смотрят кино, — юмор его построен большею частью на мотиве спя-

тившей бухгалтерии? Двадцать два пункта рапорта об обследовании «пожарной лопаты № 5» — не попытка ли вернуть ощущение реальности «по пунктам», когда в целом ее как бы нет? Кстати, лопату потом сперли. Само собой.

Я стараюсь увидеть в Конецком то, что скрыто за поблескиванием волн «морской специфики»: генеральную думу его о России, о нашей общей судьбе. О том, о чем все мы думаем и о чем не может не думать писатель своего народа. Крупный писатель, своеобразный, обостренно независимый.

На траверзе Югорского Шара, проплывая линию Уральских гор, то есть пересекая границу Европы и Азии, Конецкий напрямую задумывается о русской судьбе. Он пишет, что «четко откrestился навсегда от славянофилов и от западников, заняв позицию „оси симметрии“, а по-русски — между двумя стульями». Если опять-таки отвлечься от юмора, — позиция весьма серьезная. В некоторых ученых трудах она называется евразийством, и тут я легко молча подам Конецкому руку... но если бы такая позиция и впрямь исчерпывалась только ученым здравомыслием! Однако писательская позиция подкрепляется иначе: ее же надо проговорить, проволочь сквозь жизненный материал, ее надо проработать вместе с людьми да еще и удержать в ситуациях логически немислимых. В том числе и в ситуациях литературной борьбы.

Я хотел бы закончить этот очерк о месте Виктора Конецкого в нашей реальности — попыткой оценить его литературные симпатии и антипатии. Может быть, и здесь больше «кино», чем «логики». Но реальность и тут несомненная, надо только знать ее законы.

Итак, ориентация по двум осям: западники — славянофилы. Учтем некоторую символичность этих названий, то есть что речь тут идет, конечно, не о славных интеллектуальных дружинах 1840-х годов, а об их современных, так сказать, правопреемниках, конкретно же: о писателях-«деревенщиках», с одной стороны, и о «модных», «современных» и т. д. авторах — с другой.

К «деревенщикам» Конецкий относится с уважением, но — как бы издалека. Сам он человек городской, вырос в Ленинграде, «на краю океана». Он потомственный интеллигент и испытал с детства все неизбежные на этот счет унижения (мальчик в коротких штанишках, «гогочка» и т. д.). Иногда с капитанского мостика он видит матросов, умело и бесстрашно работающих на палубе; его восхищение ими — тоже немного издалека. Иногда его посещает мысль, что эти ребята — выходцы из крестьян. Они — из тех самых деревенских, которых Конецкий с раздражением видит на рынке и которым жалко лишнего куска газеты на кудек. Выходцы из деревни бывают люди замечательные, но сами деревенские — далеки и не очень понятны.

К «модернистам» же он отнесется совсем по-другому: с плохо скрываемой яростью. Этим он ничего не прощает. Однажды Конецкий меня читательски просто резанул — там, где речь идет о модном прозаике 60-х годов (Конецкий его иронически называет «прозаик № 2»), есть такой пассаж: «Ныне фамилию прозаика № 2 упоминать не принято, ибо он давно уже свалился за русский горизонт.

— Туда ему,— скажу от всей души,— и дорога».

Не буду обсуждать здесь качества вышеупомянутого прозаика, равно и то, почему и куда он свалился,— это важный, но отдельный вопрос. Но реплика Конецкого меня поразила. Честно сказать, не ожидал. Что он, сторож? Охранник территории? Откуда сам этот жест, это право судить другого, выпроваживать: «Туда и дорога!» Ох, неинтеллигентно.

И ведь не успокоился: вцепился и дальше в «прозаика № 2», полемизировал яростно, дотошно... а по новым временам и псевдоним раскрыл, и назвал открыто, и, главное, доводы своего противника, Василия Аксенова, опубликовавшего в журнале «Континент» отповедь Конецкому,— до строчечки воспроизвел Конецкий в своем ответе, и в свою очередь ответил сам, да как... Боюсь, что полемика на этом не закончится: по степени уязвленности противники стоят друг друга; их полемическая изобретательность делает переписку весьма увлекательным чтением. Только честно скажу, что причина ее увлекательности для меня — вовсе не вопрос: кто прав? Оба они «попеременно правы», поскольку оба оспаривают друг у друга «право на Россию», что и выдает в обоих типично русский синдром. Это — само собой, и даже греет меня с двух сторон. Но загадка, которую я с увлечением разгадываю, читая эту полемику, и прежде всего — литературные очерки Конецкого (не только спор его с Аксеновым, но вообще весь его «фронт» в нынешней словесной войне, включая сюда и «бой за Некрасова»), — это загадка неравной страсти по отношению к противникам.

Поразительно, но к «далеким» своим «деревенским» оппонентам Конецкий снисходителен, а к «близким» — непримирим до бешенства. Это бешенство, которое Конецкий испытывает к «модернистам», «левакам» и «либералам», — род обманувшейся любви. К «деревенщикам» — далекое уважение. А тут — ярость. Близко. Свое. И знаете, что задевает? Малейший намек на мнимоую свободу, на иллюзию независимости, за которым так и чудится Конецкому стремление угодить моде. О Вознесенском пишет: «Не терплю подхалимажа перед читателем, особенно юным». Тут не «далекое уважение», нет. Тут ревность, задетость. Я не сказал бы, что разделяю чувства Конецкого, вернее, степень его чувств. Но я его понимаю.

Я понимаю, почему он отрекается на два фронта: «от славянофилов и от западников». Не любит команд ни оттуда, ни отсюда.

Не странно ли для человека, жестко заковавшего себя во флотскую дисциплину? Нет, не странно. Каждый отстаивает в себе личность, как умеет. Острый, быстрый, агрессивный Конецкий предпочитает зажать себя, смирить изнутри, пресечь всякие иллюзии,—только бы не обмануться, не «развесить уши», не стать рабом очередной перелицованной лжи. Лучше на дно, чем в эмпирии.

Самый близкий ему человек в современной русской литературе — все-таки Юрий Казаков. Который тоже, наверное, мог бы сказать, что отрешивается от «тех» и «этих». Есть какая-то горечь в переписке Конецкого и Казакова, какая-то скребущая недобрая нота в их взаимном «подначивании». Ожиданием беды веет от Казакова, от его предчувствий, и Конецкий, человек более крепкий и жесткий, похоже, заражается ожиданием этой беды, потому что она открыва-ет и в нем самом, в его писательском самоощущении, тайную мысль о глобальной какой-то неудаче, о невозможности даже и великим Словом хоть что-то сдвинуть в человеке. И пишет Конецкий о «бес-конечной своей недоведенности». И вторит Казакову: кому я пишу? зачем? что толку?

И опять — ощущение качающейся почвы под ногами, обманной, мороченной реальности, от которой — в Мировой океан впору ки-нуться, где почувствуешь, наконец, мостик с перилами над хлябью всли и что ты свой среди своих...

Конецкий не просто отличный повествователь и живой собесед-ник, знающий свою «тему» и заодно касающийся других интересных «тем».

Это писатель глобальной тревоги.

И где бы ни носила его нелегкая, как бы ни трепало в рейсах, как бы ни затирало льдами, думает-то он о главном. О том, к у д а ж  
н а м п л ы т ь.

*Л. Аннинский*

# Оглавление

## РАССКАЗЫ ПЕТРА ИВАНОВИЧА НИТОЧКИНА

|  |    |
|--|----|
| Вместо предисловия . . . . .                                   | 5  |
| Петр Ниточкин к вопросу о психической несоместимости . . . . . | 11 |
| Петр Ниточкин к вопросу о матросском коварстве . . . . .       | 33 |
| Петр Иванович Ниточкин к вопросу о морских традициях . . . . . | 41 |
| Петр Иванович Ниточкин к вопросу квазидураков . . . . .        | 67 |

## НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ (Из дневников писателя)

|  |     |
|--|-----|
| Из семейной хроники . . . . .                        | 104 |
| Под сенью русских сфинксов в Коломне . . . . .       | 128 |
| Как я первый раз командовал кораблем . . . . .       | 137 |
| Мемуары военного советника . . . . .                 | 161 |
| Отход . . . . .                                      | 178 |
| Давняя драма в проходе Флинт . . . . .               | 194 |
| В ресторане «Сплитски Врата» . . . . .               | 207 |
| Мурманск . . . . .                                   | 224 |
| В море Баренца . . . . .                             | 234 |
| В Карском море . . . . .                             | 254 |
| День рождения старпома у мыса Могильный . . . . .    | 268 |
| История с моим бюстом . . . . .                      | 285 |
| В центре моря Лаптевых . . . . .                     | 294 |
| Письма поручика Искровой роты из 1914 года . . . . . | 311 |
| Колыма . . . . .                                     | 339 |

|   |     |
|---|-----|
| Арктическая «Комаринская» . . . . .                                   | 354 |
| В ледовом дрейфе, песцы . . . . .                                     | 375 |
| Вокруг острова Врангеля . . . . .                                     | 416 |
| Послесловие, или Несколько советов авторам<br>путевой прозы . . . . . | 451 |

## РАССКАЗЫ «С НЕКОТОРЫМИ СТРАННОСТЯМИ»

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Хандра . . . . .                      | 458 |
| Банальная курортная история . . . . . | 475 |
| Кошкодав Сильвер . . . . .            | 487 |
| Ария Джильды . . . . .                | 512 |
| Чертовщина . . . . .                  | 520 |

## ИЗ КНИГИ «ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА»

(Непутевые заметки, письма)

|  |     |
|--|-----|
| Нырок в очень далекие времена . . . . .          | 540 |
| Париж без праздника . . . . .                    | 554 |
| Печальная контаминация . . . . .                 | 559 |
| Смерть в чужой квартире . . . . .                | 592 |
| <i>Л. Аннинский. Плывая с Конецким</i> . . . . . | 622 |

**Конечкий В. В.**

**К643** Никто пути пройденного у нас не отберет: Сборник. — М.: Кн. палата, 1989. — 636 с. — (Попул. б-ка).  
ISBN 5-7000-0195-0

В новый сборник известного советского писателя, капитана дальнего плавания Виктора Конечкого включены рассказы, очерки, путевые заметки из книг разных лет: «Рассказы Петра Ивановича Ниточкина», дневниковые записи «Никто пути пройденного у нас не отберет», рассказы «Чертовщина», «Хандра», «Кошкодав Сильвер» и др., а также главы из новой книги «Париж без праздника», в которых автор рассказывает о своих встречах с Виктором Некрасовым.

К 4702010201-124 Без объявл.  
008(01)-89

**ББК 84Р7**

Литературно-художественное издание

Популярная библиотека

**Конецкий Виктор Викторович**

**НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ**

Зав. редакцией Н. В. Ганиковская

Редактор Н. А. Трайнина

Художественный редактор О. В. Романова

Технический редактор Т. И. Шеленкова

Корректор Л. Ю. Столярова

ИБ № 103

Сдано в набор 26.06.89. Подписано к печати 18.09.89. Формат 84×108/32. Бумага газетная 45 г. Гарнитура Литературная. Печать Высокая. Усл. печ. л. 33,60. Усл. кр.-отг. 34,13. Уч.-изд. л. 37,52. Тираж 75000 экз. Изд. № 227. Заказ № 2392. Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Книжная палата».

102009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.

Рязанская областная типография, 390012 Рязань, ул. Новая, 69/12.



**Александр Бек.** Новое назначение

**Василь Быков.** Карьер

**Борис Васильев.** Повести

(И был вечер, и было утро. Иванов катер. Жила-была Клаво-  
чка. Гибель богинь)

**Константин Воробьев.** Повести

(Это мы, господи!.. Вот пришел великан...)

**Даниил Гранин.** Зубр

**Василий Гроссман.** Жизнь и судьба

**Владимир Дудинцев.** Белые одежды

**Нодар Думбадзе.** Белые флаги. Закон вечности

Зависит от нас... Перестройка в зеркале прессы

(Сборник актуальной публицистики)

**Фазиль Искандер.** Кролики и удавы

**Владимир Маканин.** Повести

(Предтеча. Утрата. Один и одна)

**Борис Можаяев.** Мужики и бабы

**Андрей Платонов.** Котлован

(Котлован. Ювенильное море. Джан. Впрок. Бессмертие)

**Анатолий Приставкин.** Ночевала тучка золотая

**Анатолий Рыбаков.** Дети Арбата

Современный детектив

(Вайнер А., Вайнер Г. «Я, следователь». Устинов С. «Можете  
на меня положиться». Жапризо С. «Ловушка для Золушки».

Чейз Д. «Весь мир в кармане»)

Современная фантастика

(Сборник советской и зарубежной фантастики)

**Александр Твардовский**

(Василий Теркин. За далью даль. Теркин на том свете.

По праву памяти)

**Владимир Тендряков.** Покушение на миражи. Чистые воды Китежа.

Рассказы

**Василий Шукшин.** Любавины

**Анна Ахматова.** Я — голос ваш...

В своем отечестве пророки? Публицистика перестройки: лучшие авторы 1988 года

(Н. Шмелев, А. Нуйкин, Г. Попов, Ф. Бурлацкий, А. Ваксберг, Ю. Карякин, О. Лацис, Г. Лисичкин, В. Селюнин, А. Стреляный, Ю. Черниченко, Н. Иванова)

**Владимир Высоцкий.** Поэзия и проза

**Анатолий Жигулин.** Черные камни

**Владимир Набоков.** Другие берега  
(Другие берега. Подвиг. Рассказы)

**Борис Пастернак.** Доктор Живаго

**Валентин Пикуль.** Каторга

**Борис Пильняк.** Повесть непогашенной луны

(Повесть непогашенной луны. Заволочье. Волга впадает в Каспийское море)

**Последний этаж.** Сборник современной прозы

(Н. Шмелев «Последний этаж». Л. Чуковская «Софья Петровна». Б. Окуджава «Искусство кройки и житья». М. Кураев «Капитан Дикштейн». С. Каледин «Смирненное кладбище». Е. Попов «Тетя Муся и дядя Лева». Ф. Искандер «О, Марат!» Т. Толстая «Факир». И. Грекова «Хозяева жизни». Л. Петрушевская «Свой круг»)

**Фантастика-2.** Антиутопии XX века

(Е. Замятин «Мы». О. Хаксли «О дивный новый мир», Дж. Оруэлл «Скотский уголок»)

**Михаил Шатров.** Дальше!.. Дальше!.. Дальше!..

Дискуссия вокруг одной пьесы

**Умберто Эко.** Имя розы

## ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

**«АПРЕЛЬ»** — независимое движение, народный фронт писателей. Он объединяет 660 ведущих писателей Москвы. Среди них: народные депутаты, лауреаты Ленинских и Государственных премий, члены ПЭН-клуба. В его активе талантливые молодые и уже не молодые писатели — не члены Союза писателей.

**«АПРЕЛЬ»** возник в марте 1989 года по инициативе 26 ведущих писателей страны как Движение в поддержку перестройки. Задача **«Апреля»** — превратить косное «Министерство писателей» в живую творческую организацию свободных художников, чей девиз — правда и только правда, чье эстетическое кредо — построение общества для человека, во имя его сегодняшнего, а не завтрашнего дня.

**«АПРЕЛЬ»** выпускает альманах **«Апрель»**, бюллетень **«Апрельская трибуна»**, серию книг **«Библиотека „Апреля“**. В производстве находятся книги Владимира Дудинцева, Варлама Шаламова, Булата Окуджавы, Анатолия Приставкина, Аллы Гербер, Анатолия Злобина и других.

